МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Виктория Швейцер

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биография Марины Цветаевой полна драматизма, как судьбы многих героев Серебряного века. И все же жизнь этой женщины-поэта не похожа на жизнь большинства ее современников. Борясь с труднейшей реальностью, преодолевая быт, Цветаева жила на высотах духа, открывая читателям просторы Бытия.

Книга Виктории Швейцер – исследование, написанное на основе многолетней работы в архивах, встреч со знавшими Цветаеву людьми, серьезного и плодотворного анализа ее творчества. Автор повествует о своей героине с мудрой любовью понимания, приближая читателя к неповторимому миру этой высокой и одинокой души.

- Виктория Швейцер
  -
  - Поездка в Елабугу
  - Глава первая
  - Глава вторая
    -
    - Заграница
    - Спор о детстве
  - Глава третья
    -
    - Сережа
    - Аля
    - «Подруга» или «Ошибка»?
    - Мандельштам
  - Глава четвертая
    -
    - Кружение сердца
    - Сонечка
    - Александр Блок
    - Смерть Ирины
    - Прощание
  - Глава пятая
    -
    - Борис – Георгий – Барсик… – Мур!
    - Пастернак
    - Мой Пушкин
    - Начало конца
    - Тоска по Родине
    - «Повесть о Сонечке» и два письма о

        - гомоэротической любви
        - Германия
    - Глава шестая
        -
        - Сергей Яковлевич
        - Сын
    - Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой
    - Примечания
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79

- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123

- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167

- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211

- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255

- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287

Виктория Швейцер
Марина Цветаева

Памяти моего мужа Михаила Николаева

Бог меня – одну поставил
Посреди большого света.
– Ты не женщина, а птица.
Посему: летай и пой!

Марина Цветаева

Душевный строй поэта располагает к катастрофе.

Осип Мандельштам

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как я кончила работу над этой книгой. Многое изменилось в России – и, в частности, в литературоведении: открылись архивы, стали доступны материалы, увидеть которые не было прежде никакой надежды. В огромной степени это относится к Марине Цветаевой: появилась армия цветаеведов, несметное количество исследований, публикаций, домыслов... Кое-кому из читателей нового издания «Быта и Бытия Марины Цветаевой» может показаться, что книга недостаточно изменилась, что в ней нет никаких «открытий», ничего сенсационного и специфически «интересного». Вероятно, с такими читателями мне придется согласиться. «Интересное» и сенсационное не входит в мою задачу. Начав работать над этим изданием, я с радостью обнаружила, что ни мое отношение к личности, жизни и творчеству Цветаевой, ни мои взгляды на ее сложные взаимосвязи с миром, поэзией и людьми не изменились. Новые материалы дали мне возможность что-то подтвердить, кое-что прояснить, в чем-то убедиться. Там, где они открывали новые оттенки в толковании фактов или характеров, я воспользовалась ими, как и всем, что было опубликовано в связи с последними, прежде почти закрытыми для исследователей годами жизни всей семьи Цветаевой-Эфрона. В тексте появилось несколько новых главок, дополнить книгу которыми я посчитала необходимым.

Выпуская в свет второе издание, я по-прежнему безгранично благодарна моим покойным родителям и мужу Михаилу

Швейцеру (Николаеву), помогавшим мне верой, что книга – будет. Спасибо моей дочери Марине, за то, что она всегда рядом.

Сердечно благодарю покойного А. Д. Синявского, одобрившего когда-то мои детские опыты в «цветаеведении», и М. В. Розанову за то, что они в 1988 году выпустили в свет первое издание «Быта и Бытия Марины Цветаевой».

Огромная признательность всем, кто долгие годы помогал мне интересом к моей работе и материалами. Особая благодарность Е. Б. Коркиной, чей вклад в цветаеведение неоценим, а изданные ею книги являются, на мой взгляд, образцом научного литературоведения.

Отдельное спасибо Т. Ю. Бабенышевой и А. Е. Сумеркину, внимательно читавшим рукопись на всех этапах переработки и сделавшим ценные замечания.

Благодарю за помощь многочисленные архивохранилища, где я работала; все государственные и частные фонды, а также администрацию и моих друзей в Amherst College и Mount Holyoke College, постоянно поддерживавших работу над книгой.

Автор
Июнь 2002 года

Поездка в Елабугу
Вместо предисловия

Много лет уже мне хотелось поехать в Елабугу, город, где провела последние дни Марина Цветаева, посмотреть сам город, кладбище, где она похоронена, а может быть, и повидать людей, которые ее там знали. И вот осенью 1966 года, когда исполнялось двадцать пять лет со дня ее гибели, желание это стало непреодолимым, и я решила проделать по ее следу последнее путешествие Цветаевой: из Москвы в Елабугу водой – по Волге мимо Костромы, Горького, Казани, а потом мимо Чистополя по Каме.

Мне казалось, что, плывя ее маршрутом, я смогу хоть немного и ненадолго увидеть окружающее ее глазами, проникнуть в ее мысли и чувства. Мне это не удалось. И не потому, что все вокруг изменилось за четверть века, даже берега реки, где исчезли многие существовавшие испокон веку деревни и появились невиданные прежде искусственные моря. И не потому, наверное, что люди, на каждой пристани снующие, кричащие, толкающиеся, спешащие куда-то по своим делам и заботам, не объединены, как тогда, общей бедой – войной. А просто потому, что невозможно, плывя на комфортабельном теплоходе, имея дом, близких, друзей, влезть в шкуру одинокого бездомного человека с трагической жизнью позади и полной беспросветностью впереди. Общего только вода за бортом, леса по берегам да часто мелькающие деревенские, городские, монастырские – большей частью заброшенные, а то и полуразвалившиеся – церкви, такие красивые издали. О чем думала, на что надеялась, что вспоминала Цветаева, глядя в кипящую воду за кормой или на эти сосны, деревушки и церкви?.. Проплыли устье Оки около Горького. Вспоминалось ли ей детство на Оке, любимые тарусские холмы и поля? Или она думала только о невозможности найти в Елабуге хоть какой-нибудь заработок, о необходимости продержаться, хотя бы ради сына, об ужасах войны?.. Не знаю, но мне становилось тоскливо и холодно в моей уютной каюте каждый раз, как я пыталась себе это представить.

Когда подплываешь к Елабуге со стороны Казани – так и Цветаева к ней подплывала – первое, что видишь, – высоченный крутой обрыв над пристанью. Пристань под ним кажется маленьким ненадежным гнездышком, а наверху он оканчивается мысом с круглой белой башней, сохранившейся со времен

древнеболгарской крепости – Чортово городище. Все это очень красиво. Вдали, километрах в двух-трех от пристани, виден силуэт города: двухэтажные каменные купеческие (Елабуга прежде была городом хлеботорговым) дома на холме над лугами и рекой, за ними ряды одноэтажных домиков и домишек и над всем этим три огромные каменные церкви и пожарная каланча. Тоже красиво. А когда едешь в город по асфальтированной (еще несколько лет назад – булыжной) дороге – высокой искусственной насыпи, построенной в самом начале века и по бокам обсаженной густо разросшимися деревьями, и ярко светит солнце, и ветер бьет в лицо, – охватывает ощущение радости и покоя. Не с такими чувствами подъезжала к Елабуге Цветаева. Могла ли она заметить эту красоту?

Адрес был мне известен, я скоро нашла на тихой елабужской улице недалеко от центра домик в три окошка, но долго не решалась войти – как-то примут хозяева непрошеного гостя? Однако я не первая приехала в этот дом расспросить о Цветаевой, а потому приняли меня без удивления и энтузиазма – спокойно. Хозяева – Анастасия Ивановна и Михаил Иванович Бродельщиковы, муж и жена, люди пожилые, на пенсии. Живут они одни, дети и внуки разъехались или получили жилье и живут своим домом[1]. А в то время, в начале войны, жил с ними шестилетний внук Павлик. Бродельщиковы оказались людьми очень славными и симпатичными, с врожденно-благородной нелюбовью к сплетне, к копанию в чужих делах. И все, что мне удалось услышать от них о Цветаевой, говорилось сдержанно, как бы нехотя, без желания посудачить и кого-нибудь осудить. Впрочем, рассказывала Анастасия Ивановна, Михаил Иванович больше помалкивал, изредка вставит два-три слова.

Цветаеву, как и других эвакуированных, живших в доме уже после ее смерти, они помнят хорошо. Ведь и вообще в размеренных и тихих провинциальных буднях любой новый человек надолго запоминается. А тут еще такой случай... Но что Марина Ивановна Цветаева – известный поэт, хозяева себе не представляли; записалась в домовой книге «писательница-переводчица» – вот и все. Эвакуированных для такого маленького городка было довольно много: примерно тысяча взрослых да столько же детей. Их встречали представители местной власти, водили по домам, устраивали. Привели и к Бродельщиковым группу, человек пятнадцать. В их маленьком домике – как войдешь из сеней – налево кухня, направо горница из двух комнат. Комнаты по-деревенски разделены перегородкой не до потолка, вместо дверей – занавеска, а все-таки отдельно. В

каждой по три окошка. Цветаева вошла первая и, как прошла во вторую комнатку, так сказала: «Я здесь останусь, никуда больше не пойду». Сходили с сыном за вещами и поселились. «Я-то расстроилась, – говорит Анастасия Ивановна. – Она мне сперва не понравилась: высокая, сутулая, худющая, седая – прямо ведьма какая-то. Баба-яга. Несимпатичная...» А потом вроде бы и ничего, притерпелась, даже сблизилась с квартиранткой – на почве курения: «Вместе курили. Тогда что было курить? Самосад. В газетку, если достанешь. Я ей папироски крутила – Марина-то Ивановна сама не умела – и сидим дымим вместе».

Из слов сына Цветаевой следует, что они прибыли в Елабугу семнадцатого августа, но где они провели первые четыре дня, мне неизвестно. Возможно, ночевали где-нибудь в школе – так бывало в то время, – а днями Цветаева ходила в поисках жилья. У Бродельщиковых она прожила всего десять дней: 21 августа поселились (в домовой книге этот день указан как день приезда, прописались – 25-го), а 31-го – умерла. Да еще и уезжала за это время на несколько дней. И потому в рассказе Анастасии Ивановны все время повторяется: «может быть... если бы она дольше пожила...» Может, и разговорились бы; может, и подружились бы; может... если б она дольше пожила...

Цветаевой, видимо, понравилось у Бродельщиковых. В домике чисто и тихо, у нее с сыном отдельная – пусть всего восемь квадратных метров – комнатка, из окон открывается чудесный вид: луга, Закамье, простор... «И сестру мою зовут как вас – Анастасия Ивановна», – сказала она хозяйке. «Не понравилось Марине Ивановне только одно, – говорит А. И. Бродельщикова, – тут напротив спиртзавод был, так, когда из него выпускали отходы, бывал очень плохой запах». Сама она показалась хозяевам старой и некрасивой: лицо усталое и озабоченное, почти седые, очень коротко подстриженные волосы зачесаны назад. А ведь ей в то время не исполнилось еще сорока девяти лет. Ни одна из фотографий в «Избранном» Цветаевой, которые я им показала, не оказалась похожей на ту Цветаеву, с которой им довелось жить бок о бок. Даже самая последняя, с ее советского паспорта, выданного за два года до Елабуги. Много позже, вглядываясь в неретушированный экземпляр этого снимка, я поняла, кажется, в чем было дело. Для книги фотографию сильно «подправили»: пригладили волосы, резче выделили линию бровей, а главное – убрали трагические складки у рта и пририсовали улыбку... Одета Цветаева была неважно: темное длинное платье, старое осеннее пальто, кажется, коричневое, вязаный берет горохового цвета. («Я все смеялась: как блин гороховый. Некрасиво...» – говорит Анастасия Ивановна.) Дома

все время носила большой фартук с карманом – «так в нем и померла».

Настроение было очень тяжелое. Все больше молчала. Курит и молчит. В Елабуге стоял полк, проходили подготовку красноармейцы. Они то и дело с песнями маршировали по улицам. У Марины Ивановны сорвалось: «Такие победные песни поют, а *он* все идет и идет...» Она постоянно уходила из дому, искала работу, а может быть, и покупателя на какие-то остатки столового серебра, бывшие у нее. «Да кому же продашь? Может, у кого и были деньги, у буржуев, да как узнаешь?»... Ни работы, ни покупателей не было. Цветаева привезла с собой запас кое-каких продуктов: крупы, сахар. Но готовить еду, видно, не было ни сил, ни настроения.

– Делать она ничего не умела, – сказала мне Анастасия Ивановна.

– Да как же? – почти обиделась я. – Она всю жизнь все делала.

– Ничего она не могла, я же видела, мы же вместе жили. Нагрею я ей воды, она голову вымоет. Ну, сказала бы мне: «Анастасия Ивановна, подотрите», я бы и подтерла. А то сама тряпкой по полу кое-как размажет – и все. И не готовила никогда. Продукты-то были, а не готовила. У меня хоть керосину нет, но таганок и дрова были, и сковородки, посуда – все было. Могла бы сготовить...

– А что же они ели?

– В столовую ходили. А в столовой тогда одну бурду давали... А то попросит меня продать ей рыбы – Михаил Иванович заядлый рыболов, рыба всегда была. Купит и просит: «Уж вы мне ее почистьте». Ну, почищу, а она: «Уж вы мне ее пожарьте». И пожарю, не трудно. Когда она умерла, целая большая сковородка жареной рыбы так в сенях и осталась...

Из всего повествования этой простой женщины не заметно, чтобы она осуждала сам факт самоубийства Цветаевой, – ей просто кажется, что Цветаева сделала это слишком рано, без крайности:

– Вещей у них было много. Одних продуктов большой мешок: в разных кулечках и рис, и манная, и другие крупы. Сахару с полпуда. Могла бы она еще продержаться. Да вот такой момент у нее, видно, настал... Ну, все равно, могла бы она еще продержаться. Успела бы, когда бы все съели...

Еще по дороге в Елабугу Цветаева написала в Казань, в Татарский Союз писателей:

«Уважаемый тов. Имамутдинов!

Вам пишет писательница-переводчица Марина Цветаева. Я эвакуировалась с эшелоном Литфонда в гор. Елабугу на Каме. У меня к Вам есть письмо от и. о. директора Гослитиздата Чагина, в котором он просит принять деятельное участие в моем устройстве и использовании меня в качестве переводчика. Я не надеюсь на устройство в Елабуге, потому что, кроме моей литературной профессии, у меня нет никакой. У меня за той же подписью есть письмо от Гослитиздата в Татиздат с той же просьбой. На днях я приеду в Казань и передам Вам вышеуказанное письмо.

Очень и очень прошу Вас и через Вас Союз писателей сделать все возможное для моего устройства и работы в Казани. Со мной едет 16-летний сын. Надеюсь, что смогу быть полезной как поэтическая переводчица.

Марина Цветаева».

Ответа не последовало. Письмо Цветаевой хранится в архиве Союза писателей Татарии. Поперек него – резолюция: «К делу». К какому делу?

И вот, едва устроившись и прописавшись в Елабуге – без прописки жить, а тем более двинуться с места было запрещено, – Цветаева едет в ближний Чистополь, где была большая колония эвакуированных писателей. Она надеется на их участие и помощь. Ей нужны жилье и какая-нибудь работа и – что для нее очень важно – чтобы было с кем читать стихи. Но и здесь ее ждала неудача. Писательское начальство отказывалось выдать Цветаевой справку для прописки, удивляясь: зачем ей в Чистополь? Она была на подозрении: всего два года как вернулась из эмиграции, к тому же муж и дочь арестованы. Только после хлопот и больших волнений такая справка была ей обещана. Впрочем, на работу и в Чистополе надежды не было. С тем она и вернулась в Елабугу.

Заехала и я на обратном пути в Чистополь. Хотя он значительно больше Елабуги, но произвел на меня какое-то гнетущее впечатление: пыльный, неуютный, неприветливый, забытый Богом городишко. И уж если человек за него хватается, как утопающий за соломинку...

31 августа 1941 года было воскресенье. Случилось так, что Цветаева осталась дома одна на целый день.

– Если бы мы все в тот день не ушли, – рассказывала мне Анастасия Ивановна, – может, и обошлось бы. А нас погнали на субботник – аэродром чистить. Вместо Марины Ивановны сын

пошел, лучше бы она сама пошла, ничего бы и не было – все же на людях...

В тот день всем, кто был на субботнике, выдали по буханке хлеба – это запомнилось. Пошли Анастасия Ивановна с Муром, Михаил Иванович с внуком отправились на рыбалку.

– День тогда очень хороший был. Мы с Павликом на рыбалку собрались. Я говорю: «Марина Ивановна, мы пойдем порыбалим, побудете одна?» – Она отвечает: «Побуду, побуду, идите...» – Вроде даже обрадовалась, что мы уходим. Знатьё бы, что так получится, – никуда бы не ушли...

Первой вернулась домой Анастасия Ивановна. В сенях она наткнулась на стул и удивилась: зачем здесь стул? А подняв глаза, увидела повесившуюся квартирантку. Она выбежала из дому, позвала соседку, та позвонила, вызвала милицию и «скорую помощь». Вынуть тело из петли они не решились. Врач и милиция приехали только через два часа. Я спросила:

– Что же вы не посмотрели, может, она еще живая была, когда вы пришли? Может, еще можно было спасти?

– Надо бы посмотреть, – отвечает Анастасия Ивановна.

– А как же снять? – удивляется Михаил Иванович. – Милиция приедет, скажет, зачем сами сняли... Хорошо, что она записки оставила, а то бы подумали, что мы убили...

Тело Цветаевой увезли в больницу, а в комнате сделали обыск – не пропало ли чего.

– Все перерыли, – говорит Анастасия Ивановна. – Сын тут присутствовал. Денег оказалось у них 400 рублей...[2] И два письма нашли. Не знаю, где они лежали, мы их не видели. Одно, вроде, писателю Асееву, чтобы позаботился о ее сыне, а другое вообще – отчего и почему. Мы их не читали, милиция читала и сын.

...Я хожу по Елабуге. Это маленький, чистый и зеленый городок, по-провинциальному уютный и домашний. Но в голове у меня все время звучат строки Осипа Мандельштама из стихов, обращенных к Цветаевой полвека назад:

Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит быть беде.

Быть беде, быть беде, быть беде... Не потому ли Цветаева так рвалась из Елабуги?

Хоронили ее прямо из больницы. На похороны, по словам хозяев, никто не пошел: кому какое дело до безродного,

бездомного, бесприютного человека, каким была Цветаева в Елабуге? Кладбищенские книги в то время не велись, поэтому могила Цветаевой неизвестна.

* * *

Могила Цветаевой неизвестна...

Я поднимаюсь на кладбище за городом, над городом, над дальними прикамскими далями. Дорога та же, вряд ли здесь что-нибудь изменилось за минувшие четверть века. Она пустынна, и мне кажется, я вижу, как по ней в последний путь везут одинокого, загнанного жизнью человека, прекрасного русского поэта. Вдоль дороги стоят столбы электропередачи, они гудят – наверное, от резкого осеннего ветра. Этот гул провожает меня на кладбище, как, возможно, провожал и тело Цветаевой, вместо колокольного звона. А мне он нагудывает цветаевские строки – образ всей ее жизни и творчества:

Гудят моей высокой тяги
Лирические провода...

Стихи эти уже все время со мной – и по дороге, и на кладбище, и еще долго-долго.

Кладбище окружено старинной каменной оградой с крепкими воротами с проржавленным засовом. У ворот – закрытая теперь каменная часовенка. Кладбище заросло деревьями, зеленое, чистое и присмотренное. В правом углу его, на самом высоком месте среди прямоствольных, торжественных и суровых сосен множество безымянных могил: маленькие, часто еле различимые холмики, поросшие засохшей уже травой, полынью, осыпанные сосновой хвоей... Я срываю несколько веточек полыни на память. Сегодня – 31 августа. В 1941 году здесь хоронили эвакуированных. Говорят, что где-то среди этих могил была похоронена и Цветаева. Отсюда открывается вид на город и дальше на луга, леса, Каму... Здесь – вечный покой, тихо-тихо. Изредка, заглушённый расстоянием, раздастся шум автомашины или трактора.

Под одной из сосен несколько лет назад сестра Цветаевой Анастасия Ивановна установила небольшой крест с простой надписью:

В этой стороне кладбища похоронена

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА
род. 26 сент. ст. ст. 1892
в Москве
† 31 августа нов. ст. 1941
в Елабуге

Зима 1966/67 года, Таруса

Глава первая
Предыстория

Так начинают жить стихом.

Борис Пастернак

Что мы знаем о своих родителях? Почти ничего или очень мало. Они присутствуют в жизни ребенка загадочными и притягивающими великанами. Кто они? Откуда приходят и куда уходят, когда их нет с нами? Как они живут без нас? Как жили до нас, когда нас еще совсем не было? Что связывает их между собой и со мной, таким маленьким, полностью от них зависящим? Я люблю их бессознательно и безоглядно, а они? Любят ли они меня? Ведь у них есть другая жизнь, где меня нет... По жестам, взглядам, поступкам, по не всегда понятным словам ребенок создает образы отца и матери, стремится понять их, проникнуть в тайны их взрослой жизни и отношений.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать – не мать,
Что ты – не ты, что дом – чужбина...

(Б. Пастернак «Так начинают. Года в два...»)

«Меня прикрепили к чужой семье и карете», – вторит Пастернаку Осип Мандельштам в «Египетской марке». Иногда чувство «чужой» остается навсегда, как у Пушкина.

В раннем детстве ребенок придумывает своих родителей, наделяет их качествами, возможно, им вовсе не свойственными, фантазирует их жизнь и свои с ними отношения. Так возникает детская мифология, где боги и герои – родители. Как настоящая мифология, она живет своей жизнью, развивается, трансформируется. Действующие лица ее не обязательно только прекрасны; как и греческие боги, они бывают жестоки и несправедливы. Может быть, с этого и начинается творчество? Обычный человек расстается с ним с исходом детства, с поэтом оно живет жизнь.

«Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений...» – писал Мандельштам. Нет пустоты в повести

цветаевского детства, она облекла его в фабулу, создала прекрасную легенду о своей семье и главной героиней сделала мать.

Обращали ли вы внимание, что в рассказах любой женщины ее мать предстает обязательно – красавицей? Любой – но не Цветаевой. Она ни разу не описала внешности матери. Какое ей дело до внешности, когда она чувствовала, знала, что ее мать – существо необыкновенное, ни на кого не похожее? Правда, и сравнивать было особенно не с кем, семья Цветаевых жила сравнительно уединенно. Разве что с героинями романтических баллад и романов, в мир которых мать ввела ее очень рано. На них она и была похожа. Цветаева видит свою мать романтической героиней. Это она создала в семье атмосферу напряженно-возвышенную и бескомпромиссную. В ее безмерном увлечении музыкой, литературой, живописью, а потом и медициной чувствовалась неудовлетворенность. Чем? Почему? Дети не могли этого понять, скорее всего и не задумывались над этим, но в «разливах» материнского рояля, под звуки которого они ежевечерне засыпали, слышалась тоска по какой-то другой, несостоявшейся жизни. Она стремилась свои неосуществленные мечты передать детям, внушить, заклясть – чтобы они воплотили. Она была уверена, что настанет время, когда они поймут и оценят. И не ошиблась. Все это было не просто – высокий лад требовал напряжения. Но даже материнская строгость и требовательность воспринимались как должное – другой матери Цветаева не могла бы себе представить. Разве другая прочла бы с ними столько замечательных книг, рассказала столько необыкновенных историй, подарила бы им такую прекрасную музыку? Марина чувствовала, что в душе матери живет какая-то тайна. В двадцать один год она писала о ней философу В. В. Розанову: «Ее измученная душа живет в нас, – только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумье, ее жажда дошли в нас до крика».

Отец казался незаметен и как будто не принимал участия в их жизни. Рядом с ним постоянно звучало не очень понятное детям слово «музей», которое они воспринимали иногда как имя или звание человека. И. В. Цветаев записал в дневнике весной 1898 года, когда в доме было особенно много посетителей по делам музея: «...детвора, заслышав звонок, кричала на весь дом: „папа, мама, няня – еще Музей идет...“»[3] Отец был не просто занят хлопотами по созданию первого в России музея классической скульптуры, но целиком погружен в это дело, ставшее смыслом его жизни. Его мир был детям недоступен и далек. Однако отцовская преданность идее, пример его

неустанного трудолюбия не прошли для Марины даром, стали частью ее характера. В раннем стихотворении Цветаевой «Скучные игры» игра «в папу» изображена так:

Не поднимаясь со стула
Долго я в книгу глядела...

Отец был добр, мягок, он сглаживал и уравновешивал страстную нетерпимость матери. Однако само его спокойствие и отрешенность от домашних дел отдаляли Ивана Владимировича от жизни детей... Он казался обыкновенным и его отсутствие незаметным. В. В. Розанов, бывший в свое время студентом профессора Цветаева, в некрологе писал о его внешней заурядности: «...Иван Владимирович Цветаев ... казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно „тащился“ и никогда не „шел“. „Этот мешок можно унести или перевезти, но он сам никуда не пойдет и никуда не уедет“. Так думалось, глядя на его одутловатое с небольшой русой бородой лицо, на всю фигуру его „мешочком“, – и всю эту беспримерную тусклость, серость и неясность».

Не правда ли, слишком «объективное» —особенно для некролога – описание? Конечно, дети не воспринимали отца так, но то, что он «не от мира сего» (во всяком случае, не от их с матерью мира), они не могли не чувствовать.

Мать безусловно его затмевала. Ее картинами были увешаны стены, ее музыка, ее бурный темперамент, ее блеск были наглядны и восхищали. А что привлекательного для детей в отцовской сдержанности и тихости? Однако, характеризуя своего бывшего профессора, Розанов не остановился на только внешнем описании. Он продолжил: «"Но, – говорит Платон в конце „Пира“ об особых греческих „тайниках-шкафах“ в виде фавна: – подойди к этому некрасивому и даже безобразному фавну и раскрой его: ты увидишь, что он наполнен драгоценными камнями, золотыми изящными предметами и всяким блеском и красотою". Таков был и безвидный неповоротливый профессор Московского университета, который, совершенно обратно своей наружности, являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера»[4]. Эти скрытые отцовские богатства не прошли для Марины впустую, вошли в ее натуру. Но лишь спустя жизнь пришло осознание «тихого героизма», скрывавшегося за внешней обыденностью отца. Сейчас же, в детстве, отец был старым и скучным, мать – молодой и необыкновенной. Их тянуло

к матери. К тому же мать естественно ближе к детям, ведь главная часть жизни отца проходила вне дома, – и они чувствовали, что настроение в доме зависит от нее.

Где-то на втором плане детского сознания возникает дедушка, даже два: свой собственный, «папаша» матери Александр Данилович Мейн с женой, которую мать почему-то называет «Тетя», и «дедушка Иловайский»: он приходит один и почему-то дедушка только старшим – сестре Валерии и брату Андрею. «Свой» дедушка добрый, он привозит подарки всем детям и иногда катает их на собственных лошадях. Дедушка Иловайский подарков не приносит и, кажется, вообще ничего не замечает вокруг, во всяком случае, никогда не отличает Аси от Марины, хотя они совсем непохожи. Почему дедушек два и они такие разные? Почему у матери висит портрет их бабушки, ее матери – не Тети и совсем молодой, а в зале – портрет матери Валерии и Андрея? В еще большей глубине живет совсем странное слово «мамака» – чья-то прабабка? румынка? – она умерла в Марининой комнате. От нее в наследство Валерии остались какие-то «блонды», и она умела плясать «барыню». Кто все эти люди? Как они связаны между собой? Что было до меня, Марины, в нашем доме?

Постепенно, из случайно услышанных слов, из недомолвок, по вещам, делившимся на «наше» и «иловайское», Валерино, начинала представляться история дома, семьи. Раньше, давно, у отца была другая жена – молодая, красивая, прекрасная певица – кажется, она даже выступала на сцене? – мать Валерии и Андрея. Потом она умерла, совсем молодой, как и мать нашей матери, чей портрет в гостиной, – вот почему у нас не бабушка, а Тетя. Лёре было восемь лет, а Андрюша только что родился. И тогда наша мать вышла замуж за отца: молодая, необыкновенная – за немолодого и самого обычного профессора. Душа матери жаждала подвига, и она искала его в жертве ради чужих детей… Потом родились мы – Марина и Ася.

Так ли все было на самом деле? Самое удивительное, что «высокий лад» и всю сложность отношений внутри родного дома Марина почувствовала и поняла очень рано и однозначно осознавала глубинный смысл родительских судеб и их влияние на собственный характер. В «Ответе на анкету» 1926 года она писала: «Главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. *Heroica*). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери – спартанство. Два лейтмотива в одном доме, Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не

интеллигентский – рыцарский. Жизнь на высокий лад».

Кто же они были – родители Марины Цветаевой? Надо признать, что людей, более несхожих как по темпераменту и жизненным устремлениям, так и по происхождению и воспитанию, трудно вообразить.

Иван Владимирович Цветаев родился 4 мая 1847 года в деревне Дроздово Шуйского уезда в семье священника. В 1853 году его отца Владимира Васильевича Цветаева (1820– 1884) перевели в запущенный приход Николо-Талицы близ Иваново-Вознесенска. Здесь и прошло детство Ивана Владимировича. На Талицком погосте в 1858 году похоронили его мать Екатерину Васильевну, скончавшуюся в 33 года, оставив мужу четверых сыновей, из которых Иван был вторым. Сюда, в родной дом возвращался он на каникулы сначала из Шуйского духовного училища, потом из Владимирской семинарии, потом из Петербурга, из Москвы, из заграничных путешествий... Все сыновья любили и почитали отца, он был их первым учителем, духовным и нравственным воспитателем. Посылая незадолго до смерти по просьбе ивановского мецената, организатора музея, свою автобиографию, И. В. Цветаев упомянул отца: «...почтенный о. Владимир, пользовавшийся особым уважением всей округи». А в постскриптуме к письму, сопровождавшему автобиографию, написал: «Убедительно прошу не исключить написанного мною об отце моем Владимире Васильевиче Цветаеве и о моем учителе И. П. Чуриловском: это были, вправду, исключительные люди, каждый в своей жизненной доле...»[5]

Отец Владимир Цветаев был и в самом деле человеком неординарным, непохожим на обывательское представление о «деревенском попе». Окончив одним из лучших духовную семинарию и получив службу в глухой деревне, он не опустился, как нередко случалось, не растерял своих знаний, продолжал читать, знал древние языки, интересовался литературой, любил русскую поэзию (в его архиве остались самодельные тетрадочки с переписанными им стихами Державина, Грибоедова, Пушкина... Полвека спустя в такие же тетрадочки его внучка Марина переписывала пушкинское «К морю...») и, кажется, сам писал стихи. В его доме сохранились «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, подшивки журналов, учебники его сыновей. Старанием отца Владимира в середине шестидесятых годов прошлого века было открыто в Талицах первое народное училище, но еще до этого он учил крестьянских ребятишек грамоте у себя на кухне. По своей церковной службе он привел в порядок Талицкий

погост, заслужив уважение и прихожан, и окрестных священников: они избрали его своим духовным отцом и благочинным, это означало, что о. Владимир был их нравственным и духовным наставником и советчиком в церковных делах. Благочиние его включало более двадцати приходов. Всю эту деятельность отец Владимир Цветаев совмещал с воспитанием сыновей и с крестьянской работой – жалованья священника было недостаточно, чтобы содержать большую семью. Как и его соседи-крестьяне, он обрабатывал положенную ему от церкви землю, держал скотину и разную домашнюю живность. Летом помогали ему приезжавшие на каникулы сыновья. По воспоминаниям знавших его, отец Владимир был человеком самоотверженным, с характером мягким, даже кротким, что не мешало ему иметь чувство собственного достоинства, твердые принципы и большую душевную силу, помогавшую ему проводить их в жизнь[6]. Достаточно сказать, что все его сыновья получили высшее образование и все пошли по стезе «просветительства»: старший на отцовском поприще, трое младших – на преподавательском.

Он смог передать им чувство долга и человеческого достоинства, воспитать в них стремление к образованию, трудолюбие и самоотверженность в избранном деле. Поэтому было бы не совсем верно сказать, что Иван Владимирович Цветаев «выбился в люди» совершенно самостоятельно: моральная поддержка и вера в него отца были самым существенным, что взял он в жизненную дорогу, покидая родной дом. Одно из подтверждений – золотая медаль, полученная Иваном Цветаевым по окончании университета, которую он подарил отцу и которая всегда стояла у Владимира Васильевича на почетном месте.

Я рассказываю об этой семье не потому, что ее история интересна сама по себе, но и потому, что, даже не осознавая этого, Марина Цветаева уходит корнями в эту владимирскую, талицкую почву и историю. И если вдуматься, то и ее чувство долга, и преданность семье, и самоотверженность в избранном – правда, в ее случае трудно говорить об «избрании», скорее оно ее, нежели она его избрала, – деле, неиссякаемое трудолюбие через отца перешли к ней от ее владимирского деда. «В русской деревне не жила никогда», – написала Цветаева в «Ответе на анкету». И жаль, ибо наезды в Талицы могли бы открыть ей мир, которого она так никогда и не узнала.

Сегодня мы знаем о семье Цветаевых гораздо больше, чем Марина Цветаева. В жизни Цветаевых не было внешней романтики, так привлекавшей ее в отрочестве и юности, возможно, их история показалась бы ей скучной, а потому дальше

«босоногого детства» отца ее представления не пошли. А позже спросить было уже некого. Когда же, задумавшись о своих истоках, токах, Цветаева писала о бабушке-попадье Екатерине Васильевне:

У первой бабки – четыре сына,
Четыре сына – одна лучина,

Кожух овчинный, мешок пеньки, —
Четыре сына – да две руки!

Как ни навалишь им чашку – чисто!
Чай, не барчата – семинаристы! —

она вряд ли знала, что Екатерина Васильевна до поступления сыновей в семинарию не дожила: может быть, только старший, Петр был уже семинаристом, Иван недавно поступил в училище, Федор и Дмитрий были еще малы. Иван же Владимирович никогда не забывал о своем происхождении, бедности своей семьи и односельчан. Он много, часто анонимно, помогал Талицам: и погорельцам, и в образовании крестьянских детей, и книгами для библиотеки...

Получив в конце жизни звание почетного опекуна и будучи принужден шить дорогой опекунский мундир, он признавался в частном письме: «Для поповича, отец которого получал 120 рублей, потом 300 рублей и, наконец, к 40 годам службы, 500 рублей в год, собирая их к тому же все грошами, такая трата как будто и зазорна...»[7] По семейной традиции Иван Цветаев, как и его три брата, окончил Духовное училище. Он поступил во Владимирскую Духовную семинарию, но в девятнадцать лет вдруг круто изменил свою жизнь. Выйдя из семинарии, он отправился в Петербург, чтобы поступить в Медико-хирургическую академию. Однако той же осенью 1866 года мы видим его уже студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. Здесь нашел он свое призвание. Диплом, полученный им спустя четыре года, гласил:

«Совет ИМПЕРАТОРСКОГО Санктпетербургского Университета сим объявляет, что Иван Владимиров сын, Цветаев, 23 лет от роду, Православного вероисповедания, поступив в число студентов сего Университета 6 октября 1866 года, выслушал полный курс наук по историко-филологическому факультету и оказал на испытаниях: в богословии, истории, философии, Русской словесности, римской словесности, греческой словесности, всеобщей истории, славянской филологии, Русской

истории и немецком языке – ОТЛИЧНЫЕ познания, за которые историко-филологическим факультетом признан достойным ученой степени КАНДИДАТА и, на основании пункта 4 § 42 общего устава Российских Университетов, утвержден в этой степени Советом Университета 30 мая 1870 года. Посему предоставляются Цветаеву все права и преимущества, законами Российской Империи со степенью КАНДИДАТА соединяемые...»[8] «Права и преимущества» означали, что отныне Иван Владимирович Цветаев перешел из духовного сословия в дворянское, стал «дворянином от колокольни», как он однажды не без иронии выразился. Более важным было то, что за кандидатское сочинение «Критическое обозрение текста Тацитовой Германии» Цветаев был удостоен золотой медали и оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Одновременно он год преподавал греческий язык в Третьей Петербургской женской гимназии. Официальный «Формулярный список о службе», составленный через семь лет после окончания университета, свидетельствует, что Иван Цветаев не терял времени даром. Пункт первый интересен в сопоставлении с приведенными выше словами Ивана Владимировича о заработках его отца – сын ушел далеко вперед:

1. Получает содержания:
Жалованья 900 р.
Столовых 150 р.
Квартирных 150 р.
Итого 1200 р.

Далее в хронологическом порядке перечислено все, что успел сделать за истекшие годы Цветаев. Он защитил в Петербурге магистерскую диссертацию «Cornelii Taciti Germania», преподавал на кафедрах Римской словесности Варшавского и Киевского университетов, а главное – провел более двух лет в заграничной командировке, собирая материалы для докторской диссертации. Его интересовали древние италийские языки; он был одним из пионеров в этой области. Всего полтора десятилетия назад начались серьезные раскопки Помпеи, во время которых были обнаружены надписи на неизвестном языке. Это оказался язык древних самнитов, живших во втором тысячелетии до нашей эры, к началу новой эры завоеванных и слившихся с римлянами. Цветаев собирал и исследовал сохранившиеся надписи на языке самнитов – осском, этому посвятил свою докторскую диссертацию, которую защитил в Петербургском университете осенью 1877 года.

В Италии произошел внутренний поворот в судьбе Цветаева, почти такой же важный, как когда он вместо медицинского

поступил на историко-филологический факультет: он буквально влюбился в античность, увлекся археологией и искусством древности. Когда в 1877 году он был избран на должность доцента по кафедре Римской словесности Московского университета, его интересы выходили уже далеко за пределы чистой филологии. Через несколько лет Цветаева пригласили заведовать гравюрным кабинетом, а потом и стать хранителем отделения изящных искусств и классических древностей в Московском Публичном и Румянцевском музеях: здесь ему открывалось новое поле деятельности… Возглавив в 1889 году кафедру теории и истории искусств, он возмечтал о музее античного искусства при университете. Планы по созданию такого музея постепенно расширялись, и дело это поглотило четверть века его самоотверженного и любовного труда.

Десять лет Иван Владимирович был женат на Варваре Дмитриевне Иловайской, дочери своего друга, известного историка. Это ее «мамака» доживала свой век в доме уже при новой жене. Был ли он счастлив в этом браке? Кажется, был, хотя семейное предание утверждало, что Варвара Дмитриевна любила другого и вышла замуж за Цветаева, подчиняясь воле отца. Однако она сумела внести в семью дух радости, праздника – и Иван Владимирович любил ее всю жизнь и долгие годы не мог оправиться от ее внезапной кончины. С этой незажившей раной в сердце он вторично женился весной 1891 года.

Мария Александровна Мейн была моложе его на двадцать один год, она родилась в 1868 году. Дочь богатого и известного в Москве человека, она, хоть и не была красива, могла рассчитывать на более блестящую партию, чем вдвое старший вдовец с детьми. Виною всему был ее Романтизм.

Она росла сиротой, оставшись без матери девятнадцати дней, – не потому ли она взялась заменить мать Андрюше Цветаеву, тоже осиротевшему на первом месяце жизни? Мария Лукинична Бернацкая – мать Марии Александровны, скончавшаяся в двадцать семь лет, – происходила из старинного, но обедневшего польского дворянского рода. Это давало Марине Цветаевой повод отождествлять себя с «самой» Мариной Мнишек. Отец – Александр Данилович Мейн был из остзейских немцев с примесью сербской крови. Он начал карьеру преподавателем всеобщей истории, служил, по воспоминаниям В. И. Цветаевой, управляющим канцелярией московского генерал-губернатора, был издателем «Московских губернских ведомостей», а ко времени замужества дочери – директором Земельного банка. Он был не лишен художественных интересов, собирал библиотеку и коллекцию античных слепков – и то и другое впоследствии

подарил Москве. Дом А. Д. Мейна в Неопалимовском переулке на Плющихе был полон комфорта, стены увешаны картинами, у Марии Александровны прекрасный рояль. Девочка росла под присмотром гувернантки-швейцарки Сусанны Давыдовны, которую называла тетей; а дети Марии Александровны – Тьо: кажется, и сама она, не научившись правильно говорить по-русски, называла себя так в третьем лице – Тьо, тетя, La Tante. Тьо была чрезвычайно добра, чувствительна, чудаковата и безгранично предана своей «Мане» и ее отцу. Уже в старости Александр Данилович обвенчался с Сусанной Давыдовной, и она стала «генеральшей Мейн», как еще и в мое время говорили старики, помнившие ее в Тарусе. Возможно, этот «семейный интернационал» сыграл свою роль в полном презрении Марины Цветаевой ко всякому национализму и шовинизму.

Мария Александровна росла одиноко. Ее не отдали ни в пансион, ни даже в гимназию. Жизнь в отцовском доме была замкнутой, подруг и товарищей не было. В дом взяли девочку Тоню, но, может быть, поздно – им было лет по восемь, и интересы Марии Александровны уже определились.

Мария Мейн была человеком незаурядным, наделенным умом, глубокой душой, большими художественными способностями. Она получила прекрасное домашнее образование: свободно владела четырьмя европейскими языками, блестяще знала историю и литературу, изучала философию, сама писала стихи по-русски и по-немецки, переводила на и с известных ей языков. У нее было музыкальное дарование – фортепьянные уроки ей давала одна из учениц Николая Рубинштейна, в Большом зале Консерватории для нее было абонировано постоянное кресло. У нее были способности к живописи – с нею занимался известный художник Михаил Клодт. Она страстно любила природу – в отцовском имении Ясенки, в заграничных путешествиях с отцом она могла ею наслаждаться. Казалось, в ее детстве и юности было все, о чем можно мечтать. Но не хватало, может быть, самого важного: простоты, ощущения полноты и смысла жизни, так необходимых развивающейся душе. В сохранившейся тетради ее девического дневника (1887-й – начало 1888 года)[9] есть такая запись: «"Жизнь, на что ты нам дана? Жизнь для жизни нам дана", говорил Шиллер в своей оде „К радости“. А мы что делаем? Разве мы **живем**? Неужели это жизнь, без смысла, без цели? Скучно! Я, например, в материальном отношении, имею все, чего только можно желать, но все-таки это не удовлетворяет.../.../ я **жить** хочу, а это ведь – прозябанье!..»

Отец обожал ее, но строго держался принятых в его кругу правил: «...условного пути условной чести, долга и приличия...»

(слова из дневника М. А. Мейн). Дочь оказалась жертвой этих условностей. Добрейшая, но ограниченная Сусанна Давыдовна не могла помочь ее сложной внутренней жизни: девушке не с кем было делиться своими мыслями, поисками, сомнениями... Сиротство и одиночество бросили Марию Александровну к книгам; в них она нашла друзей, наставников и утешителей. Дневник, книги и музыка заменили ей реальность. «Мамина жизнь, – писала Марина Цветаева, – шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой, – замкнутая, фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. Семи лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле...» Душа Марии Александровны металась, жаждала необыкновенных чувств и поступков, но традиция заставляла жизнь катиться по благополучной, может быть, прекрасной, но не ею избранной колее. Девушка становилась экзальтированной, обуревавшие ее мечты и чувства поверяла музыке и дневнику – единственным друзьям.

Пятнадцати-шестнадцати лет Мария Александровна полюбила, как может полюбить страстная натура, живущая в мире романтических грез. Были встречи, совместные посещения выставок и концертов, музицирование, прогулки верхом в лунные ночи. Она была уверена, что в «своем Сереже» нашла близкую и понимающую душу. Любовь оказалась глубокой и взаимной, но человек, которого она любила, признался, что женат. Мария Александровна сразу же порвала отношения с ним, Александр Данилович отказал молодому человеку от дома. И для отца, и для дочери сама мысль о возможности развода была недопустима. Мария Александровна повиновалась принятым условностям, но годы не переставала помнить и любить героя своего юношеского романа. В ее дневнике есть запись: *«...так* любить, как я его любила, я в моей жизни больше не буду, и ему я все-таки обязана тем, что мне есть чем помянуть мою молодость; я, хотя и страданиями заплатила за любовь, но все-таки я любила так, как никогда бы не поверила, что можно любить!.. Папаша и тетя, а особенно папаша не понимают меня: они все еще воображают, что я ребенок... Папаша, например, вполне уверен в том, что любовь моя... была просто первая вспышка неопытного сердца... Что теперь я давно уже все забыла... Если бы он знал, что вот уже третий год как чувство живет в душе моей, глубоко и скрытно, но живет... В музыке я живу тобой, из каждого аккорда мне звучит все мое дорогое прошедшее, воспоминания и мечты как-то чудно сплетаются с стройными звуками заветных мелодий...»

Эта драматическая история, отказ от «возможности собственного счастья» повлияли на дальнейшую жизнь Марии

Александровны: «С тех пор началась та тихая, постоянная, томительная грусть, которая вошла в мой характер и совершенно его изменила, – пишет она в дневнике. – ...Потом, мало-помалу началась во мне та чуткая раздражительность и презрение ко всему окружающему». Я хочу обратить внимание читателя на удивительную способность молодой девушки к бескомпромиссному самоанализу.

Без любви жизнь как бы потеряла точку опоры. Она пытается решить для себя вечную проблему «смысла жизни», но ни в чем не находит желанного ответа: «Ах, этот ужасный вопрос „к чему?“. К чему все это, когда все равно, рано ли, поздно ли, надо умереть и все это оставить?.. Как бы человек ни трудился на земле, к чему бы он ни стремился, наградою и конечной целью все-таки будет – могила. И если есть еще что-нибудь на свете, для чего стоит жить, это – любовь, и только любовь, что ни говори Шопенгауэр...» Чем больше она углубляется в размышления о разных философских и религиозных системах, тем дальше удаляется от веры в Бога: «...виновата во всем я одна с моей глупой, неосмысленной жаждой **все знать, все понять.** Понять я все равно ничего не понимаю, мечусь как угорелая от отрешения к наслаждению, от наслаждения к отрицанию, от отрицания... да уж оттуда некуда... Я хуже, несравненно хуже самой глупой деревенской бабы, нет – я даже глупее ее, потому что она умеет то, что всякий ребенок умеет: молиться Богу, а я уже и этого не умею...»

Однажды она имела неосторожность проговориться отцу о своем разочаровании и отрицании счастья и смысла жизни; его это бесконечно огорчило, и Мария Александровна затаила свое безверие, а выйдя замуж, соблюдала в семье общепринятые православные обряды и праздники, никому не навязывая своих взглядов. Однако она до конца сохранила внутреннюю независимость и последовательность: умирая, Мария Александровна не захотела принять священника.

Мария Мейн была замечательной пианисткой («громадный талант», писала Марина Цветаева), чувствовала призвание к музыке, в ней выражала свою тоскующую мятежную душу. Она могла бы стать музыкантшей, играть в концертах – но для ее отца этот путь был неприемлем. «Свободная художница» – в его кругу звучало почти неприлично. И она смирилась. Дважды разбитые мечты, неосуществившиеся надежды – не в этих ли глубоких переживаниях таятся корни характера матери Цветаевой? Характера резкого, требовательного, нетерпимого. Экзальтация, принужденная скрываться под внешней сдержанностью и замкнутостью, порой оборачивалась истеричностью.

Ей оставался единственный путь – замужество. Но в этой

перспективе не виделось счастья и радости. Она думает о неизбежном замужестве почти с отвращением – дневник сохранил ее горькие мысли: «Вот мне все говорят: „нельзя целый день читать, надо же наконец приняться за что-нибудь более полезное, заняться рукоделиями, как подобает женщине, а не ученому. Ты готовишься быть женою и матерью, а не читать лекции и писать ученые диссертации“. Все это так. Но когда же и читать, если не теперь, пока я молода и пока мне можно?.. (Нам, людям другого века, кажется странным, почему она так беспрекословно соглашается: „Все это так“. – *В. Ш.*) Придет время, поневоле бросишь идеалы и возьмешься за метлу... Когда начнутся мелкие заботы повседневной жизни, когда завязнешь в этом омуте, тогда уже некогда читать... Пока можно жить для идеалов, я буду жить!»

Это многое проясняет в «странном» замужестве Марии Александровны и ее жизни жены и матери. Не исключено, что она избрала немолодого и некрасивого профессора Цветаева не только «с прямой целью заменить мать его осиротевшим детям», как считала ее старшая дочь, но и потому, что знала, что и он «живет для идеалов». Может быть, молодая девушка готова была стать помощницей в его деле, ведь она осознавала в себе возможности гораздо большие, чем нужны, чтобы «взяться за метлу». Мы не знаем, почему Мария Александровна не взбунтовалась против родительских установлений. А может быть, она бунтовала, но не смогла победить? Ясно одно: в браке мать Цветаевой надеялась преодолеть и изжить свою душевную драму. Удалось ли ей это? Ситуация оказалась слишком неподходящей, Мария Александровна до замужества по молодости и неопытности не могла осознать этого. В душе ее мужа жила тоска по покойной жене, которую он даже не умел скрыть. Она ревновала к памяти предшественницы, боролась с этим чувством и не могла с ним совладать. «Мы венчались у гроба», – грустно поверяла она дневнику.

Много-много лет спустя в «Доме у Старого Пимена» Марина Цветаева скрупулезно исследовала подобную ситуацию – брак «дедушки Иловайского» и его второй жены. Александра Александровна Иловайская – на двадцать лет моложе мужа, вышла за него, вдовца с детьми, то ли по принуждению родителей, то ли по расчету, то ли привлеченная его известностью и возможностью стать хозяйкой его дома. Возможно, что и этому браку предшествовала несчастная любовь. Но такой вариант Цветаева обходит молчанием. Она определяет брак старика и красавицы как сожительство тюремщика с заключенным: «Меж тем жизнь, понемножечку, красотку перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь

жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка – *ее* по его образу и подобию...» Возникала ли у Цветаевой мысль, что и брак ее родителей начинался неестественным соединением двух разбитых и тоскующих сердец? Знала ли она, догадывалась ли о драме, разыгрывавшейся в ее собственной семье? Думаю, что в детстве она, при ее обостренной восприимчивости, не могла этого не почувствовать. Прочитав в юности дневники матери – знала. Но страшно заглядывать в тайны взаимоотношений родителей, невозможно быть судьей между ними, и Цветаева обходит эту сторону родительской жизни уважительным дочерним молчанием. Лишь однажды, вскоре после смерти отца, она открыла семейную тайну в письме В. В. Розанову: «Много было горя! Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы – музыка, стихи, тоска, у папы – наука. Жизни шли рядом, *не* сливаясь. Но они очень любили друг друга...» Это написано в 1914 году, в письме к человеку, которого она никогда не видела, – так в поезде случайному попутчику открывают самое сокровенное. Она была потрясена распахнутостью розановского «Уединенного» и впервые открывшейся ей материнской душой; он казался ей человеком, способным лучше всех понять эту судьбу... Только здесь Цветаева говорит «мама», «папа», потом всегда – «мать», «отец».

Воссоздавая в позднейшей прозе мир своего детства и облик семьи, Цветаева рисует почти семейную идиллию, хотя мы теперь знаем, что по крайней мере дважды за время ее замужней жизни у Марии Александровны были серьезные увлечения. Мимоходом оброненные фразы, например: «...красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца» или: «...портрет Андрюшиной матери (портрет – роковой в жизни *нашей*)»[10] — дают возможность понять, что она знала о семейной драме родителей – и не судила. Она не касается ее не потому, что хочет скрыть или обмануть читателей. Речь идет о принципиальном отношении Цветаевой-художника к изображаемому. Как всегда в своей прозе, в описании семьи и семейных отношений она «вытягивает» главное: то, что объединяло родителей и делало семью семьей. Это было их взаимное уважение. Иван Владимирович никогда бы не захотел и не мог стать «тюремщиком» молодой жены. Мария Александровна не позволила бы себе стать «узницей», подчинить или растворить

свою индивидуальность в чужой жизни. Совместная жизнь строилась на компромиссе: оба с пониманием и терпимостью относились к внутреннему миру друг друга. К чести Марии Александровны до́лжно сказать, что она не превратилась в «ключницу» в большом доме мужа, не отступила от идеалов своей юности, продолжала жить музыкой, литературой, природой и в этом воспитывала своих дочерей. Иван Владимирович был поглощен своими многочисленными обязанностями: кафедра в университете, кабинеты изящных искусств и древностей при кафедре и в Румянцевском музее, преподавание. В разное время он совмещал это с работой в Этнографическом и Публичном музеях, чтением лекций не только в университете, но и в других учебных заведениях Москвы. Получив кафедру теории и истории искусств с небольшим собранием слепков греческой и римской скульптуры, он занялся пополнением этой коллекции, чтобы создать учебный музей античного искусства для студентов, изучающих историю искусств и классику. По мере его собственного углубления в мир античной и средневековой скульптуры, подробного знакомства с музейным делом его мечта видоизменялась и разрослась до грандиозного замысла организовать музей возможно более полный, устроенный на высоком современном научном и строительном уровне; он руководствовался идеальными целями энтузиаста-просветителя: «альтруистического добра, высшего просвещения, внесения чистых образов и идей в среду современного и грядущего юношества». Иван Владимирович был настолько убежден в величайшем значении своего дела и настолько наивен, что при разговоре с царем Николаем II, когда речь зашла о студенческих беспорядках, посоветовал: «Ваше Величество! Надо основывать больше музеев и галерей, тогда не будет студенческих беспорядков...» Только одержимость, уверенность в необходимости и бесспорной правоте дела, за которое он взялся, могли помочь ему сдвинуть гору – построить Музей, увидеть труд своей жизни завершенным. Описывая отца трудолюбцем, тружеником, подвижником науки, Марина Цветаева не заметила в нем фанатика и поэта. Его поэмой был Музей. Подлинной страстью продиктована его речь на Первом съезде русских художников, где он публично отстаивал свою идею. «Может ли Москва... – говорил Иван Владимирович, – духовный центр России, центр ее колоссальной торговли и промышленности... – может ли такой город, в котором бьется пульс благородного русского сердца, допустить, чтобы в его всегда гостеприимных стенах остались без подобающего крова вековечные создания гениального искусства, собранные сюда со всего цивилизованного

света?..» Этой речью началась реальная история строительства Музея, зашевелилась московская общественность, стали поступать первые частные пожертвования. Идея не может осуществиться сама, и Ивану Владимировичу приходилось заниматься делами вполне прозаическими – прежде всего заботиться о деньгах, ибо не только на постройку здания для музея, но и на приобретение экспонатов денег у университета практически не было. Надо было добывать их у доброхотных даятелей, для чего требовались и энтузиазм, и умение обходиться с людьми, и красноречие. Судя по результатам, Цветаев обладал этими качествами в полной мере. «...я бродил по Москве и выпрашивал средства для Музея *один», «ездил на ловлю жертвователей...»,* «целовать ручки у барынь я навострился, выискивая деньги для Музея»[11] – такие высказывания то и дело встречаются в его письмах. Денежные заботы, временами оттесняя на задний план творческие, не оставляли Ивана Владимировича вплоть до открытия Музея. Уже добившись создания Комитета по устройству Музея и утверждения проекта здания, он писал архитектору Р. И. Клейну, автору проекта и строителю: «Заставьте же каждую колонну и каждую видную деталь петь:

денег дай, денег дай
и успеха ожидай!»

В завещании, написанном им во время тяжелой болезни, подробно сказано о денежных оплатах по Музею; из его писем видно, что на текущие нужды строительства он тратил не только свои личные, но и «детские» деньги – проценты с капитала, оставленного его детям матерью. Не было такой жертвы, на которую он не пошел бы ради Музея: «Исторические задачи не исполняются без самоотречения, без уединения, без отказа от повседневных, будничных интересов и выгод...» Нет, И. В. Цветаев не был тем академически-спокойным, отрешенным от мира ученым, каким казался своей дочери, но его огонь пылал внутри, не бросаясь в глаза. Может быть, это поняла и оценила в нем будущая жена? Чистота и идеализм его помыслов должны были быть близки ей.

К счастью для них обоих, Мария Александровна всей душой приняла мечту мужа, увлеклась ею, изучила искусство и музейное дело, чтобы стать с ним вровень. Вскоре после свадьбы они начали вместе ездить за границу, осматривать музеи, выбирать экспонаты. Именно Мария Александровна составила тот предварительный план Музея изящных искусств, который лег в основу проекта теперешнего здания. Она стала верной

соратницей Ивана Владимировича, его другом-помощницей: вела дневники и записи по музеям Европы, иностранную переписку, помогала советами. «Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве», – писал о жене И. В. Цветаев в отчете о создании Музея. Общее дело цементировало их семейную жизнь; Марина Цветаева ошибалась, когда писала «жизни шли рядом, не сливаясь».

Правда, Романтизм жены был чужд Ивану Владимировичу, но он ему не противился. Музыка, заливавшая дом, – хоть был он человеком немузыкальным – ему не мешала. Он научился ее не слышать. «До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал!» – отметила Марина Цветаева. Романтизм ждал своего часа, чтобы обрушиться на детей.

Каждый из них был фанатиком своего мира. Мать – Музыки, Романтики, Поэзии. Отец – своего Музея. Фанатическая преданность своим идеалам и своему делу составляла основу их нравственности.

В такой семье начинался один из самых фанатически преданных Поэзии русских поэтов – Марина Цветаева.

Глава вторая
Дом в Трехпрудном

Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном —
Превратившийся теперь в стихи!

Еще и теперь можно найти в самом центре Москвы, между Бульварным и Садовым кольцом, Трехпрудный переулок – даже название не изменилось! Пойдите от площади Пушкина по Большой Бронной в сторону Никитских ворот – второй переулок направо будет Трехпрудный. Он не выходит ни на одну большую улицу, затерялся среди других таких же переулочков. Зато от него рукой подать до памятника Пушкину, Тверского бульвара и Никитских ворот, до Патриарших прудов...

Но не ищите в Трехпрудном старинного, шоколадного цвета особняка, стоявшего когда-то под номером восемь, – больше восьмидесяти лет дома, где родилась Марина Цветаева, не существует. Нам осталось описание его, сделанное ее старшей сестрой Валерией:

«В доме одиннадцать комнат, за домом зеленый двор в тополях, флигель в семь комнат, каретный сарай, два погреба, сарай со стойлами, отдельная, через двор, кухня и просторная при ней комната, раньше называвшаяся „прачечная“. На дворе, между нами и соседями, в глухом палисаднике под деревьями, был крытый колодец с деревянным насосом. От ворот, через весь двор, к дому и кухне шли дощатые мостки.

Летом двор зарастал густой травой, и жаль было видеть, как водовоз, въезжавший во двор со своей бочкой, приминал траву колесами.

Кроме тополей, акаций, во дворе росла и белая сирень возле флигеля и деревцо калины у черного хода.

Жил у нас тогда дворник Лукьян, рязанский мужик, скучавший по своей деревне. Он во дворе завел себе уток, топтавшихся у колодца, под крышей сарая построил домики для голубей, и были они у него совсем ручные, садились ему на плечи.

В те годы флигель наш сдали купеческой семье, имевшей магазины на Тверской. Они держали корову, и пастух по утрам трубил и гнал стадо к Тверской заставе, в Петровский парк[12].

У ворот наших стоял столетний серебристый тополь, его

тяжелые ветви, поверх забора, висели над улицей...

Вход в дом был со двора. Парадное крыльцо имело полосатый тамбур, в белую и красную полоску; темные ступени вели к тяжелой двери с медной ручкой старинного звонка-колокольчика.

В доме лучшими комнатами были просторный, высокий белый зал с пятью большими окнами, рядом с ним, вся в темно-красном, большая гостиная. Дальше кабинет отца с большим, тяжелым письменным столом, большим диваном и книжными полками по стенам. Остальные комнаты были ниже, потому что над ними был еще мезонин, четыре комнаты которого выходили окнами во двор. С улицы дом казался одноэтажным...»[13]

В этом доме родилась и прожила почти двадцать лет, до замужества, Марина Цветаева; его она «любила и воспела», по ее собственному выражению; он был самым *родным* из ее *своих мест* на свете: дом в Трехпрудном, Таруса, Коктебель...

Трудно представить себе, что такой дом мог находиться в центре столичного города всего сто лет назад; скорее это похоже на помещичью усадьбу. Валерия Цветаева помнила дом еще до рождения Марины, но мало что менялось в обстановке в те годы. Разве что корову перестали держать во времена Мариниого детства да дворники были другие... Даже электричества не было до самого Мариниого отъезда.

Я привела подробное описание дома в Трехпрудном потому, что сама Цветаева, греясь его теплом всю жизнь, ни разу не показала его в таких бытовых деталях. Возможно, виною была ее близорукость: она не присматривалась к вещам и людям, а прислушивалась к ним. Это стало ее сущностью: минуя внешнее, она во всем искала внутреннего ритма и смысла. В собственном детстве – тоже. Она оставила замечательную прозу о своем детстве, где слова «Трехпрудный», «дом в Трехпрудном» неизменно повторяются в контексте самых светлых воспоминаний. Это был мир детства, мир с матерью, определивший очень многое в судьбе поэта.

«..."Трехпрудный" – моих вещей – Трехпрудный переулок, где стоял наш дом, но это был целый мир, вроде именья (*Hof*), и целый психический мир – не меньше, а может быть и больше *дома Ростовых,* ибо дом Ростовых плюс еще сто лет». Называя в письме А. Тесковой всем знакомую по «Войне и миру» семью Ростовых, Цветаева давала своему адресату не совсем верный ключ. Без сомнения, дом в Трехпрудном был особым психическим миром, но именно им он и отличался от дома Ростовых; «плюс еще сто лет» сыграли в этом решающую роль. Глава дома в Трехпрудном не был помещиком, как Илья Ростов. Иван Цветаев был попович, разночинец, человек труда – профессор. И как ни мила нам, вслед

за Толстым, семья Ростовых, как ни гармонична в своих чувствах, поступках и отношениях, никто из них не мог бы сказать о себе, как отец Цветаевой: «Я всю жизнь провел на высокой ноте!» За сто лет гармония постепенно начала уходить из мира, не было ее и в семье Цветаевых. Может быть, ей на смену пришли высота и интенсивность духовной жизни, определявшие психический мир дома в Трехпрудном.

Марина Цветаева родилась 26 сентября (ст. ст.) 1892 года. Ее появление было большим разочарованием для матери, мечтавшей о сыне и уже выбравшей ему прекрасное имя Александр. Кормили Марину кормилицы, одна из них была цыганка. Марина росла здоровой и крупной, называли ее в детстве ласкательно – Маруся, Муся. Через два года появилась у нее сестра Анастасия, Ася. Еще раз не оправдалась надежда матери на сына. Мать кормила Асю сама, но девочка была слабой и часто болела. Может быть, поэтому мать больше над ней дрожала и, как казалось Марине, любила.

Ко времени, когда Марина начала осознавать себя и окружающее – с двух лет, по ее словам, – обстановка в семье уже сложилась. Это оказалось совсем не просто в доме, где всего за год до Марии Александровны была другая хозяйка, где сохранялся ее уклад и росла ее восьмилетняя дочь. Вероятно, Мария Александровна допустила какие-то промахи и настроила падчерицу против себя. Субъективно, но и с желанием понять вспоминала Валерия Цветаева о появлении мачехи: «Была она человек лояльный, прямой, но характера резкого, несдержанного и к другим нетерпимого.

Грубых, обидных наказаний ко мне не применяли никогда, но и тепла, ласки никогда не было. Получилось между нами отчуждение, и я стала как-то дичать.

Позже поняла я, что Мария Александровна, до двадцати двух лет жившая очень замкнуто, взялась за непосильную для себя задачу: войти в чужое гнездо, стать матерью чужих детей, доброй женой человека мало знакомого, вдвое старше себя...

И сразу же начались метания: чужое гнездо разорить, на свой лад его переделать так, чтобы от прежнего духу не осталось; ясно стало, что чужих детей почувствовать родными – бремя тяжелое, нет к тому ни навыка, ни большой охоты; сживаться с добрым, но чужим человеком, – вот к чему свелась неиспользованная молодость да еще при требовательном, крутом нраве...» Это заключение субъективно и не совсем справедливо, но такое отношение к мачехе Валерия Цветаева пронесла через всю жизнь.

Дом действительно перестраивался на новый, не-иловайский лад. Даже мебель, принадлежавшая Варваре Дмитриевне, была

отправлена в Талицы и заменена «мейновской». Можно представить себе, что «иловайский» уклад был веселее и легче – дом не знал еще смерти. Символом перемен оказалась музыка: если при Варваре Дмитриевне звенели песни, романсы, оперные арии, то теперь дом наполняли звуки Бетховена, Гайдна, Шумана, Шопена. Легкость и простота навсегда оставили дом в Трехпрудном с появлением новой хозяйки…

Валерию отдали в Екатерининский Институт благородных девиц, маленький Андрюша остался дома. Он рос вместе со сводными сестрами, и Мария Александровна относилась к нему, как к родным дочерям, возможно, менее требовательно и строго.

Я говорила, что Марина Цветаева ни разу не описала внешность матери. Это не совсем так; в эссе «Мать и музыка» есть набросок портрета матери за роялем: «…вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч…» Это психологический портрет: непреклонность – главная черта характера матери, как воспринимала ее старшая дочь, рояль – самая сильная страсть материнской жизни.

Непреклонность определяла отношение матери к детям и характер их воспитания, бывшего полностью в ее руках. Она была сдержанна и внешне не ласкова, хотя горячо любила дочерей и связывала с ними свои несбывшиеся надежды. Но воспитание строилось по определенным, непреклонно проводившимся в жизнь принципам. Они отчасти повторяли те, по которым она росла в доме отца. Строгость и замкнутость, в которых ее воспитывали, теперь были помножены на ее собственную романтически-страстную натуру, на ее неосуществившуюся жизнь. Она мечтала, что дочери, наследовав ее любовь к искусству и высокие стремления, не повторят ее судьбу, выйдут в мир искусства, шагнуть в который ей не позволили обстоятельства.

Марина предназначалась в пианистки: у нее был абсолютный слух, большая, легко растяжимая рука и… добросовестность. Не чувствуя любви к музыкальным занятиям, она никогда не пыталась от них увильнуть или сократить положенное время за роялем. Позже Цветаева писала, что собственные «экзерсисы» не доставляли ей радости, потому что она рано научилась любить музыку в прекрасном исполнении матери. Однако она делала большие успехи и признавалась, что, проживи мать дольше, стала бы пианисткой. Мария Александровна начала заниматься с нею с четырех лет, тогда же Марина научилась читать, тогда же принялась рифмовать все со всем – кто из детей не рифмует? – о

чем мать записала в дневнике провидчески: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы, – может быть, будет поэт?»

Раз и навсегда было определено, что важно лишь духовное: искусство, природа, честь и честность. Религия не навязывалась, ханжества не было. Семья посещала университетскую церковь. Дети росли в сознании, что Бог – есть; этого казалось достаточно.

Все, что могло душевно, духовно, интеллектуально развить и направить детей, было им предоставлено: разноязыкие гувернантки, книги, игрушки, музыка, театр... Они начали говорить почти одновременно на трех языках: русском, немецком и французском. На их воспитание не только «не жалели средств», как тогда говорили, мать и сама отдавала детям много внимания и времени. Она учила дочерей музыке, читала с ними на языках, которыми они занимались, говорила обо всем, что любила и чем жила. Зато «чужие дети» – на бульваре, куда сестер водили гулять, или даже жившие у них во флигеле, – были строго запрещены. В знакомые семьи мать почти не ездила, и в Трехпрудном никто не бывал с детьми. Мария Александровна боялась заразных детских болезней, но еще больше чужого «дурного» влияния.

Поднявшись в детскую или взяв их к себе вниз, она проводила с ними часы за чтением или рассказами. Неповторимые и незабываемые вечера, когда, прижавшись к ней с двух сторон, Марина и Ася взахлеб слушали рассказы матери о ее детстве и юности, о дедушкином имении, о поездках с ним за границу или о книгах, которые она когда-то прочла, а они еще прочтут, об ушедших – а может, никогда и не бывших? – героях древности, о поэтах... В такие вечера мать научила Марину любить и тосковать о том, что было и никогда не вернется. «Я все в моей жизни полюбила прощанием», – скажет потом Цветаева. Эти часы близости с матерью, когда, накрывшись меховой шубой, они сливались в одно целое, назывались журавлиным словом «курлык» и запомнились навсегда. Мать читала им книги своего детства, для них покупали «Вечерние досуги», выписывали «Родник». Марина увлекалась писателями, которых мы теперь едва помним: Е. Сысоевой, Евгенией Тур, графиней де Сегюр. Но мать читала им и Чехова, Короленко, Марка Твена, по-французски – «Без семьи» Г. Мало, над судьбой героев которого Марина долго горевала. Читались и сказки: Перро, братья Гримм, Гофман, Андерсен. Марининой любимой была «Снежная королева» – она хотела быть или казалась себе такой же свободной и смелой, как Маленькая разбойница... Мать рано познакомила их с Пушкиным, Данте, Шекспиром. Но роднее всего была Германия, немецкие

романтики с их пристрастием к Средневековью и рыцарству, героической истории и легендам. Сначала Марина узнала их в переводах, потом и в оригинале. Ундина, Лорелея, Лесной Царь стали частью ее существа.

Как когда-то сама мечтала запастись духовным «материалом» на всю жизнь, так теперь Мария Александровна стремилась передать его детям, «запасти» и их. Ей важно было внушить им свои представления о мире. Ее общение с ними было перенасыщено, но Марининой души хватало: «О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с Ундинами, с Джен Эйрами, с Антонами Горемыками, с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет... так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще... Чтобы было, чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой и до последней минуты давала – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание – как в уже невмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно?.. Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь... И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, – то, чего всегда мало... Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики...»

Материальное, внешнее считалось низким и недостойным, Мария Александровна хотела внушить презрение к нему. Это было тем легче, что семья была богатая и недостатка ни в чем не ощущалось. «Деньги – грязь» – это материнское отношение Марина унаследовала. Как и ее самоё в детстве, мать строго-ненарядно одевала и причесывала своих дочерей. Их приучали не хотеть вкусного, сладкого. Это не значит, что к столу не давали фруктов или пирожных. Иногда мать водила их в кондитерскую и угощала чаем или горячим шоколадом с пирожными. Но дома конфеты были под замком, а просить – им не запрещали, нет; дети сами никогда не просили, зная с младенчества, с каким презрением и негодованием посмотрит мать в ответ на такую просьбу. Просить вообще считалось недостойным – это они восприняли как безусловное правило жизни. Кажется, легче было взять тайком, чем попросить. Мария Александровна стремилась искоренить в детях проявления жадности, зависти, ложь – всегда ли ей это удавалось? Но материнские правила жизни оставили глубокий след в душе Марины. «Это был дом молчаливых запретов и заветов», – вспоминала она. Но тем жарче и молчаливее жаждали дети запретного.

Детство катилось стремительно и оставило по себе ощущение счастья. Зимой – Москва. Родной дом, где знаешь каждый

закоулочек и различаешь скрип каждой двери и любой ступеньки, ведущей на «детский» верх. И все же он полон таинственности, он меняется в разное время суток, в нем можно мечтать и делать открытия без конца. Знакомые ежедневные прогулки: на Тверской бульвар к памятнику Пушкину или на Патриаршие пруды, – Марина предпочитает Тверской, потому что, еще не зная о поэте, она уже любит памятник Пушкину. Иногда поездки с матерью в магазины, покупка книжек, картинок, тетрадей для рисования, красок, карандашей… Изредка – театры. Сквозь окна – крики разносчиков, точильщиков, старьевщиков. Ни с чем не сравнимые, хватающие за сердце звуки шарманки… Жар и треск печей. И – праздники. Особенно Рождество, с ожиданием подарков, с елкой, которую до срока прячут от детей, а потом она является – ярко наряженная, с зажженными свечами, со сладостями – каждый раз как будто неожиданно… Уют и тепло родного дома – такого у Цветаевой больше не было.

Летом – полудеревенская Таруса. Калужская губерния, маленький городок над чистой, спокойной и рыбной Окой, центр России. Типично русский город: просторные солидные дома, массивный Успенский собор на базарной площади, сразу за переездом через Оку, «городской сад» вдоль берега, Воскресенская церковь на горе, высоко над городом. Богатые лавки и магазины, спокойно-неторопливый уклад провинциальной жизни… Типично русский пейзаж: одинокая береза или несколько сосен посреди поля; луга, березовые рощи, перелески, бескрайние поля… «Лесов здешних не исходишь», – писал Иван Владимирович. Он, а вслед за ним и Марина, были неутомимыми ходоками. Тропинки, ручейки, речушки – все бегущее с холма на холм, уводящее вдаль, приносящее умиротворение. Подумаешь – Таруса – и сразу вспомнятся цветаевские строки:

Сини подмосковные холмы,
В воздухе чуть теплом – пыль и деготь.
Сплю весь день, весь день смеюсь, – должно быть,
Выздоравливаю от зимы…

Прочтешь эти стихи – и сердцем увидишь тарусский пейзаж.

От станции Тарусская нужно было ехать семнадцать верст. Цветаевых встречал тарусский извозчик Медвежаткин с лучшим своим экипажем – «карета с фонарями». Если доводилось ехать в темноте, фонари зажигали, было красиво и романтично. Ничего, что Марину всегда тошнит: и в поезде, и в коляске, – счастье приезда затмевало все огорчения. Вот уже переправились через

Оку на пароме, дальше можно ехать ве́рхом, через город, или низом, вдоль реки: дача, которую профессор Цветаев арендует у города, стоит совсем одна верстах в двух за Тарусой. Этот небольшой, деревянный, очень уютный дом с мезонином, с большой террасой и маленьким верхним балкончиком таил для детей множество разнообразных возможностей и радостей. С балкона открывались заокские дали, сквозь верхушки деревьев мелькала и блестела на солнце Ока. Часто виделись с Добротворскими, их большой, украшенный резьбой деревянный дом и сейчас стоит на главной улице. Иван Зиновьевич Добротворский (дядя Ваня) был земским врачом, добрая память о нем жила у тарусян и много лет спустя после его смерти. Жена его Елена Александровна – двоюродная сестра Ивана Владимировича; отношения с ними и их детьми – по возрасту близкими Валерии – очень родственные… Бывали в уютном, праздничном для цветаевских детей доме Тьо, после смерти дедушки Мейна навсегда поселившейся в Тарусе. Изредка ездили в гости к художнику В. Д. Поленову, его усадьба стояла километрах в семи ниже по Оке. Там было много молодежи, устраивались веселые праздники…

Простота и размеренность деревенской жизни: купание, катанье на лодках, походы по грибы и за ягодами, прогулки по любимым местам. Непрекращающаяся и здесь материнская музыка, а иногда пение в два голоса с Лёрой – голоса уплывали далеко по реке… Здесь дети были еще ближе к матери, она проводила с ними больше времени. Да и отец тоже: совместные прогулки, купанья, поездки или походы в город. Он не мог оставаться без дела; если не сидел за письменным столом, занимался огородом: «Я много копаюсь в огороде и вывожу овощи, – капусты разных сортов, брюкву, сельдерей, лук, чеснок. Пусть дети, пока малы, проводят лето в одной и той же сельской обстановке, благо она здесь так прекрасна»[14]. Вся семья любила Тарусу, каждый находил в ней свою прелесть. Осенью – всегда горькое прощание и обещание не забывать «моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы». Елка действительно была ее собственная: арендуя дачу много лет, Иван Владимирович посадил вокруг нее ели в честь рождения каждого из своих детей. Для не знавшей русской деревни, почти не ездившей по стране Цветаевой понятие России воплотилось в слова «Таруса» и «дом в Трехпрудном».

Детство неслось завидно-счастливо между этими двумя местами, но не было безоблачно-просто. Не были простыми характеры и отношения детей между собой, непросты были и отношения с матерью. «Будь моя мать… так же проста со мной,

как другие матери с другими девочками», – обмолвилась однажды Марина Цветаева без горечи и сожаления. Она принимала, любила и восхищалась матерью такой, какой та была. Но расти у такой матери было нелегко. Была Мария Александровна не только строга и требовательна, но и резка, презрительна, неуравновешенна: «... деспотична – характером и жалостлива душой», – как писала в книге «Дым, дым и дым» Анастасия Цветаева[15]. Матери недоставало спокойного терпения, так необходимого в постоянном общении с детьми. Ей казалось, что ее дети должны знать и понимать гораздо больше, чем было им доступно по возрасту. Марина боялась не только просить, но и спрашивать. Так было, например, с Наполеоном.

> «– Мама, что такое Наполеон?
> – Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?
> – Нет, мне никто не сказал.
> – Да ведь это же – в воздухе носится!
> Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности...»

Зато невозможность спросить заставляла искать собственные ответы на все вопросы и недоумения, будила фантазию.

За шалости и проступки детей наказывали, сажали в темный чулан. Марине это было нипочем. Труднее переносились длинные нотации матери, патетические восклицания: «Как? И это мои дети?!» или: «И это дедушкины внучки?!» Не хотелось огорчать мать, но временами ее внушения вызывали обратную реакцию: чувство протеста заставляло Марину стремиться к недозволенному. Анастасия Цветаева утверждает, что понятия добра и зла смещались в сознании ее сестры, вернее, не смещались, а границы добра сознательно преступались. Впрочем, и сама Марина Цветаева пишет об этом в «Чорте». Общепринятое было ей чуждо, уже тогда у нее были особые отношения с миром, в которых явь так тесно сплеталась с фантазией, что невозможно было их отличить. Она описала свои младенческие отношения с Чортом так вдохновенно, что убедила читателя, что ей эта встреча принесла благо. Еще не слыхав о «Фаусте», она восприняла Чорта как «часть той силы, что без числа творит добро...». В семье, где религия уважалась, возникновение подобной фантазии кажется странным, но разве можно управлять детской фантазией? Марине достаточно было малости, чтобы воображение ее заработало.

Вспомните «Мать и музыку». Какие небывалые ассоциации вызывали у ребенка названия нот, нотные знаки и ненавистный метроном. Как поразительно окрашивает она звуки и слышит –

слова; как естественно нотные знаки оживают у нее в воробышков, каждый со своей ветки спрыгивающих на клавиши; рояль мнится гиппопотамом, а метроном – гробом, в котором живет сама «бессмертная (уже мертвая) Смерть». А стихи! Не смея и не желая спрашивать, Марина заполняла непонятные места, отдаваясь собственной фантазии. Это было легче, потому что дофантазировались они в контексте, который даже в раннем детстве она улавливала точно. Не только каждая строка – каждое слово таило в себе целый мир, едва названный и вызываемый к жизни поэтическим воображением ребенка. Детские фантазии оказались первыми поэтическими созданиями Цветаевой. Так в маленькой Мусе рождался поэт. Не рождался, а пробуждался, пробивался сквозь детские заботы и шалости, сквозь игры и занятия музыкой. Ибо Цветаева знала – и это в младенчестве внушила ей мать, – что любой талант, в том числе и поэтический дар – прирожденное, заранее заданное, никакой собственной заслуги в нем нет. «Так это у меня навсегда и осталось, что я – не при чем, что слух – от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия...»

Характер Марины был не из легких – и для окружающих, и для нее самой. Гордость и застенчивость, упрямство и твердость воли, непреклонность, слишком рано возникшая потребность оградить свой внутренний мир. Это отгораживало ее от окружающего. И может быть, она делала зло не с упоением, а просто не давая себе отчета, что оно – зло. Раскаянию же мешали ее гневливость и упрямство, поддерживаемое непреодолимой застенчивостью, от которой Марина страдала и в юности и которую тщательно скрывала – иногда нарочитой резкостью. В детстве застенчивость мешала ей признаться в неправоте, когда она ее сознавала. Легче было вынести наказание. «Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства», – признавалась Цветаева. Она готова была защищать любую обиженную кошку или собаку и могла подраться с нянькой и гувернанткой. Между детьми драки возникали по любым поводам, каждый спор или недоразумение решались кулаками. При этом Марина кусалась, Андрюша щипался, а самая слабая Ася царапалась и тоненьким противным голосом пищала: и-и-и. Пищала она во всех трудных для себя обстоятельствах, и брат с сестрой дразнили ее этим. Дразнить и насмешничать тоже входило в их обиход. Главным поводом для ссор между сестрами оказывалось стремление к полному и единоличному обладанию чем-нибудь – совсем не обязательно вещественным. И здесь заводилой была Марина: все, что она любила, она хотела любить одна. Делилось все: картинки, игрушки, карандаши, деревья,

облака, книги и их герои. «Это – мое» было табу и значило, что другая не смела не только просить, но и желать этого втайне. Марина не терпела даже, чтобы Ася читала одни с нею книги и любила «ее» литературных героев. Непрестанно менялись: я тебе отдам то-то, а ты мне за это – то-то. Часто обмен происходил чисто умозрительно, потому что менялись чем-нибудь абсолютно бесплотным. Неразменными, по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, оставались лишь две баллады Жуковского: Марине принадлежала «Ундина» (на сюжет Ф. де ла Мотт Фуке), Асе – «Рустем и Зораб» (подражание Рюккерту). Право любить, любоваться, мечтать, тосковать одной, право на свой недоступный для других внутренний мир Марина ожесточенно отстаивала.

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все... —

так Пушкин выделил из круга свою Татьяну. Пушкинская Татьяна стала идеалом многих поколений русских девушек, которым книги «заменяли все». К их числу относилась Мария Александровна Цветаева. И Марина. Едва научившись читать, она набросилась на книги и принялась читать все без разбору: книги, которые давала ей мать и которые брать не разрешала; книги, которые должен был читать, но не читал – не любил – старший Андрюша; книги, стоявшие в запретном для Марины, как все «иловайское», шкафу сестры Лёры. Марина прочла книги материнского детства, книги Лёриного детства и в пять лет наткнулась в Лёрином шкафу на «Сочинения» Пушкина. Это был «взрослый» Пушкин, она понимала, что мать не разрешит ей читать эту книгу, будет сердиться, если увидит, а потому читала его тайком, уткнувшись головой в шкаф. Пушкин оказался первым поэтом Цветаевой. Первым, кого она задолго до того, как научилась читать, узнала по памятнику на Тверском бульваре, по картине «Дуэль», висевшей в родительской спальне, и по материнским рассказам; первым, кого она прочла сама. Он навсегда остался для нее первым Поэтом. Если верить Цветаевой – а почему бы нам ей не верить? – мать, Пушкин и Чорт определили ее мировоззрение, жизненный путь и отношение к миру.

Все детство Марина читала запоем, не читала, а жила книгой, с трудом отрываясь и осознавая окружающее. «Провалилась в книгу», – говорила Мария Александровна. Впрочем, в семь – девять лет она с таким же восторгом «проваливалась» в запрещенную матерью Лёрину «нотную литературу» – романсы и песни, стоявшие на этажерке. Схватывалось все – понятное и

непонятное, чтобы, запомнившись, быть понятым и осмысленным в будущем.

О детство! Ковш душевной глуби! —

эту строку Пастернака Цветаева любила. Как глубоко спрятала и сохранила сама она все материнские уроки! Мария Александровна была бы довольна: ее мечта воплотилась – пусть не в музыке, а в поэзии – ее старшей дочерью. В душе Марины не угасали любовь к матери и вечная ей благодарность. Часы, проведенные с нею, вспоминались как никогда не повторившееся счастье. Такой интенсивности и глубины отношений с тех пор, возможно, у Цветаевой не было ни с кем. Даже то, что, казалось, отделяло от матери – ее строгость, непреклонность, спартанство, – одновременно сближало с нею, становясь частью существа Марины. Мать сумела передать ей и свой характер, и свою душу. Чуравшиеся сентиментальности и открытого проявления чувств, они понимали друг друга без слов, ибо Марина уже жила в ее высоком романтическом мире. Недаром, вспоминая дом в Трехпрудном, она называла его «страной, где понималось – всё».

Может быть, меньше всего мать понимала и одобряла ее детские стихи. Можно найти оправдание Марии Александровне. Она мечтала о дочери-пианистке и видела, что играет Марина хорошо, а стихи пишет плохо. Вероятно, ей не приходило в голову, что поэтических Моцартов история литературы не знает и что нельзя сравнивать стихи маленькой Марины с Пушкиным или Гёте. Неуклюжие детские вирши казались ей нелепыми рядом с той великой поэзией, которой она жила.

Марина начала сочинять рано. Первая стихотворная тетрадь, о которой она вспоминает, была закончена до школы, лет в семь. Она, как и остальные детские стихи Цветаевой, не сохранилась. Нам остались разрозненные отрывки, которые цитирует взрослая Цветаева. Это неумелые подражательные стихи с отзвуками всего, что Марина уже прочла. Не писать она не могла. Рассказывая в «Истории одного посвящения» о своей первой тетрадке, Цветаева приводит четверостишие, которым она завершалась:

Конец моим милым сочиненьям
Едва ли снова их начну
Я буду помнить их с забвеньем
Я их люблю.

Вслед за стихами идет диалог с воображаемым собеседником:

> «– Вы никогда не писали плохих стихов?
> – Нет, писала, только – все мои плохие стихи написаны в дошкольном возрасте.»

Плохие стихи – ведь это корь. Лучше отболеть в младенчестве». И Марина «болела» стихами и огорчала ими мать, не понимавшую, что ее ребенок «обречен» быть поэтом. Мария Александровна не дожила до цветаевских стихов, которые убедили бы ее в этом.

А отец? Погруженный в свои дела, он был как бы в стороне от повседневной домашней жизни, в заботах о воспитании детей положившись на жену. Цветаева запечатлела такую сцену. Мать выговаривает Марине, не первый раз уличенной в чтении Лёриных нот. В это время из кабинета выходит Иван Владимирович, и она обращается к нему за поддержкой: «... Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ! – мать, *торопливо проходящему* с портфелем в переднюю, *внимательно-непонимающему* отцу...» (выделено мною. – *В. Ш.*). Одной фразой Марина Цветаева определила положение отца в доме. Он был добр, ласков, часто, как и Лёра, смягчал материнскую резкость, но в целом —отсутствовал. Дети постоянно слышали о Музее, знали, что и мать душою привязана к мечте и делу отца, что она много ему помогает, но вряд ли они были в состоянии понять, сколько энергии и труда вкладывает отец в свое детище.

В девять лет Марина пошла в гимназию, но это мало что изменило в ее жизни, ведь уже с шести она училась в музыкальной школе. Разве что с еще большей радостью ожидались праздники и каникулы... Так шло до 1902 года, когда над домом в Трехпрудном разразилась гроза: Мария Александровна заболела чахоткой. Еще летом она ездила с Иваном Владимировичем на Урал, где добывали мрамор для Музея, писала им письма, и они ждали ее возвращения с уральским котом... Кота родители не привезли, зато привезли много образцов уральского камня и еще больше интересных рассказов о поездке. А осенью мать неожиданно заболела, и врачи обнаружили у нее чахотку. Ей предписали лечение на Юге, в Италии. Цветаевы начали собираться туда на зиму. Ехали всей семьей, кроме Андрюши, которого дед Иловайский оставлял у себя, чтобы он учился в русской гимназии.

Заграница

Первое, что почувствовала Марина при этом известии, – радость. Мы едем к морю! Это было исполнением тайной мечты. Все предыдущее лето она захлебывалась пушкинским стихотворением «К морю»:

Прощай, свободная стихия!..

Эти стихи были как наваждение, в них открывался огромный мир, в котором она сама была хозяйкой. Потому что каждое слово в них можно увидеть, вообразить и объяснить – она не задумывалась, похожи ли ее объяснения на общепринятые. Она услышала и приняла у Пушкина главное – любовь и тоску в их неразрывности. И еще: с этих стихов она навсегда знала, что «свободная стихия» – это стихи и ничто другое. Марина выучила «К морю» наизусть и множество раз переписывала их в самодельные книжечки – чтобы можно было всегда носить с собой, чтобы как можно красивее, без клякс и помарок, чтобы «я сама написала»... А теперь она скоро собственными глазами увидит это «К морю».

Марина еще не могла понять ни тяжести обрушившейся на семью беды, ни того, что прежняя – такая счастливая! – трехпрудно-тарусская жизнь кончилась навсегда. Дом в Трехпрудном растворил двери и выпустил ее в мир. Правда, мать, выходя из дому, обмолвилась: «Я уже больше не вернусь в этот дом, дети...»[16] Но разве дети слышат такие страшные слова? Они опускают их куда-то глубоко внутрь и вспоминают много лет спустя. Перед ними открывалось новое, и они ринулись в него без оглядки. Замелькали новые страны, незнакомые люди, «чужие» дети. За три следующих года девочки сменили три страны.

В ноябре 1902 года Цветаевы были уже в Нерви под Генуей. Мария Александровна чувствовала себя совсем плохо, временами муж боялся, что не довезет ее до Италии. Первый месяц в Нерви она не выходила из комнаты, противилась попыткам выносить ее к морю: «шум волн наводит на нее уныние и плаксивое настроение», – писал Иван Владимирович. Никогда раньше дети не видели мать такой. Ее болезнь предоставила им свободу. Теперь их повседневность больше зависела от Лёры, не строгой, любившей их тогда, разрешавшей многое, чего не допустила бы мать. Впервые Марина почувствовала себя свободной – впрочем, до сих пор, не зная свободы, она своей несвободы не ощущала. У

хозяина «Русского пансиона», где жили Цветаевы, было двое сыновей – одиннадцати и шестнадцати лет. Они росли без матери. Марина и Ася сразу же подружились с младшим, Володей. Он научил их лазать по скалам, жечь костры, печь рыбу в золе. С ним девочки пробовали курить. Втроем или вчетвером они проводили целые дни вне дома: в садах, на скалах, на море. Правда, как только Мария Александровна почувствовала себя лучше, она взяла напрокат пианино, возобновились занятия музыкой. Приходила учительница, с которой девочки занимались русским языком, чтобы не забывать его. Марина уже говорила и читала по-итальянски. Но свободного времени было достаточно, и главным в той жизни была дружба с Володей. Цветаева посвятила памяти этой дружбы несколько стихотворений в своих первых книгах.

Он был синеглазый и рыжий,
(Как порох во время игры!)
Лукавый и ласковый. Мы же
Две маленьких русых сестры.

Уж ночь опустилась на скалы,
Дымится над морем костер,
И клонит Володя усталый
Головку на плечи сестер.

А сестры уж ссорятся в злобе:
«Он – мой!» – «Нет – он мой!» – «Почему ж?»
Володя решает: «Вы обе!
Вы – жены, я – турок, ваш муж».

За скалы цепляются юбки,
От камешков рвется карман.
Мы курим – как взрослые – трубки,
Мы – воры, а он атаман.

Никогда еще не знала Марина такого замечательного детского товарищества, впервые она оторвалась от мира, в который ввела ее мать, и погрузилась в увлекательнейшие игры: разбойники, контрабандисты, пираты... Сестры вырвались из-под скучного надзора взрослых, их затягивала «дикая воля» – так назвала Цветаева одно из стихотворений-воспоминаний о том времени.

Но и взрослые, окружавшие их в Нерви, были новы и интересны. В «Русском пансионе» в Нерви жили революционеры-

эмигранты. Встреча с ними произвела огромное впечатление, Цветаева отметила ее в «Ответе на анкету» как одно из важных «душевных событий». Это были люди, каких она до сих пор не знала. Они отрицали Бога, брак, семью. Между ними не было мужей и жен – друг, подруга. Они все время спорили: о партиях, о революции, о народе... Революционеры были «за народ», «за угнетенных», против царя. Марина жадно впитывала их разговоры, стремилась вникнуть и понять; как вспоминала младшая сестра, писала о них стихи, которые до нас не дошли; вероятно, они были написаны в духе революционных песен, иногда певшихся в нервийские вечера. Революционеры бывали у Цветаевых, их привлекали музыка матери, русский чай и уют, царивший вокруг Марии Александровны. Она напряженно и настороженно прислушивалась, видя увлечение Марины этими людьми. Мать опасалась их влияния на Марину, которую той зимой поглотили две свободы: собственная «на скалах» и та, о которой так жарко говорили революционеры. Собственная их с Асей и Володей свобода постепенно превращалась в какую-то вольницу. Как писала в воспоминаниях Валерия Цветаева, они, «что называется, „разболтались“: игры перешли в затеи недопустимые и обидные для окружающих. Все четверо ребят одичали, потеряли меру вещам...». Это не могло дольше продолжаться.

В ту зиму мать увлеклась Владиславом Александровичем Кобылянским, которому Марина дала прозвище «Тигр». Он не был первым ее увлечением. Года за два перед тем она увлеклась репетитором Андрюши, который нравился Лёре. Репетитору пришлось съехать из дому. Рассказывая об этом, В. И. Цветаева глухо прокомментировала: «Отец не знал, что переезд не много будет значить». Видимо, примерно к тому времени относилась последняя запись в дневнике Марии Александровны, упомянутая Анастасией Цветаевой: «"Мне 32 года, у меня муж, дети, но..." – дальше была густая шерстка аккуратно вырезанных листков. Кто-то – Лёра? – сказал нам, что их вырезал папа». Это «но» и уничтоженные страницы дневника – чтобы дети не прочли – не свидетельствуют ли о драме, разыгравшейся в Трехпрудном? Но тогда младшие – Андрюша, Марина, Ася – ничего не заметили. Теперь же особое отношение матери к Тигру не было секретом для девочек – они и сами обожали его! Он был революционером и эмигрантом! Необыкновенным, ни на кого не похожим! Таких людей они никогда не встречали! Ироничный, насмешливый, гордый, обособленный даже от своих товарищей по революции, не признающий никаких «мещанских» правил обыденной жизни, к Марии Александровне и ее дочерям Тигр относился по-дружески,

с интересом и вниманием. Сохранилась нервийская фотография, запечатлевшая Тигра с Мариной и Асей, держащими его руку. Узкое длинное лицо, обрамленное острой бородкой, ироничный и внимательный взгляд, необычный черный бант вместо галстука – он похож на романтического героя или, может быть, чуть-чуть на Мефистофеля? Недаром Цветаева вспомнила Тигра в «Чорте». Как же было им всем троим не любить его?.. Только много лет спустя, после революции, когда вернувшийся из эмиграции Кобылянский разыскал в Москве Марину, она услышала рассказ о его и Марии Александровны любви, о том, что мать готова была оставить семью и соединить свою жизнь с Тигром. И как в последний момент она не позволила себе переступить через жизнь мужа и детей. Но хотя в Нерви Марина и Ася не подозревали об этом, переживания, сотрясавшие мать, не могли не отразиться на ее отношениях с дочерьми; теперь не только болезнь отнимала у них ее время и мысли.

К концу зимы стало ясно, что вернуться в Россию Мария Александровна еще не может, Цветаевы предполагали, что она проживет за границей до июня 1904 года. Надо было куда-то устраивать девочек, оставлять их без настоящего присмотра, воспитания, школы было больше невозможно; Марина, кажется, и впрямь начала походить на Маленькую разбойницу из сказки Андерсена. Иван Владимирович ездил в Лозанну, договаривался об определении девочек в пансион сестер Лаказ. В Нерви приехала Тьо, чтобы подготовить их к пансиону и отвезти в Лозанну. Она нашла их совершенно дикими, невоспитанными и принялась «муштровать», однако любила и баловала по-прежнему. Мария Александровна окрепла и уже могла поехать с мужем и Лёрой по городам Италии.

Оторвав их от Нерви, от моря, от новых друзей, от свободы, Тьо в мае повезла Марину и Асю в Лозанну. Они заранее ненавидели свой будущий пансион – разве он мог заменить дикую волю, Володю, друзей-революционеров?.. В пансионе их встретили с радостью. Здесь царили доброжелательность и семейный уют, пансионерки дружили между собой и уважали сестер Лаказ и учителей. Перемены, прогулки в городе и пансионском маленьком садике, даже занятия проходили легко и весело. Все были добры к русским девочкам. Этому трудно было сопротивляться, и Марина с Асей с головой окунулись в – еще одну! – новую жизнь и во французский язык. Ася оказалась самой младшей в пансионе, Марину, которой не было еще одиннадцати, приняли в свой круг старшие воспитанницы; умом и развитием она была вровень с ними. Училась она легко и с удовольствием, опять делала успехи в занятиях музыкой, строгий учитель был ею

доволен. В Лозанне она начала носить очки, близорукость уже мешала читать ноты и мелкий шрифт. Читала она, как всегда, много, теперь – по-французски. День бывал заполнен до предела: учеба, музыка, книги, игры, подруги... Переписка с родителями.

Ненадолго приезжала проведать их мать. Опять упивались девочки ее близостью, разговорами, воспоминаниями – обо всем, прогулками с нею. Опять она принадлежала только им! Это был праздник, всегда короткий.

Держала мама наши руки,
К нам заглянув на дно души.
О, этот час, канун разлуки,
О предзакатный час в Ouchy!

На каникулы пансион отправился в Альпы, к Монблану: величественный, доселе невиданный пейзаж, горные дороги и тропинки, восхождения, обеды в придорожных гостиницах, множество впечатлений... Ездили и в Шильонский замок, знакомый по балладе Жуковского. Нерви отступало в прошлое, становилось сном. Анастасия Цветаева пишет, что под влиянием революционеров в Нерви они с сестрой совершенно отказались от религии, приняли безбожие своих взрослых друзей. И первое время в пансионе Марина отстаивала свои новые убеждения весьма воинственно. Однако сочувствия не встретила. Наоборот, вся обстановка этого католического пансиона – веселая, дружная, высоко нравственная, но без ханжества, беседы о Боге с начальницей и ее духовником-аббатом – совершила переворот в душе Марины. В «Ответе на анкету» следующим после «Революции» душевным событием она называет «11 лет – католичество». Анастасия Цветаева пишет, как подолгу они молились на ночь, с каким подъемом ходили в еще недавно осмеиваемую церковь, как старались вести себя по-христиански. Кажется, в этом они не слишком преуспели, речь идет лишь о том, чтобы, пересилив себя, взять после всех самые невкусные пирожные. Но к этому их приучили еще в Москве – не жадничать!

Больше года провели Марина и Ася в Лозанне. Они были счастливы здесь – потому так уместна мемориальная доска в память русского поэта Марины Цветаевой на доме, где помещался пансион Лаказ – бульвар де Гранси, 3. Она установлена летом 1982 года.

Картина их жизни снова меняется. Родители забирают девочек из пансиона Лаказ, и они – все вместе! – едут дальше на север, в знакомый по сказкам Шварцвальд. Мария Александровна

надеется постепенно приучить свои легкие к более суровому климату, чтобы еще через год вернуться в Россию. Зиму дети проживут в немецком католическом пансионе во Фрейбурге – вот и еще один язык станет им совсем родным! Мать поселится там же, вблизи них, они смогут бывать у нее, постоянно видеться... Но конец лета – их! Вчетвером, с родителями – они так давно не были все вместе – они останавливаются в деревне Лангаккерн за Фрейбургом, над Фрейбургом в горах Шварцвальда. Гостиница «Ангел» – она и сегодня стоит на том же месте, окруженная теми же лесами, горами, деревнями. Даже огромная старая липа, под которой Цветаевы любили обедать и пить чай, – все такая же старая стоит перед домом. Приветливые хозяева и их дети – Карл и Мариле, совсем не похожие на нервийского Володю, но и с ними завязывается крепкая дружба. Мать чувствует себя почти здоровой, отец счастлив ее выздоровлением; всей семьей они гуляют по прекрасным лесным дорогам Шварцвальда. Никто не догадывается, что это их последнее счастливое и беззаботное «вместе». Марина влюбляется в Шварцвальд, иначе и не могло быть, ведь Германия ее «прародина», мать внушила ей свою восторженную любовь к этой стране. Она жила в душе Марины, но, может быть, только в Шварцвальде по-настоящему проснулась. «Как я любила – с тоской любила! до безумия любила! – Шварцвальд, – вспоминала она в девятнадцатом году, среди голода и разрухи. – Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса – не говорю уже о деревне, с надписями, на харчевенных щитах „Zum Adler“, „Zum Löwen“...»

В Шварцвальде по-новому оживают старинные немецкие сказки и легенды, черные пики елей напоминают о средневековых замках; мать вслух читает им по-немецки «Лихтенштейн» Вильгельма Гауфа. Германия и немецкий язык вошли в кровь Цветаевой. Язык она знала и чувствовала, как русский, сам дух Германии ощущала родным. Даже обожаемую Грецию она брала из немецких рук: ее мифологией были «Прекраснейшие сказания классической древности» Густава Шваба. «Во мне много душ. Но главная моя душа – германская» – в этом убеждении Цветаева прожила жизнь.

Лето кончилось – к сожалению, слишком быстро. Отец уехал в Россию, девочки поселились в пансионе сестер Бринк во Фрейбурге, мать – в мансарде красивого старинного дома в квартале от пансиона. Только ее близостью, возможностью часто с ней видеться скрашивалась для Марины и Аси жизнь в пансионе Бринк. Он казался особенно мрачным после чудесного шварцвальдского лета и душевно-свободной жизни пансиона Лаказ. Дисциплина и подчинение – вот чего требовали здесь от

пансионерок. Скука утомляла, хотелось шалить и все делать наоборот; не останавливала даже угроза плохих отметок. Кормили скудно и скучно, гулять – в обязательном порядке – водили по одному и тому же опротивевшему маршруту: на возвышающуюся над городом гору Шлоссберг. Почему? Ведь Фрейбург красив, его окрестности живописны. Видимо, сестрам Бринк не хватало воображения. В январе приехавший из Москвы Иван Владимирович с несвойственной ему резкостью жаловался в письме: «Вчера обе наши девочки явились с прогулки на высокую гору окровавленными: их дура-воспитательница повела на гору, когда под ногами был лед, они, спускаясь по крутой дорожке, упали одна на другую, причем младшая разбила себе нос до хряща, а старшая сорвала кожу на колене...» Можно живо представить себе сухую воспитательницу, воспитанниц, пара за парой с тоской бредущих по обледеневшей тропинке, и Марину с Асей от скуки толкающих друг друга – чинностью и послушанием они не отличались. Даже о Боге у сестер Бринк говорили так противно и нудно, что Марина из протеста постепенно растеряла всю свою лозаннскую набожность.

В феврале кончилась единственная радость фрейбургской жизни – встречи с матерью. Ее болезнь резко обострилась после простуды, и она вынуждена была переехать в санаторий. Марию Александровну отвезли в Санкт-Блазиен, отец вернулся домой. Без матери жизнь в пансионе казалась еще нестерпимей. Это время совпало с печальным событием: в Москве друг за другом умерли от туберкулеза Сережа и Надя Иловайские, дети «дедушки Иловайского» от второго брака. Они приходились близкими родственниками Андрюше и Лёре, были приблизительно Лёриными ровесниками, Надя и Лёра дружили. Когда-то в далеком детстве, лет пяти – семи Марина была влюблена в Сережу, а он – единственный из взрослых – с интересом относился к ее стихам. Еще совсем недавно Иловайские жили вместе с Цветаевыми в Русском пансионе в Нерви. Надя была красивее всех, на гуляньях все любовались ею, и Марина даже служила почтальоном между нею и одним молодым человеком. А теперь Нади нет... Это известие, пришедшее в письме отца, произвело на Марину ошеломляющее и необыкновенное действие, которое она протаила в себе более двадцати лет. Лишь в 1928 году в письме к Надиной подруге Вере Буниной она впервые упомянула о том, чем оказалась для нее смерть Нади, позже описала это в «Доме у Старого Пимена».

Это был первый мистический опыт в ее жизни, ибо история с Чортом – всего лишь игра детской фантазии. Теперь же, двенадцати лет, узнав о смерти Нади, она вдруг ощутила пустоту

в мире и нестерпимый жар любви в сердце. Нужно было вернуть время вспять, чтобы этой смерти еще не было, чтобы ее никогда не было. Нужно было увидеть Надю, глядеть на нее, сказать ей о своей любви. Сердцем и памятью обойдя все места, где могла быть Надя, Марина впервые в жизни поняла, что эта разлука – навеки, что смерть – это нигде, что Нади больше нет. Это было потрясение, с которым невозможно было смириться, и Марина со свойственным ей упорством начала искать встречи с Надей, ждать ее, стараясь угадать, в какое безлюдное место могла бы прийти Надя, чтобы встретиться с нею, стремглав летя туда, боясь лишь одного – чтобы никто не помешал, чтобы не спугнуть саму Надю. Она жаждала и умоляла, пускалась на хитрости, надеясь застать Надю врасплох; жила, целиком сосредоточась на этой идее. Она чувствовала, что Надя где-то здесь, рядом, ходит за ней, что Наде нужна ее любовь... Она ни с кем не говорила о Наде, стремилась прервать любое упоминание о ней; ей казалось– если молчать о смерти, ее как бы еще нет; так впоследствии было у нее и со смертью младшей дочери... Нади Марина так ни разу и не увидала – может быть, поэтому «наваждение» тянулось долго: «два года напролет пролюбила, *провидела* во сне – и сны помню! – и как тогда не умерла (не сорвалась вслед) – не знаю...»

Уже взрослой Цветаева часто видела умершего Александра Блока живым: «После смерти Блока я все встречала его на всех московских ночных мостах, *я знала,* что он здесь бродит и – может быть – ждет, я была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему сужденная – и несбывшаяся...» После похорон А. А. Стаховича она записала в дневнике: «Нет этой стены: живой – мертвый, был – есть. Есть обоюдное доверие: он знает, что я вопреки телу – есть, я знаю, что он – вопреки гробу! Дружеский уговор, договор, заговор... И с каждым уходящим уходит в *туда*! в *там*! — частица меня, тоски, души...» В феврале 1905 года маленькая Марина еще не умела так думать. Что же это было тогда? С чем связано это необычное и так долго тянувшееся состояние? Откуда у девочки эта тоска и жажда потусторонней встречи? Здесь существует общее: разлука, любовь, смерть, бессмертие. Толчком – неосознанным, спрятанным глубоко в подсознании, не допущенным даже в чувства – мог быть страх смерти матери. Видя столько больных в Нерви и столько могил на нервийском кладбище, оказавшись свидетелем смерти чахоточного немецкого юноши, с которым успели подружиться, могла ли Марина не думать о страшной угрозе, нависшей над матерью? Загнав эту мысль на глубину, откуда она не могла выскочить, «забыв» ее, Марина свою тоску о еще живой матери перенесла на уже умершую Надю. Совпадение

времени – разлука с матерью и известие о смерти Нади – усугубило ужас перед надвигающимся. Временная разлука с Марией Александровной – Санкт-Блазиен так близко от Фрейбурга! они все вместе будут там жить летом! – в тоске ощущалась такой же вечной, как разлука с Надей. Может быть, образ умершей Нади замещал в детском сознании образ умирающей матери? Было бы грехом оплакивать ее, надо было надеяться. Возможно, встречи с Надей Марина ждала как утешения, знака, что и мать не уйдет бесследно. Когда мы читаем признание Цветаевой в письме к В. Буниной, что смерть Нади «затмила мне смерть матери», не будем приписывать это Марининой черствости. Просто за полтора года между Надиной и материнской смертями, тоскуя по Наде, Марина уже оплакала в ней мать.

Встречи с Надей не было, но «знаки» от нее были, во всяком случае Марина их узнавала: в облаке, напоминающем Надин румянец или овал лица, в запахе цветочного магазина, воскрешающем «бой цветов» в Нерви, в жидком кофе, похожем на цвет ее глаз. Так позже был ей знак от уже покойной матери – она писала об этом Эллису летом 1909 года. Во сне она видит мать и просит: «"Мама, сделай так, чтобы мы встретились с тобой на улице, хоть на минутку, ну мама же!" – „Этого нельзя, – грустно ответила она, – но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, помни, что это я или от меня!“ Тут она исчезла». В том же сне Марина видит померанцевое деревце в кадке и понимает, что это – мама! Тема сна и сновидений у Цветаевой требует специального исследования, сама она придавала этому громадное значение: сон был для нее одним из воплощений жизни и одновременно мистической связью между жизнью и смертью. Сновидение приоткрывало дверь в потустороннее, в бессмертие.

Мистические переживания, впервые вызванные смертью Нади Иловайской, с неменьшей силой повторились в связи со смертью в конце декабря 1926 года Райнера Мария Рильке, которого Цветаева никогда не видела, но личность и поэзия которого были для нее равновелики Пушкину и Гёте. Узнав о смерти Рильке, Цветаева не ринулась искать встречи с ним на парижские улицы, теперь у нее была волшебная палочка – творчество. Через непознаваемое она обратилась непосредственно к Рильке на «тот» свет в эссе «Твоя смерть» и в стихотворном письме «Новогоднее», которому посвятил замечательную статью Иосиф Бродский. Когда в «Новогоднем» Цветаева говорит:

...потому что тот свет,

Наш, – тринадцати, в Новодевичьем
Поняла: не без– а все-язычен —

она возвращается мыслями к Наде, к своим тогдашним поискам потустороннего. Ибо она могла впервые посетить могилу Нади в тринадцать лет по возвращении из-за границы и уже после смерти Марии Александровны. Надя была похоронена на Новодевичьем, о ее могиле Цветаева вновь думает в «Твоей смерти»: «все наши умершие, лежи они в Москве, на Новодевичьем, или...» Надя была первая пережитая ею смерть, первая встреча с таинственным и влекущим миром, первая, приоткрывшая ей завесу вечности. Первая в ряду смертей, о которых Цветаева писала: А. А. Стаховича, Александра Блока, Райнера Мария Рильке, Владимира Маяковского, Николая Гронского... Кажется, со времен Нади для Цветаевой не существовало загадки жизни и смерти, земное и потустороннее воспринималось в неразрывном единстве, и «тот» свет временами она ощущала более «своим», чем здешний – как в стихах к Рильке, например. Из всего комплекса тогдашних детских переживаний с годами выкристаллизовалось понятие «разлука», ставшее стимулом и внутренней темой творчества Цветаевой. Это понятие углублялось и разрасталось, вырастая до трагического неприятия жизни. Оно же толкало к письменному столу, за которым преодолевалось все.

Летом, по окончании занятий в пансионе Бринк, отец забрал девочек, и они втроем поселились в Санкт-Блазиене вблизи санатория, где лечилась Мария Александровна. Снова они гуляли по шварцвальдским дорогам и лесным тропинкам, но уже без матери; она была слишком слаба, беспокойство о ней не покидало Ивана Владимировича. Вот уже год провела она в чудодейственном Шварцвальде, однако здоровье ее не становилось лучше... Что дал Марине год жизни во Фрейбурге? Самое важное – немецкий язык. Чувство родства с Германией. Память о немецких друзьях Мариле и Карле, детях хозяина «Ангела», о последнем здоровом лете матери в «сказочном Шварцвальде». О неожиданном празднике – Пасхе у княгини Марии Турн-унд-Таксис, которой в будущем Рильке посвятит «Дуинские элегии» – об этом Марина узнает много позже. Образ прекрасного средневекового города с неповторимым собором... Здесь же, во Фрейбурге – как это ни покажется странным – зародились две страсти ее жизни: Наполеон и Россия. Интерес к России родился не из тоски по родине, а из волнений о ходе

Русско-японской войны, о которой в письмах сообщал отец. Неудачи России, обида разбудили в Марине первое «родиночувствие».

* * *

Семья собиралась в Россию – нельзя же вечно жить на чужбине! Младшая, Ася, и так уже не совсем тверда в родном языке. С каким чувством возвращалась Марина на родину после трех лет скитаний? Неужели, привыкнув к переездам, она ничего не почувствовала, вернувшись домой? Хотя – совсем не домой: Мария Александровна с дочерьми поселилась в Ялте, потому что ей все еще был противопоказан север.

Жизнь наладилась, приспособившись к тяжелой болезни в доме. Врачи, измерение температуры и беспокойство с каждым лишним делением на градуснике, лекарства, аптеки стали повседневностью. Оказалось, что и к этому можно привыкнуть. Девочкам взяли учительницу, она готовила их к поступлению в русскую гимназию. Мать снова занималась с Мариной музыкой, радовалась ее успехам, она все еще мечтала увидеть ее пианисткой. Но новое вторглось в их жизнь – революция! Кончался 1905 год, страна бурлила, бастовала, вооружалась... Восстание на «Потемкине», восстание на «Очакове», предательство броненосца «Георгий Победоносец», арест лейтенанта Шмидта, царские манифесты – все это волновало Марину, заставляло с нетерпением ждать газет. Кроме общих волнений о судьбах России, Цветаевы беспокоились о близких: в декабре в Москве началось вооруженное восстание, а Иван Владимирович, Андрюша и Лёра жили дома. По газетам казалось, что Трехпрудный окружен баррикадами. В ялтинском пансионе, где жили Цветаевы, за общим столом возникали политические споры. Этот год в «Ответе на анкету» она отметила дважды. Сначала – как встречу с революцией: «вторая (встреча. – *В. Ш.*) — в 1905—06 гг. (Ялта, эсеры)». Семья эсеров, соседей по дому, интересовала Марину, она бывала у них, несмотря на запрещение матери. Их правда притягивала ее, как три года назад правда эмигрантов в Нерви. Она писала революционные стихи, но теперь не показывала их матери. Между ними возникло отчуждение. «Трудный» возраст Марины совпал с умиранием Марии Александровны. Погруженные – мать в свою болезнь, дочь – в свои новые интересы и переживания – они теряли прежнюю близость. Однако увлечение революцией не было связано с какой бы то ни было реальностью. Марина горячо переживала

происходящее, следила за газетами и спорами окружающих, восхищалась и скорбела судьбами лейтенанта Шмидта и Марии Спиридоновой – умозрительно. Войти в круг революционеров она не могла бы по возрасту, да они бы ее и не приняли всерьез. Отдаляясь от матери, она погружалась в одиночество.

Другое упоминание этого года тоже связано с «общественностью»: «13, 14, 15 лет – народовольчество, сборники „Знания“, „Донская Речь“, „Политическая экономия“ Железнова, стихи Тарасова...»[17] Увлечение Марины революцией и общественными проблемами отражало настроение многих людей того круга, к которому принадлежала семья Цветаевых, – но не ее родителей. Мать была консервативна и настороженно относилась к происходящему и к новому увлечению дочери. Отец жил вне политики, теперь же, обремененный болезнью жены и связанными с этим трудностями и заботами, он, кажется, даже не чувствовал потребности разобраться в ситуации. Его хватало только на семью и Музей. Обычно он был сдержан в обсуждении своих семейных дел, но однажды в письме Р. Клейну в апреле 1906 года у него вырвался настоящий крик отчаяния: «Уже давно мои помыслы сосредотачиваются на страданиях моей больной, на способах и местах лечения, на лекарствах и врачах разных национальностей всей Европы... Семейное горе все собою заслонило и заполонило все мысли и чувства... Под тяжестью личного горя я не чувствую интереса даже к тому, что так волнует, так живо занимает теперь всю Россию... И если, вне круга семейных забот и печалей, что останавливает на себе внимание и служит предметом дум и желаний, так это наш Музей, с его движением к концу». Может быть, Маринино упорство в увлечении революцией было отчасти связано со свойственным этому возрасту чувством протеста против родительского влияния. Мать и отец не интересуются революцией – а я буду. Но не только это. Мысли об участии в революционном движении были поисками смысла жизни, возможности преодоления одиночества и тоски. Неполных шестнадцати лет Цветаева признавалась: «Иногда, очень часто даже, совсем хочется уйти из жизни – ведь все то же самое. Единственное ради чего стоит жить – революция. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства». Это трагическое признание неожиданно завершается в духе театрального представления: «Подумайте: флаги, Похоронный марш, толпа, смелые лица – какая великолепная картина»... Как бы то ни было, к шестнадцати годам интерес ко всякого рода «идейности», «общественности» был изжит до конца и больше никогда не возвращался. Как корь или плохие стихи, увлечения такого рода каждый должен пережить

лично – и чем раньше, тем лучше. Четверть века спустя Цветаева вспомнила такой разговор. «Когда я тринадцати лет спросила одного старого революционера: – Можно ли быть поэтом и быть в партии? —он не задумываясь ответил: – Нет». В шестнадцать лет Марина начала серьезно писать; она снова стала сама собой – сама по себе.

В середине марта 1906 года у Марии Александровны случилось кровохарканье. Это был грозный признак. Она слегла, почти перестала есть. Приехал из Москвы Иван Владимирович. Оба, по-видимому, понимали, что она умирает, но он старался всячески ее подбодрить. В мае состоялся консилиум из лучших врачей Ялты. Врачи постарались «внушить» больной, что ее положение не безнадежно. «С тех пор стало как будто лучше, – писал Иван Владимирович. – Больная после двухмесячного лежания встает, чтобы перейти по комнате на террасу, и силится глотать, хотя и с большим трудом. До консилиума и я уже отчаивался в возможности возвращения М. А. в свои края. Теперь мы серьезно собираемся дней через 20 двинуться в Тарусу – и авось эта надежда исполнится. В Тарусе ремонтируется наша дача». Приехала преданная Тьо, чтобы отвезти «свою Маню» домой. В начале июня они были уже в Тарусе. Что почувствовала Марина, вновь увидев родные места? Вероятно, все заслоняла близкая смерть матери. Она умирала тяжело и мужественно. За неделю до ее смерти Иван Владимирович писал: «Положение моей больной становится все хуже. Жаропонижающие лекарства перестают действовать, а очень высокая температура, при непрерывающихся плевритах и бронхитах, жжет ее с ужасающей силой. Все, что называется телом, съедено и исчезло».

Мария Александровна умирала в тоске, что оставляет дочерей такими еще маленькими, что не увидит их взрослыми. Было составлено завещание: до сорока лет Марина и Ася могли получать лишь проценты с оставляемого им матерью капитала. Мать сказала при этом: «А то они всё истратят на революцию!» Чувствуя приближение смерти, она простилась и благословила дочерей. Валерия Цветаева отметила в воспоминаниях, что мачеха не позвала ее проститься перед смертью: «Я была ей благодарна за эту прямоту в тяжелый час». 5 июля Марии Александровны не стало. Тело ее отвезли в Москву, провезли мимо дома в Трехпрудном и похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилами ее родителей. Через два месяца с Иваном Владимировичем случился удар. Он долго болел, лежал в клинике.

Детство кончилось.

Спор о детстве

Спор о детстве Марины Цветаевой? Разве есть в нем что-нибудь неясное или таинственное? Кажется, о детстве ни одного русского поэта не знаем мы так много, как о цветаевском. Сама Марина Цветаева дважды о нем писала: в стихах 1908—1910 годов, вошедших в ее первые книги, и в поздней – середины тридцатых годов – прозе. Подробные воспоминания о Маринином и своем детстве выпустила ее младшая сестра Анастасия Цветаева. О чем тут спорить? Однако спор возник неслучайно и свелся к вопросу существенному: что представляет собой автобиографическая проза Марины Цветаевой? Речь идет не о жанровом определении, ибо жанр Цветаева определила: лирическая проза, – а скорее о психологическом: насколько правдиво и точно изобразила Цветаева мир своего детства.

В полемику вовлекаются письма Цветаевой, изложенное в них сопоставляется с эпизодами из ее прозы, поэта уличают в перетолковывании реальности, чуть ли не в двоедушии. Мелькают слова: быль, легенда, правда жизни, художественная правда, правда поэта... Спор вышел за пределы прозы Цветаевой о детстве и касается ее воспоминаний вообще.

Всегда интересно сравнить произведения разных авторов, посвященные одним и тем же людям и событиям. Читая параллельно «Воспоминания» Анастасии Цветаевой с «детской» прозой Марины, ленинградский литературовед Ирма Кудрова[18] пришла к заключению, что детство последней не было той «страной безусловного счастья», какой его воспринимает и изображает младшая сестра. Анализируя эпизоды из прозы Марины Цветаевой, Кудрова пишет о том, что окружающие, даже мать, не понимали маленькую Марину, не только не сочувствовали, но и насмехались над ее попытками стихотворчества, бросает «дому в Трехпрудном» тяжкое обвинение в том, что он не дал ей достаточно тепла, ласки, доброты, что у ребенка «все более укреплялось ощущение отверженности». Она прямо утверждает отсутствие простоты, понимания, нежности в отношении матери к Марине и в этом видит корни ее трагического мироощущения.

На защиту семьи, матери с «цветаевской» энергией ринулась Анастасия Цветаева[19]. Выводы Кудровой показались ей обидными, и во имя «чести семьи» она готова перечеркнуть самый смысл автобиографической прозы Марины Цветаевой. А. Цветаева признается, что, читая прозу Марины, с грустью отмечала, как искажены в ней образ матери, ее самой, младшей сестры и весь

душевный облик дома в Трехпрудном… «пока не поняла: да Марина вовсе не нас „искажала“, она живописала *другое*! Вокруг себя.

Центр этих рассказов – Марина. Ее – поэта – среди непоэтов – одиночество».

Да, «поэт – среди непоэтов» – одна из важных сквозных тем автобиографической прозы Марины Цветаевой. Но можно ли на этом основании отказать ей в правде? Сказать, что ее «дом в Трехпрудном» – лишь «декорация», нужная ей для создания ее собственной – не бывшей в реальности – были, а семья – «плацдарм», на котором она борется – с чем? и во имя чего? Возникает неприятное ощущение, что Марина Цветаева оболгала своих близких и детство ради того, чтобы оттенить свою «необыкновенность». Оно усугубляется еще тем, что в этой же статье Анастасия Цветаева называет эссе сестры о М. Волошине, Андрее Белом, О. Мандельштаме портретами «высокого мастерства и поразительного сходства… Марина воскресила свои дни с ними. Памятью и любовью». Не будем задаваться риторическим вопросом: неужели Марина Цветаева меньше любила и помнила родной дом, мать, детство, чем своих друзей-поэтов? Подумаем лучше: в чем корни того, что дало Кудровой возможность усомниться в «безоблачном счастье» в детстве Марины Цветаевой, а Анастасии Цветаевой – обвинить сестру в сознательном искажении правды, в гротеске?

Причины разные. Кудрова права: «безоблачного» счастья не было. Но кто определил, в чем оно выражается, и утвердил, что детство и есть «безоблачное»? Даже Борис Пастернак, в психическом плане личность Марине Цветаевой противоположная, человек, умевший из всего извлекать счастье, писал о том, как много страшного в детстве – в частности, в любимом Цветаевой «Детстве Люверс». И в стихах:

… Мерещится, что мать – не мать,
Что ты – не ты, что дом – чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи…

Обратим внимание на это свидетельство поэта, кончающееся словами: «Так начинают жить стихом…» Может быть, того же

происхождения щемящее чувство сиротства, возникшее у Марины задолго до смерти матери? В прозе о детстве она предстает всегда как будто немного «падчерицей». Не отсюда ли и ее ревнивая зависть к младшей сестре – мама ее больше любит? Анастасия Цветаева не отрицает, что ее, более слабую в детстве, тяжело болевшую, мать больше жалела, чуть больше опекала; Марине этого достаточно, чтобы насторожиться: мать – не мать, ты – не ты, дом – чужбина. Ведь она поэт.

И в другом И. Кудрова права: простоты ни в Марии Александровне Цветаевой, ни в ее отношениях с Мариной, ни во всей обстановке дома не было. Как не было ее и в самой маленькой Марине – ее автобиографическая проза тому лучшее свидетельство. Простота – природный дар, как талант. Может быть, Мария Александровна и хотела бы быть проще, ведь ее сложность не принесла ей счастья; может быть, она мечтала, что ее дочери будут проще и счастливее, но это было не в ее власти. В Асе мать находила больше непосредственности и простоты, вероятно, с Асей было легче и приятнее. Не сомневаюсь, что мать не хотела этого показать, но Марина это чувствовала. Не отсюда ли ее детская мечта о «чужой семье», «где я буду одна без Аси и самая любимая дочь»?

С Мариной окружающим было гораздо сложнее. Тем не менее логическое построение Кудровой мне видится перевернутым: не потому Марина замыкалась в себе, что ее не понимали или не давали себе труда понять, – понимать ее, общаться с нею было труднее, чем с другими детьми, потому что у нее слишком рано определился свой, закрытый для других внутренний мир. Думаю, Кудрова заблуждается, утверждая, что «мать себя в старшей дочери не узнавала». Наоборот, она угадывала в Марине себя со своими сложностями и страстями. И вероятно, с этой собой – а не с ее поэтическим даром! – в Марине боролась, ради ее же, Мариниого, будущего счастья. Пыталась преодолеть себя в ней. Но сердечная близость между матерью и Мариной, без сомнения, была. Это очевидно из всего, сказанного Мариной Цветаевой о матери в стихах, прозе, письмах. Без настоящей внутренней близости мать не оказала бы столь сильного влияния на всю дальнейшую жизнь дочери-поэта.

Главное заблуждение Анастасии Цветаевой – в настойчивом утверждении своей «близнецовости» с сестрой. Это помешало ей проникнуть в сокровенный смысл и правду автобиографической прозы Марины Цветаевой. Не спорю, что голоса сестер были одинаковы. Но этого недостаточно, чтобы говорить об «удивительном сходстве душевного строя», и тем более «близнецового» восприятия. Их не было и быть не могло. Как у

поэта с непоэтом. Прими эту точку зрения Анастасия Цветаева – ей было бы легче понять не только писания, но и жизнь и смерть сестры. Взглянув на прозу Марины об их общем детстве глазами не «близнеца», а доброжелательного читателя, Анастасия Цветаева увидела бы, что та ничего не «искажала», не «живописала» и не хотела создать гротеск из жизни родной семьи. Марина так *чувствовала* себя в родном доме – как потом всегда в мире. «Одиночество поэта среди непоэтов» Марина Цветаева вовсе не «живописала» задним числом, она его пережила в детстве.

В этой полемике И. Кудрова обходит молчанием стихи о детстве из «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря», а Анастасия Цветаева берет их в союзники, опираясь на них как на документально-правдивые свидетельства. Бесспорно, стихи «В Ouchy», «Маме», «Курлык», «Как мы читали „Lichtenstein“» и многие другие восторженно передают воспоминания о рано оборвавшемся детстве, о матери, тепле ее присутствия в детской жизни. Это зарисовки сцен и ощущений детства, созданные близко к событиям, в них описанным, еще ближе к боли и тоске утраты.

> Видно грусть оставила в наследство
> Ты, о мама, девочкам своим!..

Тон стихотворных воспоминаний – розовый, как, кстати, основной тон первых сборников Марины Цветаевой в целом. Умиленностью собой и окружающим, «любованием пустяками жизни» (слова Николая Гумилева о первой ее книге) они близки воспоминаниям Анастасии Цветаевой. Ничего подобного нет в прозе Марины Цветаевой на ту же тему, и это дало повод говорить о противоречии между прозой и ранними стихами. Значит ли это, что она переменила отношение к своему детству? Разочаровавшись в жизни, перенесла разочарование и на него? Ни в коем случае. Противоречие это существует лишь на поверхностный взгляд.

Было бы странно от женщины за сорок, умудренной нелегким жизненным опытом, ждать повторения того, что когда-то писала вступающая в жизнь семнадцати-восемнадцатилетняя девушка. И не было бы смысла в таком повторении. Разные задачи стояли перед Цветаевой в полудетских стихах и в зрелой прозе. В стихах она хотела запечатлеть, выразить свою любовь к матери, восторг, память, тоску по ней. И она вспоминает все: что навсегда запало в сердце и что просто запомнилось – до мелочей. Стихи ее открыты,

непосредственны и наивны. В прозе ни детской непосредственности, ни наивности нет. Задача Марины Цветаевой здесь иная: «ВОСКРЕСИТЬ. Увидеть самой и дать увидеть другим». Не позволить навсегда исчезнуть тому исчезающему миру, который она так любит, с которым чувствует нерасторжимую связь.

Знаменательно, что именно в стихах, написанных одновременно с прозой о детстве и обращенных «туда», к ушедшим – «Отцам», Цветаева отчеканила свое понимание Поэта и Поэзии:

Вы, ребенку – поэтом
Обреченному быть —
Кроме звонкой монеты
Всё — внушившие – чтить...

«Ребенок, обреченный быть поэтом» – такова внутренняя тема, подтекст цветаевской прозы о детстве. Здесь она не мифотворец, не бытописатель, она – исследователь. Мир детства существует в автобиографической прозе Марины Цветаевой внутри круга ее основных раздумий тех лет: о Поэте и Времени, месте поэта во времени и его соотнесенности с миром. Даже хронология свидетельствует об этом. В 1932 году Цветаева пишет работы литературно-философского плана: «Поэт и Время», «Искусство при свете Совести», «Эпос и лирика современной России. Маяковский и Пастернак». Проза о детстве начинается в 1933 году и тянется до 1937 года, до «пушкинских» эссе. Окончив «Мой Пушкин», Цветаева пишет Анне Тесковой: «это мое раннее детство: Пушкин в детской – с поправкой: *в моей».* Поправка «в моей» чрезвычайно важна для понимания отношения Цветаевой к своему детству, его отличию от «как у всех». Последняя литературоведческая работа Цветаевой «Пушкин и Пугачев» – и о ней она с полным правом могла бы сказать *«мои* Пушкин и Пугачев» – одновременно и последнее по времени воспоминание о детстве, ибо и здесь, как и в «Моем Пушкине», литературоведение, философия, психология, детские впечатления образуют неразрывную ткань. Таким образом, проза Цветаевой о детстве не только по времени совпадает с работами, осмысляющими тему Поэта и Поэзии, но буквально вклинивается в некоторые из них.

Что такое Поэт? Какова его роль в мире? Эти «вечные» темы занимали творческое воображение Цветаевой. Поэт в его противостоянии миру – так можно определить основу ее мироощущения. Поэт – невольник своего дара и своего времени.

Ее представление совпадает с более поздней формулой Пастернака:

Ты – вечности заложник
У времени в плену...

В этом ключе рассматривает она и свое детство.

«Состояние творчества есть состояние наваждения... Состояние творчества есть состояние сновидения...» – определяет Цветаева в «Искусстве при свете Совести». И разве не в этом состоянии спящей наяву видим мы маленькую Марину в истории с Чортом или десятки раз сомнамбулически переписывающей пушкинское «К морю»?

Проза Марины Цветаевой о детстве – не мемуары, она никогда не называла так эту свою работу. Ее не интересует вообще «детство», ни даже «становление личности». Она исследует феномен воплощения Поэта в ребенке. Убежденная, что Поэзия сродни Вечности, одна и та же с начала и до конца времен, Цветаева хочет проследить, каким образом данный ребенок оказывается отмечен ее «клеймом». Именно – оказывается, с его стороны это явление пассивное, скорее даже страдательное. Ибо ей довелось всю жизнь воплощать материнский завет «слух – от Бога... Твое – только старание».

Цветаева исследует феномен ребенка-поэта на примере собственного детства, потому что знает его лучше всего – и только. С этой точки зрения ее проза о детстве читается по-другому. В ней нет вымысла; это правда – не меньшая, чем встает из ее ранних стихов. Касаясь своих писаний о людях, Цветаева сказала: *«Фактов* я не трогаю никогда, я их только – толкую». Но что значат факты сами по себе? Они приобретают смысл в той или иной интерпретации. Правда автобиографической прозы – правда, пережитая и осмысленная Мариной Цветаевой. То, что пишет об их общем детстве Анастасия Цветаева, скорее всего, тоже правда – ее, Асина. И если она во многом не совпадает с Марининой, то это отражает несходство сестер, их мировосприятия, ощущения себя в мире.

То «негативное» о семье, из-за чего ломали копья И. Кудрова и А. Цветаева, не было желанием отплатить за свою «недолюбленность» и недопонятость в детстве – даже если Марина тогда это ощущала. Она никогда не переставала любить дом в Трехпрудном и чувствовать к нему благодарность. В разгар работы над «детской» прозой она признавалась А. Тесковой: «Должно быть Вы, как я, любите только свое детство: то, что было тогда...» Не «преображенная правда поэта», не «поэтическая

быль», а *сущность пережитого* важнее всего для Марины Цветаевой. Она показывает свое изначальное одиночество даже с такой необыкновенной матерью, в такой высокоинтеллектуальной семье и в таком действительно счастливом детстве. Из «Воспоминаний» А. Цветаевой создается впечатление, что Марина культивировала свое одиночество. На самом деле она была в нем заключена – «единоличье чувств» – и выход был только в поэзию. Прозрачная стена отделяет «обреченного быть» поэтом от других людей, стена, которой они, быть может, не видят, приблизиться к которой возможно, но преодолеть нельзя. Разглядывая себя-ребенка в увеличительное стекло умудренности, взрослая Цветаева анализирует и осмысливает то, что тогда чувствовала, переживала, думала. Это не имеет ни малейшего отношения к ее эмигрантским проблемам, на которые так часто ссылались в советских работах о Цветаевой. Например, Кудрова: «в 30-е годы ... М. Цветаева уже отчетливо понимает свой крах в отношениях с миром, глубоко переживает разложившуюся вконец связь». Всей своей автобиографической прозой – даже в большей степени, чем теоретическими работами – Цветаева против такой точки зрения протестует. Она свидетельствует, что никакого «краха» не было, что если и существовали у нее отношения с миром, то только негативные. Как могла «вконец разладиться» связь, которой отродясь не было? Если родная мать не может – Марина Цветаева убедительно показывает, что именно не может, а не не хочет – понять будущего поэта, – чего ждать от остальных, понять и не старающихся?

«Листья и корни», «Корни и плоды» назвали свои статьи И. Кудрова и А. Цветаева. Корней – не было. Были – истоки, нет, один исток – Поэзия – подхвативший вот эту неповоротливую, некрасивую, упрямую, злую девочку Мусю Цветаеву и заставивший ее стать Поэтом. Поэтом рождаются. «Зерно зерна поэта ...*сила тоски»,* — утверждала Цветаева в «Искусстве при свете Совести». А вовсе не обиды, пережитые им в детстве.

Поэт ввел нас в мир своего детства, чтобы показать, как ее захлестнула «свободная стихия», отъединила от людей и понесла по волнам поэзии.

* * *

Детство оборвалось, но жизнь не остановилась. Надо было привыкать к реальному сиротству – жизни подростка без матери. Ни старшая сестра Валерия, никто из родственниц не выразил желания продолжить воспитание Марины и Аси – задача казалась

слишком трудной: девочки не были похожи на обычных детей их круга. Отец остался их единственным хранителем и воспитателем, но влияния на Марину не имел – да и что он мог дать девочкам в том возрасте, когда больше всего требуется материнское, женское участие? Через год после смерти Марии Александровны Валерия уехала учительствовать в Козлов, а вернувшись, поселилась отдельно от семьи. Семья распадалась, с этим уже ничего нельзя было поделать. Много позже Цветаева признавалась: «...главное – росла без матери, т. е. расшибалась обо все углы. (*Угловатость* (всех росших без матери) во мне осталась. Но – скорей внутренняя. – И *сиротство*)».

Чувство сиротства усугублялось с годами: Марина отходила от людей и замыкалась в книгах. Первый год после смерти матери она жила и училась в пансионе фон Дервиз на Старой Басманной, дома бывала в воскресенье и праздники. Она все еще была увлечена революционными идеями и книгами, с ними шла к новым подругам, пыталась увлечь их, искала отклика. И находила – это было так необычно: разговоры о революции в женском пансионе! Однако начальство не было склонно терпеть то «свободомыслие», которое несла в пансион Цветаева. Ранней весной, не кончив учебного года, ей пришлось уйти из пансиона фон Дервиз. Учение перестало ее интересовать. В следующие три года она сменила еще две гимназии, но училась в них чисто формально. Нельзя было бросить их, не огорчив этим отца, считавшего образование важнейшим делом и долгом. Марина «вышла» (так тогда говорили) из гимназии после седьмого класса. Восьмой считался педагогическим, а ей было ясно, что учительницей она никогда не станет. После смерти матери она постепенно «свела на нет» и занятия музыкой: больше не для кого было стараться, некого радовать или огорчать своей игрой.

Отрезвило ли ее исключение из гимназии фон Дервиз? Возможно, оно не прошло бесследно. Примерно это время она отмечает как еще одну ступень «душевных событий»: «16 лет – разрыв с идейностью, любовь к Сарре Бернар („Орленок“), взрыв бонапартизма, с 16 лет по 18 – Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массон, Тьер, мемуары, Культ). Французские и германские поэты». Выше в том же «Ответе на анкету»: «с 12 лет и *поныне* (выделено мною. – *В. Ш.* Анкета относится к 1926 году.) – Наполеониада...» И в 1935 году в письме В. Н. Буниной: «Еще бы написать Святую Елену: дань любви за жизнь». Марина погрузилась в эпоху Наполеона; она жила в его мире, как собственные переживая все взлеты и падения этого гения и драматическую судьбу его сына Герцога Рейхштадтского. Она окружила себя книгами, гравюрами, портретами, связанными с

ними, в киот в своей комнате вместо иконы вставила портрет Наполеона. Это было прямым кощунством, и отец, однажды заметив, пытался ее урезонить, но получил жестокий отпор. Марина с неотроческой силой отстаивала свою душевную независимость. Она почти перестала ходить в гимназию. Спрятавшись утром на чердаке, дожидалась ухода отца на службу, а потом спускалась в свою комнату, чтобы погрузиться в эпоху Наполеона. Пережив, но не изжив это страстное увлечение, она писала В. В. Розанову в 1914 году: «16-ти лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире...» Мир, открывавшийся ей, и правда, был огромен: мир истории и литературы. Марина собирала и читала все, что было написано о Наполеоне и его времени на трех известных ей языках: мемуары, исторические документы, исследования, стихи...

Цветаева любила не столько реального Наполеона, сколько легенду о нем. Если Пушкина привлекала в Наполеоне его двойственность, совмещение в одном лице «гения и злодейства» («чудный муж, посланник провиденья» и «мятежной вольности наследник и убийца», «хладный кровопийца»), если он задавался мучительным вопросом – зачем:

Зачем ты послан был и кто тебя послал?
Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?
Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный посетитель? —

то Цветаеву волновала необыкновенная судьба самого Наполеона с его величественным взлетом и – главное – горестным падением. По складу своего характера она должна была больше всего любить в Наполеоне узника Святой Елены. В ее записях есть признание: «Зная себя, знаю: Бонапарта я бы осмелилась полюбить в день его падения». Интересно, что Цветаева не посвятила Наполеону ни одного стихотворения – вероятно, она не хотела соперничать со своими великими предшественниками. Она избрала героем сына Наполеона юного Герцога Рейхштадтского, Орленка из пьесы Эдмона Ростана. Образ возвышенного и прекрасного юноши, мечтающего о подвигах и славе отца, лишенного свободы, – образ «мученика Рейхштадтского» вполне соответствовал ее тогдашним романтическим устремлениям.

Страсть к Наполеону заставила Марину рваться во Францию, влюбиться в старую, но все еще великую Сару Бернар, игравшую ростановского Орленка; эта страсть усадила Цветаеву за первую

настоящую литературную работу: она начала переводить Ростана. Казалось невозможным не видеть Парижа, и летом 1909 года, с разрешения отца, – в шестнадцать лет, совершенно одна – она едет в Париж. Курс старинной французской литературы в Сорбонне был лишь поводом – душа Марины жаждала поклониться наполеоновским местам, подышать «его» воздухом, увидеть в «Орленке» Сару Бернар. Привычная с детства тоска о прошлом сливалась с юношеской тоской о настоящем и будущем. Реальности как бы не существовало, жизнь казалась призрачной и неопределенной, она жила в окружении любимых теней и хотела уверить себя, что можно прожить без людей, что ствол каштана способен заменить грудь друга – привязанность к деревьям она хранила всю жизнь.

Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана
Как там, в покинутой Москве.

Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, там грусть фиалок
И чей-то ласковый портрет.

Там чей-то взор печально-братский,
Там нежный профиль на стене.
Rostand и мученик Рейхштадтский
И Сара – все придут во сне!..

Пройдет всего несколько месяцев, и Марина почувствует, что ей недостаточно деревьев и фотографий, что она ждет человеческой, мужской любви и дружбы:

Днем – скрываю, днем – молчу.
Месяц в небе, – нету мочи!
В эти месячные ночи
Рвусь к любимому плечу.

Париж много дал в ощущении своей взрослости и независимости, но только усугубил тоску одиночества. Правда, еще до поездки у Марины и Аси появились два новых – взрослых – друга: Лидия Александровна Тамбурер, зубной врач, женщина, близкая к литературно-художественным кругам Москвы, и поэт

Эллис – Лев Львович Кобылинский, он был первым живым поэтом в Марининой жизни. Лидию Александровну, не называя имени, упоминает Марина Цветаева в эссе о Волошине и воспоминаниях об отце. Как же нужна была Марине взрослая подруга! Конечно, Лидия Александровна не могла заменить мать, но она любила Марину и ее стихи, с ней можно было говорить о литературе, посоветоваться в делах душевных и житейских. Марина прозвала ее «Драконна», и это прозвище прижилось в дружеском кругу. Много позже Цветаева вспоминала Лидию Александровну: «Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери...» С Драконной было легко и светло, она помогала Марине пережить многие горести наступавшей юности.

Кажется странным: как метеор, промелькнув на горизонте сестер Цветаевых, Эллис приоткрыл им незнакомые миры и исчез, как будто не оставив следа в душе. «Переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек...» – мимоходом упомянула его Марина Цветаева, рассказывая об Андрее Белом. А между тем Эллис действительно был человеком замечательным, необычайным и странным даже в то богатое необычайными людьми время. Я сознательно приведу воспоминания о нем не символиста и не литератора, а социал-демократа, марксиста, революционера и подпольщика Н. Валентинова, в годы 1907—1909-й близко соприкоснувшегося с кругом московских символистов. Вот что он писал в книге «Два года с символистами»:

«Эллис незабываем и, как и А. Белый, неповторим. Этот странный человек с остро-зелеными глазами, белым мраморным лицом, неестественно черной, как будто лакированной бородкой, ярко красными, „вампирными“ губами, превращавший ночь в день, а день – в ночь, живший в комнате всегда темной с опущенными шторами и свечами перед портретом Бодлера, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал необычайные мифы, вымыслы, был творцом всяких пародий и изумительным мимом... Белый утверждал, что Эллис „охватывался медиумизмом“...» Последняя фраза сказана иронически, Валентинов подчеркивает, что для него все это было развлечением, театром, однако его собственный рассказ подтверждает, что это – было: «Соединяя пропаганду бодлеризма со стремлением к „бесконечности“, его „aspiration ä l'infini“ (стремление к бесконечности, *фр. – В. Ш.*) с оккультизмом, он

стал меня угощать великолепными вымыслами, в которых в фантастическом уборе, в беспорядке переплетались касания к мирам иным, демонические полеты в бездну, разные «paradis artificiel» (искусственный рай, *фр. – В. Ш.*). Смерть и Любовь, Грех и Красота».

Можно представить себе, каким интересным и притягательным должен был показаться такой человек Марине и Асе – одной, еще не вышедшей из отрочества, а другой, едва в него вступившей. Особенно Марине с ее уже появившейся тягой к «мирам иным».

Валентинов продолжает: «Эллис вздумал мне символистически изобразить путь в Вечность. Передать нарисованную им картину „нашего“ (т. е. его и меня) шествия по коридору Вечности я абсолютно не способен. Рисовалась тьма, неведомо откуда появляющиеся таинственные серо-желтые, рыже-черные пятна, подобно каким-то птицам, бьющимся о зеркально отсвечивающие стены „коридора“. Мы идем, идем, путь бесконечен. То затухающие, то вспыхивающие огни то сбоку от нас, то под нами, то над нашей головой. Серый мрак сгущается. Конца коридору не видно. Его нет и не может быть. И в этом „нет“ в бесконечной дали есть что-то страшное, неизвестное, томящее. И не что-то, а может быть кто-то.

– Смотрите, смотрите вглубь коридора, вы видите – там что-то, кто-то мелькает? – с волнением спрашивает Эллис в медиумическом трансе...»[20]

Взрослому и трезвому позитивисту Валентинову без труда удавалось вырваться из-под медиумических чар Эллиса. Не то было с Мариной и Асей: их души жаждали необыкновенного. Они отправлялись с Эллисом в фантастические путешествия, но к чести его надо сказать, что с ними он уносился не в пугающие коридоры Вечности, а в более подходящие им по возрасту сказочные миры... В стихотворении, посвященном Марине Цветаевой и названном «В рай», Эллис описал одно из таких ночных бдений:

На диван уселись дети,
ночь и стужа за окном,
и над ними, на портрете
мама спит последним сном[21].

. . . . . .

«Ну, куда же мы поедем?
Перед нами сто дорог,

и к каким еще соседям
нас помчит Единорог?

Что же снова мы затеем,
ночь чему мы посвятим:
к великанам иль пигмеям,
как бывало, полетим...»[22]

На какое-то время Эллис стал для сестер Чародеем, а для него дом в Трехпрудном – одним из гнезд, куда забрасывала его неустроенная жизнь перекати-поля. Отец благоволил Эллису как человеку образованному: Лев Львович блестяще окончил Московский университет по кафедре экономики, получил предложение остаться при университете, но, увлекшись идеями символизма, разочаровался в экономике и в марксизме, который привлекал его в юности. Он отказался от всякой карьеры, жил случайными литературными заработками, часто бывал попросту голоден. Смыслом его жизни стали поиски путей для духовного перерождения мира, для борьбы с Духом Зла – Сатаной, который, по теории Эллиса, распространялся благодаря испорченности самой натуры человека. Тождество своим взглядам он находил в творчестве Шарля Бодлера, страстным толкователем, пропагандистом и переводчиком которого был в те годы. Изучив различные социальные и экономические теории, Эллис отринул их все, утвердившись в убеждении, что только духовная революция поможет человечеству одолеть Дух Зла. Данте и Бодлер стали его кумирами.

Вот с каким человеком проводили Марина и Ася вечера—а иногда и ночи! – слушая его вдохновенные монологи, следуя за ним в его безудержных фантазиях, сами сочиняя для него сказки и посвящая его в свои сны, которые он толковал. Часто под утро они отправлялись его провожать по тихим московским улицам. Валерия Цветаева вспоминала: «Чтобы помешать таким проводам, отец уносил из передней пальто. Но это не помеха: Ася, на извозчичьей пролетке, забыв о всяком пальто, с развевающимися волосами, таки едет провожать... Какие тут возможны уговоры?» Расставшись с Эллисом, девочки с трудом возвращались на землю, к гимназии, урокам – прозе дней. Высший накал этой дружбы пришелся на весну 1909 года, когда Иван Владимирович уезжал на съезд археологов в Каир, и Марина с Асей чувствовали себя дома абсолютно бесконтрольными.

А что привлекало Эллиса к двум, едва вышедшим из детства девочкам? Конечно, ему льстило безраздельное господство над их

сердцами и душами, но, по-видимому, он умно оценил талант и самостоятельность Марины. Она читала ему свои стихи, свой перевод ростановского «Орленка»[23]. Эллис слушал увлеченно и одобрительно, его суждения были первым серьезным разбором того, что она писала. И что еще важнее для юношеского самоутверждения – Эллис и сам читал ей свои стихи и переводы, он, взрослый, настоящий, печатающийся поэт и критик! Он посвятил им с Асей стихи: Марине – «В рай» и «Ангел Хранитель», Асе – «Прежней Асе». Позже они были напечатаны в книге Эллиса «Арго».

Эллис открыл Марине мир современной русской поэзии, познакомил ее с идеями и спорами символистов, великолепно читал их стихи. Именно в период этой дружбы Цветаева «страстной и краткой любовью» полюбила стихи Валерия Брюсова.

Так случилось, что с Эллисом Марина входила во взрослую жизнь – слишком рано, дикой, застенчивой и «расшибающейся обо все углы» девчонкой. По свидетельству Анастасии Цветаевой, в апогее их дружбы втроем Эллис неожиданно сделал едва семнадцатилетней Марине предложение – отзвук этого слышен в ее стихотворении «Ошибка». И, разумеется, получил отказ. «Слово „жених“ тогда ощущалось неприличным, а „муж“ (и слово и вещь) просто невозможным», – вспоминала Марина Цветаева по поводу Андрея Белого и его будущей жены Аси Тургеневой. К счастью, эта история не испортила их отношений с Эллисом. Он ввел Марину, еще гимназистку, в московский литературный круг, в котором протекала его собственная жизнь. Он был в числе организаторов возникшего в начале 1910 года книгоиздательства «Мусагет» – одного из центров литературной и умственной жизни тогдашней Москвы. Из всех многочисленных символистских обществ это должно было быть ей наиболее близким: «Мусагет» возводил свою родословную к Гёте, немецким романтикам и мистикам. Она стала бывать в «Мусагете» и у скульптора К. Крахта, где собирался «молодой Мусагет». Позднее она признавалась, что ничего не понимала в мусагетских теориях и докладах и относилась к ним, как к математике в гимназии. Ей нелегко было бывать на людях, разомкнуть свое добровольное затворничество. В эссе об Андрее Белом Цветаева подчеркивает, что молчала в «Мусагете» от застенчивости и «от непрерывно-ранимой гордости». Конечно, так оно и было. Однако две страницы спустя, противореча себе, она цитирует собственные слова, свидетельствующие, что, несмотря на застенчивость, – или благодаря ей? – она и тогда способна была задираться: «—Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои

стихи – выжатый лимон. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: „Совершенно верно“. Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился – Гершензон». Невзирая на славу и авторитет «Вячеслава Великолепного», Марина готова была его подразнить – как и Михаила Гершензона, как многих других впоследствии. В «Мусагете» и Обществе свободной эстетики она видела и слышала замечательных людей.

Эллис взял у Марины стихи для задуманной «Мусагетом» антологии. Для Цветаевой было событием и большой честью печататься рядом с «олимпийцами»: Александром Блоком, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым, Михаилом Кузминым, Николаем Гумилевым… Она оказалась самой молодой участницей сборника.

Антология появилась летом одиннадцатого года, но еще осенью десятого Марина, тайно от отца – гимназистам это не разрешалось – выпустила книгу собственных стихов «Вечерний альбом». У истоков ее тоже стоял Эллис. Это он познакомил сестер со своим другом Владимиром Оттоновичем Нилендером – первой юношеской любовью Марины. Цветаева рассердилась бы на меня за последнюю фразу. Она утверждала, что чувство любви существовало в ней с тех самых пор, как она начала себя помнить, и что она отчаивается определить, кого «самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила», и видит себя «в неучтимом положении любившего отродясь, – *до*-родясь: сразу начавшего с второго, а может быть сотого…». И все же Нилендер был первым реальным мужчиной, заставившим Марину ждать встреч, тосковать, плакать, писать стихи. Ей было семнадцать, ему – двадцать шесть лет. Как и она, он жил поэзией, но его страсть уходила в глубину веков: он был классик – знаток, исследователь и переводчик античности. Древняя Греция была страной его духа. В «цветаевские» времена он занимался переводом орфических гимнов и «Фрагментов» Гераклита Эфесского. Книга Гераклита, выпущенная Нилендером в 1910 году, многие годы «жила» у Цветаевой, экземпляр с ее пометками сохранился. Нилендер не зря познакомил Марину с Гераклитом, его философия оказалась близка ей, вошла в ее сознание. Еще и в 1933 году она поставила эпиграфом к статье «Поэты с историей и поэты без истории» одно из важнейших положений Гераклита: «Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку». Нилендер открыл Цветаевой и Орфея, образ которого стал ей родным и тема которого в разных вариациях многократно звучала в ее поэзии: «Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого – как тогда решила – первого любила…» Оговорка «как тогда решила» не должна смущать нас: никогда не называя

Нилендера, Цветаева никогда его не забыла и несколько раз упомянула в своей прозе. Мы мало знаем о Нилендере и его отношениях с Мариной. Философ Федор Степун вспоминает его в эти годы: «Студент Нилендер, восторженный юноша, со священным трепетом трудился над переводом гимнов Орфея и фрагментов Гераклита Эфесского»[24]. Андрей Белый, мало кого из тогдашних друзей не обливший в своих мемуарах желчной иронией, о Нилендере говорит с нежностью: «флейтой орфической плакал Нилендер»[25]. Судя по тому, что пишет младшая сестра Цветаевой, Нилендер был увлечен Мариной, однако роман их не состоялся. Для нее уже настало время искать выход из своего одиночества, но не настало из него выйти. В стихотворении «Невестам мудрецов», написанном в десятом году, Цветаева горько иронизировала:

Они покой находят в Гераклите,
Орфея тень им зажигает взор...
А что у вас? Один венчальный флер!..

Они с Нилендером решили не встречаться. И вот «взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе», Цветаева собирает стихи своих пятнадцати – семнадцати лет и издает «Вечерний альбом» – это было просто, нужно было только заплатить за печатание.

«Взамен письма» определило характер этой книги. То, что порой невозможно сказать с глазу на глаз, Марина вложила в стихи, которые «он» прочтет наедине – как письмо или даже дневник. Так легче открыть себя, не стесняясь своей застенчивости, неуклюжести, «не тех» слов... Недаром Марина зачитывалась «Дневником» рано умершей талантливой художницы Марии Башкирцевой и посвятила «Вечерний альбом» ее «блестящей памяти». Дневник, как и письмо, располагает к большей открытости и откровенности, чем любой другой жанр. В стихах, обращенных к Цветаевой, Максимилиан Волошин вопрошал: «Почему альбом, а не тетрадь?»

Но тетрадь, особенно в связи с семнадцатилетней гимназисткой, наводит на скучную мысль об уроках и домашних заданиях. Альбомы же напоминают об уютном вечере при керосиновой лампе, о девушках, шепчущихся о чем-то в углу дивана и пишущих друг другу стихи в альбом... Или поверяющих свои тайны заветному дневнику-альбому. «Уездной барышни альбом», над которым с нежной иронией подшучивал еще Пушкин. Цветаевский «Вечерний альбом» даже издан был на толстой «альбомной» бумаге и «одет» в плотную «альбомную»

зеленую обложку.

О чем эта книга? Как будто ни о чем особенном и в то же время о многом. В ней запечатлено знакомство отроческой души с миром. В распахнутые глаза, уши, сердце вливаются первые впечатления жизни. Здесь все: счастье быть с матерью и тепло домашнего уюта, радость встречи с природой и огорчения первой влюбленности, дружба, гимназия, книги. По этому сборнику можно составить представление о чувствах, настроениях, даже повседневном быте автора. В «Вечернем альбоме» три раздела. «Детство» – их общее, Марины и Аси детство, в котором они еще не отделились друг от друга и не воспринимают себя как «я», а лишь как «мы». Это милые сердцу подробности и воспоминания, общие игры, друзья, общая тоска по матери. Читателя не могла не поразить не только естественность всего, о чем рассказывала Цветаева, но и ее доверительное и доверчивое отношение ко всем, кто будет читать эти стихи.

Раздел «Любовь» обращен к Нилендеру. Если в «Детстве» она поведала ему о своем прошлом, то здесь говорит о настоящем, о любви, боли разлуки, тоске одиночества. Можно видеть, как происходит «отпочкование» Марины от Аси: стихи к Чародею-Эллису написаны еще от имени обеих сестер, те, которые связаны с Нилендером – от собственного «я» Марины:

Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота
В пробужденьи души...

Или:

По тебе тоскует наша зала,
– Ты в тени ее видал едва —
По тебе тоскуют те слова,
Что в тени тебе я не сказала...

В разделе «Только тени», обращенном к «любимым теням» Наполеона, Герцога Рейхштадтского и его возлюбленной, «дамы с камелиями» и Сары Бернар, в конце возникает и образ Нилендера, тоже ставшего тенью в элизиуме души Цветаевой.

Стихи «Вечернего альбома» кажутся мне слабыми и сентиментальными. Они из разряда тех, которыми, как корью, надо переболеть в детстве. Однако книга эта имела по выходе большой успех. Ее приветствовали в Москве М. Волошин в «Утре России» и В. Брюсов в «Русской мысли», в Петербурге – Н. Гумилев в «Аполлоне» и в далеком Ростове-на-Дону начинающая

поэтесса Мариэтта Шагинян в газете «Приазовский край». Их поразила прежде всего непосредственность и интимность стихов Цветаевой. Волошин сравнивал ее с женщинами-поэтессами предыдущего поколения: «ни у одной из них эта женская, эта девичья интимность не достигала такой наивности и искренности, как у Марины Цветаевой… „Невзрослый“ стих М. Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому»[26]. Брюсов выделял книгу Цветаевой из огромного потока сборников начинающих авторов, которые, по его словам, «живут в фантастическом мире, ими для себя созданном, и как будто ничего не знают о том, что совершается вокруг нас, что ежедневно встречают наши глаза, о чем ежедневно приходится нам говорить и думать… Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность»[27]. Гумилев отметил то новое, что принесла в русскую поэзию первая книга Цветаевой: «нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, например, детская влюбленность; ново непосредственное, бездумное любование пустяками жизни». Он писал о «внутренней талантливости», «внутреннем своеобразии»[28] молодой поэтессы. Было ясно, что на горизонте русской поэзии появился поэт, непохожий на других и никому не подражающий – с «лица необщим выраженьем». Более того – оказалось, что Цветаева не поддается влияниям. Дружа с Эллисом, она сумела устоять против «внушения» ей Бодлера. Восхищаясь поэзией Блока и Брюсова, бывая среди московских символистов «Мусагета», она осталась вне влияния символистов. С самого начала она была сама по себе, «одна из всех». И когда вскоре Волошин поспорил с поэтессой Аделаидой Герцык, что сумеет отыскать в стихах Цветаевой какое-нибудь литературное влияние, – он проиграл это пари.

После появления отзыва Валерия Брюсова, выхватив из его рецензии несколько не понравившихся ей слов, Марина ринулась в бой на «мэтра». Это выглядело озорством, желанием эпатировать, однако она продемонстрировала свое неприятие поэтики символизма.

Нужно петь, что все темно,
Что над миром сны нависли…
Так теперь заведено. —
Этих чувств и этих мыслей

Мне от Бога не дано!

Стихотворение обращено прямо – «В. Я. Брюсову». Цветаева напечатала его во втором своем сборнике, начав войну с «мэтром» и вызвав его неприязнь на долгие годы.

Много позже Владислав Ходасевич, рассказывая о Нине Петровской – одной из поэтесс московского круга символистов, чрезвычайно интересно определил сущность этого литературного направления: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом… Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства»[29]. Борьбой между «писателем» и «человеком» внутри каждого символиста объясняет Ходасевич то, что само творчество их «как бы недовоплотилось», в какой-то мере растрачиваясь на создание «поэм из своей личности». Если согласиться с таким подходом к символизму – а мне он кажется верным и справедливым – придется признать, что символизм как явление был противопоказан Цветаевой. Я не говорю о ее отношении к поэзии символистов или взаимоотношениях с отдельными его представителями. Она боготворила Блока, восхищалась Андреем Белым, дружила с Константином Бальмонтом и Волошиным, готова была сидеть «у подножья» Вячеслава Иванова… Дело не в личных притяжениях или отталкиваниях, а в мироощущении. В случае Цветаевой ни о каком «создании поэмы из своей жизни» речь идти не могла. Она была человеком долга, понимаемого ею глубоко и серьезно. Ее долг был двулик: долг перед поэзией и долг перед семьей. Ее жизнь стала исполнением этого долга. Отступлений почти не было. Она не строила свою жизнь, она ее выполняла, как будто по заранее заданному плану.

Возможно, это звучит странно в отношении той совсем юной девушки, о которой говорится в этой главе. В те времена Цветаева не думала ни о чем подобном. Она была своевольной, беспорядочной, пренебрегающей мнением и интересами окружающих девчонкой. В семнадцать лет она начала курить и пристрастилась к рябиновой настойке – прячась от отца, которого любила и уважала, несмотря на множество приносимых ему огорчений. Бутылку из-под настойки, как вспоминает В. И. Цветаева, Марина выбрасывала в форточку, не думая о том, что падает она возле крыльца и может попасть кому-нибудь в голову.

Запомнился старшей сестре и такой случай: «Как-то вечером отец, возвращаясь домой, видит: дворник настойчиво выпроваживает кого-то со двора.

– Кто это? В чем дело?

Оказалось, Марина дала объявление в «Брачную газету», что требуется жених, указав при этом свой адрес.

Делалось это дурачась, мистификации ради».

Озорство, нежелание учиться, пренебрежение общепринятыми правилами жизни... Может быть, она давала себе разрядку и как-то компенсировала владевшее ею чувство одиночества? Ведь в то же время, выключаясь из окружающего, она неустанно работала: читала, писала, переводила. К восемнадцати годам Цветаева перевела «Орленка» и выпустила первую книгу стихов. В девятнадцать она стала автором еще одной книги. Еще не осознавая этого, она уже шла дорогой своего долга. Было ли близким легче от этого? Полгода спустя после смерти отца Цветаева признавалась, что он «очень страдал от нас, совсем не знал, что с нами делать».

Обстановка в Трехпрудном становилась все более тяжелой; не было центра, вокруг которого сплотилась бы семья, не было общих интересов, каждый шел в свою сторону. Силы и помыслы Ивана Владимировича были отданы Музею, завершение и открытие которого откладывалось из года в год. Здоровье его ухудшалось, он страшился, что не доведет дело до конца. К тому же с начала 1909 года его лихорадила тяжба с министром народного просвещения А. Н. Шварцем, бывшим его однокурсником по университету. Придравшись к случаю кражи гравюр в Румянцевском музее, директором которого все еще состоял И. В. Цветаев, министр начал присылать в музей одну ревизию за другой, ища материалы для обвинения директора в халатности и злоупотреблениях. Трижды Шварц обращался в Правительствующий сенат с предложением привлечь Цветаева к уголовной ответственности, его не останавливало даже то, что вор и бóльшая часть гравюр были обнаружены Цветаевым сразу после пропажи. Трижды Сенат рассматривал дело «Шварца – Цветаева» и в конце концов прекратил его за «бездоказательностью обвинений». Однако «нравственная победа» дорого обошлась Ивану Владимировичу: получив доклад министра и не узнав мнения Сената, Николай II согласился на увольнение Цветаева, не приняв во внимание его двадцативосьмилетней службы и не назначив ему никакой пенсии. Кто мог помочь ему, поддержать и утешить? Мария Александровна, если бы была жива. Но ее не было, а с детьми не было близости, и если они от души сочувствовали отцу, то вряд

ли при своих характерах могли это сочувствие выразить. Они мало понимали друг друга, и он знал, что у него нет ни влияния, ни власти над ними. Младшие дочери научились его потихоньку обманывать. Возможно, это была «святая ложь» – чтобы не огорчать. Жить по его – «старым» – правилам никто из детей не хотел и не собирался.

В жестоком и по-юношески несправедливом стихотворении «Столовая» Марина изобразила членов своей семьи как «во всем друг другу чуждых» и даже «врагов», а их совместную жизнь в Трехпрудном как «мир из-за тарелки супа». Очевидно, именно по поводу этого стихотворения В. Брюсов сказал в своем отзыве на «Вечерний альбом»: «Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние». Стихи свидетельствуют, что устойчивость покинула этот дом и Мариной владело чувство, что «все неустойчиво, недружелюбно, ломко...». Не сами ли они были в этом виноваты? Каждый свою боль скрывал, уносил к себе, замыкался в ней, а на поверхности, для других оставались отчуждение и холод. В. И. Цветаева записывала в дневнике: «...в Трехпрудном выяснилось что-то все-таки несообразное. Оно перемелется, но лучше бы не было таких толчков друг о друга.

Марина молча, упорно, ни с кем не считаясь – куда она идет? Так жить с людьми невозможно. Так, с закрытыми глазами, можно оступиться в очень большое зло. И кажется мне, что Марина и не «закрывает глаз», а как-то органически не чувствует других людей, хотя бы и самых близких, когда они ей не нужны. Какие-то клавиши не подают звука. В жизни это довольно страшно.

Ее нельзя назвать злой, нельзя назвать доброй. В ней стихийные порывы. Уменье ни с чем не считаться. Упорство. Она очень способна, умна. Труд над тем, что ей любо – уже не труд, а наслаждение! Это, конечно, огромно. И она еще только подросток... Время скажет свое.

Только чувствую: от Марины, близкой, младшей, родной, я отхожу... Без слов, как-то само собой, внутренне трудно».

Эта запись рисует Цветаеву в необычайно тяжелое для нее переходное от отрочества к юности время. Старшая сестра видит необычность Марины, кажется, понимает ее достоинства и недостатки – и совершенно ее не чувствует, не может – и не старается – проникнуть за поверхность, в глубь души и характера. Она «отходит», отступает, отступается от Марины, не сделав попыток помочь, преодолеть «трудный» возраст и трудную ситуацию. В сознании Валерии никак не связались ум, талант, умение трудиться средней сестры с ее «закрытостью»,

стихийностью, отчужденностью от окружающих. Увы, это типично: видя перед собой большого поэта, люди хотели бы, чтобы он был к тому же «рубахой-парнем», душой компании и отличным соседом по коммунальной квартире. Непонимание того, что поэтический дар накладывает отпечаток на личность и взаимоотношения с людьми, часто сопутствует поэтам. Так было и в данном случае. Старшей сестре легче было «отойти», чем вникнуть в то, что происходит с Мариной. А между тем, может быть, только она могла бы хоть отчасти заменить мать.

Анастасия Цветаева предполагает, что в конце зимы 1910 года Марина покушалась на самоубийство: на спектакле Сары Бернар «Орленок» она якобы пыталась застрелиться, но револьвер дал осечку. Об этом Анастасия Ивановна, гостившая в те дни в Тарусе, догадалась, когда более тридцати лет спустя получила из третьих рук «прощальное» письмо сестры… Тогда-то ей и вспомнились слова приехавшей в Тарусу Марины «не удалось…» Что – не удалось?

К сожалению, письмо Марины Цветаевой, написанное как бы перед попыткой самоубийства, пропало, и нам остается полагаться лишь на память Анастасии Цветаевой. Но в этом страшном эпизоде в жизни сестры память подводит Анастасию Ивановну – гастроли Сары Бернар в Москве проходили не в 1910-м, а в декабре 1908 года. Значит, может быть, попытки самоубийства не было? Может быть, существовало только прощальное письмо? Не исключено, что, написав его, Марина дала разрядку гнетущему ее напряжению. Писание и позже было выходом из всех ее жизненных тупиков. Но даже если было только прощальное письмо, – мы можем почувствовать, в каком тяжелом психическом состоянии вступала Марина в юность, как давило ее одиночество и, казалось бы, добровольное затворничество с книгами.

Не получилось дружбы с Нилендером. Перестал бывать в Трехпрудном Эллис после скандала весной 1910 года, когда он вырезал страницы из книг в библиотеке Румянцевского музея. Отношения Эллиса с сестрами Цветаевыми не прервались, но интенсивность дружбы иссякла. И уже тогда, по-видимому, появились чуть заметные нотки иронии. Осенью 1911 года Марина напишет, что ей не хочется просить Эллиса привести в «Мусагет» ее будущего мужа. А в 1914-м в поэме «Чародей», вспоминая их восторженную дружбу втроем и отдавая ей должное, Цветаева не скрывает иронии ни к себе тогдашней, ни к герою поэмы. Александр Блок писал однажды Андрею Белому об Эллисе: «*я боюсь Эллиса,* что-то в нем чужое – ужасное, когда не милое, и *только милое,* когда я его увижу и он повернет ко мне

одно из своих многих лиц»[30]. Не один Блок говорил о том, что Эллис мог быть страшным, но сестрам-подросткам он не показал своего «ужасного» лица. Он предстал перед ними «только милым»: восторженным, благословляющим, фантазирующим, проклинающим, – постоянно кипящим. А ретроспективно – немножко смешным. Эпоха Эллиса в Марининой жизни кончилась.

И сразу же наступила эпоха Максимилиана Волошина, начавшаяся его статьей о «Вечернем альбоме». Между ними возникла литературная дружба: Волошин пытался приобщить Цветаеву к книгам, которыми сам тогда увлекался, она писала и говорила ему о том, что она любит. Это было время «прощупывания» друг друга. Несмотря на доброжелательность Волошина к ее стихам и к ней самой, Цветаева не сразу решилась поверить в эту дружбу и довериться ей.

> Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!
> Вы дитя и Вам нужны игрушки,
> Потому я и боюсь ловушки,
> Потому и сдержан мой привет... —

писала она в начале знакомства. Однако довольно скоро между ними, несмотря на большую разницу в возрасте (Волошин на шестнадцать лет старше), возникает взаимопонимание, и уже весной 1911 года Цветаева пишет Волошину из Гурзуфа письма, полные доверчивой откровенности. Она говорит о море, но в словах ее слышится тоска по Человеку: «Я смотрю на море – издалека и вблизи, опускаю в него руки – но все оно не мое, я не его. Раствориться и слиться нельзя». Тема невозможности «раствориться и слиться» станет постоянной в творчестве Цветаевой. В письме от 18 апреля 1911 года она полушутя называет Волошина «Monsieur mon père spirituel» (Господин духовный отец, *фр. – В. Ш*), но содержание письма серьезно, это почти исповедь. При наивности некоторых категоричных заявлений типа: «Доктор не может понять стихотворения! Или он будет плохим доктором, или он будет неискренним человеком», – видно, что Марина весьма трезво оценивает свое положение: «Виноваты книги и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни... Я забываюсь только одна, только в книге, только над книгой!.. Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге, – я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых!» Ей кажется, что она «мысленно все пережила», жизнь видится слишком простой и грубой; она задает Волошину и самой

себе вопрос: «Значит, я не могу быть счастливой?» И наконец, признание – значительное для нее на годы вперед: «Остается ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Тело другого человека – стена, она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену!»

Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадая к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

Разве эти стихи двенадцать лет спустя не перекликаются с тем юношеским письмом? Всю жизнь Цветаевой хотелось преодолеть тело и общаться с людьми на уровне только душ... Сейчас же она ждет от Волошина «человеческого, не книжного ответа».

Думая о Марине Цветаевой ранних лет ее молодости, видишь ее зачарованной душой, заблудившейся в лесу книг и царстве теней. Она жила в заколдованной стране своего одиночества, не умея из него выбраться. Ее первая книга кончалась молитвой:

Дай понять мне, Христос, что не всё только тени,
Дай не тень мне обнять, наконец!

Глава третья
«Солнцем жилки на́литы, не кровью…»

Расколдовал ее, как полагалось в знакомой с детства сказке, прекрасный принц. Его звали Сережа Эфрон. Он нашел Марину в Коктебеле 5 мая 1911 года… И вывел ее из царства теней.

Что за странное слово – Коктебель? Ученые все еще гадают о его происхождении, но расшифровывают как «синяя вершина», возможно, просто потому, что так выглядит эта окруженная горами долина на юго-восточном побережье Крыма. История Коктебеля восходит к незапамятным временам, в его земле до сих пор находят следы скифов, печенегов, средневековых итальянцев и армян. В наше время осваивать Коктебель было нелегко: место безводное, почти безлюдное – крошечная татарско-болгарская деревенька – со странным, своеобразным и, может быть, отпугивающим пейзажем. Он возник миллионы лет назад при извержении вулкана Карадаг (Черная гора), давно угасшего, превратившегося в поразительные скалы, замыкающие с запада Коктебельскую бухту. Казалось, что все это произошло недавно, что со времени извержения ничего не изменилось и земля еще не успела остыть – летом земля Коктебеля раскалена от солнца и греет ступни даже сквозь легкую обувь, – что все эти голые, еще не обросшие зеленью земные морщины и складки запечатлели в себе недавнюю борьбу стихий. Пейзаж уводил к воспоминаниям о сотворении мира. Нужен был особый склад души, чтобы полюбить эту «трагическую землю» и захотеть на ней поселиться.

Мать Максимилиана Волошина Елена Оттобальдовна оказалась одной из первых жительниц Коктебеля. Она купила участок у самого моря и начала строиться, когда сын учился в гимназии. Она проводила в Коктебеле бо́льшую часть года, Макс возвращался сюда из всех своих странствий. Постепенно, повидав множество других земель, он влюбился в свой Коктебель, в Восточный Крым, отождествленный им с древней Киммерией – той, на краю света, о которой уже Гомер знал, что у самого входа в Аид есть

> …киммериян печальная область, покрытая вечно
> Влажным туманом и мглой облаков…[31]

Киммерия роднила со Средиземноморьем, ее можно было

заселить мифами; фантастический пейзаж вызывал ассоциации и с Элладой, и с Библейской историей: «Широкие каменные лестницы посреди скалистых ущелий, с двух сторон ограниченные пропастями, кажется, попираются невидимыми ступнями Эвридики. И хребты, осыпавшиеся как бы от землетрясения, и долины, подобные Иосафатовой в день Суда, и поляны, поросшие тонкой нагорной травой, и циклопические стены призрачных городов, и ступени, ведущие в Аид, – все это тесно и беспорядочно жмется друг к другу...»[32] Пейзаж Коктебеля взывал к творчеству. Волошин первым открыл его для искусства как поэт и как художник-акварелист.

С годами дом Волошиных в Коктебеле начал «обрастать» людьми. Коктебель не мог стать модным курортом, место было явно «на любителя»: не было привычной для Южного Крыма роскошной вечнозеленой растительности, не было тени, не было набережной и обычных для курорта прогулочных тропинок, не было ресторана. Были солнце, горы, море. За комнаты в своем доме Елена Оттобальдовна брала сущие пустяки, столовались в складчину или ходили за две версты в столовую к «добродушнейшей женщине в мире», как вспоминала Цветаева. Было единственное кафе «Бубны» – нечто вроде дощатого сарая, расписанного коктебельскими художниками и поэтами. Здесь можно было роскошествовать: съесть горячий бублик, выпить настоящий татарский или турецкий кофе, купить шоколад. И у Волошиных, и в столовой, и в «Бубнах» неимущим предоставлялся широкий кредит. Сюда стали приезжать те, кто интересовался своеобразием природы и веселым дружеским общением, а не комфортом и светскостью настоящих курортов. Коктебель оказался центром притяжения художественной интеллигенции: художников, поэтов, писателей, актеров. С весны до глубокой осени дом Волошиных был полон народа, преимущественно молодого. Волошин ставил одно условие: «каждого вновь прибывающего принимать как своего личного гостя...»

Как в любой молодой компании, было много веселья и шуток, возникали романы, иногда рушились старые и создавались новые семьи – влюбленность витала в воздухе. На всех хватало дружеского участия Макса и чуткого, строгого сердца Елены Оттобальдовны – «верховода всей нашей молодости», по словам Марины Цветаевой.

Еще зимой Волошин пригласил Марину и Асю провести в Коктебеле лето 1911 года. И вот, проведя в одиночестве месяц в Гурзуфе, проехав около восьмидесяти километров – «после целого дня певучей арбы по дебрям Восточного Крыма» – Марина оказалась в этой мифической, сказочной, чудесной, ни на что не

похожей стране – Коктебель. Ася должна была приехать позже. Одним из первых, кого она встретила здесь, был Сережа Эфрон.

Сережа

Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза – прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны...

Совсем еще мальчик – он был на год моложе Марины. Высокий, худой, чуть сутулый. С прекрасным, тонким и одухотворенным лицом, на котором лучились, сияли, грустили огромные светлые глаза:

Есть огромные глаза
Цвета моря...

Семейные, «эфроновские» глаза – такие же были у его сестер, а потом и у дочерей Цветаевой. «Входит незнакомый человек в комнату, видишь эти глаза и уже знаешь – это Эфрон», – сказал мне художник, знавший Эфронов в Коктебеле.

Может быть, и правда все началось на пляже? Множество полудрагоценных камней таилось в коктебельских песках, их откапывали, коллекционировали, гордились друг перед другом своими находками. А Елена Оттобальдовна даже расшивала ими кафтаны, которые она делала для себя, для друзей и на продажу. Как бы то ни было на самом деле, Цветаева связала свою встречу с Сережей с коктебельским камешком.

«1911 г. Я после кори стриженая. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

– Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

– Марина! (Вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!

– Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

А с камешком – сбылось, ибо С. Я. Эфрон ... чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной».

Это написано в 1931 году, но и в начале семидесятых тот коктебельский камешек хранился у их дочери…

Марина и Сережа нашли друг друга мгновенно и навеки. Она с жадностью и восторгом погружалась в историю его семьи. Там было все необычно, похоже на какие-то любимые с детства книги, а потому нестерпимо близко ей. Странное происхождение: дед с материнской стороны – красавец, блестящий ротмистр лейб-гвардии – был из аристократического рода Дурново, бабушка – из купцов. С отцовской стороны Сережины предки – евреи, и кажется, прадед был раввином.

Елизавета Петровна Дурново[33] и Яков Константинович Эфрон познакомились на нелегальном собрании революционеров-народников. Оба были активными деятелями «Земли и воли» и «Черного передела». Известно, что Я. К. Эфрон участвовал по крайней мере в одном политическом убийстве.

Можно представить себе, как всем существом слушала Цветаева эти рассказы. Еще так недавно она завидовала судьбе Марии Спиридоновой и восхищалась героизмом лейтенанта Шмидта, а теперь это происходило как будто рядом: вот он, ее Сережа, рассказывает ей о своих родителях. «В Сереже соединены – блестяще соединены – две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом – весь в мать. А мать его была красавицей и героиней», – писала Марина Цветаева В. В. Розанову в 1914 году. И четверть века спустя не изменила своего мнения: «это были *чудные* люди».

«Высокая стройная барышня с матово-бледным лицом и огромными лучистыми глазами», – описал Елизавету Петровну Дурново известный революционер Н. А. Морозов. «Красивая, деятельная, живая, она выделялась среди большинства москвичей, вялых и слишком благоразумных», – вспоминала о ней соратница по партии. Лиза Дурново была из числа тех чистых, идеально настроенных русских девушек из дворянских и даже аристократических семей, которых душевная боль за «простой народ», сочувствие его страданиям выводили на дорогу революционной борьбы и приводили к террору. Представление о народе Лиза получила из стихов Николая Некрасова: «До них я считала образованных людей много выше, чем простой народ. А после их убедилась, что образованные люди теряют то, что всего дороже—душевную чистоту…» Странный, трагический путь от поисков правды, свободы и душевной чистоты до участия в политических убийствах и их морального оправдания прошли начиная с шестидесятых годов XIX века несколько поколений русской молодежи. Лиза Дурново стала революционеркой-народницей в начале семидесятых. Нет сведений о том,

принимала ли она непосредственное участие в террористических актах, однако известно, что она не только сочувствовала террору, но и была – в годы первой русской революции – одним из активных членов самой крайней организации террористов-максималистов.

Елизавета Петровна Дурново посвятила революции всю жизнь, несмотря на то, что у нее было девять человек детей (трое из них умерли в раннем детстве). Старшие дети Эфронов тоже пошли в революцию, московский дом и дача в Быкове были полны «нелегальных» людей, литературы и даже оружия. В доме постоянно происходили политические споры, ибо, вопреки тесной семейной привязанности, дети и мать придерживались разных политических направлений; в частности, дочери принадлежали к партии социалистов-революционеров. В «Дело» Е. П. Дурново-Эфрон в Московском охранном отделении попали письма, отразившие эти разногласия. Одна из дочерей писала о матери: «Она теперь ярая максималистка и так горячо искренне в это верит. Я несколько раз пробовала с ней спорить, но куда там...» Сережа, скорее всего, не принимал участия в спорах. Он был одним из двух младших детей, между ним и старшими разница в пять – десять лет, но слышал он споры старших неоднократно и слова: народ, свобода, тюрьма, ссылка, побег, – были знакомы ему с детства.

В прошлом Марины и Сережи не было, казалось, ничего общего, так непохожа консервативная верноподданническая семья Цветаевых на кипящую революцией семью Эфронов, так различны их интересы и образ жизни. Однако общее было—и очень важное, они не могли не почувствовать этого в первые коктебельские дни, даря друг другу свои детство и отрочество – свои жизни до встречи. Это их раннее сиротство.

Мать Сережи была вторично арестована летом 1906 года (первый раз – в 1880 году). Ее «дело» присоединили к процессу «86-ти членов московской оппозиции», но хлопотами близких через девять месяцев Елизавета Петровна была освобождена из тюрьмы на поруки по состоянию здоровья. Родные и друзья внесли за нее большой залог. Ей было уже за пятьдесят, но все случилось, как двадцать семь лет назад: не дожидаясь суда, Елизавета Петровна тайно бежала за границу, на этот раз не одна, а с младшим сыном Костей, который был на два года моложе Сережи. Сереже было 14 лет, он остался на попечении старших сестер. Фактически он осиротел в том же возрасте, что и Марина. Он лишился и любимого брата и тяжко переживал эту разлуку. Правда, семья провела вместе одно лето в Швейцарии. Но в январе 1910-го в Париже Костя, придя из школы, повесился.

Причина самоубийства осталась невыясненной; газеты того времени писали, что мальчика потряс выговор, сделанный учителем. По другой версии он покончил с собой случайно, играя в «казнь народовольца». В ту же ночь в отчаянии повесилась Елизавета Петровна. Ее хоронили вместе с сыном. К счастью для него, отец не дожил до этого: Яков Константинович Эфрон умер в Париже летом 1909 года.

Их встреча была тем, чего жаждала душа Цветаевой: героизм, романтика, жертвенность, необыкновенные люди, высокие чувства… И – сам Сережа: такой красивый, юный, чистый, так потянувшийся к ней как к единственному, что может привязать его к жизни. Долгие годы спустя после этого коктебельского лета, в обращенном к Анатолию Штейгеру последнем любовном цикле «Стихи сироте» – опять сироте! – Цветаева вычеканила формулу своего отношения к людям:

Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне…

Как почти всегда прежде, со Штейгером она ошиблась, но с Сережей сбылось: он был единственным в ее жизни человеком, которому она нужна была «как хлеб». Они ринулись друг к другу, чтобы в совместности преодолеть и растворить собственное одиночество. И – не каждого поэта ждет такая удача – Сережа сразу на всю жизнь полюбил ее стихи, понял, что она – гений и не может быть «как все». По горячему следу знакомства, не позже конца 1911 года, Сергей Эфрон написал рассказ «Волшебница»[34], героиня которого Мара – конечно, Марина Цветаева. Это ее того времени внешность: «Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зеленые глаза, прямо смотрящие в мои». Ее – возможно, именно так сказанные – слова: «я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит». Мара как собственные читает стихи Марины Цветаевой, рассказывает эпизоды из своего детства, которые мы теперь знаем по автобиографической цветаевской прозе.

Сергей Эфрон рисует свою Мару в двойном восприятии – саркастическом и восхищенном. «Трезвый взгляд» принадлежит старшим членам семьи, куда приехала погостить Мара. Она кажется им странной, резкой, не по возрасту самоуверенной девицей, которая держится и разговаривает намеренно вызывающе. Очень вероятно, что такой видели окружающие

Марину Цветаеву, и она это знала. Застенчивость мучила Цветаеву долго, может быть, всю жизнь. Но с детьми Мара не стесняется. Ночью в детской с двумя маленькими мальчиками – один из них, Кира – сам Сергей Эфрон – она может быть собой, сочинять вместе с ними сказку, рассказывать о своем детстве, говорить о самом для себя важном... И они смотрят на нее с восторгом и понимают, что она не сумасшедшая, как считают взрослые, а волшебница. Мальчик с «аквамариновыми глазами» («...Аквамарин и хризопраз / Сине-зеленых,серо-синих, / Всегда полузакрытых глаз...») пронес эту уверенность сквозь все превратности совместной жизни.

Каким же был Сергей Эфрон? Цветаева восхищалась в письме В. В. Розанову: «Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!.. Мы никогда не расстанемся. Наша встреча – чудо». Он представлялся ей идеалом, явлением другого века, безупречным рыцарем. Он обладал чувством юмора, был обаятелен, приятен в общении. Говорили о его благородстве, человеческом достоинстве, несомненной порядочности, безукоризненной воспитанности. Некоторым, как и Цветаевой, он казался похожим на романтического средневекового рыцаря. Впрочем, я встречала и таких, кто считал его слабым, безвольным, не слишком умным и бесталанным. Он был дилетантом: учился в драматической студии, играл на сцене, писал, занимался искусствоведением... Цветаева чувствовала некоторую как бы «недооформленность» Сережи. В рукописи стихотворения тринадцатого года мелькает странное сравнение:

Девушкой – он мало лун
Встретил бы, садясь за пяльцы...
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Пока он только мальчик, вместе с которым она стоит на пороге жизни:

Милый, милый, мы, как боги:
Целый мир для нас!

Но она уверена в нем и его будущем: его честь и благородство были гарантией. Мысль о Сереже заставляет ее «предвидеть чудеса». И она ждет от него чудес. На годы Сергей Эфрон становится романтическим героем поэзии Цветаевой. Именно – романтическим; ее стихи к мужу – не любовная лирика

в принятом смысле слова. В них нет ни страсти, ни ревности, ни обычных любовных признаний. Пройдет почти тридцать лет, прежде чем Цветаева, уже потеряв его, прокричит:

Что ты любим! любим! любим! – любим!

С Эфроном связаны или прямо обращены и посвящены ему более двадцати стихотворений Цветаевой – и все они абсолютно лишены эротики. Что это? Свидетельство отношений, сложившихся между ними? Вскоре после встречи, в стихотворении «Из сказки – в сказку» она просила:

Удивляться не мешай мне,
Будь, как мальчик, в страшной тайне
И остаться помоги мне
Девочкой, хотя женой.

Ее стихи мужу никогда не «ночные», даже после почти пятилетней разлуки, когда она вновь обрела его, стихотворение встречи кончалось строками:

Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

Я не хочу углубляться в подробности интимных отношений Цветаевой с мужем. Вероятно, намек на них, по наблюдению одного из исследователей, слышен в ироничной строке Софии Парнок: «Не ты, о юный, расколдовал ее...»[35]Однако «распахнутая радость поздороваться» стоит многого—и никогда ни к кому больше Цветаева не обратила таких светлых слов. Ее встреча с Сережей осталась единственной: стены «тела» как бы не существовало, она рухнула сама собой, и жизнь строилась на основании родства душ.

Теперь же, в начале пути, ей не терпелось вылепить своего героя по образу, сотворенному ее воображением. Она проецирует на Сережу отблеск славы юных генералов-героев 1812 года, старинного рыцарства; она не просто убеждена в его высоком предназначении – она требовательна. Кажется, ее ранние стихи, обращенные к Сереже, – повелительны, Цветаева стремится как бы заклясть судьбу: да будет так!

Я с вызовом ношу его кольцо —

Да, в Вечности – жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге... —

начинает Цветаева стихотворение, в котором рисует романтический портрет Сережи и загадывает о будущем. Каждая строфа – ступень, ведущая вверх, к пьедесталу – или эшафоту? – последних строк:

В его лице я рыцарству верна.
– Всем вам, кто жил и умирал без страху. —
Такие – в роковые времена —
Слагают стансы – и идут на плаху.

Она не могла предположить, что «роковые времена» не за горами. Тогда Сережа обратился в Белого Воина и Белого Лебедя ее «Лебединого Стана», «Разлуки», «Ремесла». И тогда же она переделала свои прежние стихи к нему, устранив неопределенность сравнения, подняв героя на новую высоту:

Вашего полка – драгун,
Декабристы и версальцы!

Сравнение с версальцами неслучайно – он был в Белой армии. Высоту, на которую Цветаева поднимала своего мужа, под силу было выдержать только человеку безукоризненному. Ни к кому не обращалась она с такой требовательностью – разве что к самой себе. Это были поиски того идеального героя, который позже воплотился для нее в понятие «Поэт».

Цветаева сразу почувствовала себя старшей, взрослой рядом с этим юношей. И он с готовностью принял ее старшинство, недаром в его рассказе Маре – семнадцать, а Кире всего семь лет! Возможно и не осознавая этого, Марина взяла Сережу в сыновья. Как ни странно может это показаться, материнское чувство вошло в ее жизнь с любовью и потом присутствовало в каждом ее увлечении: ее страсть всегда окрашена долей материнской нежности, заботы, стремления оградить от бед. Полюбив Сережу – сама недавно подросток – Марина приняла на себя его боль и ответственность за его судьбу. Она взяла его за руку и повела по жизни.

Илья Эренбург, знавший их обоих с молодости, помогший им после Гражданской войны найти друг друга, развивал мне идею,

что именно Марина «лепила» Сергея как личность и строила его жизнь. «Она была поэтом, – говорил Эренбург, – и он стал писать...» Это верно. Поле поэтического напряжения вокруг Цветаевой было так сильно, что все ее близкие: и сестра, и муж, и маленькая дочь – писали. Анастасия Цветаева издала в 1915и 1916 годах «Королевские размышления» и «Дым, дым и дым» – прозаические книги, написанные с претензией на философию и явно «под Розанова». У Сергея Эфрона в 1912 году вышел сборник рассказов «Детство»; Аля Эфрон едва ли не с пяти лет вела дневники и сочиняла стихи... «Цветаева писала монархические стихи, – продолжал Эренбург, – а Эфрон пошел воевать – ну зачем этому еврею Белая армия?!» Действительно – зачем? По логике семейной традиции Сергею Эфрону естественнее было бы оказаться в рядах красных. Но тут в поворот Судьбы вмешалось и смешанное происхождение Эфрона. Ведь он был не только наполовину евреем – он был православным. Как сорвалось у Цветаевой слово «трагически»?

В его лице трагически слились
Две древних крови...

Почему – трагически? Сам ли он ощущал двойственность своего положения полукровки и страдал от этого? И не оно ли заставляло больнее звучать слова «Россия», «моя Россия»?

Раскрасавчик! Полукровка!
Кем крещен? В какой купели?.. —

этот вопрос, обращенный Цветаевой к другому, мог быть задан Эфрону. Добровольческая армия, борьба за монархическую Россию стали его второй купелью. Трагизм положения заключался в том, что выбор, сделанный им, не был окончательным. Его швыряло из стороны в сторону: Белая армия, монархизм; в первые годы эмиграции отход от Добровольчества, чувство своей «вины» перед новой Россией, евразийство со все большим уклоном в сторону Советского Союза...

Эренбург развил свою идею до конца: «В эмиграции Цветаева пишет „Тоску по родине“, а Эфрон организует Союз возвращения на родину...» Фактически это верно, но по существу неоднозначно. Тоска по покинутой родине – естественное чувство изгнанника. Она жила в Цветаевой вместе с абсолютным неприятием того, что произошло и происходит в России. Служение недавнему врагу – явление противоестественное и

кощунственное. В метаниях Эфрона победила семейная – революционная – традиция. Он начал сотрудничать с ЧК и, как за полвека до этого его отец, принял участие по крайней мере в одном политическом убийстве. Угаданная Цветаевой юношеская неопределенность Сережи оказалась отсутствием внутреннего стержня. Метаморфоза, сделавшая из «декабриста и версальца» чекиста, обернулась трагически для него самого и всей семьи...

Всю жизнь Сережа был ей не только – может быть, не столько – мужем, но и сыном, самым трудным из ее детей. Это коренилось в их раннем сиротстве, в Маринином подсознательном понимании, как необходима человеку мать, и стремлении заменить ее Сереже. Эфрон и вел себя скорее как сын, чем как муж, глава семьи, отстранившись от семейных забот, предоставив их Цветаевой, укрываясь в свои, отдельные от семьи интересы и дела. Как бывает, вероятно, только в русских семьях, пропасть между Цветаевой и Эфроном разверзлась на политической почве. Отношения их дошли до логического предела, должны были кончиться – и не умерли, не кончились. Цветаева осталась верна долгу жены и друга, клятве, данной на пороге жизни перед самой собой и алтарем. Но это еще – далеко впереди.

Пока же, летом 1911 года будущее рисовалось счастливой сказкой. С Цветаевой произошел огромный жизненный перелом: появился человек – любимый! любящий! – которому она была необходима. Она начала заботиться о Сереже с первых дней знакомства, ведь он был еще мальчиком, к тому же с отрочества болен туберкулезом. Она заботилась о его здоровье, питании, удобстве, потом об окончании им гимназии, об университете, позже – о его службе в армии. «Старшинство» сделало ее самостоятельной и свободной. Еще до свадьбы Цветаева писала М. Волошину: «Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить!

Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, – мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь...»

Ей только что исполнилось девятнадцать лет. Кончились детство и отрочество, начиналась юность – такая счастливая!

* * *

Коктебель возвращал к первобытности. К этому обязывала сама суровость здешних мест, о которых Цветаева вспоминала:

«Голые скалы, морена берега, ни кустка, ни ростка, зелень только высоко в горах (огромные, с детскую голову, пионы), а так – ковыль, полынь, море, пустыня...» Природой определялись и костюмы коктебельцев, шокировавшие немногочисленных «нормальных» (не-волошинских) дачников. Сам Макс носил длинную, просторную холщовую рубаху и штаны до колен, сандалии на босу ногу, а свои «дремучие» волосы подвязывал ремешком или полынным венчиком. Елена Оттобальдовна – друзья, даже дети звали ее «Пра», от «Праматерь», слова, оставшегося после какой-то мистификации, – ходила в кафтане, шароварах и мягких татарских полусапожках; другие женщины – в шароварах: удобнее лазить по скалам и взбираться по горным тропинкам! Сколько злых сплетен порождали эти костюмы и долгие ночные чтения стихов на верхней открытой площадке («вышке») волошинского дома! Нормальному обывателю все непохожее кажется злым и враждебным...

В Коктебеле и с питьевой водой было плоховато – ее привозили издалека, и с едой не по-курортному бедно – «никогда не было жирных сливок, только худосочное (с ковыля!) и горьковатое (с полыни!) козье молоко, никогда в нем не было горячих домашних булок, вовсе не было булок, одни только сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно», – вспоминала Цветаева... А зато...

Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан,
И побережьям этих скудных стран
Великий пафос лирики завещан...

М. Волошин

...здесь рождалось вдохновение. Казалось, здесь вплотную соприкасаешься со стихиями: Огня, Солнца, раскалявшего землю так, что она растрескивалась и обжигала ноги; стихией Земли, как будто только возникшей из хаоса и уже древней в морщинистой неприкрашенности; стихией Воздуха, вместе с раскаленными землей и солнцем создававшего по временам фантастические миражи; стихией Воды, моря, как живое существо, приходящего и уходящего, что-то вечно говорящего на своем, забытом людьми языке...

...И вот Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

О. Мандельштам

Постоянно жившая вблизи греческих богов и героев, еще так недавно «ушами души» слушавшая гимны Орфея из уст Нилендера, Цветаева естественно вошла в легенду о Киммерии, создаваемую Волошиным. Здесь оживали древние мифы: Орфей приходил сюда, чтобы спуститься в Аид за Эвридикой, на этом берегу Одиссей встретился с тенью умершей матери, амазонки готовились здесь к своим битвам... Кажется странным, что непосредственно «коктебельских» стихов у Цветаевой почти нет – впрочем, мы не можем сказать этого окончательно, по-видимому, одна из написанных ею в те годы книг не была издана и пропала. Скорее всего, Коктебель просто растворился в ее сознании, стал частью ее души, чтобы выплывать на поверхность в течение всей жизни. Обращаясь к темам и образам древности, она внутренним взором видела неповторимый пейзаж Коктебеля, всем телом вспоминала его горные тропинки, скалы, пустынные берега, слышала нескончаемые рассказы Макса о прошлом этой одухотворенной им земли. И земля, и Волошин, щедро раздававший свой опыт, мысли, знания, и Пра – ни на кого не похожая, мужественная, строгая, справедливая, и вся коктебельская молодежь, одержимая страстью к искусству, создавали ту атмосферу, о которой Цветаева написала от своего и Осипа Мандельштама имени: «Коктебель для всех, кто в нем жил – вторая родина, для многих – месторождение духа».

В Коктебеле складывался особый мир: единения с природой, дружеского веселья, свободы, непринужденности. Было много шуток, «розыгрышей», безобидных и не совсем безобидных мистификаций, душой которых бывал сам Макс. Купанье, собиранье камешков, горные прогулки, поездки в Старый Крым или Феодосию, небогатые, но шумные общие трапезы и чаепития за большим некрашеным столом на волошинской террасе – все оборачивалось праздником. Но праздности не было. «В Коктебеле жили напряженно и весело», – сказал мне старый художник, четырнадцатилетним мальчиком впервые попавший в Коктебель тем же летом, что и Цветаева. Каждый занимался своим делом. Днями работали, художники уезжали или разбредались на этюды; другие уединялись в горах, на море или в комнатах, писали... Здесь в Коктебеле летом 1913 года художница Магда Нахман написала портреты Марины и Сережи. Одна из тогдашних коктебелек говорила мне, что портреты Нахман всегда приукрашивали модель. Не берусь судить, но для меня этот портрет юной Цветаевой – портрет ее души, той, о которой Эфрон сказал: волшебница. Он очень красив по цветовой гамме. Это

единственный живописный портрет, сделанный с натуры при жизни Цветаевой. Портрет Эфрона висел у Анастасии Цветаевой и пропал во время ее ареста; он сохранился только на фотографии комнаты Анастасии Ивановны.

Вечерами, затягивавшимися до утра, собирались на вышке у Макса под открытым небом, «поклонялись луне»: читали стихи, слушали море, спорили об искусстве. Обсуждали этюды, картины, писания друг друга… Увлекались пластическими танцами; Вера Эфрон, сестра Сережи, учившаяся в «школе ритма и грации» Рабенек, руководила коктебельской «пластикой»; занимались многие, вплоть до Пра и шестипудового Макса. «Сонеты о Коктебеле» М. Волошина в шутливых строфах запечатлели живые мгновения тех дней. В двух сонетах упомянута Цветаева. В «Утре»:

> Марина спит и видит вздор во сне.

Макс подсмеивался со смыслом: всю жизнь сны имели для Цветаевой огромное значение, она часто пересказывала их даже в письмах. В сонете «Гайдан» портрет Марины нарисован с точки зрения одной из бесчисленных коктебельских собак, с которыми Цветаева была в теснейшей дружбе. Гайдан повествует о своей любви:

> Я их узнал, гуляя вместе с ними.
> Их было много, я же шел с одной.
> Она одна спала в пыли со мной,
> И я не знал, какое дать ей имя.
>
> Она похожа лохмами своими
> На наших женщин. Ночью под луной
> Я выл о ней, кусал матрац сенной
> И чуял след ее в табачном дыме[36].

Конечно, это Маринины едва отрастающие после многоразового бритья (она мечтала, что они начнут виться – и они завились на концах) «лохмы», ее привязанность к собакам и дым от ее нескончаемых папирос. На одной из фотографий в группе коктебельцев Цветаева сидит на корточках, обняв большого пса, – возможно, это и есть Гайдан?

С этого лета и до самой революции Цветаева много раз наезжала в Коктебель, почти каждую весну или лето проводила в нем один-два месяца, зиму 1913/14 года прожила с семьей в

Феодосии – Сережа экстерном кончал феодосийскую гимназию. Коктебель не просто вывел ее из книжного затворничества, открыл для людей. В каком-то смысле он заменил дом в Трехпрудном, вконец расстроившуюся цветаевскую семью. Волошинский Коктебель, Пра, Макс стали восприниматься той крепостью, в которую можно укрыться от любых жизненных бурь.

Это обрушилось на Цветаеву внезапно и сразу: Киммерия, разнообразное и веселое молодое общество, к которому она не была привычна, любовь, Сережа, его сестры… Перед ней открывался незнакомый мир, и она вступала в него с доверием и ожиданием счастья. Из Коктебеля они уехали вдвоем с Сережей – в башкирские степи, на кумыс; это считалось хорошим средством лечения туберкулеза. Сестра Ася со своим возлюбленным – ей не было семнадцати, ему восемнадцать лет – с того же феодосийского вокзала уезжала в другую сторону, в Москву и дальше, в Финляндию. Их судьбы расходились…

Стоишь у двери с саквояжем.
Какая грусть в лице твоем!
Пока не поздно, хочешь, скажем
В последний раз стихи вдвоем…

От Ивана Владимировича все тщательно скрывалось, письма и деньги из дома шли через Коктебель. Он был нездоров, отчасти и это заставляло дочерей таиться. В начале сентября, в очередной заграничной поездке по делам Музея, Иван Владимирович попал в клинику – «сердце ослабело», как писал он своему сотруднику по Музею: «я обратил на себя внимание только здесь, по окончании объезда намеченных городов, что мне нужно держаться при ходьбе стен домов, приходится садиться на бульварах, чтобы не упасть. Ну, авось выкарабкаюсь из беды…» Он «выкарабкался» и в начале октября был уже в Трехпрудном. Его ждал сюрприз: Марина собиралась замуж, к его приезду они с Сережей уже сняли квартиру вместе с Лилей и Верой Эфрон в новом доме на Сивцевом Вражке. Можно себе представить, что Иван Владимирович не был в восторге от этого: девочка, бросившая гимназию, выходила замуж за недоучившегося гимназиста! И это у него, человека, добившегося всего собственным трудом, выше всего в жизни ценившего образование! Присутствие сестер Эфрон его несколько успокаивало: они были старше и заменяли Сереже мать. Но и им этот брак казался слишком ранним. Иван Владимирович не мог предположить, что в скором будущем его ждет еще удар: Ася, которой едва исполнилось семнадцать, над хрупким здоровьем которой он так

дрожал, тоже была на пороге замужества: поздней осенью выяснилось, что она ждет ребенка, но от него это до времени скрыли…

Судя по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, отношения Марины и Сережи довольно долго продолжали оставаться платоническими. Но это не имело значения – они уже решили никогда не расставаться. Надо было сказать об этом отцу. Произошел обычнейший в мире диалог, воспроизведенный Мариной в письме к Волошину. «Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало. Бурное – с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно.

– Я знаю, что (вам) в наше время принято никого не слушаться… – (В наше время! Бедный папа!)… – Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и – «выхожу замуж!»

– Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать.

Он сначала: – На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет.

А после: – Ну, а когда же вы думаете венчаться?»

Так внезапно наступила пора расстаться с домом в Трехпрудном. Прощаясь, Марина вольно или невольно перебирала в памяти все с ним связанное. И – удивительно, странно, а может быть, наоборот, закономерно для поэта – на пороге счастья, вся этим счастьем переполненная, Цветаева, как древняя Сивилла, вещает о конце этого своего мира. Ее рукой водит чувство благодарности, но за спиной кто-то как будто шепчет: спеши, спеши, это начало, но это и конец…

Совсем еще недавно она считала, что «глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать, – вот мое сегодня», – утверждает она теперь в письме Волошину. Ей открылось, что быть счастливой можно, нужно, даже до́лжно. Она счастлива – впервые после детства. Почему же в стихи врывается тема конца, гибели?

О, как солнечно и как звездно
Начат жизненный первый том,
Умоляю – пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!

Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Она ошиблась только в деталях: дом не был продан, его растащили на дрова холодной революционной зимой. Откуда у Цветаевой уверенность, что мир ее детства и юности исчезает навсегда? Где берет поэт это знание?

Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь еще, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.

Написав эти стихи, сознавала ли она, что пророчит? Вряд ли...

Венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона состоялось в конце января 1912 года. Одной из свидетельниц была Пра, которая, вопреки всем чинным правилам, в церковной книге «неожиданно и неудержимо через весь лист – подмахнула: „Неутешная вдова Кириенки-Волошина“», внеся в торжественный обряд струю вольного коктебельского воздуха.

В эти же недели произошло еще несколько радостных событий. Марина получила свою первую и единственную литературную премию на Пушкинском конкурсе Общества свободной эстетики – за стихотворение «В раю», написанное задолго до конкурса. А в придуманном ими издательстве «Оле-Лукойе» в феврале вышли второй сборник стихов Цветаевой «Волшебный фонарь» и книга рассказов Эфрона «Детство». Они могли себе это позволить: деньги, оставленные родителями, делали обоих обеспеченными и независимыми. Жизнь и впрямь оборачивалась волшебной сказкой, верно поэтому они назвали свое издательство андерсеновским именем – тем самым Оле-Лукойе, который по ночам приходит рассказывать детям сказки. Издательство выпустило еще «Из двух книг» Марины Цветаевой и «О Репине» Максимилиана Волошина и на этом прекратило существование. Объявленный сборник Цветаевой «Мария Башкирцева» не увидел свет, и судьба этих стихов неизвестна.

«Волшебный фонарь», как и «Вечерний альбом», не был обойден вниманием критики, но уже не вызвал такого единодушного одобрения. Цветаева предвидела это, до выхода книги она писала Волошину: «Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего 2-го сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше 1-го или он будет плох. „En poésie, comme en amour, rester à la même place – c'est reculer?“ (В поэзии, как в любви, оставаться на месте значит отойти назад? (*фр.*) – *В. Ш.*) Это прекрасные слова, способные воодушевить меня, но не изменить!» За

некоторым эпатажем здесь слышится понимание, что этот сборник не лучше первого. Позже она сказала о «Вечернем альбоме» и «Волшебном фонаре»: «по духу – одна книга». Те, кто писал о втором сборнике, отмечали слабость молодого поэта, перепевающего самого себя. От нее явно ждали большего, это должно было ее подбодрить. Но Цветаеву огорчили отзывы критики. Через год она выпустила «Из двух книг» – всего пятьдесят стихотворений из первых сборников. И дальше не спешила с печатанием. Настолько не спешила, что никогда не опубликовала стихи 1912 года. В книге «Юношеские стихи», начало которой Цветаева упорно метила 1912 годом, есть лишь одно стихотворение с такой датой. Может быть, поглощенной впечатлениями и заботами новой жизни, беременностью, потом рождением первенца, Марине не писалось?..

В конце февраля Марина с Сережей уехали в свадебное путешествие: побывали в Италии и Франции, в Шварцвальде, жили в Париже. Как почти три года назад, Марина видела Сару Бернар в «Орленке». Сережа писал сестре, что «был поражен игрой... Голос старческий, походка дряблая – и все-таки прекрасно!» В начале мая они вернулись в Москву – ей хотелось присутствовать на открытии Музея изящных искусств имени Императора Александра III.

Иван Владимирович Цветаев завершил дело, которому посвятил жизнь: Музей наконец открывался. Из всех детей это детище оказалось единственной неомраченной радостью его старости. Горько и вместе утешительно звучат запомнившиеся Валерии Цветаевой слова отца, сказанные в связи с открытием Музея: «Семейная жизнь мне не удалась, зато удалось служение родине...»[37]

Открытие Музея состоялось 31 мая 1912 года и проходило чрезвычайно торжественно: присутствовал сам Император Николай Второй с дочерьми и матерью. Марине показалось, что Государь посмотрел на нее и она заглянула в его глаза – «прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские». Это была ее единственная встреча с царской семьей. Впоследствии она написала несколько эссе об отце и созданном им Музее. Она была свидетелем его создания от закладки до открытия. В ее эссе много живых наблюдений, доведенных почти до гротеска, много молодого юмора – кажется, работая, она вернулась в те годы и смотрит на торжество своими и Сережиными глазами двадцатилетней давности. И только сейчас Цветаева смогла по-настоящему осознать, каким неординарным человеком был отец, сколько одержимости своим делом, готовности жертвовать,

верности скрывалось под его простоватой внешностью и скромностью. Только теперь она поняла, как много от его непоказного упорства, добросовестности и трудолюбия перешло к ней самой – молодость не задумывается над такими прозаическими вещами. Пока это был великий праздник отца – вершина его дела и его славы. Описывая отца в тот день, стоящим среди колонн на лестнице перед входом в Музей (такая фотография сохранилась), Цветаева скажет: «Это было видение совершенного покоя». Покой оказался губительным для Ивана Владимировича. То напряжение, в котором он жил долгие годы, видимо, и давало ему силы жить. Здоровье его было подорвано, и хотя он оставался директором своего Музея и еще мечтал написать новую книгу, это не могло удержать его в жизни. Он умер спустя год с небольшим после открытия Музея. Однако он успел еще порадоваться на внуков: в августе 1912 года Ася родила сына Андрея, а 5 сентября у Марины родилась дочь Ариадна – Аля. Обеим повезло, ибо Ася так же твердо ждала сына, как Марина дочь. Иван Владимирович был крестным отцом обоих внуков. В крестные матери Марина и Сережа пригласили Пра – Елену Оттобальдовну Волошину.

Аля

Марина выбрала для дочери имя из греческой мифологии: Ариадна – одна из ее любимых героинь, впоследствии она посвятит мифологической Ариадне стихи и трагедию. Имя было необычным и могло показаться странным, но Цветаеву это не смущало: «назвала ее Ариадной, вопреки Сереже, который любит русские имена, ...друзьям, которые находят, что это салонно. < ... >

– Ариадна. – Ведь это ответственно! —

– Именно поэтому».

Крестины состоялись 20 декабря. Марина записала: «Пра по случаю крестин оделась по-женски, т. е. заменила шаровары – юбкой. Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гете, орлиная голова. Мой отец был явно смущен. Пра – как всегда – сияла решимостью, я – как всегда – безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере: „Мать по лестницам бегает, волоса короткие, – как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина“».

Рождение первенца – огромное событие. В такой молодой семье – Марине не исполнилось двадцати, Сереже девятнадцати лет – особенно. Но о самом событии мы знаем мало; Цветаева отметила в дневнике, что Аля родилась в половине шестого утра под звон ранних московских колоколов. Эфроны жили тогда в Екатерининском переулке в Замоскворечье в собственном доме, деньги на который дала Тьо – это был ее свадебный подарок. Марина выбрала этот дом за сходство с домом в Трехпрудном и в обстановке – расположении комнат, мебели, лампах – стремилась воссоздать родной дом. Был при доме «мохнатый, лохматый дворовый пес, похожий на льва – Осман». Может быть, за его хвост держалась маленькая Аля, учась ходить, – она сама рассказывала мне об этом. Была старая няня, когда-то много лет служившая у сына Льва Толстого в Хамовниках. Марина любила ее рассказы. В доме было уютно, весело, счастливо.

Марина долго не могла оправиться от родов, однако начала сама кормить Алю; потом появились кормилицы, часто менявшиеся. Девочка была хороша собой: золотистые волосы и огромные лучистые «Сережины» глаза – только светло-голубые. Юная мать восхищалась ее внешностью, с восторгом отмечала все новое в ее развитии. Вот некоторые из ее записей.

«Феодосия, 12-го ноября 1913 г., вторник.

Але 5-го исполнилось год два месяца.

Ее слова: ко́ – кот раньше «ки», куда – куда, где, Лиля, мама, няня, папа, «па́» – упала, «ка́» – каша, «кука» – кукла, «нам», на́ – на́, Аля, «мням-ням», «ми-и» – милый, ку-ку, тетя, Вава – Ваня.

Всего пока 16 слов, вполне сознательных... У нее сейчас 11 зубов... <...>

...Еще одна милая недавняя привычка.

С<ережа> все гладит меня по голове, повторяя:

– «Мама, это мама! Милая мама, милая, милая! Аля, погладь!»

И вот недавно Аля сама начала гладить меня по волосам, приговаривая: «Ми, ми!» – т. е. «милая, милая!» <...>

О ее глазах: когда мы жили в Ялте, наша соседка по комнатам, опереточная певица часто повторяла, глядя на Алю: «Сколько народу погибнет из-за этих глаз!..»»

В эти же дни Цветаева в стихах пишет о глазах дочери:

Прелесть двух огромных глаз,
Их угроза, их опасность...
Недоступность, гордость, страстность...

«Феодосия, 5-го декабря 1913 г., среда.

Сегодня Але 1 г. 3 мес. У нее 12 зубов <...>

Новых слов она не говорит, но на вопросы: «где картинки? огонь? кроватка? глазки? рот? нос? ухо?» указывает правильно, причем ухо ищет у меня под волосами <...>

Ходит она с 11½ мес. и – нужно сказать – плохо: стремительно и нетвердо, очень боится упасть, слишком широко расставляет ноги <...>

Феодосия, Сочельник 1913 г., вторник.

Сегодня год назад у нас в Екатерининском была ёлка. Был папа, – его последняя ёлка! Алю приносили сверху в розовом атласном конверте, – еще моем, подаренном мне дедушкой...»

Цветаева мечтала о прекрасном будущем для своего первенца. Аля виделась ей красавицей, окруженной восторгом и поклонением, одаренной талантами, которые она – конечно же! – сумеет воплотить. Первые стихи к дочери Цветаева написала,

когда той был год с небольшим, и потом вплоть до двадцатого года тема дочери постоянно возникает в ее поэзии. Отношения их меняются довольно быстро; перестают быть отношениями матери к новому существу, становятся взаимными, отношениями *между* молодой матерью и растущей девочкой. Это отражается и в стихах Цветаевой разных лет, но главный лейтмотив остается неизменным: она восхищается своей замечательной дочерью.

Аля и правда росла необыкновенным ребенком, помноженным на такую необыкновенную мать, как Марина. Девочка была незаурядно одарена: к четырем годам научилась читать, к пяти – писать, с шести начала вести дневники. Годы ее учения совпали с революцией, и Цветаева учила Алю сама, вместо обычного списывания с учебников или скучных диктантов заставляя ее записывать события прошедшего дня. Эти детские записи сохранились, отрывки из них А. С. Эфрон включила в свои воспоминания. Есть среди них законченный этюд «Моя мать»: «Моя мать очень странная.

Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит.

У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся.

Ее любимый день – Благовещение. Она грустна, быстра, любит Стихи и Музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится.

Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит».

Аля видит мать такой, какой та сама видела себя в зеркале: ее глаза, волосы, нос с горбинкой, голос, руки, кольца, походка знакомы нам по автопортретным стихам Цветаевой. В этой записи чувствуется взгляд будущей художницы. Но не исключено, что Аля уже слышала стихи матери и они влияли на ее восприятие. Запись датирована декабрем 1918 года, Але всего шесть лет и три месяца, а примерно с семи она стала постоянной слушательницей и восторженной ценительницей поэзии Цветаевой.

Поражает глубина проникновения Али во внутренний мир матери: понимание того, что ее мать «не похожа», что она «очень странная», не вызывает в ребенке ни раздражения, ни осуждения.

Аля уверена, что особенности матери связаны с чем-то необычайным, высоким, может быть, таинственным. Чувствуется, что Аля гордится Мариной. И Марина гордилась дочерью. Еще до того, как Аля научилась читать, Марина восхищалась ее речью, ее детски-своеобразным взглядом на мир. Тогдашняя знакомая Эфронов молодая актриса Мария Ивановна Гринева (Кузнецова) вспоминала: «Иногда и Марина оживлялась; начинался ее жанр: сдержанный, серьезный и неповторимо своеобразный рассказ смешных и трогательных ее бесед и споров с дочерью – трехлетней Алей. Маринины диалоги на следующий же день перерассказывались в Камерном театре – из открытых дверей актерских гримерных выкатывался неудержимый и дружный хохот...»[38]

Необычный для ребенка взгляд на мир, оценка окружающих взрослых, сами форма и язык Алиных записей у некоторых читателей воспоминаний А. С. Эфрон вызвали сомнение в их достоверности, подозрение, что это позднейшая стилизация «под ребенка». Это опровергается архивными материалами и тем, что в начале двадцатых годов Цветаева намеревалась составить из Алиных дневников второй том своей – увы, не осуществившейся —прозаической книги «Земные приметы». Сама Ариадна Эфрон в письме к П. Антокольскому (1966) с иронией, характерной для нее и естественной при столь далеком взгляде в прошлое, но точно определила: «мои детские дневники подробно, дотошно, младенчески-высокопарно, как средневековые хроники – повествуют...»

Аля была достойной дочерью своей матери. В семь лет она писала стихи, рисовала, переписывалась с Анной Ахматовой, Константином Бальмонтом, Волошиным и Пра. Возможно, все это не развилось бы столь интенсивно, живи она в обычной обстановке дореволюционной интеллигентской семьи с прислугой, нянями, гувернантками, гимназиями. Но она росла дочерью Цветаевой во времена, когда все это исчезло. В годы революции Аля осталась с матерью с глазу на глаз, не только без прислуги и гувернанток, но и без школы. Они вместе ходили «добывать» еду, она сопровождала мать по ее делам, бывала с нею в гостях и на литературных вечерах. И Цветаева, как некогда ее мать, стремилась как можно больше дать душе дочери, наполнить, направить. Позже, в «Стихах к сыну» она признавалась:

Я, что в тебя – всю Русь
Вкачала – как насосом!

Точно так же «вкачивала» она и в Алю: Поэзию, Музыку, Романтику, Природу, Любовь... Аля оказалась благодатным материалом для материнского творчества. В отличие от самой Марины в детстве она готова была принять все, что исходило от матери. Отчасти это можно объяснить тем, что в ней меньше, чем в Марине, было заложено творчески-индивидуального, требовательного, непременно воспротивившегося бы любому внешнему вмешательству. Но главным образом это исходило из той огромной страстной привязанности, которая связывала мать с дочерью в ее детстве и отрочестве. «Она живет мною и я ею – как-то исступленно», – сказано в одном письме Цветаевой Алиных семи-восьми лет. И больше того – в дневнике: «жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок». Обратите внимание: жизнь души – в единственном числе, одной души – «Алиной и моей» – на двоих. Аля была тогда вторым «я» Цветаевой. Она не отделяет Алю от себя, не всегда ощущает дистанцию возраста между собой и шести-, восьми-, десятилетней дочерью.

Тем более требовательной была ее любовь. В Але Цветаева создавала человека по образу и подобию – не своему, а своего представления о том, какой должна быть ее дочь. Разве это не похоже на то, чего добивалась от своих дочерей Мария Александровна Цветаева? Марина добилась своего: Аля была ребенком блестящим, не по-детски развитым, способным разделять интересы матери и соучаствовать в ее жизни. Але не пришлось быть ребенком, у нее не было подруг; она жила в окружении взрослых и органически вошла в эту жизнь. Она не просто постоянно слышала стихи, она знала, любила и понимала поэзию. В девять лет она писала своей крестной матери Пра: «Мы с Мариной читаем мифологию, мой любимец – Фаэтон, хотевший править отцовской колесницей и *зажегший* моря и реки! А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий...»[39] Она видела мир глазами Марины – с поправкой на возраст, конечно; вместе с ней тосковала по Сереже и одновременно сопереживала всем увлечениям матери, дружила с ее друзьями и ненавидела ее врагов. Это заложено было в самой натуре Али, натуре, которую невозможно пересоздать. Идея Ариадны Эфрон заключалась в том, чтобы быть сподвижницей матери-поэта. Под знаком этой идеи прошли ее детство и отрочество. Перелом наступил, когда ей было лет двенадцать. В юности она бунтовала, стремилась вырваться из-под материнского влияния и давления, устроить жизнь по собственным понятиям. В эту пору отношения между ними доходили чуть ли не до ненависти: у Али потому, что ее жизнь пытаются за нее строить, у Цветаевой – потому, что Алин

«бунт» и отчуждение были невыносимы для нее.

Прошли долгие и страшные годы – семья оказалась в Советском Союзе. На долю Ариадны Эфрон выпали тюрьмы, пытки, лагеря, ссылки. Она вернулась к жизни через семнадцать лет, когда никого из семьи уже не было. Вернулась в материнскую Тарусу – к себе, к цветаевским рукописям, к делу Цветаевой, к ее стихам. Им она отдала оставшуюся жизнь.

* * *

Цветаева этих лет живет внутри избранного ею весьма замкнутого круга: семьи, любимых книг, друзей. Она эгоцентрична эгоцентризмом молодости и не умеет видеть других людей. Впрочем, уже совершенно взрослой она утверждала – и была, без сомнения, права – что эгоцентризм есть присущее поэту свойство. «Духовного эгоизма – нет, – писала Цветаева. – Есть – эгоцентризм, а тут уже все дело в *вместительности* ego, посему величине (емкости) *центра.* Большинство эгоцентриков, т. е. *все* лирические поэты и *все* философы – самые отрешенные и не-себялюбивые в мире люди, просто они в *свою* боль включают всю чужую, еще проще – *не* различают». Всё же теперь, в юности, цветаевское «ego» недостаточно вместительно для чужой боли, и, вероятно, это связано с тем, что в этот редкий в ее жизни момент сама она боли не знала.

Когда стихи «вернулись» к Цветаевой весной тринадцатого года в Коктебеле, они заметно повзрослели. Изменился сам тон их, строже и сдержаннее стал словарь. Они перестали быть стихами гимназистки, ушла сентиментальность, исчезли умильные уменьшительно-ласкательные суффиксы. Мысли и интересы поэта обратились к ее сегодняшнему дню. Издавая «Из двух книг», Цветаева предпослала стихам нечто вроде декларации, призывающей удерживать в поэзии каждое ускользающее мгновение жизни: «Не презирайте „внешнего“! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного!..» Чтобы «закрепить мгновение», она точно пометила это предисловие: «Москва, 16 января 1913 г., среда». Однако декларация опоздала; поэзия Цветаевой уже переросла ее, из всей декларации для будущего годилось лишь начало – чрезвычайно важное: «Все это было. Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен». Дневником ее внутренней жизни ее поэзия оставалась всегда. Впоследствии, собрав в книгу стихи 1913—1915 годов, Цветаева озаглавила ее просто – «Юношеские стихи».

Это подчеркивало расставание с «детскостью», так пленившей критиков ее первого сборника. Она стояла на пороге новых открытий, и «Юношеские стихи» были мостиком, по которому она к ним переходила.

Три с половиной года, начиная со встречи с Сергеем Эфроном, оказались самыми безоблачными и счастливыми в жизни Цветаевой. Она преображалась и вместе с нею менялись ее стихи, вбирая такой удивительный для нее опыт беззаботного счастья. Оно переполняло ее, учило радоваться жизни: солнцу, ветру, потрескивающим в камине дровам, колокольному звону, дружеской беседе, лепету дочери, удачной рифме… Два ее письма к В. В. Розанову запечатлели это состояние счастья. Они написаны весной четырнадцатого года.

> «Милый, милый Василий Васильевич,
>
> Сейчас во всем моем существе какое-то ликование, я сделалась доброй, всем говорю приятное, хочется не ходить, а бегать, не бегать, а летать…»

И в другом:

> «Милый Василий Васильевич,
>
> Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций, ветер трепал мои короткие волосы, я чувствовала себя такой легкой, такой свободной…»

Куда девались ее настороженность, замкнутость, отчуждение от окружающего? Марина словно переродилась и одновременно стала по-новому видеть свою внешность. К двадцати годам она расцвела и похорошела. Как в сказке Вильгельма Гауфа: то ли любовь преобразила ее, то ли счастье, излучаясь от всего ее существа, заставило окружающих видеть ее красивой. Вот как рассказывала о своей первой встрече с Цветаевой актриса М. И. Гринева (Кузнецова). Зима двенадцатого-тринадцатого года, вечер на Курсах драмы, куда Цветаеву пригласили прочесть стихи:

«…зеркало занято! Стройная молодая женщина развязывает, глядя в него, ленты капора. Наконец, ленты развязаны, капор снят, и я вижу пышную шапку золотых волос. Я стою за ее спиной и о-о-й! – какое на ней платье! – Необыкновенное, восхитительное: шелковое, коричнево-золотое, широкое, пышное, до полу, а тонкую талию крепко обнял старинный корсаж. У слегка открытой шеи – камея. – Волшебная девушка из прошлого века!

Себя я чувствую жалкой, одетой безобразно: в узкой короткой юбке с разрезом внизу («как у всех»). А она в этот миг оборачивается от зеркала, и я опять столбенею: нежно-розовое ее лицо строго. Рот сжат. Голова поднята: черты безупречно правильны. Но – глаза! – светлые, и пристальные, и какие-то потерянные, совершенно колдовские глаза...»

Может быть, написанные более полувека спустя мемуары Гриневой несколько преувеличивают ее тогдашнее восхищение, однако и сама Цветаева не осталась равнодушна к происшедшей с ней перемене. Так мучительно все детство и отрочество переживавшая свою полноту, неуклюжесть, казавшийся слишком ярким румянец, она стала себе нравиться. Она заметила свои ярко-зеленые – цвета крыжовника – глаза, пышные золотистые волосы, начавшие виться на концах, свою теперь тонкую и стройную фигуру, стремительную легкую походку. Штрихи автопортрета стали повторяться в ее стихах.

Даны мне были и голос любый,
И восхитительный выгиб лба...

Или:

И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос...

Или:

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...

Цветаева начала интересоваться одеждой, украшениями, но и в этом искала свой особый стиль. Встречавшихся с нею удивляли не только ее платья вопреки моде, но и многочисленные – как у цыганки – серебряные браслеты и кольца. Их она особенно любила и не однажды воспела.

Браслет из бирюзы старинной —
На стебельке,
На этой узкой, этой длинной
Моей руке...

Бирюза, янтарь, аметисты, богемский хрусталь – вот ее

любимые украшения.

Героиня «Юношеских стихов» предстает перед читателем в столь разных обликах и ситуациях, она так не похожа на будущую «взрослую» Цветаеву, что невольно думаешь: молодая женщина примеряет к себе – себя в непривычном новом виде и положении. Это немного и игра, роли, которые она «разыгрывает» перед собой и читателем. Как я буду выглядеть в такой? Или вот в этой? И запечатлев в стихе, как в моментальной фотографии, она рассматривает себя и дает читателю возможность посмотреть и полюбоваться. Вот она в беспричинной юной тоске – может, только оттого, что прошел еще один день жизни? – бродит по вечернему городу:

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких мои руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.

Безнадежность? Почему, в чем? Сам ритм стиха так плавно-спокоен, слова обычны и обыденны, так внимательна героиня к мелочам, что ощущения тоски и безнадежности не возникает. Может быть, она и правда не находит нужных слов? «Мне грустно и легко; печаль моя светла...» – сказал бы Пушкин.

В какой-то момент Цветаевой явно нравится стилизация под

старину: она видит себя как бы вошедшей в одну из картин Константина Сомова:

В огромном липовом саду,
– Невинном и старинном —
Я с мандолиною иду,
В наряде очень длинном...

. . . . . .

Пробором кудри разделив...
– Тугого шелка шорох,
Глубоко-вырезанный лиф
И юбка в пышных сборах. —
Мой шаг изнежен и устал,
И стан, как гибкий стержень...

Что это – вызов? Конечно, нет. А если чуть-чуть и вызов, то вовсе не похожий на «желтую кофту», которой дразнил публику молодой Владимир Маяковский, или на разрисованные лица, морковь в петлице сюртука других футуристов. Но и цветаевская стилизация не остается незамеченной. Гринева продолжала рассказ о вечере на Курсах драмы:

«Подруга слева мне шепчет:
– Такое носит, наверно, во всей Москве она одна.
– Точно такое я видела в сундуке моей мачехи, – слышу я справа... – это платья ее бабушек.
– Какая очаровательная смелость – придти в таком наряде в общество! – восхищенно шепчу я...»

Нетрудно догадаться, что Цветаевой, совсем недавно так «скверно» (ее слово) чувствовавшей себя среди людей, приятны этот шепот за спиной, восхищенное внимание, которое вызывают ее стихи и она сама. Как никогда раньше Цветаева в стихах интересуется своей личностью и как никогда после – собою любуется. Это не нарциссизм и не самодовольство; она ищет себя, радуется знакомству с меняющейся собой.

Солнцем жилки налиты – не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.

Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую...
– Странно чувствовать так сильно и так просто
Мимолетность жизни – и свою.

Ей приоткрывается бездонность человеческой души, она пытается вглядеться в нее и понять. Кажется, что в себе она исследует мир. Пусть пока это еще первый уровень глубины – он предвещал драматизм и трагичность Цветаевой.

С радостью открытия мира удивительно и закономерно сочетаются в «Юношеских стихах» постоянно возвращающиеся мысли о смерти: осознав себя живущим на свете, человек задумывается о бренности всего земного и о собственной возможной смерти. У Цветаевой – именно возможной, ибо в стихах нет ощущения ее неизбежности, нет обреченности. Говоря в письме к В. Розанову о своем безверии, она пишет: «Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти». Если это не минутное настроение, то во всяком случае в поэзии Цветаевой тех лет «ужас» не нашел выражения. Далее она продолжала: «Полная неспособность природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить». И дальше: «...если Вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой. Я сейчас живу совсем другим».

Знаменательно, что с этим письмом Марина послала философу свои стихи о смерти. И если Розанов внимательно прочел их, он понял, что ни ужаса, ни безнадежности нет в душе его молодой корреспондентки, а есть вполне языческий протест против самой возможности умереть.

Слушайте! – Я не приемлю!
Это – западня!
Не меня опустят в землю,
Не меня...

Или:

Быть нежной, бешеной и шумной,
– Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной, —
Прелестной быть!

Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины...

– О возмущенье, что в могиле
Мы все равны!

Стать тем, что никому не мило,
– О, стать как лед!..

Когда жизнь спустя Цветаева вернулась к этой теме, стихи зазвучали иначе. Теперь поэт не бунтует, это стихи глубокого размышления и приятия. Они написаны осенью 1936 года.

В мыслях об ином, инаком,
И ненайденном, как клад,
Шаг за шагом, мак за маком —
Обезглавила весь сад.

Так, когда-нибудь, в сухое
Лето, поля на краю,
Смерть рассеянной рукою
Снимет голову – мою.

Жизнь прожита, а что-то главное так и не найдено – что? Цветаева не открывает нам этого. Эти два четверостишия как будто и не стихи, а лишь ответ самой себе на какой-то затаенный нерешенный вопрос. Выход из задумчивости – в смерть. Она не просит и не предчувствует смерти, она уверена в ее неизбежности – и кажется, вполне равнодушна к этой мысли: «когда-нибудь»... «поля на краю...» непременно вызовет ассоциацию с народным: «Жизнь прожить – не поле перейти». Но сейчас Цветаеву занимает другое: когда-то, в конце жизни, такая же рассеянная, как сейчас она сама в своей глубокой задумчивости, придет смерть и не даст додумать, найти то важное, о чем она постоянно думает. Какую загадку она пытается разрешить? Какого ответа ждет? Она не оставила намека на это. Может быть, как в «Вольных мыслях» Александра Блока, ответ приходит в минуту смерти?

И в этот миг – в мозгу прошли все мысли,
Единственные нужные. Прошли —
И умерли...

Жизнь складывалась завидно-счастливо, установилась и, казалось, так и будет спокойно течь по проложенному руслу. Рядом был преданный, восторженно-любящий Сережа,

окруженная заботами кормилиц и нянь подрастала и радовала Аля. Молодых Эфронов принимали в литературных и театральных обществах и салонах Москвы: Сергей Эфрон и его сестры были связаны с Курсами драмы Халютиной и недавно открывшимся Камерным театром. Все трое Эфронов готовились в актеры, однако Сергею необходимо было окончить гимназию, он занимался экстерном. Имя Цветаевой становится известно, ее стихи имеют успех, ее приглашают читать. Сохранилось несколько свидетельств того, как читала Цветаева свои стихи. М. И. Гринева вспоминала о впечатлении, произведенном Цветаевой на профессоров и студийцев Курсов драмы: «Когда зазвучали стихи, первое, что нас поразило, манера чтения – совсем нам незнакомая и непохожая на то, как учили нас. Цветаева читала с неожиданной простотой и скромностью. И была непривычная слитность интонации этого голоса с тем, о чем он говорит – словно чтение стихов было следующей минутой их сотворения... Перерыв был поглощен спорами. Одни восторгались, другие – более сдержанные и осторожные в своих чувствах – утверждали, что так читать можно лишь дома, для узкого круга близких...»

Чтение поэта мне кажется лучшей из интерпретаций его стихов. Вероятно, это было важно для Цветаевой: интимность ее чтения подчеркивала интимность содержания. Актерского чтения, где педалируется смысл стиха вне его мелодии, она не любила. Часто в те годы она читала стихи вместе с сестрой – в унисон. У них были одинаковые голоса, сливавшиеся в звучании. Анастасия Цветаева пишет: «читали стихи по голосовой волне, без актерской, ненавистной смысловой патетики. Внятно и просто. Певуче? Пусть скажет, кто помнит. Ритмично». Увы! Каждый помнит по-своему. Николай Еленев (речь идет о четырнадцатом годе, о несохранившихся стихах в честь знаменитого актера Мариуса Петипа): «Марина начала произносить стихи. Ровным, слегка насмешливым голосом... Марина не распевала своих стихов. Она беззаветно любила слово, его самостоятельное значение, его архитектонику». Произносила... не распевала... Еленеву как бы возражает Вера Звягинцева, слышавшая Цветаеву в разные времена – в 1919—1921-м и в 1939—1941 годах: «Она вообще все стихи – от самых легкомысленных до самых трагических – читала распевно, на один мотив, напевчик. Ее „раскачка“ была слишком легковесной для стихов...»[40] Может быть, манера чтения Цветаевой менялась? К сожалению, нет ни одной записи ее голоса, и каждому из нас остается принять ту версию, которая ему больше по душе. Важно одно – в эти годы Цветаева читала стихи с неизменным успехом, и это не могло не доставлять ей радости.

Весну и лето тринадцатого года Эфроны провели в Коктебеле. 30 августа скончался Иван Владимирович Цветаев. К счастью, Марина приехала в Москву за две недели до этого, чтобы сдать свой дом в Замоскворечье. Она успела повидать отца живого и бодрого, а потом присутствовала при его кончине. Случайно и все остальные дети оказались в Москве в эти дни. После похорон Марина с семьей поселилась в Ялте – Сережа лечился в санатории. В конце осени они переехали в Феодосию, поближе к Максу и Коктебелю. Недалеко от Эфронов жила с маленьким Андрюшей Анастасия Цветаева, уже разошедшаяся с первым мужем. Было людно, оживленно, весело. Сережа готовился к экзаменам на аттестат зрелости, что не мешало ему принимать участие в вечерах и даже выпускать шуточную газету «Коктебельское эхо». Литературные вечера устраивались часто и по разным поводам; в Феодосии их уже знали, Эфроны и Ася были приняты во всех интеллигентных домах города.

Новый, 1914 год Марина, Ася и Сережа встретили у Макса, в совершенно безлюдном зимнем буранном Коктебеле – Цветаева замечательно описала эту встречу в эссе «Живое о живом». В эту ночь случился пожар в мастерской Волошина, о котором Цветаева пишет, что Макс остановил его силой своего убеждения, «заговорил». Волошин отнесся к пожару без всякой патетики. В письме знакомой в Москву он спрашивал: «Скажите, как нужно понимать пожар, вспыхнувший на Новый год?» – и полушутя назвал это событие «роковым предвестием»[41].

Война, перевернувшая весь мир, застала Цветаеву в Москве в разгар работы над циклом стихов, обращенных к Петру Эфрону, старшему брату Сережи. Он вернулся из-за границы умирать и в конце лета умер от туберкулеза. Марина увлеклась им, еще и два года спустя ей казалось, что она «могла бы безумно любить его!». Нет, это не была страсть – было «облако нежности и тоски», возникшее в ситуации, для цветаевского творчества наиболее благоприятной: «бездны на краю». Цветаева неоднократно признавалась, что в жизни и в любви для нее разлука значительнее встречи. Здесь же с первого мгновения над ними нависла тень вечной разлуки, смерти. Такое сходство с ее Сережей, такая молодая (Петру Эфрону было тридцать лет) уходящая, тающая на глазах жизнь – могла ли Цветаева остаться равнодушной, не рвануться навстречу? И что значит рядом с этим какая-то, где-то далеко начавшаяся война? Стихотворение о войне в буквальном смысле «вклинилось» в цикл, посвященный Петру Эфрону.

Война, война! – Кажденья у киотов

И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.

На кажется-надтреснутом канате
Я – маленький плясун.
Я – тень от чьей-то тени. Я – лунатик
Двух темных лун.

Она демонстративно провозглашает, что темные луны – глаза умирающего друга – важнее для нее любых мировых катастроф. Так же демонстративно через несколько месяцев, в разгар антинемецкого и шовинистического угара, она напишет признание в любви к Германии:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну, как же *я* тебя оставлю,
Ну, как же *я* тебя предам.

Национальной ненависти Цветаева противопоставляет свою любовь к Германии, всё, с чем она чувствует кровную связь: немецкие легенды, искусство, философию…

– От песенок твоих в восторге —
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabenthor.
. . . . . .
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей.

Но если не война, которая поначалу совсем не коснулась эфроновской семьи, то каких еще бурь можно было ожидать? Сережа поступил в университет на историко-филологический факультет – как радовался бы этому Иван Владимирович! Они не захотели вернуться в Замоскворечье и после Крыма сняли квартиру в одном из Арбатских переулков – Борисоглебском, в доме № 6 – самую фантастическую из всех возможных квартир: трехэтажную, в одной из главных комнат которой было

потолочное окно-фонарь, из Сережиной комнаты-«чердака» окно выходило прямо на крышу. Эта квартира вряд ли понравилась кому бы то ни было, кроме Цветаевой, а ей сразу полюбилась – в ней, устроив ее по своему вкусу, она и прожила до отъезда из России.

«Подруга» или «Ошибка»?

Опасность подстерегала молодую семью с самой неожиданной стороны: осенью четырнадцатого года Марина познакомилась с поэтессой Софией Парнок, женщиной на семь лет старше себя, известной гомоэротическими склонностями. Это была любовь с первого взгляда:

Сердце сразу сказало: «Милая!»
Все тебе – наугад – простила я,
Ничего не знав, – даже имени! —
О люби меня, о люби меня!

Мы можем лишь гадать, что заставило Цветаеву ринуться навстречу этой безудержной страсти. Неудовлетворенность? В «Письме к Амазонке» Цветаева пишет о подобных встречах: «И вот этой улыбающейся молодой девушке, не желающей в своем теле чужого, не желающей ни его, ни его тела, желающей лишь *моего,* встречается на повороте дороги другая *я, она:* ее не надо бояться, от нее не надо защищаться, ибо эта «другая» не может причинить ей боли <…> пока еще она счастлива и свободна, свободна любить сердцем, без тела, любить без страха, любить, не причиняя боли»[42]. Но у самой Цветаевой в момент встречи с Парнок уже есть Сережа и Аля, она жена и мать. Через год после их встречи С. Парнок напишет стихотворение, обращенное к Сергею Эфрону. Оно кончается такими победоносными строками:

Не ты, о юный, расколдовал ее.
Дивясь на пламень этих любовных уст,
О, первый, не твое ревниво, —
Имя мое помянет любовник[43].

Возможно, какие-то интимные подробности жизни Цветаевой стали известны ее подруге, что и позволило ей так торжествовать над соперником.

Или слишком спокойное течение жизни уже вступало в противоречие с натурой Цветаевой, жаждавшей бурь и катаклизмов? Насытившись тихим семейным счастьем, ее душа требовала перемен? «Судорожная, лихорадочная жадность жить»? В первом стихотворении к Парнок Цветаева бросает вызов:

Я Вас люблю! – Как грозовая туча

Над Вами – грех!..

Может быть, любопытство, непременная черта гения, влекло ее на путь неизведанный, таинственный и опасный? Не на это ли намекает «Письмо к Амазонке»: «...Я боялась, что больше не полюблю: *ничего больше не узнаю?..»* (выделено мною. – *В. Ш.*). Аромат изощренной эротики пронизывал в те годы воздух литературных и театральных салонов, придавал остроту и пикантность искусству; связи подобного рода не скрывались и почти не считались предосудительными. Но я бы не удивилась, узнав, что лишь мысль о Сафо стала толчком для Цветаевой.

Не буду вникать во все перипетии этих интимных отношений, тянувшихся около полутора лет. Пожалуй, я и вообще не касалась бы их, если бы этот роман не оставил значительного следа в душе, сознании и творчестве Цветаевой. По ходу близости и разрыва с Парнок она пишет более двадцати пяти стихотворений; через много-много лет осмысляет тему сафической любви в эссе «Письмо к Амазонке», где, несомненно, отразился ее собственный опыт. Подспудно эта тема лирически окрашивает последнюю прозу Цветаевой «Повесть о Сонечке».

Собирая зимой девятнадцатого-двадцатого года книгу «Юношеские стихи», Цветаева составила цикл из семнадцати стихотворений, обращенных к Парнок. Она назвала его «Ошибка» – как бы определив отношение к этому эпизоду собственной жизни. Позже название, вероятно, показалось ей слишком прямым, чересчур обнажающим интимную тайну – она заменила его нейтральным «Подруга».

По существу, это первый любовный цикл в творчестве Цветаевой. Если стихи к Нилендеру выражали скорее девичью тоску по любви, чем любовь; если в стихах к Эфрону главным было восхищение, умиление, восторженное стремление преклониться и оберечь под крылом – набор чувств более материнских или сестринских, нежели эротических, – то в «Подруге» пером Цветаевой впервые водит настоящая страсть. Стихи воссоздают канву напряженнейших отношений: знакомство в многолюдном обществе, когда лирическая героиня мгновенно ощущает дыхание судьбы и неотвратимость этой встречи («что-то сильней меня...»); прогулки, свидания, поездка в монастырский город на Рождество. Однако гораздо более важно отметить новые для Цветаевой интимные – эротические и связанные с ними душевные – переживания: первые неуверенные прикосновения и неловкие поцелуи, прикрываемое иронией смущение лирической героини, «что Вы – не он», постепенное нарастание и

раскрепощение страсти... Впервые у Цветаевой сливаются любовь и эротика: страсть, интимные подробности близости:

Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок... —

и одновременно восторг, ощущение счастья, полноты жизни, жажда служить возлюбленной...

Цветаева клянется Подруге в вечной верности:

...Говорю тебе на случай,
Если изменю:

Чьи б ни целовала губы
Я в любовный час,
Черной полночью кому бы
Страшно ни клялась —

Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвесть,
Никогда ни в чью сторонку
Глазом не повесть...

Видишь крестик кипарисный?
– Он тебе знаком! —
Все проснется – только свистни
Под моим окном!

...отдает свою судьбу в ее руки, радуется каждому мгновению, проведенному вместе:

Как весело сиял снежинками
Ваш серый, мой соболий мех,
Как по рождественскому рынку мы
Искали ленты, ярче всех...
. . . . . .
Как всеми рыжими лошадками
Я умилялась в Вашу честь...[44]

Или:

...Сколько я тебе гребенок
И колечек подарю!
. . . . . .
Сколько подарю браслеток,
И цепочек, и серег!..

Или:

Повторю...
Что любила эти руки
Властные твои,
И глаза...

Цветаева любуется Подругой, рисует портрет Софии Парнок, где подчеркнуты детали ее внешности, выделяющие ее из толпы и особенно милые автору: рыжая «каска» («шлем», «грива») волос, «властолюбивый» лоб («чело Бетховена», «мой демон крутолобый»), чувственный рот («Рот невинен и распущен,/ Как чудовищный цветок»), глаза («взгляды ...как пляшущее пламя»), неповторимые («бескровные», холодные, «светские») руки с узкими «злыми» пальчиками... Голос: «с чуть хрипотцой цыганскою», с «игрой сулящей». Не забывает описать и своеобразную одежду Подруги вплоть до веера и тросточки.

Но почему меня не оставляет мысль, что этот роман сыграл роковую роль в жизни Цветаевой? Ведь он вдохновил ее на стихи, дал импульс прозе. Не потому же, что эти отношения внесли в жизнь Цветаевой стремительность, почти разрушительную интенсивность, заставили Марину за полтора года прожить полный круг страсти, радости и боли, чего другому хватает на целую жизнь, да и то выпадает не всякому? Конечно, не поэтому.

Тут выступает на сцену трагическая реальность, «как грозовая туча» нависшая над Цветаевой с первого обращенного к Парнок стихотворения, – недаром в нем дважды повторяется это слово: «героиня шекспировских *трагедий*» и «юная *трагическая* леди». Дело не в охлаждении старшей из подруг, ревности, страдании младшей и даже не в разрыве, хотя при охватившей Цветаеву испепеляющей страсти и ее беспримерной гордости это должно было быть невыносимо. Разрыве, о который Цветаева впервые в жизни разбилась. Его можно было предвидеть, хотя бы потому, что для Парнок увлечение Цветаевой было гораздо менее значительно, чем для Цветаевой ее любовь к Парнок. Для старшей Подруги это был «один из» в ряду других сафических романов. Для Цветаевой – первый (и может быть, единственный)

эротический и душевный опыт. Он обозначил собой переломный момент ее жизни.

Испепеляющая страсть, очевидно, впервые открывает для нее возможность эротического наслаждения. С другой стороны, с первой же встречи Цветаева ощущает греховность этого наслаждения, нечто недозволенное, страшное. На протяжении всего цикла отношения двух женщин вызывают образы охоты (амазонки?), поединка («поединок своеволий»), боя («Это сердце берется – приступом!..»), борьбы, победы, поражения... Речь идет о том «поединке роковом» «души с душой», который описан Ф. Тютчевым в «Предопределении». Такой поединок предопределен – Тютчев пережил его, – каждому это знание дается на собственном опыте.

Анализируя в «Письме к Амазонке» природу сафической любви, стремясь понять причину ее неизбежного, как считает Цветаева, краха, —она приходит к выводу, что крахом кончаются поиски души, что именно душа противится этой любви.

Летом пятнадцатого года Цветаева пишет сестре мужа Лиле: «Соня меня очень любит и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не могу уйти». Они с Парнок живут в это время в Святых горах Харьковской губернии. С ними Аля и няня. Перед этим все они – еще и с сестрами – провели два месяца в Коктебеле. Это почти семья. Сергея Эфрона уже несколько месяцев нет дома, он санитаром отправился на войну. Душа Марины разрывается между ним и Парнок. В ее отношении к «Соне» сплелось многое – в том числе и тоска по матери, которой у нее давно нет. В стихотворении к Парнок, уже после разрыва, Цветаева вспоминает о своей дочерней привязанности к Подруге:

В оны дни ты мне была, как мать,
Я в ночи тебя могла позвать...
. . . . . .
Благодатная, вспомяни,
Незакатные оны дни,
Материнские и дочерние...

(26 апреля 1916)

Эти стихи вторят написанным до них стихам Софии Парнок – о душевной борьбе между страстью и материнским чувством:

«Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою» —
Ах, одностишья стрелой Сафо пронзила меня!
Ночью задумалась я над курчавой головкою,

Нежностью матери страсть в бешеном сердце сменя.

Нечто греховное, отталкивающее, противное естеству женщины чувствует Цветаева в своих отношениях с Парнок даже в самый разгар страсти. Уже недели через две после знакомства в стихах, описывающих ночное свидание, прорывается:

Очерк Вашего лица
Очень *страшен.*
. . . . . .
— Вы *сдались?* — звучит вопрос.
– *Не боролась...*
Голос от луны замерз...

Немного спустя:

Рот невинен и распущен,
Как *чудовищный* цветок[45].

Что-то в Цветаевой противится этой любви настолько, что тема разрыва, желание разрыва начинают слышаться в стихах очень рано и идут параллельно ревности, признаниям в любви, клятвам верности и обидам. Весной 1915 года проговариваются «канун разлуки», «конец любви», «твоя душа мне встала поперек души» и в результате – отчаянное:

– Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути!

Кажется, она знает, что не в силах сама оторваться от Парнок, от этой «треклятой страсти» и заклинает отпустить ее:

– Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?

Душа ее рвется прочь. Она просит подругу оставить ее:

– Благословляю Вас на все
Четыре стороны!

И наконец завершает цикл почти грубостью – или мольбой:

И идите себе... – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.

Разлюбите меня, все разлюбите!..

Неважно, кому принадлежит «честь разрыва». Вероятно, обе в какой-то момент рванулись друг от друга, и у каждой на то были свои причины: у Парнок – следующее увлечение, у Цветаевой – стремление освободиться от чар этой почти нестерпимой страсти. Они расстались с чувством взаимной горечи. Мало того что отношения с Парнок были тяжелы самой Цветаевой, они не могли не омрачаться той раной и обидой, какую наносили Сереже. Она отдавала себе в этом отчет и мучилась. В том же письме из Святых гор, где она пишет сестре мужа о своей любви к «Соне», она говорит и о Сереже – и не старается бодриться или обманывать себя: «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь...» «О самом грустном», «вечная тяжесть» – это об отношениях с Парнок. Она знала, что близкие беспокоятся о ней и Сереже. В письмах Е. О. Волошиной к художнице Юлии Оболенской – из коктебельского круга – откровенно говорится о делах Эфронов. Пра любит Сережу и Марину, она – крестная маленькой Али, ее беспокоит судьба этой семьи. Впервые она упоминает о «романе» Марины 30 декабря 1914 года – как о деле уже известном: «...Вот относительно Марины страшновато: там дело пошло совсем всерьез. Она куда-то с Соней уезжала на несколько дней, держала это в большом секрете. Соня эта уже поссорилась со своей подругой, с которой вместе жила, и наняла себе отдельную квартиру на Арбате. Это все меня и Лилю очень смущает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары...» Выражение «Соня эта» подчеркивает неприязнь Пра к Парнок; она – чужая и враждебная. За Марину страшно, тревожно и в какой-то мере стыдно («смущает»), но мудрая Пра смотрит на вещи трезво: «чары» сильнее возможностей разумного убеждения. Проходит всего три недели, и мы с удивлением узнаем из ее письма, что, оказывается, и у Сережи был какой-то роман: «У Сережи роман благополучно кончился, у Марины усиленно развивается и с такой неудержимой силой, которую ничем остановить нельзя. Ей придется перегореть в нем, и Аллах ведает, чем это завершится...»[46] Волошина воспользовалась сострадательным

наклонением неслучайно: *«придется* перегореть» означает, что поведение Марины вне ее собственной воли. И Марина горела на этом огне, коченела на этом морозе («Ваш маленький Кай замерз, / О Снежная Королева…») – так формировалась ее душа взрослого человека. Аделаида Герцык заметила это, получив письмо от Цветаевой: «…Марина, наконец, выходит из своего замкнутого детского круга, – *большое страдание* (выделено мною. – *В. Ш.*) постигло ее и выковывает из ее души новую форму»[47].

Но что за роман у Сережи? Всего три недели назад на него не было и намека, а сейчас он «благополучно кончился». Мне ничего не известно об этом, но я могу предположить, что в ответ на Маринино увлечение Парнок, чтобы смягчить ожесточение близких против нее, может быть, даже, чтобы облегчить ее совесть, Сережа придумал себе какой-то роман. Он относился к Цветаевой на уровне такого высокого преклонения, которое не могло быть разрушено ее увлечениями и изменами. Случай с Парнок был первым в их жизненном опыте, но и позже позиция Эфрона оставалась неизменной: не противостоять, не бороться – отойти, переждать, когда страсть перегорит в Марине. Мне довелось беседовать с К. Б. Родзевичем – героем лирических поэм Цветаевой «Поэма Горы» и «Поэма Конца». На вопрос, как относился к их роману С. Я. Эфрон, Родзевич ответил: «Он предоставлял ей свободу, устранялся…» Ранней весной 1915 года, вероятно чтобы «устраниться», Сергей Эфрон, оставив университет, поступил братом милосердия в военный санитарный поезд. Могло ли это не мучить Марину?

Окончательный разрыв с Парнок произошел в феврале шестнадцатого года. Цветаева «перегорела», «освободилась от чар», но что-то сломалось в ней за эти полтора года, что-то безвозвратно ушло, и она знала об этом и отметила в стихах:

И еще тебе скажу я:
Все равно – канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.

Взгляд – до взгляда
Смел и светел,
Сердце – лет пяти…

Еще более драматичны признания:

И еще скажу устало,
– Слушать не спеши! —

Что *твоя душа мне встала*
Поперек души.

Или:

Я Вашей юностью *была*...[48]

С Парнок кончилась ее юность. Следует отметить, что читатель «допущен» в историю этих отношений много спустя после смерти автора: при жизни Цветаевой цикл «Подруга» опубликован не был и впервые напечатан в 1976 году. Завершая «Юношеские стихи», она поставила последним стихотворение от 31 декабря 1915 года.

Даны мне были и голос любый,
И восхитительный выгиб лба.
Судьба меня целовала в губы,
Учила первенствовать Судьба.

Устам платила я щедрой данью,
Я розы сыпала на гроба...
Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы Судьба!

Возможно, Цветаева имеет в виду ту ненависть младшей к старшей, которой, как она утверждает в «Письме к Амазонке», кончается большинство подобных связей: «(...еще раз проглоти все – за все, что ты мне сделала!)... И в глазах – ненависть! Ненависть наконец освободившейся рабыни. Желание поставить ногу на сердце».

Такая встреча с Судьбой даром не проходит. Недаром она назвала этот роман часом своей «первой катастрофы»[49]. И не встреча с Осипом Мандельштамом, как я прежде думала, а отношения с Парнок открыли новую Цветаеву: верст, бродяжничества, «разгула и разлуки». Теперь казалось – все дозволено. Никакое новое увлечение, никакой «грех» больше не были невозможны. Неизменным оставался только ее Сережа. В их отношениях была заключена та «высшая» правда, которая не обязательно совпадает с повседневностью, а существует как мера вещей. На следующий день после последних стихов-воспоминания о Парнок Цветаева принесла покаяние мужу – на жизнь вперед:

Я пришла к тебе черной полночью,
За последней помощью.
. . . . . .
Самозванцами, псами хищными,
Я до тла расхищена.
У палат твоих, царь истинный,
Стою – нищая!

Были ли у нее еще гомоэротические связи? В «Письме к Амазонке» есть фраза: «Больше ее этим не обольстишь».

* * *

«Удар Судьбы» не прошел бесследно. Испепеленная «треклятой страстью», умудренная новым жизненным опытом, Цветаева, как птица Феникс, восстала из пепла с изменившимся и окрепшим голосом.

Птицы райские поют,
В рай войти нам не дают... —

поставила она эпиграфом к стихам шестнадцатого года, а в письме пояснила: «лютые птицы!» Рай – если представлять его царством покоя и света – навсегда закрылся для цветаевской поэзии. Отныне ею владеет дух беспокойства, тревоги, вечных поисков.

Это не рациональный процесс. Вряд ли поэт может решить: с первого января буду писать совершенно по-иному. Но если читать подряд «Юношеские стихи» и «Версты. Выпуск I», впечатление скачка поразительно. Между тем хронологически первый из этих сборников кончается 31 декабря 1915-го, а второй начинается в январе 1916 года[50].

Прежде всего изменилось самоощущение лирической героини Цветаевой и ее восприятие мира. От золотисто-розовой девушки в обдуманно-немодных платьях, с удовольствием разглядывающей себя в зеркалах, от задумчивых прогулок в липовых аллеях не осталось и следа. Если в «Подруге» она могла только просить:

Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру. —

то теперь Муза Цветаевой вырвалась на простор неизведанных дорог, навстречу ветрам, ночным кострам, случайным встречам и мгновенной страсти. Сменился пейзаж и интерьер ее стихов, они больше никогда не вернутся в гостиную. «Душа спартанского ребенка» тоже отошла в далекое прошлое. Лирическая героиня Цветаевой ощущает себя свободной от условностей и обязательств прежней жизни, преступает границы общепринятого: веры, семьи, привычного быта. Нечто тайное и недозволенное открылось ей и увлекло.

Кошкой выкралась на крыльцо,
Ветру выставила лицо.
Ветры – веяли, птицы – реяли... —

так начинает Цветаева сборник «Версты» I, взрослый этап своей лирики. Впереди у нее разные пути, поэзия ее будет меняться, но такого значительного и на первый взгляд неожиданного перелома больше не будет.

Если в тринадцатом году, обращаясь к сестре, Цветаева смела утверждать:

Мы одни на рынке мира
Без греха... —

то теперь она сознает свою греховность – и не чурается ее. Она не эпатирует читателя, как молодой Маяковский, не исповедуется, как Ахматова, не отстраняется, как Мандельштам, – Цветаева распахивает свою душу, вовлекая в сопереживание, но часто вызывая и оттолкновение. Наиболее близок ее прежней героине образ «искательницы приключений», все другие ее облики не имеют ничего общего с прежними. Вот она бродяга – «кабацкая царица»:

Нагулявшись, наплясавшись на шальном пиру,
Покачались бы мы, братец, на ночном ветру...

Или «каторжная княгиня»:

Кто на ветру – убогий?
Всяк на большой дороге
Переодетый князь!
. . . . . .

Так по земной пустыне,
Кинув земную пажить
И сторонясь жилья,

Нищенствуют и княжат —
Каторжные княгини,
Каторжные князья...

Или – богоотступница: чернокнижница, колдунья, ворожея... Безверие, в котором Цветаева признавалась В. Розанову, но которое прежде обходило стороной ее стихи, теперь звучит в них открыто:

Уж знают все, каким
Молюсь угодникам —
Да по зелененьким,
Да по часовенкам...

Тема отступничества, «разлуки» с Богом то и дело слышится в «Верстах» I:

Воровская у ночи пасть:
Стыд поглотит и с Богом тебя разлучит.
А зато научит
Петь и – в глаза улыбаясь – красть...

Признаваясь, что она учится «петь» на этих новых для себя дорогах, Цветаева понимает, какой необычный путь выбрала ее поэзия, и осознает, что это безвозвратно:

Только в сказке блудный
Сын – возвращается в отчий дом.

Она ищет спутников на этом пути. Разлуки и встречи – больше разлук, нежели встреч – поиски спутников, Спутника, родной души стали «idee fixe» жизни и поэзии Цветаевой. Попутчики ее, естественно, изменились. Строки вроде «О, где Вы, где Вы, нежный граф?» даже в ироническом контексте в этой книге показались бы нелепыми. Она теперь окружена искателями приключений, бродягами, ворами – людом больших дорог. Героиня Цветаевой пытается найти себя среди отверженных и

отвергающих. Ее тянет к ним, она ощущает свою с ними близость. Впервые ей нужны не семья и друзья, не самые близкие, а просто люди. Даже если это всего лишь условно-романтический прием, он значителен для ее творческого развития. Много ростков прорастет в ее поэзии из этой строки:

Руки даны мне – протягивать каждому обе…

Каждому – в ком хоть померещится ей что-нибудь родственное, созвучное ее душе. Сегодня это «сообщники» и «сопреступники». Темным ореолом окутывает грех героиню Цветаевой. Она несет его с вызовом:

Иду по улице —
Народ сторонится:
Как от разбойницы,
Как от покойницы.

Надеюсь, читатель не воспринимает это буквально. Цветаева не пошла бродяжничать по дорогам, переходя из кабака в трактир. Она не покинула любимую квартиру в Борисоглебском переулке и продолжала, как умела, быть хозяйкой своего дома, женой своего мужа и матерью своей дочери. В ее стихах открываются не подробности ее быта, а Бытие ее души, порвавшей с привычной обыденностью. Впрочем, до нашего времени дошли глухие рассказы о том, что душа Цветаевой не была чужда зла, что она была способна «совершать зло „просто так“, украсть, распорядиться по-своему тем, что дорого другому…».

С изменением мироощущения сменилось все: лексика, краски, ритмы. Если в «Юношеских стихах» преобладали слова ряда: игра, шалость, веселье, смех, нежность, – передавая общее настроение легкости, то в «Верстах» I их сменили слова, связанные с ощущением тревоги, неустойчивости, постоянного движения: дороги, версты, ветер, ночь, бессонница, плач… Я пыталась найти примеры, чтобы сравнить описание одежды, украшений, деталей интерьера в этих книгах. В «Юношеских стихах» все весьма изысканно: пышное платье из чуть золотого фая, куртка с крылатым воротником, соломенная шляпа, шаль из турецких стран, шубка, муфта, опаловое кольцо, браслет из бирюзы, шезлонг, камелек, севрские фигурки… Оказалось, что в «Верстах» ничего подобного просто нет, сравнивать не с чем. Цветаева перестала этим интересоваться. Не только изысканных –

никаких туалетов своих или своих героев не описывает она в стихах. Вместо «шали из турецких стран» из стихотворения «Анне Ахматовой» («Юношеские стихи») появилось в цикле «Стихи к Ахматовой» («Версты» I): «В темном – с цветиками – платке», совсем по-деревенски. Интерьер отсутствует, потому что стихи Цветаевой покинули комнаты и перекочевали в поле, на базар, в пригород, загород, на московские улицы и площади.

Интересно сопоставить стихи «Бабушке» из «Юношеских стихов» и «Говорила мне бабка лютая...» из «Верст». «Бабушке»:

Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица —
Локоны в виде спирали.
. . . . . .
День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.
– Бабушка! Этот жестокий мятеж
В сердце моем – не от Вас ли?..

И – другое:

Говорила мне бабка лютая,
Коромыслом от злости гнутая:
– Не дремить тебе в люльке дитятка,
Не белить тебе пряжи вытканной,
Царевать тебе – под заборами,
Целовать тебе, внучка – ворона!

Как ударит соборный колокол —
Сволокут меня черти волоком.
Я за чаркой, с тобою роспитой,
Говорила...

Оба стихотворения чрезвычайно характерны для времени, когда они написаны (сентябрь 1914-го, апрель 1916-го) и для сборников, в которые включены. Ни одной из своих бабушек Цветаева не знала. Первое стихотворение связано с портретом,

висевшим в доме в Трехпрудном, изображавшим реальное лицо – польскую бабушку Марины. Цветаева любила упоминать ее, создав образ пленительной романтичной юной польки, связывая «бабушку» и с Мариной Мнишек, и с собственным характером и судьбой. Элементы точного описания портрета слились в стихах с воображаемыми возвышенно-романтическими подробностями.

«Бабки лютой» из второго стихотворения вообще не существовало хотя бы потому, что «цветаевская» бабушка Марины умерла, не успев состариться и согнуться. Это образ вымышленный. В стихотворении 1920 года «У первой бабки – четыре сына...» Цветаева с уважением и любовью пишет о своей «чернорабочей» бабушке – сельской попадье, матери Ивана Владимировича. Зачем же понадобилось поэту выдумать себе еще одну, несуществовавшую бабку? Она нужна для внучки, лирического «я» автора, которому ни одна из ее действительных бабушек больше не соответствует. В том новом мире, где теперь обитает героиня Цветаевой, нечего делать ни романтичной польке с вальсами Шопена, ни матери семинаристов с ее заботами. Злая бабка – почти колдунья – как нельзя лучше подходит этой непутевой, забывшей Бога и стыд внучке. Ее воркотня, предрекающая всяческие напасти, написана в стилистическом ключе народных заплачек – формы, прижившейся в поэзии Цветаевой. Обе они – и бабка, и внучка – из мира людей безбожных, бесшабашных, беззаконных. В этом мире нет места романтическому «жестокому мятежу»; здесь – «позор пополам со смутою». В «Юношеских стихах» преобладали светлые тона: белый, розовый, золотистый. Особенно много – роз и розового. В «Верстах» появляются и становятся основными темные цвета: серый, сизый, темный, черный, иссиня-черный и исчерна-синий, сгущающиеся до черноты угля (глаза – «два обугленных прошлолетних круга!») и ночи («как ночь ее повойник!»). Нагнетание темноты поддерживает ощущение тревоги, которым окрашена книга. Темнота, из которой трудно выбраться, взаимодействует со стремительным темпом, в котором написаны – проиграны – «Версты». Как будто налетевший вихрь подхватил героиню и читателя, закрутил, понес от страницы к странице. И на каждой, как за незнакомым поворотом, ждет неожиданное. Здесь главенствуют ветер и птицы – никогда в русской поэзии не собиралось одновременно столько самых разнообразных птиц. Привычному соловью из «Юношеских стихов» противостоят во́роны, лебеди, го́рлицы, орлы – все вплоть до совы и перепела. Сочетание ветра и птиц – как постоянный шум крыльев на ветру – создает ощущение стремительности и беспокойства. В «Верстах» и ветер не такой, каким был в «Юношеских стихах». «Ветра

поцелуи» уже невозможны; этот ветер не ласкает и не шутит, он властвует над героями, предвещая тот, о котором в Гражданскую войну Цветаева скажет:

Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!

Нагнетание глаголов, особенно движения – будут у Цветаевой эксперименты с безглагольными стихами, но такого количества глаголов больше, кажется, никогда не будет – придает стихам «Верст» особую напряженность, движет сюжет книги, не давая читателю опомниться, отложить ее в сторону. Впечатление неожиданности в какой-то мере определяется новизной и богатством интонаций и ритмов. Выбежав на большую дорогу навстречу верстам и ветрам, Муза Цветаевой впервые почерпнула из до сих пор чуждого ей источника – фольклора. Цветаева не имитирует, а воспроизводит голоса того мира, в который швырнула свою героиню. Он куда более разноголос, чем ее прежний мир, а главное – непривычен. Вот разносчик, предлагающий свой товар:

Продаю! Продаю! Продаю!
Поспешайте, господа хорошие!
Золотой товар продаю
Чистый товар, не ношенный,
Не сквозной, не крашенный, —
Не запрашиваю!

Это голос удалой, разухабистый, веселый, застревающий в ушах у каждого. Вот два – хотя и схожих, но разных голоса. Первый – ворожеи. Она пророчит, окутывая слова таинственностью, которую Цветаева передает не столько лексически (слова вполне обычные), сколько в параллелизме построения всего стихотворения, в странном ритме, в сочетании резко-разноударных строк:

Ты отойдешь – с первыми тучами,
Будет твой путь – лесами дремучими, песками горючими.
Душу – выкличешь,
Очи – выплачешь.

Вторая гадает по руке, ее предсказания гораздо более

определенны:

Гибель от женщины. Во́т – зна́к
На ладони твоей, юноша.
До́лу глаза! Молись! Берегись! Враг
Бдит в полу́ночи.

Ни словарь, ни синтаксис, ни ритм здесь не похожи на предыдущее. И еще один голос – чернокнижницы. Она не ворожит, не пророчит – она призывает на помощь силы ночи:

Черная как зрачок, как зрачок сосущая
Свет – люблю тебя, зоркая ночь.

Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь
Песен, в чьей длани узда четырех ветров.

В ее словах, в повторении *ч-р-з-о-щ* в первом двустишии и *о-о-о-сп-пр-пе-е-ч-тр* во втором слышатся шепоты ночи и шорох переворачиваемых осторожной рукой больших страниц...

Недаром Волошин утверждал, что в Марине сосуществуют по крайней мере десять поэтов, что она вредит себе избытком. И почти всерьез предлагал ей печатать стихи от имени разных поэтов.

«– Макс! А мне что останется?
– Тебе? Все, Марина. Все, чем ты еще будешь!»

И правда, ей предстояло еще много разных путей и открытий. Но основное уже найдено в «Верстах»: Поэзия, Россия, Любовь.

Россия не только в подробностях пейзажа и настроений, но и в смятении духа, которое прекрасно передает Цветаева. Темнота, растекающаяся по книге, не исключительно вовне: сумерки, ночь, грозовое небо, – но еще сильнее внутри, в ощущении отступничества, неправедности, греховности. Качание между упоением всем этим и внезапным желанием вырваться к свету характерно для лирической героини «Верст». Два стихотворения посвящены Благовещенью – любимому празднику Цветаевой, когда по обычаю выпускают на волю птиц из клеток. Хотя Цветаева далека от обычной церковности, праздничную службу в Благовещенском соборе она описывает с радостью и душевным подъемом. Описание завершается молитвой, давая понять, что вопреки всему она еще не разучилась молиться.

Черной бессонницей
Сияют лики святых,
В черном куполе
Оконницы ледяные.
Золотым кустом,
Родословным древом
Никнет паникадило.
– Благословен плод чрева
Твоего, Дева
Милая!

Пошла странствовать
По рукам – свеча.
Пошло странствовать
По устам слово:
– Богородице.

Светла, горяча
Зажжена свеча.

К Солнцу-Матери,
Затерянная в тени,
Воззываю и я, радуясь:
Матерь – матери
Сохрани
Дочку голубоглазую!
В светлой мудрости
Просвети, направь
По утерянному пути —
Блага...

Это не только за дочь, но и за себя молитва, о собственном утерянном пути жалоба. Значит, «беззаконница» не вовсе потеряла надежду, значит, «окаянные места» не всё вытеснили из ее души...

Дай здоровья ей,
К изголовью ей
Отлетевшего от меня
Приставь – Ангела.
От словесной храни – пышности.
Чтоб не вышла, как я – хищницей,
Чернокнижницей.

Дочь – одна из немногих светлых тем в «Верстах». И – Поэзия, навсегда оставшаяся важнейшей темой Цветаевой.

В эссе «Герой труда» Цветаева утверждала, что в годы с 1912-го по 1920-й она «жила вне литературной жизни». Это не совсем так. Правда, она не выпустила ни одного сборника после «Из двух книг». Правда и то, что она не бегала в какой-нибудь стайке молодых поэтов и поэтесс. «Ни к какому поэтическому и политическому направлению не принадлежала и не принадлежу», – подчеркнула она в анкете 1926 года. Тем не менее она существовала внутри русской поэзии, уже была ее неотъемлемой частью, голос Цветаевой звучал в ее хоре и принадлежал ей. Несмотря на крепкие немецкие романтические корни, на юношеское безудержное увлечение Наполеоном, Ростаном и Гюго, хотела или не хотела этого Цветаева, современная русская поэзия была средой ее обитания, воздухом, которым она дышала.

Как нечто само собой разумеющееся, критики включили Цветаеву в круг ее современниц – женщин-поэтесс. В отзывах о ее первых сборниках упомянуты Поликсена Соловьева (Allegro), Зинаида Гиппиус, Мирра Лохвицкая, Любовь Столица, Аделаида Герцык, Черубина де Габриак, Маргарита Сабашникова, Е. Кузьмина-Караваева, Анна Ахматова… Цветаева включалась критикой в мир «женской поэзии», само существование которой она впоследствии категорически отвергала; слово «поэтесса» в применении к себе считала обидным. Но время было такое – «женские» темы входили в моду. Лишь В. Брюсов сравнивал первую книгу Цветаевой с Ильей Эренбургом. И хотя Цветаева не имела ничего общего с большинством упомянутых поэтесс, трудно представить, что она могла не знать их стихов – того, с чем ее самое сравнивают. По крайней мере три из них: Аделаида Герцык, Черубина де Габриак и Анна Ахматова ее живо интересовали…

После Эллиса, введшего подростка-Марину в московский литературный круг, Волошин стал ее вторым Вергилием. Он подарил ей не только свою дружбу, память о которой она берегла всю жизнь, но и весь свой необозримый, разномастный, одержимый идеей искусства дружеский круг. Первым его подарком оказалась поэтесса Аделаида Казимировна Герцык. На двадцать лет старше Цветаевой, она пережила все духовные и художественные искания своего времени, была дружна со многими знаменитыми поэтами и философами – и в то же время оставалась собой, в глубине души и поэзии сохраняя собственный взгляд и отношение к миру и людям. Чтобы дать читателям

представление об этом старшем друге Марины, приведу слова современников. Вот строки из сонета Вячеслава Иванова «Золот-Ключ», написанного в 1907 году и посвященного Аделаиде Герцык:

Змеи ли шелест, шепот ли Сивиллы,
Иль шорох осени в сухих шипах, —
Твой ворожащий стих наводит страх
Присутствия незримой вещей силы...
. . . . . .
Так ты скользишь, чужда веселью дев,
Замкнувшей на устах любовь и гнев,
Глухонемой и потаенной тенью,

Глубинных и бессонных родников
Внимая сердцем рокоту и пенью, —
Чтоб вдруг взрыдать про плен земных оков[51].

Макс Волошин в стихах, посвященных памяти А. К. Герцык, скончавшейся в 1925 году, сказал:

Лгать не могла, но правды никогда
Из уст ее не приходилось слышать —
Захватанной, публичной, тусклой правды,
Которой одурманен человек.
В ее речах суровая основа
Житейской поскони преображалась
В священную мерцающую ткань —
Покров Изиды...

Отвечая на возражение сестры Герцык – Евгении – по поводу начальных строк, Волошин настаивал: «Первые строки о „правде“ необходимы. Это первое, что обычно поражало в Ад<елаиде> Каз<имировне>. Хотя бы в том, как она передавала другим ею слышанное. Она столько по-иному видела и слышала, что это было первое впечатление от ее необычного существа». Эти отзывы близких Аделаиде Герцык современников дают представление о человеке неординарном, не подстраивающемся к современности, сохраняющем свой особый мир. О стихах Аделаиды Герцык Волошин пишет близко к тому, что отметил и Вяч. Иванов:

Своих стихов прерывистые строки,
Свистящие, как шелест древних трав,

Она шептала с вещим выраженьем,
Как заговор от сглазу в деревнях[52]...

Обоих поэтов привлекает вневременность поэзии Аделаиды Герцык, ее погруженность в глубины природы, души, Времени. Недаром Волошин определил ее стихи как «древние заплачки». Она искала новые формы в словах и ритмах русского фольклора; не исключено, что ее «Заплачка» оказалась первой встречей Марины с поэзией такого рода, ведь она жила до сих пор вне русской народной стихии:

Ты куда, душа, скорбно течешь путем своим?
Что дрожишь, тоскуешь, горючая?
Ах, нельзя в ризы светлые
Тебя облачить,
Нельзя псалмы и песни
Над тобой сотворить!..[53]

О необычности Аделаиды Герцык, о ее большом значении в кругу близких по духу друзей вспоминал после ее смерти о. Сергий Булгаков: «У меня давно-давно, еще в Москве, было о ней чувство, что она не знает греха, стоит не выше него, но как-то вне. И в этом была ее сила, мудрость, очарование, незлобивость, вдохновенность. Где я найду слова, чтобы возблагодарить ее за все, что она мне давала в эти годы, – сочувствие, понимание, вдохновение, и не мне только, но всем, с кем соприкасалась... В ней я все любил: ее голос, глухоту, взгляд, особую дикцию. Прежде я больше всего любил и ценил ее творчество, затем для меня стала важна и нужна она сама, с дивным, неиссякаемым творчеством жизни, гениальностью сердца»[54].

Вот какой замечательный друг появился у Цветаевой. Вспоминая, как Волошин «подарил» или «проиграл» ее Герцык, она призналась: «он живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит мои стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела – только неотразимую. Подружились страстно». Что привлекло их друг к другу? Что дала Цветаевой дружба с женщиной, почти годящейся ей в матери? Такая щедрая памятью души и дружбы, Цветаева обещала особо рассказать об А. К. Герцык, «ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс», – и не выполнила обещания. Не сделали этого в своих воспоминаниях и сестры обеих поэтесс. Нам остаются только догадки. Нравились ли Марине стихи Герцык? Вероятно, для нее было важно умение Герцык сохранить и оградить свой

поэтический мир, поиски непроторенного пути, сознательное обращение к народной речи – всё, что так важно будет и для цветаевского творчества.

Развязались чары страданья,
Утолилась мукой земля.
Наступили часы молчанья,
И прощенья, и забытья...[55] —

писала А. Герцык. И разве цветаевская поэзия не питалась «чарами страданья»? Что открывается читателям стихов Аделаиды Герцык сегодня, как и почти век назад? Жизнь души – ищущей веры и света, мятущейся между жаждой страдания и стремлением к благоговейной тишине, рождающейся из шепотов земли и шорохов степи, – искания души глубокой, чистой, искренней встают за строками ее стихов. «Сестры Герцык принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть», – вспоминал об Аделаиде и Евгении Герцык философ Федор Степун[56]. Стихи Аделаиды являют собой некую отрешенность от реальной земной сути их автора, выражая цельность духовного облика. Поиски простого выражения совсем непростых чувств и мыслей, отсутствие рисовки, «гениальность сердца» – вот что могло привлечь Цветаеву к Герцык. В любви к «чарам страданья» не было ни позы, ни моды – так Аделаида Казимировна воспринимала радость и боль жизни. Уже после окончания Гражданской войны, которую семья Герцык провела в переходившем из рук в руки Крыму, после голода, «красной» тюрьмы, подвешенности между жизнью и смертью, говоря о том, что жизнь входит в норму, она признавалась: «отсутствие пафоса гибели как-то отняло и силу жить».

Подаренные ей Герцык «Стихотворения» (1910) Цветаева переплела вместе со сборником стихов Волошина. Она любила их обоих. «Так они и остались, – писала она, – Максимилиан Волошин и Аделаида Герцык – как тогда сопереплетенные в одну книгу (моей молодости), так ныне и навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви». Цветаева бывала на литературных и философских вечерах сестер Герцык и мужа Аделаиды, издателя философских книг и журнала «Вопросы жизни» Дмитрия Жуковского, вплоть до революции, их физически разъединившей: Жуковские-Герцык оказались в Крыму, Цветаева – в Москве. Но дружба не прекратилась. «Дружба – дело», «друг – действие», – считала Цветаева. Узнав после занятия Крыма Красной армией о бедственном положении семей Герцык и

Волошиных, она ринулась им на помощь. Такая неумелая для себя, она дошла до Кремля, довела дело до Луначарского и сама с сестрой собирала для голодающих писателей Крыма деньги среди московских литераторов. В декабре 1921 года Волошин писал матери: «Я писал Марине отчаянное письмо о положении Герцык, прося привести в Москве все в движение. Они подняли там целую бурю… На этой неделе я получил для Герцык 2½ миллиона». Посылала Цветаева сестрам Герцык и свои новые стихи. В последнем письме другу на Запад Аделаида Герцык просила: «Передайте Марине… что ее книга „Версты“, которую она нам оставила, уезжая, – лучшее, что осталось от России».

Судьба Черубины де Габриак пронзила Цветаеву, хотя она никогда не встречалась с Елизаветой Ивановной Дмитриевой. Таково настоящее имя Черубины де Габриак. История эта, на первый взгляд удивительная, на самом деле была вполне в духе времени: трагически-карнавального, какой и должна быть эпоха конца.

Черубина де Габриак – литературная мистификация, созданная Максом Волошиным из реального человека – молодой поэтессы Дмитриевой. Все это разыгралось еще до встречи Марины с Максом. Стихи и имя Черубины де Габриак метеором промелькнули на страницах знаменитого петербургского журнала «Аполлон» и навсегда исчезли с литературного небосклона. Цветаева, знавшая историю со слов Макса, написала о Черубине: «…окликом сбросили с башни ее собственного Черубининого замка – на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги». Во всяком случае Черубина де Габриак оказалась самой известной из всех волошинских мистификаций.

Волошин придумал никому не известной, скромной учительнице Лиле Дмитриевой необычно звучавший псевдоним и весь антураж ее должного быть таинственным облика: она появлялась в «Аполлоне» только письмами и телефонными звонками, никто никогда не мог ее видеть. Судя по словам Цветаевой, это было прекрасно задумано и разыграно, в полном соответствии с «нескромным, нешкольным, жестоким даром» Дмитриевой. Кстати, и с Цветаевой Волошин пытался устроить нечто вроде подобной мистификации, когда предлагал ей печатать стихи под разными именами: «ты не понимаешь, как это будет чудесно!» Цветаева отказалась наотрез: «Максино мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни все, что пишу – подписывать». Дмитриева согласилась. В «Аполлоне» стали печататься стихи Черубины де Габриак, появились отзывы о

ее поэзии, редакция «Аполлона» влюбилась в таинственную незнакомку. Все хотели увидеть Черубину, и в конце концов мистификация была раскрыта. Поэтесса Черубина де Габриак перестала существовать, а Елизавета Ивановна Дмитриева вскоре покинула Петербург. Захваченная этой историей, Цветаева написала Черубине, послала ей свои стихи и получила ответ – в «Черубинином» конверте и на «Черубининой» бумаге. Однако не мистификация и не стилизация Е. И. Дмитриевой под Черубину де Габриак больше всего интересовали Цветаеву, а связь между даром поэта и его носителем. Внешность, человеческое воплощение Е. И. Дмитриевой никак не соответствовали ее возвышенно-романтическим стихам. «Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом», – рассказывал Волошин. Но душа ее, та часть существа, где возникают стихи, была им под стать. В «Искусстве при свете Совести» Цветаева вспомнила Черубину де Габриак, говоря о стихийности и бунтарстве поэта: «Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии – следовательно и бунта – нет… Недаром все ученики одной замечательной и зря-забытой поэтессы, одновременно преподавательницы истории, на вопрос попечителя округа: „Ну, дети, кто же ваш любимый царь?“ – всем классом: „Гришка Отрепьев!“» Этот эпизод восхитил Цветаеву, в нем было родное ее бунтарству – ведь и она в русской истории больше всех царей любила Пугачева… Отдельные строки Черубины де Габриак Цветаева помнила долгие годы, в эссе «Живое о живом» цитировала некоторые из них по памяти.

«И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах! —

образ ахматовский, удар – мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня —до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной – безымянной».

Влюбленность в Ахматову и ее поэзию длилась у Цветаевой много лет. «В Ахматову» – в тот образ поэта-женщины, который создало воображение Цветаевой по ахматовским стихам и который Цветаева воплотила в своих, посвященных Ахматовой. Ибо за долгие годы им не пришлось встретиться. Они увиделись лишь однажды по возвращении Цветаевой из эмиграции – об этом я расскажу в своем месте. Убежденная, что все стихи «написаны одной женщиной», Цветаева с полным правом могла считать сестрой любую из них. Однако что-то в поэзии Ахматовой выделяло ее в глазах Цветаевой из потока «женской лирики» и

поднимало над другими поэтессами.

В 1921 году Цветаева написала Ахматовой: «Вы мой самый любимый поэт, я когда-то давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьянную, с серебром, – „Словеса золотые“, – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете». Этот сон вызвал стихотворение «Анне Ахматовой» – первое к ней обращенное. Оно датировано 11 февраля 1915 года и кончается строфой:

В утренний сонный час,
– Кажется, четверть пятого, —
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

В этом стихотворении поражает зрительный образ. Рисуя портрет женщины, которую она никогда не видела, Цветаева как будто берется за карандаш или перо художника:

Вас передашь одной
Ломанной черной линией...

Кажется, эти строки воспроизводят в слове известный рисунок Амадео Модильяни 1911 года – портрет Ахматовой, знать о котором Цветаева не могла. Изогнутой черной линией набросал Модильяни фигуру полулежащей женщины со склоненной головой. В ее свободной неподвижности переданы сдержанность и самоуглубленность. Это же и у Цветаевой:

Холод – в веселье, зной —
В Вашем унынии.

Цветаева пишет:

Каждого из земных
Вам заиграть – безделица!
И безоружный стих
В сердце нам целится... —

рисунок Модильяни тоже передает это ощущение силы и беззащитности. Дружа с молодой Ахматовой, Модильяни не знал ее стихов, «очень жалел, что не может понимать мои стихи, и

подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки», – вспоминала Ахматова. Тем удивительнее совпадение образа, созданного Модильяни и Цветаевой. Из слов Ахматовой можно заключить, что она читала художнику свои стихи: он слушал их и жалел, что не понимает. Общение с Ахматовой: ее внешний облик, беседы с ней, сам ритм и напев ее стихов дали возможность Модильяни проникнуть в сущность, которая Цветаевой открылась в ее ранних стихах. Искусствовед Н. И. Харджиев писал об этом рисунке Модильяни: «Перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года, но „ахроничный“ образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу»[57]. И в рисунке, и в стихах Цветаевой улавливается провидение о будущем пути Ахматовой.

Конец декабря пятнадцатого и половину января шестнадцатого года Цветаева провела в Петербурге, уже Петрограде. Она познакомилась со множеством петербургских поэтов, кроме Александра Блока, Николая Гумилева и Анны Ахматовой – ее не было в городе. Стихи Цветаевой уже начали появляться на страницах столичного журнала «Северные записки», имя ее было известно, к ней отнеслись с любопытством, возможно, и с интересом. Цветаева посещала литературные салоны, слушала петербуржцев, сама много читала. Она явилась литературному Петербургу представительницей литературной Москвы. Ей казалось, что ее сравнивают и даже противопоставляют Ахматовой. В «Нездешнем вечере», посвященном Михаилу Кузмину, которого она видела единственный раз, Цветаева воскресила одну из петербургских литературных встреч: «Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а все мало, а все – еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского». Цветаева обладала удивительным, почти уникальным даром – восхищаться талантом другого. Она была абсолютно чужда своекорыстия и зависти, это исходило из ее понимания поэтического дара как чего-то сверхличного. Так и к стихам Анны Ахматовой она отнеслась как к дару Божьему, явленному миру в этой женщине – прекрасной. Летом 1916 года Цветаева пишет «Стихи к Ахматовой» – цикл из одиннадцати стихотворений – восхищенных, славословящих, коленопреклоненных:

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся, и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает. – Анна
Ахматова! – Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
– И я дарю тебе свой колокольный град
– Ахматова – и сердце свое в придачу!

Петербургская поездка, во время которой имя Ахматовой сопутствовало Цветаевой, могла послужить толчком к этому циклу. Но не только она, ибо цикл был начат через полгода после Петербурга. В «Истории одного посвящения» есть странная фраза: «1916 г. Лето... впервые читаю Ахматову». Как – впервые? Неужели Цветаева не видела сборника «Вечер», где в предисловии Михаила Кузмина было упомянуто ее имя? Неужели стихи Ахматовой, много печатавшейся в периодике, в тех же «Северных записках», никогда не попадались ей на глаза? Может ли быть, чтобы «Четки», к шестнадцатому году выдержавшие уже четыре издания, впервые оказались у нее в руках? Невероятно, чтобы до лета шестнадцатого года Цветаева не читала ахматовских стихов. Почему же она утверждала его началом своей любви к Ахматовой? «Целую и люблю – вот уже 10 лет. (Лето 1916 г., Александровская слобода...)», – пишет Цветаева Ахматовой в 1926 году. Слова «впервые читаю» в «Истории одного посвящения» нельзя понимать буквально. Как раньше, вспоминая Нилендера, она сказала об Орфее: «впервые, *ушами души,* а не головы, услышала...» – так и теперь она впервые *«глазами души»* читала Ахматову. И если Орфея «открыл» ей Нилендер, то Ахматову, по всей вероятности, Осип Мандельштам, который гостил у нее в Москве и Александрове этой весной и летом. Он был другом Ахматовой, ее товарищем по Цеху поэтов и акмеизму, высоко ценил ее поэзию.

Без сомнения, Цветаева и Мандельштам говорили об Ахматовой, читали ее стихи. Отзвуки их разговоров слышатся мне в сходном понимании поэтического явления – Анна Ахматова. Это

сходство очевидно при сравнении стихотворного цикла Цветаевой со стихами Мандельштама десятых годов, обращенными к Ахматовой, и его оценкой поэзии Ахматовой в статье шестнадцатого года «О современной поэзии (К выходу „Альманаха муз“)». Кстати, в «Альманахе муз» были напечатаны стихи всех троих: Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой. И Мандельштам, и Цветаева слышат трагически-пророческие ноты в поэзии Ахматовой, негодование и горечь за внешним спокойствием и уравновешенностью.

Зловещий голос – горький хмель —
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель... —

констатирует Мандельштам в стихах «Вполоборота, о печаль...» (1914). Цветаева вторит:

... тебя, чей голос – о глубь, о мгла! —

И дальше:

Правят юностью нежной сей —
Гордость и горечь...

Доводя до логического предела мандельштамовское «Души расковывает недра» и «негодующая», Цветаева буквально кричит, стараясь не отвести, а призвать на себя чары:

Ты, срывающая покров
С катафалков и с колыбелей,
Разъярительница ветров,
Насылательница метелей,
Лихорадок, стихов и войн...

Ее Ахматова «расковывает» не души только, но и стихии, и судьбы. Она – чернокнижница, обладающая колдовской силой и властью. Это и есть то, что Цветаева назвала «обратным» молитве. Образ чернокнижницы, но уже не победоносной, а пронзенной мукой, еще раз возникнет у Цветаевой в конце двадцать первого года в стихотворении «Ахматовой».

Оба поэта отметили песенность поэзии Ахматовой,

подчеркивали в ней стилистику плача, причитания. Цветаева воспевала «Музу плача» и ее «вопли» – так в просторечии зовут причитания, а Мандельштам писал, что стихи Ахматовой «близки к народной песне не только по структуре, но и по существу, являясь всегда, неизменно „причитаниями“»... Предугадывая дальнейший творческий путь Ахматовой, Мандельштам пророчил: «Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России»[58]. Цветаева о том же – в стихах. Об отречении:

Ты никому не вторишь...

и

Слышу страстные голоса —
И один, что молчит упорно...

о величии – но весь ее цикл воспевает величие Ахматовой, преклонение перед ее величием:

Златоустой Анне – всея Руси
Искупительному глаголу —
Ветер, голос мой донеси...

Единодушие Мандельштама и Цветаевой в отношении к Ахматовой кажется мне важным в особенности потому, что речь идет о сверстниках, тех, кто пришел на смену символизму и начал новую эпоху русской поэзии. Тем более что в собственном творчестве каждый из них шел своим особым путем.

Цветаева и Ахматова – антиподы и в плане человеческом, и по сути поэтической личности, и по ее выражению в поэзии. Именно это, по моему мнению, привлекало Цветаеву в Ахматовой; она любила в ней то, чего сама была лишена, прежде всего ее сдержанность и гармоничность. Внешняя сдержанность Ахматовой, прикрывающая ее внутреннее горение, отделяющая, отдаляющая автора от стихов, противоположна цветаевскому бушеванию внутри своего стиха. В поэзии Ахматовой гармонично сочетаются вещи на первый взгляд несовместимые, как, например, отмеченные Цветаевой чернокнижие с молитвой. Цветаева же – поэт крайностей, дисгармонии, воплощающейся не в плачущих даже, а в рыдающих стихах, преимущественно

громких, но даже когда шепчущих – всегда кричащих о боли. «Гиератическая важность» (выражение О. Мандельштама) Ахматовой могла изумлять и восхищать Цветаеву, но при ее неистовстве была для нее невозможна. Превознося поэзию Ахматовой, могла ли Цветаева писать, как она? Конечно, нет – с этим рождаются. И эта недоступность писать, «как Ахматова», привлекала ее больше всего. Зато Ахматовой поэзия Цветаевой оставалась чужда, вероятно, по той же причине – как антипод. Цветаевские славословия ее не тронули, она не ответила на «Стихи к Ахматовой». Несколько поздних ее отзывов о Цветаевой более чем сдержанны...

Но вот интересная деталь. В 1913—1916 годы Ахматова работала над поэмой «Эпические мотивы», опубликованной в ее сборнике «Anno Domini MCMXXI» (1922). Вторая часть начиналась строками:

> Покинув рощи родины священной
> И дом, где муза, плача, изнывала,
> Я, тихая, веселая, жила...

Она отстраняется от своей плачущей музы ради покоя и радости. Примерно в это время Цветаева в стихах окликнула Ахматову странным именем – «Муза Плача», объединив в нем поэтессу и ее музу. (Эти стихи тоже были опубликованы лишь в 1922 году.) Ахматова приняла имя из уст Цветаевой, «удочерила» его. Она изменила строку, в окончательном варианте превратив деепричастие в имя собственное, что подчеркивается и прописными буквами:

> И дом, где Муза Плача изнывала...

Много-много лет спустя Ахматова составила цикл «Венок мертвым», посвященный памяти Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. В эпиграфы она взяла из этих поэтов строки, обращенные к себе. К стихотворению «Нас четверо (Комаровские наброски)» – из Цветаевой: «О, Муза Плача...».

...А той замечательной весной и летом, когда она дружила с Мандельштамом и писала «Стихи к Ахматовой», всё это – наезды Мандельштама в Москву, прогулки с ним, разговоры об Ахматовой и стихи – все слилось в праздник. В «Нездешнем вечере» она говорит: «последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой». Между тем по крайней мере два из девяти стихотворений цикла «Стихи о

Москве» обращены к Осипу Мандельштаму.

Мандельштам

Может быть, их дружба началась в тот январский вечер, который Цветаева назвала «нездешним»? Предыдущим летом они не заметили друг друга в Коктебеле: «Я шла к морю, он с моря. В калитке сада разминулись». И только. В действительности летом пятнадцатого года Цветаева и Мандельштам прожили в Коктебеле одновременно около трех недель. Но ей было ни до кого – она была с Софией Парнок, с нею и уехала из Коктебеля на Украину.

Теперь, в Петербурге, Цветаева и Мандельштам впервые услышали стихи друг друга. Она вспоминала: «Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...

Пьяны ему цензура переменила на *рьяны,* ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает – только рьяные!»

Значит, Мандельштам читал неподцензурный вариант своих стихов. Но и Цветаева не оставалась в долгу, она «в первую голову» читала «свою боевую Германию» и «Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!..». В самый разгар войны это было признанием в любви к Германии и выражением протеста:

Не надо людям с людьми на земле бороться...

Мандельштам будто ждал толчка: чувства, выраженные в этих стихах, были ему близки, он начинает работать над той же темой. Дарственная надпись на только что вышедшем сборнике «Камень» помечена: «Марине Цветаевой – Камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург 10 янв. 1916»[59]. А следующим днем – «Дифирамб Миру», резко антивоенные стихи, в печатной редакции названные «Зверинец».

Мы научились умирать,
Но разве этого хотели? —

вопрошал Мандельштам в одном из ранних вариантов. Конечно, «Зверинец» значительно глубже антивоенных стихов

Цветаевой; историко-культурные и философские ассоциации Мандельштама для Цветаевой – дело будущего. Пока она только декларирует с вызовом:

Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!
. . . . . .
...в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь!

Мандельштам же ищет корни этой любви и древнего родства России и Германии:

А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Позже – доросши до такого понимания – Цветаева назовет эти строки Мандельштама «гениальной формулой нашего с Германией отродясь и навек союза».

Так начиналась эта дружба. В «Истории одного посвящения» Цветаева вспоминала: «весь тот период – от Германско-Славянского льна до „На кладбище гуляли мы...“ – *мой,* чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву». Из реальных подробностей их отношений мы знаем немного. Когда 20 января Цветаева вернулась домой, Мандельштам поехал за ней и пробыл в Москве около двух недель. После его отъезда Цветаева написала первое обращенное к нему стихотворение – прощальное:

Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст...

«Я не знала, что он возвращается», – пометила она на одном из автографов. Мандельштам вернулся в Москву в том же феврале, и до самого лета потянулась череда его «приездов и отъездов (наездов и *бегств*)», по выражению Цветаевой. Он ездил в Москву так часто, что даже подумывал найти там службу и остаться. Знакомые его старшего друга С. П. Каблукова

подыскивали ему работу в Москве, связанную со знанием языков, – в издательстве «Универсальная библиотека» или в каком-нибудь банке. Дама, хлопотавшая о «месте», сообщала Каблукову: «Так как Осип Эмильевич хотел бы остаться в Москве, то я обещала ему узнать о месте для него в Московском банке». Конечно, ничего не вышло и не могло выйти с таким человеком, как Мандельштам. Можно ли представить его служащим в банке? Та же дама шутила в письме к Каблукову: «Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он места и там и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет...»[60] Сам Каблуков просил Вячеслава Иванова устроить Мандельштама в сотрудники журнала «Русская мысль». Все кончилось внезапно. В начале лета Мандельштам гостил у Цветаевой в Александрове – она жила там у сестры. Отсюда и произошло окончательное, безвозвратное бегство.

Цветаева с пониманием, юмором и огромной нежностью написала об этом. Однако теперь опубликовано письмо Цветаевой к Е. Я. Эфрон, написанное по горячим следам этого эпизода и рассказывающее о нем в совершенно иной тональности: иронично, почти с издевкой. Тем не менее я больше доверяю стихам их обоих и «Истории одного посвящения», нежели этому письму. В нем Цветаева могла лукавить, стараться превратить в шутку серьезные и высокие отношения. Ведь она писала сестре мужа о своем первом после Парнок увлечении и вряд ли хотела и могла быть искренней. К тому же дружба только что кончилась – Цветаева еще была уязвлена этим бегством... Собственно, вот и все – реальное. Но существует нечто гораздо значительнее фактов – стихи.

Нам остается только имя —
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок... —

написал Мандельштам Цветаевой из Коктебеля после своего «бегства». «Прими ж ладонями моими / Пересыпаемый...», «Возьми *на радость* из моих ладоней...» (выделено мною. – *В. Ш.*) — из его стихов, обращенных к другой женщине. Прими ж ... на радость... – не просто песок Коктебеля, так любимого обоими, но стихи. А со стихами – вечность, бессмертие. Конечно, так прямо поэт не думал. Но цепочка ассоциаций приводит к стихотворению, написанному за три года до встречи с Цветаевой, «В таверне воровская шайка...», в котором песок, «осыпаясь с

телеги» – жизни? – отождествляется с вечностью:

А вечность – как морской песок...

Чуть позже Цветаева скажет:

Со мной в руке – почти что горстка пыли —
Мои стихи!..

И Ахматовой – о ее книгах: «Какая легкая ноша – с собой! Почти что горстка пепла...» Песок, пересыпаемый в ладонях, горстка пыли, горстка пепла – какую невесомую и бесценную радость оставили они нам.

Ни Мандельштам, ни Цветаева не проставили посвящений на стихах, обращенных друг к другу, но важнейшие из них Цветаева назвала в «Истории одного посвящения», а незадолго до смерти отметила свои стихи к Мандельштаму в экземпляре «Верст» I, принадлежавшем А. Е. Крученых. Неназванные ею стихи, примыкающие к этому «диалогу», можно определить по времени создания и контексту.

Я упомянула, что диалог их начинается как бы с конца – цветаевскими стихами расставания:

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих лет.

В этих стихах нет примет человека-Мандельштама, даже нежность их обращена к Поэту. Они «на Вы» в прямом и более общем смысле – «наш дар неравен». Цветаева возвеличивает Мандельштама и первая указывает его поэтическую родословную – величественный классик Державин. Свой, рожденный из ее собственного хаоса, вне поэтических школ, «невоспитанный» стих она противопоставляет мандельштамовскому:

Я знаю: наш дар – неравен.
Мой голос впервые – тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

Прославление Мандельштама сталкивается в начале

следующей строфы со словом «страшный» – неожиданным, резким и потому поражающим:

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь, —
Юный ли взгляд мой тяжел?

Это напутствие и благословение. Подчеркивая отрешенность от личного и торжественность момента, Цветаева впервые переходит на «ты». Тем разительнее ощущается некое внутреннее противоречие в этом четверостишии. Кажется, все ясно: благословляю тебя – лети, орел, – подразумевается: орел парит вблизи солнца с его ослепительным светом – ты выдержал свет солнца... Но при чем здесь «юный ли взгляд мой тяжел?» и как он связан с определением «страшный», тем более что в следующей строфе к нему относится прилагательное «нежней». Очевидно, речь идет о том, что в народе называется «сглаз», «сглазить»; вознося Мандельштама, Цветаева страшится сглазу и утешается тем, что у нее не «дурной глаз» («юный ли взгляд мой тяжел?»). Как часто можно слышать в просторечии: «Я не сглажу, у меня легкий глаз»...

Так проявляется неосознанная тревога Цветаевой о будущем ее нового друга. Она еще не знает, что стихи сбываются – это знание впереди. Через пятнадцать лет она напишет Александру Бахраху: «Я знаю это мимовольное наколдовывание (почти всегда – бед! Но, слава богам, – себе!). Я не себя боюсь, я своих стихов боюсь». Она ошиблась – в стихах Мандельштаму она *ему* наколдовала – может быть, только предсказала? – его беды.

И вот, чтобы отделаться от этих смутных тревожных предчувствий, она пишет стихотворение-заклятие:

Собирая любимых в путь —
Я им песни пою на память...

Но обращается она не к любимому и не к любимым, а, как когда-то Ярославна из «Слова о полку Игореве» в «плаче» о пропавшем муже, взывает к силам природы: ветру, дороге, туче, – потом к змею, к людям – с просьбой о доброте и помощи тем, с кем она расстается:

Кинь, разбойничек, нож свой лютый!

Ты, прохожая красота,
Будь веселою им невестой... —

и заканчивает молитвой:

Богородица в небесах,
Вспомяни о моих прохожих!

Проходит месяц, в течение которого Цветаева пишет еще два обращенных к Мандельштаму стихотворения – любовных и дружеских... И вдруг тема гибели возвращается, на этот раз уже не как подозрение, а как уверенность:

Гибель от женщины. Во́т – зна́к
На ладони твоей, юноша.

Даже Н. Я. Мандельштам, вдова поэта, свидетель и глубокий интерпретатор его жизни, проглядела сущность этих стихов, поверив их первым словам. Цветаева же, начиная с третьей строки, о женщине не вспоминает; в стихах появляется «некто» – неназваный и неопределенный:

...Враг
Бдит в полуночи...

Она не видит путей спасения:

Не спасет ни песен
Небесный дар, ни надменнейший вырез губ.
Тем ты и люб,
Что небесен.

Кому – люб? И кто – враг? Недоговоренность здесь обусловлена как пророческим смыслом стихов, в большой степени недоосознанным, так и формой: они написаны как бы от лица гадалки, все искусство которой заключается в недосказанности, в намеках, в которых каждый слышит что-то свое. Следующая строфа дает достоверный портрет Мандельштама (о его гордо вознесенной голове и полузакрытых глазах вспоминают все, кто его видел) и одновременно – проекцию в будущее. Дважды повторенное «Ах» передает страх

говорящего перед тем, что он произносит:

Ах, запрокинута твоя голова,
Полузакрыты глаза – что́? – пряча.
Ах, запрокинется твоя голова —
Иначе.

Но кроме фотографического, первые строки рисуют внутренний портрет Поэта. Они близко связаны со стихотворением, написанным три дня спустя:

Приключилась с ним странная хворь,
И сладчайшая на него нашла оторопь.
Все стоит и смотрит ввысь,
И не видит ни звезд, ни зорь
Зорким оком своим – отрок.

Цветаева описывает поэтическую дремо́ту, «сладчайшую оторопь», когда «дремучие очи сомкнув», «уста полураскрыв», смотря и не видя, поэт погружается в самого себя, под веками пряча поэтическую мысль – «в кувшинах спрятанный огонь» из стихов Мандельштама. В такие минуты он совершенно беззащитен. Теперь, когда мы знаем, как все случилось с Мандельштамом в ночь с 1 на 2 мая 1938 года: пришли в забытый Богом, отрезанный от мира санаторий, переворошили вещи, посадили в грузовик и увезли – навсегда, сгноили в лагере и бросили в общую яму; когда только через четверть века до нас дошли его последние – такой невероятной чистоты, глубины и гармонии стихи, – пророчество Цветаевой вызывает священный трепет, почти ужас.

Голыми руками возьмут – ретив! упрям! —
Криком твоим всю ночь будет край зво́нок!
Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам,
Серафим! – Орленок! —

Во втором из этих стихов, менее конкретно и зловеще, тема гибели повторяется:

А задремлет – к нему орлы
Шумнокрылые слетаются с клекотом...
. . . . . .

И не видит, как зоркий клюв
Златоокая вострит птица.

Знаменательно, что гибель в этих пророчествах связывается с поэзией.

Позже, вспоминая свои стихи к Мандельштаму, Цветаева сказала, что ими «провожала его в трудную жизнь поэта»; но когда эти стихи писались, она еще не представляла себе, какой в реальности окажется «трудная жизнь поэта». Для меня несомненно, что колдовство – или предчувствия – сорвались с ее пера бессознательно, она не ведала, что творит, до чего точно и страшно предсказывает Мандельштаму его будущее. «Я своих стихов боюсь...» Не знаю, во власти ли поэта остановить перо, не написать того, что хочет быть явленным его стихами, – судя по высказываниям Цветаевой, поэт этого не может. Но если бы она отдавала себе отчет в том, что пишет, она бросила бы перо или спрятала тетрадь с этими стихами в самый бездонный ящик стола... В них она действительно колдунья и чернокнижница – гораздо больше, чем там, где прямо так себя называет.

Был ли между ними роман в настоящем смысле слова? Да, и для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой. «Божественный мальчик» и «прекрасный брат» в Мандельштаме были для нее важнее возлюбленного, хотя встреча с ним поставила окончательную точку в ее разрыве с Парнок. Надежда Мандельштам писала, что именно Цветаева научила Мандельштама любить. Я осмелилась спросить ее, была ли Цветаева первой женщиной в его жизни. Нет, не первой. И все-таки Н. Я. Мандельштам была уверена, что «дикая и яркая Марина... расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви»[61]. Но не только «способность к любви», а и к стихам о любви. С «цветаевских» стихов ведет начало любовная лирика Мандельштама. В этом плане интересны два факта. Замечание Анны Ахматовой по поводу стихотворения Мандельштама «Как Черный Ангел на снегу...», обращенного к ней: «Осип тогда еще „не умел“ (его выражение) писать стихи „женщине и о женщине“»[62]. И запись в дневнике С. П. Каблукова, обеспокоенного появлением «эротики» в стихах его молодого друга. В ночь под Новый 1917 год он говорил об этом с Мандельштамом: «Темой беседы были его последние стихи, явно эротические, отражающие его переживания последних месяцев. Какая-то женщина явно вошла в его жизнь. Религия и эротика сочетаются в его душе какою-то связью, мне представляющейся кощунственной... Я горько упрекал его за

измену лучшим традициям „Камня“ – этой чистейшей и целомудреннейшей сокровищнице стихов, являющихся высокими духовными достижениями»[63]. Мандельштам каялся, но выхода из «этого положения» не находил. Удивительно, что Каблуков огорчился «эротикой» последних стихов к Цветаевой «Не веря воскресенья чуду...» и не заметил присутствия женщины в «отличном», по его определению, стихотворении «Москва» (так названо в его дневнике «В разноголосице девического хора...») – первого из цветаевских.

Между тем в его подтексте – Цветаева, оно пронизано ею. Если читать рядом эти стихи Мандельштама, датированные концом февраля, и «Ты запрокидываешь голову...» Цветаевой (18 февраля), не остается сомнения, что они говорят об одном.

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным...

Оборванцы, глазеющие, а может быть, даже пристающие к этим странным людям – заведомо странным, потому что Поэты – из которых один действительно чужестранец в Москве – петербуржец, дивящийся всему («не диво ль дивное», – скажет он в стихах) – эта строфа, как моментальная фотография, запечатлела прогулку Цветаевой и Мандельштама по Москве. Дальше Цветаева отвлекается от их маршрута, чтобы сказать о своем спутнике:

Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота...

(Ресницы Мандельштама были так густы и огромны, что стали почти легендой. Н. Я. Мандельштам говорила: «Если упомянуты ресницы, значит, об Осе».) В первой строке Цветаева удивительно передала свою нежность к Мандельштаму, даже в звукозаписи: бе-ре-ж-ны-е-не-жи-ли... В другом стихотворении, написанном в тот же день, она недоумевала:

Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала темней твоих...

Рядом с такой нежностью – ревности – «чьи руки?..» – нет места.

Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота,
И по каким терновалежиям
Лавровая тебя верста... —

Третья и четвертая строки – отзвуки все той же неоставляющей ее тревоги за Мандельштама. Многоточие обозначает здесь опущенный глагол – «уведет»: усыпанная лаврами дорога уведет тебя от меня. И мгновенное предчувствие, что «лавровая верста» – лавровый венок – обернутся терновым венцом. Какое слово необыкновенное – терновалежие: в терновом венце по валежнику – вот путь поэта. Но это лишь секундная вспышка предвиденья...

Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол уже мечту.
В тебе божественного мальчика, —
Десятилетнего я чту.

Ее «алчущий дух» достаточно высок, чтобы принять то, что есть: сегодняшнюю близость «божественного мальчика», сегодняшнюю прогулку. Она не ревнует ни к чужим рукам, ни к поэзии.

Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

Мальчишескую боль высвистывай,
И сердце зажимай в горсти...
Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник – прости!

Откуда появилась тема боли, и «сердце зажимай», и «прости»? «Вольноотпущенник» – она не берет его, отпускает – с дарами. Не отголосок ли это разговора, позже упомянутого Цветаевой в письме к А. Бахраху: «Для любви я стара, это детское дело. Стара не из-за своих 30 лет, – мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту Мандельштаму: – "Что Марина – когда Москва?! Марина – когда Весна?! – О, Вы меня *действительно* не любите!.."» Кто бы из них ни произнес последнюю фразу, ясно, что между ними происходило «выяснение отношений». «Взамен себя» Цветаева дарила ему Москву и Россию. Может быть, с нею он впервые побывал в Кремле.

Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

Впечатлением от Соборной площади Кремля навеяны стихи Мандельштама «В разноголосице девического хора...». Подарок в его сознании сливается с дарительницей:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой...

Каждый из нас знает, как настроение момента влияет на восприятие. Возможно, при других обстоятельствах Мандельштам увидел бы Успенский собор мужественным – его купола так похожи на старинные шлемы русских воинов... Но влюбленность, нежность, удивленье и восторг перед спутницей и тем, что́ она ему открывает, вызывают у него ассоциации с нежным девичеством: барабаны и купола древних соборов часто напоминают народные женские и девичьи головные уборы – кички, кокошники... Мандельштаму в а́рочных покрытиях и украшениях собора чудятся брови Марины – высокие, дугой, а в другом стихотворении – удивленные:

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг...

Это и его собственное удивленье перед незнакомой ему красотой. Мы как будто видим, как, постояв у Москва-реки, «полощущей цветные бусы фонарей», Цветаева и Мандельштам

поднялись на Кремлевский холм и оттуда, от Соборной площади, смотрят на Замоскворечье. Слева, позади них – Архангельский собор.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Он все еще чувствует себя «чужестранцем» в этом городе и на этой площади. Трижды чужестранцем: как еврей, как петербуржец и как неправославный (Мандельштам в юности принял лютеранство). Он дивится этой красоте и печалится, что она пока чужая. «Русское имя» и «русская красота», о которых он мечтает, – не только Кремль, Москва, Россия, но и женщина; это отзовется в последних строках. Недаром является в стихах «вертоград» – слово, восходящее к библейской «Песни песней».

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

«Успенье нежное – Флоренция в Москве» – воспоминание об итальянском строителе Успенского собора и об Италии, о Риме, к которым Мандельштам был привязан как к родине христианства, ведь он был «римлянином» до встречи с Цветаевой. Но, как заметил один из исследователей Мандельштама, Флоренция – по-русски «цветущая» – в то же время итальянский эквивалент фамилии Цветаевой. И Аврора с русским именем и в меховой шубке – это сама она; об этой шубке, которую Мандельштам называл барсом, упоминается в ее прозе.

Так аукались они стихами во времена совместных московских прогулок. Но разве это похоже на «эротическое безумие», как показалось Каблукову? Самые «эротичные» из этого любовно-дружески-философского дуэта – последние стихи, обращенные ими друг к другу: «Мимо ночных башен...» (31 марта 1916 года) Цветаевой и «Не веря воскресенья чуду...» (июнь 1916 года)

Мандельштама.

Интересно отметить, что 31 марта Цветаева написала три стихотворения – они открывают цикл «Стихи о Москве». Первые – дневные, светлые: «Облака́ – вокруг...», обращенное к дочери, и «Из рук моих – нерукотворный град...» – к Мандельштаму. Может быть, около 31 марта она гуляла по Москве с ними обоими? Откуда-то с высоты – с Воробьевых гор или с Кремлевского холма – она показывает крохотной Але Москву и завещает этот «дивный» и «мирный град» дочери и ее будущим детям:

Облака́ – вокруг,
Купола – вокруг,
Надо всей Москвой —
Сколько хватит рук! —
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
. . . . . .
Будет тво́й черед:
Тоже – дочери
Передашь Москву
С нежной горечью...

И одновременно или несколькими часами позже дарит Москву Мандельштаму:

Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат...

С ним она обходит и обозревает город: через Иверскую часовню на Красную площадь и через Спасские ворота – в Кремль, на свой любимый «пятисоборный несравненный круг» – Соборную площадь... Третье стихотворение этого дня – ночное. Трудно сказать, с каким реальным событием оно связано, его начало опять выводит нас на московские улицы – в этот час почему-то страшные:

Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат!

Не исключено, что этот же час запечатлен в близком по времени стихотворении Мандельштама:

О, этот воздух, смутой пьяный
На черной площади Кремля!
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя...

Но оставив башни, площади, солдат, Цветаева обращается к своим чувствам. В этих стихах – единственных из «мандельштамовских» – у нее прорывается страсть:

Греми, громкое сердце!
Жарко целуй, любовь!
Ох, этот рев зверский!
Дерзкая – ох! – кровь.

Мóй – рóт – разгарчив,
Даром, что свят – вид...

«Свят – вид» в стихах Мандельштама отзовется «монашкою туманной». И тем не менее, одновременно с любовным буйством, это стихи отказа от него, разрыва:

Ты озорство прикончи,
Да засвети свечу,
Чтобы с тобою нонче
Не было – как хочу...

Вспоминая об Александрове – «Не отрываясь целовала...» – Мандельштам не забудет и этой московской ночи: «А гордою в Москве была...» Их отношения продолжались до июня, его приезда в Александров. «Сбежав» в Коктебель, Мандельштам прислал Цветаевой прощальное стихотворение. Оно, и правда, наиболее «эротичное» из всего, что он писал до этого, – если вообще можно так сказать о его стихах. Любовная лирика Мандельштама, на мой взгляд, одна из самых вне-эротичных, наиболее сдержанных в русской поэзии. Каблукова, по-видимому, испугал трижды повторенный глагол «целовать» и больше всего – его соседство со строкой «Не веря воскресенья чуду...» – Каблуков был человеком глубоко и искренне верующим... На самом деле эти стихи – воспоминание о прошедших встречах, о

«владимирских просторах», которые вошли в сердце поэта, о чувстве, уже исчерпавшем себя. После них наступил конец – все, что Цветаева и Мандельштам могли сказать друг другу, было сказано в стихах.

Но разве только влюбленность влекла Мандельштама в Москву? Только ради нее он все эти месяцы ездил туда и обратно? О чем беседовали они с Цветаевой во время встреч и прогулок? По их стихам того времени можно в какой-то мере судить о темах их разговоров. Ко времени их встречи Мандельштам был сложившейся личностью с вполне определенными взглядами не только на поэзию (уже было написано: «Поэзия есть сознание своей правоты»[64]), но и на историю, культурно-исторический процесс. Эллада, Рим и Средневековье стали краеугольными камнями его историософии, христианством определял он «Место человека во вселенной». Свои взгляды он уже высказал в статьях «Франсуа Виллон», «О собеседнике», «Петр Чаадаев», «Пушкин и Скрябин». Нет сомнения, что в обычном житейском плане Цветаева была взрослее и опытнее Мандельштама, но в плане духовном и философском была рядом с ним девчонкой – она еще не вникала в такие проблемы. Общими были у них любовь и понимание Европы, душевная привязанность к древней Элладе и Германии. Но было одно, в чем Цветаева превосходила Мандельштама – это чувство России. В России они находились как бы на разных полюсах: его петербуржество противостояло ее московскости. Условно говоря, новый каменный Петербург тяготел к Западу, старая, даже старинная деревянная Москва – к Востоку. Она воспринималась более русской, традиционной, православной. Мандельштам духовно тяготел к Риму и католицизму, московская Россия и православие выпадали из его размышлений о путях европейской культуры. В этом была своего рода ограниченность, которой он сам пока не ощущал. Дружба с Цветаевой открыла ему Москву, незнакомую еще Россию, перевернула его представление не только о мире, но и о самом себе. Конечно, они обсуждали с Цветаевой все это – потому она и дарила ему не концерты или музеи, а ту Москву, которая в настоящий миг его жизни была ему нужнее всего. Как истинная владелица широким жестом одаряет Цветаева «чужеземного гостя» тем, что кровно принадлежит ей:

Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По це́рковке – все́ сорок сороков,
И реющих над ними голубков;

И Спасские – с цветами – ворота́,
Где шапка православного снята;

Часовню звёздную – приют от зол —
Где вытертый – от поцелуев – пол;

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил…
– Ты не раскаешься, что ты меня любил.

Можно предположить, что стихи эти в какой-то степени – ответ на его религиозно-философские искания, которыми он делился с Цветаевой. Они говорили о московском периоде русской истории – прогулки по старой Москве не могли не вызвать этой темы. Цветаева пишет в эти дни стихи «Димитрий! Марина! В мире…», обращенные в «смутное время» к царевичу Димитрию, Димитрию Самозванцу и Марине Мнишек, чья судьба всегда ее привлекала. Они кончались строфой:

Марина! Димитрий! С миром,
Мятежники, спите, милые.
Над нежной гробницей ангельской
За вас в соборе Архангельском
Большая свеча горит.

Не вместе ли с Мандельштамом зашли они в Архангельский собор и поставили свечу у гробницы царевича Димитрия? Мандельштам тоже упоминает Архангельский собор:

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают как ладонь —

чудится, будто сквозь стены собора пробивается свет той большой свечи из стихов Цветаевой…

Ключевое стихотворение тех дней – мандельштамовское «На ро́звальнях, уложенных соломой…». Оно загадочно, его ассоциации поддаются разной трактовке, и все же именно в нем Мандельштам отвечает и на стихи Цветаевой, и на собственные размышления. Он больше не чужеземец, он принимает в себя судьбу России, ее историю и сливает с нею свою судьбу. Стихотворение начинается «московской» строфой: кто-то «мы» – кто? Мандельштам с Цветаевой, может быть? – едут в санях по Москве. Но слова «едва прикрытые рогожей роковой» вызывают почти уверенность, что они не столько добровольно едут, сколько их везут.

На ро́звальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

Мгновенно, резко происходит смена кадра: вторая строфа переносит читателя в Углич. Оказывается: да, действительно, везут. Но уже не «нас» (никакого «мы» больше не будет), а «меня» – кого? Зачем и куда «меня» везут вопреки такой мирной спокойной уездной жизни и почему зажжены три свечи – кто покойник? Предчувствие казни как бы нависло над санями.

А в Угличе играют дети в бабки,
И пахнет хлеб, оставленный в печи…
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи:
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.

Я не возьмусь расшифровать или пересказать прозой эту строфу. В ее подтексте изречение «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать». Ясно главное: для лирического героя Москва духовно ближе, чем Рим. Но соединяясь с Москвой, Мандельштам не зачеркивает свою любовь к Риму. В признании

«никогда он Рима не любил» поэт сознательно отчуждается от героя. До этого момента в стихах были «мы» или «я» («меня»), здесь же «не любил» – «он». Кстати, если героя везут на казнь, то читатель остается в неизвестности за что: за то ли, что он никогда не любил Рима, или за то, что он его любил, а нынче от него отрекается.

Теперь Мандельштам чувствует Россию изнутри. Он научился слушать ту «подземную музыку русской истории», о которой сказано в его «Барсучьей норе». В нем нет больше ни удивления, ни восторга чужеземца. Так просто и трезво может видеть окружающее только свой. То, что мелькает перед ним, пока сани везут его – по Москве? по Угличу? – русская повседневность, тянущаяся столетия, вне зависимости от эпох и катаклизмов, происходящих с отдельными людьми.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Лущили семя у ворот[65].

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли:
Царевича везут, немеет страшно тело,
И рыжую солому подожгли...

Комментируя эти стихи, Н. И. Харджиев в последней строфе видит связь с царевичем Алексеем, сыном Петра Великого, которого везут по приказу отца из Москвы в Петербург на казнь. Но, возможно, Мандельштам имел в виду Лжедимитрия – царевича Димитрия, сознательно стирая грань между лже и настоящим царевичем. Ведь и Цветаева в стихах «Димитрий! Марина! В мире...» вводит нас в сомнение – царевич ли Димитрий был убит в Угличе? И самозванец ли Лжедимитрий?

Взаправду ли знак родимый
На темной твоей ланите,
Димитрий, – всё та же черная
Горошинка, что у отрока
У родного, у царевича
На смуглой и круглой щечке
Смеясь целовала мать?
Воистину ли, взаправду ли...

Но Алексея или Димитрия везут в мандельштамовских санях со связанными руками и онемевшим телом – это сам поэт: божественный мальчик, отрок, прекрасный брат цветаевских стихов. «На ро́звальнях, уложенных соломой...» – ответ Цветаевой, разрешение тем, возникших в их диалоге, катарсис. Принимая из ее рук Москву, Россию, Мандельштам принимает ее всю, со всем светом и тьмою, какие в ней есть. Это отчетливо скажется в его следующем стихотворении «О этот воздух, смутой пьяный...», которое начинается «на черной площади Кремля», а кончается внутренним светом:

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

Отныне это и его огонь. Мандельштам никогда не раскается, что принял дар от Цветаевой, и никогда от него не отречется. Вобрав в себя всю Россию, став частицей ее истории, он заранее предвидит и гибель – от нее ли, с нею ли – будущее покажет. «На ро́звальнях, уложенных соломой...» – ответ на цветаевские пророчества, предчувствие и принятие гибели.

Скорее всего ни Цветаева, ни Мандельштам по-настоящему не осознавали, что значила для каждого из них эта встреча. В дни их дружбы ей было 23, ему – 25 лет. За него это осмыслила его вдова в своей «Второй книге». «Дружба с Цветаевой, – писала Надежда Мандельштам, – по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. <...>Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы...»[66]

Но и для Цветаевой эта дружба не прошла бесследно. Серьезность и глубина мандельштамовских размышлений о мире, об истории и культуре и для нее открыли новый простор, и у нее появилось «вольное дыхание». Ее поэзия одновременно стала и шире, и глубже. Как Мандельштам по стихам, обращенным к Цветаевой, перешел в новый этап своего творчества, открыл ими сборник «Tristia», так и она «мандельштамовскими» стихами начала новый этап своей лирики – «Версты». Ими открылась эпоха взрослой Цветаевой. Она считала, что не испытала в творчестве никаких литературных влияний, а только человеческие. Это как нельзя более верно в отношении ее встречи с Мандельштамом.

Оставшись вне его поэтического влияния, она заметно выросла под влиянием его личности, открыла в себе новые возможности. Без Мандельштама ее рост не был бы так стремителен, не устремился бы внутрь, в душевные глубины. Только после стихов к Мандельштаму могли появиться циклы стихов к Александру Блоку и Анне Ахматовой.

* * *

Этим летом Сергей Эфрон оставил военно-санитарный поезд. Его призвали в армию, и он должен был пройти курс в школе прапорщиков. До этого он успел побывать в своем любимом Коктебеле – ему необходим был отдых. «По крайней мере, он немного отдохнет до школы прапорщиков, – писала Марина Лиле Эфрон. – Я, между прочим, уверена, что его оттуда скоро выпустят, – самочувствие его отвратительно». В Коктебеле он познакомился с поэтом Владиславом Ходасевичем. Обычно не склонный к похвалам, Ходасевич писал жене, рекомендуя Эфрона: «Он очаровательный мальчик (22 года ему). Поедет в Москву, а там воевать. Студент, призван. Жаль, что уезжает». И в другом письме: «он умный и хороший мальчик»[67]. Сережа все еще воспринимался как мальчик, хотя давно был «отцом семейства», Але скоро должно было исполниться четыре года. Осенью начались занятия в школе прапорщиков – его не освободили. Война подходила вплотную к семье. В Александрове рядом с домом был полигон, Цветаева наблюдала за военными учениями; на станции вместе с детьми – Алей и племянником Андрюшей – провожала солдатские поезда, уходившие на фронт. «Махали, мы – платками, нам фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз...» – вспоминала она. Как и в начале войны, она не ощущала никакого патриотизма, не грезила о победе. К ее отрицанию войны прибавилось чувство ужаса от бессмыслицы происходящего, ненужности жертв. Она смотрела на войну глазами простой солдатки, без пафоса и громких слов. Собственно, она почти не пишет о войне. Ее отношение выражает строка из «Стихов к Блоку»: «И толк о немце – доколе не надоест!» Однако впечатления Александрова не могли не обернуться стихами:

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов – за белой стеною – погост.
И на песке вереница соломенных чучел

Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба – посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует…

Чем прогневили тебя эти серые хаты —
Господи! – и для чего сто́льким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…
– Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

Ей самой предстояло вскоре стать «солдаткой». В январе семнадцатого года Сергей Эфрон был направлен в Нижний Новгород в распределительную школу прапорщиков. Конечно, это было лучше, чем фронт, но тревога уже поселилась в душах близких. Мы узнаём об этом из письма В. Ходасевича от 26 января 1917 года к его другу, поэту и критику Борису Садовско́му – вероятно, Ходасевич пишет по просьбе Эфрона или Цветаевой: «Вчера отправлен к Вам в Нижний, в какую-то студенческую распределительную школу прапорщиков, мой добрый знакомый, умный и хороший человек, Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой… Человек он совсем больной, не очень умеющий устраивать свои дела, к тому же не имеющий в Нижнем знакомых. Я решился дать ему Ваш адрес. Так вот, если он к Вам зачем-нибудь обратится, – не откажите ему в дружеской услуге и внимании. Может быть, он воспользуется Вами для устройства хождения в отпуск или чего-нибудь в этом роде. Может быть, ему предстоят какие-нибудь комиссии и проч.: используйте же и в сем случае то влияние, которое есть у Вас и у Вашей семьи в Нижнем. Повторяю, это человек больной, как мы с Вами. Его жаль душевно. <…> Еще раз простите, – но мне Эфрона мучительно жаль. Он взят по какому-то чудовищному недоразумению».

Эфрон был оторван от семьи, оставив дома беременную Марину и маленькую Алю. Трудная беременность, непривычные бытовые заботы, вызванные войной, усугублялись разлукой с мужем и постоянным беспокойством за него. Но и это не рождало у Цветаевой ненависти к «врагу». На третий год войны у нее появилась формула, которая и потом, в годы Гражданской войны,

выражала ее отношение к происходящему:

Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю...

Для Цветаевой мир не делился на «наших» и «немцев». «Сын – раз в крови», – скажет она позже.

Глава четвертая
Революция

Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос – нет.

Цветаева ждала ребенка. История повторялась: как когда-то ее мать, она ждала и мечтала только о сыне. Эта мечта скрашивала и тяжелую беременность, и тоску одиночества: от Сережи подолгу не бывало вестей. Отгоняя стихами страхи и тревожные мысли, Цветаева писала ночами. В эти первые месяцы семнадцатого года стихи не захлестывали ее, как прошлой весной и летом, но они являлись – и она работала.

Москва жила предчувствием и ожиданием каких-то важных событий, но Цветаева, кажется, не замечала того, что происходит вокруг, погруженная в свои собственные предчувствия и ожидания. 27 февраля в Москве узнали о государственном перевороте в Петрограде, а вечером телефонная связь со столицей прервалась. На другой день утром начали бастовать заводы, остановились трамваи, не вышли газеты. На Воскресенской площади против Государственной думы целый день продолжался многолюдный митинг. Москва всколыхнулась, но ничего чрезвычайного – стрельбы, уличных боев или беспорядков – не было. Журналисты отмечали, что «порядок все время царил образцовый»[68]. В письме тех дней художница Юлия Оболенская сообщала подруге: «...что было курьезно, так это получение твоей посылки с сушеньем и кофе... в первый день революции, когда за окнами ликовала улица и ехала артиллерия с красными флагами. Было чувство вихря, урагана – а по отношению к собственной конуре – необитаемого острова, куда попав случайно, не можешь иметь сношений с людьми. И вдруг звонок и посылка с черной смородиной! Это чувство „острова“, конечно, гипербола первого дня, когда все еще было неизвестно – а на самом деле даже телефон не переставал работать, запасы свеч, воды, сделанные некоторыми, были излишни, т. к. все было в идеальном порядке. Эти обстоятельства прибавили еще что-то к общей стройности, сказочности происходившего...»

О М. Волошине, проводившем зиму в Москве, в этом письме говорилось, что он «носится из дома в дом и кипит и бурлит

известиями, планами, проектами...»; о Магде Нахман, четыре года назад в Коктебеле писавшей портреты Марины и Сережи: «она всё носилась по улицам в первые дни...»[69]

А по Петрограду «в расстегнутой шинели и без шапки», как мальчишка, носился Владимир Маяковский.

«– Куда вы?
– Там же стреляют! – закричал он в упоении.
– У вас нет оружия!
– Я всю ночь бегаю туда, где стреляют.
– Зачем?
– Не знаю! Бежим!..»[70]

Он был убежден:

...днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

Второго марта образовалось Временное правительство. Император Николай Второй отрекся от престола. Третьего марта отрекся от престола и его брат Великий князь Михаил Александрович. Подъем и ощущение «сказочности происходящего» охватили многих. Казалось, что так, почти бескровно, «совершился первый акт великой русской революции», что вот-вот, на днях начнется небывалая новая жизнь и наступит всеобщее благоденствие. В редакционной статье «Государственный переворот» «Исторический вестник» писал: «над русской землей взошло яркое солнце, живительные лучи которого должны согреть ее теплом и светом, вызвать наружу ее творческие силы, столь долго находившиеся под гнетом старой власти...»[71]

Александр Блок, бывший в армии и вернувшийся в Петроград во второй половине марта, писал матери, что «произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно...

Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественная вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше...»[72].

А Цветаева? Вряд ли в ее положении она могла и хотела бегать по городу. Но и она выходила на улицы, видела и возбужденные то́лпы, и солдат, и красные флаги. Слышала и

крики, и шепоты. Но воспринимала все по-иному:

И проходят – цвета пепла и песка —
Ре́волюционные войска.
. . . . . .
Нету лиц у них и нет имен, —
Песен нету!

Песня для Цветаевой – мерило правды. Не алые флаги, а отсутствие песен определило в этот момент смысл происходящего. «Песня» в данном контексте имеет не только прямой, но и внутренний смысл, близкий блоковскому понятию «музыки мира». Может быть, природная близорукость помешала Цветаевой разглядеть революцию в том «чудесном» свете, в котором поначалу увидели ее Блок, Маяковский и многие другие современники?

Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!

Стихотворение, из которого взяты обе эти цитаты, «Над церко́вкой – голубые облака...», написано в день отречения от престола Николая Второго. Хронологически оно – первое, вошедшее потом в книгу «Лебединый Стан». Цветаева никогда до того не была монархисткой, сам факт отречения не мог вызвать у нее мысли о гибели, «вечном сне» родного города. Возможно, рационалисту повод, вызвавший эти чувства, покажется незначительным или иррациональным, но для Цветаевой безликость и беспесенность революционной массы не предвещали ничего хорошего. Образ ветра, прежде интимно связанный с ее собственными переживаниями, в этих стихах отчуждается и принимает двусмысленную и даже зловещую окраску. Словосочетание «ветреный лес знамен» воспринимается и как ветер, шевелящий (играющий, шумящий) множеством знамен, и во втором значении слова «ветреный», означающем пустой, ненадежный, несерьезный, безответственный... Революционные войска топотом и шумом заглушают звон кремлевских колоколов – в этом видит Цветаева угрозу Москве. Такой взгляд и такие стихи были диссонансом в радостном угаре революционных событий. Месяц спустя, в первый день Пасхи, она обратилась в стихах к свергнутому монарху: «Царю – на Пасху». Цветаева пришла к мысли, что и царь виноват в случившемся:

Пал без славы
Орел двуглавый.
– Царь! – Вы были неправы.

Она не обвиняет, а лишь устанавливает факт: «Вы были неправы».

Помянет потомство
Еще не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз...

Возникает тема, ставшая постоянной в «гражданской» лирике Цветаевой, тема, которую Пушкин определил как «милость к падшим». Она жалеет вчерашнего царя и желает:

Спокойно спите
В своем Селе,
Не видьте красных
Знамен во сне...

Через день, предчувствуя страшную участь, уготованную царской семье, она просит Россию молиться и не карать бывшего Наследника, «царскосельского ягненка – Алексия», «сохранить» его. А в «Чуть светает...» «подпольная» Москва тайно молится:

За живот, за здравие
Раба Божьего – Николая...

Так, нотой жалости, до Октября и Гражданской войны начала Цветаева свою будущую книгу «Лебединый Стан». Как ни серьезно то, что происходило во внешнем мире, еще более важным было то, что происходило с ней и в ней самой. Накануне родов, отрешившись от окружающего, Цветаева создает одно из «тишайших» стихотворений:

А все же спорить и петь устанет —
И этот рот!
А все же время меня обманет
И сон – придет.

И лягу тихо, смежу ресницы,

Смежу ресницы.
И лягу тихо, и будут сниться
Деревья и птицы.

13 апреля 1917 года у нее родилась вторая дочь – Ирина. Это было разочарованием для Марины, жаждавшей сына,– не потому ли в ее писаниях это событие никак не отразилось? Впрочем, и об Але она начала писать только после года… Сразу после рождения Ирины Цветаева начала цикл о Степане Разине. «Выписаться из широт» не удавалось: тема носилась в воздухе времени. Обе русские революции поэтически олицетворились в образах Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Множество поэтов обратились к этим историческим личностям – в том числе такие разные, как Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Максимилиан Волошин, Василий Каменский. Каждый по-своему трактовал их и вкладывал в эту тему собственные представления об истории и современности. Один из зачинателей русского футуризма Василий Каменский выпустил в 1918 году ставшую самым знаменитым его произведением поэму «Сердце народное – Стенька Разин». В ней много русской удали, разгула и… зверства.

Сарынь
на
кичку!
Ядреный лапоть,
Чеши затылок
У подлеца.
Зачнем
С низовья
Хватать,
Царапать
И шкуру драть —
Парчу с купца.
Сарынь
на кичку!
Кистень за пояс.
В башке зудит
Разгул до дна.
Свисти!
Глуши!
Зевай!
Раздайся!
Слепая стерва,
Не попадайся! Ввa![73]

Гибель персиянки, утопленной Разиным в угоду своей ватаге, Каменским ощущается как нечто естественное. Кстати, этот эпизод считается исторически достоверным фактом.

В конце семнадцатого года в стихах «Стенькин суд» к образу Разина обратился Максимилиан Волошин, положив в основу бытовавшие в некоторых приволжских областях легенды, что Разин жив и еще вернется восстанавливать справедливость на Руси. Такая версия соответствовала тогдашнему восприятию Волошиным революции как возмездия и очищения:

> И за мною не токмо что драная
> Голытьба, а казной расшибусь —
> Вся великая, темная, пьяная,
> Окаянная двинется Русь...[74] —

обещает волошинский Разин. Любовная история Разина Волошина не интересовала.

Цветаева, напротив, обращается не к историческому Разину, предводителю казацкого бунта, ставшему символом народного протеста, а к песенному, о котором Пушкин писал как о «единственном поэтическом лице русской истории». Как и автора народной песни, ее не интересуют ни причины, заставившие Разина поднять восстание, ни само восстание. Ее привлекает та часть легенды о Стеньке, где он влюбляется в пленную персиянку, а потом топит ее в Волге – и в подарок великой реке, приютившей его, и для того, «чтоб не было раздору между вольными людьми», как поется в песне. Это первое произведение Цветаевой, созданное на фольклорной основе и в стиле русского фольклора, здесь она впервые вводит в стих простонародный говор. Она переосмысливает народную песню – иначе ей не стоило и неинтересно было писать своего «Стеньку Разина». Двадцать лет спустя в статье «Пушкин и Пугачев» Цветаева вернулась мыслями к истории Разина и персиянки. Для Цветаевой само создание народом песни – и есть оправдание атамана. «Над Разиным товарищи – смеются, Разина бабой—дразнят, задевая его мужскую атаманову гордость... Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке – как самое любимое, подняв, значит – обняв...» – говорит Цветаева, как бы проводя параллель между народной песней и своим «Стенькой Разиным». Сравнивая Разина с Пугачевым, Цветаева пересказывает приведенный Пушкиным в «Истории Пугачева» эпизод с Елизаветой Хардовой. Зверски убив ее родителей и мужа, саму Харлову и ее семилетнего брата

Пугачев пощадил ради ее красоты. «Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе самозванца», – пишет Пушкин. Однако некоторое время спустя «она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны»[75]. Цветаева принимает сторону Разина, резко противопоставляя его Пугачеву: «В разинском случае – беда, в пугачевском – низость. В разинском случае – слабость воина перед мнением, выливающаяся в *удаль*... К Разину у нас – за его Персияночку – жалость, к Пугачеву – за Харлову – содрогание и презрение». Тем не менее в цикле «Стенька Разин» она не показала удали своего героя, а, напротив, ввела мотив мести за то, что Персияночка отказала ему в любви:

– Не поладила ты с нашею постелью —
Так поладь, собака, с нашею купелью!..

Это почти так же низко, как и поступок Пугачева. Но видя в Разине, как и Пушкин, «поэтическое лицо русской истории», Цветаева оправдывает само его явление и все связанные с ним злодейства рождением песни: «И – народ лучший судия – о Разине с его Персияночкой – поют, о Пугачеве с его Хардовой – молчат.

Годность или негодность вещи для песни, может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня». В последней фразе выражена важнейшая для Цветаевой мысль об автономности и над-нравственности искусства.

И еще одна тема введена Цветаевой в традиционный песенный сюжет: возмездие Разину. Не он олицетворяет, как у Волошина, возмездие России за ее прошлое, а его ждет возмездие за совершенное злодейство. В последнем стихотворении цикла «Сон Разина» Персияночка является атаману во сне и упрекает его за то, что он утопил ее только в одном башмаке:

Кто красавицу захочет
В башмачке одном?
Я приду к тебе, дружочек,
За другим башмачком!

Этот сон – а он будет повторяться, ибо Персияночка обещает прийти еще, – мучит Разина, понимающего, что вместе с нею он утопил и свое счастье. Жалость к Разину, которую Цветаева услышала в народной песне, есть и в ее стихах, может быть, это

жалость к стихии, не ведающей, что творит. Но мотивы, которые она привнесла в фольклорный сюжет, связаны со временем, когда писался ее цикл, с ее первым непосредственным восприятием революции. Когда полтора года спустя мелькнула надежда на реставрацию, Цветаева обратилась к Царю и Богу с просьбой не карать народ, втянутый в революцию. Народ предстал у нее в образе Разина:

Царь и Бог! Для ради празднику —
Отпустите Стеньку Разина!

В очерке «Вольный проезд» (1918) она описала свою встречу с «живым Разиным» – бойцом реквизиционного отряда, прежде царским солдатом, воевавшим, спасшим знамя, награжденным двумя солдатскими Георгиями... Этого «Разина» она наделила той песенной широтой, удалью, смелостью, которых не досталось ее стихотворному герою. Ему, случайному знакомому, она прочла свои «белые» стихи и своего «Стеньку Разина».

Весна и лето выдались тяжелые. В мае скоропостижно скончался второй муж сестры Аси – Маврикий Александрович Минц. Ася, только что уехавшая со своими мальчиками в Крым, примчалась обратно, но не успела даже на похороны. Она вернулась в Коктебель к детям, к Пра и Максу, с которыми легче было пережить горе, но горе гналось за ней по пятам. Через два месяца в Коктебеле умер ее младший сын – годовалый Алеша. Было до боли жалко сестру, страшно за нее, хотелось быть рядом, но поехать к ней сразу Цветаева не могла и поддерживала письмами. «Ты *должна* жить», – писала она Асе.

На Цветаеву наваливались реальные житейские заботы, необходимость думать о детях, муже, будущем семьи. В августе мы застаем Сергея Эфрона уже в Москве, он служит в 56-м пехотном запасном полку, обучает солдат. Здоровье его не улучшилось, с помощью Волошина Цветаева пыталась перевести мужа в более легкую – артиллерийскую – часть. Эфрон писал Максу: «Прошу об артиллерии... потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас – сравнительно в хороших условиях – от одного обучения солдат устаю до тошноты и головокружения». Весь август летят в Коктебель от Цветаевой к Волошину письма и открытки с планами устройства Сергея в артиллерии: сам он хочет в тяжелую, потому что в легкой слишком безопасно. Марина мечтала, чтобы он служил на юге, может быть, в Севастополе – она боялась за его легкие. В крайнем случае, она надеялась, что он возьмет отпуск и проведет его в Коктебеле; она просила Волошина: «Убеди Сережу взять отпуск и поехать в

Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться...» Ему нужна была передышка: отдых, тепло, солнце, белый хлеб. В Москве становилось голодно, поговаривали, что к зиме наступят настоящий голод и холод. Шла война, революция, страна разваливалась на глазах. Цветаева и сама хотела в Крым, казалось, что там надежнее переждать московскую смуту. Там, и правда, было спокойнее. Уехавшая на лето в Бахчисарай Магда Нахман писала в Москву: «Здесь мало что изменилось, только много лавок закрыто и дачников больше, чем прежде. Все так тихо и мирно, точно революция произошла где-то в тридесятом царстве, и бахчисарайские буржуа относятся к ней с недоверием. Когда какие-то ораторы говорили им о свободе и что каждый может делать, что хочет, то они сильно усумнились в пользе такого нововведения и старики покачивают головами. Газет почти не читают, только дороже все стало»[76].

Еще в августе Цветаева просила сестру снять ей квартиру в Феодосии, она надеялась, что будет там через две недели. Но поездка откладывалась; ничего не устраивалось ни с переводом Сергея в другую часть, ни с его отпуском. Цветаева опасалась, что перестанут ходить поезда. Ей необходим был отдых. Впервые у нее вырываются слова об усталости: «Я страшно устала, дошла до того, что пишу открытки. Просыпаюсь с душевной тошнотой, день как гора». Типичный для нее ход мысли: *невозможность писать* (даже письма!) воспринимается ею как нечто противоестественное.

Может быть, самой большой радостью этого лета была для Марины статья М. Волошина в газете «Речь» – «Голоса поэтов». Он ставил Цветаеву в один ряд с любимыми ею Ахматовой и Мандельштамом и высоко отзывался о ее последних стихах – тех, которые лишь через пять лет выйдут сборником «Версты» I.

Цветаевой удалось приехать в Крым в первых числах октября, одной. В Крыму все еще можно было жить, хотя сахар и керосин давно выдавали по карточкам. Но были солнце, море, белый хлеб, виноград. Здесь были Ася и Макс с Пра – близкие и нужные ей люди. Мысль о возвращении к ним всей семьей не оставляет Цветаеву, но никаких решений она пока не принимает и выезжает из Феодосии домой в последний день октября, ничего не зная о событиях в столицах. Пребывание в Крыму дало ей новое знание о революции и «свободе»: она оказалась свидетельницей того, как революционные солдаты громили винные склады. Это была уже не безликая молчаливая масса, а потерявшая человеческий облик буйная и безудержная толпа, для которой свобода свелась к возможности бесчинствовать.

Разгромили винный склад. – Вдоль стен
По канавам – драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна.
. . . . . .
Гавань пьет, казармы пьют. Мир – наш!
Наше в княжеских подвалах вино!
Целый город, топоча как бык,
К мутной луже припадая – пьет.

Переписывая эти стихи через двадцать лет, Цветаева заметила: «Птицы были – пьяные». Кровавая луна – неслучайна. До самого конца Гражданской войны кровь, льющаяся в России и окрашивающая страну в красный цвет, будет возникать в стихах Цветаевой. Например, «Взятие Крыма» – стихотворение, написанное в ноябре двадцатого года после полного разгрома белых армий.

И страшные мне снятся сны:
Телега красная,
За ней – согбе́нные – моей страны
Идут сыны.

Золотокудрого воздев
Ребенка – матери
Вопят. На паперти
На стяг
Пурпуровый маша рукой беспалой,
Вопит калека, тряпкой алой
Горит безногого костыль,
И красная – до неба – пыль.

Колеса ржавые скрипят.
Конь пляшет, взбе́шенный.
Все окна флагами кипят.
Одно – завешено.

Цветаева воспринимала мир не зрительно, а музыкально. Но в этих стихах наряду с однообразно-страшными звуками («матери вопят», «вопит калека», «колеса ржавые скрипят») преобладают образы зрительные и необычайно для Цветаевой зримые – может быть, именно потому, что увидены во сне. Это импрессионистическая картина, окрашенная в кроваво-красное, где цвет человеческой крови перемешался с цветом нового,

большевистского флага. Оттенки красного (красно-пурпурно-алый) – гибельного, убийственного – противопоставлены золоту детских волос – единственно чистому, что осталось после войн и революций. Замечу, что и Цветаева, и обе ее дочери были золотоволосы.

Тогда же в Феодосии Цветаева задумалась о себе в создавшейся ситуации и впервые самоопределилась как «одна из всех». Гордость, презрение к собственности, бесстрашие, а больше всего поэтический дар определяли ее место среди людей.

Плохо сильным и богатым,
Тяжко барскому плечу.
А вот я перед солдатом
Светлых глаз не опушу.

Город буйствует и стонет,
В винном облаке – луна.
А меня никто не тронет:
Я надменна и бедна.

По дороге в Москву в поезде Цветаева из газет узнала о революции и уличных боях в Москве. На каждой новой станции, в каждой следующей газете подробности звучали все страшнее. Пятьдесят шестой полк, где служит ее Сережа, защищает Кремль. Убитые исчисляются тысячами, в каждой новой газете все бóльшими. Жуткие разговоры в вагоне. Цветаева молчит, она с ужасом думает только о том, что может не застать мужа в живых, и пишет в тетрадку письмо к нему – живому или мертвому. Оно звучит, как монолог человека, которого бьет лихорадка и у которого не попадает зуб на зуб. Отчаяние борется в нем с надеждой, даже подсознательной уверенностью – в Цветаевой огромный запас жизненного оптимизма – что все обойдется, что он, ее Сережа, не может погибнуть. Они вместе уже больше шести лет, и первые бури уже пронеслись над ними, но Цветаева относится к нему так же высоко, как и в дни встречи: «Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других... Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что "я" для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака...» Это была клятва верности, от которой Цветаева не отступила никогда. Прожив жизнь, собираясь вслед за мужем в Советский Союз, Цветаева приписала

около последних слов: «Вот и поеду – как собака. М. Ц. Ванв, 17-го июня 1938 г. (21 год спустя)».

Она вернулась из Крыма в день, когда бои в Москве кончились. Муж был цел и невредим, дома все благополучно, если можно назвать благополучием то, что творилось тогда в России. Цветаева не ошиблась: Сергей Яковлевич был в самом пекле, в Александровском училище, принимал участие в уличных боях и покинул училище только после того, как представитель Временного правительства подписал с большевиками условия капитуляции. Большевики победили. Спрятав понадежнее свой револьвер и переодевшись в чужой рабочий полушубок, Эфрон тайком – чтобы не сдаваться – вышел из здания училища. Эти несколько дней боев за Москву Сергей Эфрон правдиво описал в рассказе «Октябрь (1917 г.)». Рассказ написан без всякой приподнятости, автор стремился воссоздать события и атмосферу исторических дней, но за строками чувствуется тот человек, каким представляла его Цветаева.

Через день, 4 ноября, Цветаева с мужем и его другом прапорщиком Гольцевым снова отправились в путь: молодые офицеры ехали с намерением пробраться на Дон, где должна была формироваться Добровольческая армия для борьбы с большевиками, и Цветаева хотела сама проводить Сергея в Крым. В темном вагоне, по дороге в неизвестность, они читали стихи, потому что ни революции, ни войны не могли убить в них любви к поэзии. Гольцев был учеником ставшей потом знаменитой Студии Евгения Вахтангова. Под стук колес он прочел стихи молодого поэта, своего друга и тоже студийца:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась – с опущенным штыком!

Многие из современников мечтали о Революции, о Свободе – и вот она ворвалась и к ним, и беды уже переступили их порог. Эти стихи возвращали к декабристам, к Пушкину и дальше – к Великому Петру, пушкинскому Медному Всаднику:

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший – странный – непокорный, —
Тот голос памятный: – Ужо Тебе!

Чистой воды романтика – и как близка она была всему строю души Цветаевой! Автора звали Павел Антокольский. От рассказов о нем Гольцева на Цветаеву «пахнуло Пушкиным: *теми* дружбами». Уходя на смерть – он погиб в бою в 1918 году – Гольцев подарил ей своего «Павлика».

В Коктебеле – Волошины. «Огромная, почти физически жгущая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба». Цветаева провела в Коктебеле и Феодосии две недели. Мысли и разговоры тех дней сходились к одному – к России. Революция и судьба России – они знали – определяют и их собственную жизнь. От приехавших коктебельцы услышали подробности октябрьских событий в Москве. Они дали толчок Волошину к созданию стихов «Пути России». За время пребывания Марины в Крыму он написал четыре стихотворения: «Святая Русь», «Москва», «Бонапарт» (позже Волошин включил его в цикл «Две ступени», который посвятил Цветаевой) и «Мир». Возможно, второе из них – непосредственный отклик на рассказ Эфрона, видевшего Москву в дни Октября не из окна, а в боях, с оружием в руках. Однако стихи имеют подзаголовок «Март 1917», подчеркивающий, что «про кровь, про казнь, про суд» Волошин думал уже в дни Февральской революции. Это подтверждается его письмом к Алексею Толстому: «...как ты сердился на меня, когда в марте месяце, во время торжества революции, я говорил тебе, что Красная площадь мне представлялась вся залитой кровью. Видишь теперь, что я был не совсем неправ»[77]. Значит, когда Макс «носился» по Москве в мартовские дни, он не только горел энтузиазмом реорганизовать художественную жизнь, но и впитывал в себя происходящее и осмысливал его в реальном и историческом планах.

В отличие от Волошина у Цветаевой не было каких бы то ни было историософских теорий, вряд ли она разделяла его взгляды на историческое прошлое и будущее России. Но было много общего в их подходе к современным событиям. Так, в разгар Гражданской войны Цветаева обращалась к Петру Великому:

Ты под котел кипящий этот —
Сам подложил углей!
Родоначальник – *ты* — Советов,
Ревнитель Ассамблей!..

И Волошин, не зная этих стихов, буквально вторит:

Великий Петр был первый большевик...

Общим в их отношении к миру был интерес и сочувствие человеку, личности, вне зависимости от идей или партий. У Волошина это была принципиальная позиция, которой он твердо держался во времена Гражданской войны и самосудов, стремясь спасать красного от белых и белого – от красных. Пережив в Крыму красных, белых, немцев, французов, англичан, татарское и караимское правительства, Волошин продолжал стоять на своем: «и теперь для меня не так важны политические программы и стороны, сколько человеческая личность». У Цветаевой интерес к людям – не только к близким – проявился в эти тяжкие годы. И может быть, Волошин научил ее интересоваться прежде всего личностью, а не групповой принадлежностью человека? Вероятно, Макс читал друзьям только что написанные стихи:

> С Россией кончено... На последях
> Ее мы прогалдели, проболтали,
> Пролузгали, пропили, проплевали,
> Замызгали на грязных площадях,
> Распродали на улицах: не надо ль
> Кому земли, республик да свобод,
> Гражданских прав? И родину народ
> Сам выволок на гноище, как падаль...[78]

Он подводил итоги и пророчествовал; Цветаева записала его пророчества в тетрадку: «– А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни.

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...» Оба понимали, что это правда, что все так будет и уже есть: Цветаева в эти дни писала о пьяной буйной Феодосии. Его видение и понимание происходящего были близки Цветаевой, расходились они в отношении к происшедшему. Слова «почти радуясь» в ее записи – не оговорка: Волошин принимал революцию со всеми грядущими ужасами как стихию, несущую справедливое возмездие и одновременно очищение от скверны, опутывавшей Русь испокон веков. Он ждал последующего возвеличения России. Цветаева революцию отвергала.

Она собиралась домой. Было решено, что она заберет детей и вернется в Коктебель – «жить или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон». Пра и Макс торопили ее вернуться.

Цветаева уехала из Крыма 25 ноября 1917 года. Это была их последняя встреча.

В четвертый раз за два месяца проделала Цветаева путь между Москвой и Крымом. «В вагонном воздухе – топором – три слова: буржуи, юнкеря, кровососы». «Октябрь в вагоне» назвала она при публикации записи об этих месяцах. Она окунулась в самую гущу снявшейся с насиженных мест, взбаламученной России, насмотрелась и наслушалась за всю свою предыдущую жизнь. Это было ее первое непосредственное соприкосновение с народом. Люди, люди, люди – всех классов, возрастов и сословий... Страх, ненависть, глупость, подлость... Доброта... Зверство... Матерщина... Такой жизненной школы у нее еще не было.

Выбраться из Москвы Цветаева уже не смогла. Исполнилось прощальное пророчество Волошина: «помни, что теперь будет две страны: Север и Юг». Это затянулось на три года. Она оказалась на Севере, Сережа, Ася, Волошины – на Юге.

Колесо истории не только повернуло время мира, но и проехалось по каждой отдельной судьбе. Душа Цветаевой раскололась надвое: одна половина оставалась в Москве с детьми, повседневными заботами, с новыми интересами, дружбами, увлечениями. Другая – плутала за мужем по полям Гражданской войны, любила, страдала, тосковала, истекала кровью...

Надо было жить. Приходилось в одиночку начинать жизнь, совсем не похожую на ту, что только что оборвалась. До сих пор Цветаева была избалована. Несмотря на сиротство и раннее осознание своей отъединенности от мира, у нее было все, о чем можно мечтать: материальная независимость, свобода, любовь, счастье, талант... Талант? Конечно, она знала о нем, но еще покойная мать ей внушила, что этот дар – от Бога, что она должна оправдать его трудом, что дар – долг. Он был счастьем и бременем одновременно. Зато повседневная жизнь была необременительна. Не было нужды заботиться о деньгах, о быте, была прислуга, кухарки, дворники, няни... Все это быстро сходило на нет. Цветаевой было двадцать пять лет. Она осталась с двумя маленькими детьми в городе, где рухнули все привычные устои и скоропалительно разлаживался быт: пропали деньги, лежавшие в банке, исчезали еда и дрова, изнашивались одежда и обувь. Все ощутимее становился голод. Жизнь принимала подчас фантастические формы, но надо было существовать, растить детей, писать. Ей предстояло пережить и выстоять все тяготы последующих московских лет. И она выстояла.

Она жила и работала как никогда интенсивно и разнообразно. Исполнилось старое пророчество-шутка Волошина:

в эти годы в Цветаевой осуществились по крайней мере четыре поэта.

Кружение сердца

Она открыла для себя театр. Это было продолжение той встречи со стихами Антокольского, когда она впервые услышала его имя от Гольцева в темном вагоне по пути в Крым. В память о последней поездке с Сережей и Гольцевым Цветаева кинулась разыскивать в Москве Павлика Антокольского. Они подружились мгновенно. Он всего на четыре года моложе нее, но воспринимался ею как младший, как мальчик: ведь он еще в студенческой тужурке, студиец – начинающий драматург, начинающий поэт, начинающий режиссер... а она... «Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала – сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов – и столько тетрадей стихов! – и столько покинутых стран!... – я *помнить* начала с тех пор, как начала жить, а помнить – стареть, и я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась...»

Их всех — это студийцев Евгения Багратионовича Вахтангова, рано умершего театрального реформатора, повлиявшего на несколько поколений русского театра. В его Студию ввел Антокольский Цветаеву. Но сначала он познакомил ее со своим другом, впоследствии известным актером и режиссером Юрием Завадским. В те поры Завадский был молодой красавец: высокий, статный, с ангельски-красивым лицом, с золотистыми кудрями и седой прядью. Был ли он талантливым актером? По-видимому, был. Цветаева писала после: Завадский *«выказать* — может, *высказать* — нет», что он хорош «на свои роли, то есть там, где вовсе не нужно *быть,* а только являться, представать, проходить, произносить». В ее устах эта характеристика – убийственна, однако тогда, в восемнадцатом-девятнадцатом годах ему, о нем, для него она писала свои романтические пьесы... Павлик Антокольский был «маленький, юркий, курчавый, с ба́чками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин». Цветаевой запомнились его «огромные тяжелые жаркие глаза» и «огромный» голос, которым Павлик читал стихи; его стихи Цветаевой нравились. В первый же вечер знакомства с Завадским, пораженная его и Антокольского взаимной любовью и дружбой, Цветаева написала им вместе стихотворение «Братья»:

Спят, не разнимая рук,
С братом – брат,
С другом – друг.

. . . . . .
Этих рук не разведу.
Лучше буду,
Лучше буду
Полымем пылать в аду!

С этого началось, и запылало, и продолжалось больше года, превратившись в настоящий «театральный роман» с продолжениями.

Цветаева увлеклась Завадским. Как почти всегда в ее «романах», и в данном случае трудно понять, насколько он был реален, какие отношения в действительности связывали его героев. Ясно одно – Цветаева была активной, любящей, одаривающей стороной. Завадский ее любовь принимал или – скорее – от нее уклонялся. Цветаева впоследствии писала о своей им «завороженности – иного слова нет». Из этой «завороженности» возникли ее пьесы, цикл стихов «Комедьянт», еще стихи. Уже давно развороженная, она писала о нем в «Повести о Сонечке», задним числом развенчивая своего «комедианта». Но и в стихах времен «романа» любовь и восхищение переплетались с иронией и самоиронией. Этот сладкий «герой-любовник» (таково было амплуа Завадского по театральной терминологии) принес ей немало горечи.

Но, помимо Завадского, Цветаева увлеклась самой Студией, всеми студийцами вместе, их молодым энтузиазмом, горением, весельем – атмосферой театра. Наперекор голоду и разрухе они искали новые пути в искусстве. Это звучало контрастом и вызовом действительности и импонировало Цветаевой. Она заразилась их поисками и открыла для себя новый путь – драматурга. Отталкиваясь от реальности, отталкивая реальность, Цветаева окунулась в мир любимых ею когда-то «теней». Увлечение Завадским слилось с увлечением героями и прототипами героев пьес, в которых он должен был играть. Германия, Италия, Франция… Шестнадцатый век, восемнадцатый (осьмнадцатый, как по-старинному говорила Цветаева, очень ею любимый), начало девятнадцатого… Авантюристы, любовники, высокие страсти и таинственные приключения… Достаточно сказать, что две из ее пьес основаны на мемуарах знаменитого Джакомо Казановы; герой третьей – аристократ, мятежник, кончивший жизнь под ножом гильотины, любовник столь же неукротимый, как и Казанова, – герцог Лозэн.

Композиционно и сценически ее пьесы вполне просты. Сюжета или почти нет, как в «Метели», или – как в

«Приключении», «Фениксе», «Фортуне» – он развивается хронологически и логически последовательно. Так, «Фортуна» начинается рождением Лозэна, чье детство прошло под сенью мадам де Помпадур, и кончается его восхождением на эшафот. Между этим – ряд любовных и политических авантюр героя. В монологах Лозэна перед казнью одна из важных тем – развенчание революции. Можно представить себе, с каким удовольствием Цветаева вложила в его уста слова:

> Так вам и надо за тройную ложь
> Свободы, Равенства и Братства!

Действие «Феникса» разворачивалось в предновогодний вечер в замке Дукс в Богемии, где доживал век библиотекарем Казанова. Цветаева противопоставляет Казанову не только его ничтожному окружению в замке, но и его – самому себе: «он весь на тончайшем острие между величием и гротеском». Его неукротимый дух и нрав контрастируют с его внешностью «остова», с его возрастом. Независимость и резкость его реплик и монологов противоречат положению мелкого служащего в замке. В этом пережившем свое время старике Цветаева воссоздает полную страстей и приключений жизнь Казановы.

Пьесы написаны ясными, легко читающимися стихами. Это не просто «пера причуда», проба себя в новом жанре, но и новые ноты в поэтическом голосе поэта. Говоря о причине возникновения своих пьес, Цветаева отметила: «просто голос перерос стихи». Ее привлекла многоголосица драматического произведения, возможность воплощаться в персонажей разных социальных и культурных уровней, разных языковых стихий. Романтическое, высокое можно было сочетать с простонародным, даже грубым. Этот прием смешения высокого и низкого «штилей», в русской поэзии восходящий к Державину и ставший характерным для творчества Цветаевой, придавал ее стихам особую выразительность. В пьесах он расширял возможности речевой характеристики персонажей, каждый из которых говорит языком, свойственным его кругу: речь Нянюшки из «Фортуны» или Дворни из «Феникса» строится на иной лексике, нежели речь «галантных» героев. Генриэтта в «Приключении» говорит нисколько не похоже на Девчонку; даже не зная ремарок, читатель или слушатель поймет, что в первом случае перед ним – аристократка, а во втором – дочь улицы. Вот, к примеру, две параллельные сцены из «Приключения»: в первой с Казановой торгуется Генриэтта-Анри, во второй – Девчонка.

Анри (*смеясь и отстраняясь*)

...Не забывайте: мы – авантюристы:
Сначала деньги, а потом – любовь.

Казанова (*падая с облаков*)

Какие деньги?

Анри (*играя в серьезность*)

За любовь. Но долгом
Своим считаю вас предупредить:
Никак не ниже десяти цехинов.

Казанова

Тысячу!

Анри

Мало!..

В нескольких последующих репликах Казанова набавляет плату, Генриэтта-Анри повторяет: «Мало!»

Анри

Мало! Мало! Мало!

Казанова

Чего же вы потребуете?

Анри (*упираясь кончиком пальца в грудь Казаковы*)

— Душу
Сию – на все века, и эту
Турецкую пистоль – на смертный выстрел.

(*Разглядывая пистоль*)

Турецкая?..

А вот почти та же ситуация – с Девчонкой:

Казанова (*к Девчонке*)

— Вздохнула, как во сне...
Взгрустнулось – иль устала слушать?

Девчонка

Я думаю о том, что буду кушать
И сколько денег вы дадите мне.

(*Задумчиво*)

У тараканов – страшные усы...
Приду домой – пустой чугун и старый веник...

Казанова

Чего бы ты хотела?

Девчонка

Дом. – Часы. —
Лакея в золотом и мно-ого денег!

Казанова

Зачем тебе они?

Девчонка

Зачем?
Была ничем, а буду всем[79].

(*Сентенциозно*)

Как цвет нуждается в поливке,
Так нужно денег, чтобы жить —
Хотя бы для того, чтоб лить
Не сливки в кофий по утрам, а кофий в сливки!

(*Трепля на себе юбки*)

Чтобы к чертям вот эти тряпки!
Чтобы катать в своей коляске!..

Не только обращение Казановы к Генриэтте на «вы», а к Девчонке на «ты» и ремарки, отмечающие разный строй души и манеру поведения двух героинь, но и интонационно и лексически эти диалоги противопоставлены друг другу. Речь Генриэтты стремительна, Девчонки замедленна. Естественные в устах Генриэтты слова «авантюристы», «любовь», «душа» были бы неуместны в речи Девчонки, каждая из них говорит своим языком. Но и речь одного персонажа может меняться в пьесах Цветаевой, как это часто бывает в жизни. Так, Казанова в «Фениксе» на разных языках говорит с ничтожным Видеролем, с дамами и с Франческой. Его монологи полны то горечи, то негодования, то иронии, то высоких воспоминаний... Это относится и к Лозэну, чья речь меняется от картины к картине, определяя изменение самого героя. Однако элементы реалистического изображения персонажей не делают пьес Цветаевой реалистическими. Они романтичны по сути, по замыслу, выбору героев и сюжетов, а главное – по романтическому отношению к миру. Мечтая издать эти пьесы отдельной книгой, она озаглавила ее «Романтика». Замысел этот не осуществился, как и мечта увидеть их на сцене. В «Повести о Сонечке» Цветаева рассказала, с каким успехом прочла перед студийцами и самим Вахтанговым свою «Метель», как сразу после чтения они начали распределять между собой роли – этим дело и кончилось. Чтение проходило, видимо, в самом начале 1919 года, а весной в Студии произошел раскол, Антокольский и Завадский ее покинули. Когда больше чем через год Завадский вернулся в Студию и Вахтангов вновь начал работать со студийцами, отношения Цветаевой с Завадским и весь ее «театральный роман» были уже позади.

Не стану утверждать, что романтические драмы – вершина творчества Цветаевой, хотя они так легко и живо написаны, что могут быть сыграны. Для Цветаевой, помимо ее тогдашней увлеченности театром, это был важный эксперимент: она постигала искусство диалога. Не была ли это попытка преодолеть свою отъединенность от окружающего, которую она так остро ощущала с самого детства? Ведь театр – искусство коллективное… Однако встреча с вахтанговцами осталась в своем роде единственной– в творческом и в человеческом планах. Преодолеть себя и природу своего таланта не дано, по-видимому, никому, и Цветаева вернулась «на пути своя»: ее творчество – один трагический монолог.

Театр принес ей и творческую радость, и большое разочарование. Через два года, готовя к печати «Конец Казановы» (последняя картина пьесы «Феникс», изданная маленькой книжечкой), Цветаева предпослала ей заметку «Два слова о театре» с эпиграфом из Генриха Гейне: «Театр не благоприятен для Поэта и Поэт не благоприятен для Театра». Она категорически отрекалась от союза со сценой: «Театр я всегда чувствую насилием.

Театр – нарушение моего одиночества с Героем, одиночества с Поэтом, одиночества с мечтой, – третье лицо на любовном свидании». Она отрекалась и от своих пьес, назвав их поэмами; сцена была вторична, Цветаева не хотела больше думать об их постановке. Более поздние трагедии на античные сюжеты не предназначались для театра и не были рассчитаны на сценическое воплощение. Это были трагические поэмы в драматизированной форме.

Возможно, «Два слова о театре» – отклик и на еще одно неудавшееся сотрудничество Цветаевой с театром – Первым театром РСФСР под руководством Всеволода Мейерхольда, для которого ей предлагали сделать перевод «Златоглава» Поля Клоделя и в который она была приглашена для работы над переделкой шекспировского «Гамлета» вместе с самим Мейерхольдом, его помощником режиссером Валерием Бебутовым и Владимиром Маяковским. В это время Цветаева близко дружила с Бебутовым – скорее всего, он и свел ее с Мейерхольдом. Мы не знаем внутренних причин, по которым это сотрудничество не только не состоялось, но кончилось публичным скандалом. Прочитав в журнале «Вестник театра» заметку о своем участии в работе над «Гамлетом», Цветаева направила в редакцию письмо, в котором отказывалась от каких бы то ни было отношений с театром Мейерхольда. Оно было напечатано в феврале 1921 года, и в том же номере «Вестника

театра» в редакционной заметке и в письмах Вс. Мейерхольда и В. Бебутова Цветаевой была дана, как говорилось на советском языке, «достойная отповедь». В частности, Бебутов назвал ее «бардом теплиц», а Мейерхольд писал: «Вы знаете, как отшатнулся я от этой поэтессы после того, как имел несчастье сообщить ей замысел нашего „Григория и Дмитрия“[80]. Вы помните, какие вопросы задавала нам Марина Цветаева, выдававшие в ней природу, враждебную всему тому, что освящено идеей Великого Октября...» Эта история живо передает дух и фразеологию тех лет, а отчасти характеризует и самого Мейерхольда. В более поздние времена его заявления было бы достаточно, чтобы Цветаеву арестовали. Но мне интересно другое: эта журнальная перепалка свидетельствует о профессиональной известности и признании Цветаевой уже к началу двадцатых годов. Ее, не выпустившую за предыдущие семь лет ни одной книги, приглашают в знаменитый театр наряду с печатавшимся и гремевшим Маяковским. Более того, ей предназначалась самая серьезная часть общей работы над «Гамлетом»; Бебутов писал Мейерхольду: «стихотворную часть я, с вашего ведома, предложил Марине Цветаевой как своего рода спецу»[81].

Вернусь к поэзии. Интересно, что две другие главы «театрального романа», писавшиеся одновременно с романтическими пьесами – стихотворные циклы «Комедьянт» и «Стихи к Сонечке», – тоже осуществляют попытку Цветаевой говорить разными голосами. Обращенный к Завадскому «Комедьянт» – один из прекрасных любовных циклов поэта. Здесь, сплетаясь, наплывают друг на друга и борются любовь, восхищение, презрение к герою и себе, ирония над ним, над собой, над своей «завороженностью»...

Героиня любит и страдает, понимая, что любит без взаимности, разбиваясь о бесчувственность своего героя. Но любовь непобедима рассудком.

Не успокоюсь, пока не увижу.
Не успокоюсь, пока не услышу.
Вашего взора пока не увижу.
Вашего слова пока не услышу.

Что-то не сходится – самая малость!
Кто мне в задаче исправит ошибку?
Солоно-солоно сердцу досталась
Сладкая-сладкая Ваша улыбка!..

Мы слышим голос женщины: любящей, отвергнутой, страдающей. Но Поэт-Цветаева противостоит женщине: эта любовная игра не должна перерасти в драму или трагедию. Иронией, стилизацией под театральное «лицедейство» поэт сводит все к простому приключению. Цветаева пытается уверить читателя – и самое себя – что это не всерьез, это театральная сцена, за которой сама она следит как бы со стороны:

Не любовь, а лихорадка!
Легкий бой лукав и лжив.
Нынче тошно, завтра сладко,
Нынче помер, завтра жив.

Бой кипит. Смешно обоим:
Как умен – и как умна!
Героиней и героем
Я равно обольщена.
. . . . . .
Рот как мед, в очах доверье,
Но уже взлетает бровь.
Не любовь, а лицемерье.
Лицедейство – не любовь!

И итогом этих (в скобках —
Несодеянных!) грехов —
Будет легонькая стопка
Восхитительных стихов.

Даже в любовном поединке Цветаева помнит, что она – Поэт; в подтексте возникает мысль о стихах, которые родятся из этого поединка. Будучи побежденной или отвергнутой в реальности, она-Поэт победит в том, что напишет: «Порукою тетрадь – не выйдешь господином!» В ироничном, нежном и тихом – так говорят шепотом – чуть стилизованном под галантное любовное признание стихотворении «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны...» Цветаева предсказывает, что герой «Комедьянта» останется жить в ее стихах:

Друг! Все пройдет! – Виски в ладонях сжаты, —
Жизнь разожмет! – Младой военнопленный,
Любовь отпустит Вас, но – вдохновенный —
Всем пророкочет голос мой крылатый —
О том, что жили на земле когда-то
Вы, – столь забывчивый, сколь незабвенный!

На самом деле Цветаева видела своего героя трезвее и прозаичнее, чем в стихах. Ирония «Комедьянта» рождена этим взглядом и одновременно его прикрывает. В набросках пьесы, героями-антиподами которой должны были стать Придворный и Комедьянт, Цветаева характеризовала последнего: «тщеславное, самовлюбленное, бессердечное существо, любящее только зеркало»[82]. Почти через двадцать лет Комедьянт по-новому оживет в «Повести о Сонечке». Здесь Цветаева выступает исследователем феномена неодушевленной красоты («Каменный Ангел»). О своем чувстве к Юре З. она вспоминает теперь почти с недоумением.

Трагическим диссонансом звучит в «Комедьянте» стихотворение, при жизни Цветаевой не опубликованное:

Сам Чорт изъявил мне милость!
Пока я в полночный час
На красные губы льстилась —
Там красная кровь лилась.

Пока легион гигантов
Редел на донском песке,
Я с бандой комедиантов
Браталась в чумной Москве.

Очнувшись от театрального угара, Цветаева внезапно почувствовала, что заблудилась в чужом и чуждом ей мире:

Чтоб Совесть не жгла под шалью —
Сам Чорт мне вставал помочь.
Ни утра, ни дня – сплошная
Шальная, чумная ночь...

Увлечение Студией, студийцами, театром – наваждение; Чорт пришел в эти стихи из поговорки «чорт попутал». Примерно тогда же написано и тоже не напечатано восьмистишие:

О нет, не узнает никто из вас
– Не сможет и не захочет! —
Как страстная совесть в бессонный час
Мне жизнь молодую точит!

Как душит подушкой, как бьет в набат,
Как шепчет все то же слово...
– В какой обратился треклятый ад
Мой глупый грешок грошовый!

То, что эти стихи не были опубликованы, кажется мне значительным: в них спрятаны тайные чувства, в которых человек не хочет признаться даже самому себе. «Страстная совесть» Цветаевой, в «Искусстве при свете Совести» превратившаяся в «Страшный суд Совести», была к себе беспощадна. Однако Цветаева не совсем справедлива. Она не только «браталась» с «бандой комедиантов» – одновременно с «театральным романом» она вела дневниковые записи, запечатлевшие время и «мертвую петлю» (ее выражение), в которой билась ее душа, воспевала «Лебединый Стан» – тех, чья «красная кровь лилась» на полях Гражданской войны.

Когда смотришь на даты и видишь, что на протяжении нескольких дней написаны стихи «Я помню ночь на склоне Ноября...» и «Царь и Бог! Простите малым...» – поражаешься.

Я помню ночь на склоне Ноября.
Туман и дождь. При свете фонаря
Ваш нежный лик – сомнительный и странный,
По-диккенсовски – тусклый и туманный,
Знобящий грудь, как зимние моря...
– Ваш нежный лик при свете фонаря.
И ветер дул, и лестница вилась...
От Ваших губ не отрывая глаз,
Полусмеясь, свивая пальцы в узел,
Стояла я, как маленькая Муза,
Невинная – как самый поздний час...
И ветер дул и лестница вилась...

Буквально через три дня:

Царь и Бог! Простите малым —
Слабым – глупым – грешным – шалым,
В страшную воронку втянутым,
Обольщенным и обманутым, —

Царь и Бог! Жестокой казнию
Не казните Стеньку Разина!
Царь! Господь тебе отплатит!

С нас сиротских воплей – хватит!
Хватит, хватит с нас покойников!
Царский Сын, – прости Разбойнику!..

Разве один человек способен так разно чувствовать и писать в одно и то же время? Но Поэт – явление неучтимое, подвластное самому ему неведомой стихии. Он не может знать, что завтра или даже сегодня сорвется с его пера:

...Ибо путь комет —
Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности – вот связь его! Кверх лбом —
Отчаятесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем... —

а потому не несет моральной ответственности за то, что написалось. Этим проблемам она посвятит литературно-философские эссе «Поэт и Время» и «Искусство при свете Совести».

В «Повести о Сонечке» есть сцена, комментирующая ситуацию «и ветер дул, и лестница вилась...», в ней описано прощание с уходящим Юрой З.: «...я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, при чем он все-таки оставался выше меня на целую голову». Грязная, темная, освещенная лишь дальним уличным фонарем винтовая «черная» лестница, по которой снизу таскают дрова, а сверху ведра с помоями; сквозь выбитые окна дует ветер и хлещет дождь – вот «из какого сора» могут возникнуть романтические стихи...

«Шальная, чумная ночь» – не только кружение сердца и пера в атмосфере любовной игры и романтики, но и реальность – «Московский, чумной, девятнадцатый год», как сказано в других стихах. Жизнь шла своим чередом. Приходилось ездить в деревню, чтобы на спички, мыло и еще уцелевший ситец выменивать продукты; ходить на толкучки, продавая книги, вещи – все, что можно было продать; рубить на дрова когда-то с любовью выбранную к свадьбе мебель. Топить печи, ставить самовары, варить, стирать, чинить одежду. Опухшими от холода руками перебирать и на себе – на Алиных детских салазках – перетаскивать пуды мерзлой картошки. И этими же руками писать о Марии Антуанетте, Байроне, Казанове, Комедьянте, о судьбах России... «Целую тысячу раз Ваши руки, которые должны быть только целуемы – а они двигают шкафы и подымают тяжести – как безмерно люблю их за это»,– написала ей Сонечка Голлидэй,

и Цветаева сохранила эти слова в сердце: ей нечасто говорили такое.

Кажется, поэт живет несколько жизней: собственную московскую, ту, на Дону, за которой следит то с надеждой, то с отчаяньем, и эту «шальную», где живые студийцы смешались с героикой и романтикой XVIII века. Вобрав в себя все, она пишет стихи и прозу – и каждый раз это *другая* Цветаева. С того момента, когда ей пришлось осознать понятия быта и Бытия, они стали для нее антагонистами: быт необходимо было изжить, преодолеть, существовать Цветаева могла только в Бытии. Дон, Казанова, Комедьянт, Лозэн были ее Бытием, мороженая картошка – бытом. Я надеюсь, что кружение сердца и завороженность театром помогли Цветаевой пережить первые послереволюционные зимы.

Потом появилась…

Сонечка

Она возникла в тот зимний день, когда Цветаева читала в Студии Вахтангова свою «Метель». Их познакомил Антокольский:

«Передо мной маленькая девочка. *Знаю,* что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною – живой пожар. Горит все, горит —вся... И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!» Павликина Инфанта – потому что о ней, для нее Антокольский писал пьесу «Кукла Инфанты».

Софья Евгеньевна Голлидэй – тогда актриса Второй студии Художественного театра – была всего на четыре года моложе Цветаевой, но из-за маленького роста, огромных глаз и кос казалась четырнадцатилетней девочкой. В послереволюционной Москве, переполненной театральными гениями и событиями, она не осталась незамеченной. Голлидэй прославилась моноспектаклем по Ф. Достоевскому «Белые ночи»: даже сам жанр такого спектакля был внове. На пустой сцене, «оборудованной» только стулом (по воспоминаниям Цветаевой) или большим креслом (по воспоминаниям других, видевших спектакль), наедине с этим стулом-креслом и всем зрительным залом, крошечная девушка в светлом ситцевом платьице в крапинку рассказывала о своей жизни. На полчаса Сонечка становилась Настенькой Достоевского. «Это было самое талантливое, замечательное, что мне приходилось видеть или слышать во Второй студии», – написал о Сонечкиных «Белых ночах» Владимир Яхонтов[83], прекрасный актер, создавший первый в России театр одного актера.

«Сонечку знал весь город. На Сонечку – ходили. Ходили – на Сонечку. – „А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами... Ну, прелесть!“ Имени ее никто не знал: „такая маленькая“...» – вспоминала Цветаева в «Повести о Сонечке».

Они подружились. Этой дружбой окрашена для Цветаевой первая половина девятнадцатого года. Сонечка стала частым гостем в ее доме, она привязалась и к дому с его необычными комнатами, беспорядком и неразберихой, и к детям. Не только к Але, с которой она дружила и которой поверяла сердечные тайны, но и к Ирине. Видимо, одна из немногих, Сонечка умела играть и общаться с больной Ириной. В это «бесподарочное время», как позже определила старшая дочь Цветаевой, Сонечка приходила не с подарками—с едой для детей. «Галли-да! Галли-да!» – встречала ее Ирина, всегда ожидавшая от нее гостинца. В те годы ребенок

одинаково радовался и куску сахара, и вареной картошке. «Сахай давай!.. Кайтошка давай!» – требовала Ирина, и Сонечка была в отчаянии, если нечего было дать.

Дружба с Сонечкой была горячей и напряженной. Поначалу особый оттенок придавало ей и то, что обе подруги были увлечены Завадским. Это не разводило, а каким-то образом связывало их. «Ваша Сонечка», – говорили Цветаевой. И хотя дружба продолжалась всего несколько месяцев, след ее в душе Марины остался на долгие годы. Я знаю, что многие из тех, кто сталкивался с Цветаевой в быту или в редакциях, считали ее эгоистичной и жесткой. Однако страницы ее стихов и прозы, которые одни выражают сущность поэта, свидетельствуют об обратном. Не перестаешь поражаться бездонности благодарной памяти Цветаевой, десятилетиями хранившей тепло человеческих отношений. Ее «мифы» о современниках рождались из этого тепла, оно придавало им зримость и осязаемость реальности. Так было с поэтами: Осипом Мандельштамом, Максом Волошиным, Андреем Белым, Михаилом Кузминым. Я не сомневаюсь, что все герои ее мифов были такими, какими их воссоздала Цветаева: она умела почувствовать и сохранить важнейшее в человеке, то, что дано увидеть немногим. Так было и с Сонечкой. В молодой актрисе, бедно одетой, часто голодной, но всегда готовой поделиться последним, слишком непосредственной, с неуживчивым характером, с вечно неудачными Любовями, Цветаева разглядела «Женщину – Актрису – Цветок – Героиню», как написала она, посвящая Голлидэй пьесу «Каменный Ангел». Красоту и героизм Сонечки она увидела в ее доброте и бескорыстии, в способности жертвовать, в преданности. Цветаеву привлекло своеобразие Сонечки – ее необычной внешности и душевного склада. Голлидэй была актрисой, но ничего «актерского» не было в ее отношении к жизни и людям, в манере держаться, в одежде. Она не приспосабливалась, не хотела «казаться», многими воспринималась как человек неудобный, «неучтимый». Она была такой, какой была. Этого жизненного принципа держалась и Цветаева. Возможно, самой собой Сонечка была только с нею – но кто же больше Цветаевой мог оценить это?

Восхищенная человеческой и актерской индивидуальностью Голлидэй, обиженная вместе с нею, что ее «обходят» ролями, Цветаева одну за другой пишет несколько романтических пьес, женские роли в которых предназначались для Сонечки. Розанетта в «Фортуне», Девчонка в «Приключении», Аврора в «Каменном Ангеле» и Франческа в «Фениксе» – каждая похожа на Сонечку, каждой Цветаева сознательно придает внешние черты подруги. И все – разные, ибо в каждой из этих юных женщин Цветаева

воплотила одну особую черту душевного облика Сонечки, каким она его воспринимала. Увы! – Сонечке не довелось сыграть ни одной из этих ролей: цветаевские пьесы не увидели сцены.

Разные ипостаси Сонечки запечатлены и в обращенном к ней цикле «Стихи к Сонечке», написанном одновременно с романтическими пьесами. В нем не отразилась никакая реальность. Лишь в первом стихотворении слышны отзвуки конкретных отношений: две молодые женщины влюблены в одного – равнодушного – «мальчика». Но, как и в жизни (об этом мы узна́ем позже из «Повести о Сонечке»), между ними нет ни ревности, ни соперничества.

Если в цикле «Подруга» воссоздавались история отношений и переживания лирической героини, то в «Стихах к Сонечке» Цветаева отстраняется, отступает в тень и лишь запечатлевает разные обличья своей героини. Это или роли, которые она могла бы сыграть, или отдельные стороны ее души и характера, как они представлялись поэтическому взору автора.

Вот Сонечка – героиня и одновременно, может быть, исполнительница «жестоких» романсов под шарманку. В «Повести» Цветаева рассказала, как страстно Сонечка любила эти «мещанские» романсы. И сама она не была к ним равнодушна, в ранних стихах описаны песня шарманщика во дворе и вызванные ею слезы. А в годы, о которых идет речь, когда из дома Цветаевой постепенно исчезало все, что можно продать или чем можно топить, в нем жила шарманка, на которой Цветаева иногда играла... Впрочем, по другим воспоминаниям, шарманка была куплена уже сломанной и никогда не играла.

Вот Сонечка – испанская уличная девчонка (а в «Приключении» она – итальянская уличная Девчонка), работница сигарной фабрики: «географическая испаночка, не оперная... Заверти ее волчком посреди севильской площади – и станет – своя». И стихи к «сигарере» написаны в ритме, для русского уха схожем с испанским танцем.

> Маленькая сигарера!
> Смех и танец всей Севильи!

Но справедливости ради отмечу, что и не вполне «географическая» – откуда Цветаевой было знать настоящих испанок? – а литературная: Кармен если не Жоржа Визе, то Проспера Мериме...

Или Сонечка – молоденькая русская мещаночка (как в «Каменном Ангеле» она – немецкая мещанка XVI века): «Кисейная занавеска и за ней – огромные черные глаза... На слободках... На

задворках... На окраинах». Об этих чернооких красавицах Цветаева заметила: «Весь последний Тургенев – под их ударом». Но и не ранний ли Достоевский, не его ли «Белые ночи», с Настенькой которых слилась в памяти Цветаевой Сонечка?

Ландыш, ландыш белоснежный,
Розан аленький!
Каждый говорил ей нежно:
«Моя маленькая!»

Владислав Ходасевич, который в 1938 году рецензировал впервые опубликованные «Повесть о Сонечке» и «Стихи к Сонечке», писал, что эти стихи «при всех своих достоинствах ... непонятны без того обширного комментария, которым к ним служит „Повесть о Сонечке“ ...остается от них только смутная магия слов и звуков». С этим трудно согласиться: если читать «Стихи к Сонечке» без «поддержки» повести, в них очевидна романтическая стилизация, не требующая реального комментария.

Что-то от Достоевского слышится в подтексте «Повести о Сонечке»: необыкновенные дружбы, напряженность, обостренность человеческих отношений «бездны мрачной на краю» в чумном, смертельном девятнадцатом году, «предельная ситуация», которую Цветаева постоянно ощущает, но с которой, как и вообще с жизнью, не «играет». Интересно в этом плане стихотворение, написанное в «сонечкины» времена, но в цикл «Стихи к Сонечке» включенное только в 1940 году. Оно стоит особняком, не стилизовано и обращается к читателю от собственного «я» Цветаевой, ее собственным голосом:

Два дерева хотят друг к другу.
Два дерева. Напротив дом мой.
Деревья старые. Дом старый.
Я молода, а то б, пожалуй,
Чужих деревьев не жалела.

То, что поменьше, тянет руки,
Как женщина, из жил последних
Вытянулось, – смотреть жестоко,
Как тянется – к тому, другому,
Что старше, стойче и – кто знает? —
Еще несчастнее, быть может.

Здесь прорвалась та реальная тоска одиночества, которая жила внутри Цветаевой все пять послереволюционных лет, которую она подавляла в себе и скрывала от других, которая – возможно – и кидала ее в эти годы от одного увлечения к другому:

Два дерева: в пылу заката
И под дождем – еще под снегом —
Всегда, всегда: одно к другому,
Таков закон: одно к другому,
Закон один: одно к другому.

Два тополя, росшие напротив ее дома в Борисоглебском переулке и знакомые всем, кто бывал у Цветаевой, стали символом человеческого тепла и поддержки, необходимости людей друг для друга. На несколько месяцев Сонечка оказалась деревом, согревающим, спасающим от одиночества.

Она исчезла так же внезапно, как и появилась: бросила Москву и вскоре вышла замуж. «Сонечка от меня ушла – в свою женскую судьбу, – писала Цветаева. – Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину...»

Была ли это гомоэротическая связь, как несколько лет назад с Софией Парнок? Если прочитать рядом «Стихи к Сонечке» и «Подругу», бросится в глаза неодинаковость чувств, вызвавших оба цикла, и выраженной в них авторской идеи. В «Подруге» открыто, отчасти даже с вызовом присутствуют Вы и Я – две влюбленные друг в друга женщины; героиня «Стихов к Сонечке» – условная героиня «жестоких» романсов, вобравшая в себя отдельные черты реальной актрисы Софьи Голлидэй. Страсть, ревность, любовная тоска, бушующие в «Подруге», отсутствуют во втором цикле: чувства берут начало не от живой жизни, а из традиционных литературных (на разных уровнях) образов. Разница поэтической задачи подчеркивает, что и чувства, вызвавшие эти стихи, были различны. В «Повести о Сонечке», где Цветаева с огромной нежностью и признательностью описывает свою дружбу с Сонечкой, она дает понять, что физической близости между ними не было: «Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства...» А по-французски добавляет: «...C'était la Révolution, donc pour la femme: vie, froid, nuit». («Это была Революция, что для женщины значит: быт, холод, ночь». – *В. Ш.*)[84]

Но не только это. Теперь Голлидэй была младшей, и не

исключено, что Цветаева хотела оградить подругу от той горечи, какую ей самой пришлось пережить в отношениях с Парнок. Может быть, тот урок не был забыт и напоминал о себе болью за другого, другую. Кончив «Повесть о Сонечке», Цветаева делилась с А. А. Тесковой: «Все лето писала свою Сонечку – повесть о подруге, недавно умершей в России. Даже трудно сказать „подруге“ – это была просто *любовь* — в женском образе, я в жизни никого так не любила – как ее». Для них обеих это было огромное чувство, то счастье, которого так мало выпало на долю Цветаевой и благодарность за которое она хранила в сердце всю жизнь.

Не просто цитируя Достоевского, а прямо включая Настеньку из «Белых ночей» в свою повесть, Цветаева кончает ее словами благодарности:

«...А теперь – прощай, Сонечка!

Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

* * *

Нет, для Цветаевой это бесконечно много, особенно теперь, когда на глазах распадалась не только абстрактная «связь времен», не просто быт, но и естественные человеческие связи – семейные и дружеские. Тем более ценным становилось человеческое тепло.

До революции Цветаева жила в весьма замкнутом кругу университетской, литературной и театральной элиты. Теперь нужда заставила ее бегать по очередям и базарам, толкаться на Сухаревке и Смоленском рынке – приходилось вступать в непосредственные отношения с народом, с «толпой». Она начала записывать увиденное, услышанное, пережитое. Специальных дневников она не вела, ее прозаические записи замелькали в тетрадях, на полях рукописей, на стенах комнаты вперемежку с рифмами и стихотворными строками. В это невероятное время она отмечала в себе особую остроту мысли, «страстную нацеленность всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки». Вряд ли она уже тогда думала печатать эти заметки, важно было схватить, удержать и осмыслить то новое, что ворвалось в жизнь и происходило с ней самой. Записи «мелочей быта» переходили в раздумья о людях, о сущности жизни, как никогда обнажившейся, об искусстве, о

человеческих чувствах – любви, благодарности. «Бытие» и «быт» сплетались, одно вытекало из другого, дополняло его.

Уже за границей, пытаясь сделать из своих записей книгу, Цветаева назвала ее «Земные приметы»: события и подробности земной, каждодневной жизни. Название подчеркивало противостояние «земным» приметам – жизни духа, воплощавшейся в стихах. Она писала об этой книге: «Москва 1917 г. —1919 г. ...Мне было 24—26 лет, у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), и этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, – куда только не носили!

Политики в книге нет: есть *страстная* правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, *Года!*... Это не *политическая книга,* ни секунды. Это – живая душа в мертвой петле – и все-таки живая. Фон мрачен, не я его выдумала...» Как всегда, она предельно точна в определении: не останавливаясь на выражении «страстная правда», уточняет – пристрастная. Пристрастность – характернейшая черта Цветаевой – человека и поэта. Сознавая это и атакуя читателя своей пристрастностью, она не позволяла себе «передергивать» факты (*«фактов* я не трогаю никогда, я их только – толкую»), а потому мы можем не сомневаться, что факты в ее записях – достоверны.

Уже поездки между Москвой и Крымом осенью 1917 года дали ей представление о том, что происходит с людьми и страной. Еще через год Цветаевой довелось окунуться в самую гущу происходящего: она отправилась «за продуктами» в Тамбовскую губернию. Это стало одним из средств существования: горожане пытались выменивать остатки сохранившихся вещей на остатки продуктов у крестьян. В Москве были рынки (главный – знаменитая Сухаревка!), и чего только не выносили туда «бывшие» люди! Продавала и Цветаева и к концу девятнадцатого года продала все, что было можно, но дело это было не из легких. Ее вещи, как и их хозяйка, были необычными, им требовался хозяин-ценитель. «Продать! – записывала Цветаева. – Легко сказать! – Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, – поэтому их никто не покупает». Но в деревне можно было выменять продукты на спички, мыло, ситец. Вариант был соблазнителен: кто-то из знакомых пригласил Цветаеву поехать на станцию Усмань Тамбовской губернии. Он ехал с другом и его тещей, которая бывала там уже трижды и сулила спутникам «златые горы»: муку, пшено, даже свиное сало. Сама идея показательна: если прежде Цветаева не умела заказать

обед кухарке, то теперь она готова ходить по избам и вступать в торговлю с деревенскими бабами. В сентябре восемнадцатого года она получила какое-то полуфиктивное удостоверение о командировке «для изучения кустарных вышивок» и отправилась «за пшеном». Возможно, ее спутники были заинтересованы в этом пропуске, ибо железные дороги были закрыты для свободного проезда, тем более для провоза чего бы то ни было: новая власть боролась с новым племенем – «мешочниками». В цветаевском пропуске было оговорено: «Вольный проезд (провоз) в 1½ пуда». Так она и назвала свое эссе об этой поездке: «Вольный проезд».

Было самое начало эпохи «военного коммунизма». Слова «реквизиция», «реквизиционный отряд», «заградительный отряд», мелькающие на страницах цветаевского «Вольного проезда», не были еще страшными символами прошлого, а грозной и жуткой реальностью. Это была первая попытка нового государства сломить крестьянство; по выражению В. Ленина, «крестовый поход» за хлебом. Реквизиционные продовольственные отряды были организованы, чтобы отбирать у крестьян «излишки», а «заградительные» отряды – не дать ни крестьянам, ни пробившимся в деревню горожанам, вроде Цветаевой и ее спутников, вывезти в город какие бы то ни было продукты. В пути у «мешочника» могли отобрать все, что у него было. То, что еще сохранилось в деревне, должно было попадать только в руки самого государства.

В дороге Цветаева начинает понимать, что они едут на реквизиционный пункт, где служит красноармейцем сын «тещи». Из рассказов этой бывалой женщины она получает первое представление о «военном коммунизме»: «А что мужики злобятся – понятное дело... Кто ж своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: „Да побойся ты Бога!.. Как же это так – человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая... Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге...“»

Действительность оказалась страшнее рассказов. В первую же ночь Цветаева присутствовала при обыске у владелиц чайной, где они с «тещей» ночевали. Такой «встречей» сын-красноармеец развлекает мать и показывает, как далеко распространяется его власть над чужими судьбами. «Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду». На целую неделю Цветаева превратилась в Золушку из сказки: оказалась бесплатной служанкой у жены командира или комиссара отряда, в доме которой ее поселили. Здесь же

столовались члены отряда. Она смогла вблизи рассмотреть непосредственных вершителей революции, ежевечерне выслушивать рассказы этих опричников об их «работе». Грабят всех, грабят с удовольствием и даже с вдохновением, отбирают все: хлеб, сало, золото, ткани. Награбленное делят на месте грабежа. Когда хозяйка наклоняется, из-за пазухи со звоном падает стопка золотых монет. У самого симпатичного из красноармейцев, цветаевского «Стеньки Разина», которому она читала стихи и подарила перстень с двуглавым орлом и книжку о Москве, в карманах – четверо золотых часов. «Стенька» с одинаковым восторгом рассказывает о своем отце – околоточном надзирателе и «великом церковнике», о Наследнике, в чьем полку недавно служил, и о том, как грабил банк в Одессе.

Страшные в своей оголтелости «реквизаторы»: русские, евреи, кавказцы… «Теща», готовая вцепиться в волосы Левита и грозящая ему своим «самым что ни на есть большевиком» Колькой… Хозяйка с золотом за пазухой, думающая только об обогащении и читающая только Карла Маркса… В прежней жизни «теща» была портнихой и когда-то шила на жену дяди Цветаевой – могла бы и ей самой! Хозяйка – бывшая владелица трикотажной мастерской в Петербурге. Обычные горожанки, раньше Цветаева не увидела бы в них ничего, кроме вежливости и услужливости. Теперь они не стесняются: она – из «бывших», а они из новых, побеждающих, и нет нужды притворяться. Никогда до революции Цветаева не представила бы их такими, с какими столкнулась в Усмани. А может быть, они и не были такими? Как и ее «Стенька»? Он был бы примерным солдатом и верно служил «царю и отечеству» – недаром у него два Георгия, а не грабил и убивал, как разбойник… Как вещал в последнюю встречу Волошин: «озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий…»

И – бессмыслица. Цветаева убедилась в этом, прослужив около полугода в только что организованном советском учреждении. Оно помещалось в бывшем доме Соллогубов – доме Ростовых из «Войны и мира» Льва Толстого. Последнее обстоятельство не меньше, чем необходимость пайка и заработка, повлияло на решение Цветаевой пойти на службу. Учреждение называлось громко: «Информационный отдел Комиссариата по делам национальностей». Служащих было много, но делать было решительно нечего. Работа заключалась в том, чтобы кратко изложить в «журнале газетных вырезок» статьи, относящиеся к «твоей» национальности, и перенести это изложение на отдельные карточки. Вскоре стало ясно, что можно ничего не переписывать и не излагать, можно, не заглядывая в газету, сочинить собственное «изложение» – все это решительно ни для

чего и никому не нужно. Единственная радость – сидя на службе, Цветаева урывками писала свои романтические пьесы… И – новые впечатления от людей множества национальностей, разных сословий и пристрастий, приспосабливающихся к новой жизни и приспосабливающих ее для себя. Сестре она призналась: «Служила когда-то 5 ½ мес. (в 1918 г.) – ушла, *не смогла.* — Лучше повеситься».

Понимание того, что революция подняла со дна человеческих душ все дурное и темное, что соблазнительные большевистские лозунги прикрывают грязь, ложь, насилие, было для Цветаевой, может быть, более важно, чем физические ощущения голода и холода. Безнаказанность грабежей, разрушений, убийств, едва прикрытая революционными словами, – вот чем обернулась свобода для «освободителей» и «освобожденного» народа. Народ, как почти всегда, если не безмолвствует, то выражает недовольство вполне пассивно. Цветаева записывает сцену при отъезде из Усмани в Москву.

> «Платформа живая. Ступить – некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, – мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!) <…>
>
> …Недоверчивые обороты голов в нашу сторону:
>
> – Господа!
>
> – Москву объели, деревню объедать пришли!
>
> – Ишь натаскали добра крестьянского!..
>
> <…>Холодею, в сознании: правоты – их и неправоты – своей <…>
>
> – Последние пришли, первые сядут.
>
> – Господа и в рай первые…
>
> – Погляди, сядут, а мы останемся…
>
> – Вторую неделю под небушком ночуем…
>
> У – у – у…»

В бессильной ярости толпа рычит на безоружных горожан, не в адрес красноармейцев, конечно.

Вот он – русский народ: мастеровые, рабочие, крестьяне, с которыми она никогда не сталкивалась близко. Раньше Цветаева ездила за границу, на дачу, в Крым и везде была «барышней» или «барыней». Теперь она, как и все, – «гражданка». Она впервые попала в русскую деревню и вошла в общение с народом у него дома, на равных. Даже и не на равных, потому что деревенские ей открыто не доверяют. Но для Цветаевой это была бесценная встреча: она нагляделась и наслушалась России: «Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: потолки, полы, лавки,

котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее – точно из них выросли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами шеи! И на всей этой коричневизне – последняя синь позднего бабьего лета. (Жестокое слово!)». Ее обижают и раздражают их недоверчивость, скрытое недоброжелательство и стремление обмануть при «обмене». Но она способна переступить через это и наслаждаться речью, откровенностью, красотой, почувствовать доброту, пусть и не к ней обращенную. Ее сближает с крестьянками общая беда – почти все они, как и Цветаева, без мужиков: мужики – кто в Красной, кто в Белой армии. На деревенском базаре заметны только женщины. «Базар. Юбки – поросята – тыквы – петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях...» Цветаева не была бы Цветаевой, если бы описала деревню по-другому: с ее грязью, нищетой, натруженными руками, до сроку постаревшими лицами. Темноту, тяжесть труда и быта «патриархальной» деревни она прекрасно поняла, как и то, насколько смятена деревня, как она подорвана войной и революцией. Но – русская речь! Где бы она такое услышала?!

> «– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет?..
>
> ...– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными... Маманька, а маманька, взять что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?»

Или:

> «– Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас – дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?..»

В записанных Цветаевой разговорах слышится ее обращение к Петру Первому:

> Соль высолил, измылил мыльце —
> *Ты,* Государь-кустарь!..

В конце концов, я поняла – почему: деревенские бабы попрекают Цветаеву-горожанку в своих бедах, как она сама Петра – во всероссийских. К тому же в ее пропуске в Тамбовскую губернию есть это слово – «кустарь»: «для изучения кустарных вышивок».

Русская деревенская стихия ворвалась в душу Цветаевой, каким-то образом преобразила ее, обогатила и язык, и представление о жизни, – она осознала свою приобщенность к русскому народу и его судьбе. Никогда до революции не написала бы она этих стихов, объединявших ее с людьми, определявших и ее «место во вселенной»:

Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
. . . . . .
– Еще, Господь, благословляю – мир
В чужом дому – и хлеб в чужой печи.

А ведь еще так недавно никто и ничто чужое просто не могло привлечь ее внимание. Теперь люди стали ближе, Цветаева узнала, что они, как и она, страдают от разлуки с близкими, голода, холода. В стихи вылилась жизненная идея Цветаевой:

Если душа родилась крылатой —
Что́ ей хоромы – и что́ ей хаты!
Что Чингис-Хан ей и что́ – Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых:
Голод голодных – и сытость сытых!

(август 1918)

Впервые она сравнивает большевистскую революцию с татарским нашествием на Древнюю Русь.

И – что для поэта важнее всего – для Цветаевой зазвучал и «обольстил» ее другой русский язык: не литературный, книжный, поэтический, знакомый с рождения, а простонародный – на толкучках, в поездах, церквах, деревнях. Он пробудил у нее интерес к русскому фольклору, толкнул писать собственные «русские» поэмы. Эта новая языковая стихия, преобразившая словарь и ритмику Цветаевой, тоже осталась с нею до конца. Когда в 1932 году в статье «Поэт и Время», размышляя о взаимоотношениях Поэта со своим временем и Временем вообще,

о влиянии и давлении времени на Поэта и об отражении Поэтом времени, Цветаева написала слова, приведенные эпиграфом к этой главе, она, в частности, имела в виду перемены и в своем творчестве. И когда в эссе памяти М. Волошина она писала, что он «стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции», – в определенной мере это относилось и к ней самой.

Тем не менее Цветаева революцию не приняла. Она восторгалась «поэтом Революции» Маяковским, советским павильоном на Парижской выставке, некоторыми советскими фильмами... Но доказать, что Цветаева приняла или хотя бы примирилась с советским строем, невозможно. В обход этого существовала формула: Цветаева революцию не поняла и *поэтому* не приняла. Но вчитываясь в Цветаеву, стараясь проникнуть в логику ее мыслей, чувств, поступков – в самую логику ее жизни, убеждаешься: Цветаева сущность революции поняла сразу и именно потому принять революцию не могла.

Есть на эту тему важное свидетельство Ариадны Эфрон. Она писала Павлу Антокольскому в 1966 году: «Иринина смерть сыграла огромную роль в мамином отъезде за границу, не меньшую, чем папино *там* присутствие. Мама никогда не могла забыть, что здесь дети умирают с голоду. (Поэтому я на стену лезу, читая... стандартное: «Цветаева не поняла и не приняла».) *Чего уж понятнее и неприемлемее!*»[85] (выделено мною. – *В. Ш.*). Это особенно важно потому, что в печати дочь Цветаевой поддерживала официальную версию и ради публикации литературного наследия матери готова была «выпрямлять» трагическую историю своей семьи. Она писала о *«неисчерпаемости* ошибки, совершенной в семнадцатом году» ее отцом[86], о том, что это повлекло за собой «роковую ошибку» – отъезд Цветаевой за границу, что, не будь этих «ошибок», жизнь Цветаевой сложилась бы благополучнее.

В действительности дело обстояло не совсем так. Я уже ссылалась на мнение Ильи Эренбурга, утверждавшего, что психологическая последовательность событий была обратной: не уход мужа в Добровольческую армию сделал Цветаеву певцом Белой гвардии, а ее отношение к событиям толкнуло его на этот путь. Не об этом ли стихи:

Я сказала, а другой услышал
И шепнул другому, третий – понял,
А четвертый, взяв дубовый посох,
В ночь ушел – на подвиг...

И не служит ли косвенным подтверждением этого факт, что в труднейшее для передвижения время она сама «отвезла» Сергея на Юг? Кстати, первые цветаевские стихи «неприятия» были написаны до отъезда Эфрона. В мае семнадцатого года, «между двух революций», она уже знала, как будет выглядеть революционная свобода:

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
– Свобода! – Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
– Свобода! – Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

Если не знать дат, можно прочесть эти стихи как ответ Александру Блоку на его предчувствия и мечты о Революции и на то, что открылось ему в поэме «Двенадцать». «Прекрасная Дама» в первой строфе отождествляет долгозваную Свободу с Прекрасной Дамой – Россией – Революцией Блока. «Гулящая девка —Свобода» второй строфы предвосхищает (стихи Цветаевой написаны за несколько месяцев до «Двенадцати») блоковскую Катьку:

– А Ванька с Катькой – в кабаке...
– У ей керенки есть в чулке!

Гулящая девка в кабаке и с керенками и есть та «свобода», которую на практике получила Россия. А если продолжить параллель с «Двенадцатью», сами «освободители» и убивают свободу, как красногвардейцы убили Катьку...

Почему Цветаева оказалась прозорливее многих своих сверстников и старших современников? Почему не поддалась никаким иллюзиям? В книге «Воспоминания» Надежда Мандельштам писала о расколотом революцией внутреннем мире интеллигента: «Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдания, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь

ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались и отвернулись. А были и другие – они боялись собственного испуга: еще проморгаешь, из-за деревьев не увидишь леса… Среди них находился и 0<сип> М<андельштам>»…

Цветаева не относилась к этой категории: ее отроческая «революционность» давно была вытеснена другими интересами. Однако среди тех, о ком говорит Н. Я. Мандельштам, было множество людей литературы, искусства, науки, в душах которых задолго до случившегося жила «революция с большой буквы, вера в ее спасительную и обновляющую силу, социальная справедливость»[87]. Призывая революцию, мечтая о ней, они не предполагали, во что она выльется для России и чем обернется для них самих.

И. Эренбург, в пятнадцать лет ставший большевиком, в семнадцать оказавшийся политическим эмигрантом, при первом известии о Феврале ринулся из Франции в Россию. Революционная действительность его ужаснула; в 1918 году он выпустил книжку стихов «Молитва о России», состоящую из апокалиптических видений и пророчеств о гибели:

Детям скажете: «мы жили до и после,
Ее на месте лобном
Еще живой мы видали».
Скажете: «осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли»[88].

Гибель России – убийство: обезумевшие дети распинают мать-родину. Волошин восторженно приветствовал «Молитву о России» как книгу единомышленника: «поэт сумел найти слова грубые, страшные и равносильные тому, что он видел, и сплавить единым всепобеждающим чувством». Более того, он писал, что это – «книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание». Об оправдании можно было говорить только исходя из волошинской надежды на очищение России в огне революции. Волошин ставил «Молитву о России» в один ряд с «Двенадцатью» Блока, статья его так и называлась «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург»[89].

Иными глазами прочел «Молитву о России» Маяковский, стоявший «по другую сторону красных баррикад». С первого дня он сделал себя певцом «великих битв Российской Революции» и уже тогда жил по принципу, сформулированному им

впоследствии:

...тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот —
против нас[90].

Он отозвался о книге Эренбурга резко-пренебрежительно: «Скушная проза, печатанная под стихи. С серых страниц – подслеповатые глаза обремененного семьей и перепиской канцеляриста... Из испуганных интеллигентов». Примечательно, что слово «интеллигент» Маяковский употребляет если не как бранное, то как презрительное – так оно вошло в советский обиход. В этой же рецензии, напечатанной в «Газете футуристов» и озаглавленной «Братская могила», Маяковский задел и Цветаеву. В полемическом задоре он не дал себе труда разобрать стихи, которые упоминает, или оспорить позицию тех, с кем не согласен. Кажется, он не прочел книги, сваливаемые им в «братскую могилу», а выхватил из них подходящие ему цитаты. На сборник «Тринадцать поэтов» Маяковский потратил три строки. Обыгрывая подзаголовок этой книги «Отклики на войну и революцию», он писал: «Среди других строк – Цветаевой:

...За живот, за здравие раба божьего Николая...

Откликались бы, господа, на что-нибудь другое!»[91] Это – о сборнике, где «среди других строк» напечатаны по крайней мере четыре замечательных поэта: Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Михаил Кузмин. Но Маяковский не интересуется стихами – он дает отпор тем, «кто поет не с нами», игнорируя даже вопрос – почему? Почему они «поют не с нами»?

Но и Мандельштам, казалось бы, более близкий и способный понять Цветаеву, тоже категорически не принял ее стихи. В 1922 году он напечатал в журнале «Россия» (номер вышел после отъезда Цветаевой за границу, и у меня нет сведений, читала ли она эту статью) обзор «Литературная Москва», где утверждал: «Худшее в литературной Москве – это женская поэзия». И – о Цветаевой: «Для Москвы самый печальный знак – богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой». Сравнение с А. Радловой, принадлежавшей к чуждому Мандельштаму литературному кругу, звучит отрицанием

Цветаевой как поэта. Но Мандельштам не останавливается на этом, в следующем абзаце он с особой нетерпимостью говорит о Цветаевой: «Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество, как домашнее рукоделие. В то время, как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды»[92]. Чем мог быть вызван столь резкий и недоброжелательный отзыв о стихах женщины, некогда близкой, и поэта, ему во всяком случае не враждебного? Мандельштаму действительно была чужда «вибрация на самых высоких нотах», характерная для поэзии Цветаевой, он называл себя «антицветаевистом». Можно предположить, что его раздражал голос Цветаевой, доходящий до крика:

Да, ура! – За царя! – Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!..

Крик и «безвкусица», которую он у нее находит, вряд ли заслуживали той резкости, с которой пишет Мандельштам. Ключ, скорее всего, кроется в словах «историческая фальшь», «лженародных и лжемосковских» и в противопоставлении Адалис, в стихах которой Мандельштаму слышится «правда». Сам Мандельштам еще мучился философским объяснением и оправданием происходящего, пытался сквозь русскую смуту и разруху разглядеть светлую точку в конце. Он не мог согласиться с бессмысленностью случившегося, искал смысла – и надежды. Весной 1918 года он написал стихи, в первой публикации названные «Гимн».

Прославим, братья, сумерки свободы, —
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ...

Как известно, сумерки бывают дважды в сутки и

предшествуют дневному свету и ночной тьме. Мандельштам как будто говорит о рассвете: «Восходишь ты...» Однако повторяющееся «сумеречный», «сумрачный» однозначно и означает «темный, мрачный, отчаянный». Ощущение мира и времени, запутавшихся в сетях «сумерек», слышно совершенно отчетливо, недаром Мандельштам переименовал «Гимн» в «Сумерки свободы». И все же он обращается к надежде:

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи...

Может быть, эксперимент, проводимый с Россией, еще удастся? Говоря о Блоке, Мандельштам примерно в это время писал о «высшем удовлетворении в служении русской культуре и революции».

Должно было пройти несколько лет, прежде чем Мандельштам определил свое отношение к русской революции и свои взаимоотношения со временем. Расставаться с надеждами не так-то просто. Отзвук стихотворения «Сумерки свободы» слышится еще и в статье 1922 года «Гуманизм и современность»: «монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры» пугает человека, «отбрасывает на нас свою тень»; «...мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что́ это – крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить»[93]. Вещее в поэте заставляет его чувствовать, что «сумерки свободы» предшествуют ночи, что ночь обступила со всех сторон, но человек хочет надеяться, что все обойдется, что за «сумерками» последует рассвет и ночь окажется тенью родного города... Естественно было назвать лжепророчицей ту, которая не оставляла никаких надежд. Ведь как раз когда Мандельштам писал свой «Гимн», Цветаева творила заупокойную молитву по России:

Идет по луговинам лития.
Таинственная книга бытия
Российского – где судьбы мира скрыты —
Дочитана и наглухо закрыта.

И рыщет ветер, рыщет по степи:
– Россия! – Мученица! – С миром – спи!

Мне кажется удивительным историческое чутье Цветаевой,

жившей вне политики и политикой не интересовавшейся. Возможно, такой «сторонний» взгляд и позволяет более трезво оценить реальность? С какой точностью пророчила она о будущем значении России: «где судьбы мира скрыты». Это «домашнее рукоделие», как раздраженно определил Мандельштам, сбывалось у нас на глазах.

В книге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург, говоря о «белых» стихах Цветаевой, почти умилялся: «никто ее не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью»[94]. Да, за «свои пути» приходится платить, и Цветаева заплатила по самому высокому счету. То, что Эренбург называет «романтикой», было для Цветаевой не придуманной позой, а жизненной позицией. Ее романтизм был одновременно и причиной, и следствием ее обостренного интереса к индивидуальности. Личность человека, единственность и неповторимость ценила она превыше всего. Я думаю, это лежит в основе ее категорического неприятия русской революции. Безликость революционной массы, так поразившая ее еще в марте семнадцатого года, каким-то образом приоткрыла завесу над будущим, заставила сформулировать: «Самое главное: с первой секунды Революции понять: все пропало! Тогда – все легко». Читая мемуары современников Цветаевой, думая над биографиями ее сверстников, видишь, что такая категоричность была исключением. Большинству понадобилось время, чтобы разобраться в происходящем, освободиться от «очистительных» иллюзий и определить свое место в новом мире. Даже такой умный и неромантический человек, как Владислав Ходасевич, пренебрегая житейскими тяготами, в начале 1920 года еще не думал, что произошла катастрофа; он писал Борису Садовско́му: «Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу...»[95] Он не стал большевиком, но в то, что большевики помогут возрождению русской культуры, еще верил. Через год в речи, посвященной Пушкину, Ходасевич скажет о «надвигающемся мраке». Еще через год он поймет: в этом мраке невозможно сохраниться как личность. Ходасевич эмигрировал почти в одно время с Цветаевой.

О тех их современниках, которые прожили жизнь в Советской России, нельзя говорить походя – по-разному страшно сложились судьбы большинства из них. Скажу лишь об одном, самом благополучном из возможных вариантов. Подводя итоги жизни, И. Эренбург писал о своих внутренних метаниях и объяснял эволюцию от «Молитвы о России» к приятию и сотрудничеству с

новой властью. Его объяснения звучат полемикой с Цветаевой: «Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем „историей“, убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей»[96]. По логике его рассказа, осознав это и приняв новые понятия человеческих ценностей, Эренбург стал советским писателем. Это был путь многих интеллигентов: надо было жить и «сожительствовать» с победителями. Эренбург умолчал о том, чем привлекли его эти «другие понятия человеческих ценностей» и что они собой представляли. Это были идеи коммунизма, даже в своем теоретическом виде означающие нивелировку и обезличивание отдельного человека, а на практике приведшие к уничтожению личности и физическому истреблению всех, кто пытался ее сохранить. Для Цветаевой это было неприемлемо.

Октябрьский «переворот» («так ведь это тогда называлось, помните?» – писала А. Эфрон в цитированном письме к П. Антокольскому) Цветаева восприняла как катастрофу, грозящую гибелью России. Это было задолго до смерти ее младшей дочери. Расстрел царской семьи, смерть Ирины, самоубийство А. А. Стаховича, расстрел Николая Гумилева, гибель Александра Блока – все эти пережитые за два послереволюционных года смерти оказались подтверждением самых худших ее предчувствий. Возможно, смерть Блока – в особенности, потому что она относила его к бессмертным.

Александр Блок

Кем ты призван
В мою молодую жизнь ?

Весть о смерти Блока ударила Цветаеву. Сразу же, в августе 1921 года, она пишет четыре стихотворения на его кончину, которые могли бы быть озаглавлены «Вознесение». Ключевое слово этого цикла – «крыло». Оно повторено шесть раз. Крыло как признак поэтического дара, нездешней – птичьей – певческой – серафической сути. То, что в поэте умирает последним:

Не проломанное ребро —
Переломленное крыло.

Не расстрельщиками навылет
Грудь простреленная. Не вынуть

Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.

Цепок, цепок венец из терний!
Что усопшему – трепет черни,

Женской лести лебяжий пух...
Проходил, одинок и глух,

Замораживая закаты
Пустотою безглазых статуй.

Лишь одно еще в нем жило:
Переломленное крыло.

Крыло – как то, что давит («требует», по Пушкину) поэта – «Плечи сутулые гнулись от крыл...»; как самое ранимое у поэта – «Рваные ризы, крыло в крови...». И как то, что его возносит. Энергия этих стихов устремлена ввысь, они о душе, наконец-то вырвавшейся от «окаянной» земли и возносящейся в небо: горняя быстрина, лететь, заоблачная верста, взлет осиянный...

Праведник душу урвал – осанна!

В этом цикле нет плача по умершем, а только радость его освобождения. В эти же дни Цветаева писала Ахматовой: «Смерть Блока я чувствую как Вознесение». Это вознесение души поэта, не просто много страдавшей, но и божественной; Цветаева не обмолвилась, написав:

Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего... —

определив Блока словами, сказанными о себе Христом.

И все-таки, если бы Цветаева не увидела Блока за год до его смерти, чувства его освобождения от земных пут у нее не возникло бы. В мае двадцатого года она дважды слышала Блока на его вечерах в Москве: 9 мая в Политехническом музее и 14-го – во Дворце Искусств. На втором она была с Алей, которая записала в дневнике свои впечатления о Блоке и его стихах: «Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок – такой же великий поэт, как Пушкин (знающие любовь Цветаевой к Пушкину – поймут! – *В. Ш.*). И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове». Затем, удивительно близко к тексту и, главное, к смыслу Аля пересказала стихи, которые читал Блок. И дальше – о матери: «У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг»[97]. Ребенок оставил нам сейсмографически-точную запись состояния Цветаевой во время чтения Блока. Радости не было и не могло быть: она видела тяжелобольного усталого человека, уже почти отсутствующего:

И вдоль виска – потерянным перстом —
Все водит, водит...
. . . . . .
Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)...

Перед ней почти и не человек, во всяком случае, не человек, читающий стихи с эстрады, а некий дух, серафим, явившийся, чтобы «оповестить» и готовый взлететь. «Грозное лицо, сжатые губы» передают напряжение, с каким Цветаева слушала Блока. И восторг, как при встрече с чем-то непостижимо-высоким и прекрасным. То, что Аля в семь лет могла отметить разницу

между радостью и восторгом, показывает, каким душевно-тонким человеком росла дочь Цветаевой, и делает объяснимой их необычную дружбу.

Аля передала Блоку стихи, только что законченные Цветаевой, – последнее ее стихотворение, обращенное к Блоку при его жизни. В нем, единственном из всего «блоковского» цикла, есть определенные приметы места, времени и живые черты портрета Блока. В примечании Цветаева указала: «в тот день, когда взрывались пороховые погреба на Ходынке – и я впервые увидела Блока». Нет сомнения, что этот вечер был чрезвычайно значителен для Цветаевой, но стихотворение написано не столько для того, чтобы запечатлеть встречу, сколько ради последней строки:

Как слабый луч сквозь черный мо́рок адов —
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.

И вот, в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим

– Откуда-то из древних утр туманных —
Как нас любил, слепых и безымянных,

За синий плащ, за вероломства – грех...
И как – вернее всех – ту, глубже всех

В ночь канувшую – на дела лихие!
И как не разлюбил тебя, Россия!

И вдоль виска – потерянным перстом —
Все водит, водит... И еще о том,

Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать – и как не встанет...

Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)

Предстало нам – всей площади́ широкой! —
Святое сердце Александра Блока.

«Святое сердце» для Цветаевой в случае Блока имеет буквальное значение, оно отличает Блока от людей, отделяет от земли. Святому сердцу не место среди смертных. Цветаева уже

сейчас знает это, и потому в стихах год спустя будет не горе, а светлое чувство справедливости.

Но «осанна!» Блоку началась еще весной шестнадцатого года, когда в первом цикле «Стихов к Блоку» Цветаева определила их неизбежность:

Мне – славить
Имя твое.

Она славит Блока в молитвенном преклонении и полной отрешенности от его земного человеческого облика. Она пишет своего Блока. Если поздний Пастернак связал образ поэзии Блока с ветром, то Цветаева ощущает его снежным: «снеговой певец», «снежный лебедь». Это нечто светлое, неземное, полуреальное – вот оно здесь и сейчас исчезнет, растает... В облике Блока, созданном Цветаевой, единственная реальность – страдание. Это попытка иконописи в стихах, изображение «лика» Поэта: «В руку, бледную от лобзаний, не вобью своего гвоздя...», «Восковому святому лику только издали поклонюсь...» Торжественно звучит стихотворение «Ты проходишь на Запад Солнца...», где Цветаева прямо перелагает в стихи православную молитву:

. . . . . .
Мимо окон моих – бесстрастный —
Ты пройдешь в снеговой тиши.
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души.

Там, где поступью величавой
Ты прошел в гробовой тиши,
Свете тихий – святыя славы —
Вседержитель моей души.

Цветаева обожествляет Блока. Святость, страдание, свет – вот понятия, связанные для нее с Блоком, и хотя слово «Бог» не названо, оно окрашивает цикл. Тогда же, в шестнадцатом году, Цветаева написала первые стихи о смерти Блока. Душевная деликатность не позволила ей поднести это стихотворение больному поэту:

Думали – человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.

– Плачьте о мертвом ангеле!

В двадцать первом году – новый взрыв стихов к Блоку. Меньше чем в три недели она пишет десять стихотворений, связанных с ним. И странно – в них является слово «колыбель»:

Без зова, без слова, —
Как кровельщик падает с крыш.
А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?..

В конце стихотворения колыбель оборачивается могилой, но слово возникло неслучайно. Из десяти стихотворений лишь три обращены непосредственно к Блоку, остальные составили два небольших цикла: «Подруга» и «Вифлеем». В это время Цветаева познакомилась с Надеждой Александровной Нолле-Коган и ее полуторагодовалым сыном Сашей. К ней обращена «Подруга», ему посвящен «Вифлеем»: «Сыну Блока, – Саше». Легенда о том, что сын Н. А. Нолле – сын Блока, бытовала в писательских кругах долго. Не буду обсуждать ее достоверность – важно, что Цветаева ей верила, хотя несколько лет спустя изменила мнение об отцовстве Блока. Об отношениях Н. А. Нолле с Блоком Цветаева знала от нее самой: читала письма к ней Блока и видела его подарки новорожденному мальчику. В последние годы жизни Блока Н. А. Нолле и ее муж – крупный чиновник в области культуры П. С. Коган – поддерживали поэта, посылали ему в Петроград продовольственные посылки, хлопотали по его делам в Москве. Приезжая в Москву в двадцатом и двадцать первом годах, Блок останавливался в их квартире. Рассказов Нолле оказалось достаточно для возникновения цветаевского мифа – о подруге-возлюбленной, чья миссия любить—держать—спасать Поэта:

Схватить его! Крепче!
Любить и любить его лишь!
. . . . . .
Рвануть его! Выше!
Держать! Не отдать его лишь!..

Может быть, только преданность «подруги последней» могла бы удержать его на земле? А если не удержать – то облегчить его предсмертные муки? Но и после смерти Поэта она остается Матерью Сына... Преступив всякую меру, Цветаева славит

«последнюю подругу» Блока и ее сына как Богородицу и Сына Божьего.

Кем же был для Цветаевой Блок? Ни к кому другому не относилась она так отрешенно-высоко. В ее восприятии любой поэт, вне зависимости от ее личного притяжения или отталкивания, вне зависимости от эпохи, когда он жил, был еще и человеком во плоти – с характером, страстями, радостями, ошибками. Даже тот, кого она назвала Пленным Духом, – Андрей Белый – живет в ее воспоминаниях человеком: «старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с фокусником», в одиночестве своего многолюдного окружения, непонятый и непонятный. Кажется, что Цветаева близко знала каждого настоящего поэта. Читая у нее о Пушкине или Гёте, чувствуешь, что она могла быть, была рядом с ними («Встреча с Пушкиным» называется ее юношеское стихотворение), беседовала, прогуливалась по Москве или Веймару. Она понимала их изнутри, там, где создаются стихи. К любому из собратьев по «струнному рукомеслу» она могла подойти, познакомиться, с любым нашла бы общие темы разговора. И вот она стоит на вечере Блока «с ним рядом, в толпе, плечо с плечом» – и не протягивает руки, чтобы передать ему свои стихи. Передает в первый раз через Веру Звягинцеву, второй – через Алю. Почему? Только Блок проходит по ее стихам бесплотной тенью, не человеком, а существом, обожествляемым, вдохновляющим на молитвы. Он – вне круга, даже круга поэтов.

В литературно-теоретических работах Цветаевой почти нет ни ссылок на Блока, ни анализа его стихов. Показательно, что доклад о Блоке, прочитанный в 1935 году в Париже (текст его, к сожалению, не сохранился), Цветаева назвала «Моя встреча с Блоком» – хотя в земном, житейском смысле никакой встречи не было. Их встреча в ином измерении, не физическом. Лишь однажды, в статье «Поэты с историей и поэты без истории», говоря о «чистых лириках», Цветаева более подробно рассматривает «случай» Блока. Как видно из названия, Цветаева делит поэтов на два типа. Суммируя ее рассуждения, можно сказать, что для нее поэты с историей – движущиеся, развивающиеся, открывающие *себя в мире.* Поэты без истории – чистые лирики – не движутся, не развиваются, они открывают *мир в себе.* С удивлением Цветаева обнаруживает, что Блок единственный не подпадает под эту классификацию. В ее представлении он – чистый лирик, однако у него были «и развитие, и история, и путь». Но развитие, утверждает Цветаева, «предполагает гармонию. Может ли быть развитие – катастрофическим?» – спрашивает она, имея в виду Блока. Путь

Блока – внутри самого себя, «бегство по кругу от самого себя», путь, который никуда не ведет. Блок кончил тем же, с чего начал: «Не забудем, что последнее слово „Двенадцати“ – Христос, – одно из первых слов Блока», – пишет Цветаева. И – формулируя особенность этого «чистого лирика», его особость: «Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался, а разрывался». Обратим внимание на последнее слово, оно многое открывает.

Я не стану полемизировать с Цветаевой, хотя думаю, что ее теоретические построения о двух типах поэтов можно подвергнуть критике и опровергнуть. Эта книга – не место для теоретических споров. Но, к слову, нужно отметить важную особенность цветаевской литературно-философской и критической прозы. Логика ее мысли так сильна и динамична, она нагнетает доказательства с такой стремительностью, что не дает читателю опомниться. То ли подавив его своей убежденностью, то ли загипнотизировав погружением в семантическую игру словами, она ведет его за собой, на все время чтения заставляя поверить в ее концепции. Только кончив читать, выйдя из-под ее магии, читатель сможет подумать о правильности утверждений Цветаевой и решиться возражать ей. Восторг, прославление – часто непомерно гиперболизированные – постоянные явления лирики Цветаевой. Но обожествление, с каким она обращается к Блоку, – уникально. Я пыталась отыскать источник его, понять, какую идею олицетворяет Блок для Цветаевой. Это неожиданно открылось в детском письме Али Эфрон. В разгар работы Цветаевой над посмертными стихами к Блоку, 8 ноября 1921 года Аля писала Е. О. Волошиной: «Мы с Мариной читаем мифологию... А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий...»[98] Так вот кем был для Цветаевой Блок: современным Орфеем, воплощением идеи Певца, Поэта. Ведь и Орфей не был человеком, а существом из мифа, сыном бога и музы, хотя и смертным. Вот к чему относились – может быть, подсознательно? – давным-давно, в шестнадцатом году написанные строки:

Думали – человек!
И умереть заставили...

А теперь, в двадцать первом, параллельно стихам о кончине Блока, возникли стихи о гибели Орфея. Поначалу стихи об Орфее были без названия: образы обоих певцов сливались в сознании Цветаевой. Только для сборника, который она готовила в Москве в сороковом году, она озаглавила его – «Орфей»:

Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
И лира уверяла: мира!
А губы повторяли: жаль!

Крово-серебряный, серебро-
Кровавый след двойной лия,
Вдоль обмирающего Гебра —
Брат нежный мой! сестра моя!

Цветаева отвечает на вопрос, заданный несколькими днями раньше в «блоковском» стихотворении «Как сонный, как пьяный...»:

Не ты ли
Ее шелестящей хламиды
Не вынес —
Обратным ущельем Аида?

Не эта ль,
Серебряным звоном полна,
Вдоль сонного Гебра
Плыла голова?

Не ты ли, Блок, в незапамятные времена был Орфеем? Да, это его голова вечно плывет по Гебру... Да, это он, Блок-Орфей, пытался вывести возлюбленную из царства мертвых, его голос рассекал кромешную тьму ада:

Как слабый луч сквозь черный морок адов —
Так голос твой...

Образный строй «Орфея» и «Стихов к Блоку» идентичен. «Орфей» мог быть включен в блоковский цикл, так естественно вплетается он в венок памяти Поэта. Но ни в «Орфее», ни в «Стихах к Блоку» нет лаврового венка, а есть мученический венец. В «Стихах к Блоку» он назван прямо:

Не лавром – а терном
Чепца острозубая тень...

(«Без зова, без слова...»)

Цепок, цепок венец из терний!..

(«Не проломанное ребро...»)

В «Орфее» – мерещится в убегающих речных волнах:

Вдаль-зыблющимся изголовьем
Сдвигаемые как венцом —
Не лира ль истекает кровью?
Не волосы ли – серебром?..

Что до Эвридики, то однажды Цветаева сказала, что в обороте головы Орфея, когда, выводя Эвридику из царства мертвых, он нарушил условие бога Аида и обернулся, чтобы взглянуть на шедшую сзади Эвридику, – вина Эвридики. Будь она, Цветаева, на месте Эвридики, она сумела бы внушить Орфею не оглядываться. Тем самым были бы спасены и Эвридика, и Орфей. Не так ли надо понимать и слова Цветаевой о ее невстрече с Блоком: «встретились бы – не умер»? В стихотворении «Без слова, без зова...» и в цикле «Подруга» она воспевает идеальную Эвридику, сумевшую бы удержать Орфея от гибели. Реальная Н. А. Нолле – лишь повод для воплощения цветаевского понятия подруги-возлюбленной Поэта. Но идея Цветаевой разрастается в мифологическую бесконечность: Орфей возвращается на землю. В наш век он вернулся в облике Александра Блока – и это тоже еще не конец.

А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?

Блоковская колыбель – могила и одновременно колыбель его новорожденного сына. В «Вифлееме» Цветаева славит не столь Сашу – сына Н. А. Нолле, сколько наследника Певца, будущее воплощение Орфея-Блока...

Необходимо еще раз подчеркнуть: Блок – по Цветаевой – Орфей современный. Орфей без орфеевской гармонии, но с современным гипертрофированным чувством катастрофы в душе. И если Орфея в конце пути разорвали вакханки, то Блок всю жизнь сам разрывался. И в конце концов – разорвался... «Удивительно не то, что он умер, – писала Цветаева Ахматовой, –

а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья... Ничего не оборвалось, – отделилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой воочию – дух, что удивительно, как жизнь вообще – допустила?»

* * *

В одной из записей Цветаева, говоря о коммунистах, призналась: «не их я ненавижу, а коммунизм». И в скобках: «Вот уж два года, как со всех сторон слышу: „Коммунизм прекрасен, коммунисты – ужасны!“». Снова она противостоит большинству, но разве это бравада или эпатаж? Она отвергала коммунизм как идею. Людей – в том числе и коммунистов – она оценивала каждого в отдельности. В годы Гражданской войны главным ее чувством по отношению к людям была жалость.

Она сама нуждалась в жалости и участии. Жизнь принимала все более фантастические очертания, и дом Цветаевой рухнул одним из первых. Как позже определила ее старшая дочь, их дом настиг «кораблекрушительный беспорядок»: комнаты потеряли жилой вид, вещи – свой смысл и назначение. Первые постепенно переходили к чужим людям, вторые – на Сухаревку. Из большой и уютной двухэтажной квартиры в распоряжении Цветаевой остались ее маленькая комната, кухня, детская и наверху – бывшая Сережина, за это особенно любимая, называвшаяся «чердак»:

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите. Гора рукописных бумаг...
Так. – Руку! – Держитесь направо, —
Здесь лужа от крыши дырявой...

Князь Сергей Михайлович Волконский, внук декабриста и женщины, некогда воспетой Пушкиным, писатель, театральный деятель, бывший директор Императорских театров, посвящая Цветаевой свою книгу «Быт и Бытие», вспоминал о ее тогдашней жизни: «В Борисоглебском переулке, в нетопленом доме, иногда без света, в голой квартире; за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками, – белые лебеди и Георгий Победоносец, – прообразы освобождения... Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева». Звонок не работал, входная дверь не запиралась – всякий мог войти в эту

квартиру так же беспрепятственно, как тьма и холод. «Грабитель входит без ключа», – сказано в стихотворении Цветаевой – и это не поэтическая фантазия. Действительно, к ней однажды вошел грабитель. Вошел – «и ужаснулся перед бедностью». Волконский писал: «Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег. Пришел, чтобы *взять,* а перед уходом захотел *дать.* Его приход был *быт,* его уход был *бытие»*[99]. По этому эпизоду можно представить, в какой бедности и разрухе жила Цветаева с детьми.

Внешне она сильно изменилась. Пропал ее замечательный румянец, от которого она так страдала в юности, появились землисто-смуглый цвет лица и первые морщины; юношеская стройность соединилась с худобой. От прежней Марины оставались ее золотистые волосы, зеленые глаза и летящая походка. «Пшеничная голова, которую Марина постоянно мыла, приходя к нам, в ванной... Волосы были очень красивые, пышные. Одутловатое бледное лицо, потому что на голой мерзлой картошке в основном; глаза зеленые, „соленые крестьянские глаза“, как она писала, – так вспоминала Цветаеву девятнадцатого-двадцатого года Вера Звягинцева. – ...Всегда перетянутая поясом, за что я ее прозвала „джигит“. Она носила корсет для ощущения крепости...»[100] Одета Цветаева была соответственно своей бедности, своему пренебрежению какой бы то ни было модой и своему пониманию чувства долга. Ради последнего она подпоясывалась «не офицерским даже, – как она сама пишет, – а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка... снять которую сочла бы изменой». Зимой обувалась в валенки, в другое время года в башмаки, часто без шнурков. Платья донашивались старые или перешивались из портьер, бывших пальто – из чего придется, а потому выглядели, по словам Звягинцевой, «несусветными». Теперь Цветаевой и в голову не пришло бы нарядиться в одно из своих прежних «необыкновенных, восхитительных» платьев. Их время для нее миновало, и два из них, уцелевшие от Сухаревки, перешли к Сонечке Голлидэй вместе с замечательным коралловым ожерельем. Цветаевой не было еще и тридцати, а она уже навсегда прощалась с молодостью:

Неспроста руки твоей касаюсь,
Как с любовником с тобой прощаюсь.
Вырванная из грудных глубин —
Молодость моя! – иди к другим!

Это думалось и писалось без особого сожаления, но и без иронии. Она понимала, что и сама жизнь, и поэзия ее переходят в новое качество.

Цветаева и вслед за ней Аля называли свое жилище трущобой. Вероятно, более или менее случайными посетителями «трущобы» их бравада принималась за истинное ощущение хозяек, а кораблекрушение за «поэтический беспорядок». И Цветаева старалась игнорировать эту сторону жизни. Она была мужественна и выносliва, и жизнь души представлялась ей важнее хлеба насущного. И все же временами она не могла не приходить в отчаяние от холода, отсутствия воды и света, от невозможности прокормить детей. Ее нисколько не унижало, что она пользуется доброхотными даяниями – ей помогали две многодетные соседки и деревенская молочница Дуня, которым невмоготу было смотреть на голод и неухоженность цветаевских дочерей. Она и сама постоянно кого-нибудь опекала: кто-то жил в ее «трущобе», кому-то она раздавала свои вещи, с кем-то делилась последней тарелкой супа, картофелиной или табаком. Природная гордость и чувство достоинства не позволяли ей относиться к своему положению иначе, чем с веселым презрением. И окружающие принимали это за чистую монету, за относительное благополучие – так им было легче. Цветаева записала в девятнадцатом году: «Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, – даже голода моих детей.

– Ну как у Вас, все есть?

– Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

– Просто матерью».

И чуть дальше – обращение к «друзьям»: «Жестокосердые мои друзья! если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба...

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми.

Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду». Последнее, по-видимому, чистая правда. У Цветаевой было свое отношение к понятиям добра и зла, к тому, что допустимо и что нет. Для нее было невозможным просить, дать почувствовать всю бездну своей нищеты и отчаяния. Это было безнравственно, потому что ставило того, кого просишь, в невыносимое положение дающего; она считала, что в такое время богатство и сытость должны угнетать тех, у кого они есть. Гораздо легче было взять – и для нее самой, и для того, у кого берешь. Это Цветаева

не считала безнравственным. Взять – никого не обязывало к благодарности. В записанном мною со слов В. К. Звягинцевой рассказе есть фраза: «ей свойственно было схватить и книжку и что другое». Признаюсь, я сознательно пропустила это мимо ушей, мне показалось стыдным уточнить, что стоит за словами «свойственно схватить». Впрочем, в «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой именно об этом времени сказано глухо: «Смутен слух (но он при Маринином презрении к законности, может, и явь), что ею была продана к ней на время поставленная мебель» знакомых брата Андрея[101]. Сохранился в памяти друзей устный рассказ М. И. Гриневой-Кузнецовой – характерно, что в своих воспоминаниях она даже не намекает на эту историю – о каких-то больших по тем временам деньгах, взятых у нее Цветаевой. Кажется, на эти деньги Цветаева купила для них обеих что-то абсолютно ненужное... Интересна в этом плане запомнившаяся Звягинцевой запись из дневника Али: «Главные пороки моего детства – это ложь и воровство»...

Цветаева казалась спокойной, веселой и уверенной в себе. Быть может, только Аля видела и знала истинное состояние матери. В «Страницах воспоминаний» А. Эфрон приводит свою детскую запись от марта двадцать первого года о походе в Лавку писателей для продажи книг. Книжная лавка была одним из источников существования: Цветаева продавала через нее книги из своей библиотеки и – как многие другие писатели – рукописные сборники своих стихов. Это называлось «преодолевать Гуттенберга», некоторые из этих тетрадочек Цветаевой сохранились.

Обилие книжной торговли в то разрушительное время было достопримечательностью Москвы. Об этом с недоумением и восхищением писал в берлинском журнале «Новая русская книга» американский журналист Ю. Ф. Геккер: «Да, в Москве имеются книжные лавки и с каждым днем число их увеличивается. Идешь, это, по Моховой, душа радуется. По всей улице торгуют книгами, и чуть не в каждом доме книжная лавка. Много также лавок на бывшей Большой Никитской (теперь улице Герцена), на Тверской, на Мясницкой да вообще по всем главным улицам столицы... Интересен книжный товар московских лавок, но не менее интересны сами торговцы. В большинстве это сами писатели...

В «Лавке писателей» бойко торгуют Н. А. Бердяев, М. Осоргин, Б. Зайцев, А. Яковлев, А. Дживелегов и Б. Грифцов, все имена, небезызвестные в литературном мире. Нужда их заставила вылезти из кабинетного затворничества, заставила их заняться практическим делом, и ведут они свои дела не плохо, обороты

делают в миллионах рублей (конечно, советских)»[102].

Вот сюда и ходила Цветаева с дочерью, обе нагруженные книгами. «Подходим к Лавке писателей. Марина крестится, хотя церкви никакой нет.

– Что Вы, Марина... – Аля, как ты думаешь, не слишком ли много я писателям книг тащу?– Нет, что Вы! Чем больше, тем лучше. – Ты думаешь? – Не думаю, а уверена! – Аля, я боюсь, что у меня из милости берут! – Марина! Они люди честные и всегда правду скажут. А если берут пока, то это от самого сердца.

Марина воодушевляется, но не без некоторого страха входит. Она здоровается с галантностью и равнодушием...»

«Галантность», «равнодушие» предназначались посторонним. Страх, неуверенность, временами отчаяние приоткрывались только Але. Она стала утешителем и утешением («Консуэла! – Утешенье!..»), «домашним гением» Цветаевой. Она помогала по дому: мыла посуду, разогревала еду, выносила помойку. Помогала, как могла, может быть, и без энтузиазма, и медлительно, вызывая этим, по словам А. И. Цветаевой, раздражение и осуждение матери. Но ведь она была ребенком – и уже без детства. Зато с Алей можно было дружить, это была для Марины поистине родная душа. В какой-то мере она заменила ей отсутствующего—а может, уже погибшего? – Сережу. Она напоминала его внешне, она, как и он, безоговорочно любила и принимала Марину, вдвоем они молились за него и мечтали о встрече. Аля знала многие Маринины стихи наизусть, сама сочиняла, они посвящали стихи друг другу. Например, Алино стихотворение «Ваша комната»:

Пахнет Родиной и Розой,
Вечным дымом и стихами.
Из тумана сероглазый гений
Грустно в комнату глядит...

К третьей строке Цветаева сделала примечание: портрет отца. Двадцать Алиных стихотворений она напечатала последним разделом в своем сборнике «Психея», озаглавив «Стихи моей дочери». Одно Алино стихотворение Цветаева включила в «Четверостишия» как собственное. Оно интересно недетской иронией:

Не стыдись, страна Россия!
Ангелы – всегда босые...
Сапоги сам чорт унес.
Нынче страшен – кто не бос!

Аля была умна, талантлива, необыкновенна. К тому же она была красива. Ею можно было гордиться.

Смерть Ирины

Ирина оказалась для матери скорее обузой, чем радостью. По-видимому, она родилась не совсем здоровым ребенком. А постоянное недоедание, холод, отсутствие надлежащего ухода не способствовали сколько-нибудь правильному развитию. Ирина росла болезненной, слабой, едва ходила и почти не умела говорить. В нее невозможно было ничего «вкачать», с нею не было интересно, как с Алей, а потом с Муром, ею нельзя было хвастаться. В воспоминаниях людей, встречавшихся тогда с Цветаевой, имя Ирины почти не упоминается. М. И. Гринева-Кузнецова, много рассказывая об Але, Ирине уделила пять строк: «Я заглядываю в первую (три шага от входа) комнату: там кроватка, в которой в полном одиночестве раскачивается младшая дочь Марины – двухлетняя Ирочка. Раскачивается – и напевает: без каких-нибудь слов – только голосом, но удивительно осмысленно и мелодично». Примечание М. И. Гриневой: «От рождения слабая и болезненная, Ирина Эфрон зимой 1920 года умерла от голода». И всё. Вера Клавдиевна Звягинцева, подружившаяся с Цветаевой летом 1919 года, часто с ней встречавшаяся, об Ирине услышала, когда однажды осталась ночевать в Борисоглебском: «Всю ночь болтали, Марина читала стихи... Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками, и из тряпок болталась голова – туда-сюда. Это была младшая дочь Ирина, о существовании которой я до сих пор не знала. Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла»[103]. Звягинцева тоже помнила об изумительном голоске Ирины.

Цветаева была трудной матерью – не только Ирине, но всем троим своим детям. Или поэтический дар, внутренняя одержимость не оставляют места для терпеливого спокойствия и уравновешенности, так необходимых в повседневном общении с детьми? Она мешала им то стремлением создать, даже пересоздать ребенка по-своему, как Алю, то равнодушием, как к Ирине, то исступленной любовью, как к Муру. Не случись революции, имей она возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Цветаева не смогла быть «просто матерью». Анастасия Цветаева вспоминала, как, вернувшись весной 1921 года в Москву после четырехлетнего отсутствия, она ужаснулась тому запустению, беспорядку и грязи, которыми зарос дом сестры. Воспользовавшись ее отсутствием,

она начала приводить все в порядок; мыть, чистить, гладить... И вместо благодарности услышала от вернувшейся домой Марины: «Мне это *совершенно* не нужно!.. *Не трать своих сил!»* Ей показалось, что сестра восприняла ее желание помочь как обиду. И сама она была обижена: «один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких?»[104] Разница была в том, что Марина была поэтом. Вмещая весь мир, ее душа не могла вместить еще и быта: подметания полов, мытья посуды, глаженья. Она делала все это – но лишь в пределах самой неизбежной необходимости. Так было и с детьми: там, где дело касалось души, Цветаева готова была давать и «вкачивать», но в быту ее возможности были ниже возможностей самой средней матери. А Ирина, как каждый больной, особенно больной ребенок, требовала забот, внимания, привязывала к дому. С Алей можно было бывать всюду: в Студии, в гостях, на литературных вечерах – но так ли необходимо это семи – девятилетнему ребенку?.. Уходя, Марина и Аля часто привязывали Ирину к креслу, чтобы не упала. Вероятно, Цветаева любила и жалела свою младшую девочку, но временами Ирина раздражала мать и сестру, была им в тягость. Возможно, и это сыграло роль в том, что близкие начали уговаривать Цветаеву отдать дочерей в приют – на время, конечно. Главный резон был, что там топят и кормят; приют в Кунцеве считался образцовым и снабжался американскими продуктами АРА. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919/20 года, и было очевидно, что Цветаева не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это яснее других и в середине ноября отдала их в Кунцево. Она очень тосковала – по Але. Читая написанное тогда стихотворение, не догадаешься, что у Цветаевой двое детей:

Маленький домашний дух,
Мой домашний гений!
Вот она, разлука двух
Сродных вдохновений!

Жалко мне, когда в печи
Жар, – а ты не видишь!
В дверь – звезда в моей ночи! —
Не взойдешь, не выйдешь!

Логически объяснить это можно: Аля изливала на мать огромную энергию любви, поддерживавшую, помогавшую жить. Но понять и принять равнодушие Цветаевой к другому –

больному – ребенку трудно.

В те времена Кунцево – неближний край, далекий загород. Транспорта не было, навещать детей приходилось редко. Когда примерно через месяц Цветаева приехала проведать дочерей, она застала Алю тяжелобольной, чуть ли не при смерти. Она схватила ее, на каких-то попутных санях довезла до дому и начала бороться за ее жизнь. Болезнь тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой колебались между десятыми долями градуса. Стихи не приходили, эта немота угнетала. Ходасевич сказал ей, что в ЛИТО – советские учреждения с такими странно-звучащими названиями стали появляться десятками, это означало: Литературный отдел – можно продать рукопись книги. И хотя во главе ЛИТО стоял Валерий Брюсов, давний недоброжелатель, и было мало надежды, что он захочет издать ее книгу, Цветаева решилась попробовать. Она не издавалась больше шести лет и стала собирать стихи тринадцатого – пятнадцатого годов. Естественно возникло название нового сборника – «Юношеские стихи». Цветаеву захватила работа. Воспоминания о том неправдоподобно-счастливом времени, о людях, к которым она влеклась, от которых отталкивалась, которые вошли в ее стихи, захлестнули ее и помогали держаться. Повседневность отодвигалась, работа отгораживала от мыслей о бродящей поблизости смерти.

Было страшно за Алю, страшно думать об Ирине. Среди близких шли разговоры, что надо забрать ее из приюта – но как и куда? Кто будет ухаживать за двумя больными детьми? В комнате Цветаевой по утрам было всего 4—5 градусов тепла по Цельсию, хотя она топила даже по ночам. Можно ли держать детей в таком холоде? Есть свидетельства, что сестры С. Я. Эфрона хотели забрать Ирину к себе с условием – навсегда. На это Цветаева не соглашалась, были какие-то трения между нею и сестрами мужа. Теперь уже трудно рассудить, кто был более прав, – да и стоит ли? Лиля Эфрон собиралась взять Ирину в деревню, где она работала в Народном доме. Но разве могла бы она, сама совершенно беспомощная, справиться с больным ребенком?

Между тем время шло, подошел новый 1920 год, который Цветаева встретила вдвоем с А. С. Ерофеевым – мужем своей приятельницы, актрисы и поэтессы Веры Звягинцевой. Звягинцева ушла на встречу в свой театр, а мужа оставила с подругой и бутылочкой вина – в их кругу это было вполне принято. Как всегда под Новый год хотелось думать о хорошем и желать друг другу «нового счастья». Через три дня Цветаева подарила Ерофееву стихотворение, посвященное их новогодней встрече:

Поцеловала в голову,
Не догадалась – в губы!
А все ж – по старой памяти —
Ты хороша, Любовь!

Немножко бы веселого
Вина, – да скинуть шубу, —
О как – по старой памяти —
Ты б загудела, кровь!

Можно представить себе молодых мужчину и женщину, встречающих Новый год в таком холодном доме, что не решаешься снять шубу, и весело иронизирующих над этим. В следующих строфах Цветаева рисует Венеру с топором в руках, «громящую» подвал на дрова, и Амура, который «свои два крылышка на валенки сменял». Она просит Амура, чтобы он не покидал ее навсегда – ведь «чумной да ледяной ад» пройдет и жизнь будет продолжаться!

Прелестное создание!
Сплети ко мне веревочку,
Да сядь – по старой памяти —
К девчонке на кровать.

– До дальнего свидания! —
Доколь опять научимся
Получше, чем в головочку
Мальчишек целовать.

Легкость и грациозность этих стихов не соответствует ситуации, в которой живет Цветаева, но она может отрешиться от реальности и уйти в стихи. «Мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям», – определяла она. По стихам может показаться, что девятнадцатый год и впрямь ушел. Но «самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы» еще тянулся и кончился трагически: 2 или 3 февраля (в двух местах Цветаева указала разные даты) 1920 года умерла Ирина.

Цветаева неожиданно услышала об этом в Лиге спасения детей, и у нее не хватило душевных сил поехать проститься с умершей дочерью. Временами она страшилась возможности такого исхода, но все равно была оглушена и раздавлена и долго скрывала от Али смерть сестры. Цветаева понимала, что окружающие осуждают и винят ее. Отголоски этого я нашла в

переписке Юлии Оболенской с Магдой Нахман, которая сообщала: «Умерла в приюте Сережина дочь – Ирина, слышала ты?.. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка – за два года земной жизни ничего, кроме голода, холода и побоев». Страшно читать о побоях, но нет оснований обвинить Нахман в предвзятости. Из семьи, близкой в то время цветаевской, дошли до наших дней слухи, что Аля относилась к Ирине пренебрежительно. И не отзвуком ли этого звучат в Алиной записи слова: «Марина маленьких детей не любит»? Каких, кроме Ирины, маленьких детей видела Аля с Мариной? Среди знакомых не было секретом отношение Цветаевой к младшей дочери. Н. Я. Мандельштам говорила мне, как были потрясены они с Мандельштамом, когда Цветаева показала им, каким образом она привязывала Ирину «к ножке кровати в темной комнате». Оболенская откликнулась на письмо Нахман: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше. Но думая о Сереже, я так понимаю Лилю. Но она совсем не виновата»[105]. Имя матери даже не упоминается в связи со смертью ребенка. В этом нарочитом умолчании («умерла *Сережина* дочь»), в жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в сдержанности тона – жестокое осуждение Цветаевой. Она и сама винила себя в смерти дочери, теперь ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно...» Это признание – из писем к Звягинцевой и Ерофееву. Цветаева знала, что эти новые друзья ей глубоко сочувствуют. В первые дни после Ирининой смерти она написала им два письма – вопли о помощи, о жалости, о сострадании. Первое, что в них потрясает: над свежей детской могилой у матери почти нет памяти об Ирине и жалости к ней и о ней. Во сне Ирина приходит к ней живая, Цветаева внутренне не приняла ее смерть, это тем легче, что она не видела Ирину мертвой. Она радуется, что Ирина – во сне – жива. Но живых воспоминаний о дочке: какая она была хорошая, как делала то-то и говорила то-то, как радовалась или плакала – нет. Панический страх за Алю и жалость к себе – вот чувства, кричащие со страниц этих писем: «И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в

ее болезнь – и вот Бог наказал...» – как будто Ирины и тогда не было. «С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто – просто – не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело... – Никто не думает о том, что я ведь *тоже человек...»*

Самой тяжелой была мысль о Сереже, о том, как отнесется он к смерти Ирины, будет ли, как другие, винить ее, Марину, в этой смерти. Это переплеталось со страхом неизвестности о нем, о возможной его гибели и приводило к мысли о смерти: «самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я – без Ирины – вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, – достойнее! – Мне стыдно, что я жива. – Как я ему скажу?» Что можно было ответить на такие письма? Звягинцева и Ерофеев заходили к ней, приносили что-нибудь поесть, Александр Сергеевич пилил на дрова чердачные балки; они часто приглашали Марину с Алей к себе. От полного отчаянья удерживала Цветаеву Аля, ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Всю жизнь она нуждалась в ком-то, кому была бы необходима, – сейчас это была Аля.

Весь этот сложнейший комплекс переживаний не нашел непосредственного отражения в поэзии Цветаевой. Почти полная немота ее продолжалась, но и после того, как она кончилась, Цветаева не писала о смерти Ирины. Я думаю, отзвук Ирининой смерти слышен в цикле «Разлука», созданном через полтора года:

Ручонки, ручонки!
Напрасно зовете:
Меж нами – струистая лестница Леты.

Только однажды, три месяца спустя, Цветаева написала о смерти Ирины – чтобы самооправдаться. Это было необходимо, иначе трудно жить и ждать возвращения мужа. Она создает в стихах версию правдивую, из реальности скрывшую лишь одну деталь – ее равнодушие к Ирине. Этой версии впоследствии придерживалась и Ариадна Эфрон.

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были – по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими – зажатыми —
Яростными – как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки – ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки – и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая – на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

К теме выбора матерью между двумя дочерьми (здесь они названы Мусей и Асей) Цветаева вернулась в 1934 году в прозе «Сказка матери»: матери предложено выбрать, какой из дочерей жить, а какой умереть, она же предпочитает погибнуть вместе с детьми, но не выбирать. Как большинство сказок, и эта кончается счастливо: пораженный твердостью матери убийца-разбойник отступает, а героини остаются целы и невредимы…

Прошло немного времени, и Цветаева нашла для себя виноватых в смерти Ирины – сестер мужа. Она писала сестре Асе в Крым: «В феврале этого года умерла Ирина – от голоду – в приюте, за Москвой… Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, – вообще все отступились… Если найдется след Сережи – пиши, что от воспаления легких». Почему Цветаева не хотела, чтобы муж знал правду? Щадила его или предполагала, что он не поверит, что его сестры были жестоки по отношению к его дочери? Еще через несколько месяцев она более подробно сообщала Волошиным: «Лиля и Вера в Москве, служат, здоровы, я с ними давно разошлась из-за их нечеловеческого отношения к детям, – дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне. Это – достоверность». Но «достоверность» противоречит письмам к Звягинцевой и Ерофееву, где в первом порыве отчаянья и растерянности Цветаева писала, что Вера Эфрон, еще не зная о смерти Ирины, хочет забрать ее из приюта и что кормить Алю ей помогли бы родные мужа. Она приняла, может быть, бессознательно, оправдательную для себя версию, нимало не задумавшись о добром имени сестер Эфрон. И Сережа поверил; прошло несколько лет, прежде чем он узнал правду и восстановил отношения с сестрами.

Смерть ребенка произвела гнетущее впечатление в писательском кругу и заставила обратить внимание на положение Цветаевой. После гибели Ирины Цветаевой выхлопотали паек. Помощь пришла поздно для Ирины, но помогла спасти Алю.

Теперь Цветаева ее не кормила, а пичкала.

* * *

Мысли и чувства Цветаевой обращались к мужу – чем дальше, тем больше. Надежда на неосуществившийся в 1917 году переезд в Крым не оставляла ее, ей казалось, что там она будет ближе к Сергею Яковлевичу. Еще и летом девятнадцатого года в предчувствии страшной зимы она думала об отъезде, но не уехала. Как бы она смогла проехать с детьми через страну, охваченную Гражданской войной? Позже, когда след Эфрона окончательно затерялся, Цветаева отказалась от идеи отъезда из Москвы, полагая, что только здесь, если он жив, муж сможет найти ее.

Дети были частью Сережи, смерть Ирины и страх за Алю обостряли ощущение неразрывной связи с ним, ответственности перед ним. Теряя детей, она боялась потерять право на мужа. Для Цветаевой было несомненно, что без Сережи и Али жизнь бессмысленна. «Я опять примеряюсь к смерти, – пишет она Звягинцевой, сообщая об ухудшении в ходе Алиной болезни. – ...Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить». Смятением между жизнью и смертью пронизаны ее стихи о Гражданской войне. Они возникали в общем потоке одновременно со стихами и пьесами «театрального романа», романтикой вторых «Верст» и «Психеи», первой «русской» поэмой Цветаевой «Царь-Девица».

Некоторое количество «белых» стихов Цветаевой было напечатано в различных альманахах и сборниках, она часто выступала с ними на литературных вечерах в самой разнообразной аудитории, не раз ее слушателями бывали красные курсанты. Ей нужен был заработок, молодежь жаждала поэзии. Белогвардейские стихи перед красногвардейцами – она воспринимала это как исполнение ею, женой белого офицера, долга чести. Ее выступления проходили с неизменным успехом. Позже Цветаева утверждала, что «современность (в русском случае – революционность) вещи не только в содержании, но иногда вопреки содержанию... Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание». Именно этим объясняла она успех своих «белых» стихов у красных курсантов. Ее стихи передавали «шум времени», его темп и музыку: «...не о революции, а *она:* ее шаг». Это близко тому, что писал в начале Первой мировой войны В. Маяковский: «Можно не писать *о* войне, но *надо* писать *войною!*»[106] Само звучание Цветаевского стиха было поэтической

революцией. И каждый был волен воспринять его по-своему: красные – как музыку революции, белые – контрреволюции.

В «Лебединый Стан»[107] вошли стихи с весны 1917-го по 31 декабря 1920 года; современность запечатлена здесь с исторической точностью. Читая «Лебединый Стан», вы чувствуете ясно обозначенный сюжет, логику и динамику его развития.

Открывается сборник вне хронологии стихотворением «На кортике своем – Марина...» – декларацией верности мужу и Белому делу. Потом идут как бы сторонние наблюдения: зарисовки живой реальности, реакция на сообщения газет, кусочки собственной жизни, чувства и мысли по поводу происходящего. Возникает тема поруганной Москвы; затем – Белой Гвардии, Белого Дона – увы, с первого же стихотворения с мотивом праведности, но безнадежности... И – тема Поэта, его места в революции. Цветаева обращается к образу поэта Французской революции Андре Шенье, стихами боровшегося против якобинской диктатуры и погибшего под ножом гильотины. Естественно возникает противопоставление – «а я...»:

Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу – и это страшный грех.
Есть времена – железные – для всех.
И не певец, кто в порохе – поет.

И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце – смертный грех.
Не человек – кто в наши дни – живет.

Сюжет сборника строится со все возрастающим драматизмом. Взгляд «со стороны» исчезает, события захлестывают поэта, Цветаева уже соучастница всего, что происходит с родиной. Постепенно Добровольчество персонифицируется, становится белым лебедем, «моим» белым лебедем: «Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь...» Ангел, Воин, Сережа – любимый – тоска по нему, страх за него сплетаются с тоской и страхом за Россию, за Белое дело. Это и история, и любовное письмо, которое пишется, чтобы когда-нибудь, неведомыми путями достигнуть ушей, глаз, сердца любимого. С каждым уходящим месяцем это становится все менее вероятным. В записях Цветаевой рассказывается, как они с Алей бегают вниз к входной двери на каждый реальный или кажущийся стук – в безнадежном ожидании какой-нибудь весточки. «Лебединый Стан» все больше превращается в письмо в бутылке. В страшные «немые» дни

февраля двадцатого года рождается стихотворение «Я эту книгу поручаю ветру…» – кульминация сборника. В нем голос Цветаевой достигает трагического звучания:

Я эту книгу поручаю ветру
И встречным журавлям.
Давным-давно – перекричать разлуку —
Я голос сорвала…

Как героини греческих трагедий обращались в пространство – к богам – к хору, так и Цветаева обращается в пространство – к природе – к ветру и птицам… Роль Рока из греческой трагедии выпала на долю Разлуки, роковой и непреодолимой. Разлука – разрыв – разминовение – эта тема пронзит последующее творчество Цветаевой. Сейчас она оборачивается не только личной трагедией, но выражает трагедию России. Я говорила, что у Цветаевой не было историософских взглядов, однако в «Лебедином Стане» ясно слышна тема разминовения России со своей историей. Цветаева обвиняет Петра Первого – конечно, она не первая, грозящее «ужó тебе!» русская литература помнит со времен «Медного всадника». Но в цветаевских стихах «Петру» смысл обвинений другой, нежели был у Пушкина. Петр виноват в том, что повернул Россию по чужому пути, дал ей чужую судьбу – теперь это оборачивается гибелью России. Весь комплекс исторических ассоциаций в «Лебедином Стане» разворачивается в роковой, необратимый процесс, на наших глазах завершившийся гибелью:

– Россия! – Мученица! – С миром – спи!

Особое место занимает Ярославна – героиня «Слова о полку Игореве», вот уже восемь веков причитающая на городской стене Путивля. Лирическое «я» «Лебединого Стана» трансформируется: не Марина Цветаева скорбит и томится неизвестностью о муже, но Ярославна оплакивает Русь и русское воинство. И вот уже это – сама Россия, скорбящая о своих сыновьях. Лирическое «я» вновь является поэтом: в отличие от Ярославны Цветаева хочет не только оплакать Русь и всех погибших, но и стать летописцем этой трагедии. Вместо женственной кукушки, как называет Ярославну автор «Слова», лирическая героиня Цветаевой предстает журавлем («Я журавлем…»), летящим над полями сражений, чтобы собрать и запомнить все подробности…

Но и оплакать всех она считает своим долгом. Если в первые

годы революции Цветаева была с теми, кто в данный момент побежден, против торжествующего победителя, то постепенно в стихах крепло убеждение, что в Гражданской войне победителей не будет. Поэт оплакивает всех – правых и виноватых – всех, погибших в братоубийственной войне. Трагическая панихида облечена в форму традиционной русской заплачки-причитания:

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле – Русь.
Помогите – на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
– Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева – и в чрево:
– Мама!

Все рядком лежат —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила.

– Кто ты? – белый? – не пойму! – привстань!
Аль у красных пропадал? – Ря—зань...

Не только перед лицом смерти, но и перед лицом России все погибшие равны и правы, ибо каждый умер за нее, за ее счастье, по-своему понятое. Но кончить книгу причитанием было бы для Цветаевой противоестественно. В трагической ситуации она искала света. Она завершает «Лебединый Стан» стихотворением, написанным под новый, 1921 год. Гражданская война кончилась, большевики победили. Значительная часть Белой армии эвакуировалась через Турцию в Европу, остальные рассеялись по стране. Цветаева все еще ничего не знает о муже – он найдется

лишь полгода спустя. Кажется, будущее страны уже определено, но собственное будущее Цветаевой и ее семьи туманно. Новогоднее стихотворение обращено к сподвижникам мужа, в первой публикации оно называлось «Тем, в Галлиполи»[108], – и к Сереже, если он жив и среди них:

С Новым Годом, Лебединый Стан!
Славные обломки!
С Новым Годом – по чужим местам —
Воины с котомкой!

С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом – битая – в бегах
Родина с ладонью!

Приклонись к земле – и вся земля
Песнею заздравной.
Это, Игорь, – Русь через моря
Плачет Ярославной.

Томным стоном утомляет грусть:
– Брат мой! – Князь мой! – Сын мой!
– С Новым Годом, молодая Русь
За морем за синим!

Это – катарсис: Рок победил, но Долг выполнен до конца. Высокой нотой очищения кончается «Лебединый Стан». Надежда на мгновение победила отчаяние в душе Цветаевой.

Впрочем, об отчаянии ее мало кто догадывался. Наоборот, ее осуждали за многочисленные увлечения. Легко вообразить себе толки «кумушек»: муж где-то на войне, может, даже погиб, а она... И на самом деле, она многими увлекалась в эти годы, у нее были романы – как эфемерные, так и вполне реальные. Многим она написала стихи. «Комедьянт» Завадский, студийцы Алексеев и Антокольский, помощник Мейерхольда режиссер В. М. Бебутов, драматург В. М. Волькенштейн, начинающие поэты Е. Л. Ланн и Э. Л. Миндлин, князь С. М. Волконский, художник Н. Н. Вышеславцев, к которому обращен большой цикл стихов, мною условно названный «Спутник», красноармеец – «Стенька Разин», описанный в «Вольном проезде», другой красноармеец – Борис Бессарабов – к нему обращено стихотворение «Большевик», Алексей Александрович Стахович... А скольких мы, возможно, не знаем? Она была искательница. «Искательница приключений»

сказано в стихах, но это неправда. Она искала не приключений, а душ – Душу – родную душу. Это ощущалось как жажда или голод, кидало от восторга к разочарованию, от одного увлечения к другому. «Ненасытим мой голод», – написала она в пятнадцатом году. В двадцатом призналась в интонации более драматической:

А все же по людям маюсь,
Как пес под луной...

И несколько месяцев спустя – с большой горечью: «Ненасытностью своею перекармливаю всех...» – мало кто мог выдержать напор ее дружбы, безудержного стремления отдать себя и постигнуть другого целиком. Это не был просто секс, может быть, совсем не секс или в каком-то ином качестве, простым смертным незнакомом. Цветаева тогда не раз повторяла, что «главная ее страсть – собеседничество. А физические романы необходимы, потому что только так проникаешь человеку в душу»[109]. Тело казалось лишь оболочкой души, с которой она жаждала слиться:

...Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!..

Если это и помогало, то ненадолго, и Цветаева вновь возвращалась к своему одиночеству. Оно было неизбежно, Марина это сознавала: всё в ее жизни начиналось и кончалось одиночеством. Поэзия была единственным доступным способом преодолеть его.

Десятилетия спустя Саломея Андроникова, дружившая с Цветаевой в эмиграции, сказала мне нечто, поразившее бы многих: «Марина вообще не была склонна к романам». Что же тогда были все ее увлечения, что бросало ее к людям, как голодного к хлебу? Возможно, в этом кроется одна из тайн поэтического творчества: увлечения были пищей поэзии. Косвенным подтверждением этого служит факт, что Цветаева с не меньшей страстью увлекалась теми, с кем «роман» в обычном понимании был невозможен, как со Стаховичем, с которым она была едва знакома и стихи которому написаны после его смерти, или с Волконским, о котором было известно, что он не интересуется женщинами. Обоим Цветаева посвятила изумительные – совсем не любовные – стихи. Может быть, в поэте существует определенный душевный вампиризм, примитивно

принимаемый за формы секса? Увлечения Цветаевой следовали одно за другим; можно подумать, что от каждого – от большинства – она освобождалась стихами и переходила к следующему. Интересно, что многое из написанного в связи с такими встречами не имеет ни малейшего отношения к эротике. Возникает ощущение, что все эти «каждые» («Как я хотела, чтобы *каждый* цвел / В веках со мной!..») не только расковывали стихотворные потоки, но и утверждали Цветаеву в реальности собственного существования. Без них, возможно, оно казалось бы ей еще эфемернее. Зато, когда бывал исчерпан стиховой поток, «исчерпывался», становился ненужным и вызвавший его человек. Цветаева не только теряла интерес, но злословила или просто забывала адресатов своих стихов. Отсюда – нередкие у нее перепосвящения.

Н. Я. Мандельштам – вдова поэта, непосредственная свидетельница того, как «делаются» стихи, – пыталась проникнуть в тайну связи поэзии и секса: «Есть таинственная связь стихов с полом, до того глубокая, что о ней почти невозможно говорить... Особое напряжение поэзии, ее чувственная и профетическая природа гораздо больше меняет человека, чем другие искусства и наука»[110]. «Измену» стихами сам Мандельштам ощущал более серьезной, нежели измену в общепринятом смысле слова: «Мучался он стихами к Наташе Штемпель и умолял меня не рвать с нею, а я никак не видела в этих стихах основания для разрыва с настоящим другом. Второе стихотворение „К пустой земле невольно припадая...“ он вообще скрыл от меня и, если бы была возможность напечатать его, наверное бы отказался. Он об этом говорил: „изменнические стихи при моей жизни не будут напечатаны“ и „мы не трубадуры“...» Последнее свидетельство особенно интересно, ибо стихи, обращенные к Н. Е. Штемпель, лишены какой бы то ни было эротической окраски. «К пустой земле невольно припадая...» относится к области высокой метафизики, оно обращено к женщине-другу, которой доведется встретить поэта после смерти:

> Сопровождать воскресших и впервые
> Приветствовать умерших – их призванье...

Того же плана – вне чувственности – и стихи Цветаевой к Волконскому и Стаховичу, с которыми в ее поэзию вошла тема «отцов», людей «минувших дней».

Мы не знаем, что думала Цветаева по поводу своих «изменнических» стихов – во всяком случае, она их публиковала. Вот ее диалог с восьмилетней Алей, поставленный эпиграфом в

письме к Евгению Ланну:

«– Марина! Чего Вы бы больше хотели: письма от Ланна – или самого Ланна?

– Конечно, письма!

– Какой странный ответ! – Ну, а теперь: письмо от папы – или самого папы?

– О! – Папы!

– Я так и знала!

– Оттого, что это – Любовь, а то – Романтизм!»

В этой мимоходом сказанной фразе определены отношения Цветаевой к мужу и всем остальным. Не только стихи, но и чувства, их вызвавшие, не касались главного – ее отношений с Сергеем Яковлевичем. Он был единственным; все другое было Романтизмом, все остальные – в разной степени – были «каждыми». В декабре 1920 года Цветаева признавалась сестре: «Я очень одинока, хотя вся Москва – знакомые… – Все эти годы – кто-то рядом, но так безлюдно!» Возможно, это было несправедливо к тем, кто «был рядом», но таково внутреннее ощущение Цветаевой. Она и Сережа – отдельный мир, со своими клятвами и обязательствами. Кажется, Цветаева таилась в этом главном своем чувстве, хотя в годы революции страх, боль, тоска по мужу были ее постоянными спутниками. Она жила в этих чувствах, ими мерила жизнь и скрывала их от посторонних глаз, несмотря на то, что по мере того как неизвестность становилась глубже и нестерпимее, страх и тоска ощущались острее. Когда же по окончании Гражданской войны Цветаева не получила никаких известий о муже, она была на грани отчаянья. В письмах из Крыма ей сообщили, что он был жив еще осенью двадцатого года – на этом сведения обрывались. Цветаева запрещала себе думать о его возможной гибели. Нужно было ждать и искать. Она просила Эренбурга, уезжавшего в Европу весной 1921 года, навести справки об Эфроне. Вдогонку Эренбургу она написала стихи, полные надежды, заклинающие судьбу и «вестника» – вернуть ей «единственного одного». Стихотворение звучало как продолжение заклинаний Ярославны и кончалось словами: «Ты сердце Матери везешь…»

В Крыму нашлись живыми сестра Ася с Андрюшей, Волошины, Герцыки, Парнок. Они пережили все ужасы Гражданской войны: власти, сменявшие одна другую с непредугадываемой быстротой, убийства, расстрелы, голод, болезни… Ася с Андрюшей – смерть Андрюшиного отца. В Крыму было голодно и небезопасно, победившая власть была подозрительна и скора на расправу. Цветаева ринулась помогать

крымчанам. Неумелая и «недобытчик» для себя, она была на многое способна для друзей: создает общественное мнение, ходит по учреждениям, помогает «выбивать» пайки и «охранные грамоты» на дома. В письмах она уговаривала Асю перебраться в Москву; они тоскуют друг без друга, Марина уверена, что их близость еще окрепла за годы разлуки: «Думаю о нем (муже. – *В. Ш.*) день и ночь, люблю только тебя и его». Ей кажется, что в любом случае жить вместе будет им обеим гораздо легче, чем врозь. Она не просто зовет, а находит сестре работу в Москве и с Борисом Бессарабовым посылает на дорогу муку, деньги и «вызов» – без официального вызова проехать в Москву невозможно. Душевный и действенный отклик Цветаевой на чужую беду и нужду мгновенен и щедр. В самые трудные времена она делилась куском хлеба, папиросой, теплом своей «буржуйки», стирала рубашки поселившемуся у нее на время молодому поэту Э. Миндлину («Зачем вы стираете его рубашки? Ведь он дрянной поэт!» – уговаривала ее подруга), переписывала рукописи князю С. М. Волконскому...

Она познакомилась с ним у Веры Звягинцевой и с первой встречи потянулась к нему. Вера Клавдиевна рассказывала мне, как, увлекшись Волконским, Цветаева, ночуя у Звягинцевой, будила ее среди ночи: «Верочка, проснитесь, я хочу говорить о Волконском». Ее привлекали его происхождение – княжеское и декабристское, «порода», его театральное прошлое, образ мыслей, то, что он писал. Этот человек был интересен Цветаевой, как мало кто другой. Его дружбы стоило добиваться. Беседовать с ним, даже переписывать для него было радостью. Пожалуй, он был первым из поколения «отцов», с кем она сошлась так коротко: мальчиком в гостиной своей матери С.М.. Волконский видел и слышал самого Тютчева!

С Волконским к ней вернулись стихи – во всяком случае, она так считала. Нельзя сказать, что она не писала в последнее время, хотя ей казалось, что ее молчание длилось долго: с лета двадцатого года не было стихотворной лавины, как бывало прежде; приходили лишь отдельные стихи. Это тяготило Цветаеву. С Волконского стихи опять захлестнули ее и уже не отпускали до самого отъезда из России. Снова, как во времена «Юношеских стихов» или первых «Верст», стихи стали лирическим дневником и естественно выстраивались в книгу, которую она, издавая, назвала – «Ремесло». Она вступила в период поэтической зрелости.

О этот час, когда как спелый колос
Мы клонимся от тяжести своей...

Волконский предстал ей Учителем, обращенный к нему цикл озаглавлен «Ученик». Им открывается «Ремесло». «Школой» Волконского Цветаева завершила период своего ученичества. Потребность в Учителе ощущалась ею с отрочества. В ранней юности их с сестрой бросило к Эллису: он был уже «настоящим» поэтом, он ввел их в литературный круг. На деле он оказался лишь Чародеем – обращенная к нему поэма звучала иронически. Возможно, именно потребность в Учителе на мгновение обратила Цветаеву и к Валерию Брюсову. Об их разминовении мы знаем из «Героя труда». Брюсов не мог стать ей Учителем – их миропонимание, устремления в поэзии и темпераменты были слишком различны. За год до встречи с Волконским Цветаевой показалось, что, может быть, Учитель – Вячеслав Иванов. Весной двадцатого года она посвятила ему цикл стихов, где называет его Равви. Так ученики обращались к Христу – Учитель. Но и у него Цветаевой нечему было учиться; как и Брюсов, Вячеслав Иванов был «другой породы». Об этом сказано в стихах к нему:

Ты пишешь перстом на песке.
А я подошла и читаю...
. . . . . .
О Равви, о Равви, боюсь —
Читаю не то, что ты пишешь!..

Это свидетельствует о жажде ученичества, а не о том, что она нашла Учителя.

В цикле «Ученик» намеренно не упомянуто слово «Учитель», оно звучит в подтексте. Если персонифицировать героев цикла, то Ученик – Цветаева, Учитель – Волконский. Но стихи не допускают буквального толкования. Учитель – не лично Сергей Михайлович Волконский: потомок декабриста, князь, писатель, философ, – а личность, явление, вобравшее в себя черты того поколения, которое с годами Цветаева все больше чувствовала не только «отцами», но и «своими». Если в стихах Вяч. Иванову она видит себя «у подножья» (кстати, уже здесь появляются у героини черты «ученика», мальчика: «грудь мальчишечья моя»), то в «Ученике» Учитель и Ученик вместе, рядом:

Тихо взошли на холм
Вечные – двое.

Тесно – плечо с плечом —

Встали в молчанье.
Два – под одним плащом —
Ходят дыханья…

Ученичество воспринимается Цветаевой и как служение-послушничество. Ученик жаждет разделить с Учителем его прошлое:

– Отче, возьми в назад,
В жизнь свою, отче!

И будущее:

– Отче, возьми в закат.
В ночь свою, отче!

В настоящем они рядом – Закат и Восход – и Ученик готов служить Учителю всем: плащом, защищающим от дождя и ветра, щитом, обороняющим в битве, первой жертвой на костре, где будут сжигать Учителя. «Ученик – отдача без сдачи, т. е. полнота отдачи», – поясняла Цветаева Юрию Иваску смысл цикла. И Учитель признает Ученика, обращается к нему «Сыне!». Ученик следует за Учителем – нет, не за Учителем, за его плащом – по холмам, по пескам, по волнам… И вдруг – последняя строка:

За плащом – лгущим и лгущим…

Что это значит? Лжет ли Учитель, принимая – незаслуженно? – служение Ученика? Или Ученик усомнился в истине, которой хотел служить? Или это ветер, играя плащом, наводит на мысль о лживости всего? Или настал тот благословенный «одиночества верховный час», который предсказан во втором стихотворении цикла? Ибо «час ученичества» не может продолжаться вечно…

Стойкие души, стойкие ребра, —
Где вы, о люди минувших дней?!

К ним Цветаева относила тех, кто всегда остается самим собой, идет «своими путями». Эта тема, начавшись в «Юношеских стихах», прошла сквозь «Лебединый Стан», «Ремесло» вплоть до

поздних стихов «Отцам» и прозы. Стихи к А. А. Стаховичу, «Ученик» и следующее за ним «Кн. С. М. Волконскому» – из этого ряда. Сюда же я отношу и «Возвращение Вождя», написанное после известия, что Эфрон – жив. Оно завершает важнейшие темы: поражение Белого движения и спасение тех, кто спасся. В первой публикации названия не было, озаглавив, Цветаева подчеркнула идею: вождь спасся, он разбит, но не побежден. Потому что, несмотря на то, что он потерял все: армия разбита, меч заржавел, конь хромает и плащ разорван, – его «стан – прям». Для Цветаевой это признак душевной несгибаемости – стать, «стальная выправка хребта», как сказано в стихах «Кн. С. М. Волконскому».

Странным образом «Ученик» продолжен циклом «Марина», обращенным к памяти польской красавицы Марины Мнишек, в начале XVII века коронованной на русский престол вместе с мужем – Лжедимитрием I. Цветаева чувствовала себя мистически связанной с Мариной Мнишек не только своим дворянским польским происхождением, но и именем:

> Во славу твою грешу
> Царским грехом гордыни.
> Славное твое имя —
> Славно ношу... —

писала она в шестнадцатом году. Теперь ее отношение к тезке не так однозначно. Четыре стихотворения цикла «Марина» написаны на два голоса: в первом и третьем Цветаева – лирическая героиня – перевоплощается в Мнишек, во втором и четвертом видит и судит ее из своего времени и своим судом. Первый голос подобен голосу Ученика – побратима – женщины – любящей, но он ведет свою тему как бы вне пола, ради любви от своего женского естества отстраняясь:

> Не подругою быть – сподручным!
> Не единою быть – вторым!

Только две первые и три последние строки в первом стихотворении цикла «Марина» написаны в женском роде, все остальное – в мужском. Третье сделано так, что род и пол в нем отсутствуют:

> – Сердце, измена!
> – Но не разлука!

И воровскую смуглую руку
К белым губам.

Это направляет мысль читателя к общечеловеческому, не сексуальному понятию верности, преданности. «Ученик» и «Марина» начинаются одинаково:

Быть мальчиком твоим светлоголовым… – *«Ученик»*
Быть голубкой его орлиной!.. – *«Марина»*

Быть – принадлежать – служить кому-то, кому ты необходим – вечная тема Цветаевой: «по людям маюсь…» В обоих циклах нагнетается определение того, что она, Цветаева, понимает под «служением»:

От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе плащом… – *«Ученик»*

Серафимом и псом дозорным
Охранять непокойный сон… – *«Марина»*

При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ – а щит! – *«Ученик»*

Распахнула платок нагрудный.
– Руки настежь! – Чтоб в день свой судный
Не в басмановской встал крови… – *«Марина»*

Охранять, защищать, всюду следовать за Ним – призвание Ученика и Любящей. По холмам, по пескам, по волнам – Ученик за Учителем…

Где верхом – где ползком – где вплавь!
Тростником – ивняком – болотом,
А где конь не берет, – там лётом… —

Марина Мнишек за Возлюбленным… Даже смерть вместе с Ним – благо, лучший из возможных исходов.

И – вдохновенно улыбнувшись – первым
Взойти на твой костер. – *«Ученик»*

И – повторенным прыжком —
На копья! – *«Марина»*

Это – идеальное, романтическое воплощение. Можно сказать, что не Цветаева перевоплотилась в Марину Мнишек, а наоборот – она перевоплотила реальное историческое лицо в себя – поэта. Об этом есть гораздо более поздняя запись в ее тетради: «...если бы я писала... – то написала бы себя, т. е. не авантюристку, не честолюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя – поэта». Именно это она и сделала в первом и третьем стихотворениях «Марины», поставив на место Мнишек себя – поэта, себя – любящую, себя – «больше матери». С этой высоты второй голос в цикле оценивает историческую, жившую на земле Марину Мнишек. Это голос Марины Цветаевой, отстранившейся от Марины Мнишек, голос поэта-женщины, умудренной опытом революции, разлук и смертей. Автора и героиню сближает историческое сходство эпох: годы Гражданской войны ассоциировались со Смутным временем. Второй голос создает образ честолюбицы, авантюристки, предательницы – даже не любовницы, ибо это в глазах Цветаевой было бы хоть некоторым оправданием Мнишек. Второе стихотворение цикла открыто противопоставлено первому: если в первом провозглашено, кем она – Марина Мнишек– должна и могла быть возлюбленному, то во втором перечислено, кем она для него *не* стала, чего *не* сделала. Все его строфы, кроме последней, кончаются отрицанием: ты – «не родившая сына», «не махнувшая следом», «не покрывшая телом», «не отершая пота», последняя беспощадно Марину Мнишек карает:

– Своекорыстная кровь! —
Проклята, проклята будь
Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!

«Ученик» и «Марина» внутренне связаны мыслями о муже, о необходимости быть рядом с ним. В «Ученике» это более эпически-отрешенно, в «Марине» – драматически-страстно. «Больше матери быть, – Мариной!» – именно то, чем Цветаева была Сергею Эфрону, чем не стала Марина Мнишек Лжедимитрию. В подтексте слышится: если бы я была на месте Мнишек... Если бы мне, как ей, довелось делить судьбу возлюбленного... Если бы я была рядом, я не дала бы ему умереть или погибла вместе с ним... Но, может быть, где-то в еще более глубоком подсознании жило и самоосуждение: но ведь меня не

было рядом... Не потому ли в первом стихотворении цикла «Разлука» слышен отзвук воспоминания о Мнишек и Лжедимитрии? Та же кремлевская площадь, «гул» – «башенный бой» (колоколов), выброшенное на площадь тело Лжедимитрия —

Точно рукой
Сброшенный в ночь —
Бой...

Их ситуацию Цветаева проецирует на свою, приравнивая к предательству Мнишек свою разлуку с мужем, обращаясь к Сереже – ему посвящен цикл: «брошенный мой». Стихами Цветаева пытается избыть тоску неизвестности. «Разлука» – трагический цикл, где тема разлуки – может быть, вечной – с любимым сплетается с темой разлуки с ребенком – воспоминание о смерти Ирины – и с мыслями о собственной смерти-самоубийстве. Это не поэтическая вольность, она на самом деле видела в этом последний исход и писала о нем Звягинцевой: «Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне – кажется – лучше умереть. – Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте – такая длинная жизнь – огромная – все чужое – чужие города, чужие люди – и мы с Алей – такие брошенные – она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться?» Изжить боль стихами оказывалось непросто. Заканчивая работу над «Разлукой», Цветаева писала Ланну, что эти стихи «... трудно писать и немыслимо читать. (Мне – другим). – Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, никому не говорю про С<ережу>, – да не́кому. У Аси достаточно своего, *и у нее не было С<ережи>*.

Эти стихи – попытка проработаться на поверхность, удается на полчаса». Вопреки последнему утверждению тема преодоления земного страдания в поэзии впервые возникла в «Разлуке», с которой начался новый этап поэтики Цветаевой: ее душевное смятение больше не находило выражения в строгой классической форме, каким был, например, «Ученик». Усложняются ассоциативные ходы, мысли не договариваются, фразы строятся без какого-нибудь из главных членов. Так «Возвращение Вождя» написано без единого глагола. Читатель приобщается к самому процессу возникновения стиха, от него требуется непосредственное сопереживание. Если в «Разлуке» новое еще соседствует с прежней открытой Цветаевой, то постепенно ее стих становится более сложным и герметичным и к концу «Ремесла» как бы погружает читателя в хаос.

Приехала в конце мая двадцать первого года Ася с Андрюшей. Казалось, одиночеству пришел конец, две родные души воссоединились, жить станет вдвое легче. Они поселились у Марины. Асе надо было начинать жизнь буквально сначала. За годы войн и революций она потеряла все: деньги, жилье, вещи. Марина готова была делиться с нею тем, что имела, но прежней близости больше не было – это стало ясно в первые дни. «Ася меня раздражает», – сказала Марина ошеломленной Звягинцевой, знавшей, с какой страстью и нетерпением ждала она приезда сестры. Может быть, Марина ожидала, что сестра в какой-то мере компенсирует отсутствие Сережи, что вместе с нею легче будет ждать и надеяться. Но никто никого никогда не может заменить. Ася молчала о слухе, что какого-то Эфрона расстреляли в Джанкое. Это молчание разделяло их? В ответ Марина молчала о своих страхах: сестре хватало своих бед и забот «и у нее не было Сережи». Так или иначе Цветаева начала искать для сестры отдельное – хотя бы временное – пристанище.

И вдруг – невероятная радость! – Эренбург нашел Сережу! Живого и здорового – в Константинополе. 1 июля 1921 года после трех с половиной лет разлуки и почти двух лет полной неизвестности Цветаева получила от мужа первое письмо. Она работала в те дни над стихами «Георгий», где он в образе святого Георгия Победоносца, как и в юности, рисовался рыцарем. Стихи оборваны на полуфразе: «– Так слушай же!..» В книге помечено: «Не докончено за письмом». А в тетради, рядом с оставленным «Георгием»: «– С сегодняшнего дня – жизнь. Впервые живу...»

Первые письма их друг другу сохранились. С. Я. Эфрон писал:

> « – Мой милый друг – Мариночка,
>
> – Сегодня получил письмо от Ильи Г<ригорьевича>, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. <...>Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. <...>
>
> Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать. <...>
>
> – О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами – прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части – на «до» и «после». «До» – явь, «после» – жуткий сон, хочешь

проснуться и нельзя. Но я знаю – явь вернется...»

И – в приписке Але:

> «Спасибо, радость моя, – вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю – мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем чтобы больше никогда не расставаться...»[111]

Цветаева отвечает:

> «Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. – Последние вести о Вас, после Э<ренбурга>, от Аси: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...»

Письмо от мужа упало на страницу стихов, ему посвященных, и повернуло их по другому руслу: оставив реквием, Цветаева обращается к осанне:

Жив и здоров!
Громче громов —
Как топором —
Радость!
. . . . . .
Стало быть, жив?
Веки смежив,
Дышишь, зовут —
Слышишь?
. . . . . .
Мертв – и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом

По голове, —
Нет, по эфес
Шпагою в грудь —
Радость!

Радость перевернула жизнь: нужно ехать к мужу. Это было непросто, поначалу даже переписка их шла через Эренбурга –

вероятно, с Константинополем переписываться было небезопасно. Надо было хлопотать, ждать, добывать разрешение на отъезд. Завершался огромный кусок жизни, впереди ждала неизвестность. Однако до отъезда прошел еще почти год.

Сохранились письма Сергея Яковлевича Эфрона к фронтовым друзьям – Ольге Николаевне и Всеволоду Александровичу Богенгардтам. Их связывало не только фронтовое товарищество, общее беженство, но и тревога за близких – часть семьи Богенгардтов тоже оставалась в России. Они жили еще в Константинополе, когда Эфрон перебрался в Прагу, и получили первое письмо от него, датированное 11 ноября 1921 года[112]:

> «Дорогие друзья —
>
> Пишу Вам из Праги, куда приехали лишь два дня тому назад. Отношение чехов к нам удивительно радушное – ничего подобного я не ожидал. Любовь к России и к русским здесь воспитывалась веками. Местное лучшее общество все говорит по-русски – говорить по-русски считается хорошим тоном. То же что было у нас с французским языком в былое время. Всюду – в университете, на улицах, в магазинах, в трамвае каждый русский окружен ласковой предупредительностью… Живем здесь в снятом для нас рабочем доме. У каждого маленькая комнатка в 10 кв. аршин, очень чистая и светлая, напоминающая пароходную каюту. Меблировка состоит из кровати и табуретки. Кажется, еще будет выдано по маленькому столику…
>
> В первый же день по приезде в Прагу получил письмо от Марины. Она пишет, что два ее плана выезда из России провалились. Но надежды она не теряет и уверена, что ей удастся выехать к весне. Живется ей очень трудно.
>
> Отсюда легко переписываться с Россией. Почта работает правильно – письмо в Москву идет две недели. Эренбург написал мне сюда, что посылать письма в столицы совсем безопасно. А Э-ргу я верю и потому вчера уже отправил письмо Марине. Отсюда же можно отправлять посылки. Об этом сейчас навожу справки…»

Тревога, забота, надежда – главное в этом письме. Прошло всего четыре месяца, как Эфрон и Цветаева нашли друг друга, а ей уже пришлось отказаться от двух планов выезда. Она не теряет времени даром и ищет третий. И у него – важная перемена: он в Чехии и снова начинает учиться. Сергей Яковлевич сообщает

друзьям, что остался на филологическом факультете – практичности за годы войны и скитаний у него не прибавилось. Что он будет делать с филологией? Как кормить семью? Задавал ли он себе такие вопросы? Более практичные из бывших добровольцев становились инженерами. Можно представить себе, как намаялся Эфрон за четыре года, если казенная каютка без стола кажется ему отличным жильем.

А дома, в Москве? Жизнь трудна, и продовольственная посылка, которую Эфрон вскоре отправил, была как нельзя кстати. Только из Праги он решился написать домой прямо: письмо из Константинополя не оставляло сомнений, что оно от белогвардейца. Вероятно, поэтому ни И. Эренбург, ни А. Цветаева, ни А. Эфрон в воспоминаниях не упоминают о пребывании Сергея Эфрона в Константинополе. Только в стихах Цветаевой «Благая весть» есть живая деталь морского бегства добровольцев из Крыма:

> И вот уже купол
> Софийский – вдали...
> О крылья мои,
> Журавли-корабли! —

они приближались к спасительной земле Турции.

Проходит несколько месяцев, и Эфрон сообщает Богенгардтам, которые тоже переехали в Чехословакию и живут в Моравии, подробности о формальной и материальной стороне выезда из России. Богенгардты хлопотали о выезде матери Всеволода. Сергей Яковлевич отвечает на их вопросы по пунктам (письмо от 14 апреля 1922 года):

> «1) Не беспокойтесь о визах. В месячный срок можно достать все три – Литовскую, Польскую и Чешскую.
>
> 2) Главное выхлопотать паспорт в Москве. Что для этого нужно сделать, легче всего узнать в Москве, а не давать советов отсюда.
>
> 3) Советский паспорт по последним известиям стоит два золотых – т. е. около 3-х миллионов.
>
> 4) Чешская крона стоит 10.000 сов. рублей.
>
> 5) Из Москвы в последнее время выпускают довольно легко женщин и детей. (Проще всего по болезни).
>
> 6) Лучше всего ехать прямо на Чехию и по-моему Ваш английский проект нецелесообразен...»

Теперь связь между Москвой и Прагой поддерживается

постоянно, Эфрон входит во все детали подготовки отъезда. Правда, Цветаева старается скрыть от него степень своих трудностей, но вряд ли ей это удается. Эренбургу она пишет более откровенно, чем мужу: «сегодня я от Ю. К.[113] узнала, что до Риги – с ожиданием там визы включительно – нужно 10 миллионов. Для меня это все равно что: везите с собой Храм Христа Спасителя. – Продав Сережину шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и 2 книги (сборничек «Версты» и «Феникс» – Конец Казановы) – с трудом наскребу 4 миллиона, – да и то навряд ли: в моих руках и золото – жесть, и мука – опилки... Но поехать я все-таки поеду, хотя бы у меня денег хватило ровно на билет». Из этого письма мы узнаем об одном из неудавшихся планов ее выезда: знакомый, который снимал у нее комнату, обещал увезти ее, но уехал, прихватив «мой миллион и одиннадцать чужих». Здесь же говорится о деньгах Эренбурга, лежащих у нее «на последнюю крайность». О. В. Скрябина знает из семейных рассказов, что какую-то сумму дали Эфрону ее родители, чтобы помочь ему вывезти семью. В конце письма Эренбургу шла просьба: «не пишите С, что мне *так* трудно, и поддерживайте в нем уверенность, что мы приедем. Вам я пишу потому, что мне некому все это сказать и потому что я знаю, что для Вас это только иллюстрация к революционному быту Москвы 1921 года...»

Прощание

Над разбитым Игорем плачет
Див...

Для Цветаевой это тоже лишь бытовая сторона дела, и как ни важна она, существовала еще более важная – внутренняя. Мысль об отъезде явилась одновременно с известием, что Сережа жив. Сомнений не было – они должны быть вместе, ему невозможно вернуться, значит, она поедет к нему. Много лет спустя Ариадна Сергеевна Эфрон сказала мне: «Мама дважды сломала свою жизнь из-за отца. Первый раз – когда уехала за ним из России, второй – когда за ним же вернулась». Ее слова показались мне по меньшей мере дочерним преувеличением. По молодости лет я воспринимала Цветаеву вполне абстрактно: Поэт – существо, с земным и реальным связанное весьма условно: «Пока не требует поэта...» Было даже удивительно, что передо мною сидит дочь Цветаевой. Дочь – у Поэта? Какие дочери могут быть у Романтики? Что ей до дочерей? Или до какого-то мужа, который очутился за границей? У меня было странное – но по существу почти верное – представление, что для Поэта все окружающее существует лишь как материал для стихов. Писать стихи мужу – да, это я принимала. Но уехать ради него – это, конечно, одна из легенд Ариадны Сергеевны... С годами я осознала: Марина Цветаева покидала родину ради мужа. Вернее, это стало решающим толчком к отъезду, но постепенно отъезд получил и иное психологическое обоснование.

Под первым ударом радости она писала Ахматовой: «Рвусь, потому что знаю, что жив...» Со временем «рвусь» переосмысляется в тему бегства: не только «рвусь к», но и – чем дальше, тем больше – «убегаю от». Это возникает в цикле «Ханский полон», начатом в сентябре двадцать первого года, и тянется до самого отъезда. Снова появляются мотивы и образы «Слова о полку Игореве». Победа большевиков равносильна для Цветаевой половецкому или татарскому нашествию. В одно сплавились в ее стихах события, в истории разделенные двумя веками: половцы XII века и татары XIV. «Ханский полон», «татарва» – образ порабощения, уходящий корнями в русскую историю. А «Родина-Русь» – конь: неподкованный, зачарованный, нераскаянный, – дикий. «Мамай» же – всадник, сумевший этого коня взнуздать и оседлать:

Раскосая гнусь,
Воровская ладонь...

Не о Ленине ли она думала? Его раскосость смотрела со всех портретов. Вновь приходится удивляться историческому чутью Цветаевой. Как ни стонет Русь от Бусов, Гзаков и Кончаков, как ни растекаются по ней Жаль и Обида, Мамай в ней не по ошибке, ибо он – единственный, кого не сбрасывает конь-Русь:

Не вскочишь – не сядешь!
А сел – не пеняй!
Один тебе всадник
По нраву – Мамай!

Если всадник-Мамай пришелся России-коню по нраву, не лежит ли в подтексте мысль, что Мамай-большевик – надолго? Это соответствует убеждению Цветаевой в том, что с Белым движением покончено. В «Лебедином Стане» тема конца воспринималась по преимуществу как личная, вырастающая до осознания ее общности для России. Теперь конец Добровольчества видится трагедией общерусской, а может быть, даже и всемирной. В «Посмертном марше» (по-смертный, после смерти) Цветаева подводит итог:

Добровольчество! Кончен бал!

Русская эмиграция еще долгие годы строила планы, как победить советскую власть, создавались организации, делались бесстрашные и отчаянные попытки возродить Белое движение. А Цветаева в двадцать втором году знала окончательно:

Добровольчество! Кончен бал!
Послужила вам воля добрая!

Послужила – значит отслужила, это подчеркнуто эпиграфом к «Посмертному маршу»: «Добровольчество – это добрая воля к смерти». Теперь осталось оплакать случившееся и проститься с надеждами. Цветаева пишет два стихотворения с одинаковым названием: «Новогодняя». Оно звучит невнятно: новогодняя – что? – ночь? встреча? песня?.. Может быть – смерть? В этих стихах Цветаева дает самим добровольцам проститься с прошлым. Что

осталось от их подвига? – Братство, верность, «дел и сердец хрусталь». Я не говорю ни о реальной жизни Белой армии, ни об историческом смысле Добровольчества. Меня интересует в данном случае отношение к этому Цветаевой. Она пережила трагедию Добровольчества как собственную и от высокой верности ему не отказалась никогда. Ее стихи – восторженный реквием Добровольческому движению. Когда на Западе в 1957 году впервые был опубликован «Лебединый Стан», рецензенты отмечали, что никто сильнее не воспел и не оплакал Добровольчество.

Для Цветаевой настало время осмысления и обобщения случившегося. Трагическое ощущение конца – концов – пронизывает все, что она делает в эти месяцы. Прежде всего надо было ответить на вопрос: почему? Почему я не могу больше здесь жить? Пережив две революции, Гражданскую войну, «военный коммунизм», дожив при большевиках до нэпа, она была твердо уверена, что ей эта власть не «по нраву». Нэп выглядел еще отвратительнее «военного коммунизма». Цветаева пишет голодающему в Крыму Волошину: «О Москве. Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие... Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон – беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы, я бы все же не покупала окороков. Все это слишком пахнет кровью. Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна». Марина с Асей пытаются собирать среди московских писателей деньги для голодающих литераторов Крыма, но кошельки открываются туго. От себя, «чтобы устыдить наших богатых сотоварищей», они посылают Волошиным сто тысяч рублей... Надо бежать, потому что нельзя жить в стране, где «слишком пахнет кровью»:

Ханский полон
Во́ сласть изведав,
Бью крылом
Богу побегов...

Это не просто бегство, но и протест – она предпочла бы умереть, чем подчиниться чужой, несправедливой, жестокой власти:

Смерть, хватай меня за косы!
Подкоси румянец русый!
Татарве моей раскосой

В ножки да не поклонюся!

Цветаева понимает, что решение правильно и неотвратимо, но переживает его тяжело. В такие моменты особенно ясно осознается неразрывность с тем, что оставляешь навсегда. Для Цветаевой расставание с Россией ассоциируется со смертью, отделением души от тела:

Дух от плоти косной берет развод...

Мысль о смерти упорно возвращается в прощальные стихи, сплетаясь с темой разлуки. Вернее – разлук, ибо одна влечет за собой другую, и невозможно избыть их все. Теперь, в отличие от «Юношеских стихов», у Цветаевой нет игры или кокетства со словом «смерть»: речь всерьез идет о жизни и смерти. Ее зрелость определяют новые черты – мужество и мудрость. Ее стихией становится трагедия.

Цветаевское прощание с прошлым затянулось: «выметалась, т. е. ждала разрешения на выезд, день за днем, *шаг за шагом* – 11 месяцев!»[114] Она имела возможность оглядеться и подвести итоги. Прежде всего она заглянула в себя и поняла, что молодость прошла.

Как змей на старую взирает кожу —
Я молодость свою переросла...

Слишком много пережито, перечувствовано, выстрадано, чтобы жить по-прежнему. Цветаева ощущает себя библейской дочерью Иаира – против собственной воли и естества воскрешенной Христом. Она как бы обречена на насильственную посмертную жизнь. Реальный возраст не имеет значения: юная дочь Иаира и древняя Сивилла протягивают друг другу руки в стихах Цветаевой. Страдания дали поэту прикоснуться к смерти и Вечности – действительность воспринимается сквозь их пелену. Прощание с молодостью – разлука сознательная и требующая волевого усилия:

Вырванная из грудных глубин —
Молодость моя! – Иди к другим!..

Расставаясь с молодостью, Цветаева пытается посмотреть на

себя глазами мужа. Предстоит встреча, какой он увидит ее? Она сурово-пристрастна к себе:

Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться на грубые руки,
Хватающиеся за хлеб и за соль?
– Товарищества трудовая мозоль!..

В тетради она записала: «...окончательно распростилась с молодостью»[115]. Отрешаясь от стихии женственности, Цветаева прощается и с Музой. Молодость и Муза если и не вполне отождествляются, то каким-то образом сливаются в ее представлении, в стихах прощания она описывает их почти одинаково. В отрешенности Музы есть одновременно и нечто от дочери Иаира.

Ни грамот, ни праотцев,
Ни ясного сокола.
Идет-отрывается, —
Такая далекая!
. . . . . .
– Храни ее, Господи,
Такую далекую!

Расставание с Музой не причиняет боли. В пору зрелости Цветаева обращается к Гению, которого древние считали покровителем только мужчин. Поручив себя и свою поэзию Гению, она утвердила осознание себя поэтом, не поэтессой. Это дает нам представление о том, с какой мерой сознательности поэт видит собственное творчество, насколько может рационально вмешиваться или хотя бы сосуществовать с «наитием стихий».

Подводя итоги, Цветаева неизменно возвращается мыслями к тем, кто погиб. Ее «белый лебедь» жив, но она не хочет и не может забыть об ужасах братоубийства. Ее отношение к дилемме «белые – красные» уникально. В мире, разделившемся на два ненавидящих друг друга лагеря, она провозглашает единственную приемлемую для себя позицию: «Одна из всех – за всех – противу всех!»

Из «белого» лагеря раздавался призывный голос Зинаиды Гиппиус:

Не надо к мести зовов

И криков ликования:
Веревку уготовав —
Повесим их в молчании...[116]

Из «красного» кровожадно грозили кулаки Александра Безыменского:

Но знайте: – *возьмет трудовая рука*
За горло вас всех и ... задушит...[117]

Ни разу за время войны перо Цветаевой не призывало к ненависти. Тем более теперь, когда все кончено. У нее нет сомнений в правоте Белого дела. В стихотворении «Сомкнутым строем...» она обыгрывает значения слов «красный» – «правый» – «белый». Правый – как определение политического направления (правые – левые) и как: невиновен – прав – поступает правильно. Белый и красный – как цвета (со смыслом: белый – чистый; красный – кровавый) и как политическая принадлежность (Белая армия – Красная армия; в этом значении «белые» и «правые» сливаются). Она логически и эмоционально подводит читателя к заключению «белые – правые».

Сомкнутым строем —
Противу всех.
Дай же спокойно им
Спать во гробех.
. . . . . .
В бранном их саване —
Сколько прорех!
Дай же им *правыми*
Быть во гробех.

Враг – пока здрав,
Прав — как упал...
. . . . . .
Собственным телом
Отдал за всех...
Дай же им *белыми*
Быть во гробех[118].

Ее жалость обращена ко всем, кто погиб. Цветаева идет на Красную площадь к братским могилам, где похоронены погибшие

в Москве в октябре 1917 года красногвардейцы. Думаю, она знала, что было предложение похоронить на Красной площади вместе всех погибших – и красногвардейцев, и юнкеров, но победившие большевики не согласились. Прощально кланяясь братским могилам, Цветаева признает и красногвардейцев – своих якобы врагов – праведниками, ибо они искренне верили в свою «кривду» – правоту того, за что отдали жизнь:

Поклонись, глава, могилкам
Бунтовщицким.
(Тоже праведники были,
Были, – не за гривну!)
Красной ране, бедной праведной
Их кривде...

Это возвращает нас памятью к ее стихам начала революции, просившим снисхождения простым людям:

Слабым – глупым – грешным – шалым,
В страшную воронку втянутым,
Обольщенным и обманутым... —

ибо не ведают, что творят. Ее позиция последовательна. Перед лицом смерти чувства поэта возвышаются до пафоса:

Ненависть, ниц:
Сын – раз в крови!

Словами прощения готова Цветаева расстаться с Москвой. Но мысль о том, что кровь была пролита напрасно, вызывает в ней гнев отречения. Свидетельница страшных событий, она не хочет примириться с тем, что все забыто, что кровь братьев предана. Известно, что многие восприняли нэп с недоумением, с ужасом... По стране прокатился вопль «за что боролись?», ряд самоубийств среди тех, кто увидел в нэпе измену революции. Цветаева с противоположной стороны оценивает происходящее точно так же:

Старопрежнее, на свалку!
Нынче, здравствуй!
И на кровушке на свежей —
Пляс да яства.

Вот за тех за всех за братьев
– Не спокаюсь! —
Прости, Иверская Мати! —
Отрекаюсь.

Она отрекается от «кровавой» и «лютой» родины, где «слишком пахнет кровью»; отрекается от «дивного» города, так с нею сросшегося, так ею любимого и воспетого. Отрекается – сознательно, в полной трезвости представлений о будущем.

Отъезд, прощание – взгляд не только в прошлое. Прощание Цветаевой с Москвой началось щемяще-высокой нотой предчувствуемого сиротства. Родной город, где ее право первородства общепризнано, ей приходится менять на чужбину, где она – никто, ничья: «Первородство – на сиротство!» И – твердое: «– Не спокаюсь!»

Она готова к сиротству, готова разделить его с теми, кто уже на чужбине. Но к мыслям о будущем невольно примешиваются опасения. В письме к Эренбургу она писала: «Вы должны меня понять правильно: не голода, не холода, не <…> я боюсь, – а зависимости. Чует мое сердце, что там, на Западе люди *жестче*. Здесь рваная обувь – беда или доблесть, там – позор… Примут за нищую и погонят обратно. – Тогда я удавлюсь. Но поехать я все-таки поеду…»

Переселенцами —
В какой Нью-Йорк?
Вражду вселенскую
Взвалив на гроб…

Гибель Добровольчества и массовая эмиграция из России рассматриваются теперь Цветаевой не только как общерусская трагедия, но и как – в будущем – возможная всемирная. Стихотворение «Переселенцами…» перекликается со «Скифами» А. Блока: «Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы…» У Цветаевой:

А там, из тьмы —
Сонмы и полчища
Таких, как мы…

Блоковское «С раскосыми и жадными очами!» – откликается в цветаевском «Полураскосая стальная щель»; блоковское «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!» – в цветаевском

Ведь и медведи мы!
Ведь и татары мы!

Однако, несмотря на сходство описаний, интерпретация Цветаевой противоположна блоковской: в ее стихах нет призыва к миру и братству, время для таких призывов миновало, Россия хлынула на Запад. Не «панмонголизм», не «историческая миссия», а стихийная ненависть, прорвавшаяся в России, грозит миру. Ненависть, способная воскресить мертвых, ненависть, в которой «расстрельщик» объединится с расстрелянным. Сочувствуя «переселенцам», Цветаева страшится стихийного бегства из России, распространяющего по миру ненависть:

«Мир белоскатертный!
Ужо тебе!»

Опять это пушкинское «ужó тебе!», теперь грозящее человечеству.

Между тем в быту было не меньше проблем – и не менее значительных. Кончался огромный период жизни. Надо было разобрать архив, решить, что и кому оставить, какие рукописи взять с собой. Многое раздавалось и раздаривалось друзьям. Необходимо было добывать деньги на отъезд. Оформление на деле оказалось не таким легким, как думал Сергей Яковлевич, но не исключено, что и тут проявилось отсутствие у Цветаевой пробивной силы. Во всяком случае, их отъезд еще не раз откладывался. Она сообщала Эренбургу 11/24 февраля 1922 года: «Отъезд таков: срок моего паспорта истекает 7-го Вашего марта, нынче 24-ое (Ваше) февраля, Ю. К. [Балтрушайтис] приезжает 2-го Вашего марта, если 3-го поставят длительную литовскую визу и до 7-го будет дипломатический вагон – дело выиграно. Но если Ю. К. задержится, если между 3-ьим и 7-ым дипломатический вагон не пойдет – придется возобновлять визу ЧК, а это грозит месячным ожиданием». Мы не знаем подробностей, но Цветаева не уехала ни 7 марта, ни 7 апреля, ни даже 7 мая…

В этот предотъездный месяц умерла Татьяна Федоровна Скрябина, вдова композитора, с которой Цветаева сблизилась в последние два года, которой написала «Бессонницу», с дочерьми которой дружила Аля. На ее похоронах – последняя в России, случайная, как и все остальные, встреча с Борисом Пастернаком – совсем без предчувствия, какое огромное место в ее жизни займет этот человек.

Затянувшееся прощание с сестрой, уезжавшей на лето, не

могущей остаться, чтобы проводить. Трудное прощание, без надежды на встречу. Стремление помочь Асе, одарить – но чем и как? Анастасия Цветаева вспоминала, что уже после отъезда Марины получила в Звенигороде конверт с деньгами: «Асе и Андрюше на молоко».

Наступил день отъезда – 11 мая 1922 года. Багаж собран. Главное в нем – сундучок с рукописями и кое-какие вещи, дорогие как память, например, плед, подаренный Марине отцом за неделю до смерти. Ничего «существенного» уже не осталось: за годы революции все было сношено, продано или сломано. Уезжали налегке, и проводы были самые легкие – один А. А. Чабров-Подгаецкий – музыкант, актер, режиссер, о котором дочь Цветаевой вспоминала, что «в такое бесподарочное время он – однажды – подарил ей (Цветаевой. – *В. Ш.*) розу»[119]. Разместились в двух пролетках: Цветаева с Алей и Чабров. Цветаева боялась опоздать, волновалась. Ехать надо было через всю Москву: из Борисоглебского до теперешнего Рижского вокзала. Это было последнее прощание. Что думала и чувствовала Цветаева? Надеялась ли она когда-нибудь увидеть родной город? Прощалась ли с ним навсегда? Старалась ли вобрать в себя еще что-то на память? Или была погружена в предотъездные заботы? Проезжая по городу, они с Алей крестились на каждую встречную церковь. Это все, что мы знаем…

Путь был долгий, с остановками и пересадкой в Риге. «Сдерживаемая озабоченность, состояние внутреннего озноба не покидали ее», – вспоминала А. С. Эфрон. Впервые она заснула только в поезде Рига – Берлин. 15 мая приехали в Берлин. Никто не встречал их на вокзале – Сергей Яковлевич был в Праге. Ему сообщили о приезде телеграммой. Сохранилась его записка к Богенгардтам от 16 или 17 мая: «Дорогие друзья, Ура, Марина и Аля в Берлине. Горячий привет. С. Эфрон. Подробности следом». Однако «подробностей» не последовало. Стало не до писем. Надо было начинать новую жизнь.

Глава пятая
После России

«Дождь убаюкивает боль...» – болевое ощущение жизни было у Цветаевой неизбывно, но сейчас берлинский дождь убаюкивал. «До сих пор не верю, что мы *вне* советской жизни... – писала по приезде в Берлин Вера Зайцева (у нее в деревне жила Аля летом 1921 года). – Пока нравится все: воздух, люди, цветы, чистота, а главное – нет кровавого тумана»[120]. Можно предположить, что с таким же вздохом облегчения являлись в Берлин и другие эмигранты, в их числе и Цветаева – у нас нет ее прямых высказываний о первых «заграничных» впечатлениях. Но стихотворение «Берлину» дает представление о ее душевном состоянии:

Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, казармы!

Боль отступает, жизнь кажется более милостивой – на какое-то мгновение ощущение покоя должно было появиться и у Цветаевой.

Берлин оказался для них с Алей «перевалочным пунктом»: они провели здесь два с половиной месяца. Но по интенсивности дел, встреч, дружб, увлечений эти недели равнялись иным годам. Достаточно сказать, что на четвертый день по приезде Цветаева читала стихи – свои и Маяковского – в русском Доме искусств, а еще через две недели ввязалась в полемику по поводу письма Корнея Чуковского, напечатанного Алексеем Толстым в Литературном приложении к просоветской газете «Накануне».

Первыми берлинскими друзьями Цветаевой были Эренбурги. К ним они с Алей приехали с вокзала, и Эренбург уступил им свою комнату. Он был «крестным отцом» вышедших в начале года в Берлине «Стихов к Блоку» и «Разлуки» и продолжал опекать Цветаеву в литературных делах. Любовь Михайловна, его жена, помогала в делах житейских: знакомила с бытом, водила по магазинам – и Цветаевой, и Але необходимо было как-то одеться. Впрочем, Эренбурги скоро уехали к морю, а Цветаева перебралась в небольшую гостиницу, где они и прожили до отъезда. Здесь у них были две комнаты с балконом – в памяти Али он запечатлелся почти идиллической картинкой: «На „новоселье“ Сережа подарил мне горшочек с розовыми бегониями, которые я

по утрам щедро поливала, стараясь не орошать прохожих: с немцами шутки плохи!

Из данного кусочка жизни в «Траутенау-хауз» ярче всего запомнился пустяк – этот вот ежеутренний взгляд вниз и потом вокруг, на чистенькую и безликую солнечную улицу с ранними неторопливыми прохожими, и это вот ощущение приостановившейся мимолетности...»[121] Девятилетняя Аля не подозревала о чувствах матери. К счастью – ибо Цветаеву тот же балкон наводил на мысли о самоубийстве:

Ах, с откровенного отвеса —
Вниз – чтобы в прах и в смоль!
Земной любови недовесок
Слезой солить – доколь?

«Недовесок» отбрасывает читателя от балкона с бегониями в голодную Москву, вызывает в памяти «грубые руки, хватающиеся за хлеб и за соль...». «Земной любови недовесок», политый солью собственных слез, – простой и грубый образ – ступень в душевном росте Цветаевой. Она впервые осознает, что никакая земная любовь не утолит ее «любовного голода». Это – суррогат, тот «недовесок» голодных лет, который не дает умереть с голоду, но которого недостаточно, чтобы жить. В реальной жизни она еще не раз будет гоняться за призраком, но в поэзии – которая мудрее поэта – точки над «i» поставлены, приговор вынесен. Триединство: любовь – стихи – смерть – укореняется в сознании:

Балкон. Сквозь соляные ливни
Смоль поцелуев злых.
И ненависти неизбывной
Вздох: выдышаться в стих!

Стиснутое в руке комочком —
Что́: сердце или рвань
Батистовая? Сим примочкам
Есть имя: – Иордань.

Да, ибо этот бой с любовью
Дик и жестокосерд.
Дабы с гранитного надбровья
Взмыв – выдышаться в смерть!

Стихи выражают трагическую неудовлетворенность

«недовеском» земной любви, уравновесить который способна только смерть. «Выдышаться в смерть» – закончить неравный бой с любовью, с блужданием в царстве чужих душ. Но перед лицом смерти рождаются стихи: «выдышаться в стих» – и смерть отступает. На время. До следующего «боя» и новых стихов.

«Балкон» и несколько других стихотворений, написанных в Берлине, обращены к Абраму Григорьевичу Вишняку, владельцу издательства «Геликон», бурному кратковременному увлечению Цветаевой. И на этот раз поиски любви-Души оказались тщетными, и Аля почувствовала это, кажется, раньше матери. Она записала в детском дневнике: «Геликон всегда разрываем на две части – бытом и душой. Быт – это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться – души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает. Когда Марина заходит в его контору, она – как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя...» Примечательно, что составляя из стихов Вишняку цикл для своего последнего сборника, Цветаева озаглавила его «Земные приметы»: «земной любови недовесок» на расстоянии лет воспринимался еще дальше от примет души, чем вблизи.

Встречей с Душой оказалась стремительная – не дольше полутора месяцев – дружба с Андреем Белым. Отношение Цветаевой к Белому было похоже на отношение к С. М. Волконскому: нет, она не увидела в Белом Учителя; «час ученичества» миновал, да и духовные устремления ее и Белого были несходны. Сходной была ее готовность «служить» Белому – Цветаева-женщина, Цветаева-поэт как бы самоустранилась в этой дружбе. Но это не было и общением бесплотных душ, ибо сейчас Цветаева играла роль той «гирьки», которая удерживает другую душу на земле. Ее отношение к Белому было лишено какого бы то ни было самолюбия, ревности, претензий. Она дружила не с Борисом Николаевичем Бугаевым – странным человеком средних лет, чудаком, вызывающим косые взгляды и недоумение «нормальных» людей. И не со знаменитым писателем Андреем Белым, само имя которого внушает почтительное уважение. Она любила Дух Поэта, представший в его земной оболочке, – какие же претензии могут быть к Духу? Эссе памяти Андрея Белого Цветаева назвала «Пленный Дух» – эта из многих его ипостасей была ей ближе всего. Эссе писалось в годы, когда Цветаева размышляла о сущности явления Поэт, – Белый как нельзя лучше подходил для ее концепции. Одинокий дух поэта, смятенный и мятущийся, обреченный чуждой ему земной жизни («Не свой

рожден затравленным», – пишет она), Дух, не способный ни слиться с окружающим, ни вырваться из него, – таким предстает Андрей Белый в «Пленном Духе».

На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Это – стихи О. Мандельштама, написанные в день похорон Белого. Мандельштам знал Белого дольше – и дальше – чем Цветаева (ее с ним дружба кончилась осенью 1923 года); мандельштамовские взгляды на поэта и поэзию были далеки от цветаевских, – тем не менее есть нечто близкое в образе Андрея Белого в стихах Мандельштама и в эссе Цветаевой.

Когда душе, столь торопкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой...

Разве это не Пленный Дух, робкий, готовый сорваться с места и улететь за пределы жизни, но проникающий в глубину явлений? Чувство сиротства, пронизывающее эссе Цветаевой, у Мандельштама прорвалось словом «сироте»...

Лето 1922 года было трагическим в жизни Белого, в ней ломалось и решалось многое – в частности, вопрос о его возвращении на родину, и Цветаева с готовностью подставляла плечо, чтобы поддержать, помочь. «Может быть, никому я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему – простым присутствием дружбы. Сопутствием на улице. *Возле»,* — признавалась она. В тот час его жизни это было лучшее, что можно было сделать для Белого. Единственный раз она согласилась на то, что, принимая ее дружбу, Белый, как ей казалось, почти не замечает ее самое: «Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата». Она ошибалась. Возможно, Белый не вник в сущность ее личности («вы такая простая», – радовался он); это не помешало ему понять и оценить стихи Цветаевой. Сборник «Разлука» – первая встреча с ее поэзией – поразил и восхитил Белого мелодическим и ритмическим своеобразием. «В отношении к *мелодике* стиха, столь нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, – Ваша книга *первая* (это – безусловно)», – писал Белый Цветаевой,

прочитав «Разлуку», разбору ритмики которой посвятил рецензию под названием «Поэтесса-певица». Но самой высокой оценкой было для Цветаевой то, что ее книжечка, по собственному признанию Белого, после долгого перерыва вернула его к стихам. Новый сборник, вышедший в том же 1922 году в Берлине, Белый назвал «После Разлуки»; последнее стихотворение в нем было посвящено М. И. Цветаевой...

Настоящее чудо, осветившее ее жизнь на годы, пришло из Москвы: 27 июня Эренбург переслал Цветаевой письмо Бориса Пастернака. Это был голос родного: друга – брата – двойника? Невозможно было вообразить, что они встречались со времен «Мусагета», обменивались незначительными репликами, даже слышали стихи друг друга – и остались равнодушны. Эренбург не раз пытался «внушить» ей Пастернака, но это имело обратное действие: она не хотела любить то, что уже любит другой... Пастернак даже заходил к ней в Борисоглебский – приносил письма от Эренбурга... На похоронах Скрябиной она шла с ним рядом... Но и он не заметил Цветаеву, «оплошал и разминулся» с ее поэзией, как сказано в его первом письме. Теперь он прочел вторые «Версты», был потрясен и признавался, что некоторые стихи вызывали у него рыдания. Подводя итоги жизни, Пастернак вспоминал: «Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений»[122].

Их роднило и помогало их росту ощущение силы друг друга. В первом письме Пастернак ставил Цветаеву в ряд с «неопороченными дарованиями» Маяковского и Ахматовой. «Дорогой, золотой, несравненный мой поэт», – обращался он к ней. Она ответила через два дня, дав его письму «остыть в себе», и одновременно послала «Стихи к Блоку» и «Разлуку» – ведь Пастернак пока знал только одну ее книгу. Она же еще не видела недавно вышедшего сборника «Сестра моя – жизнь». Но уже через неделю Цветаева предлагала редактору берлинского журнала «Новая русская книга» А. С. Ященко рецензию на «Сестру»: «Только что кончила, приблизительно ½ печатн. листа. *Сократить,* говорю наперед, *никак не могу*... Будьте милы, ответьте мне поскорей, это моя первая статья в жизни – и боевая.

Не хочу, чтобы она лежала». Рецензия действительно была «боевая», написанная энергично, напористо, со множеством стихотворных цитат – в стремлении покорить читателя Пастернаку, которого она называет «единственным поэтом». Поэзию Пастернака Цветаева определила как «Световой ливень».

Под ударом письма и книги она пишет первое обращенное к Пастернаку стихотворение:

Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!

Она продолжает разговор о его стихах, но передает не объективное (хотя какое уж у Цветаевой «объективное»!) впечатление, а те интимные ощущения, которые у нее вызвала «Сестра моя – жизнь». Это встреча с родной душой, проникающей в ее душу и завораживающей ее:

И не кори меня, друг, столь
Заворожимы у нас, тел,
Души...

Комментарием к стихам служит ноябрьское, уже из Чехии, письмо Пастернаку: «..."Слова на сон". Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша зеленая книга на коленях. (Сидела на полу). – Я тогда десять дней жила ею, – как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась...» О, как ей нужна была именно такая – взаимная – встреча с родной душой. С душой – равной поэзии, и с поэзией – равной душе. Самым важным было то, что он не испугался высоты и напряженности отношений, на которую немедленно и неминуемо поднялась Цветаева. Они были вровень в этой дружбе; можно сказать, что письмо Пастернака, полученное Цветаевой летом 1922 года в Берлине, в каком-то смысле изменило ее жизнь. Теперь у нее был непридуманный спутник.

Вишняк, Белый, Пастернак... Эренбург, дружба с которым кончилась внутренним разминовением... Встреча с Владиславом Ходасевичем, приехавшим вскоре после Цветаевой... Знакомство с Марком Слонимом, в Праге перешедшее в многолетнюю дружбу... Молодая художница Людмила Чирикова, оформившая берлинское издание «Царь-Девицы»... Начинающий литератор Роман Гуль, писавший о цветаевских книгах, помогавший пересылать ее

письма и книги Пастернаку… Издатель С. Г. Каплун, выпустивший цветаевскую «Царь-Девицу» и «После Разлуки» Андрея Белого… Поэты, прозаики, художники, издатели… Рождались и умирали многочисленные литературные предприятия: газеты, альманахи, издательства, журналы, сборники… Возникали и рушились дружбы, романы, семьи… «Русский Берлин» жил напряженно-лихорадочной жизнью[123]. Он был полон людьми самых разных направлений и устремлений. Политические эмигранты, для которых путь в Россию был отрезан, соседствовали с полуэмигрантами, стоявшими на распутье: возвращаться ли в Советскую Россию? Было – как никогда позже – много советских, выпущенных в командировки или для поправки здоровья.

Было время «сменовеховства»; незадолго до приезда Цветаевой в Берлине начала выходить сменовеховская газета «Накануне», Литературное приложение к которой редактировал Алексей Толстой. Здесь печатались все – и эмигранты, и советские – но не Цветаева. С «Накануне» связан первый политический скандал, в котором она приняла участие. 4 июня в Литературном приложении появилось письмо Корнея Чуковского к Алексею Толстому – из Петрограда в Берлин. Чуковский весьма нелестно отзывался о некоторых петроградских писателях, своих коллегах по Дому искусств, и даже сообщал, что они «поругивают советскую власть». Наряду с неумеренными восторгами по поводу писаний Алексея Толстого и призывами вернуться, Чуковский поносил «внутренних» эмигрантов, называл их «мразью» (в частности, Евгения Замятина – «чистоплюем»), а петроградский Дом искусств – клоакой. Эта публикация вызвала бурю негодования как против Чуковского, так и против Толстого, предавшего его письмо гласности. 7 июня газета «Голос России» напечатала открытое письмо Цветаевой А. Толстому. Еще не успевшая опомниться от «кровавого тумана», Цветаева больше всего возмутилась намеками на неблагонадежность писателей, живущих на родине.

> «Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, – обращалась она к А. Толстому, – не подозревающий ни о существовании в России ГПУ (вчерашнее ЧК), ни о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закрытии „Летописи Дома Литераторов“, ни о многом, многом другом…
>
> Допустим, что одному из названных лиц после 4½ лет «ничего не-деланья» (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю, – какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?

Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованного землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу». Безнравственность письма К. Чуковского и факта его публикации для Цветаевой заключалась в его доносительстве, прикрытом громкими фразами восхищения русским народом и боли за русскую литературу. Политическое сменовеховство, желание подслужиться к советской власти задели ее гораздо меньше. Открытое письмо А. Толстому – старому знакомому, бывшему коктебельскому «Али-хану», частому гостю московского «обормотника» – она закончила таким рассказом: «За 5 минут до моего отъезда из России (11 мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам. – „С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего“.

Жму руку ему и не жму руки Вам.

Марина Цветаева».

Русские «страсти» кипели в Берлине по немецким кафе, облюбованным эмигрантами. В разное время суток назначались деловые, дружеские и любовные свидания, решались не только умозрительные «судьбы России», но и вполне конкретные судьбы людей и рукописей. Цветаева варилась в этом котле. А что же – Сережа? Ведь это ради него она уехала из Москвы. Почему его имени нет на страницах, посвященных началу ее эмигрантской жизни? Сергей Эфрон сумел приехать в Берлин только в первой половине июня, в разгар драматических отношений своей жены с Вишняком. Как они встретились? Что почувствовали после почти пятилетней разлуки?

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! – Живейшая из жен:
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавшийся сон.

Это стихотворение встречи написано 25 июня, и, хотя не имеет посвящения, можно с уверенностью считать его обращенным к Сергею Эфрону.

– Мой! – и о каких наградах

Рай – когда в руках, у рта:
Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

Но подспудно возникает образ змеи, двуострой, меняющей шкуру. В этой «змеиности» можно вычитать горечь, отравляющую радость встречи. И все-таки – «Главное: живы и нашли друг друга!» – как пишет Ариадна Эфрон. Ей запомнилось, что в день приезда отца они почему-то опоздали на вокзал и встретили его, выйдя с перрона на привокзальную площадь: «Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие.

Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез...»[124] Счастье встречи было отравлено, когда Сергей Яковлевич догадался об отношениях Цветаевой к Вишняку. Вероятно, поэтому он так быстро покинул Берлин и вернулся в Прагу. Между ними было решено, что они будут там жить вместе: он учился в Карловом университете и получал стипендию. Была надежда, что и Цветаевой дадут пособие, которым чехословацкое правительство поддерживало русских эмигрантов – писателей и ученых. Это было нечто осязаемое, на что вряд ли можно было рассчитывать в Германии, разоренной войной и жившей под угрозой инфляции. В Берлине Цветаева продала издательству «Эпоха» «Царь-Девицу», «Геликону» – сборник стихов «Ремесло», с ним же начала переговоры об издании книги своих московских записей. В «Эпопее», издававшейся Андреем Белым, после ее отъезда были напечатаны «Световой ливень» и стихи. Она завязала отношения и с другими альманахами и сборниками. Но все было неустойчиво, бурная русская книгоиздательская деятельность в Берлине могла прекратиться в любой день. Не осталось и человеческих отношений, которыми она могла бы дорожить здесь. Белый уехал. Увлечение Вишняком исчерпало себя, не принеся радости. Настолько исчерпало, что стали неприятны даже стихи к нему: «тошно!.. отвращение к стихам в связи с лицами (никогда с чувствами, ибо чувства – я!) – их вызвавшими». Разладилась дружба с Эренбургом: в основе, кажется, лежало неприятие им ее «русских» вещей. В своих мемуарах он не совсем точно пишет, что споры возникли из-за «Лебединого Стана», который он уговорил Цветаеву не печатать. Но «Лебединого Стана» как книги еще не существовало, Цветаева подготовила ее через год и предприняла попытку опубликовать. Да и Эренбургу, работавшему в то время

над «Жизнью и гибелью Николая Курбова» (кстати, Цветаева считала: «героиню он намеревался писать с меня»), не было резонов отговаривать ее от «Лебединого Стана». Трещина в их отношениях расширялась другим, более личным. Л. Е. Чирикова, которую я спросила о берлинской жизни, ответила в письме: «...вся жизнь тогда была „на переломе“ и все люди тоже. Я помню, как я столкнулась на вокзале, провожая Марину в Чехию, с Марком Слонимом и сцепилась с ним в разговор и критику тогдашнего литературного общества. На тему, что все они теряют свое главное и разбивают свою жизнь на „эпизодики“. За что Слоним назвал меня „пережитком тургеневской женщины“»[125]. Кажется, один из таких «эпизодиков» вклинился в литературную дружбу Цветаевой с Эренбургом. Речь идет о двух парах – Вишняках и Эренбургах, среди которых Цветаева почувствовала себя «пятым лишним»: «много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестные любови (ни одной настоящей!) – все в Prager-Diele (знаменитое „русское“ кафе в Берлине. – *В. Ш.),* все шуточно...» Цветаева с ее прямотой чувствовала свою неуместность в такой обстановке: «Совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбления под видом „откровений“...» Берлинский эпизод окончился, оставаться в Берлине становилось тяжело: «Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна». Даже намечавшийся приезд Пастернака не задержал ее: сейчас она предпочла эпистолярную дружбу.

Из Берлина уезжала уже не совсем та Цветаева, которая два с половиной месяца назад покидала Москву. За плечами оставался большой кусок жизни, но впереди было много сил и надежд. Вот какой увидел Цветаеву в Берлине Марк Слоним: «Она говорила негромко, быстро, но отчетливо, опустив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах – тоже серебряных – сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское». Такому рукопожатию еще в юности научил ее Волошин.

Первого августа Цветаева с дочерью приехали в Прагу и через несколько дней поселились в Мокропсах – город был им не по карману. За три с небольшим чешских года семья переменила несколько мест: Дольние и Горние Мокропсы («Мокротопы,

Мокроступы...» – иронизировала Цветаева), Иловищи, Вшеноры. Все это были ближайшие к Праге и друг к другу дачные поселки, в начале двадцатых годов «оккупированные» русскими эмигрантами.

Если Париж был столицей эмигрантской политической жизни, а Берлин тех лет – русской зарубежной литературы, то Прага оказалась столицей русской эмигрантской науки и студенчества. Недавно образовавшаяся Чехословацкая демократическая республика не только предоставила эмигрантам право убежища, но широко открыла для них свои двери. Во главе «русской акции», официально начатой в 1921 году, стояло Министерство иностранных дел. Беспрецедентным было то, что «русская акция» в Чехословакии не свелась к доброжелательным приветствиям, но включала в себя определенную сумму, выделенную правительством для поддержки эмиграции[126]. В лагерях русских эмигрантов было объявлено, что желающие начать, продолжить или закончить образование могут приехать в Чехословакию. В страну хлынул поток русских. В числе первых, прибывших из Константинополя, был и Сергей Эфрон. Русским ученым и писателям, поселившимся в Чехии, выдавалось ежемесячное пособие (Цветаева называла его «иждивением»), на годы ставшее для Цветаевой основой ее бюджета. Живя в Праге, она получала 1000 крон. Студентам назначалась стипендия, одиноким предоставлялось общежитие в Свободарне[127]. Теперь в каждой «каютке» был даже стол. Поселив семью за городом, Эфрон сохранил за собой комнатку в общежитии: он много занимался, и ездить в город каждый день было тяжело. Он проводил дома два-три дня в неделю. Они опять были все вместе.

Берлинский пожар отпылал, сменился чувством иронии, ощущением, что Берлин опустошил ее, убил в ней женщину, может быть, даже человека, оставив в ее земной оболочке лишь певческий дар. Об этом ее первые «чешские» стихи – «Сивилла».

Каменной глыбой серой,
С веком порвав родство.
Тело твое – пещера
Голоса твоего.

Цветаева не сравнивает себя с Сивиллой, как некогда в стихах, обращенных к вахтанговцам («Как древняя Сивилла...»), а превращается в нее:

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.

Все птицы вымерли, но бог вошел.

Сивилла: выпита, сивилла: сушь.
Все жилы высохли: ревностен муж!

Сивилла: выбыла, сивилла: зев
Доли и гибели! – Древо меж дев...
. . . . . .
...так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став

Дивному голосу...
– так в звездный вихрь
Сивилла: выбывшая из живых.

Берлинский пожар выжег и иссушил ее, но в мифологии сознания Цветаевой ее равновеликий соперник, «бог», «ревностен муж» – конечно, не Абрам Григорьевич Вишняк, а сам Феб. О Вишняке вспоминалось неприязненно: «Это было черное бархатное ничтожество, умилительное, сплошь на о́ (Господи, ведь *кот* по-французски – chat! Только сейчас поняла!)»[128]. Это не единственный случай в ее жизни: стихи были написаны, и человек, к которому они обращены, становился если не неприятен, то безразличен. Ей не хотелось оставлять в руках Вишняка следы бушевавшего в ней пламени, она упорно стремилась получить у него свои стихи, письма, книги. Свидетельством ее настойчивости – и беззащитности – сохранилось письмо к Л. Е. Чириковой, в котором Цветаева просит ее пойти к Вишняку: «Между его трогательными про́водами тогда —помните? – и теперешним поведением (упорное молчание на деловые письма) не лежит ничего. Я, по крайней мере, не оповещена. – Догадываюсь. – Это жест страуса[129], прячущего голову – и главное от *меня,* которая от высокомерия *та́к – всегда – всё* — наперед прощает!»

Да, она была из тех, кто прощает, но не забывает причиненных ей боли и обиды. Они накапливались в душе, переплавлялись в стихи, как и все другие впечатления жизни. В конце концов Вишняк вернул ее письма и рукописи, и на этом роман был завершен, чтобы через десять лет возродиться в написанной Цветаевой по-французски повести «Флорентийские ночи»: она была составлена из ее писем Вишняку... Написанное становилось окончательным освобождением.

Дабы ты во мне не слишком

Цвел – по зарослям: по книжкам
Заживо запропащу:

Вымыслами опояшу,
Мнимостями опушу.

В сердце Цветаевой наступило почти годовое затишье. Если верить стихам – а им я верю больше всего, хотя и не отождествляю с течением реальной жизни – чешская природа помогла ей сбросить берлинское наваждение, вернуться к самой себе. Цикл «Деревья», начатый вскоре по приезде в Чехию, вместил этапы ее умиротворения – насколько это понятие подходит к Цветаевой.

Когда обидой – опилась
Душа разгневанная,
Когда семижды зареклась
Сражаться с демонами —

Не с теми, ливнями огней
В бездну нисхлёстнутыми:
С земными низостями дней,
С людскими косностями —

Деревья! К вам иду! Спастись
От рёва рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!

Деревья противопоставлены человеческой жизни: в них есть трагичность, но нет «земных низостей». С деревьями Цветаева поднимается в те миры, где чувствует себя дома ее душа: греческий Элизиум, библейская Палестина, ясность и высота Гёте. В цикле «Деревья» так же много беспокойного движения, как когда-то в стихах первых «Верст». Ветер не назван, но постоянно присутствует в плеске и шуме листвы, взмахах ветвей, беге и жестах деревьев. Но удивительным образом – весь этот физически беспокойный шум и движение как будто отстраняют гнетущее беспокойство самой жизни и несут в себе душевное равновесие.

Древа вещая весть!
Лес, вещающий: Есть
Здесь, над сбродом кривизн —

Совершенная жизнь...

Осенние деревья вызывают множество цветовых и зрительных ассоциаций, что для поэзии Цветаевой чрезвычайная редкость. Она рисует картины, в которых ее воображение одушевляет и очеловечивает деревья. Это сцены диаметрально противоположной эмоциональной окраски, от трагической библейской фантасмагории, как, например, во втором стихотворении цикла, мне напоминающем картину Страшного суда, – до почти идиллии в третьем. Цикл рвется ввысь, прочь от земли. Цветаева не хочет ее ощущать, она предпочитает видеть ее издали, сверху:

Чтоб вновь, как некогда,
Земля – *казалась* нам... —

той звездой, которой потом, в «Новогоднем», увидит землю цветаевский Рильке. Порыву от земли ввысь соответствует в «Деревьях» тяга к свету, преодоление цвета, ярких красок осени прозрачным и рассеянным светом иных миров. В этом находит Цветаева избавление от жизненных страданий, то успокоение, о котором я говорила выше. Обращаясь к деревьям, к листьям, Цветаева не пытается пересказать или объяснить их таинственную «сивиллину» речь, она удовлетворяется сознанием:

...ле́чите
Обиду Времени —
Прохладой Вечности.

Так излечилась она сама, так же предлагала лечиться и Пастернаку: «Идите к Богам: к деревьям! Это не лирика; это врачебный совет». Но и сама разгоравшаяся дружба с Пастернаком способствовала ее послеберлинскому выздоровлению.

Первый год в Праге был для Эфронов спокойным и счастливым. Вскоре после приезда семьи Сергей Яковлевич писал Богенгардтам: «Я вертелся, как белка в колесе, уезжал в Германию, хлопотал о визах, искал квартиру, держал экзамены и пр., и пр. Не сердитесь – я был невменяем.

Теперь все более или менее образовалось – Марина с Алей в Чехии – на даче – у меня передышка...

Марина изменилась мало, но Аля... превратилась в

громадного бегемота, которого я не могу поднять на руки...»[130] Для Али наступил короткий период настоящего детства: с появлением Сережи ее дружба с Мариной перестала быть такой напряженно-интенсивной, какой была в Москве, она стала больше ребенком своих родителей, чем подругой матери, – и в этом была своя радость. Она была с ними, которых обожала, принимала участие в их жизни. Алю никогда не баловали, над нею не сюсюкали, с раннего детства ей приходилось трудиться – зато она всегда была равноправным членом семьи. Сама Ариадна Эфрон замечательно рассказала об этом времени в «Страницах былого». Ей запомнилось много простых и милых радостей. Вечера, когда Сережа читал им что-нибудь при керосиновой лампе, а Марина «рукодельничала»: чинила одежду или штопала чулки-носки. Встречи и проводы Сережи на маленькой пригородной станции, когда он уезжал или возвращался из Праги. Невинные розыгрыши, шутливые записочки, которыми они обменивались. Ожидание Рождества, когда они вместе мастерили елочные украшения – а потом и само Рождество, подарки, походы в гости. Менее радостными, но неизбежными были уроки с матерью, у которой хватало упорства и педантизма ежедневно заниматься с Алей русским и французским языками. Отец учил ее арифметике.

Сама обстановка тогдашней пражской эмиграции отличалась от берлинской и парижской. Здесь не было той судорожной погони за радостью минуты, которая оттолкнула Цветаеву в Берлине. И не было среди русских эмигрантов того резкого разрыва между богатством одних и бедностью других, который позже ранил ее в Париже. Народ был относительно молодой, жили ожиданием перемен и надеждами на будущее. Все были приблизительно одинаково небогаты. Отношения складывались проще, ровнее, доброжелательней; люди были готовы помочь и поддержать друг друга, у Цветаевой возникало ощущение круговой поруки. У Эфронов появилось несколько знакомых семейств: Анна Ильинична Андреева, вдова недавно знаменитого писателя – «огнеокая», красивая, яркая женщина, дружба с которой, угасая и вспыхивая, продолжалась многие годы; «добрая, веселая и любящая семья Чириковых» – многолюдная, хлебосольная; Александра Захаровна Туржанская, ровная, спокойная, помогавшая Цветаевой справляться с бытом, с ее сыном Леликом дружила Аля; молодая пара Еленевы – с ним Эфроны встречались еще в Москве, теперь он учился вместе с Сергеем Яковлевичем... Все бывали друг у друга, выручали друг друга, устраивали пикники, отмечали праздники. Позже появились Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова с дочерью Адей – вслед за ними и к ним Цветаева уедет в Париж. И семейство

Лебедевых: Владимир Иванович, революционер, общественный деятель, журналист, товарищ морского министра Временного правительства, видный деятель славянского движения, в эмиграции – один из редакторов «Воли России» и «Русского архива»; его жена Маргарита Николаевна – врач, в прошлом тоже эсерка, их дочь Ируся, с которой Аля подружилась на всю жизнь. С Лебедевыми дружба протянулась до отъезда Цветаевой в Советский Союз; Маргарита Николаевна всегда была для нее моральной поддержкой, от их парижской квартиры на улице Данфер-Рошро у нее был ключ, Цветаева могла приходить туда, когда хотела; Лебедевым она оставила значительную часть своего архива...

Быт в пражских пригородах был примитивным и трудоемким. Всё приходилось делать собственными – Марининими и Алиными – руками: таскать воду из колодца, хворост из леса, топить плиту, готовить, стирать, чинить одежду, мыть полы. Но после московских революционных лет приспособиться к деревенской жизни было гораздо легче; теперь удивить Цветаеву бытовым неустройством было трудно. «Если бы Вы знали, какой у нас хлам – и как все нужно!» – писала она Богенгардтам, перевозя вещи из Мокропсов в Прагу. Быт «заедал», требовал внимания и сил, но в чешские годы у нее не было еще того страшного надрыва от быта, который мучил ее позже; не было отчаянья, потому что оставалась возможность писать. Поддерживало и то, что все окружающие жили примерно так же. Вот как описывала Цветаева жизнь в деревне через год после приезда в Чехию: «Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец-часовенкой, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) – цепной пес – скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа – высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных. Костел с цветником-кладбищем. Школа. Две „реставрации“ (так по-чешски ресторан). По воскресеньям музыка. Деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет – ведьмы.

И вот – в каждом домике непременно светящееся окно в ночи: русский студент! Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены, а русских ничто и никогда не научит беречь деньги. В день получки – пикники, пирушки, неделю спустя – задумчивость. Студенты, в большинстве, бывшие офицеры, – «молодые ветераны» как я их зову. Учатся, как некогда – в России, везде первые, даже в спорте! За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей. У нас здесь чудесный хор, выписывают из Москвы Архангельского.

Жизнь не общая (все очень заняты), но дружная, в беде помогают, никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты.

Это вроде поселения, так я это чувствую, – поселения, утысячеряющего вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор *жить.* (Дожить!) – Круговая порука. – ».

Ее Сережа был одним из «молодых ветеранов». Он много и усердно занимался, сдавал экзамены. Его жизнь неслась между Прагой и домом. И когда он бывал дома, Марина старалась получше накормить его, заставить отдохнуть: она никогда не забывала о его слабом здоровье. В Праге после более чем десятилетнего перерыва под влиянием, а может быть, и под давлением Цветаевой он снова начал писать. «Главное же русло, по которому я его направляю – конечно писательское», – признавалась она в письме к Р. Н. Ломоносовой. Она считала его талантливым, была уверена, что он сможет стать теоретиком литературы и кино. В Праге Эфрон начал работать над книгой «Записки добровольца», основанной на его дневниках времени революции и Гражданской войны. В апреле 1924 года он сообщал Богенгардтам: «Завтра сдаю в печать часть своей книги. Есть там кой-что и о Всеволоде. Описываю нашу встречу под Екатеринодаром, когда он веселый и худищий сидел на подводе с простреленным животом». Книга не появилась, но в периодике печатались связанные с нею «Октябрь. 1917», «Тыл», «Тиф». В Праге он начал и редакторскую деятельность (в незапамятные времена, в другой жизни, они с сестрой Лилей редактировали шуточную газету «Коктебельское эхо») – стал одним из организаторов и редакторов студенческого журнала «Своими путями». Здесь Эфрон печатал статьи на политические темы – политика становилась главным интересом его жизни.

Цветаева работала как одержимая, и это в значительной степени способствовало умиротворению ее души и спокойному течению семейной жизни. За год она написала девяносто стихотворений, кончила поэму-сказку «Мóлодец», которую очень любила («не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались!»), задумала драматическую трилогию на древнегреческий сюжет «Гнев Афродиты», завершила разбор своих московских записей, они должны были составить книгу «Земные приметы». Есть предположение, что книга не увидела света, потому что Цветаева не смогла найти для нее издателя. Однако А. В. Бахрах, к которому она обращалась за помощью, сказал на Цветаевском симпозиуме в Лозанне: «я в течение дня нашел трех издателей. Цветаевой осталось только выбрать. Но разговор о книге больше никогда не возобновился.

Думаю, что никакой книги у нее не было. Это одна из ее мнимостей»[131]. С последним утверждением нельзя согласиться, ибо между 1924 и 1927 годами Цветаева напечатала в периодике десять отрывков из «Земных примет», которые могли бы составить небольшую книжку. Она интенсивно занималась этой книгой в начале 1923 года, мечтала сама отвезти в Берлин готовую рукопись. Подспудной, но главной целью была встреча с Пастернаком, жившим тогда в Берлине. Когда же выяснилось, что встреча не состоится, что Пастернак уже уезжает в Москву, – Цветаева потеряла интерес к завершению «Земных примет». «Книга будет, а Вы – нет. Вы мне нужны, а книга – нет», – писала она Пастернаку.

Год чешской жизни кончался тихо и мирно, если не считать, что хозяин дома, где жили Эфроны, подал на них в суд за плохое содержание комнаты. У Цветаевой было свое объяснение: наступает дачный сезон, хозяин хочет избавиться от них, чтобы сдать комнату дороже. Она волновалась, негодовала, проклинала всяческих «хозяев жизни». Дело кончилось торжеством: суд и вся деревня были на их стороне! Зато как они радовались, перебираясь в Прагу, что нашли комнату без хозяев: «Будем жить в Праге на горе, вроде как на чердаке (под крышей), но зато без хозяев!» Аля отправилась в гимназию в Моравскую Тшебову, и им предстояли месяцы жизни вдвоем, жизни и работы в городе. Цветаева предчувствовала это как событие: «Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни – в лесу, со стихами, с деревьями, без людей – кончен. Я накануне большого нового города (может быть – большого нового горя?!) и большой новой в нем жизни, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно...» Она обдумывала план трагедии, даже трилогии, делала первые наброски к «Тезею»[132].

Цветаева собирала материалы, много бывала в библиотеке. Впервые за долгие годы она могла распоряжаться своим временем. И вдруг – пожар, выбивший ее из жизненной колеи, из работы, из душевного равновесия, едва не сломавший всю жизнь...

Ничто не предвещало этого взрыва, душа Цветаевой была поглощена перепиской с молодым критиком Александром Бахрахом, которого она никогда не видела. Его рецензия на «Ремесло» показалась ей понимающей, почудилась в нем родная душа, и она окликнула его благодарственным письмом, загорелась, увлеклась перепиской, мыслями о возможной встрече в Берлине. С этой дружбой связаны стихи, написанные с июля до середины сентября 1923 года. Публикуя письма и стихи к нему Цветаевой, Бахрах определил ее эпистолярное наследие как часть

литературного творчества. Что до адресатов, то: «Ей менее важен был человек, к которому в тот или иной момент устремлялись ее чувства, чем излияния этих чувств на бумаге – в словах, в строках. Здесь я, конечно, несколько схематизирую, – уточняет Бахрах. И продолжает: – Людей, с которыми Цветаева поддерживала более глубокие отношения, она „изобретала“, творила своей фантазией, создавала своей прихотью, едва считаясь с их подлинной природой»[133]. Он не совсем прав. Безусловно, Цветаева «творила» героев своих романов – и не только эпистолярных. Но было бы несправедливо утверждать, что она не считалась с их природой – она ее не знала, все затмевали несколько слов, показавшихся созвучными ее душе. По ним создавался образ человека: брата по духу, родного в помыслах, единомышленника в отношении к миру. Ее «изобретенья» часто оказывались весьма далеки от тех, чьи имена носили, но любила она их по-настоящему, радовалась и горевала, каждому по-настоящему готова была отдать всю себя – только так могли возникнуть стихи. И потому ее любовные циклы стихов так не похожи один на другой: в основание своих фантазий она брала нечто существенное, присущее именно этому адресату. Так, стихи, обращенные к Бахраху, строились на его молодости (ему было двадцать лет) и чистоте:

Сквозь девственные письмена
Мне чудишься побегом рдяным,
Чья девственность оплетена
Воспитанностью, как лианой.

Дли свою святость! Уст и глаз
Блюди священные сосуды!..

Цветаева дает волю фантазии, своей неутоленной мечте о сыне, и в стихах Бахраху создает образ сына своей души, «выкормыша», которого она выпустит в мир – досоздав: «я не сделаю Вам зла, я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный, и, забыв *меня,* никогда не расставались с тем – иным – *моим* миром!» Из этого незнакомого юноши она готова творить сына, как из Али создавала *свою* дочь.

Материнское – сквозь сон – ухо.
У меня к тебе наклон слуха...

Но общий эмоциональный контекст «бахраховских» стихов не

поддается прямому определению, зыблется между природно-материнским, более высоким духовно-материнским – и эротическим, прорывающимся из глубин подсознания. Откровеннее всего слияние материнского начала и эротики звучит в «Раковине». В контексте стихотворения раковина – образ женских рук – лирической героини – лелеющих, берегущих, выращивающих жемчуг – его, сына:

Из лепрозария лжи и зла
Я тебя вызвала и взяла
В зори! Из мертвого сна надгробий —
В руки, вот в эти ладони, в обе,

Раковинные – расти, будь тих:
Жемчугом станешь в ладонях сих!

Это одновременно и «раковинный колыбельный дом», и «бездна» – чрево, где зреет плод, что придает особую, ни с чем не сравнимую близость отношениям «раковины» и «жемчуга»:

...Никаких красавиц
Спесь сокровений твоих касаясь

Так не присвоит тебя, как тот
Раковинный сокровенный свод

Рук неприсваивающих...

Меньше всего о Цветаевой можно сказать, что она творила бессознательно. «Наитие стихий», как называла она процесс возникновения стихов, всегда проверялось «алгеброй» мысли и ремесла. Она отдавала себе отчет как в чувствах, так и в том, что пишет. Она писала о «беспредельной любви» материнства: «Но материнство это вопрос без ответа, верней – ответ без вопроса, *сплошной* ответ! В материнстве одно лицо: мать, одно отношение: ее, иначе мы опять попадаем в стихию Эроса, хотя и скрытого». Даже при заочности дружбы Цветаевой были необходимы понимание и взаимность. Когда письма Бахраха внезапно прекратились – кажется, виновата была почта – отношение Цветаевой к их эпистолярной дружбе стало особенно напряженно-драматическим. «В молчании – что́? Занятость? Небрежность? Расчет? „Привычка“? Преувеличенно-исполненная просьба? Теряюсь...» – записывала она в письме-дневнике. Через два дня:

«Болезнь? Любовь? Обида? Сознание вины? Разочарование? Страх? Оставляя болезнь: любовь, – но чем Ваша любовь к кому-нибудь может помешать Вашей ко мне *дружбе?»* Весь месяц затянувшегося молчания Бахраха Цветаева вела это письмо-дневник, названное ею «Бюллетень болезни» – болезни ее сердца, души, самолюбия. Она анализировала в нем не только свои ощущения, но и свои отношения с людьми вообще и к Бахраху в частности: «Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?!) Я думала, – Вы молодость, стихия, могущая вместить меня – мою!..» А за несколько дней перед этим: «Просьба: не относитесь ко мне, как к человеку. Ну – как к дереву, которое шумит Вам навстречу».

Стихия, природа – так она понимала смысл их встречи. «Бюллетень болезни» и стихи, написанные в этом месяце, перекликаются; можно проследить, как, из какого поворота мысли прорезывается стихотворение. Больше того: стихи идут дальше и прозы, и писем, обнажают «тайное тайных» ее существа. В стихах нельзя спрятаться, в стихи нельзя укрыться, они выдают то, что можно скрыть за словами прозы. Так выдает Цветаеву «Клинок»:

Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть...
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!

Стихи написаны через три недели после начала «Бюллетеня болезни», в них нет следа материнско-сыновних отношений, ибо «страстная сестра» или «братская страсть» менее страшно, чем вожделение матери к сыну. А здесь – вопль страсти, которую не остановят никакие преграды – что там отравленный меч Зигфрида, разделивший их с Брунгильдой ложе?

Двусторонний клинок – рознит?
Он же сводит! Прорвав плащ,
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!
. . . . . .
Двусторонний клинок, синим
Ливший, красным пойдет... Меч
Двусторонний – в себя вдвинем.
Это будет – лучшее лечь!

Когда переписка возобновилась – уже после «Клинка», который Цветаева так и не отправила Бахраху, – она снова повторяет, что ее «буйство не словесное, но и не действенное: это страсти *души,* совсем иные остальных». Но теперь она хочет встречи. Есть ощущение, что и стихи, и письма – лишь прелюдия к чему-то иному, что должно начаться вот-вот, чтобы продолжить жаждущий выхода накал страсти... И оно началось – с другим. «Час Души» с Бахрахом не кончился, а оборвался на самой высокой ноте. В данную минуту жизни для Цветаевой он оказался слишком бесплотным.

Что бросило ее именно к Константину Родзевичу? Все, кто вспоминает его, не видят в нем ничего примечательного. «К. Б. Родзевич был человеком небольшого роста, с бросающимися в глаза розовыми щеками. В личном общении ничем не выделялся, был приветлив», – пишет один из бывших русских пражан[134]. О розовых щеках говорила мне и женщина, маленькой девочкой встречавшая Родзевича. Ей запомнились щеки и то, что он был женихом ее тетки Валентины Чириковой. Николай Еленев, учившийся с Родзевичем в Карловом университете, заявляет категорически: «Доверившись лукавому и лживому по своей природе человеку, Марина горестно поплатилась». Марк Слоним, на чьем дружеском плече она выплакивала горе расставания с Родзевичем, стремился вспоминать объективно: «Я видел его два раза, он мне показался себе на уме, хитроватым, не без юмора, довольно тусклым, среднего калибра». Хорошо знавшие Родзевича люди, с которыми мне довелось разговаривать, отзывались о нем иронически. И лишь Ариадна Эфрон пыталась в своих воспоминаниях создать образ обаятельного и рыцарственного юноши, близкого героям цветаевских романтических пьес. Она делала особый упор на его «чужеродности» эмиграции: «...коммунист, мужественный участник французского Сопротивления, выправил начальную и печальную нескладицу своей жизни, посвятив ее зрелые годы борьбе за *правое дело,* борьбе за мир, против фашизма». Вопреки очевидности ей хотелось представить его чистым и честным борцом за справедливость[135]. Несмотря на сложные перипетии своей долгой жизни: красные, белые, Интербригада, компартия, Сопротивление, немецкий концлагерь, освобождение Красной армией, – Константин Болеславович Родзевич и до конца дней (он умер в 1988 году) благополучно жил в Париже. Но какое отношение имеет все это к биографии Цветаевой? Ведь ее роман с Родзевичем в 1923 году продолжался не более трех месяцев: 17 сентября он встречал Цветаеву, вернувшуюся из Моравской Тшебовы, на пражском вокзале (Сергей Яковлевич был в отъезде);

12 декабря она записала в тетради: «конец моей жизни». Я хочу подчеркнуть, что на этот раз ее герой не был так прост и ясен, как она себе представляла...

Что бросило Цветаеву к этому человеку? К. Б. Родзевич, с которым я встретилась летом 1982 года, сказал: «Это было стихийно. Я никогда за ней не ухаживал. Она писала письма своему заочному собеседнику и любовнику, но искала большой привязанности. Так это вышло, потому что мы были рядом...» Осознанно или нет – Родзевич объяснил по существу точно: час Души, достигнув в письмах и стихах к Бахраху наивысшей точки, уступил место часу Эроса, вступившему в свои права со свойственным Цветаевой неистовством:

...Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.

Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить...

Бахрах был в Берлине, Родзевич – рядом. Возможно, если бы он не встретил Цветаеву на вокзале, на его месте оказался бы другой. «Мы сошлись характерами, – сказал он мне, – отдавать себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы». Счастье оказалось коротким, налетело расставание, принесшее горе – и две замечательные поэмы.

«Поэма Горы» – поэма любви, в момент наивысшего счастья знающей о своей обреченности, *предчувствующей* неизбежный конец. Гора у Цветаевой вообще – высота духа, чувства, Бытия над бытом; в данном случае – высота отношений героев над уровнем обыденности. «Поэма Конца» – воплощение этого *предчувствия,* гора – рухнувшая и горе – обрушившееся на героиню. Да, Цветаева – как и ее героиня – была счастлива, это видно по той боли, с которой она расставалась – отрывала от себя Родзевича. И по той жестокости, с которой она посвящала в свою новую любовь Бахраха. Зная, что Душа и Поэт преобладают в ней над женщиной, она делилась с ним надеждой: «Может быть – этот текущий час и сделает надо мной чудо – дай Бог! – м. б. я действительно сделаюсь человеком, *довоплощусь»* (выделено мною. – *В. Ш.*). Она на самом деле «довоплотилась» и женственное начало в себе воплотила в поэмах. С такой силой

страсти, нежности, боли, тоски, отречения от себя могла писать только пережившая это женщина. Слова – «любовь», «страсть», «зной» – решительно вытеснили главное в «бахраховских» стихах слово – «душа». Цветаева не просто прокричала о своей боли, но сумела вызвать ответную, сочувственную, у читателя. Прочитав «Поэму Конца», ей написал об этом Борис Пастернак: «Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами... и прерывающимся голосом посвящаю их (своих слушателей. – *В. Ш.*) в ту бездну ранящей лирики, Микельанджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэма Конца»; «И художественные достоинства вещи, и даже больше, *род* лирики, к которому можно отнести произведенье, в Поэме Конца воспринимаются в виде психологической характеристики героини. Они присваиваются ей»[136]. «Психологическая» – характеристика женщины в моменты ее наивысшего проявления, ее «звездного часа» – любви и разлуки, самоотречения. Она отказывается от любви ради само́й любви, ради того, чтобы не превратить любовь в обыденность, гору – в пригород. Но отрываясь от любимого, она жаждет от него сына, как в бахраховском цикле мечтала взять «в сыновья» самого́ адресата. В разгар работы над «Поэмой Горы» в письме к Бахраху, ставшему ее невольным конфидентом, она сообщала о разрыве с Родзевичем: «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с *тем,* любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась – оторвалась!.. С ним я была бы *счастлива*... От него бы я хотела сына... Этого сына я (боясь!) желала страстно, и, если Бог мне его не послал, то, очевидно, потому что лучше знает. Я желала этого до последнего часа». И в поэме:

Еще горевала гора – хотя бы
С дитятком – отпустил Агарь!

Это высшее в Цветаевой: понятие любви в конце концов сливается с понятием материнства, ребенка. Если не ребенок *от* любимого – как в случае Родзевича или Пастернака, с которым она не встречалась и почти не надеялась на встречу, но о сыне от которого яростно мечтала, – то ребенок в *самом* возлюбленном – как в юности было с Сережей, потом с Бахрахом, позже – с Николаем Гронским и Анатолием Штейгером. Материнское начало преобладало в ней над понятием «женщина», «возлюбленная». В этом «Поэма Горы» и «Поэма Конца» составляют исключение: здесь она одержима собой и своим чувством. Возможно, это имел в виду Пастернак, говоря о

«толстовской глухоте» – лирическая героиня поэм слышит только себя, свою любовь и свое горе. Даже герой видится, как в тумане, или сквозь пелену слез и дождя. Так же предстает в них и город – Прага, которую всю последующую жизнь Цветаева нежно любила, вспоминала, в которую безнадежно стремилась. Это город полуреальный, сновиденный, «летейский», как назвала его Цветаева в стихотворении «Прага», – контрастный хмурому, тяжелому, мрачному городу окраин, рисующемуся в стихах «Заводские», «Спаси Господи, дым!..», «Поэма заставы».

«Поэма Горы» и «Поэма Конца» – чистейшая лирика. Однако временами в них врывается реальность, существующая вне чувств и мыслей лирической героини – ненужная, лишняя, навязывающая себя «небожителям любви». Она воспринимается резко-отрицательно, в облике бессмертного «мещанства». В поэмах возникают отстраненные и одновременно резко-сатирические описания буржуазно-мещанского внешнего мира, враждебного героям. Так появляется некий эпический подтекст поэм, предвосхищающий «Крысолова». В «Поэме Горы» Цветаева проклинает торжествующее мещанство:

> Да не будет вам места злачного,
> Телеса, на моей крови! —

ибо конфликт этих любовных поэм выходит за пределы «она» и «он» и оказывается все тем же постоянным у Цветаевой конфликтом поэта с миром. Работая над поэмами, она записала: «Ты просишь дома, а я могу тебе дать *только* душу». Эта мысль движет поэмы, хотя внешне их можно истолковать как конфликт возлюбленных с жизнью, не дающей осуществиться их любви. В реальности было трагическое несовпадение обычного человека, ищущего спокойствия и комфорта, с Поэтом, «голой Душой» – Цветаевой. Потому что – какой же может быть дом у души, лишь на мгновение ощутившей себя телом? Неистовство ее чувств, неистовство, с которым она пересоздавала образ возлюбленного, на его глазах превращая его самого в миф, способно было лишь отпугнуть. Принять душу Поэта и существовать с нею не входило в его планы. «Я был слаб, – сказал мне Родзевич. – Я слишком мало мог для нее сделать. Я не мог предложить ей дома, я был эмигрантом и получал иждивение...» Но в цветаевской тетради записано: «Ты просишь дома...» *Просишь,* не предлагаешь – Цветаева всегда точна. Родзевичу нужен был «приличный дом», девушка «из хорошей семьи»: из-за романа с Цветаевой он расстался с дочерью писателя Евгения Чирикова, вскоре после женился на дочери философа, священника Сергия Булгакова.

Цветаева же, как всегда, искала «чуда», ей нужен был дом для души: «для каждой моей тоски… для голоса каждой фабричной трубы во мне …бесконечная бережность и, одновременно, сознание силы другого, дающее нам покой». Кто бы мог дать ей это?

Роман с Родзевичем кончился крахом. Это можно было предвидеть. Цветаева упоминает, как, рассказывая ему эпизод из своего прошлого, наткнулась на непонимание и иронию. Дело касалось эмоциональных и нравственных основ человеческих отношений, но она не заострила внимание на этом. В их «любовном треугольнике» оказалось лишь два активных участника: Цветаева боролась за «чудо» своего воплощения и против своей совести («я Вас у совести – отстояла» – из черновика письма к Родзевичу); Сергей Яковлевич пытался противостоять ее «демонам», вытащить ее и себя из этого урагана. Лишь Родзевич устранился, укрылся от неистовства цветаевских страстей.

В Праге одни жалели Цветаеву, другие злорадствовали. У М. Слонима со слов Цветаевой создалось «впечатление, что он (Родзевич. – *В. Ш.*) был ошеломлен и испуган нахлынувшей на него волной Мариниой безудержности и бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного быта и приличного брака». В другом месте Слоним выразился резче: «Они решили расстаться, чтобы он мог жениться на другой. Это ее, конечно, полоснуло, и она это переживала страшно тяжело». Читая поэмы, ощущаешь, как концепция их то приближается, то отдаляется от подобного толкования. Признаться даже самой себе в такой правде было бы беспощадно. И Цветаева – скорее всего, неосознанно – создает для себя легенду, где желаемое и действительное сплетаются. В основе лежит достоверность: руководствуясь не только привязанностью, но и чувством долга, она не решилась бы оставить мужа. Затем надстраивается, что исключительно благодаря этому оборвались ее отношения с Родзевичем. Раненые чувства и самолюбие выдвигают идею, постепенно переходящую в убеждение, что герой поэм любил ее с той же страстью, что и она, и жаждал остаться с ней навсегда. Эта легенда помогала ей в жизни. Незадолго до того, как она «разбилась» о Родзевича, Цветаева писала Бахраху, посылая «Бюллетень болезни»: «берегите эти листки! <…> Берегите их для того часа, когда Вы, разбившись о все стены, вдруг усумнитесь в существовании Души. (Любви). Берегите их, чтобы знать, что Вас когда-то кто-то – раз в жизни! – по-настоящему любил». Так временами возвращалась она памятью к Родзевичу. Спустя десять лет, в момент тяжело обострившихся домашних отношений, она писала Вере Буниной: «…не ушла же я от *них* — всю жизнь, хотя, иногда, КАК хотелось!

Другой жизни, себя, свободы, себя во весь рост, себя на воле, просто – блаженного утра без всяких обязательств. 1924 г., нет, вру – 1923 г.! Безумная любовь, самая сильная за всю жизнь, – зовет, рвусь, но, *конечно,* остаюсь: ибо – С. – и Аля, *они,* семья, – как без меня?! – «Не могу быть счастливой на чужих костях» – это было мое последнее слово. Вера, я не жалею. Это была – *я.* Я иначе – просто не могла. (Того любила – безумно)».

А что же – семья? Аля, очевидно, ничего не знала, эта драма началась и кончилась в ее отсутствие. Она жила в Моравской Тшебове в русской гимназии-интернате. Ей было одиннадцать лет, она впервые поступила в школу, впервые попала в детский коллектив. Гимназия была бесплатной, в рамках «русской акции» на каждого ученика выделялась стипендия. Богенгардты работали там воспитателями, может быть, поэтому Цветаева решилась отпустить Алю. Она не сомневалась, что ее дочь будет первенствовать, и с гордостью писала из Моравской Тшебовы: «она, на вопрос детей (пятисот!), кто и откуда, сразу ответила: „Звезда – и с небес!“ Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения, сама непосредственность, ее будут любить, потому что она ни в ком не нуждается». На самом деле начало было иным. Привыкши быть вундеркиндом среди взрослых, Аля не нашла нужного тона с детьми. Ее ответы, приводившие мать в восторг, у детей вызывали раздражение. Ей устроили «темную»: накинули на голову одеяло и избили – единственный случай за всю историю гимназии. Скорее всего, Цветаева никогда не узнала об этом. Впрочем, Аля быстро обжилась, привыкла, сдружилась с детьми, писала стихи «на случай» и даже пьески для школьного театра. Между нею и домом шла оживленная переписка. «От Али часто получаю письма, – сообщала Цветаева Богенгардтам, – пишет, что все хорошо, и в каждом письме – новая подруга. Она не отличается постоянством». В последних фразах слышна уязвленность. Аля вырвалась на свободу простой детской жизни и сама, по ее словам, «становилась обыкновенной девочкой». «Аля простеет и пустеет» (из письма Волошиным) – мать воспринимала это драматически. Но больше всего угнетало Цветаеву беспокойство об Алином здоровье. Даже роман с Родзевичем не мог отвлечь ее и побороть страхи. Она взывала к Богенгардтам: «Безумно беспокоимся об Але: вот уже восьмой день как от нее нет письма... Боюсь, что она больна и что Вы нарочно скрываете, ожидая выяснения хода болезни. Вообще, всего боюсь. Ради Бога, не томите, если она больна – пишите что́! Я вне себя от страха, сегодня все утро сторожили с Сережей почтальона»[137]. Родители навестили Алю на Рождество – незадолго до этого она действительно была больна. А когда приехала домой на летние

каникулы, у нее обнаружились затемнения в обоих легких. Туберкулезной наследственности Цветаева смертельно боялась, она начала добывать деньги, чтобы везти дочь в Италию. Поездку отложили до осени, пока же снова переехали в деревню под Прагой.

Роман с Родзевичем отпылал, Цветаева дописывала «Поэму Конца». За лето Аля окрепла, вопрос о поездке в Италию истаял, но и в гимназию ее не вернули. Она опять жила дома и много помогала по хозяйству. Возобновились уроки с родителями…

Но Сергей Яковлевич не мог не знать: «вся Прага» знала, обсуждала и судила. Это был для него непоправимый удар. Родзевич говорил, что «Сережа предоставлял ей свободу, устранялся». В жизни все обстояло драматичнее и безысходнее. Конечно, Сергей Яковлевич понимал, что Марина не «как все», что она не может и не будет как все – он принимал ее такой, какою она была. Давным-давно он пережил ее отношения с Парнок, отстранился в Берлине, застав ее увлеченной Вишняком. Он пытался приспособиться к ней. Но этой осенью он страдал и от ущемленной мужской гордости и от беспомощности: вывести Марину и себя из заколдованного круга – это превосходило его душевные силы. Им овладело отчаянье, поделиться которым решаешься лишь с самым близким другом. Эфрон написал Волошину: такая исповедь возможна лишь на далеком расстоянии, без надежды на встречу с адресатом – письмо в бесконечность:

> «Дорогой мой Макс,
>
> Твое прекрасное, ласковое письмо получил уже давно и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, которому я мог бы сказать все – конечно Ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и, хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков и здесь я теряюсь. И моя слабость и полная беспомощность и слепость Марины, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход – все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели.
>
> [Эфрон не преувеличивает; в эти месяцы в тетрадях Цветаевой возникают записи о смерти как об «огромном

облегчении»: «Думаю о смерти с усладой...» И стихотворные строчки: «Примите жену распутную! / Я думаю смерть – уютная...» – *В. Ш.*]

М<арина> – человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше – до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М<арина> предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что – не важно, важно – как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаянье, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаянье. И это все при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая – все обращается в пламя. Дрова похуже – скорее сгорают, получше дольше.

Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно.

[Процесс творчества здесь несправедливо определяется как чисто механический и потому бесчеловечный и страшный. В эти недели страдания Эфрон не осознает, что не только «дрова» в этой чудовищной печи, но и сама Цветаева сгорает на огне творчества. Слова «спокойно», «математически» меньше всего подходят к этому процессу. Но Поэт, как Феникс, каждый раз возрождается из пламени и этим отличается от обычного человека. По-видимому, дело не просто в вовлеченности Эфрона в происходящее, в отсутствии дистанции между наблюдателем и событиями, а значительно глубже. По моему мнению, никто лучше Эфрона не знал, не понимал и не ценил Цветаеву – данное письмо служит тому лучшим подтверждением. Но и он не был в состоянии проникнуть в тайну Поэта: как и из чего рождаются стихи. Эта тайна недоступна

простым смертным; неслучайно Цветаева по крайней мере дважды за это время повторяет, что она «одержима демонами». – *В. Ш.*]

<...>Последний этап —для меня и для нее самый тяжкий – встреча с моим другом по Константинополю и Праге, с человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр<очими> и пр<очими> ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и т. д.

[Цветаева была убеждена, что не лжет мужу; просто он не должен был знать, она хотела уберечь его от боли: "Моя вина (...совести во мне!), – сказано в черновике письма к Родзевичу, – началась с секунды его боли, пока он не знал – я *не* была виновата. (Право на свою душу и ее отдельную жизнь)". Это лишь подтверждает *особостъ, отдельность* отношения Цветаевой к Эфрону от всех других отношений. – *В. Ш.*]

Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому (на это время она переехала к знакомым), не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве не дает ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, – я знал, что это так и будет). Быть твердым здесь – я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти.

Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если б и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли с другим. Отсутствие другого подогревает ее чувства. Я знаю – она уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до очередной скорой

встречи. Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепость абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг и жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится.

Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостно одиночество вдвоем. <...>

Что делать? Если бы ты мог издалека направить меня на верный путь!

Я тебе не пишу о Московской жизни М<арины>. Не хочу об этом писать. Скажу только, что в день моего отъезда (ты знаешь, на что я ехал) после моего кратковременного пребывания в Москве, когда я на все смотрел «последними глазами», М<арина> делила время между мной и другим, которого сейчас называет со смехом дураком и негодяем.

<...> Что делать? Долго это сожительство длиться не может. Или я погибну. <...> Все это время я пытался избегая резкости подготовить М<арину> и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда М<арина> из всех сил старается над обратным. Она уверена, что сейчас жертвенно, отказавшись от своего счастья – кует мое. <...> Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы <...> я жил может быть больше всего М<ариной>.

Я так сильно, и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти. М<арина> сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя – м. б. единственное мое желание <...>

[Цветаевой было гораздо легче – в любой ситуации ее спасали стихи. Вот и теперь, как будто подводя итоги рухнувшей любви, она записывала в тетради:

Так я с груди твоей низринулась
В бушующее море строф

(декабрь 1923)

И еще:

...Зарыть тебя, живого,
И камнем завалить
Мне помогает – слово...

(январь 1924)

У Эфрона не было спасательного круга стихотворства, ему пришлось бороться за свою жизнь в одиночку. – *В. Ш.*]

С ужасом жду грядущих дней и месяцев. «Тяга земная» тянет меня вниз. Изо всех сил стараюсь выкарабкаться. Но как и куда?

Если бы ты был рядом – я знаю, что тебе удалось бы во многом помочь М<арине>. С ней я почти не говорю о главном. Она ослепла к моим словам и ко мне. Да может быть и не в слепости, а во мне самом дело. Но об этом в другой раз<...>»[138]

Сергей Яковлевич отправил это письмо 22 января 1924 года, сделав приписку: «Это письмо я проносил с месяц. Все не решался послать его. Сегодня – решаюсь. Мы продолжаем с М<ариной> жить вместе. Она успокоилась. И я отложил коренное решение нашего вопроса. Когда нет выхода – время лучший учитель. Верно?..»

Мог ли Сергей Эфрон противостоять наитию стихий? Его жизнь сгорала на том огне, из которого рождалась поэзия Марины Цветаевой. Не будь он человеком обостренной восприимчивости, совести и чувства долга, он, как Родзевич, смог бы отряхнуться от пепла и отойти. Эфрон не мог. Даже это отчаянное письмо кричит о его любви к жене.

Но эта история его сломала, стало ясно, что «разрушительная сила» Цветаевой уничтожает его личность, что необходима иная точка опоры в жизни, не зависящая от любви и семьи, *своя* возможность приложения *своих* сил. Не тогда ли родилась у Эфрона идея возвращения на родину? «В последнее время мне почему-то чудится скорое возвращение в Россию. Может быть потому, что „раненый зверь заползает в свою берлогу“ (по Ф. Степуну)», – писал он Волошину еще через месяц. Возможно, крах безусловной веры в жену заставил его обратиться к тому, что он считал абсолютно незыблемым – к России, начать пересматривать свое прошлое и постепенно менять политические взгляды. Евразийство явилось лучшим из возможных вариантов такого пересмотра и приложения сил...

Однако удивительно: в тот самый день, когда Эфрон

отправил Волошину свою трагическую исповедь, он писал и к Богенгардтам, и по этому письму нельзя даже догадаться о тех бурях, которые несутся над головами Эфрона и Цветаевой. Он сообщает о только что сданном экзамене по египтологии, вспоминает поездку в Моравску Тшебову на Рождество и описывает картину самой что ни на есть тихой семейной идиллии: «У нас ростепель. Горы снега стаяли в одну ночь. Небо, ветер, тепло – весенние. Грязь же гомерическая.

Сейчас вечер. Марина переписывает стихи для журнала. На умывальнике хрипит и шипит испорченный примус, выпуская клубы черного благовонного дыма. Кипит кастрюля с нашим ужином. Смесь всех плодов земных и не-земных – секрет Марининой кухни». Жизнь продолжалась, лавируя между бурями и затишьями, и кажется, оба понимали, что соединены нерасторжимо. В неопубликованных воспоминаниях «Как прожита жизнь» В. Ф. Булгаков цитирует фразу из письма Эфрона Цветаевой: «День, в который я Вас не видал, день, который я провел не вместе с Вами, я считаю потерянным»[139].

За прошедшие годы их отношения были спаяны слишком многим, чтобы их можно было разорвать. Разве среди увлечений Цветаевой, каждый раз казавшихся ей неотвратимыми, был кто-нибудь, кто знал ее отца и сестру, с кем была общая молодость, общие дружбы, Коктебель, Трехпрудный, Макс и Пра? Разве не к Сереже обращалась она мыслями после смерти Ирины? Разве кто-нибудь другой смог бы переносить ее ураганы? В минуты затишья Цветаева отдавала себе отчет в этом. Каждый из них понимал, что необходим другому. А потому никаких «окончательных» решений быть не могло.

Сверхбессмысленнейшее слово:
Рас – стаемся. – Одна из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота.

Стой! По-сербски и по-кроатски,
Верно, Чехия в нас чудит?
Рас – ставание. Расставаться...
Сверхъестественнейшая дичь!

В «Поэме Конца» этот рвущийся из глубин души монолог обращен к ее герою – Родзевичу. В действительности Цветаева могла бы сказать так только о муже:

Расставаться – ведь это врозь,

Мы же – сросшиеся...

Понимала ли Цветаева, что она не такая, как все? Что ее отношения с людьми – не только любовные, но и дружеские, приятельские – часто выходят за рамки общепринятых, что общение с нею нелегко для других? Думаю, временами понимала, кроме, может быть, главного – степени своей трудности для тех, кто наиболее к ней приблизился. Однажды она призналась Колбасиной-Черновой: «Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, т. е. *без* конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души... Мне во всем – в каждом человеке и чувстве – тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, – всегда живу *вне* себя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа». Однако она была уверена, что общение с душой значительнее обыденных отношений, и потому всегда или «разбивалась» о людей, или обижала и отталкивала их. Ее «Попытка ревности» начинается вопросом-признанием:

Как живется вам с другою, —
Проще ведь?..

В этих строках не только ирония, но и боль (с «другой» – проще, значит – лучше) – как и во всем стихотворении, несмотря на его демонстративную издевку над адресатом и презрительное уничижение соперницы – «стотысячной», «товара рыночного»... В пятой строфе, отвечая себе от имени адресата, Цветаева обнаруживает понимание того, что отношения с нею труднее, чем принято между людьми:

«Судорог да перебоев —
Хватит! Дом себе найму»...

Понимает – но не соглашается опуститься на несвойственный себе уровень. «Людям нужно другое, чем то, что я могу им дать», – писала она Тесковой. Это заставляло ее страдать. В один день с «Попыткой ревности» написано стихотворение, прямо противоположное яростному самоутверждению первого:

Вьюга наметает в полы.
Всё разрывы да расколы! —

И на шарф цветной веселый[140] —
Слезы острого рассола,
Жемчуг крупного размола.

Ей и позже приходилось страдать от своей все усиливавшейся несовместимости с окружающим.

«Попытка ревности» не имеет посвящения, поэтому можно спорить о том, к кому обращены эти стихи: к Родзевичу? к Слониму? Или, может быть, – к обоим? По-моему, навеянные разрывом с Родзевичем и несостоявшимся романом со Слонимом, стихи не относятся персонально ни к тому, ни к другому, а имеют собирательного адресата[141] («собирательное убожество» из стихотворения тех же дней «Сон») – прежних и будущих возможных возлюбленных поэта, из увлечения которыми никогда ничего не выходило, кроме горя, недоумения, обиды. И стихов. Марк Львович Слоним оказался единственным, увлечение которым перешло в настоящую дружбу. Выплакивая на его «дружественном плече» разрыв с Родзевичем, она увлеклась им, нафантазировала его и свои с ним отношения, разочаровалась и обиделась, поняв несостоятельность своих фантазий. Слоним вспоминал: «ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви, и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек». Цветаева негодовала на такой «отказ» и не прощала «измены», но в конце концов ей пришлось принять предложенные Слонимом отношения: она дорожила его дружбой, ценила его понимание поэзии, его заботу и всегдашнюю готовность помочь. «Из многих людей – за многие годы – он мне самый близкий: по не-мужскому своему, не-женскому, – третьего царства – облику... И если бы не захватанность и не *страшность* этого слова (не чувства!) я бы просто сказала, что я его – люблю» (из письма О. Е. Колбасиной-Черновой). И хотя в письмах Цветаевой другим лицам временами встречаются упреки и жалобы в адрес Слонима, это была одна из самых надежных дружб в ее жизни.

Летом 1924 года Эфроны оставили Прагу и переехали в пригород: недолго были в Иловищах, потом поселились во Вшенорах – до конца своей чешской жизни. Цветаева закончила «Поэму Конца» и вернулась к «Тезею» – трагедия несостоявшейся любви была ей по-новому близка. В «Тезее» вольно или невольно прозвучали отзвуки поэмы. Не автор и не лирический герой, а лавролобый Вакх обрушивается на земную любовь:

Любят – думаете? Нет, рубят
Так! нет – губят! нет – жилы рвут!

О, как мало и плохо любят!
Любят, рубят – единый звук

Мертвенный! И сие любовью
Величаете? Мышц игра —
И не боле!..

Жизнь возвращалась в обычное русло, возобновились бытовые заботы деревенского хозяйства: вода, хворост, печи… А вскоре Цветаева поняла, что ждет ребенка. Она ни секунды не сомневалась, что у нее будет сын, своим страстным желанием она «наколдовывала» его себе. Теперь жизнь приобретала новый смысл, превращалась в ожидание Сына.

* * *

Годы в Праге были единственными, когда Цветаева жила внутри «литературы»: была связана с редакциями, участвовала в жизни писательского Союза, выступала на вечерах Чешско-русской едноты (Чешско-русского культурного общества). На первый взгляд, она и позже, в Париже делала примерно то же – но по существу это было нечто совсем иное: в изданиях, где ее печатали, Цветаева была лишь «автором», человеком практически посторонним; в Союз писателей и журналистов обращалась только с прошениями о материальной помощи; свои литературные вечера устраивала и организовывала сама с целью заработать на очередной взнос за квартиру, школу сыну или на летний отдых.

В Праге жизнь складывалась по-другому, здесь было несколько мест, где Цветаева могла чувствовать себя «своим человеком». Слоним ввел ее в «Волю России» – один из лучших журналов русской эмиграции, где он был редактором отделов литературы и критики. Предлагая ей сотрудничество, он предупредил, что журнал издается эсерами. «Она ответила скороговоркой: „Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает“, – вспоминает Слоним: рассказывая о журнале, он упомянул, что редакция помещается в доме, где Моцарт, по преданию, писал „Дон Жуана“. – Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение». Стихи Цветаевой были напечатаны в «Воле России», когда сама она находилась еще в Берлине; она появилась в редакции как автор уже знакомый. Слоним пишет, что Марина Ивановна не знала, как

нелегко ему было утвердить ее в «Воле России». Я добавлю – и хорошо, что не знала. Это способствовало ее добрым отношениям со всеми членами редакции. Она чувствовала себя здесь уютно, могла запросто зайти, бывала на «литературных чаях» по вторникам. Здесь возникла ее многолетняя дружба с семьей Лебедевых; здесь ее слушали с интересом и уважением. Это говорит о широте взглядов, ибо «белые» стихи Цветаевой, получившие в те годы довольно широкую известность, выражали идеи, неприемлемые для социалистов-революционеров – членов редакции и ближайших сотрудников журнала. Тем не менее из года в год, с 1922-го по 1932-й, до самого своего закрытия, «Воля России» печатала все, что предлагала Цветаева. Здесь с нею обращались как до́лжно с писателем ее уровня: не сокращали, не «редактировали», не указывали на непонятность ее писаний. «Воля России» опубликовала наиболее значительные и сложные вещи Цветаевой, в том числе «Крысолов», «Попытку комнаты», «Поэму Лестницы», «Поэму Воздуха», «Сибирь», прозу о Райнере Марии Рильке, художнице Наталье Гончаровой, важнейшую для Цветаевой статью «Поэт и Время». Пока существовала «Воля России», Цветаевой было где печататься.

И не менее важно – «Воля России» была единственным журналом, постоянно, серьезно и доброжелательно следившим за творчеством Цветаевой, утверждая ее как одного из самых значительных и своеобразных русских поэтов. Журнал не просто защищал ее от нападок критики, обвинявшей ее в бессмысленности, «растрепанности» и намеренной экстравагантности того, что она пишет. Мнение читающей публики часто определяли такие – типичные для него в отношении Цветаевой – высказывания ведущего эмигрантского критика Георгия Адамовича: «Есть страницы сплошь коробящие, почти неприемлемые. Все разухабисто и лубочно до крайности» (о поэме-сказке «Мо́лодец»). Или: «Что с Мариной Цветаевой? Как объяснить ее последние стихотворения, – набор слов, ряд невнятных выкриков, сцепление случайных и „кое-каких“ строчек» (о цикле «Двое»)[142]? «Воля России» последовательно рассматривала творчество Цветаевой как *явление* в общем русле русской и, в частности, эмигрантской литературы. Это относится прежде всего к М. Л. Слониму, одному из самых убежденных и последовательных ее приверженцев. Подводя итоги развития русской литературы после революции, он утверждал, что «пафос и движение цветаевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия»[143]. С такой же высоты оценивали работу Цветаевой и другие критики «Воли России», например Д. П. Святополк-Мирский в статье о «Крысолове». Это поддерживало

сознание, что «Воля России» для нее – свой журнал, где ее понимают и ценят.

Появлялась Цветаева и на страницах пражских студенческих журналов «Студенческие годы» и «Своими путями». С последним у нее сложились более «домашние» отношения: Эфрон был одним из его организаторов, редакторов и деятельных участников. И в этой редакции Цветаева бывала, знала сотрудников, сочувствовала его направлению. Когда в правой газете «Возрождение» появилась статья, обвинявшая «Своими путями» в «большевизанстве» (существовал в эмиграции такой термин) за постоянный интерес к происходящему в Советской России, Цветаева выступила в защиту «Своих путей» с резким протестом.

На страницах этого журнала она в 1925 году сформулировала свое кредо. Приветствуя Константина Бальмонта в связи с тридцатипятилетием его поэтического труда, Цветаева писала: «Дорогой Бальмонт! Почему я приветствую тебя на страницах журнала „Своими путями“? Плененность словом, следовательно – смыслом. Что такое – своими путями? Тропинкой, вырастающей под ногами и зарастающей по следам: место не хожено – не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда, – свой путь, без пути. Беспутный! Вот я и дорвалась до своего любимого слова! Беспутный – ты, Бальмонт, и беспутная – я, все поэты беспутны, – своими путями ходят…

Пленяют меня в этом названии равносильно оба слова, возникающая из них формула. Что́ поэт здесь назовет своим – кроме пути? Что́ сможет, что́ захочет назвать своим – кроме пути? Все остальное – чужое: «ваше», «ихнее», но путь – мой. Путь – единственная собственность «беспутных»! Единственный возможный для них случай собственности и единственный, вообще, случай, когда собственность – священна: одинокие пути творчества…

И пленяет меня еще, что не «своим», а – «своими», что их многого путей! – как людей, – как страстей».

Она написала это в середине творческого пути, выразив свое глубоко продуманное и неизменное понимание поэзии. Такая открытая декларация могла бы помочь критикам судить поэта «по законам (по выражению Пушкина) им самим над собой признанным». Но возникает ощущение, что многие современные Цветаевой критики не давали себе труда вчитаться в то, что она пишет. Они не обратили внимания на эти слова или отнесли их к ее «экстравагантности»: кого интересуют «одинокие пути», когда все стремятся к коллективности? Именно в двадцатых годах в эмиграции начали создаваться и расцветать литературные кружки и группировки: «Цех поэтов», «Перекресток», «Скит поэтов»,

«Кочевье», поэты «парижской ноты»... На цветаевское кредо откликнулся все тот же Г. Адамович, на этот раз под псевдонимом Сизиф: «Послание к Бальмонту – очень плохое»[144].Так можно писать, даже не читая того, о чем пишешь. Когда семь лет спустя, в очередной статье Г. Адамович заговорил об утерянных поэтами путях поэзии, о «безысходности всевозможных тропинок, принимаемых за путь» и упомянул Цветаеву: «нет, так нельзя писать, это-то уже ни в коем случае не путь...»[145] – она пришла в восторг: «он совершенно прав, только это для меня не упрек, а высшая хвала, т. е. правда обо мне... сказавшей: *«Правда поэтов – тропа, зарастающая по следам»*» (письмо С. Андрониковой). Очевидно, Адамович не намеренно игнорирует статью Цветаевой, о которой когда-то упоминал, а явно не помнит, не прочел ее серьезно, не заметил...

Третьим «своим» местом оказался для Цветаевой сборник Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии – «Ковчег». В редакционную коллегию Цветаеву выбрали вместе с профессором С. В. Завадским и В. Ф. Булгаковым – он же одновременно стал председателем Союза. Разговоры о сборнике велись уже давно, потенциальные авторы волновались, и избрание Булгакова возродило надежды. «Может быть, двинет сборник? – писала Цветаева О. Колбасиной-Черновой, тоже заинтересованному лицу. – Рукописей – чудовищная толща, – сколько грядущих мстителей!» Шутка была недалека от правды: желающих напечататься было гораздо больше, чем возможность их удовлетворить. Тем не менее стараниями В. Ф. Булгакова сборник действительно «двинулся». Он хлопотал по издательским делам: договаривался с единственным в Праге русским издательством «Пламя» об объеме, о сроках, о гонораре для авторов и редакторов. Редколлегии пришлось согласиться с издательством разделить сборник на две книги (предлагали даже на три, но против этого Цветаева решительно возражала). Увы, второй том никогда не увидел света: как пишет в воспоминаниях Булгаков: «"Пламя" успело потухнуть».

Все трое членов редакционной коллегии работали в полном согласии, читали поступившие рукописи и решали их судьбу коллективно. Время работы над «Ковчегом» совпало с концом беременности Цветаевой и первыми месяцами жизни Мура, она редко выезжала в город, и связующим звеном между нею и остальными редакторами служил Сергей Яковлевич. Он ежедневно бывал в Праге, отвозил и привозил рукописи и письма Цветаевой соредакторам или на словах передавал ее мнение. Сам он дал в сборник рассказ «Тиф» – как вспоминает Булгаков, «анонимно, чтобы как муж Цветаевой не подвергать редакцию

упрекам в „кумовстве“ со стороны литературных кругов. Мы с Завадским одобрили рассказ, не зная, кем он написан»[146].

Сохранившиеся письма Цветаевой к Булгакову в связи с подготовкой «Ковчега» исключительно интересны для понимания ее как читателя и редактора чужих произведений, коллеги по работе в редакции. Она предстает в них человеком деятельным, серьезным, заинтересованным – и гибким. При отборе рукописей она не проявляет упорства или упрямства, так часто прикрывающихся «принципиальностью». Сотрудничать с ней было легко. Ее подход к рукописям реалистичен и человечен, связан с пониманием задач и возможностей редакции и человека, стоящего за рукописью. Так, она уверена, что ни в коем случае нельзя обидеть «стариков»: Василия Ивановича Немировича-Данченко – в прошлом очень знаменитого, отмечавшего шестидесятилетие своей литературной деятельности, и не менее известного Евгения Николаевича Чирикова. О Немировиче она писала Булгакову: «Два листа с лишним (не с третьим ли?!) Немировича – наша роковая дань возрасту и славе». Иосиф Калинников привлек ее упорством в отстаивании своей вещи. Цветаева не знала, что он дал для сборника «абсолютно „нецензурный“, – как пишет Булгаков, – и недопустимый в печати, хотя и сочно написанный рассказ из жизни глухой, дикой деревни под названием „Бесова чадь“. Мы с Эфроном прочитали его и постарались скрыть от Марины Цветаевой. Она и Завадский доверились нашему вкусу и мнению». Они потребовали от Калинникова заменить рассказ, и он долго сопротивлялся. Когда же редакция договорилась с ним о замене, Цветаева благодарила соредакторов так, как будто была лично заинтересована в его успехе: «Бесконечно благодарна Вам и Сергею Владиславовичу за Калинникова. Знаете, чем он меня взял? *Настоящей* авторской гордостью, столь обратной тщеславию: лучше отказаться, чем дать (с его точки зрения) плохое. Учтите его нищету, учтите и змеиность (баба-змей, так я его зову). Для такого отказ – подвиг. Если бы он ныл и настаивал, я бы не вступилась».

Она не боялась и обидеть – и даже такого друга, как Бальмонт. Она возражала против его поэмы, посвященной Д. Крачковскому, на публикации которой настаивал сам Крачковский. И прозу Д. Крачковского, и поэму К. Бальмонта отложили до второго выпуска сборника. Весь раздел стихов, естественно, был поручен Цветаевой. В этой работе от нее требовался особый такт, сдержанность и дипломатичность. Оказалось, она вполне обладала этими качествами, опровергая распространенное мнение о ней как о человеке высокомерном и «не от мира». Она работала как настоящий профессионал – это

видно по письмам к Булгакову. «Посылаю Вам Нечитайлова (В. Н. Нечитайлов дал в сборник переводы болгарских и македонских песен. – *В. Ш.*) — сделала, что могла. Одну песню (Московская Царица) я бы, вообще, выпустила, – она неисправима, всё вкось и врозь, размера подлинника же я не знаю. (Отметила это на полях.)

Стихи Туринцева прочитаны и отмечены. Лучшее, по-моему, паровоз. «Разлучная» слабее, особенно конец. Остальных бы я определенно не взяла. Что скажете с Сергеем Владиславовичем? [Завадским]»

Цветаева предложила в «Ковчег» самое «пражское» свое произведение – «Поэму Конца». Ни один из критиков, рецензировавших сборник, не обошел ее вниманием. Даже те, кому содержание поэмы казалось малопонятным, считали необходимым сказать о таланте и мастерстве автора. Сейчас очевидно, что «Поэма Конца» – самое значительное из всего, напечатанного в «Ковчеге».

Работа над сборником тянулась долго, Цветаева подсмеивалась, что ее сын успеет подрасти и что-нибудь написать для «Ковчега». Однако всему бывает конец. В. Ф. Булгаков вспоминал: «Итак, сборник получался как будто довольно внушительный по объему, разнообразный по составу и неплохой по уровню. Марина Цветаева придумала для него заглавие: *«Ковчег»*. С. В. Завадский написал довольно остроумное и затейливое предисловие от редакции. В таком виде сборник, действительно, мог остаться некоторой зарубкой в истории русской культурной жизни в Праге».

Читая связанные с «Ковчегом» воспоминания В. Ф. Булгакова, письма к нему Цветаевой и Эфрона, полемику вокруг сборника, я невольно вспомнила пушкинское время, кипение литературной и журнальной жизни вокруг и рядом с Пушкиным. Ни по масштабу, ни по значению, ни по месту в жизни поэтов не стоит сравнивать «Ковчег» с «Современником» или даже гораздо менее значительными начинаниями Пушкина и его друзей. Я думаю об атмосфере жизни внутри литературы, живого литературного процесса, творящегося при непосредственном участии Пушкина, его друзей, недругов, приятелей, соперников. В этом общем котле рождается отечественная словесность. «Ковчег» навел меня на мысль, что и Цветаева, живи она в нормальное время, была способна вариться в таком котле, стать центром определенного литературного круга и в какой-то мере влиять на состояние современной поэзии. Но судьба судила иначе: Цветаевой пришлось прожить творческую жизнь не только вне литературы, но и без сколько-нибудь заметного места среди современников.

Прага оказалась счастливым исключением.

И не только в смысле литературного «круга» – во многих других отношениях тоже. При всей его скудости бюджет семьи был определенным: «иждивение» Цветаевой и стипендия Эфрона; авторские и редакторские гонорары дополняли его. Жизнь была заполнена до краев. Помимо учебы в университете – дело приближалось к выпускным экзаменам и дипломной работе – Сергей Яковлевич состоял редактором журнала, казначеем Союза, тащил на себе множество других общественных обязанностей: «завален делами, явно добрыми, т. е. бессеребряными». Он не мог отказаться и от увлечения театром; вместе с актером А. Бреем и художником Н. Исцеленовым они затеяли драматическую студию (в ней предполагалось поставить «Метель» Цветаевой). Весной 1925 года его пригласили сыграть Бориса в «Грозе» А. Н. Островского – можно ли было не загореться, если это возвращало к молодости, мечтам о сцене, Камерному театру? И Цветаева перечитывает «Грозу», и выслушивает монологи Бориса, и волнуется за Сережу. Она по-прежнему верит в мужа и восхищается им. «Играл *очень* хорошо, – рассказывает она Ариадне Черновой под впечатлением спектакля, – благородно, мягко, – себя. Роль безнадежная (герой – слюня и макарона!), а он сделал ее обаятельно.

За одно место я трепетала: «...загнан, забит, да еще сдуру влюбиться вздумал»... и вот, каждый раз, без промаху: «загнан, забит да еще в дуру влюбиться вздумал!» Это в Катерину-то! В Коваленскую-то! (prima Александринского театра, очень даровитая). И вот – подходит место. Трепещу. Наконец, роковое: «загнан, забит да еще...» (пауза)... Пауза, ясно, для того, чтобы проглотить дуру. – Зал не знал, знали Аля и я. И Коваленская (!)». В этом «трепещу» столько молодости, способности увлекаться, столько тепла и уюта! В конце концов безотказность Эфрона, его разорванность между множеством обязанностей при слабом здоровье и убогом питании кончились переутомлением, истощением организма и возобновлением туберкулезного процесса. Часть лета 1925 года он бесплатно провел в русской Здравнице, километрах в семидесяти от Праги. К концу года ему предстояло закончить университет.

Борис – Георгий – Барсик… – Мур!

Кажется, Цветаева мечтала о нем всегда. Едва оправившись от смерти Ирины, убеждала себя:

Так, выступив из черноты бессонной
Кремлевских башенных вершин,
Предстал мне в предрассветном сонме
Тот, кто еще придет – *мой сын.*

(Пасха, 1920)

И, утешая Сережу в смерти дочери, обещала: «У нас обязательно будет сын». М. И. Гриневой запомнился разговор накануне отъезда Цветаевой из России:

«– Если я действительно уеду, через год у меня будет сын, – сказала Марина уверенно, – и назову я его Георгием.

– Ну как это можно знать? – сказала я каким-то насмешливым вдруг тоном. – Может, будет дочь, а может – никого не будет!

– Тогда я напишу тебе! – сказала Марина».

Жажда сына не была преувеличением. «Мой» сын, «в меня», «для меня» – почему это было ей так важно? Может быть, он был ей нужен, чтобы реальнее ощутить себя живущей на свете, тверже привязанной к земле – живое воплощение ее самой, утверждение ее души и тела?

5 июля двадцать четвертого года, когда Цветаева, по-видимому, догадалась о своей беременности, возникло стихотворение «Остров»:

Остров есть. Толчком подземным
Выхвачен у Нереид.
Девственник. Еще никем не
Выслежен и не открыт…

Часть ее самой, только что образовавшийся островок в глубине нее – Марины-морской-Нереиды, – о котором никто, кроме нее, не знает и который – непременно! – будет сыном:

Знаю лишь: еще нигде не
Числится, кроме широт

Будущего...

(5 июля 1924)

Пройдет несколько месяцев, и Цветаева с гордостью провозгласит:

Женщина, что́ у тебя под шалью?
Будущее!

(*8 ноября 1924*)

Впрочем, жизнь пока мало изменилась, беременность Цветаевой при ее стройности и легкости долго не была заметна. Она много писала, увлеченно работала в редколлегии сборника, продолжала делать все по хозяйству, совершала дальние прогулки по окрестным лесам и скалам...

Уверенная в своем здоровье, а отчасти из фатализма, Цветаева чуть ли не до последнего месяца, когда пора было позаботиться о больнице, не обращалась к врачу. Но и узнавая о больнице, она не собиралась там рожать. Хорошая была ей не по карману, в дешевых было множество «но»: многолюдные палаты, невозможность курить... Живший в соседних Мокропсах доктор Г. И. Альтшуллер – тогда молодой врач, проходивший практику в клинике Пражского университета, – вспоминал, что за несколько недель до ожидавшегося события Цветаева пришла к нему и объявила: «Вы будете принимать моего ребенка!»[147] Она не слушала возражений, что он не акушер и не умеет этого делать, что он специализируется по болезням легких, и упорствовала: «Вы *будете* принимать моего ребенка!» Это повторялось при каждой встрече, поэтому Альтшуллер не был удивлен, когда однажды за ним прислали деревенского мальчика: у Цветаевой начались роды. Была снежная буря, но он поспешил во Вшеноры более короткой дорогой: через лес, проваливаясь по колено в снег.

Накануне Цветаева провела полный движения день: ходила с Алей к зубному врачу (обратно шли пешком), гуляли в ожидании приема, вечером пошли с Сережей к Анне Ильиничне Андреевой, а вернувшись за полночь, Цветаева читала «Дэвида Копперфильда» Ч. Диккенса. Они ждали ребенка недели через две. Сергей Яковлевич, сообщая сестрам в Москву о рождении сына, заметил: «случилось оно неожиданно – врачи неправильно

произвели расчет»[148].

Первого февраля была сильная метель. Когда утром начались роды, Цветаева отказалась ехать в больницу в Прагу: «Знала, что до станции, несмотря на все свое спартанство, из-за частоты боли – не дойду. Началась безумная гонка С. по Вшенорам и Мокропсам. Вскоре комната моя переполнилась женщинами и стала неузнаваемой». Сергей Яковлевич в письме сестрам упоминает, что в этом событии «принимала участие чуть ли не вся женская половина местной русской колонии». Аля записала, что папа «дико растерялся» и что «прибежали целые полчища дам с бельем, тряпьем, флаконами и лекарствами...». Цветаева в тетради перечислила присутствовавших при родах женщин, а Аля через два с лишним года дала своеобразную характеристику каждой: «При его рождении присутствовали многочисленные феи: А. З. <Александра Захаровна Туржанская. – *В. Ш.*> — фея шитья и кулинарного искусства, Вал<ентина> Георгиевна <Чирикова. – *В. Ш.*> — фея вечной молодости, няня – фея трудоспособности (мыла пол) <няня Чириковых Васса Шарабанова. – *В. Ш.* >, Анна Ильинична <Андреева, вдова писателя. – *В. Ш.*> — фея того же, что и В. Г., но даже скорее – фея вечной красоты и беззаботности, Анна Мих<айловна> Игумнова – фея хозяйственности, Н. Е. Ретивова <Новелла Евгеньевна, дочь В. Г. Чириковой. – *В. Ш.*> — фея домовитости, В. А. Альтшуллер <жена доктора Вера Александровна. – *В. Ш.* > — фея равнодушной неряшливости и Наталья Матвеевна <Андреева, вдова брата писателя. – *В. Ш.*>— фея рабства и робости. И потом фей – сам Альтшуллер, – фей медицины, высокого роста, худобы, доброты и еще всяких хороших качеств». Кто-то из них навсегда исчезнет из жизни Цветаевой, другие будут помогать ей в первое время после родов, некоторые останутся друзьями на годы. («Я и не знала, что у меня столько друзей», – запишет она в тетради тех месяцев.)

Вот как по горячим следам описала это внезапное(?!) событие Марина Ивановна:

> «Чириковская няня вымыла пол, всё лишнее (т. е. всю комнату!) вынесли, облекли меня в андреевскую ночную рубашку, кровать выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом. (Он-то и вспыхнул – в *нужную* секунду!) Движение отчасти меня отвлекало. В 10 ч. 30 мин. прибыл Г. И. Альтшуллер, а в 12 ч. родился Георгий.
>
> Молчание его меня поразило не сразу: глядела на дополыхивавший спирт. (Отчаянный крик Альтшуллера: – Только не двигайтесь!! Пусть горит!!)

Наконец, видя всё то же *методическое,* как из сна, движение: вниз, вверх, через голову, спросила: – «Почему же он не кричит?» Но как-то не испугалась. <…>

Наконец продышался. Выкупали <…> Если бы не было Альтшуллера, погибли бы – я-то не наверняка, но мальчик наверное».

Альтшуллеру помогала В. Г. Чирикова, актриса по профессии, мать пятерых детей. Ребенок был полуудушен пуповиной, доктору пришлось его оживлять. Он с удивлением вспоминает, как спокойно вела себя Цветаева: «Все это время Марина курила молча, не говоря ни слова, глядя на ребенка, на меня, на госпожу Чирикову».

Зато как она была счастлива, когда все обошлось благополучно: у нее был сын! Цветаева, придававшая значение всяким приметам и совпадениям, была довольна и воскресеньем, и полднем его появления, и даже снежной бурей: во всем она находила признаки будущей необыкновенности своего сына. На другой день она сообщила Тесковой: «Мой сын родился в воскресенье, в полдень. По германски это – Sonntagskind, понимает язык зверей и птиц, открывает клады… Родился он в снежную бурю». Сергей Яковлевич тоже хотел видеть в явлениях природы, сопутствовавших рождению сына, счастливые предзнаменования; он писал сестрам: «Когда появился на свет, налетел ураган. Небо почернело. Вихрями крутился снег, град и дождь. Я бежал в это время за какими-то лекарствами по нашей деревне. Когда подходил к нашему домику, небо очистилось, вихрь угнал тучи, солнце слепило глаза. Меня встретили возгласами:

– Мальчик! Мальчик!

Он родился в полдень, в Воскресение, первого числа первого весеннего месяца. По приметам всех народов должен быть сверхсчастливым. Дай Бог!»

Сын сразу стал идолом матери. Вернее, он уже был ее идолом все месяцы, что она его ожидала, но теперь ожидание воплотилось в крошечное живое существо. Через неделю она писала в Париж: «Нам с мальчиком пошли восьмые сутки. Лицом он, по общим отзывам, весь в меня: прямой нос, длинный, …узкий разрез глаз (ресницы и брови пока белые), явно – мой ротик, вообще – Цветаев. Помните, Вы мне пророчили похожего на меня сына? Вот и сбылось. Дочь непременно пошла бы в С<ережу>». Сергей Яковлевич тоже сразу же привязался к ребенку. Он признавался сестрам: «Я видно повзрослел, или состарился. К этому мальчику испытываю особую нежность, особый страх за

него. Я не хотел иметь ребенка, а вот появился „нежеланный“ и мне странно, что я мог не хотеть его, такое крепкое и большое место занял он во мне...»

Жизнь осложнилась, особенно из-за постоянного безденежья. Эфроны должали в соседнюю лавочку, зачастую в доме не было необходимого, а Цветаевой была нужна посторонняя помощь: после тяжелых родов ей пришлось лежать почти две недели. Аля с готовностью помогала, но Аля и сама была еще ребенком. Для помощи по хозяйству наняли немолодую чешку («волчиха-угольщица, глядящая в леса», фантазировала Цветаева). Она записала, что у ребенка было «семь нянь» – может быть, не без намека на пословицу «У семи нянек дитя без глазу»? Но среди них были и те, кто от души и всерьез помогал Цветаевой оправиться после родов, справляться с малышом, встать на ноги. Мальчик постепенно «обрастал» хозяйством: кто-то подарил ванночку, кто-то одолжил детские весы, знакомые и незнакомые надарили массу младенческих одежек, чепчиков, пеленок, одеялец. Редакция «Воли России» преподнесла коляску. «Ни у Али, ни у Ирины не было такого приданого. – Приданое принца», – радовалась Цветаева. В сыне ей нравилось все: как он спит в корзине («похож на Моисея»), как ест, как «хорошо ведет себя», даже как «вопит» по ночам... Она по-настоящему счастлива, единственный раз в ее письмах слово «счастье» употреблено, пусть и с оговоркой, в настоящем времени: «Но, в общем, очевидно, я счастлива» (14 февраля 1925).

Не сразу решился вопрос об имени. Цветаева уже не хотела Георгия, в ее мечтах сын жил Борисом – в честь Пастернака. Но... «Борисом он был девять месяцев во мне и десять дней на свете, – сообщала она Пастернаку о рождении сына, – но желание Сережи (*не* требованье!) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение». Итак – у нее сын Георгий, как она предсказала себе три года назад. Дома мальчика стали называть Мур, это имя за ним и осталось. Придумала его, конечно, мать: «Мур, бесповоротно. Борис – Георгий – Барсик – Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых, – Kater Murr – Германия, в-третьих – само, вне символики, как утро в комнату. Словом – Мур».

Крестины состоялись только летом, 8 июня, «в Духов день, в день рождения Пушкина», – не преминула отметить Цветаева в письме Колбасиной-Черновой, которая числилась крестной матерью. И в этом не обошлось без цветаевских сложностей: в крестные она выбрала Колбасину-Чернову и А. М. Ремизова, живших в Париже и не присутствовавших на крестинах. Их записали в книгу, крестили же Мура А. З. Туржанская и актер А.

А. Брей, приятель Сергея Яковлевича. Обряд совершал приехавший во Вшеноры отец Сергий Булгаков. Цветаева подробно описала крестины: «Чин крещения долгий, весь из заклинания бесов, чувствуется их страшный напор, борьба за власть. И вот, церковь, упираясь обеими руками в толщу, в гущу, в живую стену бесовства и колдовства (не вспоминала ли она в этот момент своего „Мóлодца“? – *В. Ш.*): «Запрещаю – отойди – изыди». Ратоборство. – Замечательно. – В одном месте, когда особенно изгоняли, *навек* запрещали (вроде: «отрекаюсь от ветхия его прелести...»), у меня выкатились две огромные слезы, – не сахарных! – точно это *мне* вход заступали – в Мура. Одно Алино замечательное слово накануне крестин: «Мама, а вдруг, когда он скажет „дунь и плюнь“, Вы ... исчезнете?» Робко, точно прося не исчезать. Я потом рассказывала о. Сергию, слушал взволнованно, м. б. того же боялся? (На то же, втайне, надеялся?)

Мур, во время обряда, был прелестен. ... Был очень хорош собой, величина и вид семимесячного. С головой окунут не был, – *ни один* из огромных чешских бельевых чанов по всему соседству не подошел. Этого малышкá с головой окунуть можно было только в море». Она уже создавала легенду о сыне. Мало сказать любила – Цветаева боготворила Мура, восхищалась и гордилась в нем всем: его величиной и весом, большой головой, красотой, лицом, в котором находила сходство с Наполеоном, умом, развитостью не по годам. Как когда-то было с Алей, Цветаева отмечала этапы его развития, роста, интересные и забавные словечки. Ей он казался необыкновенным, некоторым из посторонних – странным, даже неприятным. Одна из тогдашних приятельниц Цветаевой вспоминает о «знакомстве» с десяти-одиннадцатимесячным Муром: «вошли мы... в углу колыбель. Я очень люблю маленьких и тотчас же отправилась туда, заранее умиленно улыбаясь. Нагнулась – и остолбенела: синими, холодными, злыми глазами на меня смотрел красивый румяный холеный мужик лет сорока. Я правда помню до сих пор – я испугалась»[149]. Можно бы усомниться в справедливости этого впечатления, но существует фотография шестимесячного Мура, близкая этому описанию. На ней лежит «голыш» – плотный, ухоженный – с неулыбчивым, не по-детски взрослым лицом и смотрит на вас неестественно светлыми, почти страшными глазами... Но с этой свидетельницей спорит О. Е. Колбасина-Чернова: «...центром внимания был сын Марины Ивановны – Мур (так зовут моего крестника Георгия) – он был великолепен, спокойный, милостивый и снисходительный... Марина Ивановна сейчас сидит с Муром на руках, я его подержу, пока она припишет Вам... Мур очень красивый – чудный ребенок – голубые

озера глаза»[150]. Да, на многих детских фотографиях видно, что он красив: золотистые кудри, правильный нос, красиво очерченные губы – и «озера-глаза». Но нет в них детской открытости и веселья. В. Трайл говорит: «За двенадцать лет, что я его знала, я ни разу не видела, чтобы он улыбнулся». Мур не был простым ребенком, у самой Цветаевой иногда проскальзывает – «трудный».

В трудности Мура виновата была она. Естественное материнское чувство «Пока я *жива* — ему (Муру) должно быть *хорошо»* (из письма А. А. Тесковой 26 мая 1934) в ней трансформировалось и приняло гигантские и даже уродливые формы. Она готова была – и приносила – в жертву Муру все, вплоть до своей работы. Если в 1928 году она писала, что Мур – единственное, до чего ей есть дело, *кроме* стихов, то через год формулировка изменилась: « *Он* не должен страдать от того, что я пишу стихи, – пусть лучше стихи страдают!» Для Цветаевой это означает полное самоотречение. Ради Мура она отрекалась не только от своей, но и от Алиной жизни – как-то само собой разумелось, что и Аля должна жить заботами и интересами брата. Кое-кто из знавших Цветаеву считает, что она превратила дочь в домработницу, принесла ее в жертву Муру. Это не совсем справедливо, она любила дочь и беспокоилась о ее судьбе, но главной ее заботой стал сын, а главной помощницей – Аля.

Цветаева относилась к нему так, что Мур рос в ощущении, что он – центр мирозданья. Доходило до почти анекдотических мелочей. Летом двадцать шестого года она рассказывала Пастернаку о первых шагах Мура: «Мур ходит, но оцени! только по пляжу, кругами, как светило». Ничего особенного: «светило» звучит шуткой. Но люди, проводившие лето рядом с Цветаевой, вспоминают, как она всерьез негодовала, если кто-нибудь на пляже просил ее сына отойти и не загораживать ему солнце. «Я сказала: „Мур, отойди, ты мне заслоняешь солнце“, – рассказывает Вера Трайл. – И раздался голос Марины, глубоко возмущенный, никак не в шутку: – Как можно сказать это такому солнечному созданию?..» Он стал ее светилом, и она хотела, чтобы и окружающие воспринимали его так же. Неприкрытый материнский восторг обычно вызывает иронию, а Цветаева была неумеренна в своем восхищении сыном, ей в нем нравилось и то, что других отталкивало. С гордостью сообщает Цветаева, что пяти-шестилетнему Муру приходится покупать одежду, предназначенную двенадцатилетним французам, что на его большую голову не лезет ни одна шапка. А между тем Саломея Андроникова писала мне, что, когда однажды пришла Цветаева с сыном, «горничная вбежала и сообщила: "Madame Zvetaeva avec

un *monstre"*. Монструазен он-таки был и верно таким остался»[151]. Нет, Мур не остался таким. Он вырос высоким, стройным, с гордо посаженной головой и красивым мужественным лицом. И интеллектуально он вырос *ее сыном:* владел русским и французским языками, отлично знал обе литературы, интересно рисовал, мечтал писать и переводить. В детстве ей казалось, что он не развит душевно, с годами это менялось. Пока же, по словам матери, он был – «terra incognita. И эту terr'y incognit'y держать на руках!» Это крохотное существо, с которым она теперь не расставалась, к которому была привязана физически и душевно, отныне становилось главным действующим лицом ее жизни, подчинившим себе все помыслы, планы, распорядок дней Цветаевой.

* * *

Перед ними вставал вопрос – что дальше?

Цветаева уже рвалась из Чехии. Она не прижилась здесь, осталась чужда чешской культуре и языку: «...ах, как жесток и дик моим ушам и устам чешский язык! – признавалась она Богенгардтам. – Никогда не научусь. И, главное, когда я говорю, они *не* понимают!» Как должны были тяготить эти вынужденные глухота и немота ее, свободно входившую в другие языки. Она не хотела для детей чешского языка —это было одним из *поводов* уехать. Но ведь в Праге у Цветаевой уже сложилась определенная человеческая и литературная среда, была реальная возможность печататься, постоянное чешское «иждивение». Этим не стоило пренебрегать. К тому же ей замечательно работалось, и, несмотря на рождение сына и вопреки быту, она успевала много писать. И все-таки ей не терпелось уехать. Почему и зачем? Причин много, и ни одна не достаточно основательна. Самым понятным кажется стремление вырваться из повседневной бытовой задавленности, освободиться от неизбежной осенней грязи по колено, заботы о топливе, топки печей, таскания воды из колодца. Романтика такой «простой» жизни – если и существует – проходит быстро. Но для этого можно было бы всего лишь переехать в Прагу. Цветаеву же тянуло в Париж. «Париж представляется мне источником всех чудодейственных бальзамов, – писал Эфрон Колбасиной-Черновой, – которые должны залечить все Маринины (раны? – *В. Ш.*), обретенные в Чехии от верблюжьего быта и пр., и пр., и пр.». И он, и Цветаева считали, что Париж откроет возможности больше выступать, печататься и зарабатывать. К этому времени Париж, а не Берлин стал центром русской

зарубежной литературной жизни, там издавались журналы и газеты, с которыми Цветаева уже была связана. Ее имя появлялось в критических статьях и обзорах всех парижских изданий. Она была известным поэтом – вне зависимости от симпатий или антипатий того или иного критика. Конкретным поводом могло служить устройство в Париже литературного вечера Цветаевой, которым Черновы соблазняли ее еще прошлой осенью. Они предлагали ей с детьми поселиться вместе с ними в их парижской квартире. Цветаева сомневалась, колебалась, боялась трудности совместной жизни. Однако она уже жила Парижем, к сентябрю вопрос о ее поездке был решен, хотя она все еще была почти уверена, что едет в гости, на время. Она завершала свои пражские дела, хлопотала с помощью Слонима о визах, о деньгах на проезд, о попутчиках, об устройстве остающегося в Праге Сергея Яковлевича. Ей было обещано, что чешское «иждивение» сохранится за ней на ближайшие три месяца.

Бессмысленно задаваться вопросом, не напрасно ли Цветаева покинула Чехию и как сложилась бы ее жизнь, останься она в Праге. Но все время, пока я старалась решить для себя вопрос – почему она так рвалась уехать, меня не оставляло чувство, что, кроме внешних причин и поводов, было что-то подспудное, глубоко внутреннее, что уводило ее. Мне кажется, ответ я нашла в «Крысолове», последней вещи, над которой Цветаева работала во Вшенорах и которую завершила уже в Париже:

– Переезд! —
Не жалейте насиженных мест!
Через мост!
Не жалейте насиженных гнезд!
Так флейтист, – провались, бережливость!
– Перемен! —
Так павлин
Не считает своих переливов...

Как флейта Крысолова – гаммельнских детей, ее собственная флейта звала Цветаеву в дорогу, требовала перемен:

– Ти-ри-ли —
По рассадам германской земли,
– Ти-ри-рам —
По ее городам
– Красотой ни один не оставлен —

Прохожу,

Госпожу свою – Музыку – славлю…

Ариадна Эфрон считала, что мысль о «Крысолове» возникла у Цветаевой в Моравской Тшебове: тихий, уютный, сохранивший средневековый облик – немецкий в центре Моравии – городок неожиданно напомнил ей о таком же тихом и уютном средневековом Гаммельне, прославившемся легендой о Крысолове. Цветаева побывала в Моравской Тшебове дважды: в сентябре 1923-го и на Рождество 1924 года. После первого посещения она писала А. Н. Богенгардт: «Часто мысленно переношусь в Тшебово, вижу маленькую площадь с такими огромными булыжниками, гербы на воротах, пляшущих святых. Вспоминаю наши с Вами прогулки, – помните грибы? И какую-то большую пушистую траву, вроде ковыля…» Трава попала в поэму, с ней ассоциируется тишина Индостана:

Как стрелок
После зарослей и тревог
В пушину́ —
В тишину твою, Индостан…

Живая тшебовская деталь в «Крысолове» – будильник. Предвкушая, как он будет «мирно и кротко спать» на лекциях, Сергей Яковлевич напоминал Богенгардтам о каких-то не дававших ему спать часах: «После трезвона Моравских часов старческий голос профессора вряд ли мне помешает». Этот трезвон, вызывая ненависть школьников к будильнику, прокатился в последней главе поэмы – «Детский рай».

Мысль о «Крысолове» мелькнула в Тшебове – и отступила больше чем на год, до времени, когда начала расти и выросла в поэму – многоплановую, многозначную и многослойную, самое значительное лироэпическое произведение Цветаевой. Устроенный, упорядоченный, самодовлеющий быт маленького городка – Моравской Тшебовы в XX, как и Гаммельна в XIII веке? Да – написанный издевательски ярко и весело, живо, на разные голоса. Напавшие на сытый город голодные крысы, почти одолевшие его своей прожорливостью, грозящие его благополучию – кто они? В гаммельнские времена крысы были стихийным бедствием, а крысоловы – обычной профессией; в Гаммельне есть музей, посвященный истории этого ремесла. Теперь же у Цветаевой собирательный образ крыс преломляется в грозящую миру «русскую» опасность – как в стихах «Переселенцами…» из «Ремесла». Но в «Крысолове» это не «белая»

(беженская), а «красная» – гораздо более агрессивная – опасность. Крысы недвусмысленно рифмуют сами себя с большевиками:

– Есть такая дорога – большак...
– В той стране, где шаги широки,
Назывались мы...

Слово не названо, но звучит в сложной тройной рифме: большак – широки – большевики – и поддерживается всеми деталями крысиных реплик. В советском издании соответствующие строки неслучайно были заменены точками. В представлении Цветаевой крысы объединили реальных коммунистов, с какими жизнь свела ее в Усмани, со всякого рода «сытыми», поразившими ее в начале нэпа. Крысы вот-вот сами превратятся в своих недавних врагов-«буржуев», бюргеров и ратсгерров, против которых когда-то боролись и которых теперь объедают. И те и другие готовы навалиться всем скопом и придавить все живое, все, что не служит их жажде накопительства. Цветаева ненавидит и тех и других и расправляется с ними с одинаковым блеском. Это – сатирическая сторона ее «лирической сатиры». Но главная, личная, лирическая цветаевская тема – искусство. Высокое искусство в соотношении с разными сторонами быта и Бытия. Искусство и быт, искусство и художник, искусство и время, искусство и нравственность – все то, что позже Цветаева разовьет в теоретических работах, явилось уже в «Крысолове», иное приглушенно, иное в полный голос, со всей присущей ей силой утверждения и отрицания.

Летом 1984 года, в семисотую годовщину трагического исчезновения гаммельнских детей, я видела в Гаммельне на городской площади представления, посвященные легенде о Крысолове. Меня поразило сходство цветаевской трактовки с традиционной трактовкой самих гаммельнцев: так же сатирически изображают они своих давних сограждан – и обывателей, и ратсгерров с бургомистром. Почти совпадал конец истории: по легенде Музыкант увел детей из города и они исчезли; Цветаева конкретизирует: он завел их в озеро и они утонули[152]. Но романтическая тема Крысолова-музыканта отсутствует в представлениях в Гаммельне. Это объяснимо: по традиции вот уже семьсот лет город оплакивает своих исчезнувших детей. Какое дело убитым горем матерям до искусства? Искусство – забота художника. Главным героем поэмы Цветаевой видится мне не Гаммельн и даже не несправедливо обиженный обывателями Музыкант, а его Флейта – та, которая ведет за собой крыс, детей и самого флейтиста. Недаром в

ремарках Цветаева подчеркивает голос не Музыканта, а Флейты:

Флейта, *настойчиво:*

Пересест!
Не жалейте насиженных мест!
Перемен!
Не жалейте надышанных стен!
Звёзд упавших – и тех не жалейте!..

Внутренняя флейта Цветаевой требовала перемен; это ей стало тесно в сжатых горами Вшенорах, в маленькой Чехии. Дело было не во внешних обстоятельствах, а в ней самой: Чехия исчерпала себя, подошло время еще раз «сменить кожу». Закончился еще один жизненный этап, подходил к концу «Крысолов», и флейта настойчиво звала в дорогу. Подтверждением того, что Цветаева ощущала отъезд из Чехословакии как завершение определенного периода, может служить сборник «После России». Она издала его через два с лишним года после Чехии; за это время было написано много стихов, но ни одно из них Цветаева туда не включила. Книга завершается последним пражским стихотворением «Русской ржи от меня поклон...». Прощаясь со славянской Прагой, может быть, Цветаева еще раз прощалась с Россией?

Ее отъезд из Праги напоминает давнее бегство Мандельштама из Александрова в Крым. Цветаева вспоминала, что Мандельштам спохватился уже после третьего звонка: «М. И.! Я, может быть, глупость делаю, что уезжаю?.. М. И. (паровоз уже трогается) – я *наверное* глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у Вас было так, так... (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) – мне никогда ни с... Мне так не хочется в Крым!» Цветаева не говорила при отъезде таких слов и, вероятно, не испытывала таких чувств. Но случилось так, будто она уехала в Париж, чтобы все последующие годы ей было по чём тосковать и куда рваться. Она оценила и полюбила Прагу из парижского далека, а может быть, в Праге сублимировалась ее тоска по родине, тоска, которую нельзя было называть, о которой можно было – и то непрямо – сказать в стихах. Но о Праге в письмах А. А. Тесковой повторялось из года в год: «О, как я скучаю по Праге и зачем я оттуда уехала?! Думала – на две недели, а вышло – 13 лет». Это написано во время работы Цветаевой над последним большим циклом «Стихи к Чехии».

* * *

1 ноября 1925 года Марина Цветаева с детьми приехала в Париж. Они поселились у Черновых на улице Руве в девятнадцатом районе. Место было не из роскошных – рабочий район – неподалеку расположены бойни, не было парка или бульвара для прогулок с Муром. Приехавший к Рождеству Эфрон так описывал их жилье: «Сижу в Марининой комнате на гае Rouvet… Внизу шумит Париж. Поминутно с грохотом проносятся поезда восточной железной дороги, которая проходит мимо нас на уровне четвертого этажа. За окном лес фабричных труб, дымящих и дважды в день гудящих»…[153] Зато дом был совсем новый, благоустроенный, трехкомнатная квартира довольно просторна, с центральным отоплением, газом и ванной. Цветаева давно не жила с таким комфортом. Дважды в неделю приходила общая с Черновыми домработница по прозвищу Крокодил, убирала, помогала стирать пеленки. Эта «цивилизация» облегчала быт и высвобождала время. Правда, было тесновато: самих Черновых четверо – Ольга Елисеевна и три дочери, но одну из комнат они отдали Цветаевой с семьей. Вскоре вышла замуж и уехала Оля Чернова.

На улице Руве жили «в тесноте, да не в обиде». Старались, чем могли, помочь друг другу. Иногда готовили по очереди и вместе ужинали. И Черновы, и их друзья жили литературой. И Ариадна – младшая из дочерей Ольги Елисеевны, и женихи всех трех сестер – Вадим Андреев, Даниил Резников и Владимир Сосинский – писали и печатались. Каждый из них напечатал по крайней мере одну статью о Цветаевой. Вся черновская квартира варилась в литературном котле – обсуждали литературные новости, читали и слушали стихи. Для всех Цветаева была признанным литературным мэтром. Вот как вспоминает жизнь на улице Руве Н. В. Резникова – тогда еще Наташа Чернова: «Цветаева вставала рано (Мур – младенец), кормила его „ишкой“, это немецко-чешская система… Потом Марина садилась к письменному столу. Была бодрая, скорей веселая, очень вежливая и подтянутая. Она „гордилась“ своей готовкой. Говорила, если хвалят мою стряпню, я больше горжусь (потому что „не мое“), чем если хвалят мою поэму (мое привычное). Часто – шутила. Никаких столкновений не было. Правду сказать, все ее любили, почитали и восхищались ею. Бывала раздражительна только с Алей. Аля была ленивой, но всегда помогала матери… С Сережей была ровная, дружески разговаривала (они были на Вы. Аля тоже говорила: Вы, мама). С Алей была в общем взыскательной, но видно было, что ценила ее. Училась Аля на каких-то курсах

„Jeanne d'Arc“ или с учительницей (о ней говорится в „Твоя смерть“). Что-то было старомодное в учении, воспитании, чтении Али»[154].

Резникова не зря упоминает, что после завтрака Мура Цветаева садилась к письменному столу: она постоянно и много работала даже в перенаселенной квартире на улице Руве; Сергей Яковлевич писал о Муре: «Работать с ним трудно, но Марина умудряется писать в его шумном присутствии». Так она «ухитрилась» кончить «Крысолова», подготовить целую серию стихов и прозы для разных периодических изданий, к концу февраля закончила статью «Поэт о критике» и приложенный к ней «Цветник».

Ни Цветаева, ни Эфрон еще не представляли себе, как сложится их жизнь в Париже и как долго они здесь останутся. Сообщения о приезде Цветаевой в газете «Последние новости» звучали противоречиво: «приехала на постоянное жительство», «переселившаяся в Париж», «только на короткий срок», «гостящая сейчас в Париже». О Сергее Яковлевиче сообщалось определеннее: «С. Я. Эфрон, редактор журнала „Своими путями“, приехал на несколько дней в Париж (8, рю Руве). На этих днях выходят 10 и 11 номера журнала, в значительной части посвященные столетию декабристов»[155]. Да, он продолжал оставаться редактором пражского журнала, членом Правления и казначеем Пражского Союза писателей и журналистов, но в Прагу больше не вернулся. Парижская жизнь захлестнула его больше, чем Цветаеву. В начале февраля 1926 года он писал В. Ф. Булгакову: «У меня (тьфу-тьфу не сглазить!) намечается сейчас интереснейшая работа в моей области. Но это секрет. Скоро все выяснится. Тогда напишу Вам ликующее письмо. Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей». Речь, без сомнения, шла о П. П. Сувчинском и князе Д. П. Святополк-Мирском, которые затевали новый литературный журнал и привлекли к редактированию Эфрона, а к «ближайшему участию» Марину Цветаеву. Через месяц вопрос о журнале был решен, и Эфрон действительно написал Булгакову «ликующее» письмо: «Сообщаю Вам *по секрету*. В Париже зачинается толстый двухмесячник (литература, искусство и немного науки), вне всякой политики. Я один из трех редакторов. Первый в эмиграции свободный журнал без всякого «напостовства»[156] в искусстве и без признака эмигрантщины. Удалось раздобыть деньги, и сейчас сдаем первый № в печать. Тон журнала очень напористый, и в Париже он произведет впечатление разорвавшейся бомбы»[157].

Относительно тона и впечатления от первого номера Эфрон оказался совершенно прав, но, к сожалению, вместо

двухмесячника журнал фактически стал ежегодником: вышло всего три номера – в 1926, 1927 и 1928 годах. Эфрон был «выпускающим» редактором и активным участником журнала, Цветаева печаталась в каждой из книг. Как и пражский «Ковчег», журнал был для них «своим», даже название «Версты» повторяло названия цветаевских сборников.

Но еще до возникновения «Верст» Цветаева и Эфрон близко сошлись с журналом «русской литературной культуры» «Благонамеренный», который начал издавать в Брюсселе молодой поэт князь Д. А. Шаховской. По направлению журнал был близок будущим «Верстам»: редактор хотел сделать его беспартийным, объективным и по возможности широким. Еще во Вшенорах Цветаева получила от Шаховского несколько приглашений участвовать в первом номере, она послала ему стихотворение «Димитрий! Марина! В мире...» и заметку из московского дневника «О благодарности». Между первым и вторым номерами «Благонамеренного» Цветаева встретилась и подружилась с Шаховским и Святополк-Мирским – оба бывали на улице Руве. Они обсуждали не только готовящиеся номера журналов, но и судьбы, и возможные пути современной русской литературы. Отношение к понятию «современная» выходило за рамки, принятые тогда в эмиграции, ибо включало и то, что появлялось в Советской России. Эта принципиальная установка на литературу как явление самоценное – вне политики, над политикой – была характерна для всех трех журналов, в которых Цветаева сотрудничала вместе с мужем: «Своими путями», «Благонамеренный» и «Версты». Такой же позиции держался и руководивший литературным отделом «Воли России» М. Слоним. Время доказало, что они были правы, что лучшее, что они находили в советской литературе, оказалось важным в общем русле современной русской литературы. В середине двадцатых годов этот взгляд был неприемлем для большой части эмиграции и вызывал тяжкие обвинения в склонности к «совдепии».

«Благонамеренный» прекратился на третьем номере: неожиданно для своих сотрудников двадцатитрехлетний князь Шаховской отошел от литературы, от мира, принял монашество и ушел в новую жизнь. Во втором номере Цветаева успела напечатать «Поэт о критике» и «Цветник». Еще в работе она читала это Святополк-Мирскому и встретила полное его одобрение. Не так давно назвавший ее в своей антологии «Русская лирика» «талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой», Святополк-Мирский по-настоящему открыл для себя поэзию Цветаевой только после личного знакомства с нею. Открыл на том самом месте, где она находилась – с «Ремесла» –

не оглядываясь на ее прошлое, не сожалея о ее прежней «простоте» и «понятности», как делали иные критики. «Имейте в виду, – писал он Д. А. Шаховскому, – что *лучше ее* у нас сейчас поэта нет...»[158] С этих пор Святополк-Мирский стал другом, почитателем и одним из немногих серьезных критиков Цветаевой. «Поэт о критике» и «Цветник» – как и статьи Мирского – произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Но это случилось чуть позже, когда Цветаева уже переехала с улицы Руве.

Жизнь на улице Руве била ключом; сутки растягивались больше чем на двадцать четыре часа, потому что времени хватало (невзирая на постоянные жалобы на его нехватку) и на детей, и на работу, и на дружеское общение. Но два основных повода приезда Цветаевой в Париж долго висели в воздухе: вечер и книга. Еще 19 ноября «Последние новости» сообщали: «Марина Цветаева, гостящая сейчас в Париже, устраивает в непродолжительном времени вечер своих стихов. Поэтесса подготовила к печати сборник „Умыслы“ – стихи с 22 по 25 год». Издатель на книгу нашелся только через год с лишним. Вечер же состоялся в феврале – первый вечер Цветаевой в Париже, возможно, вообще первый ее персональный вечер после того давнего в Москве, в студии Халютиной... Газеты объявляли его на 20 декабря 1925-го, потом на 23 января 1926 года – устроить вечер было сложно, организовать все необходимо было самим: найти помещение, заказать и «распространить» – то есть продать билеты, найти распорядителей. Цветаева получила несколько отказов, она не умела быть приятной просительницей, часто была пряма до резкости. «Самое трудное – просить за себя, – жаловалась она Шаховскому. – За другого бы я сумела». В подготовку вечера были вовлечены друзья и близкие знакомые. По просьбе Цветаевой Тескова прислала ей пожертвованное кем-то черное платье. Оля и Наташа Черновы перешили его и вышили на нем «символическую бабочку – Психею». Наконец все было налажено, объявлена окончательная дата и программа вечера: «В вечере Марины Цветаевой, имеющем быть в субботу 6 февраля, 79, рю Данфер-Рошро (помещение Союза молодых поэтов и писателей. – *В. Ш.*), в концертном отделении принимают участие: г-жа Кунелли, старинные итальянские песни; проф. Могилевский – скрипка; В. Е. Бюцов – рояль»[159]. Это газетное объявление меня поразило: привыкнув к поэтическим вечерам в Москве конца пятидесятых и шестидесятых годов, я не могла себе представить, что Цветаевой (!) для привлечения публики на свой вечер могло потребоваться «концертное отделение». Она «страховала» себя музыкой, но могла этого не делать: успех превзошел все возможные ожидания. И породил – во всяком случае у Сергея

Яковлевича – радужные надежды. По горячим следам он делился впечатлениями с В. Ф. Булгаковым:

> «9/11-1926 г.
> Дорогой Валентин Федорович,
> 6-го состоялся наконец вечер Марины. Прошел он с исключительным успехом, несмотря на резкое недоброжелательство к Марине почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием М. пресмыкаться, просить и пр., отказались в чем-либо помочь нам. И вот к их великому удивлению (они предсказывали полный провал) за два часа до начала вечера толпа осаждала несчастного кассира, как на Шаляпина. Не только все места были заняты, но народ заполнил все проходы, ходы и выходы одной сплошной массой. До 300 чел. не могли добиться билетов и ушли. Часть из них толпилась во дворе, слушая и заглядывая в окна. Это был не успех, а триумф. М. прочла около сорока стихов. Публика требовала еще и еще. Стихи прекрасно доходили до слушателей и понимались гораздо лучше, чем М<ариниными> редакторами («Совр<еменные> Зап<иски>», «Посл<едние> Нов<ости>», «Дни» и пр.). После этого вечера число Марининых недоброжелателей здесь возросло чрезвычайно. Поэты и поэтики, прозаики из маститых и немаститых негодуют. Пишу Вам о Маринином успехе – первому. Знаю, что это Вас обрадует. Газеты о нем, пока что, молчат (Ходасевич, Адамович и К°). В Париже Марининых книг нельзя достать – разошлись. Наконец-то Марина дорвалась вплотную до своего читателя. Радуюсь за нее, надеюсь, что и с бытом удастся в скором времени справиться. Пока что он продолжает быть тягостным»[160].

Вероятно, Цветаева разделяла радостные надежды Сергея Яковлевича. Во всяком случае, вечер дал ей деньги, чтобы уехать с детьми к морю. «Все, что я хочу от „славы“ – возможно высокого гонорара, чтобы писать дальше. И – тишины», – говорила она.

Но до моря была еще поездка в Лондон – впервые за годы Цветаева на две недели очутилась одна в чужом городе, без детей, без домашних забот. Что мы знаем об этой поездке? Цветаева выступила на вечере современной русской поэзии. «Я буду философствовать, а Марина Ивановна будет читать стихи, свои и чужие», – сообщал организовавший эту поездку Святополк-

Мирский[161]. Важной была для Цветаевой переписка с Д. А. Шаховским, присылавшим из Брюсселя корректуру «Поэта о критике». Она читала, исправляла, беспокоилась о потерянных страницах и об опечатках. Цветаева всегда болезненно воспринимала опечатки и сама тщательно правила корректуру. Отношения с Шаховским-редактором складывались на самом высоком уровне уважения и взаимопонимания. Оставалось время и для прогулок по Лондону, восхитившему Цветаеву, но удивившему своим несходством с диккенсовским.

Здесь она прочла первую прозаическую книгу О. Мандельштама «Шум времени». Вероятно, книга попала к ней от Святополк-Мирского, который только что напечатал о ней в «Современных записках» и «Благонамеренном» восторженные рецензии: «Мандельштам действительно слышит „шум времени“ и чувствует и дает физиономию эпох. Первые две трети его книги, посвященные воспоминаниям о довоенной эпохе, с конца 90-х годов, несомненно гениальное произведение, с точки зрения литературной и по силе исторической интуиции»[162]. Однако у Цветаевой книга вызывает возмущение; она пишет Шаховскому: «Сижу и рву в клоки подлую книгу М<андельштама> „Шум Времени“». Что это значит? И почему – подлую? «Рву в клоки», разумеется, – не буквально: Цветаева пишет обличительную статью против Мандельштама и его книги. Чем же он вызвал столь сильное негодование и столь резкие слова? Не из духа же противоречия обрушивалась Цветаева на то, что превозносил Святополк-Мирский? В поисках ответа я просила А. С. Эфрон показать мне эту рукопись из ее архива. Выяснилось, что беловой рукописи нет; ко времени нашего разговора Ариадна Сергеевна не знала, существовала ли она вообще[163]. При просмотре черновика ей показалось, что Цветаеву больше всего задело ироническое, якобы неуважительное отношение Мандельштама к «какому-то ротмистру и его больной сестре» из главы «Бармы закона» – в «Шуме времени» это реальное лицо, военный инженер и поэт, полковник А. В. Цыгальский.

Да, Цветаевой было свойственно ринуться на защиту несправедливо обижаемых, даже если обида ей померещилась. И если бы речь шла лично о полковнике Цыгальском, можно было бы подумать, что Цветаева прочитала «Шум времени» «второпях»: прикрываясь легкой иронией, Мандельштам нарисовал портрет человека истинной боли за Россию, светлой душевной доброты, одинокого среди окружающей его нелюди, взбодренной «возможностью безнаказанного убийства». Полковник Цыгальский не нуждался в защите от поэта Мандельштама...

Но меня поразили в устах осторожной и сдержанной Ариадны

Сергеевны – тем более что разговор происходил по телефону – слова, что Мандельштам, по мнению Цветаевой, «продался большевикам». Они допускают лишь однозначное толкование: Цветаеву возмутило резко отрицательное отношение Мандельштама к Добровольческой армии. В этом выразилась разница их жизненного опыта: для нее Добровольчество было *идеей,* воплотившейся в ее муже; для Мандельштама – страшной *реальностью.* Столкнувшись с белыми вплотную, побывав во врангелевской тюрьме, откуда, кстати, вызволил его полковник Цыгальский, Мандельштам увидел Белое движение изнутри, в процессе разложения (о чем позже писал и С. Я. Эфрон), понял невозможность его удачи и расценил как окончательно провалившееся. «Полковник Цыгальский нянчил… *больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, – орла добровольческой армии»* (выделено мною. – *В. Ш.*) — разве могла Цветаева стерпеть такое развенчание белой идеи? К тому же «бармы закона» спасают, по Цыгальскому в пересказе Мандельштама, «не добровольцы, а какие-то рыбаки в челноках…». В этом – к счастью, несостоявшемся – споре столкнулись два разных мироощущения, и если бы он состоялся, романтизм Цветаевой потерпел бы поражение, ибо Мандельштам оказался прав: добровольческое движение кончилось крахом. Но толчок был дан, «Шум времени» вернул ее к мыслям о Белом движении. Она начала работать над стихотворением «Кто – *мы?* Потонул в медведях…»:

Всю Русь в наведенных дулах
Несли на плечах сутулых.

Не вывезли! Пешим дралом —
В ночь, выхаркнуты народом!..

Когда-то, еще в Москве, Цветаева намеревалась стать историографом Добровольчества: «Белый поход, ты нашел своего летописца». Летом 1928 года на основе дневников Сергея Эфрона времен Гражданской войны она начинает поэму «Перекоп». Это не история в прямом смысле, а гимн – как и «Лебединый Стан». Цветаева и не могла бы писать историю – не только из-за своей, как она выразилась, «безнадежно неизлечимой слепости», а потому, что была не историком, а поэтом, человеком не фактов, а чувств и страстей. Поэма посвящена одному – победному! – эпизоду крымской эпопеи: разгрому красных у Перекопа. Победе предшествовало тяжкое многомесячное «сидение» добровольцев на Перекопском перешейке – с голодом, тоской, сомнениями

одних и непреклонностью других. Всё это стремится воссоздать Цветаева; в небольших главках перед читателем проходит разношерстная масса добровольцев от солдат до главнокомандующих: Брусилова, перешедшего на сторону большевиков, и нынешнего – генерала Врангеля:

Вот он, застенков
Мститель, боев ваятель —
В черной чеченке,
С рукою на рукояти

Бе-лого, пра-вого
Дела: ура-а-а!

Ситуация, быт, настроения и чувства «перекопцев» переданы достоверно, Цветаева не смущается писать о солдатах и офицерах-перебежчиках – из песни слова не выкинешь. Героический пафос поэмы зиждется не на отрешении от реальности, а на преодолении ее героическим духом добровольцев. «Перекоп» кончается громкой победой – удивительно, как, пережив трагедию окончательного поражения Добровольчества, Цветаева сумела отрешиться от этого последующего знания и передать силу и радость той победы[164].

С летописью Добровольчества связана и трагическая маленькая поэма «Красный бычок», посвященная ранней смерти одного из «молодых ветеранов». Стараясь осмыслить эту смерть, Цветаева бросает ретроспективный взгляд на Гражданскую войну в целом:

Длинный, длинный, длинный, длинный
Путь – три года на ногах!
Глина, глина, глина, глина
На походных сапогах.

«Дома», «дома», «дома», «дома»,
Вот Москву когда возьмем...
Дона, Дона, Дона, Дона
Кисель, смачный чернозем...

Красный бычок на зеленой траве, явившийся умирающему в предсмертном сне, для Цветаевой ассоциируется с образом «красной» смерти:

Я – большак,
Большевик,
Поля кровью крашу.
Красен – мак,
Красен – бык,
Красно – время наше!

Но и «Перекоп», и «Красный бычок» писались позже – в 1928—1929 годах. Теперь же вместо «ответа Мандельштаму» Цветаева подвела свой трагический итог Добровольческому движению. «Кто – *мы?* Потонул в медведях...» – стихи о поколении белогвардейцев. Стихи полемичны. «Кто – *мы?*» — не вопрос, а начало ответа тем, кто сочиняет и повторяет небылицы о добровольцах. Цветаева бросается в спор:

С шестерней, как с бабой, сладившие —
Это мы – белоподкладочники?
С Моховой князья да с Бронной-то —
Мы-то – золотопогонники?

Замечу, что на Моховой в Москве находился университет, а на близких к нему Бронных улицах селились бедные студенты.

Баррикады в Пятом строили —
Мы, ребятами.
– История...

Необычная точка зрения: те, кто участвовал в революции 1905 года, в Гражданскую воевали в Белой армии. Но больше, чем история, Цветаеву волнует настоящее «молодых ветеранов», неизбывно-горькая судьба поколения, потерявшего все, разбросанного по миру в поисках работы («Кто *мы?* да по всем вокзалам! Кто *мы?* да по всем заводам!», «Гробокопы, клополовы», «Судомои, крысотравы»), поколения без почвы под ногами, без поддержки, судьба людей, живущих, умирающих, сходящих с ума от тоски по России и прошлому, где они что-то значили. К их числу относился ее собственный муж.

Баррикады, а нынче – троны.
Но всё тот же мозольный лоск.
И сейчас уже Шарантоны
Не вмещают российских тоск.

Мрем от них. Под шинелью драной —
Мрем, наган наставляя в бред...
Перестраивайте Бедламы:
Все – малы для российских бед!

Бредит шпорой костыль – острите! —
Пулеметом – пустой обшлаг.
В сердце, явственном после вскрытья —
Ледяного похода знак.

Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – *там:*
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.

Верная себе, Цветаева славила побежденных. Никто в русской поэзии с такой любовью, гордостью, восторгом и болью не написал о Добровольчестве, никто не сумел так воспеть и оплакать его.

«Кто – *мы?* Потонул в медведях...» она дописывала в Вандее – последнем оплоте французских «добровольцев» времен Великой революции. Отчасти поэтому Цветаева выбрала Вандею. Она с детьми переехала сюда в конце апреля 1926 года и прожила в маленькой деревушке St. Gilles-sur-Vie почти полгода. Ей хотелось к морю, которое она все еще надеялась полюбить, казалось необходимым вывезти детей, особенно Мура, из Парижа, дать отдых Сергею Яковлевичу. Она уже рвалась из квартиры на улице Руве. Жалобы на жизнь там зазвучали в ее письмах почти сразу по приезде в Париж – явно несправедливые по отношению к Черновым, делавшим все, чтобы гости чувствовали себя свободно и уютно. Цветаеву угнетало отсутствие отдельной комнаты и тишины, так необходимых для работы – «пустой комнаты с трехаршинным письменным столом, – хотя бы кухонным!»:

Хоть бы закут —
Только без прочих!
. . . . . .
Для тишины —
Четыре стены.

Тишины было мало в тесно населенной квартире да и вообще в жизни Цветаевой – какая же тишина при двух детях? Ее жалобы

на жизнь на улице Руве проще всего было бы объяснить неблагодарностью, но мне они кажутся явлением другого порядка. Той же О. Е. Колбасиной-Черновой она писала из Чехии: «Право на негодование – не этого ли я в жизни, втайне, добивалась?» Она дорожила самой возможностью негодовать: «негодование – моя страсть». Жалобы первых парижских месяцев – этого рода. Они отражают не столько реальное положение ее семьи – еще относительно благополучное – сколько внутренний протест Цветаевой против жизни, любой формы быта. Бунт составлял часть ее душевного мира и в какой-то степени питал ее высокую романтику.

Чего реально не хватало на улице Руве – природы. В любом месте Цветаева находила ручей, гору или дерево, которые можно было любить, как куст можжевельника, встречавший ее на горе в Мокропсах, о котором она писала Пастернаку в 1923 году, который вспоминала еще и в письме к Тесковой накануне возвращения в Советский Союз. В Париже, лишенная всего этого, она с тоской ощутила, как важны для нее лес, горы, деревья, возможность пеших прогулок... Отъезд в Вандею был и возвращением к природе. Поначалу Цветаевой нравилось все: старинность быта и обращения жителей, суровость природы, пустынность просторов. В рыбацком поселке она снимала двухкомнатный домик с кухней. Воду надо было брать из колодца, зато были газ и крохотный садик, где «пасся» учившийся ходить Мур. «Жизнь простая и без событий, так лучше. Да на иную я и неспособна. Действующие лица: колодец, молочница, ветер. Главное – ветер...» – в этих словах из письма Колбасиной-Черновой чувствуется умиротворение. Цветаева тоже отдыхала – значит, много и хорошо работала.

В Вандее застигла ее газетно-журнальная буря, вызванная только что появившимся «Поэтом о критике». Такого количества и горячности отзывов не удостоилось, кажется, никакое другое ее произведение. Странным образом многие почувствовали себя обиженными – не только те, которых она упомянула в статье. Может быть, «Поэт о критике» и не заслуживал бы специального разговора, ибо поздние ее работы – «Поэт и Время», «Искусство при свете Совести», «Пушкин и Пугачев» – более глубоко продуманы и цельны. Но эта первая попытка Цветаевой вслух осмыслить понятие поэзии в свете своего опыта возникла из желания разобраться в принципах и подходе современной критики к литературе. У нее самой уже был опыт критика: «Световой ливень» (о стихах Б. Пастернака), «Кедр» (о книге С. М. Волконского «Родина»), «Герой Труда (Записи о Валерии Брюсове)». Читая современную критику, Цветаева обнаружила,

что литература как искусство если и интересует критиков, то во вторую, третью – в последнюю очередь. Как пример необязательной, противоречивой и безответственной критики она составила «Цветник» из цитат, выбранных у Г. Адамовича, сопроводив его весьма язвительными комментариями. «Цветник» явился иллюстрацией к основным положениям цветаевской статьи. Он задевал не только Адамовича, но и других «отписывающихся» критиков, которых Цветаева характеризовала как «критик-дилетант», «критик-чернь». Тон «Поэта о критике» и «Цветника» был резким, подчас озорным, но по существу статья была верной – и потому особенно возмутительной. Цветаева отвергала тех, кто к литературе подходит с меркой не искусства, а политики: «Резкое и радостное исключение – суждение о поэтах не по политическому признаку (*отсюда* — тьма!) – кн. Д. Святополк-Мирский. Из журналов – весь библиографический отдел «Воли России» и «Своими Путями»». Ясно, что Цветаева говорит лишь о вмешательстве политического подхода в восприятие поэзии – ни слова о самой политике. Не так читает ее статью Антон Крайний (этим псевдонимом подписывала свои статьи Зинаида Гиппиус), чей отклик «Мертвый дух» – пример того, как был принят «Поэт о критике». «Мертвый дух» заострен против сменовеховства, в котором обвиняется и «Благонамеренный». Антон Крайний намеренно искаженно пересказывает положения «Поэта о критике». Цветаева писала там, что З. Гиппиус, говоря о Пастернаке, демонстрирует «не отсутствие доброй воли, а наличность злой» – «Мертвый дух» подтверждает это. А. Крайний обращает внимание на слова Цветаевой о Святополк-Мирском. «Политика? – восклицает А. Крайний и отвечает якобы от имени Цветаевой: – Смерть политике! „От нее вся тьма“ – здесь кавычки должны обозначать цитату из Цветаевой. И следом риторический вопрос: – Не ее ли темное дело – различать большевиков и не-большевиков?»[165] Нельзя не заметить, что Цветаева не касается ни политики, ни большевиков, это-то и раздражает А. Крайнего, он не принимает взгляда на искусство вне политики или какой бы то ни было иной заданности. Отвечая на вопрос «для кого я пишу?», Цветаева утверждала: «Не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь, путем меня, сама себя пишет». Этот основной принцип ее творчества не устраивал ни эмигрантскую, ни марксистскую критику. В ответ на «Поэта о критике» на Цветаеву посыпалась брань, зачастую опускавшаяся до «личностей». Александр Яблоновский в фельетоне (статьей это назвать никак нельзя) «В халате» пишет о «домашней бесцеремонности», отсутствии «чутья к дозволенному и

недозволенному» и изображает ее некой «барыней» «с собачкой под мышкой», покрикивающей на кухарку: «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто бы в ванную комнату пришла»[166]. Антон Крайний притворно жалеет Цветаеву: «Я не сомневаюсь в искренности М. Цветаевой. Она – из обманутых (сменовеховцами. – *В. Ш.*); но она точно создана, чтобы всегда быть обманутой, даже вдвойне: и теми, кому выгодно ее обманывать, и собственной, истерической стремительностью».

«Истерическая стремительность», «всезабвенность» (из статьи того же А. Крайнего о сборнике «Версты»), «духовное пустоутробие» и «озорство» (из отзыва Петра Струве)[167]; даже доброжелательный М. Осоргин увидел в «Поэте о критике» «литературную выходку» и «провинциальные интимности» – «цветаевские длинноты о самой себе»[168]. Никто не дал себе труда заметить, что на глазах возникает принципиально новая форма общения с читателем, что цветаевская «распущенность» – на самом деле – литературное открытие, родственное когда-то вызвавшей бурю «домашности» В. В. Розанова. Это стало стержнем ее прозы: Цветаева обращается к читателю от имени собственного «я», без посредничества безликого «мы». Она доверительно вводит его в свой интимный мир, в «тайное тайных», где начинается процесс творчества или – в эссе о детстве – где является самосознание человека. Это проявление доверия к читателю, распахнутости, а отнюдь не «провинциальность» или «всезабвенность». Для Цветаевой естественно поддержать ход своих рассуждений наиболее убедительно – собственным опытом создания стихов и восприятия чужого творчества. Идея не была ее индивидуальным открытием, она носилась в воздухе (ближайшие примеры – проза О. Мандельштама, «Охранная грамота» Б. Пастернака, «Как делать стихи?» В. Маяковского), и все же Цветаева «заскочила» вперед. Интересно, что показания ее и Маяковского о рождении стиха, его возникновении из «гула» совпадают – свидетельство достоверности и точности их самонаблюдений. Тех, кто любит поэзию, не может не волновать чудо ее возникновения, тайна, отделяющая поэта от простого смертного; Маяковский и Цветаева дают нам прикоснуться к тайне, приоткрывают психологию чуда. Критикам Цветаевой казалось диким обращение к собственным мыслям и чувствам, ее непосредственность и открытость перед читателем. Как Маяковского в саморекламе и «ячестве», ее обвиняли в нескромности. Прошедшие десятилетия показали, что Цветаева была права, что такое общение с читателем вошло в обиход, стало особенно привлекательным.

Когда я думаю о той непóнятости, которой окружали Цветаеву современники, я испытываю двойственное чувство: горечи и удовлетворения. Горечи – за человека, достойного жить в окружении признания и славы. Удовлетворения – за Поэта, преодолевшего Время, ставшего современником своим внукам. Непонятость и недостаточная признанность Цветаевой кажутся мне естественными. Гиппиус не зря отметила стремительность Цветаевой. За нею, и правда, трудно было угнаться. Она жила в постоянном творческом движении, менялась, одну за другой сбрасывала поэтические «шкуры», оправдывая провидение Волошина о десятке поэтов в ней. Тем, кто успел привыкнуть и примириться с сегодняшней Цветаевой, она представала назавтра новым ликом, опять становясь неуловимой и непонятной. Это выбивало из колеи, читатели и критики не поспевали за ней, останавливались на полдороге. М. Осоргин в статье «Поэт Марина Цветаева»[169], объясняясь в любви к ней, называя ее «лучшим сейчас русским поэтом», писал, что «простодушные читатели... ее побаиваются», и признавался: «Ее стародавнюю книжку стихов в бархатном переплете (речь идет о „Волшебном фонаре“, 1912. – *В. Ш.*) я все же всегда предпочту весьма музыкальной нелепости «Крысолова»...» Если писатель, профессиональный критик видит в «Крысолове» лишь «музыкальную нелепость» и, не пытаясь вникнуть ни в ее философский смысл, ни в удивительное мастерство построения, ни в поэтические открытия, возвращается к детским стихам Цветаевой – чего же требовать от «непосвященных»? Должно было пройти время, чтобы мы научились читать и понимать Цветаеву. Она была поэтом не только вне политики, вне литературы, но и вне времени – любого:

Ибо *мимо* родилась
Времени!..

Поэт вне времени – на все времена – Цветаева оказалась не по росту многим своим современникам.

Не буду вдаваться в подробности критических отзывов о работе Цветаевой, остановлюсь лишь на оценке ее Г. Адамовичем – именно он годы, даже десятилетия был законодателем и выразителем господствующего мнения о поэзии, к его голосу прислушивались читающая публика и писательская молодежь. Адамовича принято считать «капризным» и непоследовательным критиком, но в отношении Цветаевой он оказался удивительно последовательно-неприемлющим. Можно понять, что ему чуждо то, что делала Цветаева, можно принять его право говорить и писать об этом, но тон, которым он постоянно о ней отзывался,

недопустим. Адамович говорит о Цветаевой иронически и пренебрежительно, аттестуя ее то «московской барышней», то «поэтической Вербицкой», то по поводу ее «болтовни» вспоминая о «вечно бабьем». Громкость, страстность, напор ее стихов воспринимаются им как искусственная экзальтация и истерия, ее прозу он прямо называет «кликушеской». Его раздражает цветаевская лексика, цветаевский синтаксис – все, выходящее за пределы правил, не укладывающееся в рамки словарей и учебников: избыточность тире, вопросительных и восклицательных знаков, enjambement. «Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не сознаться: я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, это совсем плохие вещи. У Цветаевой нет никакой выдержки: она пишет очень много, ничего не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгает. Но все-таки ей (Адамович удивляется! – *В. Ш.*) — одной из немногих! – дан «песен дивный дар» и редкий, соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести». «Цветаева никогда не была разборчива или взыскательна, она писала с налета...» «Марина Цветаева, если бы она пожелала выработать у себя подлинный стиль, если бы она не довольствовалась первой попавшейся, кое-какой фразой...»[170] Каким-то странным образом Адамович, считавшийся тонким знатоком и ценителем поэзии, оказался абсолютно глух и слеп в отношении Цветаевой, не мог или не хотел понять, что она – другая и судить о ней надо по другим законам. Но откуда он взял и почему позволял себе публично утверждать, что она не работает над своими вещами? Она, у которой варианты строк часто насчитываются десятками... По стопам мэтра и литературная молодежь позволяла себе писать о Цветаевой в неуважительном, подчас издевательском тоне – пример тому первый номер литературного журнала «Новый дом» под редакцией Нины Берберовой, Довида Кнута, Юрия Терапиано и Всеволода Фохта – писателей нового поколения, с легкой руки В. С. Варшавского называемого «незамеченным»[171]. В двух статьях журнала упоминается Цветаева – в статье Вл. Злобина о первом выпуске «Верст» и Всеволода Фохта об очередном номере «Воли России». Разделавшись с проблемой связи «Верст» с большевиками, Злобин перешел к проблеме «нового темперамента». Цветаева без обиняков помещена им в публичный дом: «...следовало бы вместо поднятого над журналом красного флага повесить красный фонарь. Тогда сразу бы многое объяснилось... О Марине Цветаевой нечего говорить. Она-то, во всяком случае, на своем месте...» Злобин имеет в виду «Поэму

Горы» и цитаты из поэмы перемежает цитатами из советской прессы по поводу сексуальной «свободы» молодежи. Фохт сообщает, что от стихов Цветаевой «у читателя остается только тягостное ощущение не то мистификации, не то просто бессилия» и, подобно Злобину, обвиняет ее «в распущенности и в болезненной эротике»[172]. Справедливости ради отмечу, что не все молодые стояли в оппозиции к Цветаевой. «Новый дом» вызвал скандал на очередном заседании Общества молодых писателей и поэтов, где Вадим Андреев и Владимир Сосинский пытались организовать протест против недопустимого тона журнала. Официально сделать это им не удалось, председатель не дал слова ни тому ни другому. Газета «Дни» поместила заметку об этом инциденте: «В конце концов г. Сосинский все-таки произнес короткую нервную речь от себя и от имени единомышленников. Он заявил, что в „Новом доме“ под видом критики допущены лютые выпады и оскорбления:

– Мы клеймим редакцию этого журнала, считаем позором ее поведение... Пусть эти слова редакция «Нового дома» примет, как публичную ей пощечину...

Со стороны публики неслись возгласы:

– Женщина в лице Марины Цветаевой оскорблена...»[173]

Но защитники и поклонники Цветаевой среди парижских молодых – и немолодых – писателей были в абсолютном меньшинстве. Ю. П. Иваск в письме ко мне вспоминал о своем посещении Парижа в декабре 1938 года и о встречах с поэтами на Монпарнасе:

> «– Вы знаетесь с Цветаевой! Ха-ха!
> – Она не подымает на плечи эпоху!
> – Как она не устанет греметь... Нищая, как мы, но с царскими замашками. Ха-ха!»

В этом было дело. Жизненная сила Цветаевой, безмерность ее чувств и голоса были молодому поколению не по плечу. После пережитых катаклизмов, выброшенным из одной жизни и не нашедшим места в другой, им, может быть, больше всего хотелось обрести покой, тишину, уют. Вероятно, они находили это у «тишайшего» поэта (определение заимствую у автора заметки «Цех поэтов» в «Звене». – *В. Ш.*) Георгия Адамовича, провозгласившего в поэзии аскетизм, непритязательность, негромкость. Он заявлял о «тщете всего стихотворного делания со времен Пушкина. Он отвергает всякий словесный „маньеризм“, игру внешними приемами, звуковыми и образными»[174]. Вокруг Адамовича сгруппировались парижские молодые поэты, которым были близки его устремления. Это направление получило

название «парижской ноты», выражавшей как бы изначальную усталость и жалость к себе и к миру поэтов, многим из которых действительно приходилось вести тяжелую трудовую жизнь. В стихах и в общении друг с другом находили они выход из душевного тупика. Героика, романтика, приподнятость тона Цветаевой, необычность ее ритмов, сложная метафоричность разрушали любое представление о покое и уюте, казались чересчур громкими, мешали. «Можно не любить ее слишком громкого голоса, но его нельзя не слышать», – писал К. Мочульский[175]. Никто не хотел замечать, что и у Цветаевой есть «тишайшие» стихи. Над ней смеялись. Кто-то обозвал ее «Царь-Дурой», и это прозвище прижилось и повторялось.

Собственно говоря, это была нелюбовь взаимная. Если «парижан» отталкивала высокая романтика Цветаевой, устремленность прочь от земного, ввысь, то ведь и ей была чужда их приземленность, ограниченность их поэтического мира, полушепот голосов. Вклинивался сюда и индивидуализм Цветаевой, неприемлемость для нее никаких «школ», «нот», никакой «цеховой солидарности» и «соборного труда». С той только разницей, что в суждениях о литературе она не опускалась до грубости и «личностей». Я бы сказала, что удовлетворение победило во мне чувство горечи, ибо хулители Цветаевой забыты или полузабыты и останутся разве что в истории литературы, а она воскресла и живет в творчестве, – если бы тогда, при ее жизни, в их руках не оказалась возможность печататься и зарабатывать литературным трудом. Будь у Цветаевой еженедельный «фельетон», как у Г. Адамовича, Г. Иванова, В. Ходасевича, она, вероятно, сетовала бы на судьбу, отнимающую у нее еще время, но жила бы спокойнее и легче. Странно думать, что за 14 парижских лет Цветаевой удалось издать всего одну книгу...

Почему Цветаева не ввязалась в полемику вокруг «Благонамеренного» и «Верст», которые в какой-то степени были для нее «своими»? Неужели ее не волновало мнение читающей публики и критика была совершенно безразлична? Конечно, нет. Ей важны были и понимание читателя, и оценка собратьев по перу. Непонимание и несправедливость огорчали ее, выводили из состояния равновесия. Но в трудных ситуациях ей помогал избранный ею жизненный девиз: Ne daigne. Не снисхожу. Он ставил все на свои места: не снисхожу до вашего непонимания, до ваших претензий, до вашей брани. Высказав то, что она считала нужным, Цветаева не снизошла до полемики. К тому же в противостоянии критике у нее теперь был союзник, друг, брат, понимавший и принимавший каждый звук в ее стихах, – Борис

Пастернак.

Пастернак

Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех.

Марина Цветаева – Борису Пастернаку

В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения.

Борис Пастернак – Ариадне Эфрон

В жизни Цветаевой отношения с Борисом Пастернаком явились уникальными, не похожими ни на какие другие. Если с героями ее увлечений все казалось – и оказывалось – преувеличенным, то теперь, даже поднимаясь на самые гиперболические высоты, чувства оставались вровень им обоим – и Цветаевой, и Пастернаку. Свалившись летом 1922 года, как снег на голову, первым письмом Пастернака и его книгой «Сестра моя – жизнь», отношения видоизменялись: то, как море, завладевали всей жизнью до самого горизонта, то превращались в едва бьющийся, но живой родник, – но никогда не иссякли совсем, протянулись до их последних дней. Можно с уверенностью сказать, что в жизни Цветаевой это были самые значительные человеческие отношения. И с уверенностью – что для нее они были значительнее, чем для Пастернака.

Они не укладываются в обычные мерки. Была ли то страсть или дружба, творческая близость или эпистолярный роман? Все вместе, неразрывно, питая и усиливая одно другое. В их отношениях каждый предстает в полном объеме своего человеческого облика и возможностей. Это удивительно, ибо в плане реальном: жизненных встреч, бытовых подробностей – связь Цветаевой с Пастернаком выглядит эфемерной, придуманной – полетом фантазии.

Несколько – всегда случайных – встреч в Москве, до отъезда Цветаевой. Внезапное потрясение поэзией: Пастернака – «Верстами», Цветаевой – «Сестрой...». Восторг, чувство невероятной близости и понимания, настоящая дружба через границы – в стихах и письмах. Дважды – разминовение в Берлине: когда Цветаева уехала, не дождавшись его приезда, и когда она не смогла приехать проститься с Пастернаком перед его возвращением в Россию. Планы встреч – заведомо нереальные, но внушающие надежды и помогающие жить: летом 1925 года в Веймаре, городе обожаемого обоими Гёте. Конечно, не состоялось. Снова: в 1927 году вместе поедем к Райнеру Мария Рильке – тому, кто в современности олицетворял для них Поэзию. И не могло состояться – не только потому, что Рильке умер в последние дни 1926 года, но и потому, что в какой-то момент Цветаева отстранила Пастернака, захотела владеть этой любовью одна... После смерти Рильке Цветаева опять мечтает: «...ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон. Строй на Лондон, строй Лондон, у меня в него давняя вера». Нужно ли говорить, что и с Лондоном ничего не вышло?

Заочные, заоблачные отношения с Пастернаком стали существеннейшей частью жизни Цветаевой. Воспользовавшись выражением Эфрона, можно сказать, что Пастернак «растопил печь» сильнее, чем кто бы то ни было. Пастернаковский «ураган» несся с огромной силой вне конкретности встреч и расстояний. Духовное пламя пылало ярче и дольше, чем «растопленное» Родзевичем и другими. Сама Цветаева связала ощущение от встречи с Пастернаком с огнем. Получив «Темы и вариации», она писала ему: «Ваша книга – ожог... Ну, вот, обожглась, обожглась и *загорелась,* — и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один» (выделено мною. – *В. Ш.*). Из этого огня рождались стихи, поэмы, письма, полубезумные мечты о жизни вместе – где, каким образом? Как увязать это с тем, что у каждого семья, дети? Что они разделены границей, становящейся все менее преодолимой?

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —
Буду ждать тебя...

Не «лирика» – ожиданье, растянувшееся на годы. Так когда-то, когда он был в Белой армии, Цветаева ждала мужа. В обращенном к Пастернаку цикле «Провода» мелькнул образ «далей донских», как бы случайно заскочивший из «Лебединого

Стана» в чешские Мокропсы.

Стихотворный «пожар», вызванный дружбой с Пастернаком, продолжался много лет, начиная с берлинского «Неподражаемо лжет жизнь...» вплоть до написанного в 1934 году стихотворения «Тоска по родине! Давно...» – в общей сложности около сорока вещей. Стихи, посвященные Пастернаку, навеянные его личностью, поэзией, перепиской с ним, представляют собой огромный монолог, в котором изредка угадываются реплики адресата. Этот монолог растекается по разным руслам, охватывает все основное в мироощущении Цветаевой, в том числе и «мнимости», которые составляли самое существо и смысл ее жизни: душа, любовь, поэзия, Россия, разлука. Эти «мнимости» также важны Пастернаку – она была в этом уверена. Стихотворный поток предназначался из души в душу, не боясь чужого глаза, границ, непонимания. Адресат – всего лишь повод, чтобы стихи явились: Пастернак был лучшим из таких поводов, с ним она могла говорить, как с самой собой. Она воспринимала его как своего двойника и была уверена, что он читает все именно так, как она пишет. Пастернак был избран ею в идеальные читатели, и не обманул ее ожиданий. Был ли он тем Борисом Пастернаком, которого знали окружающие, которого мы теперь представляем себе по его опубликованной переписке, по воспоминаниям о нем? Я думаю, что с живым, но «заочным» Пастернаком Цветаева поступила, как поступала с поэтами в своих эссе-воспоминаниях: высвобождая из-под шелухи обыденного, строя свое отношение на сущности и отметая все мелкое, этой сущности чуждое. В Пастернаке главным был – Поэт, собрат, «равносущий» в «струнном рукомесле», способный откликаться на любой ее звук. И потому ее монолог к нему ширился, видоизменялся, оборачивался то восторгом, то торжественной речью, то страстным признанием и призывом, то рыданием. Накал страсти достигает предела в одном из самых драматических цветаевских циклов – «Провода». Лирическая героиня кидается от отчаяния к надежде, голос переходит с крика на шепот, ритм рвется, передавая прерывистую речь человека, спешащего высказать самое важное, задыхающегося от окончательности произносимых слов, от спазм, сжимающих горло:

Чтоб высказать тебе... да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные... Сердце – шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира!

«Всё плакали, и если кровь болит...
Всё плакали, и если в розах – змеи...»
Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее!

Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо *небывших!*

Какие чаянья – когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
Раз Наксосом мне – собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!

Тщета! во мне она! Везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дня! И дата
Лжет календарная...
Как ты – Разрыв,
Не Ариадна я и не ...
– Утрата!

О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!)
Я про́воды вверяю провода́м,
И в телеграфный столб упершись – плачу[176].

Написанные в марте 1923 года, когда их эпистолярно-поэтический роман лишь начинался, эти стихи уже «накликивали» беду, несмотря на то, что первое же письмо Пастернака не оставляло сомнений – она нашла родную душу! «Сестра моя – жизнь», а вслед за ней «Темы и вариации» подтверждали это. Родная душа-Поэт – ни с чем не сравнимое счастье, страшно было спугнуть и потерять его. Может быть, в этом подсознательная причина предчувствия разлуки? Дорвавшись до родной души, Цветаева жаждет с ней слиться, отдать ей свою. Для нее, как всегда, отдать важнее, чем присвоить. Она делает это в стихах – проза и письма не могут вместить беспредельности и интенсивности ее чувств. «Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь!» – пишет она Пастернаку, обещая «сделаться большим поэтом». И в другом письме: «Сумейте, наконец, быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (*читайте*

внимательно!!!), чтоб сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!» Прорвой «хлестали» стихи, и Пастернак сумел быть таким, каким хотела его видеть Цветаева, он брал так же щедро, как она давала. Его восторг перед ее поэзией, его отклики на все, что она ему посылала, сторицей возмещали недооценку критиков, еще усугублявшую остро ощущавшийся Цветаевой отрыв от мира. Пастернак связывал ее с тем миром, где оба они были небожителями.

Кульминация их отношений приходится на весну и лето 1926 года, когда, неожиданно для них обоих, Рильке стал участником их переписки. Его заочное присутствие придало их чувствам еще бóльшую остроту и напряженность: Пастернак просит Цветаеву решить, может ли он приехать к ней сейчас или нужно ждать год, в течение которого он надеялся устроить свои московские дела. Тогда же, 18 мая 1926 года, он написал первое обращенное к ней стихотворение-акростих «Мельканье рук и ног, и вслед ему...». По сравнению с Цветаевой Пастернак гораздо скупее на выражение чувств в стихах: между 1926 и 1929 годами он написал ей три стихотворения. Скупее – и сдержаннее. «Пастернаковские» стихи Цветаевой органически сливаются с ее письмами к нему, это общая «прорва» ее безмерных чувств. Адресат – идеальная пара лирической героини, оторванная от нее волею судьбы. Эта мысль пронизывает все, что писала Цветаева к Пастернаку.

Рас-стояние: вёрсты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав

Вдохновений и сухожилий...

«Сплав вдохновений и сухожилий» – та идеальная, несбыточная близость, которой не суждено осуществиться; Цветаева находит подтверждение в трагических «разрозненных парах» древности. Ее стихи полны страсти и тоски, боль разлуки чередуется с надеждой на встречу:

Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад...

Если не здесь, в земном измерении – то во сне:

Весна наводит сон. Уснем.

Хоть врозь, а все ж сдается: всё
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.

Она уверяет его – и себя – что они могут быть счастливы: «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы – и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже *весь в нас».* Да, в другой жизни – наверняка:

Дай мне руку – на весь тот свет!
Здесь – мои обе заняты.

Она повторяет это неоднократно. Посвящая Пастернаку цикл «Двое» (вариант названия – «Пара»), Цветаева писала: «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении – Борису Пастернаку».

Брат, но с какой-то столь
Странною примесью

Смуты...
. . . . . .
По гробовой костер —
Брат, но с условием:

Вместе и в рай и в ад!

Ее связь с Пастернаком воспринималась Цветаевой как мистический брак, в котором вдохновенье связывает крепче любых других уз:

Не в пуху – в пере
Лебедином – брак!
Браки розные есть, разные есть!

Она была уверена, что он принадлежит ей, эта уверенность держала, помогала противостоять повседневности. Этот «пожар» не вклинивался в ее семейную жизнь. В романе «Спекторский» Пастернак так определил отношения между героем и Марией Ильиной:

И оба уносились в эмпиреи,

Взаимоокрылившись, то есть врозь...

На мой взгляд, эти строки подтверждают справедливость мысли о влиянии личности Марины Цветаевой на образ героини «Спекторского» Марии Ильиной: Пастернак и Цветаева «взаимоокрылялись» в стихах и письмах, «то есть врозь», и связь их всегда была на уровне эмпирей[177].

Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпиреи,
Посылаю тебе свой пай
Праха дольнего...

Сюжетные подробности в «Спекторском» не соответствуют житейской реальности встреч Пастернака и Цветаевой, но чувство, связывающее Спекторского и Ильину, их духовная близость и поглощенность друг другом прямо соотносятся с отношениями Пастернака и Цветаевой в годы, когда создавался «Спекторский». Мария Ильина – наиболее лирическое и интимное из всего, обращенного Пастернаком к Цветаевой в стихах.

В трех «цветаевских» стихотворениях двадцатых годов нет ничего от любовной лирики. Они обращены к другу-поэту и воспринимаются как над-личные. Не зная адресата, почти невозможно догадаться, что этот друг – женщина: в них присутствуют «олень», «поэт», «снег» – все слова мужского рода и безличное местоимение «ты». Лишь в конце стихотворения «Мельканье рук и ног, и вслед ему...» Пастернак проговаривается:

Ответь листвой, стволами, сном ветвей
И ветром и травою мне и *ей.*

(Курсив мой. – В. Ш.)

Эти стихи, как и «Мгновенный снег, когда булыжник узрен...», не оставляют сомнений в адресате, ибо являются акростихами, третье «Ты вправе, вывернув карман...» было помечено инициалами «М. Ц.» («Марине Цветаевой»). Может показаться, что эти над-личные стихи вопиюще противоречат страстному накалу писем Пастернака к Цветаевой – но только на первый взгляд. Стихи касались основного в их отношениях с Цветаевой – самосознания поэта. Главное в их необычайной близости – то, что оба были поэтами и одинаково воспринимали понятие «Поэт». Все

остальное вытекало из этого или к этому пристраивалось. Естественно, что тема поэта звучит в их стихах друг другу и в самых интимных письмах. Закономерно и то, что в теоретических работах о поэзии Цветаева постоянно оборачивалась на Пастернака, его творчеству посвятила три статьи: «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)» и «Поэты с историей и поэты без истории». В январе 1932 года Цветаева окончила «Поэт и Время» – с докладом под этим названием она выступила 21 января. В «Послесловии» она ссылалась на недавнее выступление Пастернака на дискуссии о поэзии[178]:

> «Сенсацией прений было выступление Пастернака. Пастернак сказал, во-первых, что
>
> – Кое-что не уничтожено Революцией...
>
> Затем он добавил, что
>
> – Время существует для человека, а не человек для времени.
>
> Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.
>
> Это и есть: современность».

Выступление Пастернака действительно оказалось сенсацией; обозреватель «Литературной газеты» подчеркнул: «Особняком стоит выступление *Б. Пастернака»* и назвал его «реакционными мыслями». Цитируя Пастернака, он продолжил фразу «кое-что не уничтожено революцией»: «Искусство оставлено живым как самое загадочное и вечно существующее. Но у нас "потому такая бестолочь, что на поэтов всё время кричат: „это надо“, „то надо“! Но прежде всего нужно говорить о том, что нужно самому поэту: время существует для человека, а не человек для времени...»

Отчет кончался зловеще – в те времена такие угрозы были понятны каждому: «Хорошо было бы Б. Пастернаку задуматься о том, кто и почему ему аплодирует». Среди аплодирующих была Цветаева. Знаменательно, что обозреватель «Литературной газеты» пишет слово «революция» с маленькой буквы, Цветаева – с большой.

Ее определение «Борис Пастернак – с Революцией» справедливо для мироощущения Пастернака, но слишком общо, чтобы выразить его сложные и менявшиеся представления. Отношение к Революции (с большой буквы) не совпадало с отношением ко времени революции. Принципиально Цветаева и Пастернак решали проблему Поэта и Времени одинаково:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – *вечности заложник*
У времени в плену.

(Курсив мой. – В. Ш.)

Но понимала ли Цветаева, как ограничена свобода Пастернака его положением внутри советской системы, все плотнее окружавшей саму повседневность художника? Могла ли представить двойное давление, которое он испытывает: Времени в философском понятии и плена современности, ежедневно и требовательно вмешивающейся в твою жизнь? Для Цветаевой это был только быт: навязчивый, тяжелый, иногда невыносимый, – от него возможно было отключиться, забыть его, сбыв с рук очередную бытовую заботу. Время в советском ощущении она узнала лишь по возвращении на родину: чувство зависимости от чего-то неуловимо-страшного, щупальцами пронизавшего все вокруг и стремящегося так же пронизать душу. Отгородиться от него, исключить его из своего мира практически невозможно; с мыслями о нем ежедневно просыпаешься утром и ложишься вечером. Тональность высказываний о современности Цветаевой и Пастернака определяется разницей повседневного времени, в котором жил каждый из них. При всем неприятии Цветаевой («Время! Я не поспеваю… ты меня обманешь… ты меня обмеришь…») в ее чувстве времени нет зловещести, которая присуща стихам Пастернака. В первом из «цветаевских» стихотворений век-охотник гонит, травит оленя-поэта:

«Ату его, сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! Ату!..»
. . . . . .
Ему б уплыть стихом во тьму времен;
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог: ату!

И обращаясь к веку, противопоставляя ему поэтов – его и ее – себя и Цветаеву, Пастернак спрашивает:

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвой, стволами, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.

Цветаева отметила в этих стихах не «ату!», не травлю, а естественность пастернаковского оленя. Действительно, поэт у Пастернака – явление природы – всегда неожиданное, врывающееся в обыденность, как «дикий снег летом» – «бессмертная внезапность» (из стихотворения «Мгновенный снег, когда булыжник узрен...»). Но отношения поэта с его временем окрашены не только трагической (в высоком смысле) нотой, а чувством реального ужаса, гораздо более близкого мандельштамовскому «веку-волкодаву», чем цветаевскому «миру гирь», «миру мер», «где насморком назван – плач». В стихотворении «Прокрасться...» Цветаева предполагает:

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени

На стенах...
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
. . . . . .
Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?..

В ее устах эти трагические вопросы облечены в форму романтической риторики. Для собратьев по «струнному рукомеслу» в Советской России вопрос об отношениях со временем ставился реальнее и грубее. В конечном счете речь шла о жизни и смерти. Не о том, чтобы

Распасться, не оставив праха
На урну... —

а о том, сохранить ли в себе поэта перед угрозой насильственной гибели или, предав поэта, стараться приспособиться и выжить. Об этом замечательно рассказала Надежда Мандельштам в своих книгах[179]. Жизнь современников Цветаевой в России была не трагичнее, но страшнее, чем у нее. Вспомним мандельштамовское:

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены

Московского злого жилья.

Такого страха Цветаева не знала. Понимала ли она глубину обращенных к ней слов Пастернака?

Он думал: «Где она – сейчас, сегодня?»
. . . . . .
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»

Чувствовала ли, что «порабощенность» относится не столько к Вечности, сколько к повседневности, понимала ли буквальный смысл слов «до́ крови кроил наш век закройщик» и «судеб, расплющенных в лепёху»? Могла ли представить себе, что акростих ей, предпосланный «Лейтенанту Шмидту», Пастернак снял в отдельном издании не по своей воле? В каком-то смысле они жили в разных измерениях и это, а не только особенности поэтического мышления каждого, выразилось в их стихах, обращенных друг к другу. Не исключено, что эта причина сыграла важную роль в их последующем отдалении и даже расхождении.

Пастернаковские письма звучали по-другому. Читая их рядом со стихами к Цветаевой, видишь, как всё сегодняшнее, текущее, временное отпускает его, и он может жить в тех эмпиреях, куда его уносит вместе с нею. В письмах они невероятно близки, открыты – может быть, гораздо более, чем были бы при встрече. Книга, составленная из их переписки, стихов и отзывов друг о друге, – это повесть о высокой дружбе и любви. Конечно, и о любви. Ибо, невзирая на все более отдаляющуюся реальность встречи – или благодаря этому – это была любовь со своими взлетами, падениями, разрывами и примирениями. Временами их переписка походит на лихорадку. Их швыряет от темы к теме: от разбора «Крысолова» или «Лейтенанта Шмидта» они переходят к своим чувствам, к планам на будущее, к описанию природы или мыслям о людях. К их письмам можно с основанием отнести слова немецкого поэта Ф. Гёльдерлина, взятые Цветаевой эпиграфом к «Поэме Горы»: «О любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят, как пьяные и любят торжественность». Они и были расстающимися—с первого оклика, несмотря на потоки писем, чувств, надежд. Подсознательно каждый из них знал, что судьба определила им быть «разрозненной парой».

Но какая огромная разница – подсознательно знать и из чужих уст услышать! Когда в феврале 1931 года совершенно случайно от приехавшего из Москвы Бориса Пильняка Цветаева

услышала, что Пастернак разошелся с женой, это оказалось для нее громом среди ясного неба. По горячим следам она описала Р. Н. Ломоносовой разговор с Пильняком:

> «Вечер у Борисиного друга, французского поэта Вильдрака. Пригласил „на Пильняка“, который только что из Москвы. Знакомимся, подсаживается.
>
> Я: – А Борис? Здоровье?
>
> П.: – Совершенно здоров.
>
> Я: – Ну, слава Богу!
>
> П.: – Он сейчас у меня живет, на Ямской.
>
> Я: – С квартиры выселили?
>
> П.: – Нет, с женой разошелся, с Женей.
>
> Я: – А мальчик?
>
> П.: – Мальчик с ней...
>
> ...С Борисом у нас вот уже (1923 г. – 1931 г.) – восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но КАТАСТРОФА встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь».

Пусть Цветаева утешает себя тем, что, будь она рядом, никакой новой жены не было бы, выделенное, как вопль, «КАТАСТРОФА» говорит больше любых слов. Катастрофа неосуществившейся встречи обернулась ненужностью встречи: «Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья – он, его семья, моя *жалость,* его *совесть*). Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня, Борис без Жени и не со мной, с *другой, которая не я* — не *мой* Борис, просто – лучший русский поэт. Сразу отвожу руки». Для Цветаевой это действительно была катастрофа: она теряла не потенциального мужа или возлюбленного, а «равносущего», единственного, кто понимал и принимал ее безусловно. Ведь только с Пастернаком она могла быть самой собой: Сивиллой, Ариадной, Эвридикой, Федрой... – Психеей... Но она знала, что в реальном мире Психее предпочитают Еву, которой она себя не считала, не была и не хотела быть. «Как жить *с душой – в квартире?»* — их отношения с Пастернаком никак не могли бы вписаться в рамку быта. И не она ли наколдовала восемь лет назад:

> Не надо Орфею сходить к Эвридике
> И братьям тревожить сестер.

Но сколько бы ни повторяла она это в стихах и письмах, как бы ясно ни отдавала себе отчет в том, что совместная жизнь с Пастернаком для нее невозможна, – его новая женитьба ощущалась изменой тому высочайшему, что связывало только их двоих. Удар был тем больнее, чем яснее она сознавала: это неповторимо, дважды такого не бывает. «Еще пять лет назад у меня бы душа разорвалась, но пять лет – это столько дней, и каждый учил – все тому же...» Надо было продолжать жить, и Цветаева знала, что будет. Предстояла еще «катастрофа встречи».

В конце июня 1935 года Пастернак приехал в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Обстоятельства этой поездки известны: Пастернак долгое время находился в депрессии, ехать на конгресс отказался, но был вынужден личным распоряжением Сталина. Он пробыл в Париже 10 дней, с 24 июня по 4 июля. Где-то в кулуарах конгресса или в гостинице он *виделся* с Цветаевой и ее семьей – этим глаголом определил Пастернак свою встречу с ней в письме к Тициану Табидзе. Цветаева назвала это свидание «невстречей». «О встрече с Пастернаком (– *была* — и какая *невстреча!*) напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело...» – делилась Цветаева с Тесковой.

Цветаева уехала с Муром к морю за неделю до отъезда Пастернака из Парижа. Можно понять: Мур только что перенес операцию аппендицита, его необходимо было как можно скорее увезти, дешевые билеты на поезд были взяты задолго до известия о приезде Пастернака – цветаевская бедность, чувство долга... Все это правда, но... если бы долгожданное свидание с Пастернаком оказалось той встречей, о которой они когда-то мечтали... Цветаева ринулась бы в нее, забыв обо всем – как она умела – переустроила свои дела и планы. Еще неделю быть с Пастернаком! Когда-то она была уверена, что ради этого помчится в любой конец Европы. Теперь оказалось не нужно – слишком многое день за днем вставало между ними. Вероятно, Пастернака уже перестало восхищать то, что пишет Цветаева; эволюция его собственного творчества уводила его в другую сторону. Косвенно это подтверждается его первым письмом после встречи в Париже: описывая симптомы своей многомесячной болезни, он относит к ним и то, «что имея твои оттиски, я не читал их». Прежде такого быть не могло: все, что писала Цветаева, было радостью, могло стать лекарством от любой болезни. Да и отзыв о цветаевских оттисках, прочитанных три месяца спустя, не по-пастернаковски сдержанный, «кислый». Вспомним письмо Пастернака к А. С. Эфрон, цитированное в эпиграфе к этой главке: «В течение *нескольких* лет...» Ко времени

«невстречи» прошло уже тринадцать лет с начала их переписки.

Как бы то ни было, ни один из них не сумел преодолеть возникшую между ними грань. Этот комплекс слишком сложен и слишком мало достоверных свидетельств, чтобы настаивать на точном объяснении. Сюда входило и состояние Пастернака – его депрессия, владевший им страх, ощущение ложности своего положения на конгрессе, куда его привезли силком. И Цветаева – с ее гордой застенчивостью, затаенной обидой, со все углублявшимся чувством одиночества и семейного разлада, противостоять которому она не могла. Цветаева, не понимавшая, по словам ее дочери, никаких депрессий, не уловила в шепоте Пастернака ужаса его положения – и лишь высокомерно удивилась: «Борис Пастернак, на которого я *годы подряд* — через сотни верст – оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис<ательском> Съезде шепотом сказал: – Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С<тали>на, я – испугался» (письмо к А. А. Тесковой). Пытался ли Пастернак объяснить ей правду? В автобиографическом очерке «Люди и положения» (1956 год) он так рассказал о центральном эпизоде их «невстречи»: «Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. <…> Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счёт не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас *трудно и неспокойно* (выделено мною. – *В. Ш.*). Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения». Но Цветаевой в реальном мире всегда было «трудно и неспокойно» – ни эти слова, ни эпический тон Пастернака не соответствуют происшедшему. Долго держалась версия, что Пастернак пытался отговорить ее от возвращения. В первом издании этой книги я писала: «как она могла не расслышать крика в его шепотом произнесенных словах: „Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк“?[180] Ведь он кричал ее же стихами: «Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!» Не услышала… Может быть, он сам заглушил их другими словами…»

Но из письма Цветаевой Николаю Тихонову, с которым она познакомилась на этом съезде, разговор с Пастернаком предстает в ином свете: «От Бориса – у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь.

Как мне – тогда… – Почему ты плачешь? – *Я* не плачу, это глаза плачут. – Если я сейчас не плачу, то потому что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась – что тут же перестала плакать). – Ты – полюбишь Колхозы!

…В ответ на слезы мне – «Колхозы»!
В ответ на чувства мне – «Челюскин»!

В тетради Цветаевой после этого двустишия подтверждено: «Б<орис> П<астернак> и я – Писательский Съезд…»

Теперь, когда опубликованы Сводные тетради Цветаевой, в черновике ее письма к Пастернаку эта драматическая история предстает в ином свете. Фраза «всё, что для меня – право, для него – … порок, болезнь» – еще раз утверждает неколебимость позиции Цветаевой: как и в 1932 году речь идет о свободе личности, поступиться которой для нее невозможно. Но взгляды Пастернака менялись, он пытался определить свое место в коллективе. «Я защищала право человека на уединение, – пишет Цветаева, – не в комнате, для писательской работы, а – в мире, и с этого места не сойду». Несколько лет назад для обоих эта идея формулировалась как «время для человека». Теперь Пастернак ощущает ее как «порок», он готов переломить себя, чтобы избавиться от «индивидуализма».

Цветаева пытается объясниться:

> «Вы мне – массы, я – страждущие единицы. Если массы вправе самоутверждаться – то почему же не вправе – единица? <…> Я вправе, живя раз и час, не знать, что́ такое К<олхо>зы, так же как К<олхо>зы не знают, – что́ такое – я. Равенство – так равенство. <…>
>
> Странная вещь: что ты меня не любишь – мне все равно, а вот – только вспомню твои К<олх>озы – и слезы. (И сейчас плачу.)
>
> <…> Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, п. ч. все сто́ющие были одиноки…»

Это был крах: Цветаева потеряла последнего единомышленника. После такого открытия не стоило оставаться в Париже дольше. Настоящий разговор между ними не состоялся. Цветаева не посвятила его в конфликт, раздиравший ее семью, Пастернак не решился сказать ей о том, что происходит в Советской России и с ним самим. Тем не менее из записи Цветаевой видно, что Пастернак говорил с ней о возвращении в Россию и не совсем так, как помнилось ему через много лет: «Логически: что́ ты мог другого, как не звать меня (фраза не окончена, но по логике текста ясно, что разговор шел о России. – *В. Ш.*). Раз ты сам не только в ней живешь, но в нее рвешься». И в следующей фразе Цветаева объясняет со свойственным ей

благородством: «Ты давал мне лучшее, что́ у тебя есть...»

Илья Эренбург идиллически вспоминал о конгрессе: «В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку»[181]. О чем можно говорить и какие стихи читать в коридоре? Надо было вырваться из людской толчеи, даже от близких, уединиться, сосредоточиться – на это Пастернака не хватило. Но через несколько дней в Лондоне Пастернак был откровенен с Р. Н. Ломоносовой, которая написала мужу: «Позавчера приехал Пастернак с группой других. Он в ужасном морально-физическом состоянии. Вся обстановка садически-нелепая. Писать обо всем невозможно. Расскажу... Жить в вечном страхе! Нет, уж лучше чистить нужники»[182]. Ломоносова связала депрессию Пастернака с «обстановкой» и страхом, Цветаева – нет. Даже если они с Пастернаком пытались что-то сказать друг другу, то «мимо», не слыша и не понимая один другого. Цветаева уехала из Парижа с тяжелым чувством – может быть, окончательной утраты. Впереди была еще встреча – через несколько лет в Москве.

* * *

Полгода в Вандее окрашены Пастернаком – и Райнером Мария Рильке, которого «подарил» ей Пастернак. Это была невероятная щедрость с его стороны – пошла ли бы она сама на такое? Узнав от отца, что Рильке слышал о нем, читал и одобряет его стихи, Пастернак написал поэту, которого боготворил с юности. И в первом – и единственном – письме к Рильке он сказал ему о Цветаевой, дал ее парижский адрес, просил послать ей книги. Рильке исполнил его просьбу. Так завязалась их тройственная переписка[183]. Для Цветаевой это было таким же чудом, как дружба с самим Пастернаком, даже бо́льшим: если в Пастернаке она нашла «равносущего», то Рильке был для нее одним из богов, следующим воплощением Орфея: «Германский Орфей, то есть Орфей, *на этот раз* явившийся в Германии. Не Dichter (Рильке) – Geist der Dichtung» [Не поэт – дух поэзии, *нем.* – *В. Ш.*]. Это было решающей причиной того, что ей не приходило в голову самой обратиться к Рильке – как когда-то познакомиться с Блоком. Писать ему, получать от него письма и сборники с дарственными надписями, посылать ему свои книги и знать, что он держит их на письменном столе и старается читать (Рильке сильно отстал от русского языка, который хорошо знал в молодости) – этих переживаний было сверхдостаточно. Жизнь как бы приостановилась в ожидании встречи, свелась к стихам и

напряженной переписке с Рильке и Пастернаком.

Это не освобождало от повседневных забот: прогулок с Муром, сидения с детьми на пляже, купаний, базаров, стирки, завтраков, обедов, ужинов. Все же в письмах этого лета быт чувствуется менее остро, чем в другие времена. Жизнь текла складно, все были здоровы, Мур начинал ходить, Аля росла, Сергей Яковлевич отдыхал и набирался сил. Без неприятностей, правда, не обошлось. В середине лета Цветаева получила из Праги от В. Ф. Булгакова письмо, что ей прекращают выплачивать чешскую стипендию, если она не вернется в Чехословакию. «Ваше письмо уподобилось грому среди ясного неба, – отвечал Эфрон Булгакову. – Положение наше таково. Мы – понадеявшись на чешское (Завазалово) полуобещание, ухлопали все деньги, заработанные в Париже, на съемку помещения в Вандее, заплатив до середины октября. Собирались жить на Маринину литературную стипендию. Мое „Верстовое“ жалованье в счет не идет, ибо получаю с номера, а не помесячно, и гроши (давно уже проедены). И вот теперь, без предупреждения, этот страшный (не преувеличиваю) для нас материальный, а следовательно и всякий иной, удар. <…>

Впервые за десять лет представилась возможность отдохнуть у моря и словно нарочно судьба смеется – направив удар именно сейчас.

Из литераторов в Париже все устроены, кроме нас. Чтобы устроиться – нужно пресмыкаться. Вы знаете Марину»[184].

Цветаева и Эфрон объясняли отказ в стипендии происками русских «друзей» – может быть, не без оснований. В Прагу из Сен-Жиля полетели письма и официальные прошения. Главным ходатаем был все тот же Булгаков, его Сергей Яковлевич просил связаться со всеми, кто мог помочь в этом деле. Через месяц стало известно, что стипендию Цветаевой, сократив с 1000 до 500 крон, оставили на два месяца – до ее возвращения в Чехию. Вопрос о стипендии еще выяснялся и утрясался, в результате в урезанном виде она была оставлена за Цветаевой на неопределенное время. Можно было жить во Франции. Эти волнения отнимали время, но не могли выбить Цветаеву из колеи. В письме, где она сообщала Пастернаку о возможности потерять этот единственный свой постоянный «заработок», она пишет о дошедшем до нее пренебрежительном отзыве Маяковского в статье «Подождем обвинять поэтов»: *«Между нами* — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия...» Это не фраза, только такого плана вещи могли ранить Цветаеву. По поводу остального, житейского, ее кипение, негодование оставались на поверхности души. Этим летом Цветаева написала три небольшие

поэмы, внутренне связанные с Пастернаком и Рильке: «С моря», «Попытка Комнаты» и «Лестница». Все три чрезвычайно сложно построены. «С моря» она определила как «вместо письма». И на самом деле, это как письмо – потому что написано пером по бумаге и в конце концов послано по почте. Но в то же время – и не письмо, отрицание письма, противоположность реальности письма – нереальность сна. Не ощущая никаких преград, вместе с морским ветром лирическая героиня из Сен-Жиля попадает в Москву, является во сне Пастернаку. Цветаева подчеркивает: «Ведь не совместный / Сон, а взаимный...» Поэма осуществляет загаданное в «Проводах»:

...всé
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.

Во «взаимном» сне, в котором лирическая героиня и адресат одновременно видят друг друга, она приносит ему в подарок «осколки», выброшенные морем: крабьи скорлупки, ракушки, змеиную шкурку... Преломляясь в сновиденном воображении, они оказываются связанными с отношениями сновидящих – и с человеческими отношениями вообще:

Это? – какой-то любви окуски...
. . . . . .
Это – уже нелюбви – огрызки:

Совести. Чем слезу
Лить-то – ее грызу...
. . . . . .
Это – да нашей игры осколки

Завтрашние...
. . . . . .
Стой-ка: гремучей змеи обноски:
Ревности! Обновись,
Гордостью назвалась.

Как бывает во сне, сюда вплетаются, казалось бы, совершенно посторонние мотивы: цензура, мысли о происхождении земли, о смысле рождения и жизни, о России... Все объединено морем: непонятным, чуждым человеческой радости и горю, но в восприятии лирической героини очеловеченным.

Море играло. Играть – быть добрым.
. . . . . .
Море играло, играть – быть глупым...
. . . . . .
Море устало, устать – быть добрым...

Одновременно оно олицетворяет разлуку, преодолеть которую может только сон:

Море роднит с Москвой... —

это последняя, несбыточная надежда Цветаевой... Однако в контексте она имеет конкретное воплощение: *«Советоро́ссию* с Океаном» роднит морская звезда. Символ советской России, отказавшейся от божественной Вифлеемской, – не новая красная пятиконечная, а древнейшая из древних – морская звезда:

Что на корме корабля Россия
Весь корабельный крах:
Вещь о пяти концах...

В подтексте едва слышна надежда на крах «Советоро́ссии», которая «обречена морской», гибельной звезде. И гораздо явственнее сквозь всю поэму – собственное имя автора: Марина, морская. Это себя вместе с морскими «осколками» и «огрызками» принесла она в подарок адресату своего письма-сна, себя со всем светлым и темным, что в ней есть. Ее именем объясняется почти мистическое совпадение. Тем же летом, посылая Цветаевой последнюю – французскую – книгу своих стихов «Vergers», Рильке в дарственном четверостишии тоже преподнес ей «дары моря»:

Прими песок и ракушки со дна
французских вод моей – что так странна —
души...

(*пер. К. Азадовского*)

Когда-то и Мандельштам оставил ей на память об остывшей дружбе песок Коктебеля:

Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок...

Не с этим ли песком играет она теперь в Сен-Жиле, на берегу Океана?

Только песок, между пальцев, ливкий...
. . . . . .
Только песок, между пальцев, плёский...

Мандельштам и Рильке – Цветаевой, Цветаева – Пастернаку. Что за странные подарки: песок, ракушки, крабьи скорлупки?

У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок... —

сказано у Мандельштама. Даря друг другу «осколки» моря – вечности, – каждый из них подсознательно приобщается сам и приобщает другого к бессмертию – в стихах. Вот и у Цветаевой «С моря»:

Вечность, махни веслом!
Влечь нас...

«Попытка Комнаты» так же сновиденна и ирреальна, как и «С моря». Она возникала в ответ на вопрос Рильке: какой будет комната, где мы встретимся? Так рассказывала Цветаева, предваряя чтение поэмы[185]. Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева – скорее всего, неожиданно для самой себя – обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности: свидание душ возможно лишь в «Психеином дворце», в потустороннем мире, на *«тем свету»*... Стены, пол, мебель, сам дом на глазах автора и читателя превращались в нечто неосязаемое, в пустоту между световым «оком» неба и зеленой «брешью» земли. И в этой пустоте герои становились бесплотными:

...Над *ничем* двух тел
Потолок достоверно пел —

Всеми ангелами.

«Попытка Комнаты» предсказала не-встречу с Рильке, невозможность встречи. Оказалась свидетельством ее необязательности. Отказом от нее. Предвосхищением смерти

Рильке. Но Цветаева осознала это, только когда над ней разразилась эта смерть.

Их переписка неожиданно оборвалась в августе 1926 года – Рильке перестал отвечать на ее письма. Кончилось лето, Цветаева с семьей переехала из Вандеи в Бельвю под Парижем; после улицы Руве они никогда больше не жили в городе и за следующие 12 лет сменили еще пять пригородов и шесть квартир. В начале ноября Цветаева послала Рильке открытку со своим новым адресом и единственным вопросом: «Ты меня еще любишь?» Ответа не последовало. Она знала, что Рильке нездоров, но не могла себе представить, что он болен смертельно и умирает. 29 декабря 1926 года Райнер Мария Рильке умер. Цветаева узнала об этом 31 декабря. Новый год начинался этой смертью.

> Двадцать девятого, в среду, в мглистое?
> Ясное? – нету сведений! —
> Осиротели не только мы с тобой
> В это пред-последнее
> Утро...

Этот первый отклик на весть о смерти был естественно обращен к Пастернаку: они осиротели вместе. Для каждого это сиротство осталось незаживающей раной и оказалось творческим стимулом. Цветаева пишет «Новогоднее» – первое посмертное письмо к Рильке, единственный у нее Реквием.

Почему – единственный? Позже она писала стихи на смерть поэтов: циклы памяти Владимира Маяковского (1930), Максимилиана Волошина (1932) и Николая Гронского (1935). Всех троих она знала лично. С Маяковским встречалась еще в Москве, следила за всем, что он пишет, и, вопреки эмигрантскому большинству, считала его настоящим поэтом и восхищалась силой его дарования. Ее открытое письмо к нему осенью 1928 года стало поводом для обвинения Цветаевой в просоветских симпатиях и полуразрыва с нею одних и полного разрыва других эмигрантских кругов. В частности, ежедневная газета «Последние новости» прервала публикацию стихов из «Лебединого Стана» и почти пять лет не печатала ничего цветаевского. Для нее это было тяжелым материальным ударом. По существу ничего «просоветского» в обращении Цветаевой к Маяковскому нет, оно между строк вычитывалось теми, кто хотел видеть в Маяковском только «поставившего свое перо в услужение... Советскому правительству и партии» (определение Маяковского)[186]. Для Цветаевой он был Поэтом – явлением более значительным, нежели любые политические, социальные, сиюминутные

интересы. В поэзии Маяковского она видела выражение одной из сторон русской революции и современной русской жизни, и как всякий настоящий поэт он был ее братом по «струнному рукомеслу».

Самоубийство Маяковского в апреле 1930 года вызвало лицемерные официальные «оправдания» советских и потоки брани со стороны эмигрантов. Смерть поэта стала поводом не для осмысления его трагического пути, а для шельмования. В этом хоре цикл «Маяковскому», созданный Цветаевой в августе-сентябре, прозвучал диссонансом: для нее было бесспорным все, что вызывало споры вокруг его имени. Цветаева ввязывалась в полемику.

Ушедший– раз в столетье
Приходит...

Не исключено, что это – прямой ответ В. Ходасевичу, утверждавшему при жизни и издевательски повторившему после смерти Маяковского: «Лошадиного поступью прошел он по русской литературе – и ныне, сдается мне, стоит уже при конце своего пути. *Пятнадцать лет – лошадиный век»* (выделено мною. – *В. Ш.*)[187]. Может быть, «лошадиная поступь» заставила Цветаеву обратить внимание на «устойчивые, грубые ботинки, подбитые железом», в которых лежал в гробу Маяковский. Эти слова из газеты она взяла эпиграфом к третьему стихотворению цикла.

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал...
. . . . . .
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес – и брал – и клял[188] – и пел —...

Там, где эмигрантское большинство усматривало *прислуживание* большевикам, Цветаева видела *служение* Революции. Маяковский был и оставался «первым» и «передовым бойцом» современной революционной поэзии, ее «главарем», «...без Маяковского русская революция бы сильно потеряла, так же, как сам Маяковский – без Революции», – напишет она через два с половиной года. Тогда же она по-новому посмотрит на причину его самоубийства. Сейчас она принимает распространенную версию. В разгар работы над стихами памяти Маяковского Цветаева спрашивала Саломею Андроникову: «...как

Вы восприняли конец Маяковского? В связи ли, по-Вашему, с той барышней, которой увлекался в последний приезд? Правда ли, что она вышла замуж?» Цветаева могла понять Маяковского: несколько лет назад она сама «рвалась к смерти» – и, может быть, только «Поэма Горы» и «Поэма Конца» спасли ее. Разве внутренний лейтмотив их не тот же, что в предсмертных стихах Маяковского: «Любовная лодка разбилась о быт...»? В щемящей жалости к Маяковскому излилась жалость и к себе, ко всем таким:

– Враг ты мой родной!
Никаких любовных лодок
Новых – нету под луной.

Цветаева иронизирует над Маяковским, осуждавшим самоубийство Есенина, упрекает его в несоответствии самому себе:

Вроде юнкера, на То́ске
Выстрелившего – с тоски!
Парень! не по-маяковски
Действуешь: по-шаховски.

Но в ее иронии нет насмешки, она звучит трагически – самоубийство Маяковского оправдано трагедией.

Сложная структура цикла близка ранней поэме Маяковского «Человек». Шестое – центральное – стихотворение в намеренно-искаженном зеркале отражает главку «Маяковский в небе». Если Маяковский наглухо прячет трагедию под почти шутовской маской, сопровождаемой затасканной до пошлости песенкой Герцога из оперы Дж. Верди, то у Цветаевой трагедия выступает на первый план, едва прикрытая шутливой формой диалога. Встреча только что прибывшего на тот свет Маяковского и «старожила» Есенина проходит на фоне незримых кровавых теней погибших в последнее десятилетие поэтов: А. Блока, Ф. Сологуба, Н. Гумилева. Кажется, Цветаева приближается к решению вопроса о причине самоубийства Маяковского, но еще не додумывает свою мысль до конца. Главное – акт защиты: оградить от клеветы честь поэта, его доброе имя, провозгласить ему Вечную Память. Это в равной мере относится и к циклу памяти М. Волошина «Ici —haut». Позиция защитника, полемика и ирония, необходимые защитнику, приглушают непосредственное чувство потери. Смерть Маяковского и Волошина воспринимается отстраненно –

без протеста, без острого горя, пронизывающего «Новогоднее». Плач, рыдание, то и дело прорывающиеся в нем, здесь отсутствуют. Основная в «Новогоднем» проблема бессмертия в циклах «Маяковскому» и «Ici—haut» молчаливо обходится, земное возобладает над небесным.

Для Рильке, никогда не ставшего в ее жизни реальностью, Цветаевой требовалась уверенность, что его душа на небесах и доступна общению, как в детстве необходима оказалась Надя Иловайская. Отсутствие Рильке оставляло пустоту в мире, единственным восполнением которой могло быть его присутствие на небесах – вернее, везде, его всеприсутствие. Ради уверенности в этом Цветаева отвергла самые понятия жизни и смерти:

> Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
> Как заведомо-пустые сплёты.

Без других она могла обойтись – расстаться с Рильке было немыслимо. Стихи памяти Маяковского, Волошина и Гронского не стали Реквиемом потому, что в них нет раздирающей душу боли разлуки, торжественности прощания и – главное – восторга вознесения – всего, что составляет смысл стихов на смерть Рильке.

Очевидно, с годами мистическое сознание Цветаевой менялось. Между «Новогодним» и «Маяковскому», «Ici—haut» и «Надгробием» прошло соответственно три с половиной, пять с половиной и восемь лет. В «Новогоднем» чувства и движение стиха направлены убежденностью в бессмертии души Рильке. Опустив это в стихах памяти Маяковского и Волошина, в «Надгробии» Цветаева иронизирует над самой идеей:

> Ведь в сказках лишь да в красках лишь
> Возносятся на небеса!..

С Николаем Гронским, почти мальчиком, она была дружна. Он был увлечен Цветаевой, ее поэзией, писал ей стихи. Ей нравилась его восторженность, хотелось видеть и вырастить из него ученика. Разгар их дружбы пришелся на лето 1928 года, постепенно отношения иссякли, они перестали видеться, Цветаева ничего не знала о Гронском. Его случайная, нелепая смерть под поездом парижского метро в конце 1934 года разбудила память. По просьбе родителей Гронского она разбирала его бумаги и заново пережила их давнюю дружбу. Теперь он казался ей Учеником: «Гронский был *моей* породы».

Над его свежей могилой и никому еще не известными рукописями возник цветаевский цикл:

Напрасно глазом – как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании – верней гвоздя:
Здесь нет тебя – и нет тебя.

Скорбя о Рильке, Цветаева утверждала, что единственное место, где его нет, – могила. Но тогда она чувствовала его присутствие рядом, везде, в высоте, с которой он продолжает существовать в нашем мире. Сейчас она знает, что Гронского нет и в небе:

Напрасно в ока оборот
Обшариваю небосвод:
– Дождь! Дождевой воды бадья.
Там нет тебя – и нет тебя.

Я не позволю себе делать выводы. Однако напрашивается мысль, что если прежде умершие мать, Надя Иловайская ощущались где-то рядом, если Блок после смерти встречался Цветаевой на всех московских мостах, а Рильке можно было «поверх явной и сплошной разлуки» передать письмо «в руки» непосредственно в Вечность, – теперь чувство Вечности и бессмертия оставило Цветаеву. Если в «Новогоднем» обособление духа от тела казалось кощунством, потому что, по тогдашнему ее убеждению, Рильке оставался везде и во всем, то, переживая смерть Гронского, она чувствовала по-иному: человек уходит бесповоротно, оставаясь только в памяти любящих:

И если где-нибудь ты есть —
Так – в нас. И лучшая вам честь,
Ушедшие – презреть раскол:
Совсем ушел. Со *всем* — ушел.

Объяснялось ли это представлением о несоизмеримости гения Рильке с другими, на смерть которых Цветаева писала? Мыслями о бессмертии и «смертности» стихов? Или она погружалась в еще менее познаваемые сферы?

Циклы памяти Маяковского, Волошина и Гронского –

маленькие поэмы; они так же близки к этому жанру, как и «Новогоднее». Цветаева отходила от непосредственно-лирики, перелом начался еще в Праге и происходил постепенно и сознательно. Отвечая в 1923 году А. Бахраху, в рецензии на «Ремесло» заметившему мимоходом, что дальнейший путь должен привести ее к «чистой музыке», Цветаева возражала: «...нет! Из Лирики (почти музыки) – в Эпос. Флейта, дав максимум, должна замолчать. <... > – это – разряжение голоса – в голосах, единого – в множествах...» Это становилось внутренней потребностью. Лирическая сила не иссякла, но стихи перестали быть «лирическим дневником», необходимым отражением каждого дня. «Лирический дневник» стал сходить на нет во время работы над «Поэмой Горы» и «Поэмой Конца» и прекратился с «Крысоловом». Давая этой поэме подзаголовок *«лирическая* сатира», Цветаева подчеркнула, что в любом роде литературы она – лирик. Так оно и есть: ее трагедии, поэмы, проза, – всё определяется эпитетом «лирическая»[189]. Цветаева восприняла свой отход от лирического дневника как нечто естественное: лирический поток переходил в новое качество, начинал течь по другим руслам. Это не значило, что она перестала писать лирические стихи. За последние тринадцать лет жизни Цветаева создала около девяноста стихотворений, среди них такие замечательные, как «Тоска по родине! Давно...», «Отцам», «Стол»...

Но центр тяжести переместился ближе к эпосу, более точно – в лироэпическую поэзию. После «Новогоднего» Цветаева почти постоянно работала в этом жанре: в 1927 году написаны «Федра» и «Поэма Воздуха», в 1928-м – «Красный бычок», в 1928—1929-м – «Перекоп», в 1935-м – «Певица» (поэма не была окончена, Цветаева поняла несостоятельность для себя темы – слишком описательной), в 1934, 1935 и 1936-м писался «Автобус». И все эти годы, с 1929-го по 1936-й, Цветаева работала над большой поэмой о гибели последней русской Царской Семьи. Как почти всегда – «одна противу всех». Если ко времени окончания «Перекопа» «сам перекопец ... к Перекопу уже остыл», то кому теперь, к середине тридцатых, нужна была поэма о Царской Семье? Цветаева не была монархисткой, не была связана с правыми кругами эмиграции: «У правых, по их глубокой некультурности, не печатаюсь совсем». Ко времени работы над Поэмой ее, заодно с Эфроном, скорее подозревали в большевизанстве, чем в сочувствии сверженному Дому Романовых. Что же заставило ее взяться за эту тему, несмотря на то, что она наперед догадывалась: «Вещь, которую сейчас пишу – все остальные перележит»? Чувство долга и верности, понятые по-цветаевски бескомпромиссно. Приступая к работе, она

признавалась: «Не нужна никому... „Для потомства?“ Нет. Для очистки совести. И еще от сознания силы: любви и, если хотите, – дара. Из любящих только я смогу. Потому и должна». Любила же Цветаева Царскую Семью за трагическую судьбу, за гибель. Ей и в голову не пришло бы написать оду Царствующему Дому. Негодуя на редактора «Последних новостей» П. Н. Милюкова, отказавшегося печатать ее «Открытие Музея» за «пристрастие к некоторым членам Царской Фамилии», Цветаева возражает: «в том-то и дело, что она для него „Фамилия“, для меня – *семья».*

М. Л. Слоним слышал от Цветаевой, «что мысль о поэме зародилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского „Император“. Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы, как некоего приговора истории»[190]. Она должна была ответить: поэзия всегда обязана стоять на стороне побежденных. Впервые Цветаева упоминает о «большой вещи» летом 1929 года, обращаясь к Саломее Андрониковой за помощью в поисках материалов[191]. В конце августа она сообщала ей же: «Прочла весь имеющийся материал о Царице, заполучила и одну неизданную, очень интересную запись – офицера, лежавшего у нее в лазарете...» Цветаева начинала нечто совершенно для себя новое – историческую поэму, и это ее привлекало: «Громадная работа: гора. Радуюсь».

Она любила и умела работать над материалом, претворявшимся в плоть поэзии; еще в «Поэте о критике» писала, что «из мира внешнего мне всякое даяние благо... Нельзя о невесомостях говорить невесомо» и что она с особым вниманием прислушивается к «голосу всех мастеровых и мастеров». Критики отнеслись к этим словам иронически, расценив их как кокетство. Между тем это признание Цветаевой нужно понимать буквально, оно подтверждается ее работой над сюжетами из античности, над «Перекопом», «Стихами к Чехии», Поэмой о Царской Семье. Но меня поразил эпизод, слышанный мною от поэта и переводчика С. И. Липкина. Липкин – большой знаток Калмыкии и переводчик калмыцкого эпоса «Джангар» – к слову рассказал Цветаевой, что в первоначальном варианте пушкинского «Памятника» было: *«...сын* степей калмык». Однако известный востоковед Н. Я. Бичурин заметил Пушкину, что калмыки не были исконными жителями, сыновьями степи, а только в XVII веке переселились сюда с гор. После этого разговора Пушкин переделал строку: *«...друг* степей калмык». Эта история привела Цветаеву в восторг: «Вот как надо работать! За любым лиризмом должно стоять знание». Так работала она, углубляясь в материал, и с полным основанием утверждала: «я гибель Царской Семьи хорошо знаю».

Поэма о Царской Семье на много лет стала постоянной

работой Цветаевой: она требовала не только кропотливого собирания материалов и определения собственного взгляда на исторические события и их участников, но соединения истории с лирикой. Она не терпела поспешности, велась в уединении, почти в тайне – спешки не могло быть; Цветаева не надеялась увидеть поэму напечатанной, да и среди близких ей людей такая вещь вряд ли могла вызвать сочувствие. В ее переписке время от времени возникает мотив поэмы, глухо, без подробностей. Лишь приступая к разработке темы, Цветаева поделилась с Р. Н. Ломоносовой планом будущей поэмы – как будто специально для нас, которым не доведется ее прочесть: «Сейчас пишу большую поэму о Царской Семье (конец). Написаны: Последнее Царское – Речная дорога до Тобольска – Тобольск воевод (Ермака, татар, Тобольск *до* Тобольска, когда еще звался Искер или: Сибирь, отсюда – страна Сибирь). Предстоит: Семья в Тобольске, дорога в Екатеринбург, Екатеринбург – дорога на Рудник Четырех братьев (там – жгли.)…» Мы можем судить о Поэме о Царской Семье по маленькой главке «Сибирь» – «Тобольск воевод» в цветаевском плане; только она была опубликована при жизни Цветаевой и сохранилась. В тетрадях Цветаевой случайно уцелели отдельные наброски поэмы. Законченная рукопись, черновики и подготовительные записи, оставленные Цветаевой на Западе при отъезде в Советский Союз, пропали во время войны – скорее всего, безвозвратно. О том, что работа была завершена, известно из воспоминаний Слонима, слышавшего ее в авторском чтении в начале 1936 года. Об объеме поэмы можно судить по продолжительности чтения: Слоним пишет, что оно длилось более часа. Он помнил, что «некоторые главы взволновали» его, «они прозвучали трагически и удались словесно» – и сразу по окончании чтения, проходившего у Лебедевых, разгорелись споры об идейном и политическом смысле поэмы, объективно воспринимавшейся как монархическая. Увы, своего журнала у эсеров уже не было: «Воля России» кончилась за несколько лет до этого, а потому спор не имел практического значения для судьбы поэмы. Печатать ее Цветаевой было негде. Это было одной из причин того, что поэма писалась так долго и автору иногда казалось, что она не сможет ее кончить. Одной – но не единственной. Можно предполагать, что менялись план поэмы и объем включаемых в нее исторических событий. В том, что Цветаева изложила Ломоносовой, поэма начинается с «Последнего Царского» – перед отправкой Царской Семьи в Сибирь. Но из писем к Андрониковой видно, что Цветаева интересовалась и «предысторией»: коронацией, Ходынкой, Русско-японской войной, Распутиным… В памяти А. Эфрон сохранился

образ Распутина из поэмы – он был близок Вожатому из эссе «Пушкин и Пугачев»; не исключено, что появлялись и другие эпизоды, не упомянутые в первоначальном плане. Можно с уверенностью сказать, что фактическая, историческая сторона была изучена Цветаевой досконально. Задача состояла в том, чтобы воплотить историю в поэзию. «Во мне вечно и страстно борются поэт и историк, – писала Цветаева В. Н. Буниной. – Знаю это по своей огромной (неоконченной) вещи о Царской Семье, где историк поэта – загнал». Должны ли мы принять последнее утверждение на веру?.. Смысл исторических изысканий Цветаевой вышел за рамки одной, хотя бы и очень важной для нее работы. Погружение в материалы истории, живым свидетелем которой она себя ощущала, явилось импульсом ко многому, написанному в те годы – в стихах и в прозе. Как одно звено цепи тянет за собой другие, Поэма о Царской Семье вызвала к жизни «Дедушку Иловайского» и короткие эссе, посвященные Ивану Владимировичу Цветаеву и созданному им Музею: «Музей Александра III», «Лавровый венок», «Открытие Музея». Естественный ход мысли: Д. И. Иловайский был не только «дедушкой», но и одним из самых консервативных русских историков, убежденным и последовательным монархистом; Цветаева упоминает, что его газета «Кремль» была закрыта «за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 г.»[192]. Цветаева утверждает, что получила представление о русской истории по учебникам Иловайского. В ее гимназические годы во всех ее либеральных гимназиях они были решительно отвергнуты, хотя, по мнению Цветаевой, написаны художественно и интересно: «...тут *живые* лица, живые цари и царицы – и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!» Со слов брата Андрея, родного внука Иловайского, Цветаева пишет, что тот мечтал довести свое описание русской истории «до последних дней». Это делала она в Поэме о Царской Семье. Так восстанавливалась «связь времен».

Но, собирая материалы о последнем царствовании, о «молодой Государыне», могла ли Цветаева не вспомнить свою единственную встречу с Царской Семьей во время открытия Музея и то впечатление, какое произвел на нее рассказ отца об отдельном посещении Музея Императрицей? Так потянулась цепочка воспоминаний о Музее и об отце, создавшем его: живая история русской культуры, сплетавшаяся с историей иловайско-цветаевско-мейновской семьи. Параллельно работе над поэмой в памяти всплывали новые, иногда на первый взгляд

незначительные эпизоды «семейной хроники» – так однажды назвала свои эссе Цветаева. Но и то, что могло восприниматься как пустяк – «Хлыстовки» или «Сказка матери», например, – дополняло картину того почти исчезнувшего мира, запечатлеть который Цветаева считала своим дочерним, человеческим, писательским долгом. Это не «хроника» в привычном смысле, ни даже история семьи в сколько-нибудь последовательном изложении. Возможно, будь ей отпущено больше времени, Цветаева дописала бы и свела воедино разрозненные части своих воспоминаний, но и то, что она успела сделать, соответствовало ее задаче: ВОСКРЕСИТЬ. Ее автобиографическая проза соединяет детские впечатления с философскими и психологическими размышлениями, с не похожим ни на кого литературоведческим анализом. Наряду с этим в ней отражена душевная и интеллектуальная атмосфера того времени и того круга, поколения «отцов», благодарностью которому вызван цикл «Отцам» (1935).

В мире, ревущем:
– Слава грядущим!
Что во мне шепчет:
– Слава прошедшим!

Стихи звучат как вызов – тема «отцов и детей» в тридцатые годы оказалась в эмиграции одной из самых злободневных. Нужно ли говорить, что Цветаева решала ее прямо противоположно эмигрантскому большинству? Возникла идея «пореволюционного сознания», основанного якобы на осмыслении и принятии опыта русской революции и противопоставлявшего себя сознанию «дореволюционному», «отцам». Возникали и активно действовали «пореволюционные течения», объединявшие эмигрантскую молодежь: союз «Молодая Россия» (младороссы), близкий одновременно к необольшевизму и фашизму, и Национальный союз русской молодежи («нацмальчики», позже – Народно-трудовой союз, НТС), в те времена пытавшийся соединить фашизм с евангельской правдой. Существовало и «Объединение пореволюционных течений», созданное национал-максималистом князем Ю. А. Ширинским-Шихматовым, с женой которого (бывшей женой Бориса Савинкова) дружила Аля и короткое время приятельствовала Цветаева. Кроме «национальной идеи», все эти течения объединялись полным неприятием предшествующего поколения и его идей. Поколение «отцов» обвинялось во всех бедах России, в несостоятельности не только политической, но и моральной, в том, что борьба с

большевиками кончилась провалом. Отвергались самые понятия демократии, свободы, свободы личности – пореволюционное сознание утверждало, что все это и привело к гибели России. Во главу угла всех пореволюционных течений ставился коллектив.

Индивидуализму Цветаевой это было чуждо, однако стихи «Отцам» продиктованы не желанием противопоставить себя большинству, а попыткой определить свою родословную, прикоснуться к корням. В этом был свойственный Цветаевой жест защиты. Мир «отцов» вошел в ее прозу и стихи закономерно – он привлекал ее с юности. Цепочка возвращает нас к стихам 1913—1914 годов, обращенным к юным генералам 1812 года и к Сергею Эфрону. Идеал, воплощением которого она тогда желала видеть своего молодого мужа, сводился к чувству чести, бесстрашию, верности, презрению к смерти... Генералы, отстоявшие Россию в войне с Наполеоном («Три сотни побеждало – трое!») – они же декабристы («Вашего полка – драгун, /Декабристы...») – рыцари, – таков романтический идеал ее далекой теперь юности.

В молодости, в годы московской смуты, он жил в образах А. А. Стаховича и князя С. М. Волконского; о стихах к ним Цветаевой я уже писала. Что конкретно притягивало ее к этим реальным людям и воображаемым героям? Духовная свобода, независимость, внутреннее достоинство, верность себе. Это определяется словом – личность.

Поколенью с сиренью
И с Пасхой в Кремле,
Мой привет поколенью —
По колено в земле,

А сединами – в звёздах!
Вам, слышней камыша,
– Чуть зазыблется воздух —
Говорящим: ду—ша!

Ни разу Цветаева не написала стихов отцу, но этот цикл обращен, в частности, и к нему: «Отцам» – отцу, который присутствует в нем самим существом своего нравственного облика.

Поколенье – с пареньем!
С тяготеньем – *от*

Земли, *над* землей, прочь от
И червя и зерна...

Разве не было «пареньем» служение Ивана Владимировича своей мечте и идее – Музею? Разве он не прожил жизнь «на высокой ноте», пренебрегая «плотью» – материальным устройством земных дел?

Поколенье! Я – ваша!
Продолженье зеркал.

Ваша – сутью и статью,
И почтеньем к уму,
И презрением к платью
Плоти – временному!

Если в отце и не было той «породы», которая так привлекала Цветаеву в Стаховиче и Волконском, то его подвижничество равнозначно ей. Остальное было, и главное – верность себе. В поколении «отцов» Цветаева видела людей, которые, как и сама она, всегда идут «своими путями», а в «роковые времена» – и на плаху. Она приобщала их не быту, а Бытию:

Вам, в одном небывалом
Умудрившимся – *быть*...

Остро ощущая несовместимость с современностью, «выписываясь из широт», она находила нравственную поддержку в том, что существует – существовало – поколение, где она была бы своей, и была благодарна за это:

До последнего часа
Обращенным к звезде —
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

Обращение Цветаевой к прошлому не было случайностью. В тридцатые годы все больше разлаживались и без того непрочная связь с внешним миром и ее внутренние связи с наиболее дорогими ей людьми. Рильке умер. Пастернак женился вторично – разрушил их братство, разбил надежды Цветаевой на ее «второе я». По письмам Цветаевой можно проследить, как постепенно стали меняться отношения в ее семье. В 1929 году в письме к

Тесковой она едва ли не впервые противопоставляет себя мужу: «С. Я. ...живет... любовью к России. А Мур, как я, – любовью к жизни». В 1932 году, ей же – первые горькие слова о дочери: «за семь лет моей Франции – выросла и от меня отошла – Аля». Чем дальше, тем расхождение в семье будет резче и драматичнее, приведет к разрыву – об этом речь впереди. Одиночество Цветаевой с годами усугублялось, принимая катастрофические размеры и скрашиваясь, главным образом, эпистолярными дружбами, на которые она была так щедра. Они, как и сны, были ее второй реальностью, дублировали жизнь, в письмах она чувствовала себя свободнее и уверенней, чем в непосредственном общении. Но человек не может существовать без внутренней опоры – Цветаева нашла ее в прошлом. И в искусстве.

Тридцатые годы я бы определила как начало ранней мудрости Цветаевой, время, когда она достигла вершины, с которой необходимо оглядеться и на которой естественно происходит переоценка ценностей. Пройденный путь требовал осмысления – это заставило ее обратиться к прозе. Доказательством справедливости такого утверждения мне кажется то, что Цветаева писала только по внутренней необходимости и предлагала редакциям готовые вещи, при всей своей нужде в заработке ни разу не связала себя заказом. Пушкин – полушутя – писал в двадцать восемь лет:

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят...

Цветаевой, когда она обратилась к прозе, исполнилось сорок, перевалило за сорок. Ее мироощущение и отношение к миру трансформировались и требовали другого способа выражения. Настало время определить непреходящие ценности. Она нашла их в мире своего детства – и в Поэзии.

Мой Пушкин

... назвала Цветаева одно из эссе-воспоминаний. «Мой» в этом сочетании явно превалировало, и многим современникам показалось вызывающим. «Мой Пушкин» был воспринят как притязание на единоличное владение и претензия на единственно верное толкование. Между тем для Цветаевой «мой» в данном случае – не притяжательное, а указательное местоимение: тот Пушкин, которого я знаю и люблю с еще дограмотного детства, с памятника на Тверском бульваре, и по сей, 1937 год. Она не отнимала Пушкина у остальных, ей хотелось, чтобы они прочли его ее глазами. В связи с «Поэтом о критике» я говорила, что это была принципиально новая позиция, сугубо личный подход к любому явлению литературы. На постоянный упрек, что у него всюду слышится «я», Маяковский однажды полусерьезно ответил: «если вы хотите объясниться в любви девушке, вы же не скажете: мы вас любим...» Для Цветаевой эта шутка прозвучала бы всерьез: все, что она писала о поэтах и поэзии, продиктовано прежде всего любовью и благодарностью.

Мне вспоминаются слова А. С. Эфрон, сказанные однажды летом в Тарусе. Она рассказывала, что к ней заходят туристы, пионеры, отдыхающие из соседнего дома отдыха, – дочь Цветаевой стала достопримечательностью маленького городка, хотя большинство этих людей едва слышали имя поэта. «Все они говорят, что любят Цветаеву, и уверены, что я благодарна им и счастлива. Неужели они не понимают, что это они должны быть счастливы и благодарны за то, что мама написала, а им довелось прочесть и полюбить Цветаеву?» Тогда я не придала значения этим словам, только позже до меня дошел их глубокий смысл: понятие благодарности поэту за то, что он приобщил тебя своему миру, впустил тебя во вселенную, вмещающуюся в его душе.

В цветаевских записях эпохи Гражданской войны есть удивительное определение благодарности: «Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем личинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоящий лик. (Благодарность)». Ей потребовалось французское слово, ибо объем его глубже русского эквивалента: оно включает в себя понятие узнавания, признания и благодарности, в то время как по-русски благодарность определяется однозначно: «чувство признательности, желание воздать кому за одолжение, услугу, благодеяние, самое исполнение этого на деле» (словарь Даля). В своем определении Цветаева соединяет оба значения; узнать, узреть, проникнуть в истинное лицо и смысл явления уже и есть благодарность ему. А

«желание воздать» и «самое исполнение этого на деле» – такова, очевидно, в понимании Цветаевой, задача каждого, пишущего о поэзии.

В центре существования Цветаевой была поэзия и в ней непреходящая величина – Пушкин. На протяжении всей жизни она постоянно обращалась к нему, и я уверена: то, что она написала о Пушкине в стихах, прозе, письмах, – лишь малая часть того, что он для нее значил. Самое показательное для Цветаевой – ее свобода в отношении к Пушкину. Она острее большинства чувствовала непревзойденность его гения и уникальность личности, выражала восхищение и восторг его творчеством – на равных, глаза в глаза, без подобострастия одних или высокомерного превосходства других, считавших себя умудренными жизненным опытом еще одного столетия. В юношеском стихотворении «Встреча с Пушкиным» (1913) она совсем по-девчоночьи, как с приятелем, беседует с Пушкиным:

Мы рассмеялись бы и побежали
За руку вниз по горе.

Отношение к Пушкину взрослело вместе с ней, но чувство его дружеской, братской руки не исчезало, а лишь крепло с годами:

Вся его наука —
Мощь. Светло – гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

Свою «пушкиниану» Цветаева начала с простейшего – с судьбы Пушкина, с его семейной драмы, как она ее понимала: уже в стихах «Счастие или грусть...» (1916) и «Психея» («Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин...», 1920) недвусмысленно выражено неприятие жены Пушкина, осуждение ее «пустоты» («Процветать себе без морщин на лбу...»; «...платья / Бального пустая пена...»). Я хочу подчеркнуть, что таково было изначальное отношение Цветаевой к Наталье Николаевне Пушкиной, задолго до того, как она прочитала «Пушкин в жизни» В. Вересаева и «Дуэль и смерть Пушкина» П. Щеголева. Неприятие жены Пушкина было вполне в духе Цветаевой, естественно для нее – человека и поэта. Как и у Ахматовой, тоже категорически отвергавшей Наталью Николаевну, здесь не обошлось без женской ревности: какая-то Натали Гончарова с «моим» Пушкиным! И никакой роли не играло, что эти роковые события происходили больше чем за

полвека до их– Ахматовой и Цветаевой – рождения[193]. В очерке о художнице Наталье Гончаровой (1929) Цветаева довела свои мысли о жене и женитьбе Пушкина до логического конца. Самой художницей она заинтересовалась, услышав от М. Л. Слонима это имя и узнав о близком родстве Натальи Сергеевны Гончаровой с женой Пушкина. Цветаева была человеком не зрения, а слуха и к изобразительному искусству оставалась равнодушна. Но – Наталья Гончарова! Это стоило интереса, знакомства, даже дружбы. Слоним их познакомил, и, кажется, они друг другу понравились. Цветаева, а потом и Аля стали бывать в мастерской Гончаровой, Аля некоторое время училась у нее. Цветаева – ненадолго – подружилась с Гончаровой, много разговаривала с ней, расспрашивала, смотрела ее работы. Из этой дружбы получился прекрасный очерк «Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)», может быть, далекий от канонов общепринятого искусствоведения, но воссоздающий душевный облик и творческий склад художницы, истоки ее ви́дения мира. Добавлю – глазами и в интерпретации Цветаевой: это была *«моя* Наталья Гончарова». Дружба же не продлилась, потому что каждая была слишком самобытна, слишком погружена в свой мир, из которого трудно было выйти и в который не допускались посторонние. Но, вдохновленная цветаевским «Мо́лодцем», Гончарова сделала к нему иллюстрации и тем подвигла Цветаеву на перевод этой поэмы-сказки на французский язык. Это был первый и очень важный для Цветаевой опыт, настоящая школа перевода, пригодившаяся ей в дальнейшем, в частности при переводе на французский стихов Пушкина.

Но вернемся к Наталье Гончаровой – «той», как называла Цветаева жену Пушкина. Главным в цветаевском неприятии было ощущение неодухотворенности Натальи Николаевны: «Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч». Несоответствие «пустого места» тому, кто для нее был «всех живучей и живее», тем больнее ранило Цветаеву, что она жила в убеждении необходимости гению понимания – «соучастие сочувствия». Тем не менее брак Пушкина она трактует не как несчастную случайность, а как веление судьбы: рок. «Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной»; «Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом in dem Kauf (в придачу, *нем.* – *В. Ш.*), то есть с собственной смертью». Так, всей силой своей любви к Пушкину Цветаева безжалостно расправляется с его женой. В подтексте всего, что она написала о Наталье Николаевне Пушкиной, звучит прямо сказанное ею по поводу Блока: если бы я была рядом, он

бы не умер.

Не удивительно, что Цветаева с восторгом приняла книгу П. ГЦеголева «Дуэль и смерть Пушкина»: по отношению к Н. Н. Пушкиной автор, не впадая в крайности, свойственные Цветаевой, придерживается близкой ей концепции. Он старается избегать домыслов и делает выводы достаточно осторожно, основываясь на приводимых им документальных материалах. Книга ГЦеголева кинула Цветаеву к письменному столу. Это случилось летом 1931 года: «я как раз тогда читала ГЦеголева: „Дуэль и Смерть Пушкина“ и задыхалась от негодования». Она негодовала против всех «лицемеров *тогда* и *теперь»,* тех, кто страстного, противоречивого, непредсказуемого Пушкина умудрялся превратить в непроходимую зевоту хрестоматий и «исследований», кто, разодрав Пушкина на цитаты, убивал поэта:

Пушкин – в меру пушкиньянца?

Из негодования родился цикл «Стихи к Пушкину», частично опубликованный в юбилейном 1937 году.

Рецензируя этот цикл, Владислав Ходасевич заметил, что в стихотворении «Бич жандармов, бог студентов...» «быть может, слишком много полемики с почитателями Пушкина и слишком мало сказано о самом Пушкине, хотя самый „сказ“ – превосходен»[194]. Упрек не совсем справедлив: в полемике с «пушкиньянцами» вырисовывается Пушкин, каким он видится автору стихов:

Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем,
Всех живучей и живее!
Пушкин – в роли мавзолея?
. . . . . .
Что вы делаете, карлы,
Этот – голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб – навеки заклеймив
Низостию двуединой
Золота и середины?

Охват цикла широк. Пушкин – живой человек с мускулатурой атлета, неутомимый пешеход, любитель карт, трудолюб: Пушкин – в жизни. Из книги В. Вересаева под таким названием Цветаева черпала подробности.

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен...
. . . . . .
Скалозубый, нагловзорый...
. . . . . .
Две ноги свои – погреться —
Вытянувший – и на стол
Вспрыгнувший при Самодержце —
Африканский самовол —

Наших прадедов умора...

Пушкин – правнук петровского арапа и истинный наследник Петра Великого («Петр и Пушкин»):

Последний – посмертный – *бес*смертный
Подарок России – Петра.

Пушкин – не вдохновения, потому что это скрытая от непосвященных тайна поэтов, на которую Цветаева намекает образом «крыла серафима», – но тяжелого поэтического труда, знакомого им обоим:

Прадеду – товарка;
В той же мастерской!
Каждая помарка —
Как своей рукой.

Цветаева не стесняется объявить себя правнучкой Пушкина: вдохновение и общий труд позволяют ей это.

Пушкин в цепких лапах не любившего и опасавшегося его Николая Первого:

– Пушкинской славы
Жалкий жандарм.

Автора – хаял,
Рукопись – стриг...

Цветаева была права, характеризуя «Стихи к Пушкину» как «страшно-резкие, страшно-вольные, ничего общего с

канонизированным Пушкиным не имеющие, и всё имеющие – обратное канону». В очерке «Наталья Гончарова» Цветаева допустила знаменательную оговорку. Задавая вопрос: «За кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?» – она поясняет: «Есть три Пушкина. Пушкин – очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, студенчества), Пушкин – очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин – очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки – посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин – очами будущего – *нас».* Начав с «трех Пушкиных», она затем перечислила четыре типа отношения к нему. Очевидно, это случилось непроизвольно, потому что в ее сознании слились очи любящих и очи «будущего – *нас»,* точнее говоря: *меня, мои.* В «Стихах к Пушкину» он увиден сердцем и «очами любящих» в резком противостоянии очам любопытствующих и судящих, пушкинской «черни». Но полемический задор, упор имел и обратную сторону: портрет Пушкина оказался более внешним, чем внутренним; портретом жизни, не творчества. «Портрет» творчества разворачивался в ее прозе.

В очерке «Наталья Гончарова» есть важное наблюдение о повторности тем в работах художницы. Задумавшись, почему отдельные темы возвращаются в картины Гончаровой, Цветаева пытается найти этому объяснение. Сама Гончарова отвечает словом «отделаться»: «окончательно сделать – ...отделаться». Логически развивая высказывание художницы, Цветаева спрашивает: «К чему, вообще, возвращаются?» – и отвечает: «К недоделанному (ненавистному) и к тому, с чем невозможно расстаться, – любимому, т. е. к не доделанному тобой и не довершенному в тебе». И чуть ниже: «Повторность тем – развитие задачи, рост ее». Любопытно, что свое рассуждение Цветаева относит исключительно к художнику, отрицая его для поэта. Но повторность тем, образов – постоянное явление в ее собственной поэзии. Неопровержимейшие примеры: Орфей, Сивилла, деревья... Одной из тем, которая «текла непрерывно, как подземная река, здесь являясь, там пропадая», все больше проясняясь и углубляясь, для Цветаевой тридцатых годов оказался Пушкин. Он возникал во всех ее работах о поэзии. И каждый раз в новом аспекте, в подходе к разным вещам или в развитие прежде высказанных мыслей. Есть почти реальное ощущение, что Пушкин жил в Цветаевой, сопровождая ее размышления о поэзии и литературе вообще, помогая преодолевать отсутствие равновеликих собеседников.

В «Искусстве при свете Совести», начатом вскоре после

окончания «Стихов к Пушкину», Цветаева делает следующий шаг в своей «пушкиниане». Новый жанр – проза – позволил ей то, что было невозможно в стихах, – рассуждение. Разбирая Песню Вальсингама из «Пира во время чумы», Цветаева проникает в психологию поэтического творчества. В «Стихах к Пушкину» она признавалась в ощущении родства с великим поэтом:

Мне, в котле чудес
Сём – открытой скобки
Ведающей – вес,
Мнящейся описки —
Смысл, короче – всё.
Ибо нету сыска
Пуще, чем родство!

Теперь она погружает нас в Пушкина, пишет о нем «изнутри», как сам Пушкин, по ее убеждению, писал Вальсингама в «Пире во время чумы», как вообще создаются поэтические образы. Цветаева пишет изнутри собственного опыта, ибо такие глубины рождения стиха доступны только поэту. Она отождествляет Пушкина с Вальсингамом, чтобы продемонстрировать читателю самый процесс «наития» и «преодоления» стихий поэтом. Примером вальсингамовой-пушкинской Песни Цветаева подтверждает главный тезис своей статьи о над-нравственной природе искусства. Песня – как Поэзия вообще – высшее проявление Чары – прославление стихии – в конце концов, с точки зрения религии – кощунство. Преодолев чару песней, разделавшись с нею и тем самым спасшись лично, поэт этой же песней чару на читателя «наводит», ибо невозможно устоять перед соблазном настоящей поэзии, в частности пушкинских строк:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного сулит
Неизъяснимы наслажденья...

«Искусство – искус, – утверждает Цветаева, – может быть, самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли...» Анализируя «Пир», Цветаева развивает мысль, высказанную еще в «Поэте о критике»: «вещь, путем меня, сама себя пишет», – мысль, бывшую ее глубоким убеждением, никогда не изменившимся. Это подтверждается и другими настоящими поэтами, в частности Тицианом Табидзе и Борисом Пастернаком, переведшим с грузинского эти стихи Табидзе:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.

«Искусство при свете Совести» написано ради утверждения этой мысли. Говоря о гениальности Пушкина, не уравновесившего Гимна чуме – молитвой и тем самым оставившего читателя под чарой чумы и гибели, Цветаева добавляет: «О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую». Но именно эта подвластность поэта стихиям и неподвластность поэту вещи, которая «сама себя пишет», послужит ему оправданием на Страшном суде слова. Губительно для поэта, когда «рука опережает слух», когда он на мгновение выскальзывает из-под власти наития. Это случается даже с гением. Цветаева показывает, что последние две строки Гимна чуме не только ничего не добавляют к предыдущим, но противостоят им, с высоты чары низвергаясь на уровень «только-авторского» сочинительства. Цветаева дает «пушкиньянцам» пример смелости в толковании пушкинского текста. Вспоминая свое первое, дошкольное чтение Пушкина («Мой Пушкин»), она «споткнулась» о знаменитую «Птичку Божию», которая «не знает / Ни заботы, ни труда»: «Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички?..» Цветаева без обиняков заявляет, что таких «птичек» не бывает, что «эти стихи явно написаны про бабочку», что пушкинская «птичка – поэтическая вольность». Это был «ее Пушкин», перед которым не надо было «благоговеть», которого надо было читать, знать, любить, у которого учиться. Проза подтверждала с вызовом брошенное в стихах:

Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

С ней жил свободный дух Пушкина, она преломляла его в себе, он сопутствовал ей в любую минуту жизни. Потрясенная женитьбой Пастернака, Цветаева писала в уже цитированном письме к Р. Ломоносовой: «Живу. Последняя ставка на человека. Но остается работа и дети и пушкинское: "На свете счастья нет, но есть покой и *воля"...»* Среди трех окончательных ценностей, сохраняющихся дальше «последней ставки на человека», Цветаева называет Пушкина – вне возможности разочарования, такой же бесспорностью, как само существование ее детей. Работа, дети, Пушкин – именно в этой последовательности – то, что пребудет с

ней до конца. Это дает ей свободу понимать и толковать Пушкина; так в этом письме она по-своему применяет его понятие «воля»: «...которую Пушкин употребил как: „свобода“, я же: воля к чему-нибудь: к той же работе. Словом, советское „Герой ТРУДА“...» И дальше она рассуждает о наследственности своего трудолюбия, чувства долга и ответственности.

Теоретические построения Цветаевой составляют нерасторжимое целое с логикой литературного анализа. Три маленькие главки в «Искусстве при свете Совести» – «Поэт и стихии», «Гений», «Пушкин и Вальсингам» – посвящены «Пиру во время чумы». Сила цветаевской логики такова, что, разобрав только Песню Вальсингама, она по существу сказала все о «Пире во время чумы» и больше, чем только о «Пире», – о внутреннем мире Пушкина. В ходе рассуждений о нравственной силе и над-нравственности искусства Цветаевой понадобились ссылки на Гёте, Льва Толстого, Гоголя, Маяковского, однако лишь Пушкин на крохотном плацдарме «Пира» предстал во весь рост. Ближе к концу «Искусства при свете Совести» Цветаева вновь обращается к Пушкину – как будто для того, чтобы сделать заявку на будущую работу «Пушкин и Пугачев». Размышляя о «своем» и «чужом» для поэта, она ссылается на пример Пушкина, «присвоившего» в «Скупом рыцаре» «даже скупость... в Сальери – даже бездарность». И внезапно переходит к себе: «Не по примете же чуждости, а именно по примете *родности* стучался в меня Пугачев». Это тем более неожиданно, что ни в стихах, ни в прозе она о Пугачеве до этого не писала: «за Пугачева не умру – значит *не мое».* Пройдет пять лет, и появится «Пушкин и Пугачев» – Пушкин породнит Цветаеву с Пугачевым. Это будет последнее у нее о Пушкине, последнее обращение к детству, вообще – последняя работа о литературе. На мой взгляд, «Пушкин и Пугачев» – лучшее, что написала Цветаева в этом роде, этап, открывавший новые возможности ее прозы.

Что дает основания отнести «Пушкина и Пугачева» к новому этапу прозы Цветаевой о литературе? Во-первых, это работа в новом для нее жанре. Она обращается не к философско-теоретической проблеме, не к рассмотрению творчества того или иного поэта, а к двум конкретным произведениям: «Капитанской дочке» и «Истории пугачевского бунта» Пушкина. Однажды это уже было: в 1933 году она написала «Два Лесных Царя», сопоставляя баллады Гёте и Жуковского, но тогда речь шла о переводе. Такое исследование требует особого углубления в текст, но не лишает его широты взгляда и обобщений. Удивляет смелость, с которой Цветаева вводит Пугачева в ряд самых романтичных героев мировой литературы, определяя

«Капитанскую дочку», которую нас со школьных лет приучили считать началом русского реализма, как «чистейший романтизм, кристалл романтизма». Невероятным на первый взгляд и убедительным в свете цветаевской логики кажется сопоставление Пугачева с Дон Кихотом… В «Пушкине и Пугачеве» изменился сам логический строй Цветаевой. Я упоминала о силе и убедительности ее логической мысли. Но теперь не логика мысли, а логика искусства ведет размышления Цветаевой. Как на примеры укажу на те места, где она говорит о естественной, но неосознанной самим автором подмене по ходу «Капитанской дочки» недоросля Гринева умудренным жизнью Пушкиным: «Не *я* здесь создает автобиографичность, а сущность этого я. Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного я, что скоро это я станет действительно я, им, плотью его и кровью». Такого же рода логика – рассуждения о преображении Пугачева «Истории пугачевского бунта» в Пугачева «Капитанской дочки» или – наконец – объяснение, почему Пушкин не мог не зачароваться мятежом, основанное на Гимне чуме из «Пира»… Логика искусства теперь оказывается нужнее и убедительней логики мысли и слов. Как и в «Моем Пушкине», Цветаева сохраняет неповторимое прочтение Пушкина глазами и сердцем ребенка – первое прочтение без помощи и вмешательства взрослых. Но если прежде взрослая Цветаева скрывалась в подтексте, то сейчас она выходит на страницы «Пушкина и Пугачева», корректируя детский рассказ сегодняшними наблюдениями, размышлениями, оценками. Все это найдено в эссе «Пушкин и Пугачев». Но было бы слишком смело говорить о новом этапе, если бы не еще одно. Цветаева определила стиль «Капитанской дочки»: «Покой повествования и словесная сдержанность». Это главное, что характеризует и зрелую прозу Цветаевой – «Пушкина и Пугачева». Она шла к этому открытию постепенно, от одной литературно-теоретической работы к другой, освобождаясь от чрезмерной сложности и словесного буйства. Конечно, стиль зависел от темы и задачи вещи. В «Пушкине и Пугачеве» сказалось влияние пушкинской прозы, которая в данный момент была предметом исследования. «Покой повествования и словесная сдержанность» не исключали ни страстного напора, ни логики, ни убедительности. Они свидетельствовали о явлении нового качества – мудрости исследователя, мудрости, которой не требуется никаких излишеств, которой достаточно самой себя. Отсюда должны были открыться новые возможности. Не состоялось. На этой вершине оборвался Пушкин Цветаевой. Жизнь повернулась так, что ее творческая деятельность была прервана осенью 1937 года.

* * *

«Мой», «моя», «мое» – печать не только индивидуальности, но субъективности, отмечает все, что писала Цветаева. «Мой» – тот, которого люблю, такой, каким я вижу и понимаю. Мои – пушкинские «Цыганы» и Татьяна; мой – дом Иловайских, в котором была однажды в жизни; моя – княгиня фон Турн-унд-Таксис, у которой в детстве они с Асей провели сказочный день; мой – Чорт, хоть он и жил в комнате у сестры Валерии…

Субъективно и все, написанное Цветаевой о поэзии и поэтах, – ведь это мир ее Бытия. Помимо статей, она оставила эссе-воспоминания о Валерии Брюсове, Осипе Мандельштаме, Андрее Белом, Максимилиане Волошине и Михаиле Кузмине. Трудно назвать жанр этих работ: это не литературные портреты в обычном смысле; каждый раз это портреты души – поэта, о котором пишет Цветаева, – и ее самой.

Цветаева избирательна – в этой области больше, нежели в любой другой. «По примете *родности»* обращается она к тому, о ком собирается писать. По ее письмам к Г. П. Федотову – философу и публицисту, одному из редакторов журнала «Новый град» – видно, что эссе «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак» поначалу предполагалось как статья о Пастернаке на фоне современной советской поэзии. Прочитав книги советских поэтов, Цветаева отказалась от этой идеи и предложила другую: «могу ли я вместо Пастернака написать Маяковского либо сопоставить Маяковского и Пастернака: лирику и эпос наших дней?» Она не взялась писать о советских поэтах, потому что эта поэзия, кроме отдельных имен или, скорее, стихотворений, оказалась чужда ей. Не потому ли осталась в набросках поэма или драма о Сергее Есенине, задуманная под ударом от его самоубийства? Это не связано ни с политикой, ни с личными отношениями – лишь с поэзией. Обращение к Маяковскому: «Враг ты мой родной!» – показательно: в нем акцентируются все три слова: *враг, мой, родной.* И все-таки главное – *«мой»,* оно притягивает оба других: мой враг – одновременно и мой родной. «Враг» означает, что для Цветаевой неприемлемы идеи, которым он служит; «родной» – что братство по «струнному рукомеслу» гораздо важнее политической несовместимости.

Цветаева не написала отдельно о Маяковском, хотя такое намерение у нее было. «Про Маяковского когда-нибудь напишу, вернее, запишу ряд встреч, которые помню все. *Все* немногословные, потому и помню», – делилась она с Саломеей Андрониковой, закончив цикл «Маяковскому». Тема не

«отвязалась», мысленно Цветаева еще и еще раз возвращалась к Маяковскому, оставалось нечто недоосознанное ею и в творчестве, и в самой его смерти. Последовательно в трех статьях Цветаева продолжает размышлять над путем Маяковского. Возможно, в какой-то степени ее подтолкнула книга «Смерть Владимира Маяковского» (1931), составленная из двух статей: «О поколении, растратившем своих поэтов» Р. Якобсона и «Две смерти: 1837—1930» князя Д. Святополк-Мирского. Главное положение статьи Якобсона о едином контексте, в котором до́лжно рассматривать жизнь, поэзию и смерть Маяковского, могло заинтересовать Цветаеву, она сама была близка к такому пониманию. Святополк-Мирский, глядящий на Пушкина и Маяковского с позиций отвлеченно-социологических, чисто внешних, мог вызвать раздражение. В ее рассуждениях о Маяковском мне слышится оттолкновение от Мирского. В «Поэте и Времени» Цветаева подчеркивает исключительность Маяковского: «Брак поэта с временем – насильственный брак. Брак, которого как всякого претерпеваемого насилия он стыдится и из которого рвется... Только один Маяковский, этот подвижник *своей* совести, этот каторжанин нынешнего дня, этот нынешний день возлюбил: то есть поэта в себе – превозмог». Совесть человека, которая требует от него служения своему времени, Маяковский поставил выше совести поэта, предписывающей ему свободу от любых интересов, кроме поэзии. Превозможение поэта в себе – существеннейшая особенность Маяковского в понимании Цветаевой. В «Искусстве при свете Совести» она назовет это – подвигом. В отличие от Святополк-Мирского, она рассматривает творчество и судьбу Маяковского с точки зрения человеческой, психологической – с точки зрения поэта. «Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил». Это далеко от того, что она утверждала в стихах: «Мертвый пионерам крикнул: Стройся!» Теперь Цветаева не думает, что и сама смерть Маяковского могла бы служить призывом. Трагическая жизнь Маяковского, в которой постоянно боролись человек и поэт, кончилась трагическим выстрелом. В эмиграции циркулировали слухи, что Маяковский покончил с собой, разочаровавшись в советской действительности. Против этого решительно и зло возражал Ходасевич, сведя путь Маяковского к примитивной формуле: «бывший певец хама бунтующего превращался в певца при хаме благополучном»[195]. Не вступая в прямой спор ни с кем из хулителей Маяковского, Цветаева продолжает утверждать величие его как поэта революции, в этом видя его призвание. Конфликт, приведший его к гибели, ей кажется не до конца

ясным. В «Эпосе и лирике современной России» она пересматривает – или дополняет – свою прежнюю точку зрения: «Маяковский уложил себя, как врага». И хотя двумя фразами раньше она как будто поясняет эту формулу, она все еще допускает разные толкования. Одно из них: Маяковский расправился с поэтом в себе, когда понял, что поэт – читайте его сатирические стихи и пьесы последних лет – враждебен тому, чему Маяковский-человек считал себя призванным служить, Маяковский разбился о время. В любой из логических ситуаций, приведших его к самоубийству, он оставался «подвижником *своей* совести». Могла ли Цветаева считать его врагом?

Но и эссе о Валерии Брюсове, иронически названное «Герой Труда», она тем не менее пишет «по примете родности». Эти воспоминания – единственные в своем роде, ибо нигде не ставила Цветаева себе задачи низвергнуть поэта. Она сполна отвечает на прошлое недоброжелательство Брюсова. Однако «Герой Труда» продиктован не только личной обидой, а и разочарованием в его поэзии. В ранней юности она страстно увлекалась стихами Брюсова – тем горше ее разочарование, чем больше и неоправданней кажется прошлое увлечение. Странно: читая эссе, иронизируешь, негодуешь, злорадствуешь вместе с Цветаевой, но по окончании чтения не чувствуешь никакой враждебности к Брюсову. Ибо, наряду с развенчанием Брюсова-поэта, это – гимн его уму, умению трудиться, силе и образованности, преодолевшим его природу не-поэта – случай обратный Маяковскому—и сделавший из Брюсова писателя, переводчика, организатора крупнейшего литературного движения века, учителя поэтов. Декларируя неприятие Брюсова, Цветаева временами не может сдержать восторга и восхищения им.

Что же говорить о Мандельштаме и Волошине, с которыми ее связывали дружба, воспоминания молодости и радости? В 1931 году Цветаева написала «Историю одного посвящения» – надо было защитить Мандельштама. Георгий Иванов в одном из фельетонов своей серии «Китайские тени» в развязном и пошлом тоне описывал молодость Мандельштама, Коктебель, рассказывал выдуманную им историю стихотворения «Не веря воскресенья чуду...», обращенного якобы к какой-то неправдоподобной женщине-врачу. Цветаева прочла очерк Г. Иванова с опозданием и немедленно ринулась в бой. Она писала Андрониковой, закончив «Историю одного посвящения»: «во 2-ой части дан *живой* Мандельштам и – добро́ дан, великодушно дан, если хотите—с *материнским* юмором». Но несколько лет назад она «рвала в клоки подлую книгу» «Шум времени» – как увязать это с материнскими чувствами? Цветаева поостыла, возможно, поняла

неоправданную резкость своей оценки. Теперь она говорит об этой книге не как о «подлой», а как о «мертворожденной» – большая разница! К тому же – она, с высоты их прошлой дружбы и любви к нему, имела право негодовать на Мандельштама – но не Георгий Иванов, чуждый тому миру, знающий о нем понаслышке, «цинически врущий» обо всех. Она защищала «свои» стихи Мандельштама, его самого, Макса, Пра, весь их коктебельский мир от ивановской пошлости. Ведь даже если бы Мандельштам прочел очерк Г. Иванова, он не мог бы ответить.

«Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром, зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге небывшего армянина. *Эту* собственность – отстаиваю». Она делает это с блеском. Мандельштам предстает на ее страницах действительно живым: ни на кого не похожим, чуть-чуть чудаковатым, непрактичным, необязательным, не очень земным – ребенком и мудрецом – поэтом. Да, Цветаева пишет о нем с юмором и с иронией, но главное – с любовью, пониманием и снисходительностью к его слабостям, таким ничтожным рядом с его огромным даром. Конечно, это был «мой» Мандельштам: что-то подчеркнуто, что-то опущено, другие могли видеть его не таким – но это был Мандельштам – тех стихов. «История одного посвящения», как через год «Живое о живом», погружала Цветаеву в давнюю атмосферу Коктебеля: одержимость искусством, восторг перед поэзией, любовь к поэту, молодое веселье. Вероятно, Цветаевой было радостно работать над этими эссе. Работать – но не публиковать.

Вопрос об отношениях Цветаевой с редакциями, где она печаталась, и с эмиграцией в целом сложен, и я не возьму на себя смелость выносить окончательное суждение, а изложу свое о нем представление. Русская эмиграция не была чем-то единым, она состояла из отдельных людей, объединявшихся зачастую по политическому признаку или продолжавших отношения времен довоенных, дореволюционных, военных. Такова была дружба Цветаевой с С. М. Волконским или с К. Д. Бальмонтом, отношения Эфрона с семьей Богенгардтов. Неверно считать, что у Цветаевой в эмиграции не было никакого круга: друзей, читателей, сочувствующих, – хотя сама она иногда поддерживала эту мысль в письмах и даже в публичных высказываниях. Вокруг нее были люди, они и притягивались к ней и отталкивались от нее; многих она сама отталкивала, потеряв к ним интерес. Полного одиночества, которое представляется, когда говоришь о Цветаевой в эмиграции, не было. Семья Лебедевых, А. И. Андреева (их в 1936 году Цветаева назвала среди «последних

друзей»), М. Л. Слоним, А. З. Туржанская, А. А. Тескова – со всеми она познакомилась еще в пражские времена. В Париже появились С. Н. Андроникова, Е. А. Извольская, В. Н. Бунина. Отношения менялись, случались взаимонепонимание и обиды, ссоры и примирения. Вот как писала мне об отношении Цветаевой с их семьей дочь Лебедевых – Ирина Владимировна: «Дружба с родителями была, по-моему, единственной нормальной дружбой Марины Ивановны – без надрывов, разрывов и разочарований – М. И. бывала у нас часто, очень часто – многое из того, что писала, приносила и читала маме и папе... часами обсуждала с мамой. С<ергей> Жковлевич> приходил редко – отец недолюбливал его как „белогвардейца“, а потом С. Я. начал „исчезать“... Аля у нас жила днями, неделями... Дружба была влюбленной и абсолютной, но внешне мы „гоготали“ (как говорила Марина Ивановна) – ходили в кино, бродили по Парижу...»[196] Часто Ируся (так звали ее в домашнем кругу) убегала к Але на занятия в Лувр. Полистайте письма Цветаевой: вы найдете в них имена многих людей, с которыми она была знакома, встречалась, обменивалась мнениями. Среди них – известные и замечательные деятели русской культуры: Лев Шестов, Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, С. С. Прокофьев, отец Сергий Булгаков, В. Ф. Ходасевич, Е. И. Замятин... До раскола евразийства она была связана с евразийцами, бывала на их выступлениях, с ними встречала Новый год. Позже посещала вечера журнала «Числа», организованное Слонимом литературное объединение «Кочевье», молодые участники которого высоко ценили ее поэзию. Имя Цветаевой было достаточно известно. Литературная молодежь искала ее дружбы и советов. В разное время она приятельствовала с Вадимом Андреевым, Брониславом Сосинским, Даниилом Резниковым, Алексеем Эйснером, Аллой Головиной, встречалась с Борисом Поплавским, переписывалась с Арсением Несмеловым и Юрием Иваском. Ее успех в эмиграции не был и не мог быть массовым – он не был бы таким и в Советской России – в силу самого склада ее души и поэзии. Но читатели, слушатели, почитатели Цветаевой – были. Правда, немало было и недоброжелательства: она заскочила не в свое время. В век сугубой прозаичности, неотвязных забот о материальном устройстве жизни Цветаева с ее «пареньем!», высоким отношением к миру казалась обывателю странным и смешным анахронизмом. Она это понимала...

Проблема отношений Цветаевой с редакциями тоже неоднозначна. В довоенной русской эмиграции существовало множество разного толка и направлений газет, журналов, сборников, альманахов. Одни сменяли другие, конкурировали и

открыто враждовали друг с другом. Часть умирала на втором-третьем выпуске, немногим удавалось продержаться дольше. Но были и такие, которые выходили годами и даже десятилетиями: газеты «Последние новости», «Возрождение», «Дни», журналы «Воля России» и «Современные записки». Почти со всеми из них Цветаева была связана. Известны ее постоянные жалобы на трудность «пробивания» своих вещей, особенно стихов, на непонимание и пренебрежение редакторов. Известны скандалы с «Последними новостями» – работодателем многих писателей. Первый случился в ноябре 1928 года и был связан с приветствием Цветаевой Маяковскому – я упоминала о нем. Летом 1933 года хлопотами друзей «Последние новости» возобновили сотрудничество с Цветаевой. Была надежда, что она сможет печататься там регулярно – еженедельно, ежемесячно или хотя бы раз в три месяца – это несколько стабилизировало бы ее материальное положение. Но конфликты возникали на каждом шагу. То Цветаевой отказывали в обещанном авансе, то возвратили рукопись «Двух Лесных Царей» с формулировкой, что это «интересное филологическое исследование совершенно не газетно», то «Сказку матери» напечатали с такими сокращениями и изменениями, что она «читая – *плакала*». С ней обращались как с посторонней, чьим сотрудничеством не дорожат. «Пишу я – не хуже других, – жаловалась Цветаева, ища заступничества у Веры Буниной, – почему же именно меня заставляют ходить и кланяться за свои же труды и деньги: – Подайте, Христа ради!..» Но выхода не было, приходилось и трудиться, и кланяться. Разрыв произошел из-за посвященной памяти Николая Гронского статьи «Посмертный подарок», написанной по просьбе его отца, известного общественного деятеля и постоянного сотрудника «Последних новостей». Специально для газеты Цветаева разделила статью на две, и все же она «валялась» там три месяца. Возмущенная неуважением к своей работе и к памяти погибшего поэта, она весной 1935 года забрала из редакции «Посмертный подарок». Ее непрочное сотрудничество в «Последних новостях» кончилось. «Мои дела – отчаянные, – писала она однажды. – Я *не умею* писать, как нравится Милюкову. И Рудневу. Они мне сами НЕ нравятся!»[197] Да, она не умела писать, как нравилось тем, от кого зависела возможность печататься, зарабатывать, жить – к счастью для ее сегодняшних читателей. К несчастью для нее, редакторы не понимали, что перед ними замечательный писатель, с неповторимым взглядом на мир, с манерой, не выдуманной, а органичной – пусть непривычной и странной для них. «Литература в руках малограмотных людей», – утверждала Цветаева и была права. В подавляющем большинстве дела

литературы вершили люди, не имевшие к ней отношения: профессора, политические и общественные деятели – образованные, достойные уважения, но от литературы далекие. В. В. Руднев волею судьбы оказался одним из редакторов лучшего «толстого» журнала эмиграции «Современные записки» и «куратором» Цветаевой. Она часто жестоко страдала от его замечаний, высказываний, предложений. В Рудневе не было злой воли, было непонимание, кто перед ним; он ориентировал Цветаеву на «среднего» читателя. В соответствии со своими представлениями о журнале и читателе он правил рукописи. Стихи Цветаевой проходили у Руднева с трудом – он сам был «средним» читателем и плохо понимал их. Но еще более горькой была борьба, которую ей приходилось вести за каждую свою прозаическую вещь, – нет человека, который бы не считал, что он понимает в прозе. Цветаева дорожила своей прозой не меньше, чем стихами, и лучше, чем любой редактор, знала, какого труда она требует. «Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, – объяснила она Рудневу, – в ней единица усилия (усердия) – не фраза, а слово, и даже часто – слог. Это Вам подтвердят мои черновики». Но что было Рудневу до слогов и черновиков Цветаевой? У него были свои заботы: журнал, десятки авторов, сотни рукописей, корректуры, добывание денег на издание – заботы не менее важные для него, чем Цветаевой неприкосновенность ее текста. Иногда Цветаева предпринимала «обходные маневры», но чаще приходилось смиряться – ей необходим был заработок.

Когда в печати начали появляться письма Цветаевой, кое-кто был смущен резкостью, с которой она отзывалась иногда о «Современных записках» и о Рудневе. Казалось не совсем этичным, что, продолжая печататься в журнале и поддерживать отношения с Рудневым, она за глаза возмущается и шлет проклятья. Однако – не совсем за глаза. Из писем Цветаевой к Рудневу видно, что и ему она время от времени высказывала накопившиеся у нее обиды. В разгар конфликта по поводу рукописи «Дом у Старого Пимена» Цветаева написала Рудневу, что категорически отказывается от сокращений. Письмо – и ультиматум, и выражение ее писательского кредо и принципов, которыми она руководствовалась в отношениях с редакциями.

> «...Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из *внешних* соображений, приписать, по окончании, ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет – в посмертное, т. е. в наследство тому

же Муру (он будет БОГАТ ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ) – итак, пусть идет в наследство моему *богатому* наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции, и эмиграции, в лице ее редакторов, *не* понадобившегося, хотя все время и плачется, что нет хорошей прозы и стихов.

За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне – 1933 г., и меня все еще *здесь* считают либо начинающим, либо любителем, – каким-то гастролером. <…>

Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету – зная своей работе цену – цены никогда не набавляла, всегда брала, что дают, – и если я нынче, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о *существе* моей работы и о дальнейших ее возможностях.

Вот мой ответ *по существу* и *раз-навсегда*…»

Очевидно, письмо возымело действие – «Дом у Старого Пимена» вышел без сокращений. Но сообщая В. Буниной об отношениях с Рудневым, Цветаева писала: «Спасли Пимена только мои неожиданные – от обиды и негодования – градом! – слезы. Р<удне>в испугался – и уступил»…

И все же… во многих письмах тому же Рудневу звучит благодарность за внимательную корректуру, за вовремя подоспевший аванс, за дружеский совет. И все же… в тридцати из семидесяти номеров «Современных записок» напечатаны стихи и проза Цветаевой – иногда несколько произведений в одном номере. И все же… ее безотказно печатала «Воля России» («Брали – всё, и за это им по гроб жизни – и если есть – дальше – благодарна»); ей были открыты «Окно», «Новый Град», «Встречи», «Числа» и другие журналы и сборники, на страницах которых она появлялась. Ей довелось увидеть опубликованной значительнейшую часть своих произведений.

Если обратиться к библиографии Цветаевой, то, помня о ее негодовании, скорее удивишься тому, как много из написанного ею в эмиграции было напечатано. Из крупных поэтических вещей остались в рукописях «Перекоп» и Поэма о Царской Семье – по причинам политическим, «Автобус» и «Стихи к Чехии» – в связи со сложившейся ко времени их окончания жизненной ситуацией. Из стихов не были полностью опубликованы циклы «Стихи к

Пушкину», «Стихи к сыну», «Стол», еще ряд стихотворений, о которых нет сведений, предлагала ли их Цветаева редакциям. Многое из того, что было создано в Москве в годы революции, Цветаева опубликовала в эмигрантской периодике, в том числе больше трети «Лебединого Стана». Я уверена, что, за перечисленными исключениями, Цветаева напечатала все, что считала нужным. Ее посмертные публикации подтверждают это: среди них не было таких открытий, как, к примеру, «Воронежские тетради» Мандельштама. Из прозы Цветаевой не удалось опубликовать «Историю одного посвящения» – «Воля России», принявшая эссе в ближайший номер, перестала существовать; и вторую часть «Повести о Сонечке», объявленную, но не успевшую появиться в «Русских записках», – в связи с разоблачением С. Я. Эфрона как советского агента и предстоявшим отъездом Цветаевой в Советскую Россию.

Я не хочу сказать, что литературная судьба Цветаевой была благополучна, но в споре о том, где бы ей жилось лучше, в эмиграции или в Советском Союзе – бесплодном споре, – я вспоминаю о писательской судьбе Михаила Булгакова или Осипа Мандельштама, оставшихся на родине. У обоих большая и важнейшая часть их произведений не была опубликована десятилетия после их смерти; многое из наследия Мандельштама появилось лишь в девяностых годах. Цветаева жила в свободном мире – тем больнее, что и здесь она оказалась парией.

За четырнадцать лет парижской жизни ей удалось выпустить одну книгу – «После России. 1922—1925». С помощью С. Андрониковой нашелся меценат по фамилии Путерман – он был поклонником поэзии Цветаевой и субсидировал издание. Объявили предварительную подписку на книгу, Цветаева распространяла ее через друзей и знакомых. В начале 1928 года сборник вышел в свет. Цветаева была уверена, что книга хорошая, она возлагала на ее появление большие надежды. И ошиблась – «После России» не только не стала событием литературной жизни, но прошла почти незамеченной. В 1931 году была предпринята попытка издать отдельной книжечкой «Крысолов». Аля сделала иллюстрации к поэме. Была открыта подписка, рассылался подписной лист – но из этой затеи ничего не вышло. Время для поэзии Цветаевой не настало. Если о судьбе писателя судить по количеству изданных им книг, может быть, самой «незамеченной» в эмиграции придется признать Цветаеву. А у нее было что издавать: стихи, поэмы, пьесы, статьи, воспоминания о поэтах, автобиографическая проза…

Цветаева была достаточно трезвым человеком, чтобы понимать: пожелай она приспособиться, она могла бы стать и

знаменитой, и благополучной. В письме Ломоносовой она сказала об этом с присущей ей прямотой: «...я могла бы быть первым поэтом своего времени, знаю это, ибо у меня есть *всё,* все данные, но – *своего* времени я не люблю, не признаю его своим,

...Ибо *мимо* родилась
Времени. Вотще и всуе
Ратуешь! Калиф на час:
Время! Я тебя миную.

Еще – меньше, но метче: могла бы просто быть богатым и признанным поэтом – либо там, либо здесь, даже не кривя душой, просто зарядившись другим: чужим. Попутным, не-насущным своим. (Чужого нет!) И – настолько не могу, настолько отродясь *ne daigne*[198], что никогда, ни одной минуты серьезно не задумалась: а что, если бы? – так заведомо решен во мне этот вопрос, так никогда не был, не мог быть – вопросом».

Наравне с долгом перед поэзией Цветаева ощущала долг перед семьей. В поисках заработка в тридцатые годы она пыталась войти во французскую литературу, войти с «насущным своим», не поступаясь своими принципами, но воссоздавая себя по-французски. Первой французской работой ее стал перевод «Мóлодца». Цветаева погрузилась в совершенно новую и необычную для себя стихию – освоение чужого стихотворного языка. Перевод захватил ее, она любила «взваливать на себя гору». Она признавалась, что училась в процессе работы – помогал слух – но со второй главки переводила уже правильными стихами. Она перевела «Мóлодца», от начала до конца сделав все сама, отказавшись от помощи французского поэта, рекомендованного ей Андрониковой. Цветаева увлеклась самой проблемой перевода. «Вещь идет хорошо, – писала она Андрониковой, – могла бы сейчас написать теорию стихотворного перевода, сводящуюся к транспозиции, перемене тональности при сохранении основы. Не только другими словами, но другими образами. Словом, вещь на другом языке нужно писать заново. Что и делаю. Что взять на себя может только автор». Ей казалось, что перевод удался, что она смогла воссоздать по-французски стихию русской фольклорной поэмы, перевести вещь в образный и лексический строй другого языка. *«Новая* вещь... Перевод стихами, изнутри французского народного и старинного языка, каким нынче никто не пишет, – да и тогда не писали, ибо многое – чисто-мое» (из письма к Р. Ломоносовой). Она трудилась в полную меру сил и любви и могла быть довольна. Пастернак одобрял ее перевод и свел ее с известным французским поэтом и

теоретиком стиха Шарлем Вильдраком. Ей устроили чтение поэмы во французском литературном салоне. «Все хвалят…» – но никто не помог напечатать, а Цветаева не умела работать локтями. «Не умею я устраивать своих дел», – с грустью признавалась Ломоносовой. Кажется, конфликт был глубже, чем простое равнодушие, и крылся в несовпадении французской и русской систем стихосложения. Переводы Цветаевой, стремившейся и по-французски сохранить русское звучание и рифмовку, не «звучали» для французов, не воспринимались ими как стихи. Но, видимо, никто не сказал ей об этом. Впрочем, неудача постигла тогда же сделанный Алеком Броуном перевод «Мóлодца» на английский. Даже гончаровские иллюстрации не помогли. Но она не отказалась от идеи переводить и писать по-французски. В 1932– 1936 годах она написала «Письмо к Амазонке», «Чудо с лошадьми», из переписки с А. Вишняком-Геликоном сделала по-французски повесть «Флорентийские ночи», параллельно русским воспоминаниям об отце писала по-французски «Mon père et son Musée». К юбилею Пушкина переводила свои любимые стихи, мечтала о небольшой книжечке пушкинских переводов. Кроме нескольких стихотворений Пушкина, ни одна из этих работ не была опубликована.

В поисках литературного заработка Цветаева билась как рыба об лед, но никогда не искала «заказных» работ. В Париже возможностью заработка были литературные вечера. После переезда из Чехии Цветаева ежегодно устраивала по одному, по два-три, а в 1932 году даже четыре вечера. Авторский вечер требовал больших усилий и забот: достать помещение – получше и подешевле, дать объявление в газеты, отпечатать – тоже подешевле – и главное – удачно распространить билеты. Обычно в подготовке к вечеру принимала участие вся семья, в составлении и развозке билетов помогали Аля и Сергей Яковлевич, в день выступления Аля сидела в кассе. Успех зависел от дорогих билетов; на входные, пятифранковые, публика всегда набиралась, но практического «толку» от них было мало. Дорогие билеты надо было самой или через друзей и знакомых предлагать меценатам, литературным и окололитературным дамам. Это была «благотворительность», многое зависело от умения нравиться и быть приятной – чего Цветаева была лишена. Если вечер проходил удачно в денежном смысле, она могла заплатить за несколько месяцев за квартиру – так называемый «терм», постоянно висевший над ней дамокловым мечом. Иногда на «вечеровые» деньги можно было организовать летний отдых, приодеть детей или оплатить школу Мура.

Я уже упоминала, что Цветаева не одна участвовала в своем

авторском вечере: бывали певцы, музыканты, иногда она приглашала содокладчиками или оппонентами других писателей. Это была с их стороны дружеская услуга. В 1931 году Цветаева впервые решилась выступить одна; она читала «Историю одного посвящения», а во втором отделении – обращенные к ней стихи Мандельштама и свои стихи к нему. На ней было красивое красное платье, перешитое из подаренного ей Извольской полувековой давности платья ее матери. «Оказалось, что я в нем „красавица“, что цвет выбран (!) необычайно удачно и т. д. – Это мое первое собственное (т. е. шитое на меня) платье за шесть лет». Вечер прошел с успехом, и «История», и стихи понравились. После этого Цветаева почти всегда выступала одна. Она читала стихи, но чаще – только что написанную прозу, бывало, что приходилось спешно дописывать что-то к вечеру. Цветаева говорила, что прозу читать душевно гораздо легче, чем стихи. В старых газетах сохранились объявления о вечерах Цветаевой, в которых она всегда указывала программу чтения. Вот текст одного такого объявления:

> ВЕЧЕР МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
>
> *В четверг, 29 декабря в Доме Мютюалите* (*24, рю С.-Виктор*) *состоится вечер стихов Марины Цветаевой – "Детские и юношеские стихи "* (*Мои детские стихи о детях. Мои детские революционные стихи. Гимназические стихи. Юношеские стихи*). *Начало в 9 час. вечера. Билеты – при входе*[199].

В этом объявлении – важное свидетельство: революционные стихи Цветаевой исследователям неизвестны, они никогда не были напечатаны, но, очевидно, в те годы они еще существовали...

Вечера были подспорьем в семейном бюджете, но от бедности не спасали. Все, знавшие Цветаеву в Париже, вспоминают о ее вопиющей даже для эмиграции нищете. Не удивительно: у нее было двое детей и не было постоянного заработка. Сергей Яковлевич не стал главой и кормильцем семьи. Конечно, он пытался работать и зарабатывать, но не это составляло смысл его жизни. Его интересовала только политика, а в политике – Россия. Пока существовало евразийское издательство в Париже, он отдавал ему все время и силы («евразийский верблюд», – называла его Цветаева). Периодически он снимался в массовках на киностудии. Они жили трудно, но сносно: лето 1928 года провели в Понтайяке на Океане и даже имели возможность пригласить в дом «чужую родственницу» – Наталью Матвеевну Андрееву – помогавшую Цветаевой по хозяйству. Осенью 1929

года евразийское издательство и газета «Евразия» кончились, а с ними и небольшая зарплата Эфрона. Он был переутомлен, у него обнаружилась вспышка туберкулеза. При ослабленности и других болезнях это было опасно. С помощью Красного Креста его отправили лечиться в Савойю, в санаторий-пансионат Шато д'Арсин, где он провел девять месяцев 1930 года. Летом Цветаева с детьми жила неподалеку в крестьянском доме. Здесь она кончила перевод «Мóлодца» и писала цикл «Маяковскому». Доплачивать за санаторий (того, что давал Красный Крест, не хватало) помогал Святополк-Мирский.

Помощь друзей и друзей друзей, знакомых и незнакомых, наряду с чешским «иждивением», была основным реальным «доходом» Цветаевой. Скажу прямо: она нищенствовала – ей приходилось постоянно просить деньги. Меня поразил ее рассказ, как, встретившись с ехавшим через Париж в Америку Борисом Пильняком, она попросила у него 10 франков – он дал ей 100. Письмо, в котором она рассказывает об этом, начинается словами: «Мы совершенно погибаем». Нельзя не помянуть добрым словом тех, кто помогал Цветаевой выживать. Саломея Николаевна Андроникова-Гальперн с 1926-го и по крайней мере до 1934 года (очевидно, и дальше, но за следующие годы письма к ней Цветаевой не сохранились) ежемесячно посылала Цветаевой «иждивение», которое составлялось из ее собственных 300 франков и 300 (иногда меньше), которые она собирала у знакомых. Когда собирать стало не у кого, она продолжала посылать свои 300. Письма Цветаевой к Андрониковой полны просьб и благодарностей, именно поэтому Саломея Николаевна в свое время отказывалась их публиковать. Она не хотела афишировать ни цветаевскую нищету, ни свою благотворительность. Судя по письмам Цветаевой, не было просьбы, в которой Саломея Николаевна отказала бы ей. Она помогла найти издателя для «После России», хлопотала об устройстве «французских» дел, дарила мебель, одежду, обувь, искала работу для Али, распространяла билеты на цветаевские вечера… Д. П. Святополк-Мирский несколько лет присылал Эфронам деньги на квартиру – две трети их терма. Постоянно помогала А. А. Тескова – не только хлопотами о цветаевских литературных и житейских делах, но и деньгами. Несколько лет помогала никогда не видавшая Цветаеву Р. Н. Ломоносова, через нее раз или два передавал для Цветаевой деньги Борис Пастернак. Всегда и во всем была рядом Маргарита Николаевна Лебедева; в притяжении и отталкивании многие годы продолжалась дружба с Анной Ильиничной Андреевой; справляться с бытом помогала Александра Захаровна Туржанская,

с которой недолгое время семья Цветаевой жила в общей квартире...

В середине тридцатых годов (примерно в 1933—1934) по инициативе Е. А. Извольской был организован Комитет помощи Марине Цветаевой. В него вошли Извольская, Андроникова, Лебедева, целый ряд известных писателей (Н. Бердяев, М. Осоргин, М. Алданов и др.), в их числе и французская писательница Натали Клиффорд-Барни, к которой обращено «Письмо к Амазонке». Комитет составил «обращение»[200] с призывом помочь Цветаевой, но я не знаю, в чем еще заключалась его деятельность. Кажется, она свелась к тому, что Извольская какое-то время сама собирала деньги для Цветаевой.

Кое-что «перепадало» Цветаевой с ежегодных балов Союза русских писателей и журналистов в Париже, устраиваемых со специальной благотворительной целью. При одном из ее многочисленных «прошений» Цветаева послала письмо секретарю союза В. Ф. Зеелеру. Оно свидетельствует о Цветаевой лучше многих мемуаристов.

> Дорогой Владимир Феофилович!
>
> *Очень* прошу уделить мне что-нибудь с Пушкинского вечера. Прилагаю прошение. И конверт с адресом и маркой – не обижайтесь! Это я, зная Вашу занятость, для простоты и быстроты – с большой просьбой черкнуть ровно два слова: есть ли надежда на получку и *когда* за ней. Я ведь по телефону звонить не умею, а ехать на авось мне невозможно, я ведь целый день (8 концов!) провожаю сына в школу.
>
> Сердечный привет!
>
> *М. Цветаева*

Она получила деньги и с этого вечера, получала и с писательских балов («кадриль литературы», – иронизировала Цветаева), но лишь успевала заткнуть очередную прореху: внести за квартиру, заплатить долг угольщику или в лавку, уплатить за учебу Али и Мура. Цветаева билась с бытом, переезжала с квартиры на квартиру, ища подешевле, сама стирала, готовила, штопала, перешивала одежду, экономила на продуктах, на топливе, на транспорте, но детей учила в хороших школах. Аля была способной художницей, в разное время она занималась с Н. С. Гончаровой, в студии В. И. Шухаева, училась в École du Louvre и Art et Publicité. Среди своих радостей Цветаева в одном письме перечисляет: «русское чтение Мура, Алины рисовальные удачи и мои стихотворные». Она гордилась прекрасным русским языком

своего сына, интересом к французскому, которому он в шесть лет выучился самоучкой, его «дивной», «блистательной» (цветаевские определения) учебой – он даже получил школьный «орден» за успехи. Лет до 18—20 гордилась она и Алей: ее пониманием, умом, способностями, ее безропотной помощью... Маленькие семейные радости скрашивали жизнь: походы в кино, которое Цветаева очень любила, собственный фотоаппарат – она увлекалась фотографией. Бывали изредка гости, Цветаева поила их чаем или дешевым вином, угощала стихами. На Масленицу пекла блины, на Пасху – куличи. На Рождество обязательно была елка и – пусть самые незатейливые – подарки друг другу. Долгие годы в семье жили елочные украшения, сделанные своими руками еще в Чехии. Радовала Аля, когда в своем училище получила приз за лучшую иллюстрацию и вместе с призом – бесплатный курс гравюры. Радовала, когда на подаренные М. Н. Лебедевой деньги купила шерсть и связала Марине и Муру красивые фуфайки. Радовали пешие прогулки по медонским лесам, летние поездки – далеко не каждый год – на море, в деревню или в Савойю...

С годами жизнь становилась труднее. Резкий перелом случился, мне кажется, осенью 1930 года, после возвращения семьи из Савойи. В значительной степени это было связано с общим экономическим кризисом: издательские возможности и частная благотворительная помощь резко сократились, чешская стипендия тоже. Эфрон оказался без зарплаты и без профессии. Трудно судить о степени его стремления помочь семье, в цветаевских письмах об этом почти не говорится, но вот как характеризует его Слоним: «Сергею Яковлевичу не много было нужно, материальной нужды он как-то не замечал и почти ничего не мог сделать, чтобы обеспечить семью самым насущным. Зарабатывать он не умел – не был к этому способен, никакой профессией или практической хваткой не обладал, да и особых усилий для устройства на работу не прилагал, не до этого ему было». После Савойи учился в школе кинематографической техники – это было так же непрактично, как и другие его начинания. В марте 1931 года он окончил школу с дипломом кинооператора. Цветаева считала его большим специалистом по технике и теории кино. Работы найти не удалось. В конце года он устроился на тяжелую физическую работу – делал картон для домов, но скоро потерял и это. Аля зарабатывала вязанием, мастерила игрушечных матерчатых зайцев и медведей, с помощью все той же Андрониковой подрабатывала одно время в модном журнале, делая «figurines». Все это давало ничтожно мало, Цветаева оставалась главным добытчиком. И основным работником по дому, ибо Аля все больше отсутствовала: она

училась и много времени проводила в Париже. Как любой молодой девушке, ей хотелось развлечений, радости – своей жизни, ее начала тяготить тяжелая домашняя обстановка, требования и упреки матери. Цветаева мечтала о невозможном – увидеть в дочери повторение себя. Ей казалось чуждым поколение, к которому принадлежала Аля.

Не быть тебе нулем
Из молодых – да вредным! —

писала она в «Стихах к сыну», противопоставляя его поколению «нулей». Когда-то я считала, что Цветаева была плохой матерью, но дойдя до этих труднейших лет ее жизни, усомнилась – действительно ли плохая? Плохая или хорошая – понятия весьма условные. Нужно сказать, что Цветаева была – Мать. Дети составляли такую же огромную часть ее жизни, как и поэзия, в минуты необходимости отодвигая даже поэзию на второй план. Она постоянно заботилась о здоровье, воспитании, образовании детей. Зная их плохую наследственность, о здоровье – особенно: «хорошо – прежде всего – жив и здоров». «Полная эмансипация» Али, на которую она жаловалась весной 1934 года, беспокоила ее, в частности тем, что ей казалось, Аля пренебрегает своим здоровьем: «Главное же огорчение – ее здоровье: упорство в его явном, на глазах, разрушении...» Конечно, Цветаева не вспоминала о себе в Алином возрасте: вечная папироса, бессонные ночи, бесконечные беседы и чтение стихов – и никаких мыслей о здоровье.

«Эмансипация» Али выражалась не только в том, что она отстранялась от домашних забот и дел, старалась меньше бывать дома, но и в душевном отчуждении – это было больнее всего. Всю жизнь Цветаева стремилась направить дочь, «вкачать» в нее свое – и теперь теряла ее. Как призналась она Вере Буниной, она потерпела «фиаско», но в конце концов она отступила, Аля пошла за отцом, в сторону, противоположную цветаевской. В конфликте с Алей переплелись нужда и политика. Будь жизнь семьи материально легче и возможности Али устроить свою жизнь – интересно работать, зарабатывать, поселиться отдельно – больше, возможно, она не соблазнилась бы «пореволюционными течениями», «возвращенством», не стала бы, вслед за отцом, видеть в Советской России воплощение идеала. Политический конфликт, в котором Цветаева оказалась в одиночестве, выливался в домашние ссоры и скандалы. Цветаева считала, что «много зла, конечно, сделали общие знакомые, годами ведшие подкоп». Отчасти она была права. Те, кто после смерти Цветаевой

рассказывал, что она превратила дочь в домработницу, внушали это и Але. Отношения в семье обострялись, слова перетолковывались, накапливалось взаимное непонимание, обиды. Не будем судить, кто был более виноват в разладе – скорее всего, виноватых не было, каждый имел право на свой путь и свое место в мире. Но меня интересует Цветаева..

> *22 ноября 1934 г.:* «Вера, такой эпизод (только что). С<ережа> и Аля запираются от меня в кухне и пригашенными голосами – беседуют (устраивают ее судьбу). Слышу: ... „и тогда, м. б., наладятся твои отношения с матерью“. Я: – Не наладятся. – Аля: – А „мать“ – слушает. Я: – Ты так смеешь обо мне говорить? Беря мать в кавычки? – Что Вы тут лингвистику разводите: конечно, мать, а не отец. (Нужно было слышать это „мать“ – издевательски, торжествующе.) Я – Сереже: – Ну, теперь слышали? Что же Вы чувствуете, когда такое слышите? Сережа: – *Ни-че-го.* ...Да, он при Але говорит, что *я* – живая А. А. Иловайская, что оттого-то я так хорошо ее и написала...»

Это отрывки из писем ее к В. Н. Буниной. Даже если в возбуждении и запальчивости Цветаева сгустила краски, даже если весь эпизод – случайная вспышка взаимного раздражения, даже если она виновата в нем не меньше других участников, – его достаточно, чтобы почувствовать, как сжимало Цветаеву одиночество.

> *11 февраля 1935 г.:* «...я сейчас внешне закрепощена и душевно раскрепощена: ушла – Аля и с нею относительная (последние два года – насильственная!) помощь, но зато и вся нестерпимость постоянного сопротивления и издевательства...
>
> Ушла внезапно. Утром я попросила сходить Муру за лекарством – был день моего чтения о Блоке и я еще ни разу не перечла рукописи – она сопротивлялась: – Да, да... И через 10 мин. опять: Да, да... Вижу – сидит штопает чулки, потом читает газету, просто – *не идет.* — «Да, да ...Вот когда то-то и то-то сделаю – пойду...»
>
> Дальше – больше. Когда я ей сказала, что так измываться надо мной в день моего выступления – позор, – «Вы и так уж опозорены». – Что? – «Дальше некуда. Вы только послушайте, что о Вас говорят».
>
> Но было – *куда,* ибо 10 раз предупредив, чтобы прекратила—иначе дам пощечину – на 11 раз: на фразу:

«Вашу лживость все знают» – дала. – «Не в порядке взрослой дочери, а в порядке всякого, кто бы мне это сказал – вплоть до Президента Республики» (В чем – клянусь).

Тогда Сергей Яковлевич, взбешенный (НА МЕНЯ) сказал ей, чтобы она ни минуты больше не оставалась, и дал ей денег на расходы...

Моя дочь – первый человек, который меня ПРЕЗИРАЛ. И, наверное – последний. Разве что – *ее* дети».

Я не знаю, надолго ли и куда уходила Аля, когда вернулась. Я знаю, что они не переставали любить друг друга, что страшные обстоятельства жизни, быта, нищеты – и политики – вмешивались в их отношения и уродовали их. Можно ли было жить и писать в такой обстановке? Можно ли, поднявшись от плиты или корыта, отрешившись от отшумевшей ссоры, вернуться в стихию, единственную, которую Цветаева считала своим действительным миром? Это кажется невероятным, но она не переставала работать.

В статьях о поэзии Цветаева сосредоточивает внимание на наваждении, наитии стихий на поэта, его подвластности высшей силе, внушающей ему стихи. И никогда – на труде поэта, том следующем этапе, когда он остается наедине не с наитием, а с уже исписанным и требующим работы листом бумаги – черновиком. Почему? Возможно, потому, что стихию, наитие она считала явлением, общим для Поэтов, а труд, терпение, умение работать – индивидуальным. Ей это было свойственно в высшей степени. Свидетельство – цветаевские черновики, записи, планы отдельных вещей, нескончаемые варианты строк. Иногда Цветаева упоминает о своей работе в письмах: «Я *день* (у стола, *без* стола, в море, за мытьем посуды – или головы – и т. д.) ищу *эпитета,* т.е. ОДНОГО слова: *день* — и иногда *не* нахожу...» (1935, В. Н. Буниной). В тридцатые годы наитию все реже удавалось пробиться сквозь шум примуса, быт, семейные обиды и неприятности в редакциях. Отчасти и это определило преобладание прозы, требовавшей иного рода сосредоточенности; Цветаева говорила, что в процессе домашних дел мысль способна работать, чувства же спят. Но потребность писать стихи не уходила. «Страшно хочется писать. Стихи. И вообще. До тоски» – 1934; «мой же отдых и есть моя работа. Когда я не пишу – я просто несчастна, и никакие моря не помогут...» – 1935, во время летнего отдыха. И она писала—у нее нет года без стихов, кроме 1937-го, – писала, часто не имея возможности доработать

начатое, спохватываясь, что тетради полны незавершенных работ.Тогда она хваталась за тетрадь, чтобы привести все в порядок: «Это – нужно сделать, чтобы хоть что-нибудь – от *этих лет* — осталось...» (А. А. Тесковой). Многое ей удалось. Внутренне она постоянно была обращена к поэзии...

Стихи последних лет эмиграции отличают большая внешняя простота, сдержанность, бóльшая – кажущаяся – объективность. Они глубоки по-новому – глубиной не страсти, а мудрости. Главное же в ином мироощущении, которое они выражают: это стихи отрешенности. Понятия одиночества и уединения сплетаются в сознании, переходят одно в другое. Цветаева отчуждается от людей, замыкая свой мир предметами близкими, но неодушевленными: дом, стол, куст, бузина, сад, деревья... Они заменяют людей, она одушевляет их, с ними она чувствует себя свободно, на равных, от них ждет понимания.

Да, был человек возлюблен!
И сей человек был – стол

Сосновый...

Циклом «Стол» Цветаева отметила юбилей, о котором никто не догадывался, – тридцатую годовщину своего писания. Это единственный в своем роде гимн столу – вечному и верному спутнику в работе. И одновременно своеобразное – всеобъемлющее – подведение итогов: воспевая стол, она определяет свое «место во вселенной»: я – и мой долг («У невечных благ /Меня отбивал...»); я – и Бог («Обидел и обошел?/ Спасибо за то, что – стол /Дал...»; «Спасибо тебе, Столяр,/ За дóску – во весь мой дар...»); я – и моя поэзия («...письмом [стихами. – *В. Ш.*] – красивей /Не сыщешь в державе всей!»); я – и мир, люди («Вас положат – на обеденный, /А меня – на письменный», «А меня положат – голую: /Два крыла прикрытием»). Очеловечивая любой стол, за которым можно работать, который помогает писать, Цветаева, мне кажется, придает ему черты характера своей матери: как когда-то мать усаживала за рояль, стол усаживает за себя, учит и заставляет работать, охраняет от мирских соблазнов, радостей, низостей... Как куст может оградить от людского шума... Как сад – вообще от людей... Она вдохнула в них душу, и они пробуждали в ней чувство Бога: его она благодарит за стол, его просит о саде:

Скажи: довольно мýки – нá
Сад – одинокий, как сама.

(Но около и Сам не стань!)
– Сад, одинокий, как ты Сам.

В стихах теперь меньше бунта, он находил выход в письмах. Цветаева принимает судьбу такой, как она была дарована, не пытаясь преодолеть ее, углубляясь в себя. Такие стихи, как «Вскрыла жилы: неостановимо...» и «Уединение: уйди...», Цветаева, возможно, не опубликовала потому, что в такую глубину ее существа не должен был заглядывать никто:

Уединение: уйди
В себя, как прадеды в феоды.
Уединение: в груди
Ищи и находи свободу.

Уединение в груди.
Уединение: уйди,

Жизнь!

И вдруг – человек. Неожиданно, уже нежданно – человек, в котором ей почудилась нужда в ней:

Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне.

Стихи эти – весь цикл «Стихи сироте» – опять сироте! – обращены к молодому поэту Анатолию Штейгеру, которым – с которым – она душою жила лето 1936 года. Более неподходящего «предмета» для направленности своих чувств Цветаева найти не могла: Штейгер не интересовался женщинами, литературно и лично был близок Г. Адамовичу и его парижской ноте, политически принадлежал к неприемлемым для Цветаевой «младороссам». И – более подходящего: он был тяжело болен, находился в больнице или санатории, значит, был недоступен и нуждался в жалости, заботе, сочувствии, любви. Их разделяла граница: Штейгер лечился в Швейцарии, Цветаева проводила лето во Франции, в Савойе в Шато д'Арсин... Несколько лет назад он подарил ей свой сборник «Эта жизнь. Книга вторая» с восторженной надписью: «Марине Ивановне Цветаевой, великому

поэту. От глубоко преданного А. Штейгера. 1932»[201]. Они виделись однажды: Штейгер подошел к ней на ее вечере. По близорукости Цветаева даже не помнила его лица. И вдруг он окликнул ее из своего санатория, прислал новую книгу. Что-то задело ее, скорее всего, его беспомощность («туберкулез – ...моя родная болезнь», – писала она ему), молодость (ему было всего 29 лет), потребность в поддержке. Она рванулась к нему всем сердцем и помыслами. Со времени «невстречи» с Гронским восемь лет назад она жила одна, внутри себя. Со Штейгером в ее жизнь готово было войти что-то насущнейшее, почти забытое. «Может, Вы оказали мне дурную услугу – позвав меня и этим лишив меня душевного равновесия. А может – это единственная услуга, которую еще можно оказать человеку?» – спрашивала она, скорее всего, саму себя. Это – ключ к отношениям, к письмам (последний эпистолярный роман Цветаевой) и «Стихам сироте» (последний ее любовный цикл). Ключ к душе Цветаевой – одинокой, но всегда жаждущей воссоединиться с себе подобной. Для нее «надоба» в ней Штейгера была несравненно нужнее и важнее, чем ему все, что она могла бы ему предложить. А что она могла? В мире реальном – ничего, кроме петербургских – дорогих ему по воспоминаниям детства – открыток, какой-то, вероятно, совсем ненужной ему куртки, мечтаний о встрече... В мире бесплотном она могла предложить ему свою душу, стихи, письма – все, даже убежище в пещере собственной утробы:

Могла бы – взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.

В пантерины лапы
– Могла бы – взяла бы.
. . . . . .
Но мало – пещеры,
И мало – трущобы!
Могла бы – взяла бы
В пещеру – утробы.

Могла бы —
Взяла бы.

Тринадцать лет назад она так же жаждала взять Бахраха – не в пещеру, в «раковину», с той огромной разницей, что тогда она брала на время – вырастить и отпустить, сейчас же – навсегда – не

растить, а беречь и охранять. И с той, что, после стольких жизненных разочарований, встреча с «надобным» человеком явилась событием громадным, невероятным по значению. Отсюда – гиперболизм образов в «Стихах сироте»:

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
. . . . . .
...И рекой, разошедшейся на две —
Чтобы остров создать – и обнять.

Это вело ее отношение к Штейгеру (я сознательно говорю не об их «отношениях», ибо таковых не было), а не «экзальтация», неумение или нежелание видеть и слышать человека, к которому стремится ее душа, как иногда утверждают о Цветаевой, в частности и о ее «романе» со Штейгером. Она видела и слышала в его письмах то, что хотела видеть и слышать, что было нужно ей, отметая все лишнее. Он необходим был как повод, чтобы «отозваться всей собой», что не исключает ее абсолютной искренности и готовности взять его в сыновья, поддерживать, беречь, лелеять. Кончилось, как и должно было, крахом. Штейгер был не в состоянии, не мог, не хотел принять безмерности, обрушенной на него Цветаевой. Он написал ей об этом прямо. Они встретились однажды в Париже и больше не виделись и не переписывались. Для Цветаевой «разрыв» был глубочайшим разочарованием и болью: «Мне поверилось, что я кому-то – как хлеб – нужна. А оказалось – не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я – а Адамович и Comp. Горько. – Глупо. – Жалко» (из письма к А. А. Тесковой).

Остались от этого лета в Савойе замечательные «Стихи сироте» и письма Цветаевой к Штейгеру – нам, читателям. Цветаевой же – раскрытые для объятия и встретившие пустоту руки:

Обнимаю тебя кругозором
Гор...
. . . . . .
...Кругом клумбы и кругом колодца,
Куда камень придет – седым!
Круговою порукой сиротства, —
Одиночеством – круглым моим!
. . . . . .
Всей Савойей и всем Пиемонтом,
И – немножко хребет надломя —

Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!

Она оказалась опять одна с горами, деревьями, ручьями, горизонтом – всем огромным миром, в котором ощущала себя одинокой, как созревшая маковая головка. В заключительном стихотворении цикла ей видятся лето, маковое поле, смерть...

Начало конца

Добровольчество – это добрая воля к смерти...

(Попытка толкования)

Цветаева была тем более одинока, что ее внутреннее расхождение с мужем, человеком, понимавшим и принимавшим ее безусловно, человеком – она была в этом уверена, – который не мог существовать без нее, с чьей судьбой она была связана неразрывно, единственным, с кем она могла быть собой, – расхождение с *ее Сережей* к этому времени стало необратимым.

Оно не было случайным и началось много раньше, к концу двадцатых годов. Произошло это на политической почве. Политические темпераменты Цветаевой и Эфрона были противоположны: она утверждала свою аполитичность, Эфрон жил и дышал политикой. И тем не менее для меня неоспоримо, что долгие годы их политическая направленность (в случае Цветаевой я вместо «политические взгляды» воспользовалась бы выражением «политические чувствования») была общей. В какой-то момент их взгляды резко и непоправимо разошлись – это обернулось жизненной катастрофой.

Революция и Гражданская война перевернули самоощущение каждого российского гражданина, оставаться нейтральным было невозможно. Цветаева и Эфрон естественно оказались по одну сторону «баррикад»: он в Добровольческой армии с оружием в руках, она в Москве, страшась за него, страдая за судьбу России, воспевала эту армию. Меня интересует вопрос – когда и почему это изменилось?

На всем протяжении Гражданской войны Эфрон вел записи – по ним Цветаева писала поэму «Перекоп». В самом начале двадцатых годов в Праге они надеялись издать книги по записям военных лет: Цветаева – «Земные приметы», Эфрон – «Записки добровольца»[202]. О том, что они готовились к печати, свидетельствует переписка Цветаевой с Р. Гулем и А. Бахрахом, Эфрона – с Богенгардтами. Ни та ни другая книги не состоялись, но авторы опубликовали из них отдельные очерки, охватывающие разные этапы и аспекты Гражданской войны. Они имеют определенную хронологическую последовательность: дни Октябрьского переворота – «Октябрь в вагоне» Цветаевой и «Октябрь (1917)» Эфрона; «Декабрь 1917» Эфрона – организация Добровольческой армии; «Тиф» Эфрона – вероятно, первые дни

1918 года; «Вольный проезд» и «Мои службы» Цветаевой – сентябрь – ноябрь 1918-го – апрель 1919-го; «Тыл» Эфрона – 1920 год, время отступления Добровольческой армии. Одновременно с прозаическими записями создавались стихи «Лебединого Стана»; в единстве они воссоздают картину ее (и не только ее) быта и Бытия.

Параллельность повествования Цветаевой и Эфрона в их прозе о Гражданской войне очевидна. Это взгляд людей, находящихся в разных ситуациях, но видящих, понимающих и оценивающих события одинаково. Их объединяет общая нравственная, этическая установка. Мироощущение Цветаевой и Эфрона настолько близко, что их произведения о Гражданской войне могли бы составить общую книгу – на два голоса.

Дни октябрьского переворота запечатлены обоими. Эфрон самим названием «Октябрь (1917)» определяет тему: дни революции, и эпиграфом из «Бородина» М. Ю. Лермонтова подводит итог событиям:

> Когда б на то не Божья воля,
> Не отдали б Москвы!

Цветаевское название менее определенно: «Октябрь в вагоне» – некто едет в поезде... (Мы знаем, что это сама Цветаева возвращается из Крыма в Москву.) Но первые же фразы передают необычайное душевное напряжение рассказчицы и заставляют почувствовать, что речь пойдет о чем-то жизненно важном: «Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты... Кремль и все памятники взорваны. 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться...» Читатель введен в курс дела: рассказчица окаменела от страха за близких в Москве.

Эфрон, напротив, начинает свой очерк эпически спокойно: «Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул „Русские ведомости“ или „Русское слово“...» В газете страшная, но не неожиданная весть: переворот в Петрограде. Она заставляет захватить револьвер и «полететь» в свой полк: «Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. Наступил час, когда должны были выступить с одной стороны большевики, а с другой – всё действенное, могущее оказать им сопротивление...» И следом – признание, пришедшее гораздо позже: «Я недооценивал сил большевиков и их поражение казалось мне несомненным». Запомним эту фразу: здесь заключено зерно будущих трагических ошибок Эфрона.

Эфрон – активный участник описываемых им событий, объем

его наблюдений очень широк: обыватели, в трамвае узнающие о перевороте (как Цветаева – в поезде), разъяренная толпа на улицах, большевики в Совете, юнкера и офицеры – его сотоварищи по защите Москвы. Однако необходимость постоянно перемещаться и действовать не позволяет ему сосредоточиться на конкретных лицах. Он дает «групповые» портреты участников событий, то, что в детской игре называлось «красные и белые». Не имея возможности приглядеться к индивидуальной психологии поведения людей, Эфрон заменяет ее «групповой» психологией. Например, пассажиры трамвая, в котором он едет в полк. Они читают газеты с известием о перевороте и хранят молчание, как будто ничего не происходит: «С жадностью всматривался я в лица, стараясь прочесть в них, как встречается москвичами полученное известие. Замечалось лишь скрытое волнение. Обычно столь легко выявляющие свои чувства – москвичи на этот раз как бы боялись высказать то или иное отношение к случившемуся... Молчание не иначе мыслящих, а просто не желающих высказаться. *Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии*» (выделено мною. – *В. Ш*).

Объем наблюдений Цветаевой ограничен: солдаты и мирные граждане – дорожные попутчики, несколько человек домовой охраны в Москве. Лихорадочное возбуждение и подвижность Эфрона противостоят вынужденной неподвижности Цветаевой. Тем не менее она не пассивный созерцатель, а *активный* наблюдатель происходящего. Ее цепкий ум, преодолевая физическую близорукость, охватывает больше, чем можно просто увидеть и услышать, за словами ей представляется сущность человека, его нравственная позиция. Она записывает разговор с военным, сын которого – случайное совпадение – служит в одном полку с ее мужем. Рассчитывая на сочувствие молодой спутницы, он утешает ее: «У меня сын в 56-ом полку: ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла! ... Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть! ... Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике...» Обобщая впечатления от нескольких разрозненных сцен, Цветаева говорит: «первое видение буржуазии в Революции ... – видение шкуры». Эфрон на своем опыте мог бы сказать то же самое, но он не готов или не способен к обобщению.

Подавленный аффект разряжается естественно для Цветаевой – в тетради: она пишет мужу письмо, о котором говорилось в главе «Революция». Ее страх за мужа усугубляется ее уверенностью в его благородстве и храбрости. В ответ на «утешения» своего попутчика Цветаева обращается к мужу: «Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны.

Потому что *Вы не можете, чтобы убивали других»* (выделено мною. – *В. Ш.*).

«Октябрь (1917)» подтверждает представление Цветаевой о муже. Показывая *повседневность* катастрофы, никак не выставляя себя героем[203], Эфрон по ходу повествования проявляет ту сущность, которую она в нем видит: он не *может принять* случившееся, устраниться, как его соседи в московском трамвае или сын попутчика Цветаевой. Цветаева отмечает этический аспект, определяющий поступки Эфрона, – то общее понятие Добра и Зла, с которым они подходят к событиям.

В 1924 году, еще до публикации очерка «Октябрь (1917)», Эфрон напечатал в «Современных записках» статью «О Добровольчестве», где пытался осмыслить уроки Движения, причины его поражения, ответить на жгучий вопрос: кто такие добровольцы и «где правда» Добровольчества? После окончания Гражданской войны эти вопросы были в эмиграции предметом самого страстного обсуждения и непримиримых споров. Статья Эфрона беспощадна и в то же время пронизана болью за поражение, за все то страшное, что наросло на Добровольчестве и чего Эфрон не может и не хочет отрицать. Сделав, как он сам пишет, «краткий обзор пути», он отмечает главные причины поражения Добровольчества: трагический отрыв от народа («мы не обрели народного сочувствия») и разложение внутри Белого движения. Эфрон приходит к горькому выводу, что под идейным знаменем Добровольчества «было легко умирать ... но победить было трудно». Осознание ошибок еще не означает для него перемены идей и принципов, он считает, что, «очистившись от скверны, Движение должно ожить и с обновленными лозунгами продолжить борьбу за Россию. Новый лозунг опирается на понятие „народ“: „С народом, за Родину!“ Ибо одно от другого неотделимо».

Однако очищение Эфрон считает необходимым условием возрождения: «Мы не должны самообеляться, взваливая ответственность на вождей. Язвы наши носили общий и стихийный характер. Мы все виноваты: черная плоть, наросшая при нашем попустительстве, сделалась частью нас самих». Прямота и бесстрашие, с которыми он готов принять на себя ответственность, – поистине цветаевские. Особенно важно то, как помнит и понимает Эфрон возникновение Движения: «...В сердце – смертное томление: не умираю, а *умирает* (Россия. – *В. Ш.*).

Это и было началом. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнявшими душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающегося добровольчества. – Не могу выносить зла, не могу видеть

предательства, не могу соучаствовать, – лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками. Борьба с ними стала первым лозунгом и *негативной* основой добровольчества».

Споры и бессмысленные взаимные обвинения, раздиравшие русскую эмиграцию, для Эфрона как будто не имеют смысла в обсуждении недавнего прошлого. Он хочет осмыслить то, что произошло, – и оценивает с точки зрения нравственной. В следующей статье «Эмиграция» он говорит об этом прямо: «Добровольчество в основе своей было насыщено не политической, а этической идеей. Этическое „не могу принять“ решительно преобладало в нем над политическим „хочу“, „желаю“, „требую“. В этом „не могу принять“ была заключена вся моральная сила и значительность добровольчества». Именно это имела в виду Цветаева в «Письме в тетрадку»: невозможность для Эфрона смириться со злом. Точно такое же «не могу» неоднократно звучало у нее самой, в частности, в «Моих службах»: «Нет, руку на сердце положа, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела... И не их я ненавижу, а коммунизм». Она утверждает невозможность принять саму *идею. Этическое* отношение к тому, что произошло в России, делало Цветаеву и Эфрона единомышленниками.

С этой точки зрения интересно сопоставить «Вольный проезд» (о нем я говорила в главе четвертой) и «Тыл». Обе вещи рисуют ужасы «тыла» – Цветаева красного, «вражеского», Эфрон – своего, белого. Оказывается, нет разницы между дорвавшимися до власти, опьяненными ею людьми, какие бы «высокие» идеи они ни провозглашали. И у тех, и у других бессмысленная жестокость, насилие, кровь, «потеря лика», как предвещал Волошин. Очерк Эфрона звучит болью, но он может позволить себе быть беспощадным – он выстрадал это право тремя годами боев и сидения в окопах. *Наше* дело – камертон всего, что писал в это время Эфрон о Добровольческом движении. Даже говоря о его изнанке, о тех, кто мародерствовал в тылу, он пользуется местоимением *мы.* Для него священна память о тех – многих тысячах! – кто погиб на этой войне, защищая правое дело. Это чувство заставляет его, называя соратников, упоминать о каждом, где и когда он погиб, как бы иллюстрируя реквием по Добровольчеству, созданный в «Лебедином Стане». В статье «Эмиграция», уже мечтая о возвращении в Россию, Эфрон называет главным препятствием к примирению с большевиками память о погибших товарищах: «... возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, м. б. даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали

добровольцы, лежит *гораздо глубже, чем политика* (выделено мною. – *В. Ш.*). И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами – отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: *могила Добровольческой Армии».* Это написано в 1925 году.

Однако при всей близости «политических чувствований» во взглядах на перспективы Движения между Эфроном и Цветаевой всегда была принципиальная разница: если он еще и в первые годы эмиграции продолжал верить в возможность успеха («О добровольчестве», 1924), то она предчувствовала его обреченность с самого начала («Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет...», март 1918). В этих стихах Цветаева видит смысл Движения не в победе, а в приятии мук за то, что каждый считает *правым,* т. е. именно *этический.* Отсюда, по мере продолжения Гражданской войны, выкристаллизовалась у Цветаевой та идея, которую я понимаю не только как кульминацию ее нравственного сознания, но и как высшее проявление человеческого духа. Взлетев над полями сражений («я журавлем полечу...»), поэтический гений Цветаевой обозревает всю Россию, истекающую кровью. В ее сознании рождается мысль, что и красные умирают за правду – за *свою правду*. Оставаясь преданной Белой Идее, она поднимается над личными и политическими пристрастиями, находя *этический смысл* в борьбе каждой из сторон за свою правду, в выполнении *своего* долга («Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», декабрь 1920). Русь выше междоусобиц, она скорбит и оплакивает всех своих сыновей...

К Эфрону понимание трагичности того, что случилось с Россией, пришло еще до окончания Гражданской войны. Трагичности ошибок – не идеи. Он оставался белогвардейцем и монархистом все годы жизни в Праге.

Помимо учебы в университете он занимался общественно-политической и литературной деятельностью, в частности был одним из организаторов и редакторов журнала «Своими путями», который первым в эмиграции обратился к советской реальности с желанием узнать и понять ее. Номер 6—7 (май-июнь) за 1925 год был целиком посвящен современной России. Идея его сформулирована в передовой так: «в сосредоточенном внимании вглядеться в образ современной России, почувствовать ее душу». В статье говорилось: «Доказывать, что Россия и ее власть – не одно, теперь не приходится. Только навеки ослепший не видит полного нового содержания имени России, проступающего через

замазавшие его буквы СССР...» Наивность этого утверждения сегодня воспринимается с грустной иронией, тогда же бóльшая часть эмиграции готова была верить в это. Для того чтобы «почувствовать душу», журнал перепечатал из советских изданий произведения известных писателей и опубликовал статьи, посвященные разным сторонам советской жизни.

В статье «О путях к России» Сергей Эфрон попытался определить отношение к тому, что происходит в России, и условия, на/при которых, по его мнению, возможно возвращение туда. Вопросы эти были жгуче-актуальны для многих молодых эмигрантов. Наиболее важными кажутся Эфрону две проблемы: понимание *органичности* революции («признание сегодняшнего дня в СССР русским днем, а не каким-то промежутком, провалом меж двумя историческими этапами...») и определение самого понятия «приятие России». Эфрон считает ошибочным рассуждение такого типа: «Россия там, а не здесь (положение правильное, за рубежом русские, а не Россия), она – моя сила питающая, без меня проживет, я же без нее погибну. А поэтому, чтобы жить, нужно отказаться от себя ради нее и ради жизни». Для Эфрона подобная логика – отказ от собственных принципов, он утверждает, что «путь к России лишь от себя к ней, а не наоборот... Даже больше: путь к России возможен лишь через самоопределение, через самоутверждение».

Этот номер «Своими путями» вызвал негодование эмигрантской прессы: журнал обвиняли в «большевизанстве», «в рабски-собачьем ползаньи перед родиной». Цветаева вмешалась в этот спор статьей «Возрожденщина» (в газете «Дни»), в которой она отстаивает право журнала на интерес к текущему дню Советской России и всестороннее его освещение. Не вдаваясь в подробности этой полемики, хочу еще раз подчеркнуть единомыслие Цветаевой и Эфрона. Кстати, более десяти лет спустя Цветаева записала в черновой тетради слова, по смыслу близкие статье «О путях к России»: «Если бы мне на выбор – *никогда* не увидеть России – или *никогда* не увидеть своих черновых тетрадей... – не задумываясь, сразу. И *ясно* — что. Россия без меня обойдется, тетради – нет. Я без России обойдусь, без тетрадей – нет». Тетради для Цветаевой – эквивалент того, что Эфрон называл самоопределением и самоутверждением. Это еще раз подтверждает, что с годами именно Эфрон – не Цветаева – отошел от их общих принципов.

Издатели журнала «Своими путями», провозглашая стремление пристально всмотреться и лучше понять теперешнее лицо России, на деле видели там то, что им хотелось увидеть. В статье «Эмиграция» Эфрон писал: «Эмигрантский процесс обратен

российскому – в России жизнь побеждает большевизм, здесь – жизнь побеждена десятками идеологий». «Жизнь побеждает большевизм» – эмигрантские политики хотели верить в это; эта формула давала надежду на будущее. Но Эфрон еще не примирился с большевиками и не был намерен ждать, когда они исчезнут сами собой. В той же статье он «конспиративно» писал об антибольшевистской деятельности эмигрантских политических групп: «Внешние и внутренние условия требуют совершенно иных методов борьбы. Тактика, приспособленная к внешним условиям, связь с действительными антибольшевицкими группами в России являются уже задачами чисто политической работы, требующей, кроме героизма, качеств, я бы сказал, специфических. …Необходимо обладать особым психическим складом и редкой совокупностью способностей, чтобы отправиться в Россию для пропаганды или для свершения террористического акта, или для связи с намеченной российской группой». Одного этого пассажа было достаточно для НКВД, чтобы приговорить Эфрона к расстрелу, и никакая его последующая работа в этой организации не могла отвести от него удара.

Необоснованная уверенность в вырождении и непопулярности большевизма в России подводила черту под Добровольчеством – оно не годилось для новых методов борьбы. Но на чем основывалась эта уверенность? Говоря об эссе «Октябрь (1917)», я обратила внимание читателей на фразу: «Я недооценил сил большевиков…» Как тогда Эфрон не мог оценить силу большевиков, так в середине двадцатых и позже он не мог представить себе уровень их безнравственности, отсутствие каких бы то ни было нравственных принципов в их практике. Когда после бегства Эфрона Цветаева заявила французской полиции: «его доверие могло быть обмануто», – она, вероятно, даже не понимала, насколько была права. Обмануто было доверие огромного числа людей во всем мире, в том числе и среди русских эмигрантов возраста и судьбы Эфрона. Понимая силу эмиграции – особенно в первое десятилетие, – большевики не только вели среди нее пропаганду, не меньшую, чем внутри страны, но и устраивали всякого рода провокации. Эмигранты, занимавшиеся, как им казалось, антибольшевистской деятельностью, на самом деле работали на НКВД. Эта сеть была заброшена очень широко и глубоко; самый известный пример – операция «Трест».

Об этом страшно думать, но нельзя забывать. Различные эмигрантские организации были уверены, что связаны с русским подпольем. В Россию, рискуя жизнью, пробирались их эмиссары, устраивались подпольные «съезды», распространялась

антисоветская литература – и никто не подозревал, что вся эта «деятельность» инспирирована НКВД. Попался на эту удочку и Эфрон. Новым жизненным этапом оказался для него переезд в Париж, встреча с П. Сувчинским и князем Д. Святополк-Мирским, под влиянием которых он примкнул к «левым» евразийцам, начал работать в их издательстве, издавать вместе с ними журнал «Версты», потом газету «Евразия». Близко знавшая Цветаеву и Эфрона Е. И. Еленева сказала мне, что Эфрону по складу характера требовался вожатый: «любой мог взять его и повести за собой». Теперь таким «вожатым» стала идеология евразийства, полностью заменив монархизм и Добровольчество.

Я не возьмусь излагать историко-философскую и геополитическую теории евразийства; скажу только, что Россия представала в них как некий особый континент, неповторимый мир Европа—Азия, вехами истории которой на первом съезде Евразийской организации были названы Чингисхан, Петр Великий и Ленин. Отвергая большевизм и коммунизм, евразийцы не отвергали происшедшую революцию и искали путей ее «преодоления». Одним из важных пунктов их философии являлось мессианское предназначение России-Евразии. К концу двадцатых годов внутри евразийства произошел раскол: часть из них не хотела оставаться на позициях чистой теории и философии и искала путей политического действия. В их интересы входило не только историческое прошлое России, но, главным образом, ее настоящее; они находили живое и привлекательное сперва в советской литературе и кино, потом и в отдельных явлениях советской жизни. К этому левому крылу примкнул Сергей Эфрон. Можно предположить, что евразийство было еще и возможностью самоутвердиться, найти отдельное от Цветаевой место в жизни. Как большинство евразийцев, он не знал, что движение находится под полным контролем советской контрразведки.

«Не могу принять» Эфрона стало обращаться в противоположную сторону; он начинает искать позитивное в новой России, признавая желаемое действительным, не обращая внимания на то, что прежде считал неприемлемым. В 1932 году Цветаева сетовала: «С. Я. совсем ушел в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет». Этическое отношение к происходящему уступило место политическому – диктуемому политической практикой. Эфрон позволил своему сознанию трансформировать понятие зла.

Трагическое расхождение с мужем Цветаева датировала временем работы над поэмой «Перекоп» (начата 1 августа 1928 года): «а сам перекопец ... к Перекопу уже остыл». В

действительности процесс этот начался раньше: в 1926 году как бы в полемике с мужем, увлекшимся другими идеями, Цветаева вернулась к теме Добровольчества. Непосредственным толчком послужило чтение «Шума времени» Осипа Мандельштама – по существу, главки «Бармы закона», других она не касается, – возмутившего Цветаеву ироническим отрицанием Добровольчества. Цветаева ринулась на защиту, обрушившись на Мандельштама в открытом письме «Мой ответ Осипу Мандельштаму». Горячность, нежелание вчитаться в *смысл* слов Мандельштама, нетерпимость и абсолютно несвойственная Цветаевой грубость этого выпада – все, на мой взгляд, свидетельствует о ее чрезвычайной, личной задетости «Бармами закона». Это ответ не столько Мандельштаму, сколько Сергею Яковлевичу. Но еще бóльшим ударом, чем сам «Шум времени», оказалось для Цветаевой то, что журналы, где она сотрудничала (в том числе «Версты», числившие ее в «ближайших сотрудниках» и одним из редакторов которых был Эфрон, и «Современные записки»), отказались печатать этот отзыв. Цветаева почувствовала себя единственной защитницей Белого движения; она начала новую работу, задуманную как его летопись, но не оконченную – «Несбывшаяся поэма». Верная своим идеям, Цветаева не переосмысливает Добровольчество, но ставит его в ряд с аналогичными историческими событиями разных веков: Французской революцией и Греческим освободительным движением:

> Добровольцы единой Армии
> Мы: дроздовец, вандеец, грек —
> Доброй воли весна ударная
> Возвращается каждый век!

Вслед за этим были созданы «Красный бычок» (1928), «Перекоп» (1928—1929) и, наконец, Поэма о Царской Семье (1929—1936). Эти вещи диктовались ее долгом перед историей и собственным прошлым; она писала их уже не в уединении, а в одиночестве, ибо читателя для них не было, и даже Сергея Эфрона, их вдохновителя и героя, ее постоянного преданного читателя, они должны были раздражать.

Все это время в мире и в ее родной семье кипели политические страсти, муж и дочь рвались в Советскую Россию; он – уже практически отрешившись от прежних нравственных требований: оказалось возможным переступить через *могилу Добровольческой армии* и начать сотрудничать с советским полпредством. Теперь его взгляды и поведение (или наоборот –

поведение и взгляды) диктовались противоположным логическим построением: не – принимать ли Советскую Россию, а – «заслужить прощение» и вернуться на родину. Он стал одним из организаторов «Союза возвращения»...

Цветаева оставалась верна себе, не давая вовлечь себя во что бы то ни было чуждое... Она понимала, что не в силах противостоять идее «возвращенчества», под влиянием Эфрона захватившей даже маленького Мура. Помешать этому она не могла, но чем глубже погружался Эфрон в политическую деятельность, чем дальше отходил от их общих нравственных идеалов, тем тверже Цветаева за них держалась. Он рвался в будущее, она погружалась в прошлое: детство, мать, отец, «отцы», Царская Семья, Добровольчество... Она мало знала о его практической работе, но ясно видела, как далеко он от нее уходит, уже ушел. На одном из допросов во французской полиции Цветаева сказала: «Мой муж был офицером Белой армии, но с тех пор, как мы приехали во Францию в 1926-м, его взгляды изменились». Она слишком хорошо понимала его, знала его слабость и потребность самоутвердиться, не сомневалась в безудержности и безвозвратности его устремлений. Из двух разных источников я знаю, что Эфрон открылся близким друзьям, что связан с НКВД и что его «запутали». В этом можно не сомневаться: в какой-то момент его поставили в ситуацию, из которой не было выхода. «Моему дорогому и вечному добровольцу», – написала Цветаева, посвящая мужу уже ненужный ему «Перекоп». И в своей новой, чуждой ей деятельности он оставался для нее добровольцем. Но представляли ли они, какой ценой придется платить за его добровольное участие в евразийстве и возвращенчестве? «Добровольчество – это добрая воля к смерти» – так истолковала это понятие Цветаева, выбирая эпиграф к «Посмертному маршу». Вероятно, она предчувствовала, куда ведет эта дорога...

Тоска по Родине

Тоска по Родине! Давно
Разоблаченная моро́ка!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой
Быть...

Прочтите первые две строки этого стихотворения в интонации обычного утвердительного предложения – фраза, как того хочет Цветаева, прозвучит иронически: «Тоска по родине – давно разоблаченная моро́ка». Но если на самом деле «давно разоблаченная», зачем возвращаться к этой теме? Последние строки стихотворения опровергают его в целом, отрицают нагнетание «всё равно» по отношению к тому, что прежде было роднее всего:

Но если по дороге – куст
Встает, особенно —рябина...

Цветаева обрывает, читатель сам должен понять, что́ – «если». И он понимает. С первого восклицательного знака, с вырвавшегося из души выкрика: «Тоска по родине!» – обнажается боль поэта, безмерность его тоски. Цветаевские анжамбеман и восклицательные знаки воплощают рыдания, которые слова призваны скрыть. Слова в первых пяти строках хотят быть ироничными, но ритм им противоречит, заставляет не верить в «совершенно всё равно», чувствовать, что Цветаева кричит о безразличии, чтобы освободиться от боли, что это смятение, а не ирония...

«Всё меня выталкивает в Россию, – писала Цветаева А. А. Тесковой еще в начале 1931 года, имея в виду сложность своего положения в среде эмигрантов, – в которую я *ехать не могу*. Здесь я *ненужна*. Там я *невозможна*». Это признание нужно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны – трезвое понимание своих возможностей-невозможностей – «здесь» и «там». С другой – «ехать не могу». Обратите внимание, Цветаева не говорит «не хочу». Случайно ли это? Думала ли она о возвращении – если бы ее не «выталкивало»? Я не знаю, с какими мыслями Цветаева покидала Москву в 1922 году, но позже она писала, что, уезжая, рассчитывала вернуться не раньше чем через

десять лет. Однако ясно, что она не представляла себе возможности вернуться в большевистскую Россию; в 1926 году она недвусмысленно писала об этом мечтавшему о возвращении В. Ф. Булгакову[204]. Что же изменилось? Почему Цветаева добровольно вернулась в Советский Союз? Переменилось ли ее отношение к большевикам, приняла ли она советскую власть? И как связано «все выталкивает» с «тоской по родине»? Однозначного ответа на эти вопросы нет. Сложный комплекс причин, как внешних, так и внутренних, долгий путь раздумий – и накануне отъезда: «выбора не было».

Началось еще в Праге – с мечтаний Сергея Яковлевича. Я цитировала его письмо М. Волошину, где ему «чудится скорое возвращение в Россию»; этой надеждой он делился с Богенгардтами и Булгаковым. Эта надежда развивалась параллельно переоценке своего добровольческого прошлого – возможно, что именно она привела его к такой переоценке, а не наоборот. Эфрон стал активным евразийцем, через него Цветаеву связывали с евразийцами отношения чисто «домашние», как в Праге с журналом «Своими путями». Возможно, ей импонировала роль Сергея Яковлевича в кругу евразийцев. Она пропустила мимо сознания первую ласточку – вестницу несчастья: «Проф. Алексеев (и другие) утверждают, что С<ергей> Я<ковлевич> чекист и коммунист. Если встречу – боюсь себя... Проф. Алексеев ... негодяй, верьте мне, даром говорить не буду, – негодовала Цветаева в письме к Тесковой. – Я лично рада, что он уходит, но очень страдаю за С<ережу>, с его чистотой и жаром сердца. Он, не считая еще двух-трех, единственная *моральная сила Евразийства.* — Верьте мне. – Его так и зовут «Евразийская совесть», а проф. Карсавин о нем: «золотое дитя евразийства». Если вывезено будет – то на его плечах (костях)». В этом письме к Тесковой (начало 1929 года) Цветаева говорит о муже в том же тоне восторга и веры в его безупречность, какими наделила его в ранних стихах. Он действительно не стал еще ни коммунистом, ни чекистом, но вывезти на своих плечах дело евразийства Эфрону не было суждено.

Любовь к родине, чувство вины перед нею («мы воевали против своего народа») в конце концов сделали Эфрона чекистом. Произошло это не сразу. К. Б. Родзевич, прошедший примерно тот же путь, говорил мне с нескрываемым чувством превосходства, что «Сережа» не был создан для столь сложного и опасного дела, что он был слишком слаб для него. Я же склонна согласиться с Цветаевой: он был для него слишком чист и нерасчетлив. В конце двадцатых или в начале тридцатых годов в парижскую группу евразийцев начали проникать советские агенты, направлявшие

действия организации и субсидировавшие ее. Родзевич утверждает, что Эфрона «запутали» и «завербовали». Его невозможно было запугать, скорее всего, его «купили» обещанием помочь вернуться в Россию. Слова «вернуться на родину» для него уже были магическими. Он стал одним из организаторов парижского Союза возвращения на родину. С той же убежденностью, с какой он когда-то воевал в Белой армии, теперь он «служил России» в Союзе возвращенцев. Знал ли он, что работает на НКВД? Некоторое время не знал. Это подтверждается историей С. Л. Войцеховского, бывшего связным «Треста» и узнавшего, на кого служил, только после «саморазоблачения» «Треста»[205].

Эфрон не сразу согласился получать зарплату как служащий Союза возвращения; при катастрофической бедности семьи его пришлось уговаривать: он видел в своей работе не службу, а служение. То, что он скрывал от жены вторую, основную, часть своей деятельности, не противоречит этому: он, несомненно, был связан обязательством, не мог и не считал нужным посвящать ее в дела от нее далекие, знать о которых было небезопасно. В какой-то момент, незадолго до конца, Эфрон признался, что служит в ЧК, Всеволоду Богенгардту. Дочь Богенгардтов О. В. Скрябина рассказала мне, как однажды вечером, лежа в кровати, услышала из соседней комнаты разговор Сергея Яковлевича со своим отцом. Уже будучи взрослой, она спросила отца об этом разговоре – не приснился ли он ей в детстве, правда ли, что Эфрон сделал ему такое признание? Богенгардт подтвердил; это была их последняя встреча. Вероятно, кроме Богенгардта, об этой части работы Эфрона знали только его «сослуживцы». Шато д'Арсин, где Эфрон провел почти весь 1930 год, две недели в августе 1931 года, не раз бывал там и позже, служил, по-видимому, резиденцией советской разведки. Бывал там и Родзевич… «Цветаева пишет „Тоску по родине…“, Эфрон организует Союз возвращенцев», – сказал мне И. Эренбург. Если бы дело ограничилось Союзом возвращенцев!

Идея возвращенчества была популярна в те годы – в особенности среди молодежи, начавшей сознательную жизнь в эмиграции. Мне рассказывал Ю. П. Иваск – тогда начинающий поэт и критик – что и его захватила эта идея; казалось, что на родине начинается новая жизнь, открываются новые возможности. Успехи строительства пропагандировались во всех советских изданиях и фильмах; в зверства системы, о которых писали эмигрантские газеты, кто не хотел – не верил. Тех, кто уезжал или был готов уехать, вела любовь к России, вера в нее и – что, может быть, еще важнее – глубокое ощущение своей

ненужности, неуместности, отщепенства в странах, где им приходилось жить. Поддалась ли Цветаева этому настроению? – Не для себя, для сына? Иначе чем объяснить возникновение цикла «Стихи к сыну» в январе 1932 года.

Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край – всем краям наоборот! —
Куда *назад* идти – *вперед*
Идти, – особенно – тебе,
Руси не видывавшее

Дитя мое...

Муру не было еще и семи лет, никуда поехать он, разумеется, не мог, да и Цветаева ни за что на свете не отпустила бы его от себя – что же значили эти стихи? Советский Союз не был повержен – почему Цветаева, вопреки своей всегдашней логике защиты побежденного, воспевала то, что не могла воспевать?

...Поймите: слеп —
Вас ведущий на панихиду
По народу, который хлеб
Ест, и вам его даст, – как скоро
Из Мёдона – да на Кубань.
Наша ссора – не ваша ссора!
Дети!..

Можно было бы предположить, что она действительно думала тогда о возвращении, что ее обольстили рассказы мужа о Советской России, если бы в том же самом январе 1932-го она не писала Тесковой: «Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня окончательно отобьют, а во благо ли ему – не знаю. И там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей – там мне их и писать не дадут». Беспощадная трезвость ее взгляда на Советский Союз противостояла намеренной слепоте Эфрона – она и это понимала. В том же 1932 году той же Тесковой она – не жаловалась, а сообщала: «С<ергей> Жковлевич> совсем ушел в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет». Почему же она все-таки написала «Стихи к сыну» – как будто против собственных убеждений? Для меня это остается загадкой. Интересно, что из трех стихотворений цикла было опубликовано последнее – самое «цветаевское», где она

утверждает «Не быть тебе французом!» и признается:

Я, что в тебя – всю Русь
Вкачала – как насосом!

Первые стихи – наиболее «идеологические» – не были напечатаны при жизни Цветаевой. Но собиралась ли она публиковать их или нет – она их написала.

Да не поклонимся словам!
Русь – прадедам, Россия – нам,
Вам – просветители пещер —
Призывное: СССР, —
Не менее во тьме небес
Призывное, чем: SOS.

Вероятнее всего, «Стихи к сыну» отражают настроения, разговоры, споры в семье Цветаевой. Сергей Яковлевич решил свою судьбу: он твердо намерен был уехать, заплатив за это любую цену. Можно предположить, что слова «я давно перед страной в долгу», процитированные Цветаевой в одном из писем, произносились в ее доме неоднократно. Он жаждал искупить свою вину, жаждал принести пользу родине и вернуться туда достойным сыном. Он убеждал свою семью принять его правду и ехать вместе с ним. Внутренне, принципиально Цветаева была категорически против, она была убеждена, что возвращаться – некуда и незачем.

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет.
Той страны на карте —
Нет, в пространстве – нет.

Можно ли вернуться
В дом, который – срыт?

Не может быть, чтобы, работая над этими стихами, она не вспомнила, как однажды, придя с Алей в Трехпрудный, увидела на месте родного дома – пустырь… Следующие две строки, хотя они и не выделены как прямая речь, явно принадлежат «возвращенцу» – не самому ли Сергею Эфрону в их семейных спорах?

Заново родися!
В новую страну!

И – тоже не выделенный пунктуацией, но явный – вопрос-ответ Цветаевой:

Ну́-ка, воротися
На́ спину коню

Сбросившему! Кости
Целы-то – хотя?

Пророческий ответ: жизнь всей семьи была раздавлена конем – советской властью. Эти строки обращают нас в 1921 год, когда в день именин Сережи («25 сентября, Сергиев день») она думала о нем, изгнаннике разбитой армии:

Следок твой непытан,
Вихор твой – колтун.
Скрипят под копытом
Разрыв да плакун.

Нетоптанный путь,
Непутевый огонь. —
Ох, Родина-Русь,
Неподкованный конь!
. . . . . .
Не вскочишь – не сядешь!
А сел – не пеняй!..

Если тогда она писала, что коню-России по нраву один всадник – Мамай, то и теперь она убеждена: «Той России – нету...» – той, в которой мы жили, которую мы любим, по которой тоскуем, в которую мечтаем вернуться. Для Эфрона резонов не существовало, он готов был и в России Мамая видеть воплощение своей мечты. В воспоминаниях Л. К. Чуковской сохранилась запись, прямо относящаяся к этой семейной драме. За несколько дней до смерти Цветаева говорила: «Сергей Яковлевич принес однажды домой газету – просоветскую, разумеется, – где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями; приборы сверкают; посреди каждого

стола – горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках – что́? А в головах – что́?» В 1932 году вопрос об отъезде для Эфрона был уже решен. Он начал хлопоты о советском паспорте.

В октябре 1933-го Цветаева пишет Андрониковой: «С<ережа> здесь, паспорта д<о> с<их> п<ор> нет, чем я глубоко счастлива, ибо письма от отбывших (сама провожала и махала!) красноречивые: один все время просит переводов на Торг-Фин(?)[206], а другая, жена инженера, настоящего, поехавшего на готовое место при заводе, очень подробно описывает, как ежевечерне, вместо обеда, пьют у подруги чай – с сахаром и хлебом. (Петербург.) Значит, С<ереже> остается только чай – без сахара и без хлеба – и даже не– чай...»

Для Эфрона эти сведения не имели значения: материальная и бытовая стороны жизни не стоили внимания. О себе Цветаева сообщала: «...я решительно не еду, значит – расставаться, а это (как ни грызем ся!) после 20 л<ет> совместности – тяжело. А не еду я, п<отому> ч<то> уже раз *уехала.* (Саломея, видели фильм «Je suis un èvadé»[207], где каторжанин добровольно возвращается на каторгу, – так вот!)». Последние слова достаточно выразительны и не требуют комментария. «Грызем ся» – явно относится к вопросу о возвращении в Советский Союз – расколовшему семью и неразрешимому. Здесь еще звучит добродушие, но со временем проблема приобретала все более трагическую и зловещую окраску: в этом конфликте Цветаева осталась в одиночестве.

Дети были в числе «соблазненных», целиком разделяя стремление отца. Аля его обожала, восхищалась им, с ним дружила. Представление о нем сложилось у нее в детстве по стихам матери – таким он остался для нее на всю жизнь. Так говорила она об отце в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов; конечно, я не посмела спросить о его чекистской деятельности и трагическом конце. В молодости она безусловно верила в его правду и видела свое будущее в Советской России. Это накладывалось на бесперспективное эмигрантское существование, нищету, безработицу, трудный и требовательный характер матери. Але необходимо было вырваться на простор самостоятельной жизни («Заново родися! В новую страну!»), построить ее по своему разумению. Цветаева же была убеждена, что жизнь вообще нельзя «строить», она создается сама, своим внутренним, иррациональным путем. Во всяком случае, Аля предпринимала активные шаги к перемене своей судьбы, стала деятельной участницей Союза возвращенцев. Леонид Леонов, вернувшись с писательского Конгресса в Париже в 1935 году, рассказывал В. К. Звягинцевой, что к нему подходила

молодая художница, комсомолка (?!), дочь Марины Цветаевой, говорила, что хочет вернуться в Москву, спрашивала совета. Она начала сотрудничать в журнале возвращенцев «Наша Родина» – писала, переводила, делала иллюстрации. Позже работала и для французского просоветского журнала «France – URSS». Ее, как и Сергея Яковлевича, раздражало упорство Цветаевой, нежелание понять их устремления. В глазах близких – даже Мура —Цветаева выглядела анахронизмом: жила по давно отмененным законам, не понимала современности, прогресса, будущего.

Цветаеву тяготило не только непонимание родных и чувство бессилия перед их заблуждением. Она страдала оттого, что оказалась причиной душевного разлада в семье. Из писем Цветаевой:

> *1934:* «С. Я. разрывается между *своей* страной – и семьей: я *твердо не* еду, а разорвать двадцатилетнюю совместность (не любовь, не брак – Цветаева неслучайно пользуется словом «совместность». – *В. Ш.*) даже с «новыми идеями» – трудно. Вот и рвется».
>
> *1935:* «Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом – отца...» [– А Муру в это время всего десять лет.]
>
> *1936:* «Все свелось к одному: ехать или не ехать. (Если ехать – так навсегда.) Вкратце: и С. Я. и Аля и Мур – рвутся».

Выходило, что она одна мешает счастью семьи, загораживает близким дверь, от которой у них есть золотой ключик. Временами Цветаева чувствовала, что она не только не нужна им (нужна – Муру – пока не подрос!), но тягостна. Она видела, что Сергей Яковлевич и Аля живут отдельной от нее жизнью, в которую перестали ее посвящать.

В ноябре 1934 года Цветаева писала В. Н. Буниной – более беспощадной ее исповеди мы не знаем. Она вспоминает о романе с Родзевичем, своей любви к нему, о том, как не смогла уйти от семьи: «...мне был дан в колыбель ужасный дар – совести: неможёние чужого страдания.

Может быть (дура я была!) они без меня были бы *счастливы:* куда счастливее, чем со мной! Сейчас это говорю – наверное. Но кто бы меня – *тогда* убедил?! Я так была уверена (они же уверили!) в своей *незаменимости:* что без меня – умрут.

...А теперь я для них, особенно для С<ережи>, ибо Аля уже стряхнула – ноша, Божье наказание. Жизни ведь совсем врозь. Мур? Отвечу уже поставленным знаком вопроса. *Ничего* не знаю. Все они хотят *жить,* действовать, *общаться,* «строить жизнь» –

хотя бы собственную...»

Постепенно Цветаева начала поддаваться, колебаться в правильности своей позиции. Не потому, что она поверила в их правду, а в силу все той же своей совести: «неможёние чужого страдания». Она сознавала, что не имеет права их удерживать, мешать их «счастью». Ей казалось, что Эфрон не уезжает из-за нее; на самом деле он еще не «заработал» этого права. В ее письмах появляются фразы, что она его не держит, что она его больше держать не смеет, что, если бы он прямо сказал, что едет, она поехала бы с ним – «не расставаться же». «Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я *добровольно* — сожгла корабли (по нему: распустила все паруса)». На это Цветаева была неспособна: «...я – *такой умру».*

Она придерживалась определенных и твердых нравственных принципов, которые, если и казались кому-то странными, не могли не вызвать уважения. Политическая деятельность Сергея Яковлевича осложняла ее положение в эмигрантском обществе. Ощущение себя Одиноким Духом не только отгораживало Цветаеву от толпы, но и определяло отношение к окружающему. Вот как для начала знакомства она объяснила Юрию Иваску свои принципы. На его вопрос, сотрудничает ли она в журнале «пореволюционных течений» «Утверждения», Цветаева ответила: «Я – с Утверждениями?? Уже звали и услышали в ответ: там, где говорят: еврей, а подразумевают: жид – мне, собрату Генриха Гейне– *не место*... Что же касается младороссов – вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника Воли России (еврея) М. Слонима: Гитлер и Сталин. ...С эстрады Слоним: – «Что же касается Гитлера и еврейства...» Один из младороссов (если не «столп» – так *столб*) — на весь зал: «Понятно! Сам из жидов!» Я, четко и раздельно: – «ХАМ-ЛО!» (Шепот: не понимают.) Я: – «ХАМЛО!» <...> Несколько угрожающих жестов. Я: – «Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те – хамы». ...С КАЖДЫМ говорю на ЕГО языке!)». В эмиграции, кипевшей политическими страстями самых различных оттенков, Цветаева могла позволить себе полную независимость – и подчеркивала ее.

За это удовольствие надо было платить. И она платила. То Сергею Яковлевичу отказывали в работе в «левом» издательстве за то, что у него «правая» жена: в монархическом «Возрождении» появилось интервью с Цветаевой. То «левые» «Последние новости» отказывались от ее сотрудничества из-за ее чрезмерной «левизны» – приветствия Маяковскому. Ее независимость раздражала, теперь же, когда ее муж и дочь стали деятельными возвращенцами, Цветаеву механически начали причислять к «большевизанам», что

для нее было, вероятно, неприемлемее всего. Не исключено, что и «Последние новости» порвали с ней не столько из-за скандала со статьей о Гронском, сколько из-за политической направленности Эфрона. Цветаевское «вне политики» оборачивалось другой стороной. «Положение двусмысленное, – писала она Тесковой. – Нынче, например, читаю на большом вечере эмигрантских поэтов (все парижские, вплоть до развалины-Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи). А завтра (не знаю – когда) по просьбе своих – на каком-то возвращенческом вечере (NB! те же стихи и в обоих случаях – безвозмездно) – и может выглядеть некрасивым». Мыслями об этом вызваны стихи с эпиграфом из А. К. Толстого:

> Двух станов не боец, а – если гость случайный —
> То гость – как в глотке кость, гость – как в подметке гвоздь.
> . . . . . .
> Двух станов не боец: судья – истец – заложник —
> Двух – противубоец! Дух – противубоец.

Судьба играла с Цветаевой злую шутку: ее независимость ломалась не изменой себе, а семейными связями.

Самым драматичным было то, что из всей семьи именно Цветаева больше всех тосковала по России. Она любила ее не ради «новой» или «старой» идеи, не за воспоминания прошлого и не в надежде на будущее. Она была связана с Россией кровно – дух этой страны жил в ней, это был дух языка, на котором она думала и писала. «Тоска по родине! Давно...» – не случайно вырвавшийся крик, а внутренне одно из самых значительных признаний Цветаевой, продиктованное годами горевшей в ней почти тайно любви к России. Эта любовь прорывалась наружу редко и немногословно – именем, словом, образом. Например, в стихах «Променявши на стремя...»:

> Невозвратна как слава
> Наша русская...

Пастернаку:

> Русской ржи от меня поклон,
> Ниве, где баба застится.

...памяти М. Волошина:

В стране, которая – одна
Из всех звалась Господней...

За годы эмиграции только три стихотворения до «Тоски по родине!..» прямо обращены к России, и в каждом подспудная тема – тоска: «Рассвет на рельсах» (1922), «Страна» («С фонарем обшарьте...») (1931) и «Родина» (1932). Она пыталась скрывать тоску не только от близких и посторонних, но и от самой себя, отсюда – все ироническое отрицание стихов «Тоска по родине! Давно...». Но скрыть невозможно, тоска пробивается; знак ее – слово, песня. Еще в 1916 году в стихотворении «Над синевою подмосковных рощ...» Цветаева отметила:

Бредут слепцы калужскою дорогой, —
Калужской – песенной – прекрасной...

и предсказывала:

... когда-нибудь и я...

Одену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь – и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.

Теперь, оказавшись от этого так далеко и невозвратно, она сердцем видела ту калужскую дорогу, слышала песню:

О неподатливый язык!
Чего бы попросту – мужик,
Пойми, певал и до меня:
– Россия, родина моя!

Но и с калужского холма
Мне открывалася *она* —
Даль – тридевятая земля!
Чужбина, родина моя!

С мыслью о родине мгновенно возникает понятие языка: «уступчивость речи русской» («Над синевою подмосковных рощ...»), «О неподатливый язык!» («Родина») и в «Тоске по родине!..»:

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично – на каком
Непонимаемой быть встречным!

Да, может быть, на каком «непонимаемой быть» – действительно безразлично, но на каком думать, чувствовать, разговаривать со своими детьми, писать – нет. В первые годы эмиграции Цветаева говорила, что родина – «непреложность памяти и крови». Теперь «млечный» – впитанный с молоком кормилиц – призыв родного языка выдает поэта: язык важнее памяти, важнее крови, он – единственное, что не подлежит иронии.

В 1925 году она декларировала: «Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». Но за прошедшие десять лет мироощущение Цветаевой изменилось – она была не той, полной уверенности и надежд молодой женщиной, которая покидала Прагу ради Парижа. Теперь, в середине тридцатых, ее мир рушился: у нее не было ни «круга», ни дома, она теряла семью и жила в ожидании последней катастрофы. Криком отчаянья звучит в «Нездешнем вечере»: «И все они умерли, умерли, умерли...» – Цветаева вспоминает тот незабвенный вечер, когда она читала стихи «всему Петербургу». Ее мир сужался все больше – до базарной кошелки:

Мне совершенно всё равно —
Где совершенно-одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной...

...мечты о доме

Из-под нахмуренных бровей
Дом – будто юности моей
День, будто молодость моя
Меня встречает: – Здравствуй, я!

...о саде:

За этот ад,
За этот бред,

Пошли мне сад
На старость лет.

...до привязанности к знакомому кусту или каштану, до воспоминаний о бузине... и в конце концов сузился до единственного верного друга – стола, на котором можно разложить тетради. В этой замкнутости, в этой не-жизни тоска по родине оборачивалась тоской по непреходящему: простору, воздуху, свету, которых ей так не хватало. Прикрываясь иронией, Цветаева вопит об этом в «Тоске по родине!..». Так надо понимать ее новое толкование: «Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине – то только по безмерности мест: отсутствию границ» (из письма к А. А. Тесковой, 1935).

* * *

Некий катарсис наступил в начале 1937 года: Ариадна Эфрон получила советский паспорт и 15 марта уехала в Москву. Ее мечта сбывалась. Она ехала навстречу счастью и не сомневалась, что возвращается на родину с открытыми глазами. Сохранилось ее прощальное письмо к В. И. Лебедеву – он жил тогда в Америке – в котором она откровенно делится с ним своими предотъездными настроениями и мыслями. Вот отрывки из него:

«27.1.37

<...> именно в этот последний год происходил, и происходит – и произойдет окончательно *там* — процесс моего «очеловечиванья» – трудный, болезненный, медленный – и *хороший*. Ни по какой иной – кроме художественной – линии – я не пойду, даже если бы этого хотела чужая и сильная воля. У меня, на базе вечного моего упрямства, определилось качество, которого мне сильно не хватало, – упорство. И упорство в лучшем смысле этого слова.

Вы знаете, жизнь моя *теперь* могла бы очень хорошо устроиться здесь – по линии журнализма. Даже моя «France – URSS» вполне серьезно предложила мне остаться здесь – хоть на некоторое время, серьезно работать с ними и даже приблизительно серьезно зарабатывать. <...> Я не сомневаюсь, что теперь я могла бы здесь отлично работать – у меня много новых, левых, французских знакомств – но все это для меня – *не то*. И

собственно теперь я бегу от «хорошей жизни» – и по-моему это ценнее, чем бежать от безделья и чувства собственной ненужности. Никакая работа, никакие человеческие отношения, никакая возможность будущего здесь – пускай даже блестящего, не остановили бы меня в моем решеньи.

Je ne me fais point d'illusions[208] о моей жизни, о моей работе там, обо всех больших трудностях, обо всех больших ошибках – но все это – *мое* — и жизнь, и работа, и трудности, и промахи. И здешняя «легкость» мне тяжелее всех тысячетонных тяжестей там. Здесь была бы «работа», – soit![209] но там будет работа заработанная, если можно так сказать – и так хорошо, что есть страна, которая с величайшими трудностями строится, растет и создает, и что эта страна – моя...»[210]

Аля уезжала счастливая, полная энтузиазма и надежд – если бы она могла вообразить, чем обернется для нее возвращение! Но, к счастью, нам не дано знать даже самого близкого будущего. Друзья и знакомые нанесли множество подарков, она уезжала вся в нарядных обновках; Цветаева подарила дочери граммофон и уже в вагоне «последний подарок – серебряный браслет и брошку-камею и еще – крестик – на всякий случай». Вещее материнское сердце предчувствовало, что «всякий случай» будет, оно хотело верить в подлинность этой радости – и не могло. «Отъезд был веселый, – писала Цветаева Тесковой, – так только едут в свадебное путешествие, да и то не все».

Меньше чем через две недели от Али пришло первое письмо. Она жила в Мерзляковском переулке у «тети Лили» Эфрон. У нее были предложения сотрудничать в журнале «Revue de Moscou» и в издательстве, даже перспективы устройства на постоянную работу. Она была довольна, писала, что живет с чувством, как будто никуда не уезжала из Москвы. Ее отъезд разрядил обстановку, вопрос о возвращении остальной части семьи на время отодвинулся. Казалось, в жизни Цветаевой наступило некоторое облегчение.

«Повесть о Сонечке» и два письма о гомоэротической любви

Лето Цветаева и Мур провели на Океане вместе с Маргаритой Николаевной и Ирусей Лебедевыми. Сергей Яковлевич, как писала Цветаева В. И. Лебедеву, собирался бывать «наездами». Lacanau-Océan оказалось не лучшим местом для отдыха: течение было так сильно, что трудно плавать и однажды Ируся и Мур едва не утонули. К тому же именно в это лето вокруг – в лесах, поселках и даже на пляжах – случился невиданный пожар: люди задыхались от гари и ничего не видели от дыма, выли сирены, было страшно; Цветаева на всякий случай собрала в кошелку самое ценное: «тетради, иконы, янтари, identité [вид на жительство. – *В. Ш.*], деньги (NB! напомнил – Мур!)»... Пожары продолжались четыре дня, их погасил вовремя подоспевший ливень. В остальном Ирине было скучно, Мура заставляли заниматься математикой с Маргаритой Николаевной («бедный Мур!» – писала Ирина отцу до отъезда; «бедная мама!» – ему же из Лакано). Повседневность не могла не заботить Цветаеву, но ей хорошо писалось – и это искупало все; Але она описывает пожар с большим юмором.

Аля в одном из писем сообщила о смерти Софьи Евгеньевны Голлидэй, которую по просьбе матери пыталась разыскать. Это известие: ее Сонечки больше нет на свете! – бросило Цветаеву к тетради. За лето в Лакано она написала «Повесть о Сонечке». Эта работа возвращала ее на родину, во времена «театрального романа», когда «все они» были еще живы, когда сама она была молодой, а Аля и Ирина маленькими, когда между ними не было еще ни смерти, ни непонимания, ни взаимных обид.

Негодование и боль того времени смягчились и отошли, впервые Цветаева может говорить об Ирине – еще живой – без надрыва, с нежностью. Когда-то, в дни после смерти Ирины она писала Вере Звягинцевой, что не принимает эту смерть, ей кажется, что дочка жива... Теперь ужас случившегося изжит, в повести она воскрешает Ирину, и та навеки останется такой, какой мать помнит ее с расстояния в семнадцать лет.

Из далекого далека 1937 года (как сама она пишет, «за тридевять земель и двудевять лет») прошлое видится иначе, чем когда оно было еще настоящим. Воскрешая в «Повести о Сонечке» не столько события, сколько чувства того времени, Цветаева вольно или невольно корректирует их с точки зрения прожитых лет. В центре повествования – она сама: «я», как называет себя

рассказчица; «Марина», «Марина Ивановна» – обращаются к ней другие.

Может показаться, что в повести совсем нет сюжета: действующие лица вырваны из контекста их собственной жизни и существуют только в соприкосновении с рассказчицей и в ее восприятии. Они приходят, разговаривают, уходят – некоторые навсегда... Однако внутренний сюжет повести четко определен – выявить человеческую сущность каждого в отношении к людям, времени, самим себе. При чтении повести возникают ассоциации со стихами, тогда обращенными к ее героям. И становится ясно, как посерьезнел и посуровел взгляд Цветаевой на мир и героев «театрального романа». Они уже не «банда комедиантов», каждый определен более индивидуально; да и она не та молодая женщина, которая, спасаясь от одиночества и «чумы», «браталась» с ними. В «Повести о Сонечке» отразились размышления Цветаевой о прошлом, о поколении «отцов», та «переоценка ценностей», которая происходила у нее в тридцатые годы. С точки зрения теперешней умудренности видит она давние годы, дружбы, любови. Читатель присутствует при процессе ее освобождения от «завороженности» и Юрой З., и атмосферой театра. Отринув стилизацию, преобладавшую в стихах 1919 года, Цветаева не отказывается от жесткой и иногда даже жестокой иронии по отношению к тем, кого она считает «лицедеями». Она не объективна и пристрастна – но когда Цветаева была беспристрастной? «Лицедеи» противопоставлены поколению «отцов»: Алексею Александровичу Стаховичу:

Хоть сто мозолей – трех веков не скроешь!
Рук не исправишь – топором рубя!
О, откровеннейшее из сокровищ:
Порода!– узнаю Тебя.

и – Володе Алексееву:

И, наконец – герой из лицедеев —
От слова *бытие*
Все имена забывший – Алексеев:
Забывший и свое!

Это четверостишие из стихотворения «Друзья мои! Родное триединство!..», обращенного ко всем вместе: Юрию Завадскому, Павлу Антокольскому и Владимиру Алексееву – еще при жизни Володи. Теперь Цветаева выделяет его; ему посвящает вторую

часть повести: «В Москве 1918—1919 года мне – мужественным в себе, прямым и стальным в себе [вспомним: „Стальная выправка хребта…“ из стихов князю С. М. Волконскому. – *В. Ш.*], делиться было не с кем. <…> С Володей я отводила свою мужскую душу». Так Цветаева определила стержень своих отношений с Володей Алексеевым.

Деление на «отцов» и «сыновей» зависит не от возраста – Володя ровесник остальным «лицедеям», вместе с ними занимается в Студии, участвует в спектаклях, – а лишь от нравственных качеств и прежде всего благородства и верности. Юра З., аморфный, без какой бы то ни было определенности, кроме красоты, способный только «представлять» и «казаться», Павлик А., живущий восхищением и в ореоле Юры З. («гениальный» – в кавычках – по определению Сонечки, «потому что у него ничего другого за душою – нет»), – вот новое поколение, ставшее советской интеллигенцией.

А Володя под ее пером оживает рыцарем, она могла бы к нему обратить стихи, в юности посвященные Сергею Эфрону:

> Такие – в роковые времена —
> Слагают стансы – и идут на плаху.

Из действующих лиц повести только он и Стахович понимают: «Здесь [в Москве 1919 года. – *В. Ш.*] – не жизнь». Другие, кажется, об этом не задумываются, а эти оба – уходят: Стахович – в смерть, самоубийство; Володя – в Добровольческую армию, где вскоре погиб. Его человеческая высота и благородство, причастность Бытию (*«Мне* здесь – не жизнь, – объясняет он причину своего отъезда в армию. – Я не могу играть жизнь, когда другие – живут. Играть, когда другие – умирают».) роднят его с Цветаевой. Тайно от семьи и Студии, открыв правду только ей, он едет на Юг, куда ведет его чувство долга и справедливости. «Родное триединство» не состоялось – мелкими оказались души «лицедеев», «от войны укрывающихся в новооткрытых студиях… и дарованиях». Цветаева с вызовом противопоставляет им Володю. А. С. Эфрон, вспоминая студийцев в одном из писем П. Г. Антокольскому (1962 год), назвала в каждом те же главные черты, которые определила ее мать: «помню ту, давнюю пору. И Вашу impétuosité [порывистость, стремительность. – *В. Ш.*], и гибкую статуарность Юры Завадского, и *душу* Володи Алексеева…»

«Но где же Сонечка? – в скобках, от лица читателя спрашивает Цветаева на пятой странице повести и отвечает: – Сонечка уже близко, почти за дверью…» И Софья Евгеньевна

Голлидэй входит в дверь «странного и даже страшного» зимой 1918/19 года цветаевского дома в Борисоглебском переулке и сразу превращается в «Сонечку». На несколько месяцев она становится главным действующим лицом жизни Цветаевой, ее «театрального романа» – и дальше, дольше: героиней стихов, «Повести о Сонечке», светлой радостью благодарного сердца Цветаевой.

Все эпизоды повести «притягиваются» к Сонечке, она внутри отношений Марины (или Марины Ивановны) и с Юрой, и с Павликом, и с Володей, и со Студией. Любящие глаза и сердце Цветаевой воспринимают Сонечку не совсем такой (или совсем *не* такой), как большинство окружающих. Эта молодая женщина, ростом и с внешностью четырнадцатилетней девочки, в одиночку («– У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два...») мужественно преодолевает жизнь послереволюционной Москвы, с готовностью раздавая то немногое, что достается ей самой: «Юрочке», втайне от него, белые булочки; детям Цветаевой – то сахар, то картошку, то хлеб... Она добра, бескорыстна, способна на самопожертвование... Она умеет любить и жаждет любви. Другие, чужие воспринимают ее как взбалмошную («неучтимую», по словам режиссера), неуживчивую, «злую на язык», бестактную фантазерку. На все свои возражения Цветаева получает ответ, что «такая» (то есть замечательная) Сонечка только с ней. Талант Сонечки так же «неучтим», как и ее характер: ее индивидуальность не вмещается в студийный спектакль, в «коллектив», ее таланту требуется отдельная сцена, свой театр – где же найти его в те годы в России?

Цветаева утверждает, что Сонечка опоздала родиться, что ее место было бы в «осьмнадцатом веке» – недаром она любимая ученица А. А. Стаховича, он в классе всегда просит ее воспроизвести «старинные манеры», которым обучает студийцев. В стихах и прозе Цветаевой 1919—1920 годов, обращенных к Стаховичу, он являет собой идеальное, но довольно абстрактное воплощение человека старого мира, – Цветаева даже не была с ним знакома. Сонечкины рассказы о Стаховиче, ее живая «болтовня», казалось бы, пустяки и незначительные подробности поворачивают его к читателю другой стороной, приоткрывают трагедию человека «осьмнадцатого века» в голодном, равнодушном, дичающем городе.

Как хотелось бы Цветаевой соединить эти две жизни – Сонечки и Стаховича – в надежде, что они могли бы помочь друг другу. Как понимает она, что Стаховича могла бы спасти Сонечкина восторженная любовь и земная самоотверженность, а Сонечку согревали и защищали бы его любящие руки. Но у жизни

свои законы, она распорядилась иначе, вместо сильных и надежных мужских рук Сонечку греет, прячет от жизни и утешает большое старинное кресло, почти одушевленное Цветаевой… Вероятно, мы уже не узнаем, кресло или стул стояли на сцене во время Сонечкиных «Белых ночей»: Владимир Яхонтов помнил, что Настенька весь спектакль сидела в кресле, Цветаева – что она стояла, держась за спинку стула. Я допускаю, что ошиблась Цветаева, и, кажется, понимаю психологическую причину такой ошибки: для Цветаевой Сонечкино кресло призвано укрывать ее от мира, открытая же сцена с единственной «декорацией» – стулом – Сонечку, ее талант миру являли, делали ее еще беззащитней.

«Повесть о Сонечке» – замечательная проза, в этом убедится всякий, прочитав ее. Однако мне хочется обратить внимание читателей на важнейшую особенность этой повести и мемуарной прозы Цветаевой вообще: ее достоверность. Цветаеву нередко обвиняли во многих «грехах», в частности, Георгий Адамович по поводу «Повести о Сонечке» писал, что автор «вскакивает на ходули», упрекал ее в «авторском самовлюбленном самообмане», в связи с этим утверждал, что «читать Цветаеву всегда неловко и тягостно»; о самой Сонечке говорил, как о «едва ли умной московской актрисе, которая *восторженным воображением* (выделено мною. – *В. Ш.*) Цветаевой возведена…» и т.п. Как возразить, если о С. Е. Голлидэй практически нет воспоминаний и архивных материалов? Как читатель я – доверяю зоркому и «восторженному» сердцу Цветаевой, но как исследователю мне необходимы доказательства. Я нашла их в рецензии Владислава Ходасевича, который подтверждает: «девушек этого стиля, этого внешнего и душевного склада было немало в предвоенной Москве…» Он перечисляет «подробности», совпадающие с цветаевским описанием Сонечки. В отличие от Адамовича, его не раздражает любовь автора к героине, он не склонен считать образ Сонечки плодом пустого воображения, а напротив, пишет об *«изощренной наблюдательности* (выделено мною. – *В. Ш.*), которая в свою очередь есть некая дань любовного, почти влюбленного восхищения и удивления Сонечкой»[211].

Существенными кажутся мне два факта, связанные с героями «Повести о Сонечке». Сохранились протоколы заседаний Совета правления Второй студии МХТ с упоминанием имени Голлидэй[212]. Зимой 1918 года Совет постановил «дать авансом С. Е. Голлидэй 250 р. или сшить за счет студии шубу, считая шубу собственностью студии» (?! – *В. Ш.*), а вскоре на шубу добавили еще 100 рублей. Этот протокол с бюрократической безучастностью подтверждает то, о чем так страстно повествует

Цветаева: о степени бедности и бесприютности ее Сонечки. И сколько злой иронии в этом постановлении: актрисе большого оригинального дарования Совет Студии (!) предлагает не роль (ролями ее «обходили»), а шубу…

Второй эпизод касается Володи Алексеева, его участия в Белом движении. После публикации в России «Повести о Сонечке» двоюродный брат и племянница-крестница В. В. Алексеева записали то, что помнили о нем в семье. Оба говорят о том, что Володя весной 1919 года уехал на юг; племянница – чтобы подготовить гастроли Художественного театра, двоюродный брат (может быть, он прочитал «Красную корону» М. Булгакова? – *В. Ш.*). — чтобы по просьбе матери Володя разыскал в Киеве младшего брата Николая, воевавшего в Белой армии, и вернул его домой. От себя двоюродный брат добавляет, что Володя «считал, что Николай должен быть по эту сторону баррикады, с красными»[213]. По обеим версиям Володя исчез где-то в пути, пропал без вести. Недавно опубликовано письмо Сергея Эфрона в Коктебель от 5 октября 1919 года, в котором сказано: «…в Харькове был у Алексеева. Он редко милый человек – если хотите всё знать о Марине – напишите ему по адресу…» – и адрес, из которого явствует, что Володя служит в Театральном отделении Отдела пропаганды Белой армии[214]. Это и есть *достоверность* прозы Цветаевой.

Софья Евгеньевна Голлидэй не сделала театральной карьеры, она была слишком самобытна, независима, слишком *исключительна* для самого понятия «карьера». Расставшись со Студией и с Цветаевой, она уехала в провинцию и в следующем, 1920 году вышла замуж за провинциального актера и режиссера, с которым, переезжая из театра в театр, один захолустнее другого, провела вторую половину своей жизни. Умерла она в Москве; вместо могилы осталась дощечка с ее именем в колумбарии Донского кладбища.

Незадолго до свадьбы Софья Евгеньевна писала подруге в Москву: «Я знаю все наперед, как самый лучший суфлер… Боже, какая бездарная жизнь – Боже, какая она может быть ослепительно волшебная… Я молчу и задыхаюсь и притворяюсь живой, хотя я давно уже мертвая…» Прошло больше полугода, как они расстались с Цветаевой. Может быть, в своей любви к Марине Сонечка последний раз («из последних сил»!) чувствовала себя живой? Как и для Цветаевой – с высоты Сонечкиного посмертия и своего 1937 года: «Вся Сонечка – мой последний румянец… Пылание ли ей навстречу? Отсвет ли ее короткого бессменного пожара?» (над этим отрывком зло иронизирует Адамович).

Марина и Сонечка, познакомившись, ставят точку над i: их

«Юрочка» просто не умеет любить: «Ни меня, ни Вас». И отвергая «Юрочку», Цветаева утверждает: «А любовь все-таки вышла. Наша».

До начала 80-х годов проблемы гомоэротической любви вообще не существовало в советском литературоведении (как, впрочем, и в жизни, кроме того, что на мужчин-гомосексуалистов распространялась определенная статья Уголовного кодекса). На самой теме лежало «табу», говорить об этом считалось неприличным. Я помню, когда однажды при Анастасии Ивановне Цветаевой зашел разговор о цикле «Подруга», она при легчайшем намеке на сафические отношения между Цветаевой и Парнок в ужасе воскликнула: «Как! Они и до этого докопались?!»

В 1979 году в Париже было впервые опубликовано «Письмо к Амазонке» Марины Цветаевой – по-французски, как оно было написано, и под названием «Mon frère féminin» («Мой женский брат» – «гениальные», по определению Цветаевой, слова из книги Натали Клиффорд-Барни). Эта публикация вызвала потребность обсуждения темы гомоэротики в связи с жизнью и творчеством Цветаевой.

В России ее открыла С.В. Полякова – первый исследователь творчества Софии Парнок. В издательстве «Ардис» (США) были изданы: подготовленная ею книга Софии Парнок «Собрание Стихотворений» (1979) и Софья Полякова «[Не]закатные оны дни: Цветаева и Парнок» (1982).

Полякова подробно анализирует – с точкой отсчета от сафических отношений между автором и адресатом – цикл «Подруга» и некоторые частные письма самой Цветаевой и близких к ней людей, чтобы показать историю любви Парнок и Цветаевой, ее значимость в жизни обеих. Попутно она выходит за рамки конкретных отношений, чтобы подтвердить несколько выдвинутых ею тезисов. Важнейший из них сводится к тому, что гомоэротические склонности были у Цветаевой чуть ли не врожденными, во всяком случае с детства окрашивали ее жизнь.

Софья Полякова видит проявление этого в реакции шестилетней Марины на впервые увиденную/услышанную ею сцену в саду из «Евгения Онегина» Пушкина – Чайковского, исполненную на Рождественском вечере в музыкальной школе, – эпизод описан в эссе «Мой Пушкин». Цветаева подробно объясняет – с пониманием 1937-го, не 1899 (!) года, – почему сцена между Онегиным и Татьяной произвела на нее неизгладимое впечатление и стала как бы жизненным эталоном любви (*нелюбви*). Конечно, в 1899 году шестилетняя Марина не могла (тем более под строгим взглядом матери) хотя бы приблизительно ответить, что поразило ее в этой сцене. Даже

такая незаурядная мать, как Мария Александровна Цветаева, пришла к самому банальному заключению: «...шести лет – влюбилась в Онегина!» Почти жизнь спустя Цветаева ответила матери: «Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, *в любовь*. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), *не в них двух, а в их любовь. В любовь...»* [выделено мною. – *В. Ш.*]. Обратите внимание, как Цветаева ведет нас по ступенькам обобщения: «в двух», «не *в них* двух, а *в их* любовь» – и окончательное: *«В любовь»,* в котором не нужны ни «он» (Онегин), ни «она» (Татьяна), ни даже «двое». Она формулирует свое кредо так ясно и определенно, что трудно, казалось бы, придать ее словам другое толкование. Речь идет об идеальном понятии любви, как сказала Цветаева о Сонечке Голлидэй – о «само́й любви». Но Софья Полякова этот ответ услышала по-своему; она комментирует цветаевское высказывание: «Цветаева уже в детстве обнаруживает свойственные ей позднее склонности»[215]. (Имеется в виду – гомо-эротические.) Однако где они в этом запоздалом цветаевском возражении матери? В чем можно обнаружить какую бы то ни было эротику? Неужели в признании: «в Татьяну – немножко больше»?.. Но ведь это постоянная позиция Цветаевой – защита слабого, обиженного, вне зависимости от пола, в данном случае «ее» (Татьяны).

Другой пример цветаевской «склонности» С. Полякова находит в любви теперь уже двенадцати-тринадцатилетней Марины к только что скончавшейся Наде Иловайской, которой – и Наде, и любви – посвящены прекрасные страницы «Дома у Старого Пимена». Это подростковое, сложное и труднопережитое, чувство Полякова тоже классифицирует однозначно: «Творчество Цветаевой на всех его этапах хранит следы ее причастности к сафическим интересам: см., например, рассказ о ее детской влюбленности в Надю Иловайскую». И опять возникает вопрос: где здесь эротика? Говоря о детстве Цветаевой, я уже пыталась разобраться в этом первом ее мистическом чувствовании. Повторю еще раз – словами самой Цветаевой: «...эта любовь была – тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти – для встречи. Нестерпимое детское „сейчас“! А раз здесь нельзя – так не здесь. Раз живым нельзя – так —"Умереть, чтобы увидеть Надю", так это звалось... А дальше? Дальше – ничего – *всё. Увидеть, глядеть. Глядеть всегда»* [выделено мною. – *В. Ш.*]. Так просто: умереть, чтобы увидеть и глядеть вечно. Когда я думаю, что это чувствовала девочка-подросток, меня холодит иррациональный страх. Эта цветаевская тоска по «тому свету» вызвала к жизни

«Новогоднее» и «Поэму Воздуха».

Трагическое недоразумение существует не только между Мариной Цветаевой и Софьей Поляковой, но между Цветаевой и подавляющим большинством людей: они по-разному понимают слово «любовь». Для многих оно непременно включает в себя наличие *эротики,* сексуального, физического влечения. Для Софьи Поляковой оно еще более специфично, она имеет в виду *гомоэротическую* любовь, любовь к человеку одного с тобой пола. У Цветаевой, которая, по ее собственным словам, чувство любви испытывала «отродясь,– *до*-родясь», понимание любви более сложное. Любовь прежде всего отождествлялась с родством Душ, жизнь Цветаевой по существу прошла в поисках родной души, принесших ей и боль, и разочарование, и счастье – все, что приносит человеку любовь.

Нам известен не один «заочный» роман Цветаевой, романы в письмах с людьми, которых она видела мимоходом или даже никогда не встречала. Назову только Райнера Мария Рильке, поскольку эти отношения значили для Цветаевой бесконечно много. Да, Цветаева мечтала о встрече с ним вместе с Пастернаком, а потом и наедине; да, в ее письмах к Рильке есть строки, смущающие часть читателей, вызывающие представления о стремлении Цветаевой к физической близости. Но и из этих строк к Рильке рвется стремление Духа к Духу, просто многие слова (и понятия) читатели воспринимают на другом, чем их пишет Цветаева, уровне. Я уверена, что Рильке ее понимал. Он был для нее Орфеем – можно ли мечтать «переспать» с Орфеем?

Любила ли Цветаева князя С. М. Волконского? Она его завоевывала, добивалась его внимания и дружбы. Здесь слились восхищение, восторг, преклонение; и не имело значения, что он не интересуется женщинами: «Моя любовь к нему ... перешла в природную: я причисляю его к тем вещам, к<отор>ые я в жизни любила больше людей: солнце, дерево, памятник...» Любовь ли это? Для Цветаевой – безусловно. Однако эротика в ней отсутствует, более того: зная, что Волконского привлекают юноши, Цветаева признается: «знай я подходящего ему – я бы, кажется, ему его подарила». В стихах она это осуществила: подарила цикл «Ученик». В этом подарке слышен отзвук сексуальной принадлежности Волконского – она дарит не себя, ученицу, а некоего «его», Ученика. Через много лет она в письме объясняла Ю. Иваску глубинный смысл цикла: «Ученик не на земле. Ученик не на земле, а на горе. А гора не на земле, а на небе. (NB! Не только эта, – всякая гора. Верх земли, т. е. низ неба. Гора – в небе.)» Итак, любовь к Волконскому – это тяготение горы к небу, одного высокого духа к другому. Но любя Дух, Цветаева

не забывала о его земном воплощении: служила Волконскому делом – переписывала его рукописи, делилась едой, чаем – чем могла. Рильке сам был для нее такой «горой в небе», и если она предлагала себя, то лишь как дерево, которое своими корнями укрепит склоны горы, или как облако, которое разделит ее одиночество…

Одновременно существовала для Цветаевой и другая, земная, любовь: к ее Сереже – здесь я не стану ее обсуждать – к Софьи Парнок, к Родзевичу, к другим… Может быть, только к Парнок и к Родзевичу это была настоящая страсть, в которой бушевал эрос. И Софья Парнок права, утверждая, что именно она разбудила в Цветаевой чувственную сторону ее существа. Однако нельзя не обратить внимания, что в этом всепоглощающем чувстве явно отсутствует важнейшая для Цветаевой составляющая всех ее человеческих отношений: душа. Кажется даже, что душа мешает такой страсти:

> И еще скажу устало,
> Слушать не спеши! —
> Что твоя душа мне встала
> Поперек души.

Возможно ли, что эрос вытесняет душу?

Нет сомнения, что опыт гомоэротической любви, пережитый в молодости с Парнок, не мог бесследно исчезнуть, остался в памяти, в сознании и, может быть, больше всего в подсознании Цветаевой. Отношения с Парнок изменили ее представление о любви: теперь оно включает в себя и эротику, и гомоэротику. В одной из тетрадей Цветаевой времени приблизительно Сонечки Голлидэй и С. М. Волконского сохранилось (было сохранено Цветаевой, ибо переписано в Сводную тетрадь в 1932 году без комментариев) следующее рассуждение: «Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное – какая жуть!

А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо исключая необычное родное – какая скука!

> И всё вместе – какая скудость.
> Здесь действительно уместен возглас: будьте как боги!
> Всякое заведомое исключение – жуть».

Каждый волен толковать это высказывание по своему усмотрению, но никто не сможет отрицать главного: Цветаева

возражает против любой «заведомости» – принуждения или самопринуждения. Это подтверждает идею о *всевместимости, всеобъятности* души гения, его способности проникать в любое явление природы и жизни. Внутри поэта существует весь мир: он может ощутить себя деревом, морем, горой... И открыть нам, что чувствуют эти природные существа (как «отчаивается ива», например). Тем более – человек – мужчина или женщина – не имеет значения; в **человека** – в любой его ипостаси, в особенности в самых глубинных его проявлениях: любви, ненависти, го́ре – способен перевоплотиться Поэт. Иначе у нас не было бы великой литературы.

Я уже сказала, что прошло восемнадцать лет между внезапно оборвавшейся дружбой с Сонечкой Голлидэй и «Повестью о Сонечке», – естественно, что она написана другой Цветаевой, много пережившей и более мудрой, чем Марина «театрального романа». Между событиями 1919 года и работой над повестью Цветаева написала «Письмо к Амазонке», трактующее проблемы сафической любви.

Нет свидетельств, предназначала ли его Цветаева для печати. Оно обращено к французской писательнице – американке по происхождению – Натали Клиффорд-Барни (Natalie Clifford Barney, 1876—1972) – одной из самых оригинальных и знаменитых женщин своего времени, не просто провозгласившей новые идеи женской свободы, но сумевшей воплотить их в жизни. Ей помогли в этом деньги, оставленные отцом: они давали полную независимость. Уже в первой книге стихов, появившейся в 1900 году, Клиффорд-Барни открыто воспевала лесбийскую любовь и тем самым сделала свою сексуальную направленность достоянием общества. И в жизни, и в литературе она была апологетом сафической любви, о ней говорили как о «королеве лесбиянок». В эпитафии, сочиненной для себя, она с вызовом написала: «друг мужчин и любовница женщин». Она посвятила себя демонстрации интеллектуальной и сексуальной свободы женщины; это определило и ее личную жизнь, и особое положение в обществе. Настоящую славу Натали Клиффорд-Барни создал ее близкий друг – знаменитый французский поэт, романист, эссеист, один из основателей журнала «Меркюр де Франс» – Реми де Гурмон (Remy de Gourmont, 1858—1915): в 1912—1913 годах он печатал в журнале вдохновленные ею и посвященные ей «Письма к Амазонке». Они дали ей имя, которым она пользовалась в кругу друзей и в литературе: две из ее книг называются «Мысли Амазонки» (1918, 1920) и «Новые мысли Амазонки» (1939). С помощью Реми де Гурмона утвердился в Париже и ее знаменитый литературный салон, существовавший с

1909 по 1968 год в одном и том же доме на rue Jacob. Еженедельно по пятницам здесь собирались писатели, поэты, художники со всех концов света. Часть гостей составляли женщины – писательницы и художницы, феминистки, как и сама хозяйка, некоторые из них были ее возлюбленными. Другую часть – мужчины-интеллектуалы. В разное время здесь бывали Анатоль Франс, Марсель Пруст, Р. М. Рильке, Т. С. Элиот, Эзра Паунд, Поль Валери, Гертруда Стайн, Д. Джойс, Э. Хемингуэй, Скотт Фицджеральд… Один из исследователей жизни и творчества Натали Клиффорд-Барни заметил, что ее салон постепенно стал неким «институтом», «общественным полем», на котором французы встречались с писателями из самых разных стран. Хозяйка салона многим покровительствовала: она имела большое влияние в парижском литературном мире и была богата.

В одну из пятниц тридцать второго года в этот салон привела Марину Цветаеву первая переводчица стихов Бориса Пастернака на французский Елена Извольская. Цветаева окончила перевод поэмы-сказки «Мóлодец», напряженнейшую работу восьми месяцев; его необходимо было опубликовать. В поисках заработка Цветаева искала возможности печататься по-французски. Извольская надеялась, что Клиффорд-Барни поможет в этом. По мнению Извольской, «одно слово ее рекомендации … было „Сезам, откройся!“ для дверей любого известного литературного журнала»[216]. Ради этого она и просила Клиффорд-Барни принять Цветаеву и послушать ее перевод. В день, когда Цветаева читала своего «Le Gars», в салоне не было никаких знаменитостей и никого, кто мог бы по достоинству оценить ее работу. По воспоминаниям Извольской, Цветаева читала «Мóлодца» превосходно, но прием был более чем холодный. Ни Цветаева, ни ее поэма не заинтересовали Клиффорд-Барни – чтение оказалось безрезультатным. Цветаева никогда больше у нее не бывала и, как считает Извольская, не делала других попыток войти во французскую литературу…

Нет, на самом деле посещение Клиффорд-Барни не осталось безрезультатным: оно вызвало «Письмо к Амазонке». Очевидно, Цветаева впервые прочитала «Мысли Амазонки». С этого она и начинает «Письмо»: «Я прочла Вашу книгу…»

Мы не знаем, отправила ли Цветаева свое «Письмо» – в архиве мисс Клиффорд-Барни не сохранилось ни оно, ни какие бы то ни было упоминания о Цветаевой. Тем не менее некоторые исследователи находят его отзвуки в поздних книгах Клиффорд-Барни «Новые мысли Амазонки» (1939) и «Traits et portraits» («Штрихи и портреты», 1963).

«Мысли Амазонки» задели Цветаеву – тема была ей

небезразлична. Пережитый давным-давно опыт, «час первой катастрофы», осевшей в глубине души и сознания, должен был всплыть, разбудить память и чувства… «Мысли» Клиффорд-Барни вызвали ответные мысли Цветаевой.

Возможно, София Парнок стала бы русской Клиффорд-Барни – с поправкой на русскую «отсталость», – если бы старый мир, мир их общей с Цветаевой молодости, не рухнул так стремительно и бесповоротно. При всей ее смелости Парнок в советское время была абсолютно лишена возможности открыто говорить о сафической любви и могла отстаивать ее лишь в собственной жизни и в стихах, оставшихся в тетрадях. В «Мыслях Амазонки» Цветаева впервые столкнулась с воинственно-вызывающей публичной апологией сафической любви. Она чувствовала потребность высказаться. В какой-то степени это был ответ и своему прошлому: Софии Парнок, а может быть, и Сонечке Голлидэй.

«Письмо к Амазонке» выходит далеко за рамки личной переписки; это лирико-философское эссе в форме письма. Цветаева анализирует историю любви между двумя женщинами на всех ее этапах: начало, развитие и конец. Она углубляется в самое существенное для себя – душевные отношения между этими женщинами. И приходит к выводу, что гомоэротическая любовь несовместима с самой природой женщины. Цветаева не выступает ни моралисткой, ни принципиальной противницей сафической любви; несколькими страницами выше вы прочитали ее дневниковую запись на эту тему: любить «только мужчин (женщине) заведомо исключая *необычное родное* — какая скука!» (выделено мною. – *В. Ш.*). Иными словами, «необычное» (сафическое) отношение к «родному» (женскому) не может быть заведомо исключено, имеет право на существование.

Но почему в той же записи сказано, что «любить только женщин (женщине)… заведомо исключая *обычное обратное* — какая жуть!»? (выделено мною. – *В. Ш.*). Почему Цветаева считает любовь между женщинами трагически несовместимой с их природой? Ответ однозначен: Ребенок. Цветаева стала матерью, когда ей не было и двадцати лет; к двадцати пяти у нее было уже две дочери; в двадцать семь она потеряла одну из них. Ее чувство материнства было сложным, отношение к ребенку прошло несколько нелегких этапов, пока окончательно утвердилось с рождением сына: Ребенок – Мур – главное. Он отодвинул на второй план даже поэзию. Так было ко времени «Письма к Амазонке» и дальше, до конца ее дней. С этой точки отсчета рассматривает Цветаева отношения двух любящих женщин. Их разрыв неизбежен, ибо природа наделила женщину инстинктом

материнства. Тема Ребенка, мысли о ребенке начинают преследовать младшую подругу, она обвиняет старшую в том, что никогда не сможет иметь ребенка: поначалу – с болью, постепенно—с осознанием безвыходности. Цветаева проводит читателя по всем этапам этой возрастающей и безысходной взаимной боли. В конце концов младшая должна уйти к мужчине – любому, который даст ей ребенка. Природа побеждает. Разрыв и – ненависть младшей к старшей такая же страстная, какой прежде была ее любовь.

Не меньше Цветаеву интересует и причина, которая приводит молодую девушку в объятия старшей. Объяснение строится на мировосприятии Цветаевой. В поисках Души она сама раскрывала объятия многим, в ком ей хотя бы почудилась близкая, родная душа. Она надеялась, что, преодолевая рамки «тела», физическая близость даст возможность проникнуть в душу человека. Теперь, в «Письме к Амазонке» она трактует это так: молодая девушка боится мужчины, боится «обычного» чужого, ей не нужно «тела», она хочет любить без боли, без тела... Цветаева несколько раз повторяет слова «боится», «страх», «боль»... Младшая ищет «родную душу» и находит ее в старшей подруге, мудрой и понимающей. Старшая, обреченная на фатальное одиночество, завлекает младшую в сети души. Но для неопытной девушки это (по Цветаевой) лишь «ловушка». Дальше – физическая близость, страсть, которая вопринимается как «родное» в противовес «чужому», мужскому. Какое-то время счастья. Затем возникают мысли о ребенке. И – неизбежный разрыв.

Цветаева ощущает трагичность гомоэротической связи между женщинами и в том случае, когда она не кончается разрывом. Не называя имен, она описывает такую пару: «Трогательное и ужасающее видение на диком берегу Крыма – две немолодые женщины, прожившие жизнь вместе...—Это воспоминание о Коктебеле, можно догадаться, что одна из женщин – поэтесса Поликсена Соловьева (Allegro), сестра философа Владимира Соловьева, другая – ее подруга, детская писательница Наталья Манасеина. – ...их окружала пустота более пустая, чем та, которая окружает „нормальную“ старую бездетную пару, пустота более отдаляющая, более опустошительная». Цветаева, безусловно, преувеличивает – но таково ее теперешнее, 1934 года, восприятие.

Она вкладывает в «Письмо» собственный опыт, оттого оно звучит так интимно-страстно, даже – пристрастно. Цветаева убеждена в правоте своих построений и выводов, ей кажется, что она разрушает созданный Клиффорд-Барни мир: «Я наношу Вам рану прямо в сердце, прямо в сердце Вашего дела, Вашей веры,

Вашего тела, Вашего сердца». Цветаева извиняется: «Не сердитесь на меня. Я отвечаю Амазонке, а не белому женскому видению, которое меня ни о чем не спрашивает. Не той, которая дала мне книгу – той, которая ее написала». Боюсь, что она ошиблась адресом: душевный мир автора «Мыслей Амазонки» держался на редкость крепко, несмотря на то, что около нее произошло два женских самоубийства. Очевидно, Цветаева читала «Мысли Амазонки» не совсем так, как их писала Клиффорд-Барни, и наверняка она отвечала не той женщине, которая ей представлялась.

Нам важны «Мысли Амазонки» как толчок, заставивший Цветаеву обдумать и осознать тот опыт, который она вложила в ответ на эту книгу. Ибо «Повесть о Сонечке» принадлежит автору, уже написавшему «Письмо к Амазонке». Опыт Цветаевой был сложным. В романе с Софией Парнок она играла роль младшей, чувства которой так подробно и пристрастно разбирает в «Письме». Она хотела забыть о Парнок, и не исключено, что «Письмо» представлялось возможностью избавиться от этих воспоминаний. Там сказано, что, когда младшая из подруг узнаёт о смерти старшей, ее реакция в конце концов сводится к безразличному: «Ведь она умерла во мне – для меня – двадцать лет назад?» В реальности, когда Цветаевой, по возвращении в Москву, предложили прочесть стихи, где Парнок ее благословляет, она равнодушно ответила: «Это было так давно...»

По отношению к Голлидэй все получилось по-другому, начиная с того, что теперь старшей была Цветаева. Была ли это страсть? Притяжение, несомненно, было: «это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь». *Огонь. Беда.* И одновременно – счастье. Вероятно, живо помня свой трехлетней давности роман и разрыв с Парнок, Цветаева не захотела, не позволила себе стать «ловушкой»; игра идет по-честному: душа за душу, любовь за любовь. Цветаева подчеркивает, что физической близости между Мариной и Сонечкой не было: «Мы с нею никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. <...> Братски обнимала». Она не хочет стать причиной страданий Сонечки, и потому в нужный час с пониманием относится к ее уходу. Если от Парнок она стремилась вырваться («Зачем тебе, зачем / Моя душа...»; «...твоя душа мне встала / Поперек души»; «Разлюбите меня!..»), – то сейчас она раскрывает свои братские объятья, отпуская Сонечку в ее собственную жизнь: «Если бы я была мужчиной – это была бы самая счастливая любовь – а так – мы неизбежно должны были расстаться, ибо

любовь ко мне неизбежно помешала бы ей – и уже мешала – любить другого, всегда бывшего бы тенью... <...> Сонечка от меня ушла – в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину...» Поразительно, что в «Повести о Сонечке», там, где Цветаева говорит об уходе Сонечки, возникает тема ребенка, в «Письме к Амазонке» утвержденная как главная причина разрыва двух любящих женщин. Теперь она представлена в ином аспекте; Цветаева сравнивает Сонечку с ребенком, которого дают вам подержать на время – на радость: «Сонечка была мне дана – на подержание – в ладонях. В объятиях. Оттого, что я ребенка подержала в руках, он не стал мой. И руки мои после него так же пусты». Цветаева нашла в себе силы не сломать, не присвоить, отпустить «чужого ребенка» – Сонечку. Они оторвались друг от друга, как говорит Цветаева, «с мясом души – ее и моей». Но это, я думаю, была боль другого рода, чем при расставании с Соней Парнок. Это была, по любимой формуле Цветаевой, «победа путем отказа».

Два года спустя Цветаева вернулась к теме гомоэротической любви – на этот раз между мужчинами – в частном письме к Юрию Иваску, с которым они уже несколько лет переписывались. На Рождество 1938 года Иваск впервые приехал в Париж из Эстонии, где он жил, – в русскую литературную Мекку – и нашел там то, о чем мечтал: новые интересные знакомства, разнообразные литературные сборища, чтение стихов и обсуждение мировых и российских проблем – кипящую жизнь, как казалось ему, провинциалу... Несколько раз он встречался с Цветаевой, и впоследствии опубликовал об этих встречах выдержки из своего дневника. Цветаева стояла особняком в его парижских днях; Иваск заходил к ней, она кормила его обедом или они вдвоем сидели в кафе за черным кофе. «Жаль (ей) – теперь никуда не ходит, п<отому> ч<то> жена...» – записано в его дневнике. Многоточие это знаменательно.

По словам Цветаевой, они «хорошо подружились», и после отъезда Иваска переписка возобновилась. Здесь речь пойдет о третьей странице большого письма Цветаевой к Иваску от 27 февраля 1939 года. Иваск не опубликовал ее, хотя само письмо напечатал дважды. На «утаенной» странице Цветаева рассуждает о гомоэротической любви. Конечно, Иваск не исповедался ей в своих интимных делах: Цветаева сама «вычислила» его сексуальную направленность и – неспрошенная – высказывается на эту тему: «Вы всё говорите о друге, и только мечта об этом друге могла Вас – поэта – все Ваши парижские вечера уводить от меня (поэта). (Я назначил сегодня Иксу. Меня сейчас ждет Игрек)

(А вдруг??) – Не *поэтов* же Вы в них любили – и ждали!» После такого начала она без перехода, «в отдаленный ответ» рассказывает эпизод из жизни своего друга (из контекста ясно, что это А. А. Чабров) – его встречу с полюбившим его мальчиком. Она пишет приглушенно и деликатно, здесь нет и намека на воинственную страстность «Письма к Амазонке». Однако тема гомоэротической любви продолжает волновать Цветаеву, ее сдержанность можно объяснить тем, что это не общие, хотя и напряженно-личные, рассуждения, а письмо реальному человеку о его интимной жизни, в которую он ее *не посвящал*. К тому же письмо обращено к мужчине, и «плацдарм», на котором сейчас находится Цветаева, не вызывает у нее таких болевых ощущений, как разговор о сафической любви.

Что общего в этих двух письмах? Во-первых, Цветаева утверждает гомоэротические склонности как «особость породы» (в письме Иваску), «роковое природное влечение» (в «Письме к Амазонке»), то есть как нечто необычное, связанное с природой конкретного человека. Все другие варианты гомоэротических отношений она «выносит за скобки» (ее выражение) своего интереса и внимания. В «Письме к Амазонке» она перечисляет случаи, которые «опускает», останавливаясь только на «нормальном случае, обыкновенном жизненном случае». И в письме Иваску: «об остальных … если заговорю – то только с абсолютным презрением: как о каждом профессионале *живой* души: соблазнителе малых сих…» Снова, как и в «Письме к Амазонке», – «соблазнитель», «ловец», «сети души».

Во-вторых, Цветаева относится к гомоэротическим склонностям как к несчастью, к беде. Она говорит о касте, о «породе», об оторванности этих людей от мира, об их отшельничестве. В более пространном «Письме к Амазонке» ощущение «беды» создается всем ходом ее размышлений, примерами, напряженностью тона. Цветаева хочет заставить читателя почувствовать *«ужас этого проклятья»* (выделено мною. – *В. Ш.*), вздрогнуть от описания двух немолодых подруг на крымском берегу… Заключительные строки обращают нас к трагедии: «Плакучая ива! Поникшая ива! Ива, душа и тело женщины! Поникшая шея ивы. Седые волосы, упавшие на лицо, чтобы больше ничего не видеть. Седые волосы, метущие лицо земли.

Во́ды, воздух, горы, деревья даны нам, чтобы понять душу человечества, так глубоко скрытую. Когда я вижу, как отчаивается ива, я понимаю Сафо».

Ива здесь – символ горя, страдания, последнего отчаяния. Вспомним, что у Шекспира Офелия бросается в воду под ивой, а

Дездемона поет старинную песню об иве за минуты до смерти… В письме Иваску Цветаева, используя образ из русской сказки, коротко и прямо говорит – по существу то же самое: «свою беду Вы втащили (как мужик – *Го́ре*) — на горбу́ – на́ гору… <…> Вам с Вашей бедой – трудно будет, и трудно – есть». Трудно, считает она, потому что ее адресату необходима в любви духовная близость.

Есть в письме Иваску нечто важное, чего прежде не было: Цветаева кардинально меняет свой взгляд на соотношение души и эротики. В 1923 году в стихотворении «Послание» (цикл «Федра») Цветаева – в скобках, прерывая монолог Федры, от своего, авторского имени объясняя и оправдывая «преступную» страсть мачехи к пасынку, – утверждает физическую близость как путь к душе:

> …(Нельзя, не коснувшись уст,
> Утолить нашу душу!)

И следом – устами Федры:

> Нельзя, припадая к устам,
> Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст.
> Утоли мою душу: итак, утоли уста.

В «Письме к Амазонке» «сети души» тоже оказываются сетями эротики. И в одном из писем к Саломее Андрониковой (12 августа 1932), где Цветаева пересказывает свой «дикий» сон о ней, она представляет тело и душу неразрывно связанными. Цветаева подробно описывает ситуацию, окружение, струящиеся одежды Саломеи… Во сне она видела ее «с такой любовью и такой тоской», любила ее «до такого исступления», «так – *невозможно»,* как вообще никого не могла бы любить. Наяву она никогда не испытывала такого чувства к Саломее: «Я все спрашивала, *когда* я к Вам приду – без всех этих – мне хотелось рухнуть в Вас, как с горы в пропасть, а что там делается с душою – не знаю, но знаю, что *она* того хочет, ибо тело = самосохранение». Тело – самосохранение души. И больше: тело героини этого сна – «тело Вашей души». В этом сне сплетаются эротика, поиски души, тоска: «Вы были точным лицом моей тоски <…> Ибо лицо моей тоски – женское». И в конце концов: «я видела во сне Вашу душу»… Пересказывая свой сон, Цветаева неожиданно обнаруживает, что Саломея ее сна – тоже внеземное существо, к которому обращены ранние стихи Осипа Мандельштама

«Соломинка»:

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Теперь, в 1939 году, в письме к Иваску, Цветаева пересматривает свой взгляд на соотношение души и эротики. Возможно, это связано с тем, что на сей раз она наяву обращается к реальному человеку, тайную боль которого угадала. Цветаева стремится не разрушить иллюзии, но предупредить о трагической правде: «Ваш случай сложен и трагичен – тем, что он – *духовен».* Очевидно, по письмам и за несколько долгих встреч в Париже она поняла, что для ее собеседника душевные отношения не менее важны, чем эротические. Как и в «Письме к Амазонке», Цветаева обобщает; если там она писала о «проклятом племени», о «братстве прокаженных», то теперь говорит об «особости породы», о «касте» и предупреждает, что «родной души» он в этой касте не найдет: «...Вам приходится выбирать не из всего мира, а из *касты,* где – знаю это по опыту – все лучшее высшее вечное идет к *женщине,* и только «остатки сла́дки» – к мужчине. *Ваши* на *мужскую дружбу* — неспособны. *Душу* всех этих моих друзей всегда получала *я,* и если кто-нибудь меня на свете *любил* (как мне это подходило), то это – *они».*

Цветаева преувеличивает, говоря о душах «этих» своих друзей, но очевидно, что годы принесли ей трагическое знание: оболочка тела – не единственное препятствие к душе человека, добраться до чужой души гораздо труднее, чем ей казалось в молодости.

Цветаева написала Иваску о его интимной тайне так деликатно и сочувственно, что каким-то образом утешила; много лет спустя в стихах, обращенных к ней, он признался:

Вы поняли: не осудили.
Благословили...

Но вернемся к лету 1937 года. Оно кончалось благополучно. Цветаева завершила «Повесть о Сонечке», приготовила к печати и «Стихи к Сонечке», без малого двадцать лет пролежавшие в тетради. Недавно возникший журнал «Русские записки» принял и повесть, и стихи. Жизнь определенно давала Цветаевой передышку.

* * *

И тут случилась катастрофа. Та непоправимая катастрофа, ожидание которой сопровождало ее всю жизнь. На этот раз не на высотах духа, а на земле, рядом с нею, – с самым близким для нее человеком.

Сергей Яковлевич приезжал в Лакано в августе 1937 года – из писем Маргариты Николаевны Лебедевой мужу можно установить даты. 18 августа она сообщает: «Вчера (то есть 17 августа. – *В. Ш.*) приехал Сережа...» Уехал он до 30-го – в этот день выехали в Париж Лебедевы; подтверждением того, что Эфрон уехал раньше них, служит фраза из письма М. Н. Лебедевой от 31 августа о потерянном на железной дороге (к счастью, на другой день найденном!) багаже: «в одном из чемоданов, сданных по ошибке, были все наши документы и рукописи Марины Ив., которые она не доверила Серг. Як». Важно было бы знать, почему Цветаева могла «не доверить» мужу свои рукописи?

Итак, в августе 1937 года Эфрон провел в Лакано с семьей около двух недель; Цветаева с Муром оставались там примерно до 20 сентября. Из писем Лебедевых можно извлечь интересные подробности пребывания Сергея Яковлевича в Лакано. Хотя Маргарита Николаевна пишет: «С Эф<роном>—Цв<етаевой> мы, конечно, много проводили времени, но „разговаривать“ много не пришлось. Мар. Ив., как Ты знаешь, не долюбливает политические разговоры...» – политические темы обсуждались, тем более что для Лебедевых политика была важнейшим интересом, а для Владимира Ивановича и делом жизни. Еще в январе этого года Маргарита Николаевна сообщала ему, что Эфрон «очень занят кажется очень важными делами»; в августе – что он приехал в Лакано «совершенно замученный, но по-прежнему восторженный. Считает Испанию непобедимой, слишком героически настроены ее защитники»... Разговаривали и о Советской России: «Серг. Як. по-прежнему горит энтузиазмом прозелита и „принимает“ всё без всяких оговорок. По его словам в СССР две главных задачи – Оборона и развитие, охрана прав и благ человека-гражданина – в жертву им всё и приносится. В священном восторге от последней книги Сталина – „в ней все сказано“ (слова, взятые М. Н. в кавычки, – скорее всего, прямые цитаты из Эфрона. – *В. Ш.*). Но вообще он всецело поглощен Испанией, с которой, видимо, главным образом и связан. Он был просто вне себя, когда на наш берег выбросило пароход с 480 беженцами из Сантадера...» Изложенные в этом письме взгляды Эфрона не требуют комментария. Его связи с Испанией вполне серьезны: Маргарита Николаевна обещает Лебедеву для газеты,

которую тот собирается издавать в Чикаго, «достать и „настоящего“ корреспондента из Испании, это будет нетрудно через Муриного отца».

В письмах Ирины Лебедевой тоже рассказывается о семье Цветаевой. Об Эфроне: «Через неделю едем в Париж, чему очень рада, тут у нас минуты свободы нет, приехал на днях Сер. Як. и вместо того, чтобы наслаждаться своей семьей, он все время проводит с нами, а иногда уходит на свидание в кафе с какими-то темными личностями из Союза, которые сюда за ним приехали» (21 августа 1937). Значит, во-первых, у Эфрона была возможность говорить с Маргаритой Николаевной о политике, когда он виделся с нею без жены; во-вторых, своими союзо-возвращенческими (энкавэдистскими) делами он занимался с «темными личностями» и в Лакано.

Что думала Цветаева о работе своего мужа в Союзе возвращения, к этому времени переименованном в Союз друзей Советской родины? Представляла ли себе содержание его работы? Или не задумывалась: служба есть служба, постоянная зарплата, жизнь семьи стабилизировалась. Уже в Москве после ареста Сергея Яковлевича в письме Берии она настаивала, что знала только о его работе в Союзе возвращения и в Испании – я не сомневаюсь, что это правда. Любовь, казалось, исчерпала себя, оставалась «совместность». Внутренней близости не было, они не находили общего языка в главном для Эфрона – в отношении к Советскому Союзу и к будущему. Жизни катились врозь, расходясь все дальше. Эфрон подолгу не бывал дома, временами жил отдельно от семьи: в большой квартире Союза возвращения на улице де Бюси была комната, которой он мог пользоваться. Позже, на допросе в НКВД, Ариадна Эфрон показала, что в какой-то момент отец даже думал о разводе с матерью. Цветаева не была посвящена в его дела. Он сознательно ограждал ее от своей работы. Могла ли она противостоять этому, если бы знала? Могла ли вырвать его из той трагически-страшной ситуации, в которой он оказался? Очевидно, не могла. Дело зашло слишком далеко, отступать было некуда, Эфрон это знал лучше всех. Цветаева понимала, что связь мужа и дочери с «возвращенцами», их просоветская деятельность бросают тень и на нее. Она негодовала, когда Аля из Москвы опубликовала статью в парижском журнале, издававшемся на деньги советского постпредства: «…Аля написала статью в „Нашей родине“ (бывший „Наш Союз“) о своих впечатлениях о Москве, Мар<ина> Ив<ановна> дико возмущается Алиным восторгом, а особенно тем, что Аля написала, что она рада увидеть Москву, которая

расправилась с изменой!»[217] М. Л. Слоним вспоминал, как в споре о Поэме о Царской Семье Цветаева сказала: «всем известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме». «Меня и Сергея Яковлевича»... Только самые близкие знали, как противоположны их позиции и устремления.

И вдруг – гром среди ясного неба – в газетах появились сообщения, что евразиец Сергей Эфрон причастен к убийству советского чекиста-невозвращенца Игнатия Рейсса. Теперь мы знаем, что он руководил выслеживанием Рейсса, как за год до этого руководил слежкой за Львом Седовым – сыном Л. Троцкого. Убийство Рейсса произошло в Швейцарии в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года. Идя по следу убийц, швейцарская полиция обратилась за помощью к французской. Нити вели к Союзу друзей Советской родины и, в частности, к Эфрону. Открылось также, что Союз – и он лично – вербовал среди эмигрантов добровольцев для отправки в Испанию в Интербригаду. Это было запрещено французским правительством; еще 17 февраля М. Н. Лебедева писала: «Запрещено добровольчество, и сейчас последние русские волонтеры уезжают в спешном порядке...» Тем не менее «возвращенцы» тайно продолжали вербовку. Эфрона допрашивали в парижской полиции; он не мог не понимать, чем это ему грозит.

Париж был потрясен известием об исчезновении председателя Русского Общевоинского Союза (РОВС) генерала Е. К. Миллера. Это был второй случай: в январе 1930 года был похищен советскими агентами его предшественник генерал А. П. Кутепов. Генерал Миллер бесследно исчез 22 сентября, на следующий день стало ясно, что и он похищен чекистами. Полиция искала связи между убийством Рейсса и этими похищениями. После первых допросов Эфрон бежал – очевидно, одним из условий его работы было исчезновение в случае провала. К тому времени, как швейцарская полиция закончила следствие, никого из участников убийства Рейсса уже невозможно было арестовать – они скрылись. Логично предположить, что, окажись Эфрон в руках швейцарского правосудия, он попал бы в тюрьму и остался жив – в Советском Союзе его ждала верная смерть. Но выхода у него не было: после возвращения Али в Москву он был связан с НКВД не только работой, но и заложницей.

Не знаю, когда, при каких обстоятельствах и насколько близко к правде рассказал Эфрон Цветаевой о случившемся, как она реагировала на этот рассказ. Ясно, что такой разговор состоялся, что Эфрон не исчез, не простившись с женой и сыном. Есть свидетельство, что Цветаева с Муром провожали его на

машине в Гавр, но по дороге, в районе Руана, Эфрон выскочил из машины и скрылся[218]. Это произошло 10—11 октября 1937 года. Из письма Цветаевой к Тесковой от 27 сентября, как и из письма Ирины Лебедевой отцу от 2 октября – здесь упомянуто, что Марина Ивановна с Муром вернулись с моря – видно, что ни Цветаева, ни Лебедевы еще не знают об убийстве Игнатия Рейсса и причастности к нему «возвращенцев». Кстати, правая газета «Возрождение» – без указания на источник информации – утверждала: «Как известно, перед бегством он сказал жене, что уезжает в Испанию». Об исчезновении генерала Миллера «Возрождение» сообщило 24 сентября, но пока это не связывают с делом Рейсса. Впрочем, прямой связи не было, хотя нет сомнений, что все концы сходятся в одном ведомстве в Москве. Заметка в «Возрождении» (15 октября 1937) с подзаголовком «К убийству Рейсса» озаглавлена «Агенты Москвы», этим определением справедливо объединяя убитого и убийц. Только после обыска в Союзе друзей Советской родины 22 октября – через восемь с половиной недель после убийства Рейсса, через месяц после похищения генерала Миллера и через две недели после бегства Эфрона – эмигрантская общественность обратила взоры на «возвращенцев». «Шапка» пятой страницы «Возрождения» от 29 октября гласила:

> ПОХИЩЕНИЕ ГЕН. Е. К. МИЛЛЕРА.
> Последние сборы Скоблиных в Озуар ла-Феррьер.
> Обыск у возвращенцев. – Евразиец Эфрон – агент ГПУ.
> Была ли Плевицкая под наблюдением 23 сентября?
> Гнусный документ большевиков[219].

Бóльшая часть материала, занимающего две газетные полосы, посвящена «возвращенцам» и, в частности, С. Я. Эфрону. Коротко осветив историю раскола евразийства, автор проводит знак равенства между его «левым» крылом и Союзом друзей Советской родины, «одним из руководителей» которого считает Эфрона. Не забыв подчеркнуть, что Эфрон «по происхождению еврей», газета обзывает его «злобным заморышем»: «Всю свою жизнь Эфрон отличался врожденным отсутствием чувства морали. Он – говорит наш информатор – отвратительное, темное насекомое, темный делец, способный на всё...» Эфрона справедливо обвиняют в вербовке «опустившихся от нужды русских людей в интернациональную бригаду ... в Испанию, откуда, мол, они смогут вернуться в СССР»; в том, что он вовлек в советскую агентуру целый ряд эмигрантов... Возмущение эмигрантской общественности – и левой, и правой – страшной деятельностью

«возвращенцев» понятно, неприятен тон и антисемитские намеки «Возрождения». Особенно непристойно, на мой взгляд, выглядит интервью бывшего левого евразийца П. П. Сувчинского, которое он дал сотруднику газеты. Именно Сувчинский вместе с князем Д. Святополк-Мирским больше десяти лет назад ввел Сергея Яковлевича в евразийство, в редколлегию журнала «Версты», открыл перед ним новые «пути» и «горизонты». Теперь Сувчинский (выгораживая себя? – *В. Ш.*) открещивается от Святополк-Мирского, который вернулся в Россию и уже отправлен там в ссылку, и от Эфрона. Газета сообщает: «П. П. Сувчинский невысокого мнения о талантах Эфрона... Евразийцы будто бы называли Эфрона „верблюдом“, смеялись над тем, что в нем „сочетается глупость с патетизмом“». Не только деятельность Эфрона как советского агента, но сам его человеческий облик подвергался уничтожению. С какими чувствами читала Цветаева газеты тех дней? «Возрождение» не забыло упомянуть и о ней: «Как известно, он женат на поэтессе Марине Цветаевой. Последняя происходит из московской профессорской семьи, была правых убеждений и даже собиралась написать поэму о царской семье. Ныне, по-видимому, ее убеждения изменились, так как она об откровенном большевизме своего мужа знала прекрасно»...[220] Впрочем, мнением Сувчинского и газетными статьями она могла пренебречь.

Невозможно вообразить, что творилось в ее душе, что думала и чувствовала Цветаева, оставаясь одна. Ее и Мура дважды возили во французскую полицию для допроса. Там Цветаева вела себя так нелепо с общепринятой точки зрения: была настолько удивлена и потрясена тем, о чем ее спрашивали, начала читать свои французские переводы, – что не оставила сомнений в полной непричастности к делам мужа. Ее отпустили, освободив от подозрений. Известно, что она сказала об Эфроне: «Его доверие могло быть обмануто, мое к нему остается неизменным». Позже она повторила эти слова разным людям.

Напомню: С. Я. Эфрон «спешно уехал» (по словам Цветаевой) 10 октября. Обыск на квартире Цветаевой и допрос состоялись 22 октября – одновременно с обыском у «возвращенцев».

Пролистаем письма Лебедевых за октябрь—декабрь 1937 года. Они написаны в разгар событий и из рук ближайших свидетелей введут нас в самую суть происходящего.

Ирина: *Dimanche, 24 <октября>.*

...Бедная Мар. Ив. совсем измучилась, она ведь о делах Сер. Як. ничего и не знала. Мур совсем не «impressionné»[221]*. Для него это вроде полицейского романа, которые он так любит. Воображаешь, в какой панике «Современные Записки» – хороша сотрудница!..*

Ирина отмечает совершенно детское отношение к событиям двенадцатилетнего Мура, еще не понимающего серьезности случившегося…

Ирина: *Paris 27 Octobre.*

Мар<ину> Ив<ановну> пока оставили в покое и больше не допрашивали. Сер<гей>Як<овлевич> оказывается: chaînon involontaire (*!*) *dans l'assassinat de Ig. Reiss* (невольное – буквально: *недобровольное* — звено в цепочке в убийстве Иг. Рейсса, *фр. – В. Ш*). *Так сказал Мар. Ив. инспектор, который ее допрашивал, хорош оказался симпатичный Сер. Як.! Союз Возв<ращения > весь разгромлен, их все бумаги отвезли в полицию, членов допрашивали, а кого и арестовали, в общем Сер. Як. и его компания постарались! <…> Мама пишет Тебе длинное письмо* (*еще не начинала, очень занята, т. к. Мар. Ив. от нас не выходит…*)

Привожу полностью ту часть этого действительно длинного письма Маргариты Николаевны, которая касается Цветаевой.

> 30 Октября 1937.
>
> <…> Дальше идут новости менее приятные: из посланных Тебе вырезок Ты знаешь, какие неприятности постигли нашу бедную Марину Ивановну. Все произошло приблизительно так, как было сообщено И. П. В. в «Пос<ледних> нов<остях>»[222]. Но конечно он не мог знать, какое на нее все эти события произвели впечатление. Она после допроса, продолжавшегося 12 час. (Мура тоже допрашивали), сразу пришла к нам в совершенно полумертвом состоянии. Ведь какая обида – она, так в многом не сочувствовавшая идеям своего мужа и абсолютно не представлявшая себе, что, кроме совершенно идейной и легальной деятельности в Союзе возвращения и его органе, он занимается еще какими-то делами, должна теперь расхлебывать заваренную ими кашу, в которой ни душой ни телом не виновата. За несколько дней до обыска у нее Сер. Як. сказал ей, что должен уехать (что может быть ему придется проехать и в Испанию), она не удивилась, т. к. ему случалось и раньше уезжать; а потом вдруг нагрянули с обыском. Все было перерыто. У нее взяли письма всех ее знакомых, и наши в том числе. На допросе говорили ей, что ее муж «бежал» – «est en fuite», а она с ними конечно спорила. Говорили, что он скрывается напрасно, т. к. он не был бы арестован и они его ни в чем не подозревают.
>
> Бедная Мар. Ив. превратилась прямо в тень. Я конечно ее всячески поддерживаю, она приходит к нам

часто. Первые дни у нее была какая-то паника, что все ее друзья от нее отвернутся, будут ее бояться и т. п., но теперь она уже значительно успокоилась; кроме нас с Прусиком к ней, конечно, также дружески отнесся Марк Львович [Слоним. – В. Ш.], Бунаков, Гучкова (жена умершего старика Гучкова) и другие их старые и правые друзья. Я думаю, ей не грозит никакая опасность, т. к. поистине ей нечего скрывать и нечего рассказывать. Наши же дружеские отношения с нею имеют 12-ти летнюю давность. Она сотрудница почти всей эмигрантской прессы и ее убеждения всем известны. С ее же мужем мы видались совсем редко, об его деятельности в союзе знали потому, что она была совершенно открытая. Во всяком случае мы все уверены, что ее оставят в покое и что нас тоже, ее знакомых, тревожить не будут.

Все эти истории конечно разворошили нашу эмиграцию до дна. Как всегда (не к чести ее) объявилась целая армия добровольных шпионов, доносчиков и осведомителей. Атмосфера пренеприятная. Ты нам на эту тему лучше ничего не пиши. А мы Тебе будем сообщать все интересное и посылать вырезки. Да надо надеяться, что все это утихнет.

Почему Лебедева просит мужа не писать о деле Эфрона? Боится перлюстрации его писем? В таком случае почему так подробно пишет ему сама?

Маргарита Николаевна: *8-ое Ноября 1937.*

…завтра к нам придет Марина Иван. с Муром (*она немножко теперь спокойней, и я всеми силами стараюсь ее поддерживать, развлекать и направлять*), *и Анна Илъиниш<на> Андреева с Саввой…*

Тем временем В. И. Лебедев осуществил свою мечту: в Чикаго начинала издаваться русская газета «Рассвет» под его редакцией. С помощью Маргариты Николаевны он организовывал круг сотрудников из близких писателей и журналистов в Париже. Обратился он и к Цветаевой. Очевидно, в такое время предложение печататься было для нее большой моральной поддержкой. Маргарита Николаевна (может быть, по просьбе Цветаевой) отвечает полуотказом: *«Марина Ив. обрадовалась Твоему успеху до слез, готова Тебе была бы дать сколько угодно материала и конечно о гонораре и не думает. Но сейчас по моему и Слонима* [мнению. – *В. Ш.*] *нужно немножко переждать, пока затянутся забвением последние события. Может быть из старых*

ее вещей и можно будет что-нибудь напечатать… (16 ноября 1937).

Через полтора месяца эта тема возвращается: *«Марина Ив. готова была бы писать, но мы с нею и Слонимом решили, что и ей и газете* [*! – В. Ш.*] *это будет неудобно. Подождем немного»* (31 декабря 1937).

В начале февраля тема участия Цветаевой в «Рассвете» закрыта окончательно. *«Марина Ивановна писать НЕ может, и ни в коем случае не перепечатывай ее старые вещи из „Воли России“,* — пишет Лебедеву Маргарита Николаевна. – *Дело не в том, что Ты не боишься ее печатать, а в том, что ей НЕУДОБНО печататься в ярко антибольшевистской газете. Ведь Аля в России»* (2 февраля 1938).

Интересная и неожиданная для меня подробность: можно было (может быть, даже – нужно?) бояться близости с Цветаевой – еще в октябрьском письме проскользнула надежда, что знакомых Цветаевой и Эфрона «тревожить не будут». Ирина же, скорее всего по молодости лет, называет вещи своими именами: «…она скоро уедет к Але, и печатание в такой ярко антибольшевистской газете как „Рассвет“ ей может дорого стоить».

«Переждать», чтобы утихли страсти вокруг убийств и похищений, организованных советскими агентами, если и было возможно, требовало долгого времени, ибо эмиграцию «разворошили» и волнения, споры, сведение счетов расходились кругами по всем ее направлениям. В частности, среди «оборонцев», к числу которых принадлежали Лебедевы и М. Л. Слоним, некоторые «обвиняют друг друга, что они служат у коммунистов, – пишет отцу Ирина и наивно добавляет: – На-днях должно выяснится всё точно…<…> Вся эта история – наследие нашего милого Сер<гея> Як<овлевича>!» (15 декабря 1937).

Цветаева была абсолютно сломлена: рухнуло здание, которое она строила и поддерживала четверть века, образовались провалы на месте прошлого и будущего. Но надо было продолжать жить.

Она и прежде – в спорах о возможном возвращении на родину – понимала, что остаться в Париже одной с Муром для нее практически невозможно; «одна я здесь с Муром пропаду», – писала Тесковой весной 1936-го, сообщая, что живет «под тучей – отъезда». Тогда она еще могла позволить себе мечтать: «Больше всего бы мне хотелось – к Вам в Чехию—навсегда… Мне бы хотелось берлогу – до конца дней». Строились несбыточные планы ее переезда в Прагу. «Мечтали мы все время, вот явится как-нибудь Марина, отведем ей комнату возле кухни (*кое-что уже для этого подготовляли*)…» (выделено мною. – *В. Ш.*) — писала

Тескова А. Л. Бему, узнав о гибели Цветаевой[223]. Теперь у Цветаевой не было выхода, путь был один – в Советский Союз. Оставаться во Франции представлялось бессмысленным: эмигрантское общество от нее отвернулось, остались лишь самые близкие; не было заработков – негде было печататься. Да и была ли она в состоянии писать?

В начале мая Ирина сообщала отцу, что Аля зовет мать в Москву и «пишет, что ее там ждут [интересно – кто? – *В. Ш.*], но М<арина> Ив<ановна> пока не сдается». В разгар газетной кампании против Эфрона Цветаевой, очевидно, пришлось «сдаться». «Мар<ине> Ив<ановне> нужно будет конечно уехать, поедет наверное к Але, которая зовет, но эта перспектива наводит на нее тоску...» – писала Ирина Лебедева отцу в конце октября.

Сама ли Цветаева приняла решение о возвращении? Звал ли их с Муром Сергей Яковлевич? Не знаю. Зато Аля расхваливала свою московскую жизнь и уговаривала мать приехать – Лебедевы постоянно пересказывают ее письма. Например: «От Али приходят письма очень бодрые. Она пишет, например, что день своего возвращения включила в число своих праздников...» (9 мая 1938). Временами они отмечают и отношение Цветаевой к таким уговорам: «От Али письма из Москвы, она очень довольна, работает, переводит, рисует книги и зовет Мар<ину> Ив<ановну>, которая это называет сов<етской> пропагандой...» (28 апреля <1938>). Скорее всего, советские «представители» – может быть, в категорической форме? – предложили ей вернуться: Цветаева была женой провалившегося агента, она могла быть (*она* — не могла быть! Но у НКВД – как у страха – глаза велики) потенциальным свидетелем и потому была нежелательна за границей. Советское постпредство ее «опекало». А. С. Головина слышала от самой Цветаевой незадолго до ее отъезда, что она получает небольшое пособие от советских и не должна сотрудничать в эмигрантских изданиях[224]. Приходилось жить по указке постпредства: переехать в Париж, восстанавливать советское гражданство, оформлять документы, получать визы; из советских рук переписываться с мужем... Мур оставил школу – отчасти это было связано с делом его отца и просоветскими высказываниями мальчика; он занимался с учителем.

Цветаева начала готовиться к отъезду. Самое важное было разобрать и привести в порядок свои бумаги. Она знала, что многое из рукописей, писем, книг невозможно взять с собой; надо было решить, что, где и кому оставить. Еще в 1932 году, когда над нею стала нависать «туча отъезда», Цветаева взялась за пересмотр и частичную переписку своего архива, но в какой-то

момент прервала эту громадную работу. Теперь она ее возобновила[225]. В марте 1938 года она писала Богенгардтам: «... сейчас усиленно разбираю свои архивы: переписку *за 16 лет,* — начинаю в 6½ утра, кончаю со светом, – и конца краю не видно. Хочу всё это – т. е. имеющее ценность – куда-нибудь *сдать* — слишком ненадежны времена и мне не уберечь. А все это – история. – Тяжелое это занятие: строка за строкой – жизнь *шестнадцати лет,* ибо проглядываю – всё (Жгу – тоже пудами!)». Помимо личной и семейной переписки, Цветаева просмотрела все свои рукописи, кое-что доработала, стихи, написанные после «После России», переписала в отдельную тетрадь; «Лебединый Стан» и «Перекоп» тоже. В старых тетрадях появились ее теперешние пометки: иногда она поправляла прежние стихи и делала к ним замечания. Она заново проживала свою жизнь. Работа растянулась на год. Одновременно Цветаева ликвидировала свое имущество: распродавала и раздаривала книги, мебель, утварь. В июле 1938 года они с Муром выехали из квартиры в Ванве, в которой прожили четыре года, конец лета провели на море в Dives-sur-Mer, осенью поселились в дешевом отеле Innova в Париже – «хозяйство» им было уже не нужно. Значительную часть своего архива Цветаева оставила Лебедевым; они жили в Париже, 18-bis, rue Denfert-Rochereau. В письме Богенгардту от 28 июня 1938 года она просит (Богенгардт был таксистом): «Можете ли доставить на обратном пути от меня на Denfert-Rochereau ящик (не огромный, но и не маленький) с моими рукописями?» Лебедевы бежали из города при вступлении немцев, архивы Цветаевой и В. И. Лебедева они оставили на хранение в подвале соседа-француза; после войны на их запрос тот ответил, что все бумаги пропали, когда подвал был затоплен водой. М. Л. Слоним писал, что часть цветаевского архива, в том числе Поэма о Царской Семье, с помощью друзей-эсеров была передана в Международный социалистический архив в Амстердаме – следы его до сих пор не обнаружены. Единственно надежным местом оказалась Швейцария. Небольшой пакет с рукописями и правленными корректурами Цветаева весной 1939 года передала профессору Базельского университета Елизавете Эдуардовне Малер. Теперь это хранится в отделе рукописей Базельского университета. «Я как кукушка рассовала свои детища по чужим гнездам», – с горечью констатировала Цветаева.

Погруженная в свои дела и хлопоты, о событиях в мире Цветаева узнавала по радио и еще больше от Мура – он постоянно и внимательно читал газеты. Неожиданно для себя она обнаружила, что в воздухе Европы тучей висит слово, которое всю жизнь любила: «Германия». Может быть, она пропустила бы это

мимо ушей, если бы его не начали произносить рядом с другим родным ей именем: Чехия. В мае 1938 года в связи с угрозой Германии в Чехословакии была объявлена частичная мобилизация.

Германия

Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край...

В этих юношеских стихах названо все самое родное в цветаевской Германии: немецкая поэзия, немецкая мудрость, немецкая природа – то, что составляет самый дух этой страны. Когда в разгар Первой мировой войны Цветаева прочла стихотворение «Германии» на литературном вечере в Петербурге, кто-то возразил: «Волшебный, премудрый – да, я бы только не сказал – благоуханный: благоуханны – Италия, Сицилия...» И Цветаева мгновенно бросилась на защиту: «А – липы? А – елки Шварцвальда? O Tannenbaum, o Tannenbaum! А целая область Harz, потому что Harz – смола. А слово Harz, в котором уже треск сосны под солнцем...» («Нездешний вечер»). Я уже говорила, какое большое место в жизни Цветаевой занимала Германия. Когда в середине тридцатых годов она пыталась объяснить в письме Юрию Иваску свое более чем прохладное отношение к Толстому и Достоевскому, ей пришлось обратиться к своим немецким истокам: «И – кажется последнее будет вернее всего – я в мире люблю не самое глубокое, а самое высокое, потому русского страдания мне дороже гётевская радость, и русского метания – *то* уединение...»

В 1925 году Цветаева опубликовала эссе «О Германии», составленное из дневниковых записей 1919 года: поверженная, растоптанная войной Германия оставалась для нее все той же страной высочайших духовных сил и возможностей, в которую в детстве ввела ее мать. По цветаевской логике, побежденная Германия нуждалась, требовала восторга и прославления. «Моя страсть, моя родина, колыбель моей души!» – начала она эссе – и в этом не было кокетства или эпатажа. Любовь к Германии, чувство духовного родства с ней с годами становились все более осознанными. Цветаева, в крови которой слилась кровь разных национальностей, не забывала, что ее дед Мейн – из остзейских немцев, что в ней, наряду с русской и польской, есть частица немецкой крови. Косвенным образом и это приобщало ее Германии, хотя безусловно решающим было родство по духу: «Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная моя река – Рейн». Так она чувствовала и декларировала, но мне это кажется преувеличением. Главная душа Цветаевой была русская – хотя бы потому, что она думала и писала по-русски и с русским языком была связана

нерасторжимыми иррациональными узами – вопреки брошенному с вызовом в «Новогоднем»: «...пусть русского родней немецкий / Мне...» Этот вызов тут же приглушается, едва ли не отменяется следующим, более тихим: «...всех ангельский родней!» Ангельский – язык души – душ – духа. В Цветаевой жили несколько душ, древняя Эллада соседствовала с древнегерманским эпосом, Орфей, Сивилла и Амазонки с Зигфридом и Брунгильдой; тем не менее русская была первой – врожденной. Германская – вторая, впитанная с душой матери. Дело не сводится к тому, что в раннем детстве ее учили немецкому языку, пели песенки и рассказывали сказки по-немецки – это могло оказаться блестящим, но чисто формальным знанием языка. Мария Александровна со всей присущей ей страстностью из души в душу переливала дочери свою любовь к Германии, «всю Германию», как впоследствии сама Цветаева «всю Русь» «вкачивала» в своих детей.

В статье «Несколько писем Райнера Мария Рильке» Цветаева писала о невозможности понять, вскрыть сущность явления (любого: поэта, народа, вещи) со стороны: «Сущность вскрывается только сущностью, изнутри – внутрь, – не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть в себя и – тем – проникнуть в нее». Так «взаимопроникла» она в Германию, поняла и приняла ее изнутри ее самой, начав с незатейливых песенок и сказок, с детских дружб и неприязней и дойдя до самых вершин ее духа. Германия – важнейшая часть наследства, оставленного ей матерью. Как явление мировой истории и культуры она стала неотъемлемой частью сознания Цветаевой, в ее пределах она чувствовала себя так же свободно, как в русских. Это давало ей право и возможность судить о «сущности» Германии: национальном характере и устоявшемся быте немцев – для нее это было свое. Цветаева считала немецкий язык и культуру наиболее близкими не только себе лично, но и русскому языку, культуре, русскому духу в целом. Вслед за Мандельштамом она находила общие корни России и Германии. Размышляя о «германстве» Волошина, она пришла к важному рассуждению о соотношении и отношении России к европейским странам, противопоставляя глубочайшую близость с Германией – внешней и поверхностной «влюбленности» во Францию: «Наше родство, наша родня – наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы – если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, – никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: „в XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX-го Германию“, дело не в истории, а в до-

истории, не в моментах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором русский поэт Осип Мандельштам, в самый разгар войны:

А я пою вино времен —
Источник речи италийской
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен.

Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза». Больше того – для Цветаевой не только союза, но и настоящего братства. Об обоих народах Цветаева судила не по ходячим анекдотам, а по наивысшим проявлениям – как и вообще судила людей, человеческие отношения, произведения искусства. Без сомнения, ей доводилось ошибаться, но такова была устремленность ее духа. Полемизируя с распространенным утверждением о мещанстве немцев, она выдвигала свою теорию о соотношении земного и небесного в них как в нации: «Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело на высоты духа. Им здесь ничего не нужно. Отсюда покорность. Ограничение себя *здесь* для безмерного владычества *там...»* («О Германии»). Справедливо или нет – Цветаева думала и чувствовала именно так, с таким представлением о Германии не могла и не хотела расстаться.

Особым образом она ощущала свою близость с немецкой литературой – от эпических сказаний до новейшей поэзии. Пронзенность русской народной стихией, Державиным, Пушкиным, Пастернаком – всей русской поэзией – сплеталась с такой же «взаимопроникнутостью» народной стихией Германии: Нибелунгами, балладами, сказками... Гёте, Гёльдерлин, Гейне, Рильке были ей родными. Первые двое, наравне с Пушкиным, служили эталоном высоты и величия поэзии. Гёльдерлин и Рильке воплощали «германского Орфея». Мироощущение и мироотношение Цветаевой корнями глубоко уходят в то новое, что дал миру немецкий романтизм – то ли он больше всего соответствовал складу ее характера, то ли больше всего через мать повлиял на его формирование. Высказывания Цветаевой о Германии, немцах, сведенные воедино и соотнесенные с «Крысоловом» и эссе «Два Лесных Царя», представляют систему взглядов и показывают, как значительно место Германии в

духовном мире Цветаевой. Моя задача – намекнуть на это, чтобы читатель мог почувствовать, каким ударом явились для Цветаевой первые раскаты надвигавшейся войны.

Теперь она боялась войны панически – в отличие от 1914 года, когда начало войны едва коснулось ее сознания. Весной 1934 она писала Тесковой: «В *ужасе* от будущей войны (говорят – неминуемой: Россия – Япония), лучше умереть». Ее страх усугублялся тем, что у нее подрастал сын: катастрофа в виде войны или революции грозила ему непосредственно. Слоним пишет, что у Цветаевой отсутствовало чувство истории, «движения событий она не понимала». Он прав, Цветаеву вела иная динамика, вне движения современности. Именно поэтому мюнхенские события 1938 года оказались для нее таким потрясением: она пропустила мимо сознания все, что происходило в Германии и Европе за последние годы. Я не говорю о радио, которое она слушала, о разговорах вокруг, которых не могла не слышать, о докладе Слонима «Гитлер и Сталин», на котором присутствовала... Летом 1937 года на Всемирной выставке в Париже она воочию убедилась, что с Германией происходит что-то неладное. Описывая свои впечатления Тесковой, она сравнивала советский и немецкий павильоны: «Была на выставке. Эти фигуры – работа женская[226]. Сов<етский> павильон похож на эти фигуры: *есть* — эти фигуры. А немецкий павильон есть крематорий плюс Wertheim [имя собственное, ставшее синонимом слова «универмаг». – *В. Ш.*]. Первый *жизнь,* второй *смерть,* причем не моя жизнь и не моя смерть, но все же – *жизнь* и *смерть.* ...(А, догадалась! Первый – жизнь, второй – мертвечина: мертвецкая.) Павильон не германский, а прусский...» Рассуждение о советском павильоне наивно: Цветаева знала, насколько советский «фасад» не соответствует сущности («а в тарелках – что́? а в головах – что́?»), но не увязывала понимание с реальным фактом. Что касается немецкого павильона, то ее замечание «не германский, а прусский» показательно: ей хотелось сохранить высокое представление о германском духе, противопоставить его гитлеровскому. Она готова была игнорировать реальность, пока та не вторглась прямо в ее жизнь.

Через день после объявления мобилизации в Чехии Цветаева написала Тесковой: «Думаю о Вас непрерывно – и тоскую, и болею, и негодую – и *надеюсь* — с Вами.

Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны – тела». С этого момента Цветаева напряженно следит за всем, что происходит с Чехословакией, впервые, по ее признанию,

читает все газеты, не пропускает кинофильмов и радиопередач о ней. Маленькая независимая Чехия стала для нее «свободным духом», а Германия обернулась грозным телом, нависшим над Европой. В неоконченном стихотворении «Родина радия» она со всей резкостью определила нравственное положение Германии – сапог, играющий роль слепого «бича века»:

Можно ль, чтоб века
Бич слепоóк
Родину света
Взял под сапог?

Вне зависимости от политики она принимала сторону слабого и гонимого. Драматизм ситуации для нее лично заключался в том, что конфликт касался стран, с которыми она была духовно связана: «колыбель ее души» всей своей мощью намеревалась и вскоре придавила родину и колыбель ее сына – независимую Чехию, с которой она сроднилась за тринадцать лет разлуки, тоски, переписки с Тесковой...

Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 года, позволившее разделить Чехословакию, отторгнуть у нее Судетскую область, потрясло Цветаеву – она восприняла его как акт предательства: цивилизованная Европа пыталась откупиться от Гитлера беззащитной Чехией. Из потрясения и негодования начали выкристаллизовываться стихи; Цветаева признавалась, что сопротивлялась, пыталась уйти в хозяйственные заботы, но *«Чехия* этого захотела... *она* меня выбрала» – Цветаева вновь погрузилась в поток поэзии. На третий день Мюнхенского соглашения, утешая Тескову, она обещала: «Бесконечно люблю Чехию и бесконечно ей благодарна, но не хочу *плакать* над ней (над здоровым не плачут, а она, среди стран – единственная здоровая, больны – те!), итак, не хочу плакать над ней, а хочу ее *петь».* На много месяцев, преодолев или отринув психологические и бытовые трудности подготовки к отъезду, Цветаева ушла в работу. Это был ее последний стихотворный цикл – «Стихи к Чехии», два цикла – «Сентябрь» и «Март», написанные на разных этапах трагических событий в Европе и объединенные в один. Второй раз в жизни Цветаева обратилась к «гражданской» лирике; по силе страсти и поэтическому мастерству «Стихи к Чехии» не уступают созданному почти два десятилетия назад «Лебединому Стану».

Как всегда в такой большой работе, Цветаева тщательно собирает материалы, вникает в сущность чешской истории, культуры, фольклора, сохраняет важные для себя вырезки из газет, связанные с трагедией Чехословакии. Ее переписка с

Тесковой интенсивнее, чем когда-либо: она просит у своего чешского друга книг, фотографий, бытовых, исторических, географических подробностей. Тескова не просто ищет для Цветаевой нужные ей «материалы», но делится с нею своими чувствами по поводу происходящего: она чувствует особенную близость с Цветаевой, так лично и искренне переживающей горе чешского народа. В отличие, кстати, от многих «чешских» русских, переставших поддерживать с ней отношения.

> «11.X.38
> Дорогая Марина,
> что могу написать? Связали народ по рукам и ногам, плевали на него, били, – тысячелетнюю границу его земли отрезали, искалечили то, что было родиной чешского народа за тысячу лет… Трудно понять… А привыкнуть? – едва ли. <…> Умеете представить себе чувства солдат, стоявших на границах родины (с единым девизом в душе: «защитить родину или отдать жизнь!») когда собственное начальство должно было отнять у них оружье (иначе не оставили бы своего места)… <…> Ваше сочувствие и сочувствие всех, кто не утратили чувство правды и справедливости, – дает возможность дышать, не задохнуться в атмосфере подлости и лжи. Спасибо! <…>
> Целую Вас. Спасибо, спасибо! А то трудно без веры в человека! – Пойте! и пишите. Ваша *A. Tesková».*

Цветаева начинает «петь» Чехию. Над «Сентябрем» она работает в октябре-ноябре 1938-го («лучшие строки», как отмечает Цветаева в рукописи, родились еще в сентябре); над «Мартом» – в марте—мае 1939 года. Они вызваны к жизни историческими событиями одного плана, но не совсем однозначными. В сентябре 1938-го можно было еще надеяться, что Гитлер ограничится захватом Судетской области и Чехословакия сохранится как самостоятельное государство. Очевидно, так думала и Цветаева. В первых трех стихотворениях «Сентября» нет упоминания о немцах и Германии. Цветаева воспевает природу Чехии и ее народ, его умение пользоваться свободой, трудолюбие, дружелюбие. Только теперь, оборачиваясь назад, она поняла, как много значила для нее эта страна, приютившая ее в изгнании, давшая хлеб всем – «кто без страны!», ставшая родиной ее сыну. То чувство, которое на протяжении всех парижских лет заставляло ее мечтать о Праге, воплотилось в «Стихах к Чехии».

В селях – счастье ткалось
Красным, синим, пестрым.
Что́ с тобою сталось,
Чешский лев двухвостый?

Лисы побороли
Леса воеводу!
Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы!

Лисы — те, кто позволил разделить Чехословакию, предал и продал ее, надругался над ее суверенитетом. Цветаева не теряла надежды, стремилась поддержать своих чешских друзей и пророчествовала:

Лишь на час – не боле —
Вся твоя невзгода!
Через ночь неволи —
Белый день свободы!

Первые стихи «Сентября» она успела послать Тесковой и получила слова признательности «за понимание, за горячее чувство, за благородство, за силу и красоту горного ручья – Ваших стихов к Чехии».

Цветаева сберегла и привезла в Москву письма Тесковой этих месяцев; они дают представление, как существенна для поэта была ее помощь в конкретизации темы чешской трагедии. «Один офицер» и «Взяли...» посвящены защите чехами – если не своей страны, то своей чести: их предваряют эпиграфы из газет, подчеркивающие достоверность фактов; оба чрезвычайно драматичны, ибо вызваны запрещением для чешских солдат стрелять в оккупирующую их немецкую армию. Цветаева воплощает боль, горечь и гордость, которые ощутила в письме Тесковой от 11 октября. В первом, где воспроизведен эпизод, когда чешский офицер вышел один навстречу немецким войскам и открыл по ним огонь, у Цветаевой появляются слова «немец» и «герр» – хочу подчеркнуть, что оно было начато в октябре 1938-го, но дописано уже в 1939-м, в период работы над «Мартом».

...Понесена
Добрая весть,
Что – спасена
Чешская честь!

Значит – страна
Так не сдана,
Значит – война
Всё же – *была!* —

это утешение в той боли и горечи, которые переживала не только Тескова, но и весь народ, лишенный возможности воевать за свою страну: «война … *была!*».

Март 1939 года разбил все надежды: 14 марта немецкая армия начала оккупацию Чехословакии, 15-го была уже в Праге. Это событие заставило Цветаеву вернуться к стихам. Ей пришлось избавиться от иллюзий и посмотреть правде в глаза: возлюбленные германцы в настоящий час истории обернулись варварами – татарами и гуннами.

Пред горестью безмерною
Сей *маленькой* страны,
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны??

Читая и перечитывая цикл «Март», чувствуешь музыкальную основу построения: начинаясь на тихих и ровных нотах – «Колыбельная», – он крещендо доходит до крика – «Германии», – на котором как бы обрывается и снова со спокойного тона «Марта» («Атлас – что колода карт…») постепенно усиливается до вопля «О, слезы на глазах!..». Завершается цикл апофеозом – гимном чешскому народу в двух последних стихотворениях. Это ключевые стихи цикла – взрыв скорби, страсти, протеста.

О, слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!

О, черная гора,
Затмившая – весь свет!..

В стихах Цветаевой нет ненависти. Скорбя о Чехии, всем сердцем ей сочувствуя, клеймя презрением виновников ее унижения, она и Германию не ненавидит, а скорбит о ней – заблудшей, предавшей и покрывшей позором самое себя.

Начальные строки стихов «Германии», трижды повторенное слово – Германия – звучат признанием в любви:

О, дева всех румянее
Среди зеленых гор —
Германия!
Германия!
Германия!

и резко обрывается:

Позор!

Позор – но не ненависть. Скорее недоумение и – может быть? – попытка вразумить, остановить.

О, мания! О, мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

Но разве поэтам суждено останавливать войны? Только в одном четверостишии Цветаева как бы отрекается от того, что прежде было для нее дорого. Если в стихах «Германии» («Ты миру отдана на травлю...», 1914) она провозглашала:

От песенок твоих в восторге —
Не слышу лейтенантских шпор... —

то нынче не шпоры, а танки заглушают звуки сказок и песенок, а надмирная душа Германии опустилась до грабительской войны:

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь – сказками туманила,
Днесь – танками пошла.

Цветаева признавалась Тесковой: «Я думаю, Чехия – мое первое такое горе». Особенность его мне видится в том, что оно относилось в одинаковой степени и к раздавленной Чехословакии, и к раздавившей ее Германии. В глубине сознания и души Цветаева не могла отождествлять Германию с Гитлером и фашизмом. Для нее Гитлер был крахом Германии – «мертвецкая». Крах Германии, крах Чехии, крах Европы, пасующей перед Гитлером, – в духовном смысле это был крах самой Цветаевой. Судьба еще раз наглядно продемонстрировала ей несовместимость с современным миром всего, чем она жила. С Германией рухнуло последнее прибежище ее души. Больше нечем было дышать – она жила по инерции, привязанная к жизни своим непомерным чувством долга. В тисках, сжимавших ее все туже и туже, поэзия оставалась последней возможностью вздоха и крика – и Цветаева прокричала одно из самых трагичных в своей прямоте и безыскусности стихотворений, заявляя Богу, что выходит из игры, называемой жизнью, отказывается от обязанности быть человеком:

О, черная гора,
Затмившая – весь свет!
Пора – пора – пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь – выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз – по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

Эти стихи закончены ровно за месяц до отъезда Цветаевой из Парижа. После них было уже все равно – где нежить.

* * *

Цветаева давно сидела на чемоданах, отъезд был делом решенным и не подлежал пересмотру. О том, что творилось в ее душе и сознании, мы можем лишь догадываться. Нашелся ли хоть один человек, который отговаривал бы ее от возвращения? Вероятно, всерьез – нет. Самые близкие понимали безвыходность ее положения, большинство ее судьбой не интересовались, некоторые злорадствовали: туда ей и дорога. Просоветски настроенные – сочувствовали. С. Н. Андроникова рассказывала мне, что, получив письмо Цветаевой об отъезде в Россию, приехала из Лондона, чтобы проститься. Они сидели в кафе напротив Палаты депутатов. Я спросила Саломею Николаевну: «А Вы не отговаривали Цветаеву от поездки?» – «Почему? – возразила она. – Я считала, что это правильно, ведь Россия – наша родина». Мне показалось, она так и не поняла, что Цветаева возвращалась не в Россию, а в Советский Союз. Но стоило ли переубеждать ее? Да и можно ли было отговорить Цветаеву? Она трезвее всех понимала, на что идет, знала о своей несовместимости с большевиками: «мерзость, которой *я нигде* не подчиняюсь, как вообще никакому организованному насилию», как писала она Ю. Иваску несколько лет назад.

Однажды, еще в 1936 году, Цветаева изложила Тесковой свои соображения за и против возвращения. «За» отъезд из Парижа оказалось не слишком много – но серьезные: стремление всей ее семьи в Советский Союз, невозможность одной с Муром прожить в Париже, отсутствие, как ей казалось, будущего для Мура: «у Мура здесь никаких перспектив». «За» Москву были совсем шаткие: «сестра Ася, которая меня любит...» и «все-таки – круг настоящих писателей, не обломков. (Меня здешние писатели не любят, не считают своей)». Она не догадывалась, что уже не застанет Асю в Москве – та будет арестована – и никогда ее не увидит, не могла знать, что никаких «кругов» в Москве давно нет, каждый старается поглубже, понезаметнее забиться в свою норку. Но не понимать шаткости и ненадежности той жизни и человеческих отношений Цветаева не могла. Красноречиво ее письмо к В. И. Лебедеву, где она рассказывает об Але – в Москве: «От Али постоянные письма... Жизнью очень довольна, хотя были уже маленькие разочарования, о которых – устно, но которые она первая же приветствует, ибо „никогда нельзя проявить достаточно бдительности“ (по-моему – *доверия*). Круга людей, среди которого она живет, – я не вижу: пишет только о родных и не называет ни одного нового имени, а *зная ее* — сомневаюсь, чтобы их *не было. В общем* — довольна, а наладится служба (пока была только эпизодическая работа) – вживется (и сживется) и совсем (*со всем*)»[227]. Цветаева понимает, что дочь о многом умалчивает, и

горько иронизирует над ее стремлением приспособиться и оправдать то, что невозможно, что недостойно оправдания. В себе она таких качеств не находила, была убеждена, что не сможет прижиться в новой жизни, но, как написала Тесковой за пять дней до отъезда, «выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась».

Она чувствовала, знала, что Сергей Яковлевич в беде; его жизнь «в деревне», «в полном одиночестве, как на островке», не воспринимала как рай, возможно, даже понимала, что это полуопала, полудомашний арест, во всяком случае – беда ходит рядом с ним. Но она жила уже в полном отречении от себя, с двумя болевыми точками: сын, муж. А. А. Тескова, понимавшая Цветаеву, как мало кто другой, после ее смерти писала: «Не будь Мура, в Россию бы не поехала»[228]. Сын и муж – она должна была быть с ними, пока была им нужна, пока могла поддержать хотя бы простым присутствием. «Вот и поеду – как собака...» Однажды, за год до отъезда, у нее почти невольно – в скобках – вырвался крик: «О Боже, Боже, Боже! что́ я делаю?!» И Ариадна Берг смело откликнулась: «...а что, если бы Вы *не* уехали? Я так глубоко чувствую *ненужность* Вашей жертвы...» Думала ли Цветаева о жертве? Считала ли ее ненужной? В любом случае ее долг вел ее за мужем.

В сентябре 1938 года Цветаева с сыном поселились в Париже в отеле Innova, около метро Pasteur. Она жила теперь под фамилией Эфрон; Ариадну Берг просила: «Пишите мне Efron ... – здесь Zvétaieff не знают». Цветаева уезжала в течение многих месяцев: отъезд откладывался каждый раз на неопределенное время, и неизвестно было, уедут ли они через полгода или через два дня: «не жизнь, а бесконечная *оттяжка* <...> без права на завтра». Это походило на своего рода пытку, но как ни тяжела она была, Цветаева продолжала жить со свойственным ей упорством: приводила в порядок рукописи, занималась бытом – теперь совсем примитивным, покупала подарки москвичам, паковала багаж. Она много читала, ходила в кино, которое очень любила. Мур был без дела и маялся; он читал газеты, следил за политическими событиями, очень много рисовал, ездил по материнским поручениям. М. Л. Слоним вспоминает, как Цветаева с сыном пришли проститься с ним. Они говорили о Праге, о судьбе бумаг Цветаевой, она прочла приведшую Слонима в восторг последнюю поэму «Автобус»; «Мур слушал со скучающим видом». В разговоре Цветаева заметила, что неизвестно, что ее ждет в Москве и разрешат ли ей печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично». М. И., не обращая внимания

на сына, повторила свою давнишнюю фразу: «Писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, т. е. дышать». Да, Мур был в числе обольщенных, но нужно ли удивляться – ему было всего 14 лет, и он вырос под сильнейшим влиянием отца. Он, к счастью, не мог видеть будущего так же беспощадно, как мать. Но вправе ли мы судить о его чувствах и настроениях? Открывался ли кому-нибудь из тех, кто оставил воспоминания о Цветаевой, этот необычный и странно-взрослый мальчик? Вряд ли... Но вот в письме Ирины Лебедевой к отцу промелькнула фраза: «Даже Мур без восторга едет и предпочел бы уехать в Америку...» Можем ли мы представить себе, как нелегко ему было жить все эти месяцы рядом с «мрачной и печальной» матерью, когда ей (а значит, и ему) «строго запретили» даже говорить об отъезде «до самого последнего момента! Как будто она совершила какое-то преступление!» – комментирует Ирина (из письма от 7 апреля 1939). Большинство окружающих относилось к Муру неприязненно, считалось, что он высокомерен и груб с матерью, но может быть, Цветаевой было виднее? «Мне хорошо в его большой тени», – писала она, цитируя чужие стихи. Сын был сейчас ее единственной опорой.

Цветаева прощалась со всем, что оставляла, – навсегда. С живыми – как и с мертвыми. Сохранились ее прощальные письма к А. А. Тесковой, А. И. Андреевой, Ариадне Берг, Н. Н. Тукалевской. Вероятно, были и еще люди, с которыми она простилась. Она была на панихиде своего старого друга князя С. М. Волконского. Нина Берберова вспоминает, что Цветаева стояла одна на паперти и поток присутствовавших «обтекал» ее. Она простилась с могилой Эфронов; понимая, что если не теперь, то уже никогда, установила памятник Елизавете Петровне, Якову Константиновичу и Косте на Монмартрском кладбище. Даже на надписи ей приходилось экономить. Денег, как всегда, было в обрез. Она просит Н. Н. Тукалевскую: «Если Вы мне что-нибудь хотите в дорогу – умоляю *кофе:* везти можно много, а у меня – только начатый пакетик, а денег нет совсем. И если бы можно – одну денную рубашку, самую простую... на мне – *лохмотья».*

Цветаева буквально сидит на упакованных вещах и ждет сигнала в дорогу. От нее ничего не зависит. Руководит отъездом кто-то посторонний, очевидно, – из советского постпредства. Ее дело – ждать: «Вчера *целый* день сидели, ожидая телеф<она>, и к вечеру оказалось, что не едем. Нынче будет то же – возможно – уедем, возможно – нет. ...Если *не* уедем – Мур завтра утром зайдет. Если *не* зайдет – уехали». И – последнее письмо Н. Н. Тукалевской:

«11-го /12-го июня 1939 г.
12 ч. ночи – воскресенье —
Дорогая Надежда Николаевна,
Когда мы с Муром в 11 ч. вернулись – ничего под дверью не было: мы оба – привычным жестом – посмотрели, а когда мы оба – минуту спустя – оглянулись – письмо лежало, и его за минуту – не было. И шага за дверью – не было».

С поправкой – все-таки! – на Париж, это похоже на репетицию тюремного этапа: «Цветаева, с вещами!» Так 11 июня ночью она узнала, что они едут – утром.

Их никто не провожал: «Не позволили, но мои близкие друзья знают и *внутренно* провожают». А может быть, и вся неопределенность отъезда была срежиссирована для того, чтобы провожающих не было. Щемяще-сиротливо звучит описание последних минут в гостинице Иннова: «На прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки...)» Цветаева писала уже в поезде, увозившем их в Гавр на пароход – в Советский Союз – на родину. Писала Тесковой – одному из вернейших своих здешних друзей. Это было последнее «прости» прожитой жизни:

«До свидания!
Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба».

Глава шестая
Возвращение домой

Можно ли вернуться
В дом, который – срыт?
. . . . . .
Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России – нету.
– Как и той меня.

Годами неотвязно думая о возможности – неизбежности? – возвращения, Цветаева как бы предупреждала себя: «Прежде чем пускаться в плаванье, то есть: распродав и раздав весь свой скарб, сказать „прости“ всему и вся – взвесь хорошенько, стоит ли того страна, куда ты собираешься, да и можно ли считать это страной»[229]. Теперь судьба распорядилась сама:

В один *ненастный день, в тоске нечеловечьей,*
Не вынеся тягот, под *скрежет* якорей,
Мы всходим на корабль...[230]

Чувства Цветаевой, покидающей Францию, открываются в этих строках из ее перевода Шарля Бодлера, сделанного в 1940 году («мой лучший перевод», – считала она). Переводя «Плаванье», Цветаева заново переживает день 12 июня 1939-го и – вероятно, подсознательно – проецирует стихи Бодлера на собственное предотъездное состояние. Прежде всего она уточняет название – «Плаванье», а не «Путешествие» («Le Voyage»)[231], как озаглавил свое стихотворение Бодлер, хотя речь идет о морском путешествии. Но еще более существенно: у Бодлера нет ни одного из выделенных мною словосочетаний, первые две строки буквально читаются так:

Однажды утром мы отправляемся, мозг полон пламенем,
Сердце огромно от затаенной злобы (злопамятности) и желаний
зла...

Нечеловеческая тоска, тяготы, с которыми невозможно жить и от которых все равно нельзя избавиться, заставляют Цветаеву бежать из Франции. «Мы всходим на корабль» – и любой день покажется ненастным, и любой звук – скрежетом. В отличие от лирического героя Бодлера, чьи чувства – злоба, желание зла – обращены вовне, к человечеству, чувства лирической героини Цветаевой направлены внутрь ее собственной души. Она отказывается от гигантского образа пламени, сжигающего человечество злобой и жаждущего зла, и переводит его на собственные «тяготы» и «нечеловечью тоску». Вероятно, это субъективно, но в этой строфе бодлеровское «nous», точно переведенное Цветаевой как «мы», для меня определенно значит «я». Она не исказила Бодлера, но прибавила к его страстной боли еще и свою.

Некоторые страницы дорожной записной книжки Цветаевой приоткрывают ее наблюдения и мысли по дороге на родину. Вот поразившее ее красотой и таинственностью небо: «Вчера, 15-го, див<ный> закат, с огромной тучей – горой. Пена волн была малиновая, а на небе, в зеленов<атом> озере, стояли золотые письмена, я долго стар<алась> разобрать – что написано? Потому что – было написано – *мне...*» Неужели она не вспомнила это, когда в четвертом стихотворении «Плаванья» переводила слова об облаках («таинственная привлекательность <соблазн?> облаков»), превращающихся в роскошные города и самые знаменитые пейзажи? Ничто не может сравниться «с градом – тем, / Что из небесных туч возводит Случай-Гений...». Что пытался сказать ей Случай-Гений? Предупредить? Утешить?

«Как только я ступила на трап парохода, я поняла, что все кончено...» —призналась Цветаева Вере Звягинцевой в первые дни войны[232]. Единственные стихи в записной книжке, возникшие где-нибудь на палубе или в каюте, – о том же:

Пароход – думал?
Переход – душ.

И – отклик в переводе «Плаванья»: «Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо...» В этой строке Цветаева заменила бодлеровскую «Икарию», связанную с утопическими общинами и мало кому известную, на сказочное Эльдорадо, для русского человека – синоним рая. Ощущением «перехода душ» ее перевод пронизан еще в большей мере, чем сами стихи Бодлера.

На какое-то мгновение у нее возникает ассоциация с Наполеоном, плывущем в ссылку и навстречу смерти – на остров Святой Елены: «Ходила по мосту[233], потом стояла и – пусть

смешно! *не* смешно – *физически* ощутила Н<аполеона>, едущего на Св<ятую> Елену. Ведь – тот же мост: доски. Но тогда были – паруса, и страшнее было ехать...» Цветаева честна с собой: ей страшно, но Наполеону было *еще страшнее.* Возможно, поднимаясь по трапу, она не только *поняла,* что все кончено, – она почувствовала дыхание смерти, с которым ей пришлось жить дальше. Но прожив больше года в Советской России, Цветаева сам *страх* смерти преодолела. Она вложила свои чувства в бодлеровские строки, переведенные ею с поразительной точностью: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило! /...О, Смерть, скорее в путь!..» Цветаева «взошла на корабль» в Гавре 12 июня 1939 года и «пустилась в плаванье» на советском грузопассажирском судне «Мария Ульянова», имевшем недобрую славу среди русской эмиграции: были серьезные подозрения, что на нем увезли похищенного генерала Миллера; и не на нем ли исчезли участники убийства И. Рейсса? Сейчас он вез испанцев, бежавших от генерала Франко. Дорожная записная книжка свидетельствует, как остро продолжает Цветаева чувствовать, наблюдать; как может отрешиться от безвыходной ситуации и думать о высоком; как мужественно держится и справляется с нелегким путешествием; как не теряет чувства юмора... Мур «блаженствует»: среди испанцев, которые отлично говорят по-французски, у него появились приятели; испанцы днями и ночами поют и танцуют и он проводит время с ними, лишь изредка забегая в каюту. Цветаева дает сыну свободу: «не хочу... мешать и – не знаю, мне лучше одной». В ней живо чувство, с которым она прежде думала о Советском Союзе: там она наверняка потеряет Мура. Теперь, видя его погруженным в чуждую ей жизнь, можно поставить точку: «Хорошо, что уже сейчас, что *сразу* показал... мое будущее».

Из Гавра Цветаева отправила несколько прощальных открыток и письмо к А. А. Тесковой; на пристани простилась с «последней пядью французской земли». Кончился огромный период жизни, впереди ждала неизвестность; в глубине сознания – предчувствие гибели... Среди веселящихся, ликующих испанцев одиночество ощущалось особенно остро: «Всё время думаю о М<аргарите> Н<иколаевне> [Лебедевой. – *В. Ш.*], только о ней, как хотелось бы ее – сюда, ее покой и доброжелательство и всепонимание. Еду совершенно одна. Со своей душою». Ей еще предстояло узнать об аресте сестры.

18 июня 1939 года «Мария Ульянова» пришвартовалась в Ленинграде. Прибывший с Цветаевой немалый – 13 мест – багаж должен был пройти таможенный досмотр. Он подробно описан в записной книжке: «Таможня была бесконечная. Вытряс<ли> до

дна *весь* багаж, перетрагив<ая> каждую мелочь, уложенную как пробка штопором… Мурины рисунки имели большой успех. Отбирали не спросясь, без церемоний и пояснений. (Хорошо, что так не нравятся – рукописи!) Про рук<описи> не спросили – ничего…» Цветаева пишет уже в поезде Ленинград – Москва. В Ленинграде для приехавших организовали экскурсию по городу, Мур поехал вместе с испанцами; Цветаева осталась в вагоне с вещами.

19 июня – после семнадцати лет эмиграции – Цветаева вновь оказалась в родной Москве. Можно ли было считать «той страной» место, куда она вернулась?

Если раскроешь газету «Известия» за воскресенье 18 июня 1939 года – вряд ли Цветаева сделала это в день приезда – убедишься: да, страна существовала, кипела событиями. Заголовки первой полосы сообщали: «Дадим стране высококачественный кокс!», «Вручение орденов и медалей Союза ССР», «Тираж Займа третьей пятилетки», «За разбазаривание средств по государственному социальному страхованию – к судебной ответственности». Передовица была посвящена Максиму Горькому: «Гигант мысли и волшебник слова». Вся третья полоса под шапкой «Великий пролетарский писатель» – заполнена им же в связи с трехлетием его смерти и состояла из банальностей, соответствовавших заголовкам. Привычный советский читатель пропускает такое мимо глаз и ушей. Однако Цветаева могла бы не без интереса прочесть заметку А. Сперанского «Третья годовщина», разоблачавшую убийц Горького и кончавшуюся патетически: «Убийцы Пушкина – насколько же по-своему они были честнее!» Вслед за этим на четвертой полосе с равным энтузиазмом сообщалось о детском спортивном празднике на стадионе «Динамо», о переписи населения на Крайнем Севере, о постановке оперы «Иван Сусанин» по заново сочиненному Сергеем Городецким либретто, о том, как расцвел при советской власти Московский зоопарк, которому только что исполнилось 75 лет… В филиале Большого театра шла в этот вечер опера «Мать» по роману Горького, у некогда дружественных вахтанговцев – пьеса Алексея Толстого «Путь к победе». Со страниц газеты жизнь била ключом, но это была незнакомая жизнь, непохожая даже на ту, из которой она уехала семнадцать лет назад. Все было другим: представления о человеческих ценностях и отношениях между людьми, новый, уже установившийся быт, новая лексика и фразеология. Эфрона могла бы привлечь в этом номере крохотная заметка на второй полосе – для него она звучала зловеще: «Казнь Вейдемана. 17 июня… В Версале приведен в исполнение смертный приговор над Вейдеманом, совершившим в Париже под

видом грабежа 6 политических убийств. В ходе судебного следствия Вейдеман был разоблачен как агент гестапо (германской тайной полиции)»...[234]

Цветаева попала в странный мир – страну, с которой предстояло знакомиться заново. На фотографии, сделанной два года спустя, она отметила эту дату: «В день двухлетия моего въезда. 18 июня 1941 г.». Поразительно здесь слово «въезд» – так говорят о царях, о триумфаторах; у самой Цветаевой: «въезд вельможе». Почему она употребила это слово? Триумфального въезда не было. Ее возвращение из эмиграции осталось незамеченным. Она приехала не как Марина Цветаева – известный русский писатель, а как жена своего мужа Сергея Яковлевича Эфрона – провалившегося на Западе советского агента. Это не располагало к официальным приветствиям, которыми в 1937 году было встречено возвращение из эмиграции Александра Куприна. О нем дважды сообщала «Правда», интервью с ним и отрывки его воспоминаний были помещены в «Известиях» и «Литературной газете». «Я совершенно счастлив, – сказал Куприн корреспонденту, – что советское правительство дало мне возможность вновь очутиться на родной земле, в новой для меня советской Москве... Я в Москве! не могу прийти в себя от радости». Куприн уже слабо ориентировался в окружающем и верил всему, что ему внушали.

Цветаева с Муром поселились на казенной даче НКВД в Болшеве под Москвой, где жили Сергей Яковлевич и Аля. Это и была та «деревня» с соснами, о которой Цветаева писала Тесковой из Парижа. Впрочем, Аля только наезжала, привозила отцу газеты и журналы; практически она жила в Москве: там работала, там были у нее друзья, своя жизнь. Она любила и была любима... Дача с «размахом», но без удобств: большая гостиная с камином, а уборная во дворе. Керосинки, дрова, погреб – Цветаева как бы вернулась к деревенской жизни пражских лет. В доме разместились две семьи: Эфроны и Сеземан-Клепинины; у каждой было по две комнаты и терраса, гостиная и кухня– общие.

Николай Андреевич Клепинин – историк, автор книги «Святой и благоверный Великий князь Александр Невский» (1927). Бывший «доброволец», затем «евразиец» и, наконец, возвращенец и чекист, психологически он проделал ту же эволюцию, что и С. Я. Эфрон; он и его жена Нина (Антонина) Николаевна Сеземан-Клепинина – друзья и «подельники» Сергея Яковлевича еще по Франции. Об их бегстве парижские «Последние новости» сообщили 20 октября 1937 года: «В начале октября в связи с арестами по делу об убийстве Игнатия Рейсса и розысками В. Кондратьева, Н. Н. Клепинина (Сеземан) и Н. А.

Клепинин были подвергнуты продолжительному допросу комиссарами судебной полиции. Полиция обратила внимание на то, что открытые источники существования этой четы совершенно не соответствовали их образу жизни <…> После первых допросов полиция отпустила Клепининых, оставив их под наблюдением. **На прошлой неделе, не дожидаясь нового вызова в полицию, Н. Н. Клепинина (Сеземан) и Н. А. Клепинин скрылись из Парижа, оставив квартиру в Исси-Мулино на произвол судьбы.** <…> Выяснилось, что А. В. Сеземан (сын Н. Н. Клепининой) уехал в СССР и там поступил летчиком в красную армию»[235].

В номере от 24 октября добавлены подробности: допрос Клепинина продолжался 24 часа, Париж он покинул вместе с семьей. «Близкий сотрудник Эфрона и Клепинина по евразийскому движению» рассказывает в этом же номере о 1932 годе, когда после «кламарского раскола», разделившего Эфрона и Клепинина, снова началось их сближение: «С Клепининым я был тогда очень близок … От него я узнал об участившихся встречах с Эфроном. Клепинин заметно подпадал под его влияние, и я не раз предостерегал его. Однажды Клепинин явился ко мне очень взволнованный и сказал: „Эфрон предложил мне работать для ГПУ“. Я изумился. Эфрон не скрывал, что стал на советскую платформу и открыто работал в Союзе возвращения, но – **вербовать людей на службу ГПУ?..** «Ты выгнал его?» – спросил я. – «Нет, за что же? – отвечал Клепинин. – Сергей Яковлевич, очевидно, не придает этому того значения, как мы». – «Но, надеюсь, ты не ответил согласием?» Клепинин возмутился: «Разумеется, нет!» Однако встречаться с Эфроном он продолжал, о чем сам мне потом говорил…»

Тем временем, после визита в Париж весной 1932 года родителей Н. Н. Клепининой-Сеземан академика Насонова с женой, по словам того же свидетеля, «стал заметен резкий перелом. Н. Н. Клепинина перестала скрывать свои симпатии к большевикам. Дружба с Эфроном укрепилась. Они начали чаще бывать друг у друга…». Летом Эфрон в ресторане на бульваре Сен-Мишель познакомил Клепининых с «советским человеком». Разговор шел о вещах, интересовавших Клепинина и абсолютно невинных – издании евразийских сборников; Эфрон еще раньше говорил Клепинину, что «оттуда» на такое дело **«в неделю можно достать тысяч 30—40 франков»** (во всех цитатах выделено редакцией. – *В. Ш.*) и сделать это конспиративно. «Это совсем наш человек! Отлично во всем разбирается, верно смотрит на вещи, совсем не большевик», – рассказывал Клепинин с восторгом[236]. «Совсем нашего человека» можно было вызвать по телефону из

советского постпредства…

Даже если сделать скидку на обычное для газеты стремление к сенсации, сценарий «вербовки» и психология человека, которого вербуют, в этом рассказе очевидца вызывают доверие.

В Советском Союзе Эфрона и Клепининых (он жил теперь под фамилией Андреев, Клепинины – под фамилией Львовы) поселили в одном доме в Болшево. В их тесном соседстве предстояло жить Цветаевой. Сергей Яковлевич переехал туда в октябре 1938 года, после санатория в Одессе: его преследовали тяжелые сердечные припадки. Аля постаралась сделать его жилье уютным, заботилась о нем («Аля всё так же самоотверженно меня нянчит», – писал он сестре)… У него появилось ощущение полной отрешенности и заброшенности; в том же письме сестре Эфрон – не жаловался, а констатировал: «Живу тихо, тихо – так тихо, что словно и не живу. <…> Чувствую себя „богаделом – божьим одуванчиком“».

О болшевской жизни мне рассказывала гимназическая подруга Нины Николаевны Сеземан-Клепининой Лидия Максимовна Бродская – человек замечательного мужества и доброты, художник-любитель. Она постоянно бывала в Болшеве и даже «одолжила» туда свою домработницу. До приезда семьи Сергей Яковлевич жил одним домом с Клепиниными; Аля и Алексей Сеземан работали в журнале «Revue de Moscou» и бóльшую часть времени проводили в Москве. Жизнь на даче приняла более или менее стабильную форму: днем Клепинины уезжали в город, он работал, у него был служебный номер в гостинице «Балчуг»… Бывали гости из города; Елизавета Яковлевна Эфрон иногда привозила своего ученика и друга знаменитого чтеца Дмитрия Журавлева, он знакомил их со своими программами; Л. М. Бродская написала портрет Нины Николаевны и начала работу над портретом Сергея Яковлевича, но не окончила. «К сожалению, я начала с ног, – сказала она мне, – и больше ничего не успела…» Она вспоминала, каким обаятельным человеком и интересным собеседником был Сергей Яковлевич, как ждал приезда жены и сына, как гордился Муром, его письмами и рисунками.

Лидии Максимовне казалось, что Эфрон был не только нездоров, но и мнителен: на столике возле его кровати стояла масса лекарств. Перехватив ее взгляд, Нина Николаевна сказала: «Он такой трус, Сережа; всего боится и принимает кучу лекарств. Но в нужный момент – он герой и ведет себя абсолютно бесстрашно. Я видела его в деле, в Испании, например».

Ко времени приезда Цветаевой с Муром семья Клепининых состояла из Нины Николаевны, Николая Андреевича, их дочери

Софы, девяти лет, сыновей Н. Н. Сеземан-Клепининой от первого брака: Дмитрия, семнадцати лет, и Алексея, двадцати двух. Алексей Сеземан был уже женат, и в Болшеве жили его семнадцатилетняя жена и новорожденный сын.

После 19 июня 1939 года жизнь в болшевском доме изменилась: он стал коммунальной квартирой. «Впервые чувство *чужой* кухни...» – записывает Цветаева; в «коммуналке» (она называет это «Коммуна») Цветаева живет впервые; соседство с чужими людьми кажется ей «отвратительным». Клепинины были интеллигентными, воспитанными, образованными людьми – одного круга с Эфронами, хотя и чуждые Цветаевой в силу своей политической направленности. Нина Николаевна любила стихи и понимала, какой поэт Цветаева...

Надо было обживаться на новом месте, входить в хозяйственные дела. Денежных затруднений не было: Сергей Яковлевич получал зарплату в НКВД. Быт – непривычный и нелегкий. «Болшево, – записывает Цветаева, – неизбывная черная работа, неуют...» Тяжелее бытовых оказались психологические сложности; с ее приездом обстановка на болшевской даче стала напряженной. Дмитрий Сеземан вспоминает то время: «Не знаю, нужно ли рассказывать, каким невозможно трудным человеком была М. И. „в общежитии“, как принято говорить. Как человек с содранной кожей, она чрезмерно – чрезмерность вообще отличала ее поведение и, шире, ее личность – реагировала на все то, что, по ее мнению, сколько-нибудь задевало цельность ее духовного существования...»[237] Увы, далеко не только духовного. Цветаева была не из лучших соседок; могла взорваться и взрывалась по пустякам. К чести Н. Н. Сеземан-Клепининой надо отметить, что она старалась держаться выше кухонных ссор. Л. М. Бродская вспоминала о каком-то «конфликте»: «Я тогда Нине говорила: „Да я на твоем месте эту Цветаеву давно бы сковородкой по голове огрела!“ А она отвечает: „Нельзя, Лиля, Цветаева – гений, ей все можно простить“...»

Не только «трудный характер» Цветаевой осложнял совместную жизнь: ужас и напряженность, вызванные сталинским террором, на болшевской даче обострялись до предела; здесь каждый взрослый ожидал ареста... Непонимание (что происходит? почему? за что?), тревогу, страх от детей пытались скрывать. «Так, например, от нас: меня, Мура и брата Дмитрия – скрыли факт ареста Али», – вспоминает Софья Клепинина-Львова[238]. Она ошибается: Мур знал. «Подавленное ожидание конца», как позже определил состояние родителей на болшевской даче Дмитрий Сеземан, непроизвольно изливалось на детей в незаслуженных и непонятных для них раздражении и резкости.

Не подозревая о трагедии взрослых, дети недоумевали, обижались на неоправданную строгость, воображали, что их больше не любят; возникало взаимонепонимание и отчуждение.

Как теперь, на вожделенной родине, оценивали «Львовы» и «Андреев» свою заграничную работу и возвращение? Что чувствовали, узнавая об арестах сослуживцев? Каким представляли себе будущее своих детей? Обсуждали ли между собой эти проблемы? Можно только предполагать…

Я думаю, что со времени бегства Эфрона из Франции покой навсегда ушел из жизни Цветаевой. И все же, несмотря ни на что, Болшево оказалось самым спокойным временем ее жизни в Советском Союзе: семья была вместе и все были живы. Дмитрий Сеземан вспоминает вечера и разговоры у камина, чтение Цветаевой своих стихов и пушкинских переводов, чтение Д. Н. Журавлевым отрывков из «Войны и мира» Толстого. Цветаевой запомнились прогулки с Эмилией Литауэр (Милей), «возвращенкой», сотрудницей и другом Эфрона и Клепинина; радость поездки на только что открывшуюся Сельскохозяйственную выставку: последнее «счастливое видение» сияющей Али… Восстанавливая впечатления первых месяцев на родине, Цветаева записала: «Обертон, унтертон всего – жуть. <…> отсутствие камня: устоя». Неустойчивость сквозила во всем: в жизни за городом, в коммунальной квартире, в отсутствии у Цветаевой советских документов («живу без бумаг»), в неопределенности статуса бывших эмигрантов. Чувство «жути» усугублялось по мере понимания Цветаевой безвыходности ситуации и практической беспомощности – своей и мужа.

Эти месяцы Цветаева жила в замкнутом кругу родных, соседей, нескольких знакомых. «Живу никому не показываясь» – она не делала попыток выйти в литературный мир, получить работу. Конечно, она хотела видеть Пастернака – на его душевную близость и поддержку она рассчитывала больше всего. Подробностей их первой встречи мы не знаем, но ей предшествовал эпизод, рассказанный мне Еленой Ефимовной Тагер: «Вдруг раздается телефонный звонок. Звонит Пастернак и говорит: приехала Марина Ивановна и зовет меня к себе приехать. Но я встретил Каверина и … [другого писателя, чье имя Е. Е. Тагер не запомнила. – *В. Ш.*] и они мне сказали, чтобы я ни в коем случае не ездил. Это опасно… Я не поехал». Е. Е. Тагер вспоминала, как ее потрясла эта «трусость», как она тут же по телефону высказала Пастернаку свое негодование: как это возможно – приехала Цветаева, а вы сомневаетесь, должны ли к ней поехать? Может ли быть – чтобы вы не поехали к Цветаевой?.. Только положив трубку, она, по ее словам, опомнилась и стала

корить себя: вдруг это на самом деле опасно – видеться с Цветаевой? Вдруг с Пастернаком из-за этого случится что-нибудь ужасное, и она всегда будет чувствовать себя виноватой?.. Возможно, Пастернак понимал, в каком окружении живет Цветаева – это не располагало к поездкам в Болшево. Тем не менее он встретился с Цветаевой – скорее всего, в Мерзляковском переулке у Е. Я. Эфрон – у нее был московский «центр» семьи. Туда же направил Пастернак В. К. Звягинцеву, сказав, что ее хочет видеть Цветаева; скорее всего, это произошло уже после Болшева.

«Помню, как я бежала, – говорила Вера Клавдиевна. – Там Марина сидит, совершенно другая, дамская. В нормальном платье, гладкая, аккуратная, седая. И сын как будто вырезанный из розового мыла». Я спросила Звягинцеву, как они встретились – тепло или как чужие? «Настороженно», – ответила она. Звягинцева точно заметила, что Цветаева вернулась «совершенно другая» – дело, конечно, не в том, что она стала «дамская», не во внешней перемене и даже не в изначально-трагическом восприятии мира Цветаевой в отличие от всеприемлющего и радостного – Звягинцевой.

«Настороженность» была связана с душевным состоянием Цветаевой, «чувством жути», о котором она могла говорить только с тетрадью. Никакое умозрительное знание и трезвость взгляда и понимания не могли дать настоящего представления о том, что она увидит на родине, и – главное – о том, как изменились здесь люди. Это дано почувствовать только непосредственно. Может быть, именно с этим связаны запомнившиеся Звягинцевой слова «моя подлая дочь»? Звягинцева толковала их как негодование на то, что Аля «уговорила ее вернуться»; не исключено, что Цветаева возмущалась тем, что в письмах дочь не дала знать, что арестована Анастасия Ивановна и какие непредставимые изменения произошли на родине. Но как бы Аля сделала это в письмах, проходивших цензуру в заграничном отделе НКВД?

Цветаева была готова встретиться кое с кем из старых знакомых, но не все осмелились поддерживать с ней отношения, как Звягинцева. М. И. Гринева прямо признаётся: «Я не решаюсь...» Встречаться с только что вернувшейся эмигранткой было небезопасно. Со своей обостренной чуткостью Цветаева чувствовала это и не навязывалась, не хотела ставить других в неловкое положение.

Болшевская «передышка» оказалась короткой – ее перебил арест Али в ночь с 27 на 28 августа 1939 года. Отношения Цветаевой с дочерью оставались отчужденными; она отмечает: «Энигматическая Аля, ее накладное веселье...» Ситуация убивала

жизнерадостность. После открытия архивов КГБ стало известно, что и Алю, и ее друга Мулю (Самуила Давыдовича Гуревича) вынуждали сообщать о посетителях и разговорах на болшевской даче – не это ли было причиной Алиной «энигматичности»? В предотъездном письме к В. И. Лебедеву она с наивной уверенностью говорила: «Ни по какой иной – кроме художественной – линии – я не пойду, даже если бы этого хотела чужая и сильная воля». Теперь «чужая и сильная воля» бесцеремонно вторгалась в ее жизнь и отношения с самыми близкими ей людьми, и она не могла противостоять ей. Несомненно, мать и дочь испытывали тревогу за судьбу семьи и таили ее друг от друга. Но Аля постоянно бывала в Болшеве, часто с Мулей, которого любила, и с друзьями. Ее арест стал первой в череде катастроф на болшевской даче; он перечеркнул любые сложности между ними.

Только через год Цветаева решилась записать события этой страшной ночи. Поражает не только цепкость ее восприятия и памяти, но достоинство и мужество, с какими ведут себя в этой ситуации жертвы НКВД.

> «Возобновляю эту тетрадь 5-го сентября 1940 г., в Москве, возобновляю – с содроганием.
>
> Между последней строкой и этой, первой – 18-го июня 1939 г. приезд в Россию, 19-го – в Болшево, свидание с больным С<ережей>. Болшево: неизбывная черная работа, неуют, опаска, мои слезы. «Коммуна» (за керосином) С<ережа> покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Навязчивые созвучия. Мытарства по телефонам. Сердце: шприцы. T. S. F. [так Цветаева называет радио. – *В. Ш.*]. Отвратительное соседство: сцены. Энигматическая Аля: ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываюсь – кто́ я? Кошки. Мой любимый неласковый подросток – кот. (NB! Всё это – для *моей* памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит – *такого.*) Торты, ананасы, от этого – не легче. Прогулки с Милей. Мое *одиночество.* Единственный, кто сжалился – она: *сама* стала вытирать посуду. (Посудная вода и слезы.)
>
> Обертон, унтертон всего – жуть. Обещают перегородку – дни идут, дрова – дни идут, Мурину школу – дни идут, бумагу – дни идут. И – отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь С<ережи>. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, – не успеваю слушать: полны руки дела,

слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день. Когда – писать??

Девчонка Шура. Впервые – чувство *чужой* кухни. М<или>ция: почему у всех разные фамилии? Повестки из суда: чья – дача? Безумная жара, к<отор>ой не замечаю: ручьи пота и слез – в посудный таз. Не за кого держаться. Всё уходит из рук. Начинаю понимать, что С<ережа> – бессилен, совсем, во всём. (Я, что-то вынимая: – Разве Вы не видели: такие чудные рубашки! – «Я на Вас смотрел».)

(Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче:)

27-го в ночь, к утру, арест Али. – М<осковский> У<головный> Р<озыск>. Проверка паспортов. Открываю – я. Провожаю в темноте (не знаю, где зажиг<ается> электр<ичество>) сквозь огромную чужую комнату. Аля просыпается, протягивает паспорт. Трое штатс<ких>. Комендант. (Да, накануне, мол<одой> челов<ек> стучавший в окно в 5 ч<асов> утра – спрашивает, кто здесь живет...) – А теперь мы будем делать обыск. – (*Постепенно* — понимаю.) Аля – веселая, держится браво. Отшучивается. Ноги из-под кровати, в узких «ботинках». Ноги – из-под всего. Скверность – лиц: волчье-змеиное. – Где же В<аш> альбом? – Какой альбом? – А с фотокарточками. – У меня нет альбома. – У каждой барышни должен быть альбом. (Дальше, позже: – Ни ножниц, ни ножа... Аля: – Ни булавок, ни иголок, ничего колющего и режущего.) Книги. Вырывают страницы с надписями. Аля, наконец со слезами (но и улыбкой): – Вот, мама, и Ваша Colett поехала! (Взяла у меня на-ночь Colett – La Maison de Claudine.)

Забыла: последнее счастливое видение ее – дня за 4 – на Сельскохоз<яйственной> выставке, «колхозницей», в красном чешском платке – моем подарке. Сияла.

Хочет уйти в «босоножках» (подошвы на ремнях) – Муля убеждает надеть полуботинки. Нина Ник<олаевна> [Клепинина. – *В. Ш.*] приносит чай и дает ей голубое одеяло – вместо шали.

Всех знобит. Первый холод. Проснувшийся Мур оделся и молчит. Наконец, слово: Вы – арестованы. Приношу кое-что из своего (теплого). Аля уходит, не прощаясь! Я – Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо – отмахивается. Комендант (старик, с добротой) – Так – лучше. Долгие

проводы – лишние слезы...»[239]

Самое существенное то, что Цветаева не побоялась записать событие с присущей ей точностью: подробно и называя всё своими именами. В прежних публикациях вместо слов «арест Али» печаталось «отъезд Али», что давало повод думать, будто Цветаева прибегает к эвфемизмам. На самом деле – она сообщает важные детали подобных событий: молодой человек, накануне ночью уточняющий адрес завтрашнего ареста; «штатские» называют себя сотрудниками не НКВД, а Уголовного розыска, якобы проверяющими паспорта (интересно, догадались ли Марина Ивановна или Аля посмотреть их документы?); заинтересованность в семейном альбоме (пригодится на следствии?), вырывание надписей в книгах. Мы знаем теперь, что Мур присутствовал при аресте сестры, но, очевидно, молчал об этом с товарищами – Митей Сеземаном и Софой Клепининой. Активно ведут себя Муля и Нина Николаевна, но почему-то совсем не упомянут Сергей Яковлевич. Может ли быть, что он не вышел из своей комнаты?

В тот же день в болшевском доме арестовали гостившую там Эмилию Литауэр. Трудно представить себе ужас и отчаяние Эфрона и Цветаевой. В ближайшие дни Сергей Яковлевич пытается добиться освобождения дочери и Литауэр; он пишет на имя Берии заявление, в котором утверждает, что «отвечает головой за их [А. Эфрон и Э. Литауэр. – *В. Ш.*] политическую честность». К этому времени голова С. Я. Эфрона уже ничего не стоила; ответа не последовало, дело было абсолютно безнадежно. Теперь естественно было ждать ареста его самого, Клепининых, а может быть, и Цветаевой. Никто не был гарантирован. Л. М. Бродская рассказывала, что по возвращении на родину Клепининых и Эфрона встретили (она употребила слово «их привезли») с большим почетом[240], но Н. Н. Сеземан-Клепинина не раз повторяла: «сначала орден – потом ордер». Впрочем, орденов им не дали, а с ордером на обыск и арест Эфрона Сергея Яковлевича пришли 10 октября 1939 года.

Сергей Яковлевич

И, наконец, – чтоб было всем известно! —
Что ты любим!любим!любим! – любим! —
Расписывалась – радугой небесной.

Занавес опустился. Всё, что произойдет с Эфроном дальше, будет совершаться в страшной темноте кулис НКВД/КГБ и лишь частично выйдет на свет десятилетия спустя. Цветаева осталась по другую сторону непроницаемого занавеса, страхом за близких, как магнитом, державшего ее и не дававшего передышки.

Когда Лидия Максимовна Бродская рассказывала мне о жизни в Болшеве и восхищалась Сергеем Яковлевичем, я задала мучивший меня вопрос: как могли все они – такие образованные, интеллигентные, порядочные – оказаться убийцами? Она ответила: «Они хотели послужить своей Родине. Здесь было много от романтики...» Мне важно было услышать это; Бродская, бесстрашно возобновившая дружбу с семьей гимназической подруги, постоянно посещавшая ее и Эфронов в их полуссылке и откровенно беседовавшая, по крайней мере, с Ниной Николаевной, выражала взгляд болшевских «возвращенцев» на самих себя.

Да, субъективно они жаждали «послужить» Родине (конечно же, с большой буквы), заслужить ее прощение и возможность вернуться. И, вероятно, объективные формы этого «служения» в их глазах оправдывались благородством цели.

Те, кто вспоминал Сергея Яковлевича в прежней жизни, во всяком случае до раскола евразийства, не обходятся без определения «романтик»; сама Цветаева никогда не усомнилась в его благородстве, рыцарстве и исключительной порядочности. Таким он и был: порядочным, благородным, остроумным и легким в общении, с чувством юмора и не без дарований: немного писал, немного рисовал, немного играл на сцене...

Но когда я думаю о Сергее Яковлевиче Эфроне, муже и спутнике, определившем жизнь Марины Цветаевой, психологическая ситуация и вытекающая из нее судьба кажутся мне более сложными...

Не случись революции и Гражданской войны, он, вероятно, и остался бы таким: играл на сцене, писал, может быть, нашел себя в издательском деле или в развивающемся кино... Почти все это

он уже пробовал в юности и, имея состояние, при котором не нужно заботиться о заработке, выбрал бы профессию, связанную с искусством. Кстати, он уже и выбрал, поступив на историко-филологический факультет в Московский университет, чтобы заниматься искусствоведением.

Война и революция разрушили всё. Эфрон не уклонился ни от войны с Германией, ни от Гражданской и прошел их мужественно и достойно. Пять лет на фронте должны были изменить его: он столкнулся с беспощадной реальностью, увидел грязь, насилие, предательство, смотрел в глаза смерти. Он возмужал, повзрослел, но каким-то образом сумел не изжить в себе черты юношеского романтизма и идеализма и продолжал оставаться все тем же приятным, милым, увлекающимся и отчасти легковесным человеком. Сергей Яковлевич явно не воспринимал себя в роли главы семьи, иначе он не вернулся бы в Праге на факультет искусствоведения: возможно ли было кормить семью, не имея реальной профессии?

Как и в юности, окружающие видели в нем обаятельного, воспитанного и остроумного мужа известной поэтессы. Это нелегкая роль: трудно быть заурядным мужем незаурядной жены.

Евразийство дало ему возможность «отпочковаться» от жены, занять отдельное место в эмигрантском обществе. Он перестал восприниматься только как «муж Марины Цветаевой», о нем говорили как об активном деятеле евразийского движения, редакторе, издателе; затем как о не менее активном участнике раскола в этом движении, позже как об одном из организаторов Союза возвращения на Родину. В процессе постепенного «полевения» он, может быть, незаметно для себя, оказался втянутым в заграничную работу НКВД. Как вербовали эмигрантов, вы несколькими страницами выше видели на примере вербовки Н. А. Клепинина Эфроном. По этой же истории мы можем судить и о роли Сергея Яковлевича в движении «возвращенцев» и в НКВД. Он стал ответственным лицом на своем посту; теперь у него была определенная власть и влияние на людей: он мог отправить человека, жаждущего «заслужить прощение Родины», в Испанию; мог если не сам распределять, то содействовать распределению денег... Это, я думаю, изменило не только его жизнь, но, главное, ощущение себя в жизни. Он работал из энтузиазма и поначалу решительно отказывался от денег. К. Родзевич говорил мне, как долго пришлось уговаривать «Сережу» получать советскую зарплату... И он, и Клепинины служили «советской Родине» не за страх, а за совесть. Приведу свидетельство Кирилла Хенкина, который с легкой руки Сергея Яковлевича отправился из Парижа в Испанию, а позже служил в

НКВД в Москве. Его мать Е. Нелидова-Хенкина приятельствовала с Цветаевой и Эфроном, во Франции сотрудничала в той же организации, что и Сергей Яковлевич, а в конце пятидесятых в процессе его реабилитации дала ему блестящую характеристику. Хенкин пишет о предвоенном поколении тайных агентов-эмигрантов: «...эти работавшие на Советский Союз люди были в подавляющем своем большинстве бескорыстными идеалистами. <...> Я вспоминаю людей, которых знал в молодости в Париже, а позже в Испании. Разумеется, некоторые из них были на жалованье у советской разведки: Эфрон и другие были, если хотите, платными агентами. Но они никогда не были наемниками, ибо работать против Советского Союза они не стали бы ни за какие деньги. Помню также, что в этой среде оценка человека всегда включала критерий его политической преданности и материального бескорыстия»[241].

Это слишком смелое обобщение: далеко не все были так преданы и бескорыстны, но Сергей Яковлевич был из таких.

Если в какой-то момент Эфрон и спохватился, что «союзовозвращенская» дорога ведет его не совсем так, как он намеревался идти, то было уже поздно; он знал, чем кончается отказ от работы с НКВД. Но возможно, он очнулся только в тот момент, когда оказался «запутанным в грязное дело», как сказал он Вере Трайл.

Сейчас я почти уверена, что перед расставанием между Цветаевой и Эфроном состоялся разговор, когда он рассказал жене всё или почти всё, что произошло с ним в последние годы, и она разделила с ним его тяжелый душевный груз. Об этом, на мой взгляд, свидетельствует только что опубликованная записка к жене и сыну, написанная Эфроном, как думают публикаторы, в день бегства из Франции. Вот ее текст:

> «Мариночка, Мурзил – Обнимаю вас тысячу раз.
>
> Мариночка – эти дни с Вами самое значительное, что было у нас с вами. Вы мне столько дали, что и выразить невозможно.
>
> Подарок на рождение!!!
>
> [*Вместо подписи —рисунок головы льва.*]
>
> Мурзил, помогай маме»[242].

Если мое предположение верно – Цветаева взяла на себя тяжесть лжи, когда на допросе во французской полиции и в интервью «Последним новостям» утверждала, что не знает о тайной деятельности мужа. В частности, она говорила неправду (вряд ли запамятовала), что в последние дни перед убийством и в самый день убийства И. Рейсса муж был с нею в Lacanau-Océan и

«никуда не отлучался». Из писем Лебедевых видно, что он уехал до 30 августа, то есть за несколько дней до убийства… Почти через два года семья объединилась в Болшеве. Наступила «болшевская передышка».

Софья Николаевна Клепинина-Львова, которой в те времена было девять-десять лет, оставила восторженный портрет Эфрона: «Начать с того, что внешность у него была яркая. Мне кажется, что у него были ярко-синие глаза, <…> большие, лучистые и буквально излучающие добро, свет. Впечатление красоты создавала скорее верхняя часть его лица – благородный лоб, глаза, о которых я уже сказала, какие-то детские даже, оттененные черными ресницами и черными бровями (хотя он был уже сед в то время). А вот челюсть нижняя, подбородок – были тяжеловаты. Но это не бросалось в глаза, не портило его лица, вообще, по-моему, не замечалось. Главное в нем были его глаза, в полном смысле слова являвшиеся зеркалом его прекрасной души».

А ее семнадцатилетний тогда брат Дмитрий Сеземан неприязненно и иронично описывает, казалось бы, совсем другого Эфрона: «Сам же Сережа предавался сибаритству, совершенно не свойственному тогдашней советской жизни. Он читал книги, журналы, привозимые Алей из Москвы, объяснял мне систему Станиславского, иногда жаловался на здоровье…» Когда появлялись гости и вокруг камина возникала иллюзия прежней жизни, «Сережа Эфрон из растерянного пожилого человека превращался в милого, одаренного, интеллигентного мальчика-идеалиста, каким он был когда-то, двадцать с небольшим лет до того». И сестра, и брат пишут правду; несовпадение их правд в различии возраста и восприятия, а также в неоднозначности личности и поведения Эфрона.

Жизнь в Москве и в Болшеве до приезда семьи давала возможность обдумать и оценить происшедшее. Внешне могло казаться, будто начальство удовлетворено: Сергей Яковлевич получил квартиру в Болшеве, возможность лечиться в специальной поликлинике и в санатории в Одессе. Аля работала в престижном журнале… Но Митя Сеземан запомнил, как «из Сережиной комнаты из-за деревянной перегородки вдруг слышались громкие, отчаянные рыдания, – и мама бросалась Сережу успокаивать…». Судя по тому, что утешала Эфрона Нина Николаевна, это случалось до приезда Цветаевой. Скорее всего, в те без малого четыре месяца, которые они пробыли вместе, Сергей Яковлевич таких приступов отчаяния себе не разрешал. Наоборот, как вспоминала Софья Клепинина, он единственный был ровен и доброжелателен, не раздражался детьми,

разговаривал и играл с ними: «когда возвращался из города Сергей Яковлевич – мы мчались ему навстречу. <…> Для меня он – сама жизнь. Его доброта и мягкость удивительно передавались окружающим. Во всяком случае, любые наши конфликты он мог понять, разобраться в них, как-то смягчить…»

О чем мог рыдать так много страшного переживший и совершивший человек, сумевший при этом сохранить доброту, мягкость, «прекрасную душу»? Очевидно, его отчаяние было связано с пришедшим прозрением («стоит ли того страна, куда ты собираешься?») – в какую страшную бездну завлек он упорно противившуюся жену и беспощадно соблазненного им сына. Он ждал их приезда с тоской и ужасом, понимая, что недалек час расплаты и что близким предстоит расплачиваться вместе с ним.

Записи об аресте мужа Цветаева не сделала. Л. М. Бродская, со слов присутствовавшей при этом домашней работницы, запомнила, что, когда Сергея Яковлевича уводили, Цветаева вслед осенила его широким крестным знамением… Больше она его не видела.

Для Эфрона наступил заключительный этап. Что почувствовал он во время ареста? Я слышала от нескольких лагерников, что ожидание ареста тяжелее самого момента: скорее бы уж! – и сев в увозящую тебя машину, чувствуешь некоторое облегчение. Но впереди были еще два года мучительной гибели в замурованном мире, которому он верно служил, а теперь оказался в роли узника.

За последнее десятилетие несколько человек получили доступ к следственным делам Ариадны Сергеевны Эфрон и Сергея Яковлевича Эфрона в архиве КГБ. Надо надеяться, что когда-нибудь эти документы будут напечатаны: до сих пор публикаторы использовали цитаты из протоколов, дополняя их своими размышлениями и комментариями. Тем не менее, опираясь на эти работы, можно в какой-то мере представить себе процесс развития этих «дел», конец которых был очевиден еще до ареста обвиняемых[243].

К счастью для нее, следователям не удалось привязать Ариадну Эфрон к делу ее отца, ее выделили и она проходила одна по своему делу – только это спасло ей жизнь. Поначалу она с наивной откровенностью описывала в показаниях свою жизнь, работу, тяжелые отношения с матерью и близкие, доверительные с отцом. Из этих подробностей следователи и старались «сколотить» преступления ее и ее отца. Ее пытали страшно. Рассказывая нам с мужем, как ее неделями раздетую держали в холодном карцере, где можно было только стоять и время от времени на голову размеренно капали холодной водой, Ариадна

Сергеевна добавила: «Я не могу себе представить, что это была я!» В конце концов из нее выбили нужные следствию показания против нее самой, отца, Клепининых, Алексея Сеземана. И хотя в дальнейшем ходе следствия она от своих показаний отказалась – это не имело значения: колесо уничтожения крутилось в заданном направлении. Законного суда над Ариадной Эфрон не было, 2 июля 1940 года ее судило Особое совещание при НКВД по статье 58-6 – шпионаж – и приговорило к восьми годам лагерей. После восьми лет последовало «ограничение» мест жительства, недолгое время в Рязани, затем повторный арест и пожизненная высылка в Туруханск (где «вождь народов» товарищ Сталин когда-то тоже отбывал ссылку! О нем и других ссыльных большевиках Ариадна Сергеевна со слов местного старожила незабываемо рассказывала незабываемые истории). Но об этом Цветаева уже не узнала.

Сергей Яковлевич Эфрон проходил по «групповому» делу, что всегда служило отягчающим вину обстоятельством; к тому же его «вели» как главного обвиняемого. Вместе с ним в группу входили Николай Андреевич Клепинин, Антонина (Нина) Николаевна Клепинина, Эмилия Эммануиловна Литауэр, Николай Вонифатьевич Афанасов и Павел Николаевич Толстой. Им (выслеживавшим сына и помощника Л. Троцкого – Льва Седова!) инкриминировалась связь с троцкистской организацией, а также служба во французской разведке. То, что все они были тайными агентами НКВД, следствие не интересовало, во внимание не принималось и трактовалось как изощренное прикрытие для подрывной антисоветской деятельности. В ходе следствия связь с троцкистами подтвердить не удалось, но и остального было достаточно.

Не испытав участи этих людей, я не возьму на себя смелость давать оценку их поведению во время следствия и постараюсь быть по возможности объективной и краткой. Они вели себя по-разному.

На первом же допросе Эфрон, отвечая на вопросы следователя, подробно изложил историю своего духовного перерождения из белогвардейца в *советского* патриота и секретного агента советской разведки. Он не скрыл, что до раскола евразийцев стоял на антисоветских позициях и боролся против советской власти, но к 1929 году серьезно пересмотрел свои политические взгляды и отношение к Советской России, а с 1931 года (в этом году он подал прошение о возвращении на родину) полностью перешел на советскую платформу и с того времени начал выполнять задания советской разведки. Это было не то, что нужно следствию. В задачу следователей входило

получить признание в том, что они должны были инкриминировать обвиняемому. Правда, как и анализ трагического пути Эфрона, их не интересовала. Рефреном следователей (они сменяли друг друга) была фраза: «Следствие вам не верит».

В следственном деле зафиксированы семнадцать или восемнадцать допросов Эфрона; те, кто познакомился с делом в архиве, считают, что их было значительно больше. Мы не знаем, в какой момент к нему начали применять «физические методы воздействия» – такое нигде не фиксируется. Известно, что через пять дней после ареста заместитель начальника следственной части запрашивает тюремное начальство о состоянии здоровья Эфрона, а 24 октября его переводят в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы. Во врачебном заключении сказано, что он «в настоящее время страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокардитом, в резкой форме неврастенией». Врачи рекомендуют: «Работать с ним следственным органам можно при следующих обстоятельствах: 1. Дневное занятие и непродолжительное время – не более 2—3 часов в сутки, 2. В спокойной обстановке, 3. При повседневном врачебном наблюдении, 4. С хорошей вентиляцией в кабинете». Эти эпически-трогательные рекомендации могут создать впечатление, что речь идет не о тюремном застенке, где избивают и пытают, а о «занятиях» лечебной физкультурой или физиотерапией, например, – неслучайно эвфемизмом ареста в те годы служило выражение «уехал в санаторий». Эфрон после первого допроса «уехал» в самую страшную Лефортовскую тюрьму.

26 октября, с больничной койки его снова привозят к следователю, чтобы ознакомить с предъявленным ему обвинением. Это знаменитая статья 58 Уголовного кодекса РСФСР со ссылками на четыре пункта, означающих контрреволюционные действия, направленные на ослабление власти; измену родине; террор; совершение этих преступлений в составе организации. На вопрос: «Вам предъявлено обвинение в изменнической предательской деятельности. Признаете ли вы себя виновным?» – Эфрон отвечает однозначно: «Нет».

На очередном (каком по счету?) допросе 1 ноября Эфрон сам вызвался дополнить свои показания подробным рассказом о деятельности евразийцев до раскола: о структуре евразийской организации; ее связи с польской разведкой, через которую засылалась в Советский Союз пропагандная литература; о принципах, на которых они хотели перестроить государственный и социальный строй России... «Начиная же с 1928 года часть евразийцев, в том числе и я, стали постепенно отходить от

изложенных мною выше программных установок и становились на просоветские позиции». Он рассказывает о вербовке евразийцев в НКВД, о своем «внедрении» по заданию НКВД в масонскую ложу «Гамаюн»... Все это почти не интересует следователя, от него требуется связать Эфрона и всю его «группу» с иностранными разведками и троцкистской оппозицией. По первому пункту Сергей Яковлевич отвечает: его связь с польской разведкой заключалась лишь в пересылке по определенному адресу евразийской литературы. По второму он утверждает, что «лично ни с кем из троцкистов связи не поддерживал», и рассказывает о встрече Сувчинского с торгпредом СССР во Франции Г. Л. Пятаковым (ко времени ареста Эфрона он расстрелян как троцкист), на которой Сувчинский предложил использовать евразийцев для пропаганды советских идей. Никаких последствий эта встреча не имела. Следователь возражает: «Вы говорите неправду, следствию известно, что между Сувчинским и Пятаковым был установлен контакт по совместной антисоветской деятельности. <...> Почему вы *скрываете* это?» Эфрон отвечает: «Я это *отрицаю* потому, что контакта между троцкистами и евразийцами установлено не было» (выделено мною. – *В. Ш.*). Еще не один раз на вопрос следователя: «Почему вы скрываете?» – Эфрон возразит: «Я не скрываю, а отрицаю».

Что происходит за кулисами допросов – служебная тайна НКВД-КГБ. Об этом можно догадаться по оставшимся в деле медицинским документам.

Двадцатым ноября 1939 года датирована справка за подписью начальника тюремной санчасти: Эфрон с 7 ноября находится в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. <...> В настоящее время обнаруживает слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного...» Врач считает, что Эфрон нуждается в серьезном лечении, но из следственных бумаг не видно, чтобы его лечили. Что касается звуковых галлюцинаций, то в «лагерной» литературе есть свидетельства, что нередко они подстраивались следствием как одна из форм пытки и давления на заключенного.

Зафиксированное этой справкой психическое состояние Эфрона вызывает у меня чувство мистического ужаса потому, что задолго до этого он уже «пережил» его ... на экране. В 1927 году

Сергей Яковлевич сыграл совсем маленький эпизод (11—12 секунд экранного времени) в давно забытом и недавно обнаруженном и отреставрированном немом французском фильме «Мадонна спальных вагонов». Безымянный арестант, находящийся в одиночной камере, приговорен к расстрелу. Зритель не знает, ждет ли заключенный вызова сегодня. Перед ним человек с лицом, известным нам по фотографиям Сергея Эфрона, лежащий на боку на полу камеры. Дверь открывается и кто-то, кого мы видим только со спины, начинает приближаться к арестанту… Тот пытается отползти к стене, правая рука поднята в останавливающем жесте… А лицо выражает именно то, что записано в тюремной справке: тревогу, «чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного». Какие тайные силы заставили Эфрона прорепетировать свое будущее?..

Несмотря на тяжелейшее состояние Эфрона, допросы продолжаются, и его выводят на очные ставки с членами его «группы». Сначала с П. Н. Толстым, спустя три недели – с Н. А. Клепининым и Э. Э. Литауэр. Толстой утверждает, что Эфрон вовлек его в евразийскую организацию, а затем привлек к работе на французскую разведку. Сначала Эфрон, отвергая эти показания, сдержанно объясняет их тем, что «Толстому, видимо, изменила память». После того как Толстой продолжает утверждать свое, Эфрон прямо заявляет, «что это ложь». И как ни настаивают сам Толстой, следователь и прокурор на его показаниях, Сергей Яковлевич «абсолютно» отрицает все, что говорит Толстой. Перед тем как Толстого уводят, он советует Эфрону сознаваться…

Очные ставки с Клепининым и Литауэр состоялись в один день и были для Сергея Яковлевича чрезвычайно тяжелы: в отличие от Толстого Клепинин и Литауэр были его многолетними близкими друзьями, единомышленниками и товарищами по работе. Еще до того, как в кабинете появился Клепинин, следователь напоминает Эфрону, что Толстой уже изобличил его как агента иностранных разведок, на что Эфрон твердо возражает, что ни на какие разведки, кроме советской, он не работал. Тогда-то и вводят Клепинина, который признается, что он и Эфрон были агентами *нескольких* иностранных разведок и вели активную антисоветскую деятельность. В ходе очной ставки Эфрон заявляет: «Я позволю себе утверждать, что у Николая Андреевича также никакой шпионской деятельности не было». Твердость поведения Эфрона призвана образумить Клепинина, но тот уже выбрал линию «игры» со следствием. Перед тем как его уводят, он еще раз пытается остановить Эфрона: «Дальше запираться бесполезно. Есть определенные вещи, против которых

бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно... Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить...» Первая часть этого утверждения справедлива, особенно в условиях советского застенка; вторая в какой-то степени зависит от человека.

Можно представить себе чувства Сергея Яковлевича, после того как Клепинина уводят. Но допрос не кончен, хотя дело происходит ночью 30 декабря. Вводят Эмилию Эммануиловну Литауэр, которая повторяет свои показания о совместной с Эфроном двойной шпионской деятельности. Эфрону плохо, он не в состоянии отвечать и несколько раз просит прекратить допрос – но для следователей это к лучшему: может быть, легче будет добиться, чтобы обвиняемый «сознался». И Эфрон произносит: «Если все мои товарищи считают меня шпионом, и Литауэр, и Клепинин, и дочь, то, видимо, я шпион и под их показаниями подписуюсь». Формулировка «подписуюсь» воспринимается следователями как провокационная; им требуется прямой ответ: «Признаю себя виновным», но на это Эфрон не идет. Он снова и снова повторяет, что ему плохо и он не может продолжать допрос, но пытка не прекращается. Литауэр «признается», что до ареста она и Сергей Яковлевич договорились не выдавать друг друга, поэтому он все и отрицает. Эфрон продолжает настаивать на своей невиновности и с горечью (?! – протокол не фиксирует эмоций) произносит: «Но я верил Литауэр на все сто процентов».

После Литауэр Эфрон просит еще раз привести Николая Клепинина. Но между этими двумя очными ставками в протоколе, по словам Виталия Шенталинского, идет запись, которой нет в других публикациях: «Моя вербовка произошла в 1931 году. В конце своей деятельности во Франции я обнаружил, что работаю не только на советскую разведку, но и на французскую. Я действовал в связи с масонами, а вся масонская организация в целом и является органом французской разведки...» Шенталинский добавляет: «Под этими словами стоит подпись Эфрона. Откуда она взялась? Заставили подписать силой? Или подделали? Все может быть...» Однако, на мой взгляд, предложенная Эфроном формулировка обтекаема и двусмысленна. Он действительно был завербован в 1931 году, но не во французскую, а в советскую разведку; «Я обнаружил, что...» говорит о непреднамеренности и пассивности его сотрудничества (небывшего!) с французской разведкой; «я действовал в связи с масонами» – он и на самом деле входил в масонскую организацию по заданию НКВД. Таким образом, сделав это признание, Эфрон, может быть, отступил от своей твердости, но все еще не признал себя виновным.

Второй раз вводят Клепинина, который повторяет свои показания о шпионской деятельности Эфрона в пользу нескольких иностранных разведок. Теперь на очередной вопрос следователя: «На какие разведки вы работали?» – Эфрон, согласно машинописи, ответил: «Я работал на те же разведки, на которые работала группа моих товарищей». Но в очерке В. Шенталинского отмечена бесценная деталь: подписывая протокол, «Эфрон исправил эту фразу, переделал все на единственное число: "Я работал на ту же разведку, на которую..." —то есть подчеркнул, что вся группа работала на одну разведку – советскую». Из последних сил Эфрон старается держаться правды и отстаивает свою честь. Он повторяет: «Шпионом я не был».

Перед лицом следствия, применяющего «физические методы воздействия», и единомышленников, изобличающих его и уговаривающих сдаться, у него уже нет сил бесконечно повторять: отрицаю... отрицаю... отрицаю..., но хватает присутствия духа, чтобы исправить запись стенографистки. Для будущего он оставил «зарубку» о своем мужестве и честности.

Следующие полтора месяца его не допрашивают, а может быть, не сохранились протоколы. Затем следствие активизируется, допросы следуют с короткими промежутками. Исследователи отмечают, что на первом после перерыва протоколе подпись Эфрона почти неузнаваема. И однако на каждом допросе он снова и снова повторяет, что был секретным сотрудником НКВД – следователи как будто не слышат и игнорируют это – и ни с какой иностранной разведкой не связан. На вопрос, кого он завербовал для секретной работы на Советский Союз, Эфрон перечисляет двадцать четыре фамилии и даже указывает даты, когда произошла вербовка каждого; на вопрос, кого он завербовал во французскую разведку, отвечает: «Никого и никогда».

Следствие продолжалось девять месяцев. С 4 апреля по 30 мая Эфрон вновь находится в Лефортовской тюрьме. 2 июня 1940 года ему предъявили протокол об окончании следствия. В подписанном им документе говорится: «Обвиняемый Эфрон-Андреев С. Я., ознакомившись с материалами следственного дела, заявил, что следствие дополнить ничем не имеет». В принятой законом процедуре это значит, что допросы, очные ставки, «методы воздействия» окончены; дальше должно быть предъявлено обвинение и затем – суд. Но для Эфрона все еще не конец. Через неделю, 9 июня – что они сделали с ним за эту неделю?! – его снова привозят на допрос, и он признает, что является агентом французской разведки, с которой был связан через масонскую ложу «Гамаюн». Подпись – изломанная, едва

узнаваемая. При внимательном изучении этого документа В. Шенталинский заподозрил, что перед ним фальшивка, отметив, что «признание» и подпись стоят слишком отдельно друг от друга. К тому же в постановлении 22 июня 1940 года – еще через две недели! – о продлении срока заключения Эфрона опять отмечено, что заключенный себя виновным не признал...

Здесь, к сожалению, нет согласованности в имеющихся публикациях: по книге И. Кудровой можно сделать вывод, что Эфрон получил обвинительное заключение 13 июля 1940 года и еще год ждал суда; по публикации М. Файнберг и Ю. Клюкина – обвинительное заключение было ему предъявлено за день до суда, 5 июля 1941 года. Впрочем, вне зависимости от точности этой даты, вина всех обвиняемых считалась доказанной.

Дело слушалось в закрытом судебном заседании, то есть без участия защиты, свидетелей и даже обвинения, Военной коллегией Верховного суда СССР. Напомню, что уже две недели шла война с Германией и, может быть, поэтому в НКВД «вспомнили» об этом затянувшемся деле. Заседание состоялось 6 июля 1941 года; обвиняемые встретились здесь в последний раз. Эти трагические минуты отчасти запечатлены в протоколе.

Э. Э. Литауэр и Н. А. Клепинин-Львов признали себя полностью виновными и просили сохранить им жизнь. П. Н. Толстой виновным себя не признал, отказался от всех своих показаний в процессе следствия, но снова повторил, что Сергей Эфрон работал на французскую разведку. Н. В. Афанасов тоже не признал себя виновным: «Шпионом против СССР я не был. Я был честным агентом советской разведки». А. Н. Клепинина-Львова и С. Я. Эфрон-Андреев признали себя виновными в том, что «были участниками контрреволюционной организации „Евразия“». Эфрон добавил: «шпионажем я никогда не занимался. Показания Толстого, данные им на судебном следствии о том, что я, якобы, работал в пользу французской разведки, я категорически отрицаю». В последнем слове Сергей Яковлевич повторил: «Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза. Прошу объективно рассмотреть мое дело». О «справедливом решении» просила суд и Нина Николаевна Клепинина.

Приговор для всех был одинаков: «Подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества». И уточнено: «Приговор окончательный и обжалованью не подлежит»... Но может быть, тех, кто сразу «признался», меньше мучили?

Показательно, что в процессе следствия почти не возникал

вопрос об убийстве И. Рейсса. Из этого некоторые исследователи хотят сделать вывод – на мой взгляд неверный, – что Эфрон не имел отношения к этому делу, что все минувшие десятилетия ему несправедливо приписывали участие в этом убийстве. Я думаю, что, во-первых, в НКВД отлично знали обо всей предыдущей деятельности своих секретных агентов – зачем же спрашивать? А во-вторых, в данном случае она их совершенно не интересовала: что могли извлечь из нее следователи для *своего* «дела»? Сам же Сергей Яковлевич ко времени ареста, вероятно, понимал участие в убийстве как тяжкое моральное преступление – не об этом ли рыдал он в своей комнате? – и не мог позволить себе выдвигать это в свою защиту. Впрочем, и без дела Рейсса ему хватало причин для отчаяния: скольких людей он обманул, привлекая к работе на советскую разведку? Скольких отправил умирать в Испанию и в Советский Союз?

Почему же Эфрон так откровенно разговаривает со следователями, так подробно рассказывает о своем участии в добровольчестве, в евразийской организации, о ее контрреволюционной деятельности? И не только о фактической стороне, но и о своем духовном пути? Как понять мотивы его поведения на следствии и суде? С одной стороны, он признается в своей контрреволюционной деятельности, с другой – абсолютно отрицает свою вину... Ответ кажется мне простым. Как человек чести он не хочет лгать и изворачиваться и твердо противостоит лжи, которую ему навязывают и следователи, и соучастники по секретной работе. Он ведет свою линию честно и не отступает от нее, преодолевая свою сердечную болезнь (грудную жабу), галлюцинации, психическую подавленность, пытки – и даже страх за близких. На одном из допросов он высказал свое кредо в лицо выжимавшему из него ложные показания следователю: «Я говорю правду. Я могу ошибиться в ответе, потому что память мне может изменить, но сознательной неправды я не говорил и говорить не буду». Я не перестаю удивляться, для чего нужно было проводить эти многомесячные дела, если приговор был известен заранее. И еще больше – тому, зачем КГБ хранил эти свидетельства своей нечеловеческой сущности?

Сергей Эфрон во время следствия готов был сотрудничать с НКВД, говорить полную правду о своей работе и работе людей, с ним связанных; он был убежден, что у него нет вины перед Советским Союзом и НКВД, служа в котором он искупал свои прежние ошибки (преступления?). В ходе следствия ему наглядно продемонстрировали, что ни его правда, ни его «преступления» не имеют перед лицом суда никакого значения. И тем не менее даже на суде он продолжал держаться своей линии: признал себя

виновным в антисоветской деятельности во время участия в евразийской организации и категорически отказался признаться в шпионаже против Советского Союза. «Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки» – на этом он стоял до конца.

Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – *там:*

Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.

Думала ли Цветаева, создавая много лет назад эти стихи, что они так буквально отнесутся к ее мужу?

Тех, кто был осужден вместе с Эфроном, расстреляли быстро: Н. В. Афанасова – 27 июля; Н. Н. Клепинину, Э. Э. Литауэр и Н. А. Клепинина – 28 июля; П. Н. Толстого – 30 июля 1941 года. Сергей Яковлевич Эфрон просидел в камере смертников 102 дня. Чего ждали «исполнители»? 16 октября 1941 года – в день страшной московской паники, когда немецкие войска стояли уже в пригородах, а городские власти практически бросили Москву на произвол судьбы; когда по улицам летали разной секретности бумаги из покинутых учреждений и уже начались грабежи магазинов и сберегательных касс, – НКВД продолжал свою работу. Именно в этот день в Бутырскую тюрьму поступило распоряжение с такой формулировкой: *«Выдайте* коменданту НКВД СССР осужденных к расстрелу ниже поименованных лиц: 1. Андреев-Эфрон Сергей Яковлевич...» и список – еще 135 фамилий. В конце – расписка тех, кто привел приговоры в исполнение.

Эфрон пережил Цветаеву на 45 дней. В годы массовых реабилитаций Сергей Яковлевич Эфрон и Ариадна Сергеевна Эфрон были реабилитированы «за отсутствием состава преступления». Но Цветаева об этом никогда не узнала.

* * *

Трудно сказать, почему Цветаеву оставили на свободе. Эфрона, его подельников и дочь во время следствия спрашивали о ней. Ариадна рассказывала о нелегкой жизни семьи в эмиграции, о сложных отношениях, в определенной мере связанных с материальными трудностями. На вопрос: «Только ли желание жить вместе с мужем побудило вашу мать выехать за

границу?» – она правдиво ответила: «Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход советской власти и не считала для себя возможным примириться с ее существованием...» Сергей Яковлевич – лишь однажды, на первом допросе следствие поинтересовалось его женой: «А какую антисоветскую работу проводила ваша жена?» – ответил: «Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. Хотя в некоторых своих произведениях высказывала взгляды несоветские...» И на настойчивые полувопросы-полуутверждения о том, что она печаталась в эмигрантских – следовательно, антисоветских – изданиях, повторяет: «Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела...»

Эмилия Литауэр, которой Сергей Яковлевич доверял «на все сто процентов», показала не только, с какими изданиями («Современные записки», «Евразия») и людьми (эсерами И. И. Бунаковым-Фондаминским[244] и В. И. Лебедевым, например) была связана Цветаева в эмиграции, но вспомнила и о ее высказываниях на болшевской даче: «в семейном кругу она не стеснялась заявлять, что приехала сюда, как в тюрьму, и что никакое творчество для нее тут невозможно». Отвечая на вопрос об «антисоветской деятельности Цветаевой», она сказала об ее «резко антисоветских настроениях» и стихах, воспевающих Белую армию. Н. А. Клепинина спрашивают о Цветаевой неоднократно, и он явно старается дать ей наименее опасную в глазах НКВД характеристику: «Все ее интересы сосредоточены на литературе. Кроме того, она резко выраженный индивидуалист и человек несоциальный по природе...»; «Ее политические убеждения?.. Обычно она противоречит тому человеку, с которым в данный момент говорит. Говоря с белоэмигрантами, она неоднократно высказывала просоветские взгляды, а говоря с советскими людьми, защищала белоэмигрантов. Весь строй СССР и коммунизм ей чужды. Она говорила, что приехала из Франции только оттого, что здесь находятся ее дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь... <...> В связи с арестом сначала сестры, а потом дочери и мужа ее недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что аресты несправедливы». П. Толстой сообщил следствию, что Марина Цветаева «убеждений самых махровых монархических. Пусть это не покажется странным, но ни Эфрону, с его троцкистской, ни Марине, с ее монархической идеологией, не мешают как будто исключающие взаимно друг друга точки зрения: они прекрасно уживаются друг с другом, так как они оба,

в конечном счете, стремятся к одному – возврату к прошлому...»

Для советского правосудия любого из этих показаний было более чем достаточно, чтобы возбудить дело против Цветаевой или подключить ее как сообщницу к делу мужа. Тем не менее ее не арестовали и ни разу не вызвали на допрос как свидетельницу... Забыть о ней не могли, ибо она напоминала о себе письмами на имя народного комиссара внутренних дел Л. П. Берии, доказывая ошибочность ареста своих близких и взывая к справедливости.

После ареста Сергея Яковлевича у Цветаевой остался только Мур, еще больше, чем она, потрясенный происшедшим. Цветаева приобщилась к опыту миллионов советских женщин – стоянию в огромных тюремных очередях. В протоколах, подписанных ею при аресте дочери и мужа, оставшимся на свободе родным вручали путеводную нить: «За всеми справками обращаться в комендатуру НКВД (Кузнецкий мост, 24), указывая № ордера (на арест. – *В. Ш.*), день его выдачи, когда был произведен обыск». Окошки, где давали справки о заключенных и принимали передачи, определяли жизнь: если приняли – человек жив! Поскольку Аля и Сергей Яковлевич содержались в разных тюрьмах, «окошки» для них работали в разных местах и в разные дни и стоять в очередях приходилось довольно часто. В письме Л. П. Берии Цветаева сообщает, что первую денежную передачу для дочери у нее приняли только 7-го, а для мужа 8 декабря 1939 года... К счастью, «бумаги» у нее уже были: она получила советский паспорт 21 августа 1939 года. Без паспорта ее положение оказалось бы очень сложным.

В болшевском доме они жили практически одни; Клепинины более или менее перебрались в Москву. Наступила осень, дров не было, мать и сын собирали хворост в лесу. Не было и теплой одежды, которая находилась в багаже, отправленном из Парижа на имя Ариадны Эфрон, почему Цветаева и не могла получить его на таможне. 31 октября 1939 года она написала в Следственную часть НКВД, прося выдать ей с таможни хотя бы зимние вещи для нее и Мура – безрезультатно. Забегая вперед, скажу, что багаж она получила почти год спустя, в конце июля 1940 года, после приговора по делу Ариадны Эфрон. Приговор включал пункт «без конфискации имущества», возможно, без этого цветаевский багаж был бы конфискован как принадлежащий ее дочери.

Жизнь делала очередной крутой вираж, требовала перемен и выхода из «затворничества». 7 ноября около болшевского дома снова остановилась страшная машина – приехали за Клепиниными; снова обыск, и Н. А. Клепинина увозят, а клепининские комнаты опечатывают. Нину Николаевну и Алексея

Сеземана в ту же ночь арестовали в Москве на разных квартирах. Утром на дачу приехала жена Алексея Ирина Горошевская, чтобы сообщить об аресте мужа. С клепининской стороны на ее стук никто не ответил; с эфроновской на крыльцо вышла Марина Ивановна. «Она была то ли в накинутом на плечи пальто, то ли в чем-то еще, и у нее были очень растрепанные волосы из-за ветра. На меня она произвела впечатление пушкинского Мельника, — вспоминала Горошевская. – Я ее спрашиваю: „Вы знаете, что сегодня ночью арестовали Алешу?“ Она перекрестила меня и говорит: „Ирина, Бог с тобой. Здесь сегодня ночью арестовали Николая Андреевича“. <…> Я очень плакала, и Марина Ивановна сказала: „Иди и не входи сюда…“»

Цветаева с Муром «продержались» в Болшеве еще два-три дня; оставаться одним в наполовину опечатанном, мрачном и холодном доме было невыносимо. Что испытывала Цветаева в эти дни и месяцы? В тетради – четыре слова: «Разворачиваю рану. Живое мясо». Некоторое время спустя она сказала близкой знакомой: «Если *они* за мной придут – повешусь».

Цветаева очутилась вдвоем с Муром, без дома и средств к существованию. Бросив квартиру, книги, утварь, они бежали в Москву. Их приютила Лиля Эфрон, жившая все в том же доме в Мерзляковском переулке, в коммунальной квартире, в полутора маленьких комнатках. Здесь можно было «пережить» какое-то время, но жить невозможно. «Нора, – писала Цветаева, – вернее – четверть норы – без окна и без стола, и где главное – нельзя курить». Тем не менее это был родственный кров. Нельзя не восхищаться душевной щедростью и смелостью Елизаветы Яковлевны, не побоявшейся взять к себе попавших в страшную беду близких. Немногие отваживались на такое. Теперь на Цветаеву легла ответственность за всю семью; ей необходимо было искать жилье и работу. Как писатель-профессионал она должна была попытаться найти литературный заработок – это заставило ее выйти в мир. Приходилось начинать литературную «карьеру» заново: для официальной советской литературы Цветаева давно перестала существовать. Но была ли она известна в России или само имя ее исчезло из памяти любителей поэзии? Перерабатывая в 1940 году двадцатилетней давности стихотворение «Тебе – через сто лет», Цветаева, в частности, заменила «забыли» на «не помнят»:

> – Друг! Не ищи меня! Другая мода!
> Меня не помнят даже старики.

Думала ли она, что сама память о ней-поэте исчезла? Это

было не совсем так. Ее стихи помнили поэты ее поколения, с кем одновременно она начинала, с кем печаталась в альманахах первых лет революции. Но и любители поэзии знали ее по старым сборникам. Поэт и переводчик С. И. Липкий, которого я спросила об этом, сказал: «Я родился в 1911 году. Я и мои сверстники – последнее поколение, которое еще не одичало. Мы всё знали, знали и любили русскую поэзию, символистов, то, что было после них – Мандельштама, Цветаеву...[245] Я начал интересоваться поэзией примерно к 1925-му году, тогда еще можно было купить поэтические сборники, у меня были собственные «Версты» (пропали во время войны). Для нас Цветаева было святое имя, мы знали, что она замечательный поэт. Кое-что ходило в списках, доходили некоторые стихи из-за границы. Мы знали, что Цветаева там не пропала...» Л. К. Чуковская вспоминает, что знала Цветаеву по «Верстам». Друзья В. К. Звягинцевой рассказывали, что в 1927—1929 годах она устраивала дома вечера, на которых ее приятельница-актриса читала Цветаеву, в том числе отрывки из «Крысолова». Один мой знакомый вспоминал, как году в 1928-м невеста привезла ему в ссылку в Среднюю Азию переписанного «Крысолова». Знаток и собиратель русской поэзии XX века Анатолий Тарасенков – в то время молодой литературный критик – среди других «забытых» поэтов собирал изданные до ее отъезда сборники стихов Цветаевой, переписывал отовсюду ее опубликованные и неопубликованные стихи и переплетал их в книжечки. У него составилось самое полное собрание стихотворений Цветаевой. В узком кругу ценителей ее имя было живо. Начинать приходилось заново, но не на пустом месте: Цветаеву отягчал груз ее тридцатилетнего писательского прошлого, сам факт эмиграции и то, что она оказалась членом семьи «врагов народа». Этого хватало, чтобы стать пугалом для советского учреждения, чиновника и тем более отдельного гражданина. Между Цветаевой и большинством людей, с которыми ей приходилось встречаться, лежала пропасть страха. Летом 1966 года в письме Павлу Антокольскому – Павлику «Повести о Сонечке» – А. С. Эфрон робко касается этой темы: «Как жаль, что Ваша с мамой настоящая встреча – после ее возвращения в СССР – не состоялась. Вы показались ей далеким и благополучным в трагическом неустройстве ее жизни по приезде. То была эра не встреч, а разлук навсегда – те годы». На самом деле Цветаевой вовсе не «показалось» – орденоносец Антокольский, как и многие другие, боялся ее, боялся повредить себе встречей с эмигранткой, женой арестованного «белогвардейца»; с ее «трагическим неустройством» Цветаева была не к месту в литературном мире Москвы.

Что же представляла собой «литература» ко времени возвращения Цветаевой? Она стабилизировалась, упорядочилась, выработала новые формы существования. Давно исчезли не только разные направления, объединения и группировки, но и сами представления о них. Уже несколько лет единый Союз советских писателей объединял самых «достойных», «избранных». Ступенькой ниже были члены Литературного фонда, осуществлявшего распределение материальных благ; и совсем внизу этой лестницы находились члены группкома литераторов. Социалистический реализм был объявлен единственным методом и стал кнутом и пряником советской литературы. Исчезла даже память о частных и кооперативных издательствах, которых было много перед отъездом Цветаевой; теперь какой бы то ни было заработок писатель мог получить только из рук власти. Уже было уничтожено большинство тех, кому суждено было быть уничтоженным (Цветаева расспрашивала Липкина об арестованном Мандельштаме), – не все, конечно, ибо процесс уничтожения не прекращался, но проходил с большей или меньшей степенью интенсивности: к 1939 году один из главных туров был завершен. Те, кому удалось сохраниться, должны были активно превращаться в «нужных писателей», по давнишнему выражению О. Мандельштама. Цена была немалая: жизнь и возможность жить.

Появились писатели-орденоносцы: 1 февраля 1939 года «Известия» опубликовали Указ о награждении орденами 172 писателей «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы». По страшной иронии судьбы в этот день жена Осипа Мандельштама получила в Москве посылку, вернувшуюся из лагеря «за смертью адресата»... Среди других награжденных Н. Асеев, П. Павленко, А. Фадеев получили ордена Ленина; С. Кирсанов, И. Сельвинский, М. Шагинян – Трудового Красного Знамени; П. Антокольский, В. Лебедев-Кумач, Алексей Толстой, К. Тренев – Знак Почета. При именах последних указывалось, что они уже были награждены: Лебедев-Кумач и Тренев – орденами Трудового Красного Знамени, А. Толстой – Ленина. Субординация соблюдалась неукоснительно. Общемосковское собрание писателей приняло приветствие товарищу Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Празднуя радостный день награждения советских писателей, мы отдаем себе отчет в том, как много с нас спросится, как много нужно еще сделать...» Оно кончалось словами: «Мы хотим, товарищ Сталин, чтобы каждая наша строка помогала делу, которому Вы посвятили свою жизнь, – делу коммунизма»[246].

Если судить по официальным источникам, жизнь в советской

стране проходила, как сплошной праздник. В первые месяцы по возвращении Цветаевой праздновали: посещение Советского Союза датским писателем Мартином Андерсеном-Нексе, съезд народных сказителей в Москве, 1000-летие армянского эпоса «Давид Сасунский», 50-летие со дня смерти Н. Г. Чернышевского, «освобождение» Западной Украины и Западной Белоруссии Красной армией. На это событие прозаики и поэты откликнулись множеством стихов, очерков, фронтовых заметок… Одновременно проводился очередной разгром литературных журналов за очередные «политические ошибки», но в декабре творческой интеллигенции кинули новый пряник – постановление об учреждении Сталинских премий.

Внутри каждого жил страх. Все вчитывались в подтекст разгромных статей, пытаясь угадать собственную участь. По ночам прислушивались к звукам проезжающих автомобилей и движению лифта на лестничной клетке – ждали ареста. Тем сильнее стремились заглушить страх комфортом и весельем. Уже заселили роскошный писательский дом в Лаврушинском переулке, застраивали дачный поселок Переделкино. Один за другим появлялись дома творчества. Писательский Клуб гордился лучшим в Москве поваром. Приведу записи из дневника современницы; она описывает вечер в Клубе писателей в начале 1938 года:

> «Спускаемся в царство шуб енотовых, обезьяньих, оленьих, на рыбьем меху, бесконечные ботики и кашне, кашне и ботики.
>
> Ольга Ивановна (жена «нужного» писателя Леонида Соболева. – *В. Ш.*) в длинном серебристом платье из тафты. На грудь ее падает легкий светлый камень.
>
> – Мама мне сказала, что эту слезку можно надеть – никто не подумает в наше время, что это настоящий камень, – говорит она мне мельком.
>
> Странно, думаю я, законспирированный бриллиант? Зачем? <…>
>
> Встречи наши окрашены конституцией, выборами в Советы. Волна заседаний охватила и писательский дом, и дом композиторов… В правлении Союза писателей и писательского дома появились новые люди… в них чувствовалось… стремление к комфорту, все как-то лихорадочно обзаводились машинами, дачами, идет раздел писательских дач, Соболев срочно кончает курс шоферов – и все это делается с какой-то лихорадочной поспешностью. Поэт Кирсанов делается таким

метрдотелем писательского дома, заговорили о кухне, в воздухе носились разговоры о блестящей кухне, гаражах, судорожно искали бензин. <…> и как-то на моих глазах появляются черты хищнического, люди охвачены азартом. Начинается какая-то трамвайная давка с отдавливанием ног…» Описывая встречу Нового 1939 года в Клубе писателей, она пользуется пушкинским определением – «пир во время чумы»[247].

Мы знаем нескольких сильных духом, сознательно не желавших принимать участие ни в литературном процессе с единственно допустимым методом «социалистического реализма», ни в новых формах литературной жизни. Но и из них никому не удалось устраниться полностью, если он остался жив. Да и не они определяли моральную атмосферу времени, тем более то, что называется литературной политикой, а на практике сводится к возможности для писателя жить и зарабатывать литературным трудом.

Закономерно, что Цветаевой не было места в советской литературе предвоенных лет. Но жить, обеспечить сына она считала своим долгом. Необходимы были жилье и заработок, чтобы кормить его и себя, носить передачи в тюрьму мужу и дочери. В этот отчаянный момент Цветаевой помог Пастернак.

Судя по сохранившимся воспоминаниям, намекам, слухам, душа Пастернака больше не была распахнута для Цветаевой. Их отношения себя исчерпали. Исчез человеческий, мужской интерес, который так сильно звучал в пастернаковских письмах двадцатых годов. Вряд ли сохранился и интерес к тому, что делала Цветаева в последние годы; вскоре после ее смерти Пастернак писал о ней как о поэте «гениальных возможностей»[248] – не свершений. Если бы судьба Цветаевой на родине сложилась благополучно, возможно, он и не встречался бы с ней. В их отношениях больше не было душевной близости, братства, обмена стихами – что всегда так необходимо было Цветаевой. Злые языки говорят, что он опасался ревности своей жены. Во всяком случае, из рассказа Цветаевой Липкину показалось, что Пастернак принял ее не как «равносущую», а как бедную, попавшую в беду сестру. Объективно говоря, это было много – он оказался едва ли не единственным, кто помогал Цветаевой в устройстве ее дел. В трагической ситуации Пастернак протянул Цветаевой руку помощи. Он пытался заинтересовать ее судьбой главного литературного босса А. Фадеева, но из этого ничего не получилось: по «квартирному» вопросу Фадеев ответил ей, что у Союза писателей есть «большая группа *очень хороших*

писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади...» (выделено мною. – *В. Ш.*) — очевидно, в число «очень хороших» Цветаева не входила. Зато В. К. Звягинцева определенно помнила: «Пастернак свел ее с Гольцевым, который дал ей переводы». Виктор Гольцев был влиятельным деятелем в области литератур советских народов, от него зависело распределение работы, и с его помощью Цветаева получила переводы национальных поэтов по подстрочникам. Липкину запомнился, со слов Цветаевой, обед с грузинскими поэтами, устроенный для нее Пастернаком: прекрасная еда, вино, цветистое восточное красноречие. Цветаева недоумевала: как можно целый день провести за обеденным столом?.. Но может быть, как раз в результате этого обеда она и получила заказ на переводы поэм грузинского классика Важа Пшавела...

После многонедельных волнений, отчаяния, обивания официальных порогов – а Мур уже начал учиться в московской школе – в декабре 1939 года Цветаева переехала в дачный поселок Голицыно – около часа поездом от Москвы по Белорусской железной дороге. Здесь находился один из домов отдыха Литературного фонда – «Голицыно». И в этом помог Пастернак: необходима была чья-то авторитетная и настойчивая поддержка, чтобы человека в положении Цветаевой пустили в писательский дом. После разговора с Пастернаком А. Фадеев направил Цветаеву в Литфонд. Правда, в сам дом Цветаеву не пустили, хотя это чрезвычайно облегчило бы ее жизнь. Поводом могло служить то, что она была с Муром, а туда не принимали «детей». Она получила для себя и сына курсовки. Это значило, что они могут питаться в доме, а жить должны где-то в «частном секторе» – то есть дополнительно платить за комнату и заботиться о дровах. Директор голицынского дома С. И. Фонская сняла для Цветаевой комнату в зимней даче в конце Коммунистического проспекта. Опять чужая комната, чужие вещи, отсутствие устойчивости, притягивающая страхи стеклянная терраса... Хлопоты о дровах. Но Мур пошел в седьмой класс голицынской школы, и можно было рассчитывать, что проучится здесь до конца учебного года, – для Цветаевой его учеба была важнейшей из забот. Из Дома творчества она в кастрюльках приносила домой завтрак, а обедать и ужинать они с Муром приходили в дом. Здесь же она пользовалась телефоном. Они прожили в Голицыне больше пяти месяцев, за это время писатели в доме сменяли друг друга. Это была живая литературная и человеческая среда для них обоих – в особенности после Болшева. Цветаева со многими познакомилась, с некоторыми приятельствовала, беседовала, гуляла по лесу...

Свободное время Мур тоже проводил среди жителей дома.

Из Голицына 23 декабря 1939 года Цветаева пишет письмо наркому внутренних дел Л. П. Берии. Сколько подобных писем шло по этому адресу и в адрес «лично товарища Сталина»? Подсчитать невозможно; я думаю, огромное множество советских семей вступали в эту безответную и бессмысленную переписку. Письмо Цветаевой, я уверена, не похоже на все другие – прежде всего своим тоном. К этому всесильному и страшному человеку обычно обращались с горькими жалобами и униженными просьбами, но Цветаева и в роли просителя не опускается до жанра «челобитной». Она начинает прямо:

> «Товарищ Берия,
>
> Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, *Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева,* и моей дочери – *Ариадны Сергеевны Эфрон,* арестованных: дочь – 27-го августа, муж – 10-го октября сего 1939 года».

Цветаева была блестящим мастером эпистолярного жанра, но в данном случае речь идет не о писательском мастерстве, а о человеческом достоинстве. В письме к Берии она абсолютно честно, не лукавя и не прикрашивая реальность, рассказывает о трагической ошибке Сергея Яковлевича, ставшего белым офицером, о «поворотном пункте в его убеждениях» в момент, когда на его глазах казнили красного комиссара (факт, о котором я впервые узнала из этого письма), и о его нелегком пути к прозрению и полной перемене политических взглядов и деятельности.

> «Не зная подробности его дел, – пишет она, – знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, – полное перерождение человека». Цветаева не просто пытается вызволить мужа из тюрьмы, она прежде всего защищает его честь: «Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его – 1911 г. – 1939 г. – без малого 30 лет, но то, что я знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги...» По ходу этого длинного письма Цветаева не произнесла ни одного слова, не соответствовавшего ее понятию о чести и достоинстве. Она не взывает к жалости и не просит о снисхождении: «Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом

служил своей родине и идее коммунизма (что чистая правда! – как бы сама Цветаева ни относилась к этому „служению“. – *В. Ш.*). Это – тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни – особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет *не* оправданный.

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы – проверьте доносчика.

Если же это ошибка – *умоляю,* исправьте пока не поздно».

Письмо написано в необычном для Цветаевой стиле: она не играет мыслями и словами; ее лексика точна и конкретна, экспрессия подчинена логике, письмо звучит сильно и убедительно… не для Берии, конечно.

Упомяну, что москвичи обращали внимание на речь Цветаевой. С. И. Липкина удивил ее прекрасный русский язык, ему почему-то казалось, что за годы эмиграции она могла забыть или отвыкнуть от него. Е. Б. Тагер говорил о ясности, которой «отмечена была ее поразительная русская речь». Естественно, что Цветаева блестяще владела русским языком и замечательно говорила. Но, очевидно, имело значение и то, что за годы ее отсутствия в языке произошли большие сдвиги, он как бы «осоветился» – Цветаева же продолжала говорить на прежнем, досоветском русском. Отсюда у Т. Н. Кваниной возникало ощущение «старомодности и книжности». Впрочем, языковые новшества Цветаева живо воспринимала: в гостях у Звягинцевой строку С. Щипачева «Как мы *под* тридцать лет *седели* и не старели в шестьдесят…» она переиначила: «Как мы *по* тридцать лет *сидели…*»

Жизнь в Голицыне делилась между работой и поездками в Москву: стоянием в тюремных очередях, посещением редакций. Работа, слава богу, была, и Цветаева не отказывалась ни от чего: переводила, отвечала на журнальный «самотек», редактировала французский перевод калмыцкого эпоса «Джангар». Все, за что бралась, она делала в полную меру сил. Т. А. Фиш – литературный консультант «Красной нови» – вспоминает, как рецензировала Цветаева стихи никому не ведомых авторов. Фиш удивлялась серьезности цветаевских ответов и однажды спросила, зачем Цветаева тратит на это так много времени. Цветаева возразила, что иначе нельзя – ведь речь идет о Поэзии. И действительно, говорит Т. А. Фиш, ее письма начинающим поэтам всегда были выше и значительнее их стихов. Может быть, именно

поэтому зарабатывала она мало. Говорят, что те, кто давал ей работу, старались оплачивать ее как можно лучше. Так, за строку перевода она получала по 3—4 рубля, это была обычная оплата, выше получали только несколько «избранных». Но из сохранившегося в письме к писателю Н. Я. Москвину подсчета Цветаевой своих заработков ясно, что для жизни этого было недостаточно: за пять месяцев 1940 года она заработала 3840 рублей – около 770 рублей в месяц. Между тем в Голицыне она платила за курсовки 830 рублей плюс 250 за комнату, в которой жили они с Муром. К тому же этот подсчет относится к самым «урожайным» месяцам Цветаевой: в него включены наиболее значительные ее переводы. В другое время она зарабатывала меньше, а иногда и совсем ничего; литературный заработок – дело ненадежное. Халтурить Цветаева не могла и не желала.

Случайно мне на глаза попалась статья Алексея Толстого и Всеволода Вишневского «Об авторском гонораре», где они приводят сравнительную таблицу писательских заработков[249]. Судя по ней, Цветаева относилась к беднейшей массе советских писателей. В ее черновой тетради, которую показали мне Тагеры, между стихотворными строками, поисками слов и рифм я видела подсчет времени. Оно четко распределялось между тюрьмой и работой: все время, когда ей не приходилось стоять в тюремных очередях и обивать пороги учреждений, Цветаева отдавала переводам. Я не запомнила цифр, но выглядели они внушительно. Цветаева удивлялась, как мало она при этом зарабатывает.

В Голицыне хорошо работалось. Это был самый «домашний» из писательских домов. В нем жили одновременно 9—10 человек, все встречались за большим обеденным столом в уютной столовой; трещали дрова в печах, в комнатах «на всякий случай» были готовы керосиновые лампы – было тепло, уютно, относительно дружественно. Цветаева резко выделялась даже в писательской «толпе». Татьяна Николаевна Кванина замечательно рассказала мне о встрече с Цветаевой: «Мы с мужем жили в Голицыно. Я тогда недавно вышла замуж и впервые попала в эту среду. И каждый живший там писатель казался мне Львом Толстым, я на всех смотрела почтительно. И вот однажды, когда все сидели за столом и болтали, открылась дверь и... нет, она даже не вошла и как будто дверь никто не открывал... возникла в дверях стройная женщина, вся в серебряных украшениях. В нескольких шагах за нею шел (просто шел!) большой красивый мальчик, как оказалось, ее сын. Их места были в середине стола, они сели – и сразу изменилась атмосфера в столовой. Тут же прекратилось лакейское перемывание чужих костей, все как-то

потускнели и перестали мне казаться Львами Толстыми... Поднялся уровень застольного разговора. При Цветаевой невозможна была пошлость, пересуды. Не только смысл того, что она говорила, был всегда высок и интересен, но и сама ее речь была необычна: мне она показалась несколько старомодной и книжной. При Марине Ивановне все как бы поглупели, никто не оказался равен ей за этим столом.

После обеда все почему-то пошли ее провожать. Я бы не пошла сама, но Николай Яковлевич (писатель Н. Я. Москвин, муж Т. Н. Кваниной. – *В. Ш.*) пошел со всеми, и я тоже. Но шла я как-то отдельно, я в этой компании не была своей; и когда по дороге попалось дерево, я подошла и погладила его. Было очень хорошее дерево. Цветаева заметила это и выделила меня. И когда мы прощались около ее дома, она пригласила нас к себе – почему-то только нас, меня и Николая Яковлевича. И мы пришли к ней в тот же вечер... Мы стали у нее бывать...»[250]

Далеко не все были готовы с открытым сердцем отнестись к Цветаевой. Владимир Волькенштейн, в годы московской разрухи бывший близким приятелем, оказавшись рядом с Цветаевой за голицынским столом, не только не подошел к ней, но не ответил на ее приветствие и попросил директора дома пересадить его подальше от Цветаевой. Говорят, Цветаева плакала от оскорбления...

Какой видели, как воспринимали Цветаеву те, кто встречал ее по возвращении в Советский Союз? Приведу некоторые из воспоминаний. Поэтесса О. А. Мочалова, которую летом семнадцатого года познакомил с Цветаевой Бальмонт, такой увидела ее теперь: «Марина Цветаева была худощава, измучена, с лицом бесцветно-серым. Седоватый завиток над лбом, бледно-голубые глазки, выражение беспокойное и недоброе. Казалось, сейчас кикимора пойдет бочком прыгать, выкинет штучку, оцарапает, кувыркнется. Разговаривала она судорожно-быстро, очень раздражительно, часто обрывая собеседника: – „В мире физическом я очень нетребовательна, но в мире духовном – нетерпима!“ Одета была очень бедно: все – что-нибудь, какое-нибудь. Верхнее – беретик, холодная шубка с сереньким воротничком...» Наряду с жалостью чувствуется здесь раздражение; пожалуй, оно даже преобладает: поведение «кикиморы» Мочалова воспринимала как «штучки». Вот как она описывает посещение ее Цветаевой: «...она разделась, села за письменный стол и начала что-то писать. Я подумала – не снизошло ли вдохновенье, и робко спросила, что она пишет.

– Почему вас интересует? – сердито возразила М. И. – Это моя рабочая записная книжка, у вас тоже такая есть. Дома я бы

записать не успела, а тут я могу.

Я покорно принялась готовить чай, в надежде, что запись не слишком затянется. Наконец, М. Ц. с удовлетворением отложила ручку и положила тетрадь в матерчатую хозяйственную сумку, которую всегда брала с собой, приговаривая: «А вдруг я что-нибудь куплю»».

Точка зрения зависит от настроенности – Елена Ефимовна и Евгений Борисович Тагеры о том же самом рассказывали с гордостью: Цветаева иногда, приходя, работала у них за письменным столом! Значит, она чувствовала себя уютно в их доме… С. И. Липкин запомнил Цветаеву как умную собеседницу, живую, смеющуюся, «не плаксу». Она была худенькая, на четверть, примерно, седая («темно-серая»), говорила быстро и часто вертела головой; «одета бедно, но не по-нашему». Может быть, эта «не-нашесть» и вызывала раздражение? Маскируясь жалостью, оно особенно отчетливо слышно в воспоминаниях Мариэтты Шагинян: «Часть тогдашних моих современников восхищалась не только „не нашим“, „западным“ звучанием ее стихов (что это должно значить? – *В. Ш.),* но еще и не нашими, западными черточками ее внешнего облика – верней, западными остатками их – каким-то заношенным, застиранным шарфиком вокруг шеи, с необычным рисунком, необычной по форме гребенкой в волосах, даже этим дешевым истрепанным блокнотиком и узким металлическим карандашиком в ее руках, – у меня сердце сжималось от жалости, когда эти убогие следы недавнего прошлого (словно вода с ботинок наследила в комнате) бросались мне в глаза»[251]. Когда я прочитала этот пассаж Татьяне Николаевне Кваниной, она возмутилась: это взгляд мещанина! абсолютно не было заметно, в чем одета Цветаева, настолько необычен был весь ее человеческий облик; бросались в глаза только серебряные браслеты, которые ей очень шли… Тридцать с лишним лет спустя Шагинян писала о Цветаевой так же свысока, как смотрела на нее в Голицыне: лишенная дома, близких, «места под солнцем», не приобщившаяся к «марксистской философии», адептом которой была Шагинян, Цветаева не представляла для нее никакого интереса. Шагинян даже не вспомнила, что в далекой молодости была одной из первых рецензенток Цветаевой.

Но что могло значить мнение орденоносной, чужой и чуждой Шагинян по сравнению с отношением Анны Ахматовой – «Музы Плача», «Златоустой Анны», которой Цветаева долгие годы восхищалась? Они встретились уже после Голицына, перед самой войной, в июне 1941 года, когда Ахматова приезжала в Москву хлопотать за своего вторично арестованного сына. Это была их

единственная встреча, но продолжалась она два дня подряд – по несколько часов каждый день. Рассказывая о ней Л. К. Чуковской, Ахматова воспроизвела разговор по телефону: «Я позвонила. Она подошла.

– Говорит Ахматова.

– Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: *она* меня слушает)». Последняя фраза полна иронии, но какого ответа ждала от Цветаевой Ахматова: вряд ли она рассчитывала, что та начнет восторженно щебетать, услышав ее имя. О самой встрече Ахматова сказала только: «Она приехала и сидела семь часов»[252]. Так говорят о незваном и неинтересном госте. В записных книжках Ахматовой шестидесятых годов среди набросков к книге воспоминаний есть запись и о Цветаевой: «мне хочется просто „без легенды“ вспомнить эти *Два дня*». Но не вспоминает. Она рассказывала, что на второй день, когда они встретились в Марьиной Роще у Харджиева, за кем-то из них – а может быть, и за обеими – следили. Есть у Ахматовой запись и о том, что она прочла Цветаевой начало «Поэмы без героя»: «Когда в июне 1941 г. я прочла М. Цветаевой кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: „Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об арлекинах, коломбинах и пьеро“, очевидно полагая, что поэма – мирискусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, т. е. то, с чем она, м<ожет> б<ыть>, боролась в эмиграции, как со старомодным хламом»[253]. Да, мирискусничество, под которое стилизовано начало поэмы Ахматовой, было чуждо Цветаевой, но она никогда не принимала участия в какой бы то ни было литературной «борьбе», а главное – надо обладать незаурядной прямотой, чтобы сказать автору, что ты не принимаешь его произведение. Цветаева подарила (а может быть, и прочла?) Ахматовой «Поэму Воздуха» – одну из сложнейших и значительнейших для нее самой вещей – метафизическую, вслед за «Новогодним» устремляющуюся в иной мир. Не ее ли имела в виду Ахматова, говоря о причине самоубийства Цветаевой: «Некоторые считают, что ее гибели были и творческие причины, говорят, она написала поэму, совсем заумную, всю из отдельных, вылитых строк, но без всякой связи... Конечно, такую поэму можно написать только одну, второй не напишешь...»[254] Тяжело слышать такое из уст Ахматовой. У Цветаевой не было «заумных» стихов, ни одной бессмысленной строки. Горько, но не столь уж удивительно, что они остались недовольны стихами друг друга: слишком противоположны их лирические «я». Каждая – эгоцентрик, чье творчество объемлет проблему «я – и мир». Но если «я» Ахматовой прежде всего – женщина, то «я» Цветаевой –

поэт. В этом различие их ощущения себя в мире. Я бы сказала, что мир Ахматовой уже, интимнее, более замкнут, нежели мир Цветаевой; он пропущен сквозь призму женского восприятия и женской судьбы, гораздо больше связан с землей, с реальностью, чем мир поэзии Цветаевой, рвущейся вверх:

...от
Земли, *над* землей, прочь от
И червя и зерна...

Невероятный, несовременный, вневременно́й цветаевский романтизм воспринимался Ахматовой, и не только ею, как «манера» или даже манерничанье. Неслиянность, несовместимость их поэтических голосов всегда ощущались как «антагонизм». Ольга Мочалова записала высказывание Пастернака, относящееся к 1944 году: «У Ахматовой есть лукавый прищур, а у Марины – напыщенность. Примус в кухне разлился и вспыхнул вокруг сына, она вообразила, что это огненное кольцо Зигфрида»[255]. Даже Пастернак называет напыщенностью то, что раньше считал врожденной цветаевской гиперболичностью, возвышенностью чувств и представлений о мире: в поэзии она предстает не как Марина Ивановна Цветаева, 1892 года рождения, прописанная или *не* прописанная по такому-то адресу, а как явление – Поэт, не ею начавшееся и не на ней должное завершиться.

...Развеянные звенья
Причинности – вот связь его! Кверх лбом —
Отчаятесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем...

То, что пишет Цветаева, имеет к ней лично как бы косвенное отношение: лишь постольку, поскольку она – поэт. Хотя ее «боли и беды» не становятся от этого менее катастрофичными. Напротив, все, что происходит в мире Ахматовой, самым тесным и болевым образом связано с ее реальной жизнью – «предугадано календарем». Цветаева доводит до космического представление о Поэте, Ахматова гиперболизирует свою конкретную человеческую судьбу. Когда в третьем Посвящении к «Поэме без героя» она пишет:

Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,

за ее строками стоят реальные события и люди. Речь идет о постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», сыгравшем жестокую роль в истории советской литературы и в жизни Ахматовой, в частности. Однако большое преувеличение считать, что постановление вызвано событиями ее личной жизни и тем более – что этим можно «смутить» двадцатый век, не смутившийся ни гитлеровскими, ни сталинскими массовыми убийствами.

К сожалению, Цветаева не знала поздних стихов Ахматовой. Осенью сорокового года она прочла только что появившийся сборник «Из шести книг» и была разочарована: «старо, слабо <...> Но *что* она делала: с 1914 по 1940 г.? *Внутри* себя. Эта книга и есть «непоправимо-белая страница» <...> *Жаль*».

Цветаевой хотелось видеть путь поэта – в этой книге она его не увидела. Не исключено, что она догадывалась, что ахматовская книга далеко не полна, ее запись продолжается и кончается словами: «Ну, с Богом за свое (Оно ведь *тоже посмертное*). Но – et ma cendre sera plus chaude que leur vie»[256]. Не относятся ли выделенные мною курсивом слова не только к собственному творчеству, но и к тем предполагаемым стихам Ахматовой, которых Цветаева не нашла в ее сборнике? Между тем ко времени их встречи были написаны «Реквием», «Венок мертвым», обращенное к Цветаевой стихотворение «Поздний ответ». Ахматова, очевидно, не решилась познакомить ее с этими вещами, как не решалась записывать и хранить их: произнесение вслух таких стихов могло обернуться гибелью для обеих. «Поздний ответ» она, по ее словам, не прочла Цветаевой «из-за страшной строки о любимых»:

Поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом...

Узнай Цветаева ахматовские стихи тридцатых годов, у нее не возникло бы мысли о непоправимо-белой странице в творчестве Ахматовой.

Однако Ахматова, хотя надолго пережила Цветаеву, так и не почувствовала интереса к ее поэзии. Четверть века спустя после смерти Цветаевой в словах Ахматовой слышно некое пренебрежение. Так, намечая вспомнить о встрече с Цветаевой, она иронизирует: «Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31

авг<уста> 41 г. Это была бы „благоуханная легенда“, как говорили наши деды...» Негативный смысл «благоуханной легенды» равен пастернаковской «напыщенности». Поэтический метод Цветаевой, отбирающий и акцентирующий «мое», Ахматовой чужд и неприятен. В либретто балета, тематически близком «Поэме без героя», вновь в негативном контексте возникает имя Цветаевой: «приехавшая из Москвы на свой „Нездешний вечер“ и *все на свете перепутавшая Марина Цветаева...»* (выделено мною. – *В. Ш.*)[257]. С этим не стоит спорить, огорчительно постоянное раздражение в словах Ахматовой о Цветаевой. Жалко, что «в мире новом друг друга они не узнали», как сказал любимый обеими Лермонтов.

Не удивительно, что и у других Цветаева вызывала раздражение. Я склоняюсь к мысли, что оно связано с самим фактом ее возвращения в Советский Союз. Зачем она приехала? Чего ей там не хватало? Вот ведь и шарфики, и записная книжечка, и сумка «на молнии» (в Москве таких не было) – все парижское... Как можно было вернуться, когда здесь ничего нет и каждый ежедневно ожидает ареста?.. Такие или подобные вопросы должны были возникать в сознании людей, встречавшихся с Цветаевой. «Белогвардейка вернулась!» – говорили о ней в писательской среде. На это накладывалась полная бытовая и материальная неустроенность Цветаевой. «Вернулась, а теперь чего-то еще хочет, недовольна...» – таков мог быть подсознательный подтекст отношения окружающих. Советским людям, дрожащим от страха, неуверенным даже в сегодняшнем дне, должно было казаться странным, непонятным и подозрительным добровольное возвращение в тюрьму. Не стала бы Цветаева объяснять, что вернулась не «зачем», а «потому что», – потому что знала, что должна быть рядом с мужем. Впрочем, и она была не в состоянии по-настоящему понять советских людей, их разделяли протекшие в разных измерениях семнадцать лет.

Это не могло не сказаться и на отношении к поэзии Цветаевой, разошедшейся с советской так же далеко, как сознание Цветаевой с сознанием советских людей. К этому времени официально перестала существовать вся «упадочная» поэзия конца XIX и начала XX века, были вычеркнуты из литературы сверстники Цветаевой – те, кто имел собственное представление о мире, свое лицо и место в поэзии. Классика была кастрирована, освобождена от всего «чуждого» и преподносилась в осовеченном виде. Оставался Маяковский – препарированный в «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи»: без его исканий, срывов, открытий, даже без самоубийства. Поэзия

превращалась в праздник для глаз и слуха, рвалась стать песней, гимном, одой. Современных поэтов трудно стало отличить друг от друга, все писали на одни темы и одним тоном: бодро, приподнято, жизнерадостно. Как отметил в «Записных книжках» Илья Ильф, все «пишут одинаково и даже одним почерком». Цветаева должна была казаться мамонтом или марсианином со своими странными темами: душа, поэзия, любовь, смерть, бессмертие, тоска… И со своей странной поэтикой: несовременной лексикой, сложной метафоричностью, необычными ритмами. Среди советских стихов, таких простых и понятных, толкующих все те же азбучные истины, поэзия Цветаевой воспринималась как нарочито сложная. Большинство из тех, кто помнил и ценил Цветаеву, остановились на «Верстах», в то время как она ушла далеко от того, что делала в молодости. Ей хотелось знакомить людей с новой собой, она читала – в частных домах, разумеется, – поздние стихи и поэмы – и не находила отклика. Рассказывая о ее чтениях у себя дома, Звягинцева дважды повторила, что стихи, прочитанные Цветаевой, «никому не понравились»: «Когда она приехала, она читала одно занудство, ничего *такого* не читала». «Занудством» были «Попытка комнаты», «Поэма Лестницы», «Поэма Воздуха». Липкин признавался, что и на него чтение Цветаевой не произвело впечатления. Из поэтов, познакомившихся со стихами Цветаевой с ее голоса, М. С. Петровых осталась к ней совершенно равнодушна, А. А. Тарковскому «многие ее стихи казались написанными через силу»; Т. Н. Кванина говорила мне, что и до сих пор она предпочитает цветаевскую прозу. Но были и такие, которые знали и любили ее стихи. Однажды, в мае 1941 года ей довелось читать перед литературной молодежью; этот вечер устроил на квартире своей сестры М. А. Вешневой студент Литинститута поэт Ярополк Семенов. Собрались молодые поэты; старшее поколение прийти поостереглось. Сам Я. Семенов прочел наизусть «Крысолова»; потом читала Цветаева. После чтения, по словам М. И. Белкиной, «Степан Спицын, друг Ярополка… встал на колени… и поцеловал ей руки, каждый палец отдельно.

– Почему пальцы такие черные? – спросил он.

– Потому что я чищу картошку, – ответила Марина Ивановна»[258]. Невольно вспоминаются слова из давнего-давнего письма Сонечки Голлидэй: «Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы – а они двигают шкафы и поднимают тяжести…»

Можно надеяться, что встреча с литературной молодежью у Вешневой принесла Цветаевой радость, но она была единственной, и ощущение «невстречи» с читателем (когда-то она

говорила, что ее читатель остался в Москве) усугубляло чувство непонятости и одиночества. Т. Н. Кванина – тогда совсем молодая учительница русского языка и литературы – писала мужу в ноябре 1940 года: «У меня какое-то двойственное чувство: я и робею перед М<ариной> И<вановной> и в то же время чувствую себя опытнее. Годы разрухи и все прочее – от многого отучили и многому научили. Понимаю хорошо одно: она здесь одна, как на Марсе, среди непонятного и непонятных ей людей – существ. А всё кругом (в свою очередь) тоже не принимает ее (ах, последнее так знакомо!). Идет жизнь, в которой ей отводятся какие-то боковые дорожки...»

Но я забежала вперед. Сейчас «боковой дорожкой» оказалось Голицыно и возможность переводить – это было немало! Она начала зарабатывать литературным трудом. Жизнь относительно стабилизировалась. Мур учился в голицынской школе – третьей в этом учебном году! – и занимался с учителем частным образом, ему надо было приспособиться к незнакомой школьной системе. Здоровье Мура постоянно беспокоило Цветаеву, этой зимой она связывала его многочисленные болезни с недоеданием и тяжелыми бытовыми условиями. О подробностях можно судить по записке Цветаевой к Е. Я. Эфрон: «Мур (тьфу, тьфу) выздоровел, но все время дрожу за него: в школе выбиты окна, уборная – на улице, а пальто не выдается до конца уроков...» Мур пропустил много занятий, но учился так хорошо, что в конце учебного года его без экзаменов перевели в восьмой класс.

Цветаева много работала. В Голицыне перевела три поэмы Важа Пшавелы, две английские баллады о Робин Гуде, стихи болгарских поэтов – больше двух тысяч строк. Самыми трудными для Цветаевой оказались поэмы Важа Пшавелы. Впервые она переводила с подстрочника, не зная ни языка, ни реалий оригинала, завися от того, кто делал подстрочник и объяснял ей принцип фонетической транскрипции, ритмического строя грузинского стиха и способ рифмовки Пшавелы. Кажется, все это было недостаточно точно, позднейший исследователь этих переводов пишет, что «размер не был избран Цветаевой добровольно, а был настоятельно рекомендован ей со стороны, в качестве, якобы, единственно соответствующего грузинскому, то же и система рифмовки через строку»[259]. Но и сами поэмы, кроме «Раненого барса», не захватили ее творческого воображения. Это был редкий для Цветаевой случай, когда работа не доставляла радости. Весной, уже кончив перевод «Гоготура и Апшины» и «Раненого барса», она иронически сообщала Н. Я. Москвину: «тихо, но верно подхожу к подножию полуторатысячестрочной горы – Этери. Эта Важа (она же –

Пшавела) меня когда-нибудь раздавит». Позже, другому адресату: «перевожу третью за зиму – и неизбывную – грузинскую поэму». Но «раздавить» Цветаеву было не так-то просто; она работала упорно, тщательно, в полную меру своих возможностей: «всю зиму – *каждый* день – переводила грузин – огромные глыбы неисповедимых подстрочников...» Она была строга к себе и аккуратна до щепетильности: в назначенный договором срок перевод «Этери» был сдан издательству. Переводческая работа Цветаевой всем существом связана с ее оригинальным творчеством; в переводимую вещь она привносит свой поэтический мир, и потому ее можно безошибочно узнать и в поэмах Важа Пшавелы, и в балладах о Робин Гуде, и в немецких народных песенках. Но, может быть, ее самобытность в какой-то степени мешала переводу?

Сохранившаяся беловая рукопись «Этери» с пометками редакторов и авторской правкой дает представление о последнем этапе работы Цветаевой[260].

В тексте перевода подчеркнуты отдельные слова и фразы, на поля вынесены замечания типа «Откуда это?», «Не то», «Очень вольно», «Прибавлено»... Временами редакторское недоумение выражено вопросительными и восклицательными знаками. Цветаева вернулась к работе. Она внесла около ста поправок: заменила слова, строки, целые большие куски, многое сократила. В нескольких случаях она предлагала редактору от двух до четырех вариантов на выбор. В письме Н. Я. Москвину она сетовала: «перед всеми извиняюсь, что я так *хорошо* (т. е. медленно, тщательно, беспощадно) работаю – и так мало зарабатываю... Я убеждена, что если бы я плохо работала и хорошо зарабатывала, люди бы меня бесконечно больше уважали, – но – мне из людского уважения – не шубу шить: мне не из людского уважения шубу шить, а из своих рукописных страниц».

Иногда редакторские замечания отражали дух времени. Так, у Цветаевой в главе восьмой визири обращались к царю: «Великий вождь!» Редактор не мог оставить эти слова без внимания: так называли только Сталина. На полях появилась выразительная пометка «?!», и Цветаева нашла замену: «О царь и вождь!» Из перевода последовательно изымалось упоминание Бога. В описании прекрасной Этери в главе второй исчезло сравнение ее глаз с раем:

> Хочешь рай узреть воочью?
> В эти очи погляди.
> Райский сад увидишь въяве

С вечным Богом посреди.

Цветаева пыталась определить рай еще в «Новогоднем», задавая Рильке ряд стремительных полувопросов-полудогадок-полуутверждений, в частности:

Не ошиблась, Райнер, Бог – растущий
Баобаб?

Переводя грузинского поэта, она, кажется, нашла ответ: вечный Бог посреди райского сада – может быть даже в виде продолжающего расти баобаба…

Голицынское благополучие омрачилось неожиданно. 28 марта директор дома С. И. Фонская заявила Цветаевой, что теперь она должна за каждую курсовку платить вдвое больше – новое постановление Литфонда о тех, кто живет в доме свыше трех месяцев. Это не было злой волей Фонской: она не решилась бы принять «белогвардейку» под свое крыло и вряд ли сама стала ее вышвыривать. Впоследствии Фонская рассказывала о конфликте с Цветаевой в идиллическом тоне, на самом же деле требование двойной платы было высказано в категорической форме. В написанном по горячим следам письме Н. Я. Москвину буквально слышны слезы: постановление Литфонда не могло относиться к ней, ведь они с Муром все время жили не в доме, а на стороне! И как теперь она сможет прокормить сына?!

«…Прихожу в Дом завтракать – в руках, как обычно, кошелка с Муриной посудой. У телефона – С. И. (Фонская. – *В. Ш.*).

– «…Она говорит, что столько платить не может»… – Пауза. – «Снять с питания? Хорошо. Сегодня же? Так и сделаю».

Иду в кухню, передаю свои котелки. Нюра: – Да разве Вы не завтракаете? – Я: – Нет. Дело в том – дело в том – что они за каждого просят 830 р. – а у меня столько нет – и я, вообще, честный человек – и – я желаю им всего хорошего – и дайте мне, пожалуйста, на одного человека —…»

Уехать Цветаевой было невозможно, нельзя в разгар учебного года сорвать с трудом налаженную учебу Мура. Дело свелось к тому, что она брала одну еду на двоих и носила свои кастрюльки домой. Она недоедала; к маю относится запись: «в доме – ни

масла, ни овощей, одна картошка, а писательской еды не хватает – голодновато – в лавках – ничего, только маргарин (брезгую – неодолимо!) и раз удалось достать клюквенного варенья». Муру она приберегала лучший кусок. Е. Е. Тагер говорила мне, что в Москве Цветаева вызывала удивление, когда в гостях брала со стола и клала в свою сумку с молнией что-нибудь вкусное. Но ведь это естественный жест матери – отнести «вкусненького» ребенку. Они дожили в Голицыне до конца занятий в школе. Завершался еще один жизненный этап. Предстояло снова приниматься за поиски жилья, очередной новой школы, включаться в другой ритм повседневности. Вероятно, в Голицыне, в постоянном соседстве с людьми, Цветаева меньше ощущала свое одиночество. Она познакомилась здесь со многими писателями и их женами, здесь было с кем разговаривать и даже кому читать стихи. Здесь она ненадолго увлеклась Евгением Борисовичем Тагером, здесь, в Голицыне в январе 1940 года ему написала первые по возвращении стихи: «Двух —жарче меха! рук – жарче пуха!..», «Ушел – не ем...», «– Пора! для *этого* огня – / Стара!».

Но нет, душа ее рвалась к жизни. Исстрадавшаяся, постаревшая, загнанная судьбой – это была все та же Цветаева. По-прежнему ее обдавало восторгом то, чего не замечали другие – нежность к дереву, например; по-прежнему она искала понимания, дружеского участия, встречи с родной душой. В какую-то минуту ей показалось, что она найдет это в «Танечке» Кваниной. Т. Н. Кванина, по-моему, – единственный человек, ответивший отрицательно на вопрос, дружила ли она с Цветаевой: у Цветаевой посмертно появилось много друзей. «Разве я могла с ней дружить? – сказала мне Татьяна Николаевна. – Между нами была слишком большая разница не только в возрасте, но во всем. Кто я рядом с ней?» Она – и не только она – ощущала дистанцию таланта, ума, образованности. Цветаева понимала это и пыталась преодолеть. «Таня! Не бойтесь меня, – писала она ей. – Не думайте, что я умная, не знаю что еще, и т. д. и т. д. и т. д. (подставьте все свои страхи). Вы мне можете дать – бесконечно – много, ибо *дать* мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце он мне и дает. Я, когда не люблю – не я. Я так давно – не я. С Вами я – я». В Цветаевой жила потребность любить – и каким невероятным счастьем представлялась ей ответная любовь или душа, дружески раскрывающаяся навстречу. Ее тянуло к Тане Кваниной, наплывали воспоминания о Сонечке Голлидэй, казалось, что можно вернуть те отношения. Случайно увидев у Елены Ефимовны Тагер огромное коралловое ожерелье– точно

такое, как когда-то она подарила Сонечке, Цветаева выменяла его и небольшую нитку сама надела на шею Танечке[261]. Но ничто не повторяется – это был другой человек и другое поколение, воспринимавшее Цветаеву еще более чуждой, чем раньше. Молодой женщине трудно давалось общение с Цветаевой. Был непонятен ее внутренний мир, поражали задаваемые «в лоб» вопросы, на которые неловко было отвечать: «К чему все?», «В чем смысл всего?» Открытость вызывала обратную реакцию – это видно из писем Кваниной к мужу по горячим следам встреч с Цветаевой: «Рассказывала о муже, дочери, о Муре, о Париже, о Пастернаке. Обо всем вразброд и поверху. Читала стихи о Маяковском (напечатать, по-моему, их нельзя) ... Разговор был весь несвязанный и сильно сдобренный горечью (понятной в ее положении). Вдруг неожиданно спрашивала обо мне... „Ну, а где во всем этом радость?“ и „Чего вы больше всего хотели бы в жизни? И в какую хотели бы жить эпоху?“ Отвечать почти не давала. Да и трудно так сразу ответить на такие вопросы. Пожалуй, ей я и не сказала бы всего. Разные мы. Она вся в облаках и вне времени. Я такой была только до 20 лет...» Подсознательно Таня ощущала свое превосходство молодого жизнестойкого человека, понимающего мир, в котором живет. Они встречались; Танечка забегала к Цветаевой, приносила какую-нибудь еду и по тому, как хозяйка сразу ставила варить принесенное, понимала, как пусто у нее в доме.

Однажды Цветаева ждала ее с обедом. «Угощала супом. Видимо, не обедала нарочно, ждала меня, хотелось угостить. Я отказывалась, но надо было сесть. Суп – вода с грибами и крупой (жидкий-жидкий!). К супу пирожок, который она разрезала пополам: мне и себе. Мне ее очень жалко. Много настоящего тепла к ней чувствую». Несмотря на сочувствие, искреннюю расположенность и доброжелательность Танечки, и с нею не возникало нужного взаимопонимания. К кому бы ни пыталась Цветаева подойти ближе, обо всех она «разбивалась». Трудно было поверить, что человек – такой человек! – ее необычность чувствовали все, но мало кто осознавал, что это особость гения, а не вздорность «кикиморы», – просто так, ни за что предлагает тебе свое сердце. Еще труднее было такой подарок принять; за распахнутостью цветаевской души и рук людям чудилось нечто двойственное, скрытое. «Знаешь, как-то чуть-чуть во всем не верю ей, – писала Кванина мужу. – Во всем, может быть, и мало, но есть поза. Выдумала она себя когда-то давно, так выдуманной и живет». Она недоумевала: «И не понимаю я до конца, зачем я ей нужна». Удивлялся и Липкин, рассказывая мне, что иногда Цветаева звонила ему с вопросами по поводу переводов, над

которыми работала: вопросы были слишком простые. И вдруг при мне подумал вслух: а может быть, ей просто хотелось услышать человеческий голос? Слишком поздно, десятилетия спустя, и Кванина поняла, почему так тянулась к ней Цветаева: «Она была так одинока, что даже внимание малознакомого человека было ей приятно... А тогда казалось, что у Цветаевой много „высоких“ друзей: Асеев, Пастернак, Эренбург...»

Действительно, Цветаева знала этих людей, могла упоминать их имена, но трудно кого-нибудь из них, кроме Пастернака, назвать ее другом – только он в критические моменты приходил ей на помощь. Асееву, вероятно, было даже лестно принимать у себя Цветаеву, нравилось слушать ее стихи, он расточал ни к чему не обязывающие восторги и комплименты. Это было «светское» знакомство, только подросток-Мур мог принимать за дружбу велеречивость Асеева. Но не исключено, что и Цветаева готова была обмануться... В книге М. Белкиной есть такой эпизод. Речь зашла о важности для Цветаевой вступления в Союз писателей и кто-то заметил, что именно Асеев мог бы поддержать ее своим авторитетом. Асеев позорно сфальшивил: «Помилуйте, как я могу представить Цветаеву?! Какое я имею на это право? Она должна нас представлять!»[262] Ему, орденоносцу, лауреату Сталинской премии, не годилось ходатайствовать за «белогвардейку».

7 июня 1940 года Цветаева переехала из Голицына в Москву, убежденная, что больше не выдержит жизни за городом. Лето они провели на улице Герцена (бывшей Большой Никитской), в университетском доме в квартире Наталии Алексеевны Северцовой и Александра Георгиевича Габричевского. Хозяева уехали на лето, оставались лишь старая няня да «мышиный» кот; Цветаева подружилась с обоими, а о коте говорила, что он – колдун, все слышит и понимает человеческую речь. Ей нравилось жить на Никитской, в самом центре, в ее родном районе. Жизнь в Москве облегчала общение с редакциями и с людьми. Лето в городе не было Цветаевой в тягость – так она чувствовала себя ближе к Сереже и Але. Она признавалась Вере Меркурьевой: «У меня лета не было, но я не жалею, единственное, что во мне есть русского, это – совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, что, ни на секунду не забывая, что – другой в эту же секунду задыхается в жаре и камне».

В городе было легче хлопотать о все еще лежавшем на таможне багаже. Цветаевой много помог новый знакомый Анатолий Кузьмич Тарасенков; ему было проще, чем ей, ходить по учреждениям, добывать нужные бумаги, он встречался по поводу цветаевского багажа с секретарем Союза писателей П. А.

Павленко. Он же помогал перевозить весь этот огромный груз, когда разрешение наконец было получено. На это ушли июнь-июль и большие деньги: таможня насчитала за «хранение» больше тысячи рублей. Тем не менее Цветаева была почти счастлива: всё, в том числе и рукописи, оказалось в полном порядке, «ни моль, ни мыши ничего не тронули»... Разбирая вещи, Цветаева много продавала – надо было жить! – но многое раздаривала и разменивала: она любила и дарить, и меняться...

Важнейшей заботой опять были поиски жилья. Найти комнату в Москве всегда трудно; для женщины с сыном – тем более: хозяева предпочитают одиноких мужчин без варки, стирки, участия в жизни коммунальной квартиры. Цветаева бегала по объявлениям, сама помещала объявления – безрезультатно. По непрактичности она дала огромный задаток женщине, которая долго водила ее за нос и не вернула деньги. В конце концов «профессионалка» (определение Цветаевой) попала под суд и тогда выяснилось, что за несколько лет она обманула многих, но простаком, давшим такой задаток, оказалась одна Цветаева. Других драматических событий не случилось, и можно было бы считать, что лето прошло хорошо, если бы не дамоклов меч над судьбой близких: в одном из писем Цветаева признавалась, что, отправляясь с передачей, каждый раз накануне вечером «и наверное еще раньше – умираю со страху». Если не примут – произошло самое худшее. В таком ужасе она прожила начало осени; 3 октября сообщает Елизавете Яковлевне: «Спешу Вас известить: С<ережа> на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, п<отому> ч<то> 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, но этот раз – определенно: не числится). Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу на́звал, хотя не виделись мы месяца четыре, – и посильно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь! У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на „спасибо“...» Судя по словам «прошлые разы», можно предположить, что речь идет о месяце – двух. Мы не знаем, что происходило внутри тюрьмы, нам известны ближайшие по времени факты: 14 июня 1940 года Цветаева вторично обратилась к Берии, на этот раз с просьбой о свидании с мужем, ответа, очевидно, не последовало. Зато – не в связи ли с этим напоминанием? – 22 июня было принято постановление о продлении С. Я. Эфрону срока содержания под стражей, ибо он опять отказался признать себя виновным. Вероятно, началась

новая серия допросов, наказаний, в том числе и лишение передач...

30 августа Цветаевой с Муром пришлось перебраться в Мерзляковский – возвращались Габричевские, а Цветаева все еще ничего не нашла на зиму. Ко всему прочему теперь она была обременена огромным количеством вещей и книг, которые некуда было пристроить. К счастью, Елизавета Яковлевна жила еще на даче, а вещи временно удалось оставить в чьей-то квартире.

Цветаева металась в отчаянии – этим словом она начала письмо в Союз писателей: «Вам пишет человек в отчаянном положении». Москва была *ее* город, не только по рождению и потому, что она написала «Стихи о Москве», но и потому, сколько добрых дел сделала Москве ее семья, начиная с Музея, созданного отцом, и кончая библиотеками, оставленными городу ее дедом и матерью. Свою бездомность в родном городе Цветаева ощущала тяжкой несправедливостью и была ею глубоко ранена. Ее доводы взывали к простой логике: если ей разрешили вернуться в Москву, должны дать место, где жить, иначе лучше бы не разрешали... ведь даже у собаки есть своя конура... Но уверенность в своем праве не могла заменить комнату и прописку: временная у Габричевских кончилась, а жить в Москве без прописки во все времена было опасно.

Цветаева обратилась в Союз писателей. В первом издании книги я рассказывала об этом со слов вдовы одного из секретарей Союза П. А. Павленко – Н. К. Треневой. По ее словам, в архиве ее мужа сохранилось заявление Цветаевой по «жилищному вопросу». Цветаева просила помочь ей устроиться в Москве. «Но у нее даже не было московской прописки!» – комментировала Тренева с точки зрения благополучной жены «нужного» писателя. Теперь этот документ опубликован; трудно назвать его заявлением – это в буквальном смысле вопль: «Помогите!» Как и другие официальные письма Цветаевой, оно четко, строго и логично. Цветаева подробно описывает свое «отчаянное положение» и безвыходность. Она подчеркивает: «Я *не* истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича».

Имя Пастернака упомянуто неслучайно. Уцелело личное письмо к Павленко, которым Пастернак сопроводил заявление Цветаевой. Н. К. Тренева прочла мне его по телефону, я записала самое важное. Оно показалось мне лукавым: и написал, и ничего не сделал. Теперь оно напечатано в книге Марии Белкиной[263]. Прочитав его, я увидела, что записала смысл точно, но была неправа по существу. Письмо не лукавое, а «дипломатичное»: Пастернак старается убедить Павленко, «что бы она там тебе ни писала – это только часть истины, и на самом деле ее положение

хуже любого изображенного», но не давит на него, дает возможность отступления, отказа. Пастернаку неприятна цель, с которой пишет Цветаева (возможно, он дословно цитирует ее слова): «чтобы потом не говорили, зачем не обратилась в Союз». Эта фраза поразила меня, подчеркнув способность Цветаевой трезво, я бы даже сказала, отстраненно оценивать происходящее с нею. Пастернак писал, что знает Цветаеву как «очень умного и выносливого человека» и не допускает «мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое». Ему казалось, что в письме в Союз писателей Цветаева, может быть, угрожает самоубийством – а она не грозила, она из последних душевных сил взывала: «Караул! спасите!» Она признавалась: «За́город я не поеду, п<отому> ч<то> там *умру* — от страха и черноты и полного одиночества. (Да с таким багажом – и зарежут.) <…> меня жизнь за этот год– добила. Исхода *не* вижу. Взываю о помощи». Пастернак упоминает о комнате, из которой кто-то уходит в армию, и спрашивает, может ли юрист Союза узнать о формальной стороне найма этой комнаты… И хотя Пастернак написал: «я знаю, что помочь ты ей ничем не можешь», он просит Павленко хотя бы принять и как-то обнадежить Цветаеву. Письмо сыграло свою роль: Павленко Цветаеву принял и если не обнадежил, то во всяком случае обаял воспитанностью и приветливостью. Письма и визит Цветаевой к Павленко сработали – Литфонд, вернее А. Д. Ратницкий, занимавшийся там бытовыми вопросами, принял участие в ее устройстве.

Вскоре Цветаева подписала контракт на два года на комнату в квартире № 62 дома 14/5 на Покровском бульваре. Хозяин с женой и двумя детьми уезжал на Север, в одной из комнат оставалась его дочь-старшеклассница, две другие сдали жильцам. Цветаевой пришлось заплатить сразу за год вперед. Такой суммы у нее не было, а сроку оставалось два дня. Надеясь на помощь Пастернака, она с его близким другом пианистом Г. Г. Нейгаузом поехала в Переделкино. Пастернака не оказалось дома, но его жена Зинаида Николаевна, с которой Цветаева там познакомилась, выказала готовность помочь. Вот как благодарно и восторженно описывает Цветаева в письме к Е. Я. Эфрон этот сбор денег: Зинаида Николаевна Пастернак «проявляет предельную энергию и *полную доброту* — обходим с ней всё имущее Переделкино: она рассказывает мою историю и скорее требует, нежели просит – ссуды – мне. Я выкладываю свои гарантии: через месяц 4 тыс. авансу за книгу стихов – [мы-то знаем, что книга не состоялась и никакого аванса не было, но Цветаева тогда надеялась…– *В. Ш.*] и кое-что можно продать из вещей – но никто не слушает, п<отому> ч<то> все верят – что

отдам. Первый – сразу – не дав раскрыть рта – дает Павленко: чек на тысячу. (Мы виделись с ним *раз* — 5 мин., и я сразу сказала: человек.) Словом, уезжаем с двумя тыс. – и с рядом обещаний на завтра. Не сдержал обещания только один (*очень* богатый драматург), сказавший, что сам завезет на машине. (NB! я и не ждала.) Весь вчерашний день, до *10 час* <ов> *веч*<ера> добирала остальные 2 тыс. Бесконечно-трогателен был Маршак. Он принес в руках – правой и левой – две отдельных пачки по 500 р. (принес Нейгаузу) с большой просьбой – если можно – взять только одну (сейчас ни у кого – ничего), если же *не* можно – увы – взять обе. (Взяла одну, а другую (т. е. еще 500 р.) – почти насильно вырвала у одной отчаянно сопротивлявшейся писательской жены. Вообще, <было> *много* смешного.) В 10½ ч. веч<ера>, в сопровождении бесконечно-милого Нейгауза, внесла все деньги за год вперед и получила росписку, свезла паспорт, чтобы они сами меня прописали...» Эта история свидетельствует, что, хотя страх давил на всех, некоторые старались ему противостоять, готовы были помочь другому (даже Цветаевой) в ситуации, когда это не грозило бедой им самим.

В конце сентября Цветаева и Мур жили уже на Покровском бульваре. Квартира была на верхнем этаже большого дома – Цветаева так боялась лифта, что предпочитала подниматься пешком. Это был свой «угол», можно было надеяться, что они проживут здесь два года. В комнате – «огромное окно, во всю стену», в которое на нее глядела луна или перед глазами пролетала стайка птиц. Казалось, что судьба опять готова дать ей передышку: работа у нее была, Мур поступил в близкую и хорошую школу, много занимался. В «окошках» опять принимали передачи для Сережи и Али – это утешало: они живы и в том же городе. Ужас стал повседневностью, вошел в ритм жизни, но говорить об этом можно было только с самыми близкими. Цветаева, как могла, расставила вещи в новом жилище, на мебель денег не хватало, да и комната была маловата; она устроила себе ложе из двух больших сундуков и корзины, получилось «очень жёсткое – ничего. Поставила один на другой кухонные столики, получился – буфет». У Мура – пружинный матрас на ножках: мягче и больше похоже на кровать. Стол четырехугольный обеденный – один на всех и всё: здесь ели, переводили, делали уроки...

За этим же столом Цветаева начала готовить сборник своих стихов. Идея возникла еще в Голицыне. Кто подтолкнул ее к этому, настоял на том, чтобы Цветаева составила книгу для советского издательства? Она писала из Голицына Л. В. Веприцкой: «один человек из Гослитиздата, этими делами

ведающий, настойчиво предлагает мне издать книгу стихов, – с контрактом и авансом...» М. И. Белкина считает, что этим человеком был Петр Иванович Чагин – многолетний директор издательства. На его рекомендацию позже, по дороге в эвакуацию, сошлется Цветаева в открытке в Союз писателей Татарии. Такой поддержкой, как сам Чагин, не стоило пренебрегать, и все же Цветаева была уверена, что ее книга не будет издана в Советской России. В процессе работы она записывала: «Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю и – почти уверена, что *не* возьмут, диву далась бы, если бы взяли. Ну – *я свое сделала,* проявила полную добрую волю (послушалась)». С кем обсуждала она вопрос о необходимости сделать книгу? Кто уговаривал Цветаеву? Кого она послушалась? Запись кончается словами: «По крайней мере постаралась». Для чего же она старалась, не надеясь, что из этой затеи что-нибудь выйдет? Подтекст этой записи тот же, что в вопросе о квартире: «чтобы потом не говорили...» Реальных резонов могло быть два, и оба чрезвычайно важные. Во-первых, выход книги явился бы в какой-то мере «свидетельством о благонадежности», особенно важным в ее ситуации. Она понимала, чем грозит ей и Муру клеймо бывших эмигрантов и членов семьи врагов народа. Второй резон – деньги. Они были нужны, может быть, больше, чем всегда; собирая на квартиру, Цветаева ссылается на скорый аванс за книгу.

Книга была важна и сама по себе. В Москве последний ее сборник был издан восемнадцать лет назад, в Париже – двенадцать: «меня не помнят даже старики...» Цветаева была почти убеждена, что книгу не издадут, но все-таки... Она сознавала серьезность задачи: первый сборник за многие годы, может быть, последний... С чем придет она к новому читателю? Хотела ли Цветаева подвести итоги своей тридцатилетней работы? Или показать то, что считала у себя лучшим? Она много думала над подготовкой этой книги, которую исследователи называют «Сборник 40-го года», поскольку Цветаева ее не озаглавила. Сохранились наброски планов, перечень стихов, тетради со стихами, переписанными рукой Цветаевой, и, наконец, машинописный экземпляр сборника в окончательном варианте, представленном издательству. Цветаева меняла план и состав книги, сперва она думала сделать ее ретроспективной: показать этапы своего творчества. Был вариант включить и более поздние стихи, не входившие в книги. В конце концов Цветаева отказалась и от ранних, и от поздних стихов, в сборник вошли стихи из «Ремесла» и «После России». В письме к Н. Н. Вильям-Вильмонту она просит о встрече, чтобы посоветоваться: «я выбрала стихи из

Ремесла (около 500 стр<ок>), но – ряд сомнений, самостоятельно неразрешимых».

Вдумываясь в ход подготовки книги, видишь, как в Цветаевой боролись желание увидеть сборник изданным с потребностью сделать книгу «для себя». О первом как будто свидетельствует то, что она отказывается от неизменного принципа «ничего не облегчать читателю» и озаглавливает многие стихи, давая «ключ» к ним: «Это пеплы сокровищ...» стало называться «Седые волосы», «Так плыли: голова и лира...» – «Орфей», «Он тебе не муж? – Нет...» – «Пожалей». Очевидно, желанием «обойти» цензуру вызвана замена названия «Поезд жизни», подчеркивавшего трагический смысл стихотворения, нейтральным «Поезд»: стихи «про поезд» скорее пройдут мимо внимания цензора. Но есть определенное ощущение и того, что одновременно Цветаева вглядывалась в старые стихи, не просто складывала книгу, но и пересматривала прошлое. Это явление не исключительное, из ближайших примеров напомню об Андрее Белом и Борисе Пастернаке, которые в конце жизни заново переписывали давние стихи. Такого Цветаева не делала, но в том, что она образовала два новых цикла из берлинских стихов («Земное имя» и «Рассвет»), как пересоставила и переименовала «Ученик» («Леонардо» из трех стихотворений вместо семи), как изменила «Разлуку», видится стремление ограничить свою прежнюю безудержность, сделать книгу более строгой. Это особенно наглядно в работе над обращенным к «далекому потомку» стихотворением «Тебе – через сто лет». Цветаева сократила его на три строфы: убрала неуместные теперь мотив эротики и бытовые подробности; как изжитое сняла упоминание о «Самозванке Польской», вместо которого появилось слово «доброволец»: «Я ей служил служеньем добровольца!» Стихотворение подтянулось, стало строже. Она поставила его вторым в книге. Первым шло никогда не печатавшееся – «Писала я на аспидной доске...». Ему предпослано посвящение «С. Э.» – Сергею Эфрону. Это был акт гражданского мужества: публичное признание в любви к репрессированному... Стихи писались и перерабатывались в сходной ситуации: в 1920 году Сергей Яковлевич находился в Белой армии, в 1940-м – в советской тюрьме, и оба раза не было уверенности, что он жив. В одном из автографов есть дата: Москва 1920—1940. Направление мысли Цветаевой определённо: если в первом варианте адресат оказывался одним из «каждых» (поэтому в 1924 году, в разгар увлечения К. Родзевичем, она и ему подарила эти стихи), то теперь она утверждает единственность того, чье имя написано *«внутри* кольца» (обручального). Она упорно искала слова для выражения своего

отношения к мужу, перебрала десятки вариантов и остановилась на самом простом, впервые за тридцать лет в стихах четырежды выкрикнув «люблю»:

> И, наконец – чтоб было всем известно! —
> Что ты любим! любим! любим! – любим! – …

Слово «известно» заменило «понятней». Цветаева сделала это не ради рифмы, она нашла бы другую к «небесной». Ей важно было заявить: пусть все знают, что я люблю тебя и ничто не заставит меня от этого отказаться. Она кричит о своей любви и подчеркивает крик пунктуацией. По свидетельству М. Белкиной, первая из этих строк читалась: «И, наконец, чтоб было всем известно – »[264]. Но повествовательная интонация показалась слабой: Цветаева добавляет еще одно тире и восклицательный знак и переводит всю строфу в интонацию крика, вызова, почти бравады… Она повторила в стихах то, что в 1937 году сказала во французской полиции, а в 1939-м и 1940-м – в письмах Берии. Неудивительно, что оба стихотворения обратили внимание известного критика, бывшего теоретика конструктивизма Корнелия Зелинского, которому Гослитиздат поручил рецензировать Цветаеву[265]. Стихи «Писала я на аспидной доске…», «Тебе – через сто лет» и цикл «Пригвождена…» он расценил как «политическую декларацию, призванную объяснить советскому читателю, под каким знаменем шел и идет автор». Игнорируя посвящение «С. Э.» и обращенность стихотворения к конкретному лицу, Зелинский останавливается на последней строфе:

> Но ты, в руке продажного писца
> Зажатое! Ты, что мне сердце жалишь!
> Непроданное мной! *внутри* кольца!
> Ты – уцелеешь на скрижалях. —

и толкует ее как обращение Цветаевой к своим стихам (может быть, он действительно не понимал, что *«внутри* кольца» означает обручальное кольцо с именем мужа? может быть, он и на самом деле не мог понять стихов Цветаевой? – слишком много раз он повторяет, что они непонятны…), и определяет как заявление поэта «о своей политической нейтральности». Выдвинув им же выдуманный тезис, Зелинский принимается разоблачать Цветаеву: «Поэт почти два десятилетия (и каких десятилетия!) был вне своей родины, вне СССР. Он был в

окружении наших врагов. Он предлагает книгу в значительной своей части составленную из стихов, написанных в эмиграции и уже напечатанных... в эмигрантском издательстве»; «Увы, тезис автора о политической нейтральности („непроданности“) пера противоречит фактам. Целый ряд стихов Цветаевой был посвящен поэтизации борьбы с СССР (напомним хотя бы „Пусть весь свет идет к концу – достою у всенощной“, „Кем полосынька твоя нынче выжнется“ и многие другие). Разумеется, мы их вспоминаем здесь вовсе не для того, чтобы колоть глаза, а единственно, чтобы отклонить его тезис „надмирности“...» Цинизм последнего пассажа заключается, в частности, в том, что в рукописи, которую рецензировал К. Зелинский, не было стихов, на которые он ссылается. В обоих стихотворениях Цветаева говорит о расстрелах, оба написаны в 1921 году. «Пусть весь свет идет к концу...» – строка из посвященных Эфрону стихов «Как по тем донским боям...»:

Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.

«Кем полосынька твоя...» – из стихотворения «Ахматовой», заплачки, обращенной памятью к смерти Александра Блока и расстрелу Николая Гумилева:

Один заживо ходил —
Как удавленный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.
(И гордец же был-сокóл!)
Разом выбыли.

Естественно, что Цветаева не включила их в Сборник 40-го года. Но Зелинскому для политических обвинений они были кстати; он вытащил их, чтобы напомнить о «белогвардействе» Цветаевой. Его произведение можно определить как «донос в форме рецензии». Намеков и прямых выпадов Зелинского хватило бы, чтобы отказаться от издания книги и, если понадобится, для предъявления обвинений в антисоветской пропаганде. Однако политические обвинения оставили Цветаеву равнодушной. Ее возмутили тон рецензии, непонимание – скорее всего, нарочитое

– ее стихов, обвинение в формализме. Зелинский пишет о ней неуважительно, насмешки и «ярлыки» заменяют в его рецензии какой бы то ни было анализ стихов. Лирического героя поэзии Цветаевой он называет «рифмующей улиткой»: «Да и вся книга – если позволено дальнейшее сравнение – есть лишь прихотливый узор улитки, пугливо съеживающейся и меняющей свой путь под влиянием исчезающе малых причин и частных мотивов». Он низводит Цветаеву на уровень графомана: «Истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет что сказать людям. Поэзия Марины Цветаевой потому и негуманистична и лишена подлинно человеческого содержания. И потому ей приходится, утоляя, видимо, свою стихотворческую потребность, громоздить сложные, зашифрованные стихотворные конструкции, внутри которых – пустота, бессодержательность...» Я не сомневаюсь, что Цветаева гораздо уважительнее писала поэтам из «самотека».

Пустота, бессодержательность, бессмысленность, формализм – других определений для поэзии Цветаевой Зелинский не нашел. Он буквально издевается: «Невольно напрашивается вопрос: а что, если эти стихи перевести на другой язык, обнажив для этого их содержание, как это делает, например, подстрочник, – что останется от них? Ничего, потому что они формалистичны в прямом смысле этого слова, то есть бессодержательны».

Я подробно цитирую Зелинского, чтобы дать представление о том, почему его отзыв так больно задел Цветаеву. На шести страницах были грубо перечеркнуты тридцать лет непрерывного труда. В заключительном абзаце говорилось: «Из всего сказанного ясно, что в данном своем виде книга М. Цветаевой не может быть издана Гослитиздатом. Все в ней (тон, словарь, круг интересов) чуждо нам и идет вразрез направлению советской поэзии как поэзии социалистического реализма. Из всей книги едва ли можно отобрать 5—6 стихотворений, достойных быть демонстрированными нашему читателю»[266].

Было очевидно, что это – конец. Сборник попал на рецензию Зелинскому неслучайно: его приговор был окончательным и обжалованью не подлежал. Но не исключено, что Цветаева понимала, что с официальной точки зрения Зелинский прав: там, где процветает социалистический реализм, ее поэзия неуместна. Мур принимал точку зрения Зелинского. В его дневнике есть запись: «23.XП.40. <...>Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла другие стихи – поэмы – может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, дал мой голицынский друг критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он

совершенно прав...»[267] Вряд ли до этого Цветаева читала статьи Зелинского, но они приятельствовали в Голицыне, вместе гуляли, беседовали о поэзии, он слушал ее стихи и, без сомнения, вслух восхищался ими... Безнравственность его отзыва поразила Цветаеву больше всего; она ответила ему на машинописном экземпляре своего «зарезанного» сборника: «P.S. Человек, смогший аттестовать такие стихи как *формализм* — просто бессовестный. Это я говорю – *из будущего.* М. Ц.».

Меня смущает состав сборника. По какому принципу Цветаева отобрала для него именно эти стихи? Почему не постаралась сделать его более «проходимым»?

Такие возможности у нее были. Нельзя было печатать «Стихи к Чехии» – в тот момент Советский Союз «дружил» с Германией. Но у нее были «Лучина», «Родина», «Стихи к сыну», «Стол», «Челюскинцы», «Никуда не уехали – ты да я...», «Тоска по родине! Давно...». Она должна была понимать, что стихи такого плана станут «ударными», дадут доброжелательному рецензенту возможность сказать о любви автора к родине, стремлении вырваться из эмиграции, критике им капитализма и буржуазии – все, что полагалось, чтобы «пробить» книгу. Но даже из «После России» Цветаева не включила «Спаси Господи, дым!..», «Хвала богатым», «Рассвет на рельсах», «Поэма заставы»... Почему? Не сыграла ли в этом свою роль ощущаемая ею невозможность жить? В Москве 1939—1940 годов ее душа – как двадцать лет назад – снова оказалась в «мертвой петле». В дни работы над сборником она записала: «Моя *трудность* (для меня – писания стихов и м<ожет> б<ыть> для других – понимания) в невозможности моей задачи. Например *словами* (то есть смыслами) сказать *стон:* а-а-а...» Этот неосуществимый в стихе стон сопутствует неотвязным мыслям о смерти: «Никто не видит – не знает, – что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк... Я *год* примеряю – смерть» (запись от сентября 1940 года). Перед лицом смерти было нелепо лгать и приспосабливаться. Достаточно, что она «послушалась», решилась делать книгу. В остальном она поступила по собственному разумению. Сборник еще раз утверждал бескомпромиссность Цветаевой. Не был ли он ее последним вызовом судьбе?

Только однажды Цветаева опубликовала свои стихи: в мартовском номере журнала «30 дней» за 1941 год «Вчера еще в глаза глядел...» – стихотворение двадцатилетней давности. Из него убрали трагическую строфу с упоминанием о смерти:

Все ведаю – не прекословь!
Вновь зрячая – уж не любовница!

Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница. —

и добавили заглавие *«Старинная* песня», ибо у советского человека даже любовь обязана быть счастливой. Но и в этом вполне нейтральном виде стихи были замечены и вызвали нарекания критики: «меланхолические причитания Марины Цветаевой, изобличающей любовь-мачеху и страдающей оттого, что „увозят милых корабли“, „уводит их дорога белая“»...[268] Цветаева была абсолютно несозвучна советской эпохе.

Она жила уже сверх возможного, одним чувством долга. Внешне, на людях, Цветаева держалась, ее вспоминают приветливой, сдержанной, воспитанной. Мало кто мог догадаться, что творилось в ее душе. Да и некому было догадываться – близких друзей не было, а чужим кто же открывает душу? В рассказах тех, кто знал тогда Цветаеву, мне приходилось сталкиваться с аналогичным сюжетом: человек встречал ее, беседовал, иногда слушал ее стихи и понимал, что перед ним незаурядная личность – но знакомство быстро иссякало: у одного начинался роман, на другого наваливалась большая работа, у третьего возникали какие-нибудь житейские неприятности... Людям оказывалось не до Цветаевой, тем более что общение с ней не было легким, требовало душевного и умственного напряжения. Каждый хотел надеяться, что у нее есть другие друзья, которые ее не оставляют. Цветаева не навязывалась...

Узнав о самоубийстве Цветаевой, Б. Л. Пастернак признавался в письме жене: «Последний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету в интел<лигентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по мног<им> друг<им> причинам, я отошел от нее и не навязывался ей...»[269] Но Цветаеву даже в юности не интересовала «мода» на нее, а в этот последний год она как никогда нуждалась в дружеском понимании, тепле и участии. И то, как Таня Кванина приносила ей и Муру еду, как Генрих Густавович Нейгауз и Зинаида Николаевна Пастернак помогали собирать деньги на квартиру, как мало (или совсем?) незнакомый Самуил Яковлевич Маршак по первому зову принес деньги, было для Цветаевой, я уверена, душевно дороже восторженных слов о ее стихах, произносимых Асеевым и другими; она сама жила под девизом: «Друг –

действие». Е. Б. Тагер рассуждает об этом времени: «погрузившись, казалось, в почти безвыходную ситуацию, Цветаева одновременно, впервые пожалуй, оказалась окруженной атмосферой такого восторженного поклонения, которого она была лишена всю свою жизнь. В Голицыне она царила по вечерам среди восхищенной писательской братии, и в Москве к ней тянулись, знакомства с ней добивались все подлинные ценители поэзии». Несколькими страницами выше вы прочитали, как один «ценитель» из «восхищенной братии» безжалостно и грубо «зарезал» ее книгу. Пытаясь быть честным, Тагер добавляет: «Правда, преодолевая при этом иной раз опасения за факт встречи с отверженным поэтом». Я думаю, Е. Б. Тагер заблуждался в обоих случаях: и в эмиграции были люди, высоко и восторженно ценившие поэзию Цветаевой, и в Москве очень часто «опасения» перевешивали любовь к поэзии…

Нет, конечно, она жила не в безвоздушном или безлюдном пространстве. Были люди, помогавшие ей получать работу, как В. Гольцев, Н. Вильям-Вильмонт, редактор Гослитиздата А. П. Рябинина… А. К. Тарасенков, работавший в журнале «Знамя», держал наготове подборку стихов Цветаевой, чтобы в подходящий момент (увы, не наступивший) предложить их в номер. Он же некоторое время хранил у себя чемодан с ее рукописями, а Цветаева выправляла его саморучное в единственном экземпляре «издание» ее стихов. Были те, кто помогал справляться с бытом: добыть нужные справки, получить багаж, найти врача для Мура, собирать передачи и вещи для Али и Сергея Яковлевича… Мне кажется, что первой в этом ряду нужно назвать Елизавету Яковлевну (Лилю) Эфрон, душевно и деятельно разделявшую с Мариной Ивановной все волнения, страхи и заботы о близких. Как видно из писем Цветаевой, друг и помощница Лили Зинаида Митрофановна Ширкевич брала на себя часть хозяйственных забот. По-настоящему сблизились с Цветаевой и Муром и участвовали во всех их делах и заботах друзья Али: Муля (Самуил Давыдович Гуревич) и Нина (Нина Павловна Гордон). Их отношение было той поддержкой, в которой она так нуждалась; и Цветаева, и Мур пишут о них Але с любовью и благодарностью…

Цветаева трезво оценивала свое положение и отношение окружающих, остро ощущала одиночество и приоткрывалась лишь в тетрадях, письмах, в случайно оброненных фразах. «Меня все считают мужественной, – записывала она и признавалась: – Я не знаю человека *робче* себя. Боюсь – всего…» Страхи питались не мистикой, а реальностью: «по ночам опять не сплю – боюсь – слишком много *стекла* — одиночество – ночные звуки и страхи: то машина, чорт знает что ищущая, то нечеловеческая кошка, то

треск дерева – вскакиваю...» Как и многие, Цветаева в ужасе прислушивалась к любому ночному шороху, боясь ареста. Ведя себя спокойно на людях, она не притворялась – она «держалась», пока жила и считала нужным жить.

Пишутся ли стихи в таком состоянии? На примере Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама мы знаем, что пишутся: они стихами преодолевали страх. Цветаева в любой жизненной ситуации тоже находила выход в поэзии, ею преодолевала жизнь. Победа «письменного стола» над «бытом» была для Цветаевой естественным образом жизни. Быт навалился на нее с начала революции, и она научилась с ним бороться. Разделавшись с ним, отвернувшись от него, остаться наедине со своим Гением – для поэта счастье. При всей трагичности судьбы Цветаевой она прожила творчески счастливую жизнь, сумев осуществиться в поэзии. Подвигом был бы для нее отказ от стихов, а не борьба с бытом. Этот подвиг она совершала, живя в Советском Союзе. Незадолго до отъезда из Парижа она сказала М. Н. Лебедевой: «если не смогу там писать – покончу с собой». Она работала до самого отъезда – последнее из «Стихов к Чехии» написано меньше чем за месяц до приезда в Москву. Отказ от стихов был для Цветаевой сознательным актом, а не следствием творческого бесплодия. Сетуя на трудности болшевского быта, она спрашивала сама себя: «Когда писать??» Стихи «стучались» к ней, но она их не пускала. В письмах она повторяла, что «своего» не пишет: *«Я свое написала.* Могла бы, конечно, еще, но свободно могу *не...»* Могла бы...

Ее переводы свидетельствуют об этом. Но есть и стихи Цветаевой, написанные по возвращении: семь завершенных, четыре в той или иной степени не доделаны. Они подтверждают: да, могла, не разучилась, это цветаевские стихи, которые не спутаешь ни с чьими. И вечные темы: любовь и смерть. Но почему так мало? Почему эти стихи обходят то самое важное, что вторглось в ее жизнь на родине? Значит ли это, что иные – не любовные – стихи не возникали в ее сознании и не просились на бумагу? К сентябрю 1940 года относится запись: «Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим – кончено». Много раз пробегая эти слова глазами, я долго не постигала их смысла – ведь это приговор своим стихам. Почему Цветаева отказывалась от стихов? Одно объяснение кажется мне похожим на правду: о чем она могла бы писать? Включиться в славословящий хор советских поэтов – для нее это было неприемлемо и творчески невозможно. Писать «в стол» о том, что она увидела и пережила по возвращении, – а где бы Цветаева хранила такие стихи? Она на опыте знала, что такое обыски и аресты. Рукописей боялись.

Ахматова и вдова Мандельштама «хранили» стихи в памяти своей и самых верных друзей. Таких у Цветаевой не было. Записывать она себе не позволила ничего. Сознательность отказа Цветаевой от творчества не означает примирения. Это была одна из форм самоубийства – за несколько дней до смерти Цветаева сказала Л. К. Чуковской, что «разучилась» писать стихи. «Если не смогу там писать – покончу с собой» – такие слова зря не произносятся.

И все же, пока она была жива, душа ее, как сказочный Феникс, способна была возрождаться из пепла, загораться, гореть, страдать...

Ушел – не ем:
Пуст – хлеба вкус.
Всё – мел,
За чем ни потянусь.

Это из стихов, обращенных к Е. Б. Тагеру в январе 1940 года. И к нему же – диалог о любви и возрасте:

– Пора! для *этого* огня —
Стара!
– Любовь – старей меня!
– Пятидесяти январей
Гора!
– Любовь – еще старей...
. . . . . .
Но боль, которая в груди, —
Старей любви, старей любви.

Цветаева дорожила этой болью, она была признаком жизни, а Цветаева – вопреки всему – не перестала быть живым человеком, женщиной. Когда-то меня поразил рассказ поэта, художника, переводчика Аркадия Штейнберга:

> «Я видел Цветаеву всего один раз в жизни... Но началась эта история много лет спустя после ее смерти. Мне сказали, что надо посмотреть Галину Уланову, что она скоро сойдет со сцены, а не увидеть ее нельзя. И я пошел на „Жизель“. Там есть сцена сельского праздника. Жизель среди других девушек, обыкновенная, ничем не выделяющаяся. И вдруг она видит принца и идет к нему. Она просто идет через всю сцену, но это было гениально сыграно. Жизель преобразилась. Это Женщина, Любовь,

Ожидание шли к мужчине...

А у меня необыкновенная зрительная память. Я помню все, что когда-нибудь видел. И я вспомнил, что где-то уже видел это. И в памяти всплыла картина...

Это было перед войной. Я стоял в Гослитиздате в очереди за деньгами, но денег не было, мы ждали, когда их привезут. Было много народу. Вдруг кто-то толкает меня в бок и показывает: Цветаева... Я увидел старую женщину, неухоженную, видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками. Какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом. И вдруг лицо ее преобразилось, стало женственным, счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то только что вошедшему. Я оглянулся и увидел Тарковского... Эту картину я совершенно отчетливо вспомнил на «Жизели» с Улановой».

Цветаева была увлечена Арсением Александровичем Тарковским – молодым, красивым, талантливым поэтом и переводчиком. Она обратила внимание на его переводы, а потом познакомилась с ним в доме переводчицы Н. Г. Яковлевой, у которой было нечто вроде литературного салона. Они встречались в гостях, в писательском клубе, в издательстве. Тарковский был намного моложе Цветаевой, женат, она не интересовала его как женщина, и ее стихи тоже оставляли его равнодушным. М. Белкина утверждает обратное, но опровергает сама себя, приводя высказывание Тарковского, который «не раз ей говорил: – Марина, вы кончились в шестнадцатом году!..». К Тарковскому обращено последнее стихотворение Марины Цветаевой, 6 марта 1941 года. Это ответ на его стихи, которые он читал при Цветаевой в одном из знакомых домов. Строчку из него она поставила эпиграфом: «Я стол накрыл на шестерых...»

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
– «Я стол накрыл на шестерых»...
Ты одного забыл – седьмого.
. . . . . .
...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг – и всё же укоряю:
– Ты, стол накрывший на шесть – душ,
Меня не посадивший – с краю.

Никто… Как необходим ей был кто-то, для кого и она была бы не просто именем, а живой душой. Но ни одно из увлечений этих лет не состоялось: *«У меня нет друзей,* а без них – *гибель».* Впрочем, в письмах дочери в лагерь дважды повторено: «Есть друзья, – не много, но преданные».

Жизнь била Цветаеву упорно и беспощадно. Она устала, постарела, изменилась внешне. «Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху!» – негодовал Мур, а ей нравилось, что он назвал ее деревенской. От прежней Цветаевой оставались стройность, летящая походка, тонкая талия и серебряные запястья. Внутри сохранились стойкость, несгибаемость, чувство ответственности. Жизнь требовала от нее полной самоотдачи: переводы, деньги, книга, передачи Сереже и Але, постоянная забота о здоровье Мура, хозяйство… Цветаева справлялась, она была необходима близким, и это давало ей силы преодолевать невозможное.

В январе 1941 года в Бутырской тюрьме приняли вещи для Али, это означало, что ее готовят к этапу в лагерь, а 27 января в «окошке» сказали, что Аля «выбыла», и дали довольно неопределенный адрес, который позже уточнился: Коми АССР, Железнодорожный район. Поселок Железнодорожный. Почтовый ящик 219/Г. Цветаева не решается пока писать письма, не зная, будут ли они доходить до адресата; почему-то тогда казалось, что открытки проходят цензуру легче. В открытках она повторяется, раз за разом сообщает самое важное о Сергее Яковлевиче: передачу приняли, значит, пока – жив, о Муре и о себе. И в каждой – перечень вещей, которые она хочет отправить дочери в лагерь: «Мы для тебя собираем уже полтора года». Только 3—4 апреля Ариадна Сергеевна получила первые открытки от Марины Ивановны и Мура и написала им большие письма. Она радуется, «что, тьфу тьфу не сглазить, наладилась» их переписка. Трудно считать, что она наладилась; почта работала по своим законам: первые открытки Али, отправленные еще из Москвы, вообще пропали; цветаевская от 3 февраля дошла до Али лишь 3 апреля. Правда, 10 марта Муля Гуревич получил письмо от Али и в нем письмецо к матери и брату. За четыре месяца Цветаева и Мур получили всего три письма. И тем не менее возможность переписываться была огромным событием: живые родные голоса, хотя и сильно ограниченные цензурой.

Какой активной, уверенной предстает Цветаева в письмах к дочери! Как пытается показать, что у них все в порядке: и комната на два года, и переводческая работа («На жизнь – нарабатываю»), и Мура любят и любили во всех школах, и книга, хотя пока и не принята – о рецензии Зелинского, конечно, не упоминается – но

войдет в план следующего года… Она уверяет Алю, что их с Муром дела идут хорошо, она «старается» и уже стала членом писательского профсоюза. Она умалчивает, что могла бы быть членом Союза писателей… Но ее приняли в группком литераторов при Гослитиздате, для которого она делала переводы и внутренние рецензии, и это огромное событие – Цветаева наконец получила официальный советский статус.

Письма Али тоже бодрые: и в кино она ходит, и радио слушает, и в Москве (читай – в тюрьме) «в смысле условий … мне было неплохо – идеальная чистота, белье, хорошие постели, довольно приличное питание, врачебная помощь, и главное – чудесные книги». Ну санаторий высшего разряда да и только! Сотни тысяч людей таким же наивным обманом пытались поддержать своих близких на воле.

Начались деятельные заботы о посылке Але вещей и «продовольствия», как выражалась Марина Ивановна. У нее с лета было насушено много овощей, богатых витаминами и предотвращающих цингу. Для Али сшили зимнее пальто, приготовили непромокаемую и теплую обувь, есть и красивые платья, можно прислать браслет и бусы, синюю испанскую «шаль с бахромой, которая тем хороша, что и шаль и одеяло». Аля дипломатично напоминает: «Мама, Вы пишете о вещах – мне жаль, если пришлете хорошее, свое. Всегда есть шансы, вернее мельшансы[270], что они пропадут». Цветаева хочет поехать на свидание в лагерь, и «если бы не Мур (хворый) я бы сейчас собралась…». Вероятно, она надеется на лето: каникулы и легче будет устроить, чтобы Мур не оставался один. Пока же Муля Гуревич (они с Алей считают себя мужем и женой, хотя он женат и у него есть сын) пытается получить разрешение на свидание: «Муля нам неизменно-предан и во всем помогает, это золотое сердце. Собирается к тебе». Переписка с Алей определенно меняет жизнь Цветаевой и Мура, она сокращает расстояние между ними, создает иллюзию совместности. Понимая, как важно это после полутора лет полной неизвестности друг о друге, Цветаева хочет посвятить дочь не только в события, но и в подробности их жизни, вплоть до расписания их с Муром обычного дня. Она рассказывает о новой для себя работе – ведь до сих пор ей не приходилось переводить с подстрочников; как много сил требуется, чтобы из плохого подстрочника сделать хорошие стихи, и как она не может позволить себе небрежности. Мур рассказывает о школе, о занятиях и отношении к нему соучеников, о школьных «девицах», о книгах, которые читает, о музыке, которую слушает, о планах на будущее… Несмотря на страшные обстоятельства, разделяющие Марину Ивановну и

Алю, – или благодаря им? – кажется, что они по-новому сблизились, ушло что-то, что стояло между ними в те два месяца, которые они провели рядом на воле. Возможность переписываться приносит надежду и на встречу. Пройдя все мытарства, уже живя в лагере, Аля так и не может поверить в случившееся, до последней минуты она ожидала если не оправдания, то гораздо более мягкого приговора. Муля ищет адвоката, который взялся бы хлопотать о пересмотре дела А. С. Эфрон; Цветаева узнает в НКВД, что восьмилетний срок Алиного приговора включает в себя те полтора года, которые она провела под следствием, и утешает, что до освобождения осталось «не восемь лет, а шесть с половиной, это мне сказали на Кузнецком».

В начале мая 1941 года у Цветаевой запросили открыткой вещи для Сергея Яковлевича; это могло означать, что следствие по его делу завершено, приговор вынесен и его тоже готовят к отправке в лагерь. 5 мая Цветаева и С. Д. Гуревич отнесли «целый огромный, почти в человеческий рост, мешок, сшитый Зиной[271] по всем правилам, с двойным дном, боковыми карманами и глазка́ми для продёржки, всё без единой металлической части». Зимние вещи не взяли, но то, что многое другое удалось передать, сильно поддерживало Цветаеву. 10 мая приняли и передачу…

Правда, месяца за два до начала войны перед Цветаевой вновь замаячил «квартирный вопрос». Во-первых, приближался следующий взнос за квартиру – где и как доставать огромную сумму в 5000 рублей? Во-вторых, испортились отношения с соседями, которые всячески ее притесняли и скандалили на кухне: «Ругань, угрозы и т. п. Сволочи! Все эти сцены глубоко у меня на сердце залегают. Они называли мать нахалкой, сосед говорил, что „она ему нарочно вредит“, и т.п. <…> Мать вчера плакала и сегодня утром плакала из-за этого, говоря, что они несправедливы, о здравом смысле и т. п.<…>» Цветаева – плачет! Заступиться за нее было некому, Мур уговаривал «уступать сволочам и жить без скандалов», но она не могла мириться с несправедливостью. Цветаева готова была переехать в другое место, но по многим причинам это было нереально; она надеется уехать с Муром на дачу, чтобы избавиться от соседей хотя бы на лето.

Мур много занимался и хорошо сдал весенние экзамены, мать была им довольна. 18 июня они провели в Музее-усадьбе Кусково с А. Е. Крученых и Л. Б. Либединской, осматривали Шереметевский дворец, катались на лодке, Мур искупался… Бродили по парку… По дороге вместе сфотографировались у уличного фотографа – это последняя фотография Цветаевой. На

одной она написала: «Дорогому Алексею Елисеевичу Крученых с благодарностью за первую красоту здесь. Кусково, озеро и остров, фарфор. В день двухлетия моего въезда. 18 июня 1941 года. М. Ц».

А для Либединской – только что, в Кусково, сочиненное двустишие: «Хороший дом,/ Хочу жить в нем...»[272] Наступил, казалось, период не совсем устойчивого, но всё же равновесия. И может быть, она бы еще пожила...

Субботний вечер 21 июня 1941 года Цветаева провела у Н. Г. Яковлевой в Телеграфном переулке в компании молодых литераторов. Читали стихи, читала и Цветаева стихи и «Повесть о Сонечке»; пили чай, говорили и спорили о стихах... Возвращались под утро, а утром «22 июня – война, – записала Цветаева, – узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покр<овскому> бульвару».

В тот же день на митинге московских писателей войну провозгласили «народной» и «священной». Повсеместно демонстрировался небывалый взрыв официального патриотизма. В. К. Звягинцева говорила мне: «Когда грянула война, я первые дни встретила со страшной силы патриотизмом, выступала по два раза на призывных пунктах, орала не своим голосом...» Газеты наполнились победными и призывными стихами, статьями, очерками. Все «орали не своим голосом». Цветаева встретила войну с ужасом. Казалось, война гналась по пятам именно за ней, за Муром: они едва убежали от нее из Парижа, теперь она нагоняла их в России. Немецкие войска уверенно продвигались в глубь страны. Победные стихи в газетах и песни по радио звучали иронией над реальностью. На пятый день войны «Правда» сообщала о репетициях Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски, разучивавшего «новые боевые песни».

«Если завтра война» —
так мы пели вчера,
А сегодня – война наступила.
И когда подошла боевая пора —
Запеваем мы с новою силой...[273]

Песенное пустословие могло только усилить страх. Хозяевам в Елабуге запомнилась фраза Цветаевой: «Такие победные песни поют, а *он* все идет и идет». Он – немец, враг – мог отнять единственное, что у нее еще оставалось, – сына.

Сын

Дети, сами пишите повесть
Дней своих и страстей своих.

Чем больше я узнаю о Георгии Эфроне, тем сильнее крепнет во мне убеждение, что никто не знал и не понимал его так хорошо, как мать. Материалы, появившиеся за последнее десятилетие, полностью поменяли мое представление о сыне Цветаевой: свидетельства о его неприятном характере, эгоизме, грубости – лишь шелуха, из которой выступают трагическое лицо и судьба одареннейшего мальчика, которому жизнь не дала состояться.

Мур родился в непростой семье: мать – поэт, одержимый стихиями, отец – человек, всецело отдавшийся политике; эмиграция – бедность, отсутствие стабильности, жизнь между двумя языками... Он и рос необычным: физически и умственно развивался, значительно опережая сверстников. Главным действующим лицом его детства была мать. Они буквально не расставались: она была дома, заботилась о нем, проводила с ним время, читала ему, учила русскому языку, отводила и приводила из школы, брала по своим делам, в гости к своим знакомым... Может быть, подсознательно она пыталась заменить ему собою весь мир. Товарищей-ровесников у него практически не было. Он с малолетства на равных общался со взрослыми: мог вмешаться в разговор, перебить, начать спорить. Это ошарашивало, казалось странным и у многих вызывало неприязнь. Впрочем, судя по цветаевским записям, реплики Мура бывали и умны, и к месту. По-настоящему трагичным для мальчика оказалось внутреннее расхождение родителей, которые – сознательно? неосознанно? – разрывали его: мать стремилась вырастить его русским гуманистом, отец – советским патриотом.

Учился он отлично, французский выучил сам, в девять лет по своей инициативе с увлечением штудировал учебник по высшему курсу французской грамматики; в школе получал похвалы и награды. Он вырос двуязыким, знал и немецкий, а годам к десяти увлекся английским и начал читать американские детские журналы. Как позже отметила Цветаева: «филологическое чутье у него – непогрешимое».

Ко времени отъезда из Франции Мур свободно чувствовал себя в русской и французской литературах и истории, увлеченно следил за прессой и разбирался в международной политике. Отношения с точными науками были сложнее («И в математиках

так же худ и бездарен, как это было восемь лет тому назад с арифметикой», – писал Мур сестре в 1942 году), но он не собирался заниматься ими в будущем. Он делал успехи в рисовании, ему удавались карикатуры и шаржи; он думал, что это станет его профессией.

Стремление в Советскую Россию, которую Мур вслед за отцом и Алей воображал раем, страной-идеалом, поддерживалось неприятием «буржуазной» Франции, культивируемым Сергеем Яковлевичем («Французов презирает», – с удовлетворением сообщал он сестре Елизавете Яковлевне, когда мальчику было четыре года). Получая письма Али и отца из Москвы, Мур уже не видел жизни вне ее. Цветаева безуспешно старалась противостоять этой тяге: ее понимание ситуации разбивалось об уверенность сына в правоте отца.

В давние парижские времена, пытаясь представить себе будущее Мура, Цветаева писала «Стихи к сыну». Был январь 1932 года, Муру не исполнилось и семи лет. Решалась судьба семьи: Сергей Яковлевич уже подал прошение о советском паспорте. Может быть, этими стихами Цветаева хотела заклясть судьбу, заглушить свое «нет!» отъезду? Уверить самое себя в том, что все будет хорошо?

Бог видит – побожусь! —
Не будешь ты отбросом

Страны своей.

Но не могла же она не понимать, что слова, взятые мною в эпиграф, не более чем риторический прием, ибо самостоятельного выбора у ее сына не было. Отец с раннего детства соблазнял его обществом будущего, «самым свободным, самым справедливым» в мире. Он вовлекал Мура в политику: чтение коммунистической газеты «Юманите», демонстрации Народного фронта, ресторанчики, где собирались коммунисты. Аля все свои помыслы устремляла в ту же сторону. И даже мать прокричала:

Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край – всем краям наоборот!

Впрочем, вряд ли она читала Муру эти стихи…

Муру было четырнадцать с половиной лет, когда его мечта осуществилась: они приехали в Советский Союз. Он казался

взрослым мальчиком: не по возрасту крупный и не по возрасту много прочитавший, знающий, думающий. Тем не менее он был еще ребенком: с заимствованными представлениями о реальности и зависимостью от старших. Ему предстояло взрослеть и найти себя в незнакомом мире, в который он так рвался.

«Общество будущего» сразу ощетинилось своей беспощадной сущностью. Уже оставшись один, в письме из ташкентской эвакуации к сестре в северный лагерь Мур размышляет о своих сознательно – после детства – прожитых годах: «До 1939-го года меня занимали и заполняли мой ум три явления: пресса, радио, кино. Я жил только ими и купался в этих трех элементах. <…> Все-таки годы 37-ые – 39-ые – самые счастливые в моей жизни. Никогда, ни до, ни после, я не жил так полно, интенсивно, никогда так не увлекался; в те годы скука была мне неизвестна и внешняя блестящая оболочка событий своей заманчивостью заставляла меня трепетать и радоваться». – Напомню, что речь идет о времени, когда Аля и Сергей Яковлевич были уже в Москве, а Мур оставался во Франции вдвоем с матерью, и жажда перемен воплощалась для него в мечту о Советском Союзе. – «Конечно, была мечта о „норвежском домике“[274], но она – я теперь это вижу – существовала лишь как способ окунуться в более новое, в более интенсивное, в более интересное; на деле мечта оказалась тягчайшим испытанием и мое представление о счастье продолжает быть связанным – для меня – с 37—39 годом. Потом были испытания, мучения, встречи, отдельные радости, но прежнего удовлетворения уже не было…»[275]

Вместе с матерью Муру довелось пережить все «испытания и мучения», которые выпали на их долю: обыски, аресты, чувство отщепенства, бегство из Болшева, ощущение бездомности. Не знаю, сказали ли Муру об аресте тетки Анастасии Ивановны, но 27 августа он присутствовал при обыске и аресте Али. Что думал он в эту ночь, одевшись и молча следя за происходящим? 28 августа Мур начал вести дневник. Чем родители объясняли случившееся? Ошибка?.. Несправедливость?.. Обещал ли ему Сергей Яковлевич, что будет добиваться правды и Алю выпустят?.. Через полтора месяца на глазах Мура арестовали самого отца, меньше чем еще через месяц – Николая Андреевича Клепинина. Тогда-то мать с сыном и бежали из зачумленного болшевского дома. Можно лишь удивляться, что это не добило их окончательно. Муру помогал его возраст, подсознательное ощущение своей «каменной стены» – матери. Цветаеву держало, заставляло жить и действовать чувство ответственности за семью, которую «нельзя оставить в беде».

До «бегства» Мур успел поучиться в 7-м классе болшевской

школы – первой из пяти за два его советских учебных года. В альманахе «Болшево» напечатана беседа с соученицами Мура по этой школе. Вероятно, время в чем-то трансформировало более чем сорокалетней давности воспоминания; существенно главное: они запомнили этого «новенького», пробывшего у них около двух месяцев, – он резко отличался от болшевских ребят. Мур был выше и выглядел крепче одноклассников, а одет был совсем не «по-нашему»: все носили пионерскую форму, а у него «брюки с напуском, на пуговицах чуть ниже колен. На ногах кожаные краги, что меня очень удивляло. Ботинки на толстой подошве. Куртка со множеством замков, кармашков, в которых было множество ручек». Похоже, никому в семье не приходило в голову одеть его менее заметно. Но если бы даже Мур был в пионерской форме, он все равно выделялся бы из толпы советских школьников. Его жизненный опыт оказался несравнимо сложнее и богаче, чем у них. Он был взрослее однолеток. Речь идет об уверенности в себе, независимости, о чувстве внутренней свободы и собственного достоинства. Кто из его соучеников посмел бы не согласиться с учителем? Для Мура это было естественно, скорее всего, он даже не понимал, что нужно вести себя по-другому. Когда учитель поставил ему четверку, Мур «встал и очень спокойно—у нас никто так не делал – сказал: „Немецкий я знаю хорошо. И то, что вы мне поставили четверку, считаю совершенно неправильным“ <…> И вот это умение защищать свою правоту меня поразило!» – сказала одна из его одноклассниц[276].

Домой Мур никого не приглашал и сам ни к кому не ходил и не рассказывал о своей семье и прошлом. Ребята считали его «иностранцем», даже его прекрасный русский язык отличался от того, на котором говорили они. После уроков он вместе с попутчиками шел до определенного места, а потом сворачивал к поселку «Новый быт». Но во время перемен в школе держался дружелюбно, спокойно и поражал всех рисунками, которые приносил из дома или рисовал тут же в классе, окруженный восхищенными ребятами. Это были главным образом карикатуры на антифашистскую тему. Еще в Париже Цветаева отметила, что в рисунке Муру лучше всего удается гротеск. Как он учился, выпало из памяти соучениц, но «колоритная, очень русская» речь запомнилась. О тяжких испытаниях, которые обрушились на их соклассника, ребята не догадывались. По-настоящему дружен и близок Мур был только с Митей Сеземаном: давним товарищем, мальчиком одной с ним культуры, воспитания, общих интересов и – судьбы.

Зиму в Голицыне Мур проболел – краснуха, свинка, грипп, воспаление легких – естественная реакция организма на

катаклизмы, разрушившие семью. Он изменился внешне: черты лица стали более определенными и твердыми, а сам он, по выражению Цветаевой, «худой и прозрачный, слабый». Но то, что он почти не ходил в школу, а учился дома, дало ему возможность обдумать и оценить происшедшее. Мур уезжал из Голицына более взрослым, чем был полгода назад. Ему шел шестнадцатый год...

В Москве жизнь относительно стабилизировалась: комната на Покровском бульваре, школа, где у него появились приятели и знакомые девушки. «В школе ко мне относятся очень хорошо – я играю видную роль в классе, – сообщает он сестре. – Имею успех у местных кокеток и с успехом острю. Состою членом МОПР'а»[277].

Цветаева с удовлетворением отмечает, что во всех школах Мура любят и что по части русского языка и литературы он считается абсолютным авторитетом. Литература стала его основным интересом, книги с детства были его страстью. В Москве он сделался завсегдатаем Библиотеки иностранной литературы, бегал по книжным и букинистическим магазинам – продавал прочитанные и покупал нужные ему книги. Желая доставить сыну радость, Цветаева приносила ему книгу или... пирожное. Теперь Мур связывает свое будущее с литературой. И хотя он совсем по-мальчишески пишет, что «окончательно охладел к призванию художника»,– об окончательности говорить было рано, была жажда узнавать, видеть, слышать – впитать как можно больше, чтобы потом воплотить это во что-то свое. Это должно было радовать Цветаеву.

Цветаевой и Муру было нелегко друг с другом. Семь лет назад, размышляя о своей семье, она пришла к трагическим выводам:

> «Семья? Даровитый, самовольный, нравом и ухватками близкий, нутром, боюсь (а м<ожет> б<ыть> – лучше?) *новый, – трудный* — Мур.
>
> Вялая, спящая, а если не спящая – так хохочущая, идиллическая, пассивная Аля – без больших линий и без единого *угла.*
>
> С<ережа> рвущийся.
>
> Вырастет Мур (Аля уже выросла) – и *эта* моя нужность отпадет. Через 10 лет я буду совершенно одна, на пороге старости. С прособаченной – с начала до конца – жизнью».

Что беспокоило ее в подрастающем сыне? Ей казалось, что, может быть, в нем недостаточно развито «нутро» – душевная восприимчивость и отклик. Но пригвожденная к собственной неизбывной душевной боли, Цветаева задается вопросом: а может

быть, без такого «нутра» – лучше? Легче будет для него жизнь? И не находит ответа…

Возможно, в их ситуации ей было труднее, чем другим матерям с сыновьями-подростками, ибо, помимо естественных «трудностей возраста», каждому из них требовались все душевные силы, чтобы выстоять. Многие вспоминают, что Мур был эгоистичен, раздражителен и груб с матерью. Он демонстрировал и отстаивал свою «взрослость» и самостоятельность. Но кто в его возрасте не вел себя так же – в большей или меньшей степени? Поле напряжения, всегда существовавшее вокруг Цветаевой и окружавшее Мура, в России ощущалось более чуждым и далеким от реальности, чем где бы то ни было. Кванина писала мужу о Муре: «Его юность напоминает мне мою. Такая же нездоровая приподнято-чувствительная атмосфера. Трудно ему будет на землю твердо встать. А без этого тяжело…» Резко, по-мальчишески Мур пытался нащупать свою «землю», а Цветаева продолжала видеть его беззащитным, рвалась не только обиходить, порадовать его, но оградить от воображаемых опасностей, от самой жизни. Он стремился к независимости – мать была полна страхов за него, хотела знать о каждом его шаге, не отпускала от себя. Мура тяготила ее постоянная опека: она настаивала, чтобы он всюду бывал с нею, когда они шли на прогулку в компании, не спускала с него глаз, постоянно окликала, опасаясь, чтобы он не промочил ноги или не заблудился. Если выходили к водоему, она из страха за него не разрешала ему покататься на лодке или искупаться. Мальчика обижала и раздражала преувеличенная опека, но освободиться от нее было невозможно. Цветаева жаловалась на сына Але: «никуда со мной ходить не хочет – никогда, а если когда и идет – в гости, то силком, как волк на аркане». Даже когда на горизонте Мура появилась девушка, с которой ему было интересно проводить время, мать была недовольна тем, что «ничего не знает» о ней. Как сама Цветаева в этом возрасте, сын пытался оградить свой мир, а она давила на него, не допускала даже мысли о самостоятельности; ее пугало, что он отдалится от нее, потому она и держала его, «как волка на аркане». Отсюда у Мура – противостояние, стремление вырваться, резкость, временами доходившая до грубости, внешняя угрюмость.

Вероятно, ближе всего к правде видела Мура предвоенных месяцев Т. Н. Кванина: «Ему было, конечно, предельно трудно в этот период. Все новое: страна, уклад жизни, школа, товарищи. Все надо было узнавать вновь, надо было найти свое место. А тут еще переходный возраст: повышенная раздражительность, нетерпимость к советам (не дай Бог, приказаниям!), болезненное

отстаивание своей самостоятельности и пр<очее>, и пр<очее>...» Татьяна Николаевна замечала, что «срывы» Мура были тяжелы и ему самому. Однажды, когда мать пыталась поправить ему кашне, «он резко отвел руку Марины Ивановны и резко сказал: „Не троньте меня!“ Но тут же посмотрел на мать, потом на меня, и такое горестное, несчастное лицо у него было, что хотелось броситься с утешением не к Марине Ивановне, а к нему, к Муру». Кванина была доброжелательна, она чувствовала, «что этот мальчик сам не рад своей раздражительности и резкости, стыдится их, жалеет Марину Ивановну, а вот сдержать себя не может». Ее доброжелательность вызывала ответное доверие. Кажется, только с «Танечкой» Цветаева откровенно разговаривала о сыне: «Марина Ивановна прекрасно понимала все, что происходило с Муром, знала, понимала его характер (мы говорили с ней об этом)»[278]. Понимала – но преодолеть себя не могла.

По записям Цветаевой видно, как она с младенчества присматривалась к сыну, преодолевая обожание, стремилась сохранить трезвость взгляда. Летом 1928 года она пишет: «Ребенок ни умственно ни сердечно не выдающийся, в пределах естественной хорошести и умности трехлетнего ребенка, – и добавляет: – *ннно* — есть в нем что-то, очевидно – в *виде* (а просто *вида* — нет, вид – *чего-нибудь* и, скорей, – ВСЕГО) заставляющее одного называть его Наполеоном, другого – Муссолини, третьего – профессором, четвертого – чудаком – Зигфридом – римлянином...» Время от времени она открывала в сыне недостатки: гостя с ним в Бельгии, заметила, что он плохо воспитан, не умеет вести себя на людях; в другой раз – что он невежлив; еще как-то – что он врывается в чужой разговор или делает замечания взрослым... С годами это сглаживалось, Мур давал больше поводов для уверенности, что все наносное, детское и подростковое пройдет, а ее, цветаевский, стержень пребудет.

В страшные московские месяцы Цветаева увидела, что ее сын – сложившаяся личность, и обнаружила в нем качества, по которым судила о людях: достоинство и чувство ответственности. «Внутри он такой же суровый и одинокий [как – кто? она сама? – *В. Ш.*] и достойный: ни одной жалобы – ни на что». Это важнейшее признание: Цветаева оценивает сына по самой высокой мерке, в то время как с легкой руки некоторых воспоминателей принято было думать, что Мур был требователен, капризничал и жаловался на трудности московской жизни... То, что он, по словам Цветаевой, «ворчал», если не было котлет (покупных, дешевых – «полтинник – штука»), относится к мелким семейным перебранкам, знакомым каждому. Зато Мур

упорно и старательно учился, стремясь побороть свои нелегкие отношения с математикой и естественными науками, и несмотря ни на что переходил из класса в класс. Когда пришло время получать советский паспорт, Мур занимался этим самостоятельно, и Цветаева хвасталась Але: «Муру 1-го февр<аля> исполнилось 16 лет, второй месяц добывает паспорт – сам. Был уже в четырех учреждениях, и у д<окто>ра – установить возраст. Всё в порядке, обещали вызвать. Мур – удивительно ответственный человек, вообще он – совсем взрослый, если не считать вязаных лоскутьев, с к<оторы>ми спит и к<оторы>е я по-прежнему должна разыскивать». Не знаю, нужно ли удивляться, что, понимая все это, она продолжала вести себя с сыном не как с ответственным человеком, а как с малышом, который все еще спит с игрушками…

Мур рос такой же «другой», как и сама она: по-своему он тоже был «белой вороной». Цветаева считала, что она «вкачала» в сына «всю Русь», и была по-своему права. Тем не менее его соученицы по болшевской школе заблуждались, говоря о его «внутреннем сугубо русском мире»: Георгий Эфрон вырос человеком французской культуры; он смотрел на мир, на людей и отношения между ними, на политические события и даже на повседневность глазами европейца. Его восприятие жизни, не совсем обычная речь и непривычная советскому человеку манера поведения – все отчуждало его от окружающих. Он резко выделялся не только среди сверстников, но и среди взрослых. Со своим острым взглядом, умом и ироничностью Мур лучше мог оценить людей, чем они способны были понять его. Когда-то Цветаева боялась, что в России у нее «отберут» сына. Оказалось – некому, заинтересованных лиц (кроме военкомата, но, к счастью, уже после ее смерти) не нашлось. Он был уникум и, обращая на себя внимание, вызывал не столько заинтересованность, сколько любопытство.

Сама его «русскость», которой гордилась Цветаева, была необычной, как бы устаревшей, ведь она «вкачивала» давно исчезнувшую Русь. *Свою* русскую культуру Мур открывал для себя уже в России. Он собирал библиотечку советской поэзии и литературной критики; по-новому читал и перечитывал русскую классику. Его русский художественный вкус начал стремительно развиваться, и Москва давала такую возможность: Мур слушал концерты в Консерватории и Зале имени Чайковского, ходил на выставки, с помощью тетки Елизаветы Яковлевны видел интересные спектакли в театрах… Вряд ли в Париже Эфроны могли бы позволить себе это. Его интересы в музыке, искусстве, в русской и европейской поэзии и прозе (многое он читал в

оригинале) взрослели.

Прежде мне казалось, что Мур не мог понимать Цветаеву, привыкнув к ней как к своей собственности, просто не думал о ней отдельно. Но догадывался ли он, что представляет собою его мать? Знал ли, как маленькая Аля, что Марина «не как все», что она и не может быть «как все»? Теперь я уверена: ощущал уже в раннем детстве. Вот одна из цветаевских записей – Муру четыре с половиной года:

> «(В ответ на мои стихи:
>
> Небо – синей знамени,
> Сосны – пучки пламени...)
>
> – Синее знамя? Синих знамен нет. Только у кана́ков. Пучки пламени? Но ведь сосны – зеленые. *Я* так не вижу, и никто не видит. У Вас белая горячка: синее знамя, красные сосны, зеленый змей, белый слон.
>
> Как? Вы не любите красивой природы? Вы – сумасшедшая! Ведь *все* любят пальмы, синее море, горностай, белых шпицев.
>
> Для кого Вы пишете? Для одной себя, Вы одна только можете понять, п<отому> ч<то> Вы сама это написали!» Мур не читал еще русской прессы, иначе можно было бы подумать, что он повторяет некоторых критиков. Однако мальчик чувствовал, что его мать видит мир по-своему. Не подозревал ли он втайне, что она «колдунья»? Так назвала мне однажды Цветаеву Ариадна Сергеевна, противопоставляя мать ее сестрам – «ведьмам».
>
> Цветаева с Муром собираются на прогулку и она поторапливает сына:
>
> «—Скорей! Скорей, Мур, а то солнце уйдет – и мы останемся!
>
> (Одевая, бормочу какие-то стихи) Мур: – Только не думайте, что Ваши стихи остановят солнце!»

Как многим детям, ему хотелось, чтобы мать занималась чем-то более понятным и близким его интересам. В пять лет, страстно увлекшись тракторами и машинами, мечтая «жениться на тракторе», Мур спросил: «Мама! Для чего Вы стали писательницей, а не шофером и не другим таким?»

Начав учиться в школе, сравнивал мать с учительницей: «Вот я сегодня глядел на учительницу и думал: – Вот у нее есть какая-

то репутация, ее знают в обществе, а мама – ведь хорошо пишет? – А ее никто не знает, п<отому> ч<то> она пишет отвлеченные вещи, а сейчас не такое время, чтобы (писать) читали отвлеченные вещи. Так что же делать? Она же не может писать другие вещи». К девяти годам Мур принял это открытие: его мать – поэт, а поэта ничто не может заставить писать по-другому.

Думая об этом, я яснее представляю себе отношение Мура к рецензии К. Зелинского, «зарубившей» цветаевский сборник. Окунувшись в жизнь после болшевского затворничества, Мур скорее, чем Цветаева, сориентировался в советской повседневности и в положении советской литературы, понял сущность «социалистического реализма» и несовместимость с ним «отвлеченных вещей» Марины Цветаевой. Он читал, собирал и любил стихи советских поэтов; ему нравятся и Асеев, и Кирсанов, и Долматовский! Это чтение наглядно подтверждало, что *так* писать Цветаева не может. Мур видит разницу, но ощущает ли дистанцию между их стихами и цветаевской Поэзией? Знакомство с критикой, которую Мур внимательно изучал, дало представление о том, как обязан работать советский критик. Гослиту требуется «отклонить» книгу Цветаевой – Зелинский выполняет этот заказ. Мур оправдывает его (может быть, это проявление молодого цинизма?) тем, что иного выхода у критика нет: «...конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери – совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. [Цветаеву возмутило бы это высказывание: разве поэзия призвана отражать действительность?! – *В. Ш.*] Вообще я думаю, что книга стихов – или поэм – просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги, и хочет только переводить».

Когда при встрече в Ташкенте Зелинский поспешил объяснить, «что инцидент с книгой М. И. был „недоразумением“ и т<ак> д<алее>...» – Мур уже понимал, что представляет собой Зелинский, и саркастически комментировал: «я его великодушно „простил“. Впрочем, он настолько закончен и совершенен в своем роде [в безнравственности, по цветаевскому определению. – *В. Ш.*], что мы с ним в наилучших отношениях, – и ведь он очень умный человек».

Это уже другой Мур, переживший смерть матери, оставшийся с глазу на глаз с необходимостью выживать в одиночку в военное время. Он стал взрослым в день ее смерти. Хотя, по словам Мура, Цветаева неоднократно говорила о возможности для себя такого

выхода, ее самоубийство не могло не потрясти его. И первые его поступки производят впечатление судороги: не увидеть мертвое тело, уйти из дома, где случилось несчастье, отодвинуть его, чтобы еще какое-то время не принять, как будто ничего не случилось… Ему лишь только шестнадцать лет. Возможно, и на похороны он не смог пойти из страха и инстинкта самосохранения. А мы десятилетиями его осуждали…

Читая его письма и выдержки из дневников, я начинаю понимать Георгия Эфрона. Я помню свой столбняк, когда М. С. Петровых рассказала мне о встрече с Муром в писательской столовой в Чистополе: он подошел к ее столику и, не дожидаясь вопроса, спокойно и твердо сказал: «Марина Ивановна повесилась». Это сообщение из уст Мура многие помнили и возмущались его бездушием. А чего от него ждали? Что он дрожащим голосом произнесет: «Мама (или мамочка?) умерла…»? Но ведь это для них с Алей она «мама», «мать», «мамахен», а для посторонних – Марина Ивановна, Марина Цветаева. Даже в письмах близким Мур иногда называет ее так. Тетке Елизавете Яковлевне: «Надеюсь, они не станут отрицать наличия у них книг Марины Ивановны». Муле Гуревичу, которого считал членом семьи: «Я вспоминаю Марину Ивановну…» И еще: «У С<ергея> Яковлевича>…», «У М<арины> И<вановны>…» И даже – Але: «…мы не имеем просто права скрывать от тебя смерть М<арины> И<вановны>»; «Марина Ивановна всегда хотела деятельности…» Нужно душевное усилие, чтобы понять, какую боль он скрывал, называя мать этим именем. В одном из писем Муле Гуревичу Мур признавался – в ответ на ощущаемые им невысказанные и в предвидении будущих нареканий: «Самое тяжелое – одинокие слезы, а все вокруг удивляются – какой ты черствый и непроницаемый».

Всю жизнь для Цветаевой было невыносимо, чтобы ее жалели. Мур – ее сын: он боялся чужой жалости и сочувствия. Может быть, как и мать, он чувствовал приближение слез от соболезнующих слов и жалостливых взглядов? По его выражению, он замкнулся в одиночество, как в «башню из слоновой кости». Впрочем, замыкаться было особенно не от кого: те, кто его любил, были «недосягаемы», а тем, с кем он сталкивался, было не до него – он сознавал это. Люди могли бы понять, как трудно этому одинокому подростку, но их сбивали с толку, а некоторых раздражали его отчужденность, независимость поведения, даже аккуратность и тщательность его одежды…

Георгий Эфрон несколько раз повторил по поводу гибели Цветаевой: «Она была права, что так поступила…», «это было лучшее решение…», «я ее вполне понимаю и оправдываю». Такие

слова тоже вызвали обвинение в равнодушии: чудовищно так спокойно принять самоубийство матери. И почему ее требуется оправдывать, в чем она провинилась? Попытаемся взглянуть на ситуацию глазами Мура – он один был рядом с Цветаевой два болшевско-московско-елабужских года. Ему виднее, чем кому бы то ни было, как она жила, что чувствовала и переживала, как вела себя не на людях – на всех этапах ее последнего пути. Встречавшиеся с ней в первые дни войны говорят об «истерическом состоянии» Цветаевой. Мур пишет сестре: «Последнее время она была в *очень подавленном* настроении, *морально больна*» (выделено мною. – *В. Ш.*). Значит, до *последнего времени* мать была и представала перед ним другой: «она была энергичным, боевым существом». Несмотря ни на что, она сумела ввести их жизнь в пусть ненадежную, но определенную колею. Война означала полное крушение едва наметившейся устойчивости. Цветаева была раздавлена и, возможно, преувеличивала свою беспомощность и одиночество перед лицом новой катастрофы, но она понимала, что очень скоро Мур окажется в армии, на фронте – хотела ли она дожить до этого? Единственным гипертрофированным чувством оставался страх– не за себя, за сына; а ей теперь казалось, что своим прошлым, своей нелепостью в этом мире она может только помешать ему…

Мур жил с ней в слишком тесной близости, чтобы не видеть ее состояния. Он свидетельствует в письме к С. Д. Гуревичу от 8 января 1943 года: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое *внезапное превращение*… (выделено мною. – *В. Ш.*). Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого ее слова, каждого поступка, включая самоубийство». Как горестно такое понимание, когда ничего уже нельзя поправить и запоздалое признание и извинение не найдут адресата. Прослеживая роковой ход событий жизни ее последних лет, и мы должны понять, что «моральная болезнь» Цветаевой – не бабьи капризы или истерика, а результат с железной неотвратимостью раздавившей ее реальности. Где, в чем могла она найти выход? В давние годы Владимир Маяковский сказал о смерти Александра Блока: «…дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла». Не исключено, что Мур так видел смерть своей матери, поэта Марины Цветаевой. А оправдывать ее приходилось от непроизнесенных вслух, а может быть, и слышанных им обвинений: как она могла оставить сына на произвол судьбы?! Он внутренне возражал: могла! не могла

иначе...

Я не буду вдаваться в подробности перемещений Мура по стране после смерти Цветаевой – они изложены в книге Марии Белкиной. Через день после похорон он, по желанию матери, перебрался в Чистополь, где около десяти дней прожил в семье Николая Асеева, затем в писательском детском доме, и дальше – Москва, откуда он бежал в дни октябрьской паники, – Ташкент, где он прожил в эвакуации почти два года; осенью 1943 года – снова Москва, поступление в Литературный институт и вскоре – армия, фронт, откуда он не вернулся...

Оставшиеся после Георгия Эфрона письма и дневники говорят о его гигантском внутреннем росте. Прежде всего – в переосмыслении и переоценке семьи. Пока все были вместе, это как бы не имело особого значения, было естественным; семейные конфликты и взаимное недовольство воспринимались острее, чем ежедневная близость. Потеряв всех, Мур ощутил невозместимость потери и неожиданно для себя понял смысл семьи как чего-то незыблемого, более глубокого, чем просто совместность; увидел, как много близкие значили в его жизни. В ответ на Алину «неподдельную горечь по поводу утраты семьи» Мур признается: «лишь теперь я понял, какое колоссальное положительное значение имела в моей жизни семья. Вплоть до самой смерти мамы я враждебно относился к семье, к понятию семьи. Не имея опыта жизни бессемейной, я видел лишь отрицательные стороны семейной жизни, по ним судил – и осуждал. Мне казалось, что семья тормозила мое развитие и восхождение, а на деле она была не тормозом, а двигателем. И теперь я тщетно жалею, скорблю о доме, уюте, близких и вижу, как тяжко я ошибался...» Мур живет совершенно один, есть несколько человек, которые временами готовы ему помочь и помогают: хлопочут за него или подкармливают. С поэтом-переводчиком А. С. Кочетковым и его женой Мур выехал в эвакуацию и доехал до Ташкента; Кочетковы помогли ему здесь остаться, назвав его своим племянником: Мура прописали в их комнате, какое-то время он обедал и получал хлеб по пропуску Кочеткова. Среди других он называет Анну Ахматову, Л. Г. Бать и А. И. Дейча, Алексея Толстого и его жену. В доме Толстых Муру «всегда очень хорошо», и они, по его словам, «помогают лучше, существеннее всех»: «А<лексей> Н<иколаевич> помогает из-за мамы, его жена – из-за личного расположения ко мне, теща А. Н. – из-за доброго сердца и указаний своей дочери...» Замечу, что и возможности Толстых несравненно больше, чем у кого бы то ни было из эвакуированных писателей. Мур душевно отдыхает с Людмилой Ильиничной Толстой; она вполне европейская женщина: «элегантна,

энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбом Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах...» Какой контраст с массой эвакуированных, обсуждающих только насущные дела и заботы... И что особенно приятно Муру – в этом доме он может говорить по-французски. Только благодаря Толстым Муру в конце концов удалось вернуться в Москву: они достали ему пропуск и Людмила Ильинична прислала денег на дорогу...

Муру было нелегко сближаться с людьми; как и его мать, он быстро исчерпывал их, но в отличие от нее редко ими увлекался: его ум и сердце холоднее и трезвее, чем у Цветаевой. Але и Муле по его письмам кажется, что Мур бравирует своим неприятием людей, проницательностью и строгостью суждений. Они пытаются «примирить» его с миром и людьми. Мур отвечает сестре: «я ни с кем абсолютно не сблизился: ни в Москве, ни в Ташкенте <...> Я знаком с очень многими. Но дружбы нет ни с кем. Да, проблема общения. Проблема ли это, и разрешима ли она? Возможно, что я – очень требователен <...> Я читаю, наблюдаю, жду. Вот и всё. А с людьми, с человеческими отношениями у меня прямо-таки не получается. Ведь ты знаешь, что я отнюдь не идеалист и скорее склонен преуменьшать людские качества и заслуги, нежели их преувеличивать. И все-таки обычная для меня история, это знакомство, какой-то период отношений, и постепенно замирание их – причем это всегда начинается с моей стороны: люди мне надоедают, ходить к ним становится пыткой, общего не оказывается ничего, и я вздыхаю свободно, освободившись еще от одного груза отношений, и вновь одинок...»

Я думаю, что Ариадна Сергеевна беспокоилась не зря. В рассуждениях Мура есть доля мальчишеской бравады, но главным образом здесь проявляется природа его характера и воспитания. Гораздо естественнее в его положении было бы сойтись с людьми, примениться к ним, пользоваться их помощью – не Георгию Эфрону. Цветаева вырастила сына эгоцентриком, таким он оставался, так вел себя с окружающими. Мур принимает людей исключительно по уровню их образованности и интеллекта. Душевные качества: доброта, приветливость, способность к сочувствию – как бы не входят в его понятие о человеке. Характеристики, которые он дает людям, яркие и точные, но односторонние и зачастую злые. Мур не умеет подойти к людям и своим видом и поведением не допускает их до себя. Его не научили простой соседской близости с людьми, не воспитали привычки к общению и взаимопомощи на ежедневном бытовом уровне. В результате цветаевского воспитания Муру приходится в

одиночку бороться за жизнь – сам себе добытчик, семья, мать.

В Ташкенте Мур пересматривает отношение к основам жизни, не только к семье, но и к матери: «Отсутствие М<арины> И<вановны> ощущается крайне. Я вынужден, будучи слишком рано выброшенным в открытое море жизни, заботиться о себе наподобие матери: направлять, остерегать, обучать, советовать...» Как все последние годы, не щадя ее, он сопротивлялся ее «давлению»! Как не понимал, что она «вдавливает» в него его будущее! Теперь он может оценить это; в борьбе за сохранение личности в Муре проявляется заложенный Цветаевой стержень. Он пытается не дать жизни затоптать себя – ради этого изо всех сил держится за школу. Он понимает, что единственный выход для него – образование, ведь он бывший эмигрант, член семьи врагов народа...

Муру живется очень тяжело, хотя Литфонд кое в чем ему помогает: его прикрепили к писательской столовой и библиотеке, назначили небольшое денежное пособие. С помощью Литфонда летом 1942 года он получил в писательском общежитии крохотную каморку «без окна и почти, следовательно, без воздуха», раскалявшуюся от солнца, как печка, – но отдельную. Да, Муру «достается» от жизни военного времени, приходится самому справляться со всем тем, что для его сверстников делают взрослые: бегать по городу в поисках продуктов («где что дают?»), менять на базаре одно на другое, продавать свои вещи... самому готовить, стирать, таскать воду и помои – это так непохоже на жизнь обычного десятиклассника и на его собственную совсем недавно... Он плохо питается и физически слабеет, у него повторяющееся рожистое воспаление на ноге, временами с высокой температурой. Конечно, в его письмах есть слова о постоянном чувстве голода, об одолевающих его болезни и физической слабости, о том, с каким трудом он высиживает уроки и как трудно ему сосредоточить внимание на том, что объясняет учитель... И тем не менее он учится в полную силу своих возможностей, блистая в языках (в том числе узбекском), истории, литературе – его сочинения и доклады на литературные темы вызывают восхищение – и упорной зубрежкой «вытягивая» остальные предметы. Он берется за составление и редактирование школьного альманаха, пытаясь «протащить» туда побольше собственной «литпродукции». Впрочем, идея альманаха быстро себя исчерпала, и Мур оставил ее... Вопреки всему: быту, болезням, поездкам в колхоз на уборку хлопка, ежедневному в течение двух месяцев посещению военкомата в ожидании решения своей судьбы – Мур в Ташкенте окончил среднюю школу.

Он тщательно следит за своей внешностью: всегда в

наглаженных брюках, даже если они обветшали, и починенных ботинках: «башмаки совершенно износились – и приходится продавать хлебную карточку, чтобы их починить прилично, ибо я предпочитаю сидеть без хлеба, чем ходить в продранных ботинках». Тот, кто знает о войне хотя бы по рассказам бабушек, может представить себе, что значило – остаться без хлебной карточки… Мур подстрижен, причесан, в письме теткам из армии он вспоминает: «…когда-то в Ташкенте я мрачно острил, что „я все продал, кроме своего пробора“». Для него внешний облик – важная часть сохранения личности. «Чистая белая рубашка с монпарнасским зеленым галстуком» определенно повышают его настроение. У него нет одежды и обуви на смену, временами ему приходится ходить в тельняшке и рабочей куртке.

Л. М. Бродская рассказывала мне, как, проездом через Ташкент, она на улице встретила Мура – об этом и он упоминает в письме от 31 мая 1943 года – и с трудом узнала его. Это был совсем не тот красивый и щеголеватый подросток, которого она знала по Москве, а юноша в сильно потрепанной одежде, с опущенной головой, одутловатым лицом и распухшими красными руками, в которых он держал кулечек с «подушечками» и жадно их ел. Было очевидно, что он заброшен и голоден. «Мур, кто же ест конфеты просто так?» – спросила Лидия Максимовна, «потащила» его на базар и купила ему банку молока…

Мур старается противостоять судьбе, желающей превратить его в люмпена. Он боится потерять здоровье, окончательно оборваться, стать грязным, перестать чувствовать себя человеком своего уровня, опуститься. Боится, что его поглотит ненавистная «низовка», с которой он уже успел соприкоснуться.

Летом 1942 года Мур сорвался. Весь июнь он был «в почти-абсолютно голодном состоянии», как написал он тетке Елизавете Яковлевне, объясняя «катастрофу». Он украл и продал что-то из вещей своей квартирной хозяйки – рублей на 800. Кража обнаружилась; Мура арестовали, он пишет тетке о «кошмарном уголовном мире», в котором «пробыл 28 часов». Ему грозил суд: конец мечтам об окончании школы, высшем образовании и достойной человеческой жизни. Надежда спастись была – если милиция не передаст дело в суд. К счастью, хозяйка согласилась подождать, чтобы он в течение четырех месяцев выплатил сумму, которую она потребовала. Милиция не возражала. У Мура хватило сил признаться теткам и Муле Гуревичу и просить помощи. Он понимал, как сложно обращаться к кому бы то ни было чужому в этой трагической и щекотливой ситуации. Возможно, с этим событием связано отдаление Мура от Ахматовой: 21 июля он в письме Елизавете Яковлевне называет ее

как человека, к которому он мог бы обратиться (но она «сидит без денег»), а в сентябре пишет Але: «Было время, когда она мне помогала; это время кончилось. Однажды она себя проявила мелочной, и эта мелочь испортила всё предыдущее; итак, мы квиты – никто ничего никому не должен. Она мне разонравилась, я – ей».

Что думала тетка по поводу этой катастрофы? Очевидно, ей было страшно за него, она понимала возможность жестоких последствий. Письмо, где Мур сообщает ей подробности, лишено какого бы то ни было желания «бить на жалость», а – удивительно для семнадцати лет – спокойно, трезво и твердо излагает сначала практическую, а затем моральную сторону дела:

«Я всё постигаю на собственном опыте, на собственной шкуре, – все истины.

До Ташкента я, фактически, не жил – в смысле опыта жизни, – а лишь *переживал:* ощущения приятные и неприятные, восприятия красоты и уродства, эстетически перерабатываемые воображением. Но *непосредственно* я с жизнью не сталкивался, *не принимал в ней участия.* Теперь же я «учусь азбуке», потому что самое простое для меня – самое трудное, самое сложное.

В Ташкенте я научился двум вещам – и навсегда: трезвости и честности. Когда мне было очень тяжело здесь, я начал пить. Перехватил через край, почувствовал презрение и отвращение к тому, что я мог дойти до преувеличения – и раз-навсегда отучился пить. <…>

Так же и в отношении честности. Чтобы понять, что «не бери чужого» – не пустая глупость, не формула без смысла – мне пришлось эту теорему доказать от противного, т. е. убедиться в невозможности отрицания этой истины. Конечно, делал я всё это отнюдь не «специально» – но в ходе вещей выяснилась вся внутренняя подноготная. Так я постиг нравственность».

Это признание достойного и ответственного человека, каким видела сына Цветаева. После 1941 года, который Мур считал «переломным», потому что «умерла мама», история с кражей оказалась еще одним переломом: он физически ощутил, как просто скатиться на дно жизни. Общими усилиями близкие вытащили Мура из беды: Елизавета Яковлевна и Самуил Давыдович начали высылать деньги, Мур еще больше экономить, и до конца 1942 года долг был выплачен. Милиция сдержала обещание: дело «похоронили»…

Мур неуклонно отстаивает свою внутреннюю жизнь и свободу, бьется за *свое* место в мире, упорно не дает наступающей на него реальности затоптать себя – это для него самое важное.

Удивительна интенсивность его интеллектуальной жизни –

здесь он прямой наследник своей матери. Он не перестает писать в разных жанрах: стихи, роман, критика, переводы… Особое значение Мур придает своему дневнику, видя в нем подготовку к будущей прозе. Чтение становится почти смыслом его теперешней жизни. Он – постоянный читатель писательской и школьной библиотек: не как школьник, хватающийся за любую книгу, а сознательно организуя свое чтение, зная, что именно он хочет или ему необходимо прочесть. Он следит за журналами, особенно за «Интернациональной литературой»; у него «блат» в школьной библиотеке, и ему дают этот журнал вне очереди. Он читает и перечитывает самых разных писателей, горюет, что некоторые любимые книги нельзя достать в оригиналах. Чтение оказывается важнейшей темой его переписки с сестрой. Особенно интересует Мура современная западная литература. Трудно перечислить писателей, о которых Мур упоминает в письмах Але: около тридцати зарубежных и примерно двадцать пять русских и советских писателей и поэтов. Не просто упоминает – о каждом у него есть определенное мнение; каждый занимает свое место в его иерархии и в его истории литературы. Он мечтает написать общественно-политическую историю Франции и французской литературы: «Это – *моя* область». Он твердо намерен стать переводчиком и критиком, связующим звеном между Россией и Францией. То, как Мур анализирует прочитанное, свидетельствует о его глубоком интересе и понимании. Книги – его моральное спасение и подготовка к будущему. Когда-то Цветаева писала, что у ее сына сильное чувство судьбы. Вот и в Ташкенте, противостоя жизненным невзгодам, Мур продолжает верить в свою звезду, в судьбу, которая должна же в конце концов повернуться к нему лицом.

Он обнадеживает себя и Алю, что они доживут до встречи и им удастся воссоздать семью. Эти мечты разбиваются о советскую реальность. В первых числах января 1943 года в Ташкенте Мур был призван на действительную военную службу – подошел срок мальчиков, родившихся в 1925 году. И тут его настигло клеймо члена семьи врагов народа. По горячим следам он написал Муле (конечно, с оказией, такое письмо никто не решился бы отправить по почте), что ему не с кем было посоветоваться в этот жизненно важный момент; он не знал, должен ли написать в анкете, что до 1939 года жил за границей и что отец и сестра его арестованы. Он заполнил анкету честно и получил назначение в Трудовую армию – место почти такое же страшное, как штрафной батальон. Его не пустили ни в военное училище, куда он просился, ни в пехоту. Мур пытался добиться другого назначения, пошел в призывную комиссию с документами матери, свидетельствовавшими, что он

– «действительно советский человек и в Ташкенте очутился не случайно». Бесполезно. В эти «трагические для меня дни» Мур сообщает о случившемся Муле и сестре. Он приводит слова комиссии: «В училище мы вас направить не можем никак; эта возможность *исключена».* В письме Але проскальзывают слова: «ввиду *моих обстоятельств», «моя статья»,* «вообще, вероятно, моя дальнейшая судьба *будет схожа с твоей...»* (выделено мною. – *В. Ш.*).

Перед сестрой Мур старается держаться, скрыть, в какое паническое состояние привело его решение комиссии, но Муле пишет откровенно, подводя итог не только своей жизни, но и своей семьи: «Я думал о том, что с моим отъездом нашу семью окончательно раскассировали, окончательно с ней расправились, и меня, роковым образом, постигло то, чего я так боялся, ненавидел и старался избежать: злая, чуждая, оскаленная „низовка“. <...> Итак, круг завершен – Сережа сослан неизвестно куда [они не знают, что Сергея Яковлевича давно нет в живых. – *В. Ш.*], Марина Ивановна покончила жизнь самоубийством, Аля осуждена на 8 лет, я призван на трудовой фронт. Неумолимая машина рока добралась и до меня. И это не fatum произведений Чайковского – величавый, тревожный, ищущий и взывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой, это мотив Прокофьева, это узбек с выпученными глазами, это теплушка, едущая неизвестно куда и на что, это, наконец, я сам, дошедший до того, что начал думать, будто бы всё, что на меня обрушивается, – кара за какие-то мои грехи...»

Подводя итоги передуманных за полтора года одиночества мыслей, Мур по-новому видит членов своей семьи и истоки семейной трагедии; он пишет о матери, проецируя и на себя: «Она *тоже* [выделено мною. – *В. Ш.*] не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми, как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило! Я уверен, что все последнее время существования М. И. было полно картинами и видениями этого прошлого; разлад все усиливался; она понимала, что прошлое затоптано и его не вернуть, а веры в будущее, которая облегчила бы ей жизнь и оправдала испытания и несчастья, у нее не было.

Мне кажется, что для нашей семьи эта проблема взаимосвязи трех величин: настоящего, прошлого, будущего – основная проблема. Лишь тот избегает трагедии в жизни, у кого эти величины не находятся в борьбе и противодействии, у кого жизнь образует одно целое. У С<ергея> Яковлевича> всегда преобладало будущее; только им он и жил. У М<арины> И<вановны> всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Об Але не говорю – не знаю. Я же всегда хватался за

настоящее, но в последние времена это настоящее стало сопротивляться, и прошлое начало наступление. И в том, что у каждого члена нашей семьи преобладала одна из этих трех величин – в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина нашей уязвимости, наших несчастий...»

Напомню: это рассуждения юноши, которому еще не исполнилось восемнадцати лет. Теперь он многое понимает в судьбе родителей и в своей, так связанной с ними и зависящей от них. Их прошлое тяготеет над ним, и ничего нельзя изменить, будущее не принадлежит Муру, водоворот жизни затягивает его в мельничное колесо, остановить которое не в его силах.

Теперь Мур начал лучше понимать характер и отношение к нему матери, внутренне приблизился к ней, оценил незаурядность личности Цветаевой, ее самозабвенную одержимость своим даром. У меня нет свидетельств, дорос ли он до понимания ее стихов: он упоминает о рукописях, архиве, книгах – ни разу о стихах Цветаевой. Скорее – не дорос; говоря в письме сестре о прочитанном, он как бы сопоставляет два имени: «стихи Мандельштама и Долматовского (между прочим, Долматовский превосходный поэт)»... Мур гораздо лучше разбирался во французской поэзии. Ему еще предстояло открыть для себя поэта Марину Цветаеву.

Военкомат в Ташкенте, промурыжив его больше месяца, дал Муру отсрочку. Он окончил школу, хотя и не получил аттестата зрелости: из-за хождений в военкомат не успел сдать все экзамены. Получив справку об окончании 10-го класса, осенью 1943 года Мур вернулся в Москву и был принят в Литературный институт. Как и в Ташкенте, ему приходилось подрабатывать. Но продолжалось это недолго; Литинститут не имел брони, и в феврале 1944 года Мура мобилизовали.

Первые месяцы он провел в Алабино под Москвой, где новобранцы проходили подготовку; это было тяжелое для него время: письма оттуда – отчаянные. Я не думаю, что Мур «сгущает краски», рассчитывая на помощь тетки и московских знакомых; скорее, склоняюсь к тому, что они продиктованы потрясением – тем, как оправдалось его ташкентское предвидение (январь 1943 года): «Я ненавижу грязь – и уже вижу себя в разорванном, завшивевшем ватнике, в дырявых башмаках <...> Я ненавижу грубость – и уже вижу себя окруженным свиными рылами уголовников и шпаны. Я жду издевательств и насмешек, ибо сразу все увидят, что я не похож на других, менее, чем другие, приспособлен к различным трудностям, сразу увидят, что я слаб физически, сразу обнаружат тщательно скрываемое внутреннее превосходство – и всего этого не простят».

Читая это письмо, я вспомнила давний рассказ Евгения Борисовича Пастернака о случайной встрече с Муром в момент, когда тот шел на призывной пункт. Евгений Борисович был испуган за него – почему-то он был уверен, что Мур не представляет, что его ждет. Он пошел провожать Мура, пытаясь по дороге объяснить ему, что такое армия, военная дисциплина, в каком окружении он очутится... Мур слушал... Однако по его письмам мы знаем, что он накопил жестокий жизненный опыт и представлял свое будущее лучше кого бы то ни было. И не обманулся. Вот одно из его первых писем – уже из армии: «...Обстановка: 100% – уголовные, libérés des prisons[279] – воры, мошенники, и спекулянты (буквально). Мат круглый день, воровство страшное и спекуляция. Из месяца, что я нахожусь здесь, 2 недели я болею (нога). Отношение ко мне плохое: самое бранное слово – «интеллигент»; полное отсутствие сил определяет отрицательное ко мне отношение...»[280] Но кроме ощущения, что «низовка» готова его поглотить, Мура одолевали голод, болезни – очередное рожистое воспаление на ноге, то распухшая пятка, то палец на руке, – отсутствие денег и необходимых мелочей, вплоть до бумаги для писем, ложки, иголки и ниток. Он просит, чтобы к нему приезжали, привезли или прислали то, что могут, но практически помогают только нищие тетки – Елизавета Яковлевна и Зинаида Митрофановна. Его, как и прежде, угнетает одиночество – ни здесь, ни позже на фронте Мур не встретил друга или товарища, «хотя найти хотел». Единственным его спутником оставался томик любимого французского поэта Стефана Малларме: «Вдоволь начитываюсь, пропитываюсь Маллармэ; когда-нибудь я буду первый специалист по Маллармэ, напишу о нем книгу, и это не мечты, потому что именно это является для меня реальной действительностью, тем миром, где я буду занимать первое место. – Сейчас же я занимаю одно из последних» (письмо от 13 апреля 1944 года).

Судя по этому же письму, Мур временами переживает нечто вроде тяжелого депрессивного состояния: после четырех часов «со мной начинает твориться неладное, и к вечеру я сижу скрючившись, в ознобе и схватившись руками за голову; меня охватывает какой-то непонятный страх всего и вся и я говорю отрывисто и боюсь двигаться с места». Обращаться к врачу не имело смысла – его и без того считали симулянтом.

Относительно спокойнее Муру стало, когда он попал на фронт: армейские мытарства и трудности здесь обретали определенный смысл. Впрочем, «движение карьеры» и здесь ему не удавалось; он пишет тетке Лиле, что оно «почему-то шиворот-навыворот и вместо того, чтобы с низу итти вверх, оно идет

сверху вниз»; в конце концов из писаря и связного он превратился в строевого автоматчика. И тем не менее чувствуется, что на душе у него легче, он снова верит в свою судьбу и думает о будущем: «Писать свое хочется ужасно, но нет времени, нет бумаги… Успеется». Мне кажется, этому две причины: ощущение близости победы – Мур со своей частью движется вперед, в последней открытке он сообщает, что они находятся уже за пределами старой границы Советского Союза. Вторая причина: он вырвался из «низовки», вокруг него больше не уголовники, а обычные солдаты, о которых он может сказать «мы». А разведчики, живущие рядом с подразделением Мура, вызывают у него удивление и восхищение: «Лишь здесь, на фронте, я увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей-силачей…»

Цветаева предчувствовала судьбу сына и своей смертью, может быть, пыталась выкупить его жизнь. Чем лучше она понимала Мура, тем страшнее за него ей становилось: она должна была замечать, что он чужой в России, что при всем его уме, знаниях и блеске Мур, вызывая в людях любопытство, не вызывает симпатии. Он тоже думал об этом, ему хотелось иметь друзей, оставить о себе память. Отчасти этим он объясняет то, что пишет много писем: «Для меня письма – некая гигиеническая мера: потребность писать, желание, чтобы о тебе не забыли совершенно, дают себя знать, и, не имея друзей де-факто, я поддерживаю иллюзию знакомств тем, что пишу и направо и налево, щедро рассылая никому не нужные вести о себе. „Вы скромничаете, Вы отлично знаете, что Вы не никому не нужны“… скажет кое-кто. А так ли Вы в этом уверены? Меня мало кто добром помянет; я ничем „хорошим“ себя не зарекомендовал, и стоит мне кануть в небытие, как все меня забудут, может быть не тотчас же, но, вероятно, с чувством легкого облегчения; сначала скажут: „Это ужасно“, а потом „А может быть, так и лучше. Все равно он не находил себе места“. Дело известное…»[281]

Это самооценка вполне сложившегося острого, холодного и отстраненного ума. Мур оказался прав: почти никто из вспоминавших не сказал о нем доброго слова. Никто не забыл помянуть его ум, образованность, начитанность, талантливость, необычность, но почти никто не сказал о его человеческих качествах, а кое-кто, даже тетка Анастасия Ивановна Цветаева, практически Мура не знавшая, считала его причиной смерти матери.

Как могла сложиться жизнь Мура после войны? Семейная история обрекала его в наилучшем случае стать «зелинским», приспособленцем, каких он, насмотревшись на них в Ташкенте,

глубоко презирал. Мог ли он приспособиться к этому?

Официально заявлено, что Мур был ранен в бою 7 июля 1944 года и отправлен в полевой медсанбат – дальше сведений о нем нет. Можно считать эту дату днем его смерти. И даже кто-то на месте, где он якобы погиб, – откуда это известно?! – через многие годы поставил обелиск с именем Георгия Эфрона. Как странно расправляется с людьми жизнь – ведь и Цветаевой в Елабуге определили могилу, в которой она *не похоронена.* Однако в Москве в конце шестидесятых или начале семидесятых из двух разных источников я слышала версию, что Мура застрелил преследовавший его сержант или старшина. Из писем Мура теперь известно, что подобный сержант существовал: «Ротный старшина наш – просто зверь; говорит он только матом, ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по 3 раза, угрожает избить и проломить голову. <…> Старшина роты – что-то невообразимое; это хамство в кубе, злое, ликующее, торжествующее и безграничное хамство; просто удивительно». Может быть, на фронте рядом с Муром не было такого, и все-таки было бы неверно полностью отмести неофициальную версию гибели Георгия Эфрона – такие случаи бывали.

В письмах Мура дважды мне встретилось выражение «на рожон я не полезу». Он, и правда, не лез на рожон, не рвался в герои и не стремился погибнуть «за Родину, за Сталина!». Но когда пришел его час, он не уклонился и долг свой выполнил до конца. Я написала «долг» и подумала: кому и за что был должен Георгий Эфрон? России? Она не была и не стала ему родиной. Он родился в Праге, в Чехословакии, но родиной чувствовал Францию: он вырос в ее культуре и был счастлив в ней. Неслучайно, уходя на войну, он взял с собой томик С. Малларме – русские мальчики уносили с собой Маяковского и Пастернака… Русская атмосфера цветаевско-эфроновской семьи побудила его умозрительно любить Россию, это чувство готово было воплотиться – но за что он мог полюбить эту страну? За то, что она так жестоко его обманула? За страшную судьбу своих близких? За собственную разрушенную жизнь? Он уже не мог всерьез относиться к идеям, которыми так соблазнял его отец, видел в них «лишь конгломерат пустых слов и понятий, лишенных конкретного содержания: да, всё будет лучше, но как, кому и когда лучше – знак вопросительный». Муру не за что было любить Россию, и я бы сочла фальшью, если бы нашла в его письмах выражение патриотизма. В большом прощальном письме Самуилу Гуревичу Мур вспомнил о Франции: «Дорогой Франции тоже плохо пришлось, и я себе не мыслю счастия без ее восстановления, возрождения. И последняя мысль моей

свободной жизни будет о Франции, о Париже, которого не могу, как ни стараюсь, которого никак не могу забыть».

Зачем Цветаева не послушалась своего ума, сердца, своего инстинкта и привезла сына в Россию? Он бесславно и безвестно погиб, не дожив до двадцати лет, не оставив ни одной законченной работы, ни даже могилы – только рисунки и тетрадки дневников... Но Цветаева об этом никогда не узнала...

* * *

Говорят, что с началом войны Цветаева совсем потеряла голову. О. А. Мочалова записала, как какая-то ее знакомая «присутствовала на собрании ПВХО[282] в Доме писателей. Рядом с ней сидела незнакомая дама и с ужасом смотрела на противогаз. Потом сказали, что это – Марина Цветаева». М. С. Петровых встретила ее в групкоме литераторов, членом которого Цветаева стала незадолго до войны: «Цветаева очень нервничала, очень рвалась эвакуироваться. Секретарша ей выписывала какую-то справку». По мнению А. А. Тарковского, самоубийство Цветаевой было связано с ее страхом перед победой немцев. Почему она так боялась немцев? Возможно, потому что с прогерманскими иллюзиями она рассталась в «Стихах к Чехии», а никаких других не было. В Россию Цветаева не верила. В Чистополе за несколько дней до смерти она задала Л. К. Чуковской вопрос: «Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?» Кажется, для нее вопрос был уже решен – не стоит. Лидия Корнеевна привела свой решающий довод – дочка. Цветаева страстно возражала:

> «– Да разве вы не понимаете, что всё кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.
>
> Мы свернули в мою улицу.
>
> – Что – всё? – спросила я.
>
> – Вообще – всё! – Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. – Ну, например, Россия!
>
> – Немцы?
>
> – Да, и немцы»[283].

В цветаевском «да, и...» звучит отчаяние: не только немцы, Россия кончилась задолго до войны, может быть, немцы – всего лишь последняя капля. Надеяться больше было не на что. Она хотела только убежать от войны. О. В. Ивинская рассказывает со слов редакторши Гослитиздата, что, прощаясь, Цветаева

«полушутя говорила, что так как все родные ее арестованы, а немцы продвигаются – как бы кто не заподозрил (если она не уедет из Москвы), что – ждет немцев»[284]. В этой «полушутке» – горькая ирония: в начале войны множество «неблагонадежных» граждан было арестовано, и Цветаева вполне могла оказаться среди них. От такой участи надо было уберечь Мура.

Но главное – спасти его от смерти. Когда в Москве стали объявлять учебные воздушные тревоги, ужас Цветаевой воплотился в слово – «крыша». Во время тревог Мур рвался вместе с другими дежурить на крыше дома на Покровском бульваре. Кухонные скандалы, воздушные тревоги – это было непереносимо, и Цветаева, как ей казалось, нашла выход: они уехали на подмосковную дачу в Пески, где жили Кочетковы и В. А. Меркурьева. Цветаева написала оттуда Е. Я. Эфрон, что они с Муром собираются работать в колхозе и что она, «чтобы испробовать свои силы», два часа полола хозяйкин огород. Дачная жизнь продолжалась меньше двух недель: внутреннее беспокойство гнало Цветаеву в Москву, где тем временем начались настоящие налеты немецких бомбардировщиков. Цветаева была убеждена, что все бомбы, все трассирующие пули нацелены в Мура. Надо было увезти его от войны.

В эти дни Звягинцева встретила ее в Доме писателей: «Марина подходит в очень истерическом состоянии. И вот тут она и сказала: „Нельзя жить все время в агонии. Мур лазает на крыши…“ Я спросила: „Марина, а стихи?“ – „Стихи мне не помогают уже два с половиной года. Как только я ступила на трап парохода, я поняла, что все кончено…“» Не помогают даже стихи, земля уходит из-под ног; Цветаева боится даже своего паспорта с неведомой владельцу, но непременной отметкой о неблагонадежности – тем более надо думать о Муре. Эвакуация писателей уже началась, она показалась Цветаевой спасительным выходом. Мур был категорически против. Он первый год проучился в московской школе, освоился, нашел приятелей, жизнь как-то наладилась – и опять надо было оставить все и начинать заново неведомо где. Его увозили – как маленького.

Цветаева металась, не зная, на что решиться. По просьбе М. И. Белкиной они с Муром забрали чемоданчик с цветаевским архивом, хранившийся у Белкиной и А. К. Тарасенкова, уже уехавшего на войну. Что делать? Она спрашивала совета буквально у всех. Естественно, что ответы были разные и помочь не могли. Мур позже писал, сравнивая эту ситуацию со своей в Ташкенте: «…и вокруг меня был тот же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии. Так же <…> царила полная разноголосица <…> Я был

один с сознанием, что мне предстоит нечто очень страшное и незаслуженное, один с сознанием того, что произошло нечто неотвратимое». Из этого «человеческого хаоса», может быть, выделялись ближайшие друзья Али: Самуил Гуревич и Нина Гордон. Они уговаривали подождать с отъездом и твердо обещали свою помощь. Цветаева слушала и соглашалась, но, очевидно, внутренне ощущала, что опереться все-таки не на кого: не было человека, который категорически сказал бы ей: «ехать!» или: «оставаться!». Свои рукописи и книги, привезенные из Парижа, Цветаева оставила поэту Борису Садовско́му, жившему в бывших кельях Новодевичьего монастыря. На следующее утро после разговора с Мулей и Ниной Цветаева с сыном уехали.

Пастернак от эвакуации отговаривал, но предложить какой-нибудь иной выход не мог. Он же и проводил их в Химкинском речном порту 8 августа. Пароход направлялся в Татарию…

Впоследствии Пастернак не раз говорил о чувстве вины, тяготившем его в связи с судьбой Цветаевой. Потрясенный ее гибелью, он писал жене: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге… Узнай, пожалуйста, и напиши мне <…> Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о „посторонних заботах“! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ей <…> как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил!» Это письмо разошлось с письмом Зинаиды Николаевны Пастернак, которая сама сообщала ему о смерти Цветаевой и о судьбе Мура: «31 августа повесилась Марина Цветаева … оставив одного сына. Все это ужасно, но оправдать я ее не могу… Бедный сын поехал с бригадой в колхоз (Мур был в это время на расчистке аэродрома. – *В. Ш.*). Я всех прошу принять его к нам в пионерский лагерь, чтобы его там кормили, поили и учили. Кажется, так и будет…»[285]

Никто не имел права обвинить Пастернака в равнодушии к Цветаевой. Он сделал для нее больше, чем кто бы то ни было – то, что считал необходимым и возможным. Ему не перед кем было оправдываться. Только перед собой. Его желание убедить себя, что дела Цветаевой были неплохи, что она окружена друзьями и даже «входит в моду», выглядит по крайней мере наивно. Он не мог не догадываться, что это далеко от истины. Горькое

признание, что в последний (из двух!) год он «как бы и совсем забыл» о Цветаевой, свидетельствует, что, позаботившись о работе и похлопотав о квартире для нее, он счел свою миссию выполненной и отстранился от ее дел, забот, душевной жизни... Как человек совестливый, он не отмахнулся от чувства вины, не переложил ее на других. На вопрос А. К. Гладкова, кто виноват в отчаянном положении Цветаевой по возвращении на родину, Пастернак «без секунды раздумия говорит: – Я!.. – и прибавляет: Мы, все. Я и другие. Я и Асеев, и Федин, и Фадеев. И все мы»[286]. В этом – человеческая сущность Пастернака, ибо большинство на его месте сказало бы «все!», забыв о «я»...

До Елабуги они плыли десять дней. Цветаева, как и два года назад, поднялась на корабль, пустилась в плаванье, даже более долгое, чем тогда, из Гавра. Последнее плаванье... Теперь – в еще более страшную и пустую неизвестность. Как напророчила она, переводя «Плаванье» Шарля Бодлера:

Плывут, плывут, плывут в оцепененьи чувств...

Цветаева не решилась, как несколько ее спутниц, сойти на берег в Чистополе – может быть, сыграла роль ее неуверенность в «чистоте» своего паспорта. Елабуга должна была произвести на них гнетущее впечатление: этот совсем маленький городок был переполнен беженцами. Что Цветаева и Мур могли делать здесь, чем зарабатывать, с кем общаться? Мур лучше, чем мать, понимал, что это гиблое место для них обоих, и хотел выбраться отсюда. Ради него Цветаева и поехала в Чистополь 24 августа.

На заседании Совета Литфонда, где решался вопрос о ее прописке в Чистополе, Цветаеву спрашивали, почему она хочет переехать из Елабуги. Присутствовавший там П. А. Семынин отметил, что «Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: „В Елабуге есть только спиртоводочный завод. А я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки“...» Механичность, с которой она повторяла фразу о сыне, – не от «заученности», а скорее от беспамятства, запредельности, в которую погружалась Цветаева и где последней ее мыслью, предсмертной заботой был Мур. Эта забота оставалась единственным, что еще связывало ее с людьми и привязывало к жизни.

Цветаева умирала не потому, что у нее не было сил жить – они всегда возвращались, если была причина жить. В последнем стихотворении она не оговорилась:

Я – жизнь, пришедшая на ужин!

Вопреки всему – «я – жизнь». Ей был отпущен неиссякаемый запас жизненных сил. Умирала она потому, что больше не видела необходимости жить.

Ее агония растянулась на несколько лет. Цветаева знала, что едет на родину умирать, что ни писать, ни жить там она не сможет. Возвращение было добровольно-вынужденным, самоубийственным. Условное наклонение, в котором она упоминает о смерти – если, пока – выражает не надежду, а лишь отсрочку. «Если не смогу там писать...» – но последнее письмо к Тесковой, написанное по дороге из Парижа в Гавр, звучит уже как предсмертное. «Как только я ступила на трап парохода, я поняла, что все кончено» – но приезжает в Москву. Советская действительность, судьба семьи превзошли самые худшие ожидания – преодолевая навалившиеся беды, Цветаева начинает действовать, хлопотать, зарабатывать. Ее заставляло жить сознание, что она нужна своим близким. Всю жизнь она металась в поисках кого-то, кому была бы необходима:

Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне.

Что́ для ока – радуга,
Злаку – чернозем —
Человеку – надоба
Человека – в нем...

В Советском Союзе – вне романтики, вне поэзии, – в трагической реальности это осуществилось: у Сережи, Али, Мура была «смертная надоба» в ней. Она оказалась ниточкой, связующей Сережу и Алю с внешним миром, с жизнью; они трое привязывали ее к ней. Думая о возможности самоубийства, Цветаева останавливала себя: «Вздор. Пока я нужна... но, Господи, как я мала, как я ничего не могу!» Она была несправедлива к себе. Конечно, она не могла вызволить Сережу и Алю – может ли единица побороть «черную гору» государства? Но она делала все возможное: писала прошения, выстаивала очереди, чтобы сдать передачу, обивала пороги в ожидании вестей, собирала посылки... Ради этого она сохраняла мужество и присутствие духа.

В предсмертном письме, оставленном сыну, она просила:

«Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты...» Цветаева действительно любила их всех «дольше времени». Для них она могла – все.

С началом войны реальность смешалась, сместилась, заботы Цветаевой потеряли адрес и смысл. Прервалась связь с тюрьмой и лагерем; она больше не могла ничего узнать о судьбе Сережи и Али. Теперь у нее оставался только Мур. Он был рядом, его жизнь значила гораздо больше, чем ее собственная. Ему она была еще нужна. Эвакуация разбила эту иллюзию. Мур негодовал, демонстрировал, что все, что она для него делает, ему не нужно, что он хочет жить по-своему, без ее постоянной опеки и страхов за него. Он грубил, они ссорились. Цветаева видела, что сын уходит от нее, ей казалось, что само ее присутствие его тяготит, что для него опасно, если они останутся в полной изоляции в Елабуге (в Чистополе «есть люди», повторяла она). Ей было страшно. Она написала в Чистополь с просьбой о прописке, но, еще не получив ответа, решилась ехать сама. Это была последняя соломинка, за которую она пыталась ухватиться – сейчас она связывала свою судьбу с переездом в Чистополь.

Л. К. Чуковская на основании своих тогдашних записей написала о предпоследних днях жизни Цветаевой: 26—27 августа 1941 года. В ее «Предсмертии» важны все фактические подробности: как держалась Цветаева, как выглядела и была одета, с кем встречалась в эти дни в Чистополе; кто и что говорил на заседании, на котором решался вопрос о ее прописке, – более достоверных воспоминаний нет, до Чуковской приходилось довольствоваться слухами. Но самое важное в «Предсмертии» – все, что показывает душевное состояние Цветаевой: ее реакция на происходящее, ее слова и поступки. И может быть, значительнее всего – то, что таится в подтексте этих страшных воспоминаний.

В рассказе Чуковской Цветаева предстаёт как бы несколько «заторможенной»: нет ее прежней легкости, порывистости, остроты. Кажется, вся она ушла в глаза: «желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий». Никто раньше не отмечал у Цветаевой «тяжелого» взгляда. Возможно, сейчас он скрывал какую-то упорную, неотвязную мысль – она взвешивала все «за» и «против». Ожидая решения Совета, она сказала Чуковской: «Сейчас решается моя судьба... Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму». Опять «если» оставляет крохотную щелку надежде. Могут ли слышащие отнестись к таким словам всерьез?.. Прописку Цветаевой разрешили, больше того – ей почти обещали, что, когда откроется

писательская столовая, она получит место судомойки, о котором просила. Оставалось найти комнату в Чистополе и переехать. Нашлись и помощники в этих поисках. И тут меня поразило замечание Чуковской, что «Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке». Вот оно – главное! Прописка, комната, переезд, работа – все это уже не имело никакого значения. Все делалось по инерции, из чувства долга, одновременно отодвигая и приближая смерть. Радостное известие не принесло ни радости, ни умиротворения: то, что казалось решением судьбы, осуществившись, никак не влияло на ход ее мыслей. По дороге с заседания Совета Цветаева говорила Чуковской: «Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена...» Стоило ли заботиться о комнате, когда все возвращало к предчувствию смерти?

Читая «Предсмертие», я осознала, что поездка в Чистополь была последним расчетом Цветаевой с жизнью, может быть, последним толчком к смерти. С момента выезда из Москвы события совершались почти иррационально, вне зависимости от ее воли и усилий. Вырванная из московского быта, она жила, как все вокруг: их везли, высаживали, устраивали на ночлег, водили в поисках квартир. Катастрофа войны и эвакуации на время стерла грани и объединила всех. В Чистополе – при общей тревоге и неустроенности – жизнь писательской колонии входила в прежнюю колею, принимала привычные формы: писательская «масса», начальство, Правления, Советы, заседания... Как боялась Цветаева всего официального! Она как бы вернулась в московскую обстановку, но без малейшего клочка почвы под ногами: без прописки, без комнаты на Покровском бульваре, без переводов. При внешней «заторможенности» восприятие должно было быть обострено:

> Преувеличенность жизни
> В смертный час...

Она ощущала, что мешает людям катастрофичностью своей судьбы, раздражает необходимостью заботиться о ней («иждивенческие настроения», – определил на заседании Совета К. А. Тренев), принимать решения, может быть, рисковать из-за нее собственным благополучием или покоем. Ей не говорили этого, Чуковская упоминает несколько человек, принявших живое участие в делах Цветаевой, рассказывает о прекрасном приеме, который оказали ей М. Я. Шнейдер и Т. А. Арбузова, о том, как на глазах оживала и светлела Цветаева в их доме. Но ничто уже не

могло предотвратить катастрофу. Может быть, потому и «сбежала» Цветаева от Шнейдеров, что их спокойное радушие и открытая доброжелательность диссонировали с тем, что творилось в ее душе.

Разве могла она не чувствовать свою навязчивость, ненужность в чужой жизни, и без того трудной? Не видеть как бы со стороны свою беспомощность и требовательность, нелепость своего цепляния за чужие руки, нелепость собственных рук с пушистыми моточками французской шерсти, которую она пыталась продать? Не понять, что она мешает Чуковской пойти в аптеку, отнести домой мед с базара, побыть с больным племянником, позаниматься с дочерью английским?.. При всем стремлении к справедливости и уважении к трагической судьбе Цветаевой Чуковская не может скрыть, как с первого взгляда не понравилась ей Цветаева, как резануло и показалось «институтским» ее «будем дружить!». Подсознательно она сравнивала ее с Ахматовой, которую обожала, – не в пользу Цветаевой. Она не удержалась, чтобы вслух не порадоваться, что Ахматова не в Чистополе: «Здесь она непременно погибла бы.

– По-че-му? – раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

– Потому что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может...»

Как должно было ударить Цветаеву «непременно погибла бы».

«А вы думаете *я* — могу? – бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. – Ахматова не может, а *я,* по-вашему, могу?»

Этот взрыв меньше всего относился к Чуковской. Цветаева думала о Муре. Поездка в Чистополь поставила точки над i. Житейские дела можно было устроить, даже Асеев, не явившись на заседание, прислал записку, поддерживающую ее просьбу – не потому ли она перед смертью оставила ему письмо о сыне? Земные дела устраивались: разрешение прописки и обещание работы у нее уже есть. Может быть, без нее земные дела устроились бы легче и лучше: Мур больше к ним приспособлен. К тому же без нее он не будет отягчен их с Сережей прошлым: «сын за родителей не отвечает». Отец уже «изолирован», матери не будет – мальчик чист перед советской властью, он сможет спокойно начинать жизнь. Цветаева понимала, что уже не нужна сыну. «Со мною ему только хуже», – призналась она Чуковской. Помочь ему она уже не может, надо постараться не мешать... Поездка в Чистополь еще раз подтвердила ее ощущение своей неуместности в этом мире. С этим она вернулась в Елабугу.

Простая женщина Анастасия Ивановна Бродельщикова, хозяйка дома, где повесилась Цветаева, нисколько не осуждая ее

поступок, считала, что она поторопилась. «Могла бы она еще продержаться, – говорила она мне. – Успела бы, когда бы всё съели...» Почти те же слова сказал мне И. Г. Эренбург: «Если бы она продержалась еще полгода, ее дела устроились бы...» Б. Л. Пастернак через полгода после смерти Цветаевой сетовал: «Если бы она продержалась только месяц, подъехали бы я и Константин Александрович (Федин. – *В. Ш.*) и обеспечили бы ей то же существованье, которым пользовались сами. Она бы с грехом пополам работала, как мы, участвовала бы в учрежденных нами литературных собраньях и жила в Чистополе»[287]. Это вполне вероятно. Но Цветаева больше не хотела переводить или работать судомойкой, не хотела участвовать в литературных собраниях. Ей незачем, не за кого и не для кого было «держаться». Единственное, что привязывало ее к жизни, была любовь к сыну, все остальное – выталкивало. Может быть, Мур мог удержать ее, внушить ей, что ему необходимо ее присутствие, именно присутствие, а не заработок или прописка. Но он еще не понимал этого.

Теперь она знала – пора! Цветаева давно готовила себя к концу, прощалась со всем:

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...

Эти бесконечно грустные стихи были написаны еще в феврале. Но до времени она таила это решение, возможно, даже от себя, и продолжала исполнять свои обязанности: жила, зарабатывала, боролась с бытом. И может быть, она бы еще пожила...

Так много и долго думая о самоубийстве, Цветаева боялась его, оно казалось ей уродливым и пугающим. «Я не хочу – *умереть, я* хочу *не быть»,* — записала она за год до смерти. Она предпочла бы исчезнуть каким-нибудь иным образом, но лишь в стихах возможно

Распасться, не оставив праха
На урну...

У Цветаевой не было выхода. 31 августа 1941 года она покончила с собой в Елабуге. Может быть, в том, что могилы ее не существует, – исполнение ее истинного желания. Ибо задолго до

смерти, придумывая себе эпитафию, она сказала не: «здесь лежит» – но:

Здесь хотела бы лежать

МАРИНА ЦВЕТАЕВА.

Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой

1892*, 8 октября* (*26 сентября ст. ст.*) — В доме профессора Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны (урожденной Мейн) родилась дочь Марина.

1894 — Рождение сестры Анастасии.

До 1902 — Жизнь между Москвой и Тарусой на Оке.

1902 — В связи с болезнью матери жизнь за границей: Италия, Швейцария, Германия.

1905 — Возвращение в Россию. Крым.

Первая русская революция. Революционные стихи (не сохранились).

1906 — Переезд семьи в Тарусу. Смерть М. А. Цветаевой. Москва.

1907 —1910 — Марина сменила три гимназии и совсем оставила учебу после 7-го класса.

1910 — Выход сборника стихов «Вечерний альбом».

1911 — Первое лето в Коктебеле у Волошиных. Встреча с Сергеем Эфроном.

1912*, 27 января* (*ст. ст.*) — Венчание с С. Я. Эфроном. Выход сборника «Волшебный фонарь».

Торжественное открытие Музея изящных искусств им. Императора Александра **III** – дела жизни И. В. Цветаева.

5 сентября (*ст. ст.*) — Рождение дочери Ариадны (Али).

1913 — Выход сборника «Из двух книг».

Смерть И. В. Цветаева.

1913 —1915 — «Юношеские стихи» (сборник опубликован в 1976 г.).

1914 — Начало Первой мировой войны.

1916 — Поездка в Петербург. Знакомство с литературным Петербургом.

1917 — С. Эфрон мобилизован.

27 февраля (*ст. ст.*) — Государственный переворот в Петрограде.

2 марта (*ст. ст.*) — Отречение императора Николая II от престола.

13 апреля (*ст. ст.*) — Рождение у Цветаевой дочери Ирины.

25 октября (*ст. ст.*) — Захват большевиками власти в Петрограде. Прапорщик Сергей Эфрон принимает участие в уличных боях и защите Кремля в Москве.

После победы большевиков С. Эфрон уезжает в Крым.

1918 — С. Эфрон вступает в Добровольческую армию.

Знакомство Цветаевой со Студией Евгения Вахтангова. «Театральный роман».

1918—1919 — Романтические драмы: «Червоный Валет», «Метель», «Приключение», «Фортуна», «Каменный Ангел», «Феникс».

1920*, 2 или 3 февраля* — Смерть в приюте младшей дочери Ирины.

Стихи Цветаевой напечатаны в первом номере парижского журнала «Современные записки», сотрудничество с которым продолжалось до 1938 г.

1917—1920— «Лебединый Стан» (сборник издан в 1957 г.).

1921 — С. Эфрон жив: первое письмо от него из эмиграции.

Смерть А. Блока, расстрел Н. Гумилева, слухи о самоубийстве Анны Ахматовой.

Выход сборника «Версты» (стихи 1917—1920 гг.).

1922*, 11 мая* — Отъезд из Советской России.

Встреча в Берлине с С. Эфроном после более чем четырехлетней разлуки.

Начало эпистолярного романа с Борисом Пастернаком.

В Москве выходят книги М. Цветаевой: «Конец Казановы», «Версты. Выпуск I», «Версты» (стихи 1917—1920 гг.), 2-е изд.; «Царь-Девица».

В Берлине выходят книги М. Цветаевой: «Разлука», «Стихи к Блоку», «Царь-Девица».

1 августа — Переезд в Чехословакию.

Начало сотрудничества в журнале «Воля России».

1923 — В Берлине выходят сборники «Психея» и «Ремесло».

Роман и разрыв с Константином Родзевичем. «Поэма Горы».

1924 — «Поэма Конца».

В Праге выходит поэма-сказка «Молодец».

Работа в редколлегии сборника «Ковчег».

1925*, 1 февраля* — Рождение сына Георгия (Мура).

Лирическая сатира «Крысолов».

1 ноября — Переезд в Париж.

1926*, 6 февраля* — Первое выступление М. Цветаевой в Париже.

Сближение с евразийцами. Эфрон входит в редколлегию сборника «Версты».

Цветаева сотрудничает в сборниках «Версты» и «Благонамеренный».

Весна и лето в Сен-Жиль-сюр-Ви. Переписка с Б. Пастернаком и Р. М. Рильке.

Смерть Р. М. Рильке.

1927 — Стихи и проза, обращенные к Р. М. Рильке: «Новогоднее», «Твоя смерть», «Поэма Воздуха».

Трагедия «Федра».

Визит в Париж Анастасии Цветаевой – последняя встреча сестер.

Подготовка сборника «После России».

1928 — Лето в Понтайяке в кругу евразийцев.

С. Я. Эфрон – один из редакторов еженедельника «Евразия».

Поэма «Красный бычок».

Выход в Париже «После России» – последней прижизненной книги М. Цветаевой.

1929 — Знакомство с художницей Н. С. Гончаровой. Эссе «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество».

Поэма «Перекоп» (опубликована в 1957 г.).

Начало работы над Поэмой о Царской Семье.

Раскол в евразийском движении. Закрытие газеты «Евразия».

1930 — Самоубийство В. Маяковского. Стихи «Маяковскому».

Перевод на французский язык поэмы-сказки «Мóлодец».

1931 — Эссе «История одного посвящения» (опубликовано в 1964 г.).

«Стихи к Пушкину» (частично опубликованы в 1937 г.).

1932 — Литературно-философские эссе: «Поэт и Время», «Искусство при свете Совести», «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак».

Смерть М. Волошина в Коктебеле. Стихотворение «Ici-Haut (Памяти Максимилиана Волошина)».

«Стихи к сыну», «Тоска по Родине! Давно...».

С. Я. Эфрон подает прошение о получении советского паспорта.

1933 — Автобиографическая проза: «Дом у Старого Пимена», «Музей Александра Третьего», «Открытие Музея» и другие эссе: «Живое о живом (Волошин)», «Поэты с историей и поэты без истории» (опубликовано в сербском журнале «Руски архив»).

1934 — Смерть Андрея Белого. Эссе «Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым)».

С. Я. Эфрон работает в Союзе возвращения на родину.

1935 — Конгресс писателей в защиту мира в Париже. Встреча с Б. Пастернаком.

Обострение отношений в семье: все, кроме Цветаевой, стремятся вернуться в Советский Союз.

1936 — Перевод на французский язык стихов А. Пушкина. Окончена Поэма о Царской Семье (сохранилась в отрывках).

«Стихи сироте».

Ариадна Эфрон сотрудничает в просоветском журнале «Наш

Союз».

1937 — Окончены работы «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев».

15 марта — Отъезд Ариадны Эфрон в Советский Союз.

Известие о смерти в Москве С. Е. Голлидэй. «Повесть о Сонечке».

4 сентября — Убийство советского невозвращенца Игнатия Рейсса, одним из организаторов которого был С. Я. Эфрон. Эфрона допрашивает французская полиция.

Между 27 сентября и 29 октября — Бегство С. Я. Эфрона в Советский Союз.

Цветаеву допрашивает французская полиция.

1938 — Цветаева начинает готовиться к отъезду в Советский Союз: разбор архива, переписка рукописей, раздача домашней утвари.

Передача большой части архива М. Н. Лебедевой в Париже (пропал во время немецкой оккупации).

Передача части архива профессору Базельского университета Е. Э. Малер.

Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. Начало работы над «Стихами к Чехии» (цикл «Сентябрь», опубликован отдельными стихотворениями в 1956, 1961, 1965 гг.).

1939 — Оккупация Чехословакии войсками Гитлера. «Стихи к Чехии» (цикл «Март», опубликован по частям в 1956 и 1961 гг.).

12 июня — Отъезд с сыном из Парижа в Советский Союз.

18 июня — Приезд в Советский Союз. Жизнь с семьей в Болшеве под Москвой.

28 августа — Арест Ариадны Эфрон.

Перевод стихов М. Лермонтова на французский язык.

10 октября — Арест Сергея Яковлевича Эфрона.

Бегство из Болшева.

1940 — Хлопоты об арестованных муже и дочери. Стояние в тюремных очередях.

Работа над переводами поэм грузинского классика Важа Пшавелы (опубликованы в 1947 г.).

1941*, 22 июня* — Начало войны между Советским Союзом и Германией.

8 августа — Отъезд с сыном в эвакуацию.

17 августа — Приезд в Елабугу на реке Каме.

31 августа — Самоубийство Цветаевой в Елабуге.

10 октября — Расстрел С. Я. Эфрона.

1944 — Гибель Георгия Эфрона на фронте.

1956 — Возвращение Ариадны Эфрон после лагерей и ссылок.

Примечания

В настоящем издании по сравнению с первым объем примечаний значительно сокращен. Это обусловлено главным образом тем, что ссылки на тексты Цветаевой, необходимые в книге, выпущенной в 1988 г., когда ее сочинения в большинстве своем были русскому читателю недоступны, сегодня не кажутся обязательными, ибо ее творчество представлено во множестве заслуживающих доверия книгах и сборниках.

В книге использованы следующие издания:

Цветаева М. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990 (Б-ка поэта. Больш. сер.).

Цветаева М. Собр. соч. В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994-1995. Т. 6-7. Письма.

Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради / Подгот. текста, предисл. и примеч. Е. Б. Коркиной, И. Д. Шевеленко. М.: Эллис Лак, 1997.

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах / Сост. и коммент. Е. Б. Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999.

Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. В 2 т. / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Е. Б. Коркиной, М. Г. Крутиковой. М.: Эллис Лак, 2000-2001.

Цветаева М. Стихотворения и поэмы. В 5 т. / Предисл. И. Бродского; Биогр. очерк В. Швейцер; Сост. и подгот. текста А. Сумеркина и В. Швейцер. Нью-Йорк: Руссика, 1988—1990.

Цветаева М. Избранная проза. В 2 т. / Предисл. И. Бродского; сост. и подгот. текста А. Сумеркина. Нью-Йорк: Руссика, 1979.

Вместе с тем за истекшие годы были опубликованы материалы, которые подтверждали или расширяли взгляд автора на описываемые события и которые стали предметом дополнительных ссылок и комментариев. Автор надеется, что в настоящем виде примечания содержат основные библиографические сведения по рукописям и редким периодическим и книжным изданиям, использованным в ходе работы над этой книгой.

1

Это было в 1966 году. Бродельщиковы давно умерли, дом перешел к чужим людям. На память о Елабуге остались у меня одно письмо от Анастасии Ивановны и несколько кадров кинопленки.

2

По словам Бродельщиковых, буханка хлеба на рынке стоила тогда 140 рублей, а пуд картошки – 200 рублей.

3

История создания музея в переписке профессора И. В. Цветаева с архитектором Р. И. Клейном и других документах (1896—1912). В 2 т. М.: Сов. художник, 1977. Т. 2. С. 12 (далее цитируется без ссылок).

4

Цит. по кн.: И. В. Цветаев создает музей. М.: Галарт, 1995. С. 346.

5

Иван Петрович Чуриловский был директором и преподавателем латыни в Шуйском духовном училище. Именно он привил И. В. Цветаеву интерес и любовь к своему предмету. Судьба И. П. Чуриловского сложилась трагично.

6

Сведения о семье Владимира Васильевича Цветаева взяты из книги Г. К. Кочетковой «Дом Цветаевых» (Иваново, 1993), а также в Музее семьи Цветаевых в Ново-Талицах.

РГАЛИ. Фонд 46, оп. 1, ед. хр. 486.

8

Государственный архив Московской области. Фонд 418, оп. 46, ед. хр. 228.

9

РГАЛИ. Фонд 237, оп. 2, ед. хр. 209 (далее без ссылок).

10

Имеется в виду: в жизни нашей матери. Марина Цветаева говорит о портрете Варвары Дмитриевны, который по заказу И. В. Цветаева писался в доме уже при второй его жене, а потом был повешен в зале. Это вызывало ревность и заставляло глубоко страдать Марию Александровну.

11

РГАЛИ. Фонд 323, оп. 1, ед. хр. 437.

1888 год. – *Примеч. В. И. Цветаевой.*

13

Цветаева В. И. Записки. Воспоминания. РГАЛИ. Фонд 1190, оп. 1, ед. хр. 41—42. С. 2—4 (далее без ссылок).

14

РГАЛИ. Фонд 323, оп. 1, ед. хр. 437.

15

Цветаева А. Дым, дым и дым. М., 1916. С. 161.

16

Цветаева А. Воспоминания. 3-е изд., доп. М.: Сов. писатель, 1983. С. 92.

17

Сборники товарищества «Знание» – издававшееся петербургским книгоиздательством «Товарищество „Знание“» непериодическое издание (за 1904–1913 гг. вышло 40 книжек). Редактируемое Максимом Горьким «Знание» собрало вокруг себя писателей либерально-народнических устремлений. Здесь печатались Л. Андреев, А. Куприн, В. Вересаев, Ив. Бунин, Е. Чириков, А. Серафимович, С. Юшкевич (его книгу «Очерки детства» любила Марина Цветаева)… «Донская Речь» – книгоиздательство, по направлению и составу авторов близкое петербургскому «Знанию». В 1904–1905 гг. «Донская Речь» выпускала популярные книги социал-демократического и эсеровского направления. *«Очерки политической экономии»* (1902) профессора Владимира Яковлевича Железнова. Первое издание было запрещено цензурой. *Евгений Михайлович* Тарасов (1882–1943) – участник революционного движения, был дважды арестован. Печатался в большевистских изданиях, в сборниках «Знание». Чтобы дать представление о том, чем увлекалась – забыв Пушкина, Лермонтова, Гёте, Гейне? – в те годы Цветаева, приведу отзыв А. Блока о Тарасове из статьи «Литературные итоги 1907 года»: «От Евгения Тарасова мы были вправе ждать хороших стихов, несмотря на то, что первая его книжка была совсем слаба. Предчувствовались свежие веяния от какой-то новой волны, было благородное, юношеское увлечение Бальмонтом. Приходилось отмечать в журналах иные стихи Тарасова с радостью. На днях вышла вторая книжка его стихов – „Земные дали“… Боже мой, какая возмутительно лишняя, слабая и бездарная книга! Ни одной свежей строчки… вся книжка состоит из плоских, хотя и гордых, надрывов и жалоб в гладких, лишенных всякой оригинальности стихах».

Кудрова И. Листья и корни // Звезда. 1976. № 4; Воскрешение и постижение // Нева. 1982. № 12.

Цветаева А. Корни и плоды // Звезда. 1979. № 4.

20

Валентинов Н. Два года с символистами. Станфорд: Изд. Гуверовского ин-та, 1969. С. 151, 157, 158.

21

В кабинете Ивана Владимировича висел портрет Марии Александровны в гробу.

22

Эллис. Арго. Две книги стихов и поэма. М.: Мусагет, 1913. С. 29.

23

По окончании работы над переводом М. Цветаева узнала, что «Орленок» Э. Ростана уже переведен Т. Щепкиной-Куперник. Цветаева спрятала или уничтожила свой перевод и никогда о нем не вспоминала. Текст его не сохранился.

24

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1956. Т. 1. С. 270.

Белый А. Начало века. М.; Л.: ГИЗ, 1933. С. 86.

26

Цит. по книге: Цветаева М. Вечерний альбом. Стихи. Париж: Лев, 1980. С. 6.

27

Брюсов В. Далекие и близкие. М.: 1912. С. 189, 197 (далее без ссылок).

28

Гумилев Н. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923. С. 113, 114.

Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 7.

30

Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. М.; Л.: Худож. лит., 1963. С. 345.

31

Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. Песнь XI. Стихи 14–15.

Волошин М. Константин Богаевский // Аполлон. Петербург, 1912. № 6. С. 7–11.

33

По словам биографа Е. П. Дурново-Эфрон И. Жук-Жуковского, она не была племянницей московского генерал-губернатора П. Н. Дурново и никогда не жила в его доме, о чем упоминают пишущие о муже Цветаевой и его матери и как считала их дочь. См.: Жук-Жуковский И. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон // Каторга и ссылка. М., 1929. № 61 (12). С. 145–163.

Эфрон С. Детство. М.: Оле-Лукойе, 1912. С. 106–138.

35

Полякова С. [Не]закатные оны дни: Цветаева и Парнок. Ann Arbor: Ardis, 1983. С. 106.

Волошин М. Стихотворения и поэмы. В 2 т. Т. 2. Париж: ИМКА-Пресс, 1984. С. 202, 206.

37

Цветаева А. Воспоминания. С. 464.

38

Гринева (Кузнецова) М. И. С Мариной Цветаевой. Воспоминания. Цит. по самиздатской копии 70-х гг. (далее без ссылок).

39

Письмо от 8 ноября 1921 г.

Швейцер В. Страницы к биографии Марины Цветаевой // Russian Literature. Amsterdam. 1981. LX. С. 341.

41

РГАЛИ. Фонд 769, оп. 1, ед. хр. 290.

42

«Письмо к Амазонке» написано по-французски. Издано: Zvétaieva M. Mon frère féminin. Lettre à l'Amazone. Paris: Mercure de France, 1979; по-русски впервые в переводе К. М. Азадовского: Цветаева М. Письмо к Амазонке (Еретья попытка чистовика) // Звезда. 1990. № 2. С. 183–190. За помощь в переводе цитат из «Mon frère féminin. Lettre à l'Amazone», а также других французских текстов сердечно благодарю профессора Mount Holyoke College Catherine LeGouis.

43

Парнок С. Собрание стихотворений. СПб.: Инапресс, 1998. С. 204.

44

У Парнок были рыжие волосы.

Выделено мною. – *В. Ш.*

Обе цитаты: PLAJIH. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 21.

Цит. по: Цветаева М. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 703.

Выделено мною. – *В. Ш.*

49

Отмечу, что исследовательница жизни и творчества Софии Парнок С. Полякова толкует эти слова Цветаевой в обратном моему смысле: катастрофа разрыва. (См.: Полякова С. Указ. изд. С. 61, 125.) Ее выводы часто представляются мне произвольными.

50

Сборник «Юношеские стихи» был подготовлен к печати зимой 1919/20 г., но по не зависящим от Цветаевой обстоятельствам не был опубликован. Отдельные стихи из него появлялись в периодике в разное время; полностью «Юношеские стихи» были напечатаны на Западе в 1976 г. Под названием «Версты» Цветаева выпустила две книги стихов. В одной были собраны стихи 1916 г.; она была издана в Москве Еосударственным издательством в 1922 г. и на титульном листе помечена: Выпуск I. В литературе о Цветаевой она упоминается как «Версты» I. Во вторые «Версты» вошла часть стихов, написанных в 1917–1920 гг. Этот сборник издан в Москве издательством «Костры» в 1921 г.

Иванов В. Собр. соч. L. 2. Брюссель, 1974. С. 331.

52

Цит. по: Герцык Е. Воспоминания. М.: Моск. рабочий, 1996. С. 151, 152.

53

Герцык А. Стихотворения. СПб., 1910. С. 49.

Герцык Е. Указ. изд. С. 176.

Герцык А. Указ. изд. С. 59.

Степун Ф. Указ. изд. L. 1. С. 280.

Ахматова А. Стихи и проза. Л.: Лениздат, 1977. С. 567, 574.

Мандельштам О . Соч. В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. L. 2. С. 289, 260.

59

РГАЛИ. Фонд 237, оп. 2, ед. хр. 216.

Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова / Публ. и сопроводит, текст А. Морозова // Вестник русского христианского движения. Париж – Нью-Йорк – Москва, 1979. № 129. С. 152.

61

Мандельштам Н. Вторая книга. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 380.

Мандельштам О. Указ. изд. Е. 1. С. 577.

63

Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова. С. 153.

Мандельштам О. Указ. изд. Т. 2. С. 146.

В другом варианте: «Переминались у ворот...»

Мандельштам Н. Указ. изд. С. 380.

67

Цитаты из писем В. Ходасевича по кн.: Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. Предисл. и коммент. Н. Богомолова; Примеч. к письмам и заключительная ст. И. Андреевой. М.: СС, 1996. С. 358–359, 422.

Исторический вестник. Пг., 1917. Т. 147. С. 51.

69

РГАЛИ. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 5.

Катанян В. Маяковский. Лит. хроника. 4-е изд. М.: ГИХЛ, 1961. С. 82.

Исторический вестник. Т. 147. С. 1, 80.

Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. С. 480.

73

Каменский В. Степан Разин // Каменский В. Поэмы. М.: Худож. лит., 1961. С. 74–75. Поэма написана в основном до революции и кусками входила в прозаический роман В. Каменского «Стенька Разин» (1916).

Волошин М. Указ. изд. Т. 1. С. 261.

Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 8. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 186–187.

РГАЛИ. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 45.

Волошин М. Указ. изд. Т. 1. С. 496.

Там же. С. 226, 344, 491.

79

Не обыгрывает ли здесь Цветаева строку из коммунистического гимна «Интернационал»: «Кто был ничем, тот станет всем...»?

80

В конце 1920 года Вс. Мейерхольдом была задумана по собственному сценарию пьеса «Григорий и Дмитрий», в которой должны были встретиться два мальчика – царевич Димитрий и Григорий Отрепьев. Предполагалось, что писать пьесу будут Мейерхольд, В. Бебутов и Сергей Есенин, но замысел этот не был осуществлен. Известно, что и Цветаева примерно в те же годы работала над пьесой «Дмитрий Самозванец», рукопись которой не сохранилась.

81

Обе цитаты: Вестник театра. 1921. № 83–84. 22 февр.

82

Russica-81. Лит. сборник. New York: Russica Publishers, Inc., 1982. С. 390.

83

Крымова Н. Владимир Яхонтов. М.: Искусство, 1978. С. 23.

84

При переводе французского текста в Собрании сочинений Цветаевой (М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 313) эта фраза опущена.

Эфрон А. «А душа не тонет…». М.: Культура, 1996. С. 284.

Эфрон А. О Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1989. С. 133.

87

Обе цитаты: Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 159, 158.

88

Эренбург И. Молитва о России. М., 1918 (стих. «Судный день»).

89

Волошин М. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург // Камена. Харьков, 1919. № 2. С. 22, 28. Статья датирована: Коктебель, 15.X.1918 г.

Маяковский В. Поли. собр. соч. В 13 т. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1958. С. 122.

91

Там же. Т. 12. С. 10.

Мандельштам О. Указ. изд. Т. 2. С. 275–276.

93

Там же. С. 205.

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 1, 2. М.: Сов. писатель, 1961. С. 371.

Ходасевич В. Некрополь… С. 364.

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. С. 492.

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 87, 88.

Там же. С. 245.

Волконский С. Быт и Бытие. Из прошлого. Настоящего. Вечного. Берлин: Медный Всадник, 1924. С. XIII.

Russian Literature. Amsterdam, 1981. IX. C. 340.

101

Цветаева А. Воспоминания. С. 610.

102

Новая русская книга. Берлин, 1922. № 2. С. 27–28. Заметка датирована: 7.ХП.1921 г.

О примерной стоимости денег дает представление запись в тетради М. И. Цветаевой:

«Благовещение 1919 г. Цены:
1 фунт муки – 35 р.
1 фунт картошки – 10 р.
1 фунт моркови – 7 р. 50 к.
1 фунт луку – 15 р.
селедка – 25 р.
(Жалованье… – 775 руб. в месяц)».

Russian Literature. C. 330.

Цветаева А. Воспоминания. С. 597, 598.

105

Обе цитаты по: Russian Literature. С. 335, 334.

Маяковский В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 1. С. 309.

107

Книга была составлена, очевидно, к лету 1923 г. – в это время она впервые упоминается в переписке Цветаевой. Издание «Лебединого Стана» не состоялось, но в разные годы стихи из него появлялись на страницах русской эмигрантской периодики. Перед возвращением из эмиграции Цветаева переписала сборник и оставила с частью своего архива в Базеле. «Лебединый Стан» увидел свет лишь в 1957 г. на Западе.

108

Галлиполи – порт в европейской Турции, куда эвакуировалась из Крыма Добровольческая армия.

Russian Literature. C. 342.

110

Цитирую по выписке из первого варианта рукописи «Второй книги» Н. Я. Мандельштам, которую я в давние времена сделала и которая сохранилась в моих бумагах. В процессе подготовки к печати Н. Я. этот кусок, очевидно, изменила, но «отголоски» его есть во «Второй книге».

111

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 286–288.

112

Письма М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона к семье Богенгардт были любезно предоставлены мне их дочерью О. В. Скрябиной.

113

Поэт Юргис Казимирович Балтрушайтис был литовским послом в Москве и помог многим людям выехать из Советской России.

114

Это комментарий Цветаевой на полях переписанной ею в 1924 году статьи из «Правды», где говорилось, что «советское помело вымело» ее из России.

115

Вот эта запись начала октября 1921 г.:

«Всё раньше всех: Революцией увлекалась 13-ти л., Бальмонту подражала 14-ти лет, книгу издала 17-ти л. – и теперь – 29 л. – (только что исполнилось!) окончательно распростилась с молодостью».

116

Гиппиус З. Стихи. Дневник 1911–1921. Берлин: Слово, 1922. С. 119.

117

Безыменский А. Октябрьские зори. Стихи 1918–1919 года. Казань, 1920 (стих. «Проституция»).

Выделено мною. – *В. Ш.*

119

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 68.

Зайцев Б. Другая Вера // Новый журнал. № 92. С. 173.

121

Эта и след. цитаты по: Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 126, 131–132.

122

Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет. М.: Сов. писатель, 1982. С. 461.

123

О жизни «русского» Берлина см.: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921–1923. Париж: ИМКА-Пресс, 1983; а также: Струве L. Русская литература в изгнании. Париж: ИМКА-Пресс, 1984; Буль Р. Я унес Россию. Т. 1. Россия в Германии. Нью-Йорк: Мост, 1981.

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 131.

125

Письмо от 6 апреля 1985 г.

126

См.: Постников С. П. Русские в Праге. 1918–1928. Прага, 1928.

127

Бывшая пражская студентка рассказывала мне, что ее стипендия составляла 350 крон, а обед в студенческой столовой стоил 3.50.

128

Письмо Б. Пастернаку 10 февраля 1923 г. Когда я спросила Л. Е. Чирикову, какое впечатление производил А. L. Вишняк, она с удивлением ответила: «Я его совершенно не помню! Его как будто стерло из моей памяти».

который напакостил! – *Примеч. Цветаевой.*

130

Без даты. На почтовом штемпеле: 8 августа 1922 г.

131

Цитирую по своей записи.

132

Эта первая из задуманных Цветаевой трагедия была переименована в «Ариадну», а «Тезеем» названа вся трилогия, первоначально озаглавленная «Гнев Афродиты». В нее должны были войти три эпизода из жизни Тезея: его отношения с Ариадной, Федрой и Еленой. Осуществлены «Ариадна» (1924) и «Федра» (1927).

133

Бахрах А. Письма Марины Цветаевой // Мосты. 1960. № 5. С. 303. Р. Б. Гуль сказал мне, что, вступив в переписку с Цветаевой, Бахрах просто «дурачил» ее. Не называя Гуля, я спросила об этом в письме А. В. Бахраха. Он ответил: «Я не знаю и не хочу даже знать, кто мог что-либо говорить о моих отношениях с МЦ, но не хочу распространяться и могу только заверить Вас, что, когда она мне сообщила о своей новой связи, я, это может при создавшейся тогда обстановке показаться странным, больно ее письмо переживал… Только дурак может сказать, что я ее „дурачил“, хотя, вероятно, не осознавал тогда ее переживаний и надежд» (письмо от 16 января 1984 г.).

134

Макаев С. С. Воспоминания о Марине Цветаевой. РГАЛИ. Фонд 2645, оп. 1, ед. хр. 4.

135

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 194. Отмечу, что в первых советских публикациях «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» в 1961 и в 1965 гг. имя К. Б. Родзевича вообще не упоминалось. Оно возникло в комментариях к двухтомнику Марины Цветаевой 1980 г., где вслед за А. С. Эфрон изображается героическое прошлое Родзевича: во время Гражданской войны он сражался на стороне красных, потом «случайно» попал к белым и столь же случайно – в эмиграцию. Что до освобождения его из немецкого лагеря Красной армией, то этот эпизод выглядит весьма странно. Известно, что «освободители» из НКВД не выпускали из рук не только тех пленников, кого застали в немецких концлагерях, но и вылавливали по всей Европе бывших советских военнопленных, бывших эмигрантов и т. п., чтобы отправить большинство из них в советские лагеря. Родзевич, как он мне рассказывал, был членом той же самой группы агентов КГБ, за участие в которой расстреляли С. Я. Эфрона. Тем не менее он не вернулся в Советский Союз ни после Гражданской войны в Испании, где командовал батальоном в Интернациональной бригаде и был, по словам очевидцев, чрезвычайно жесток, ни тогда, когда из немецкого концлагеря его, по словам А. С. Эфрон, «освободила Красная армия».

136

Письма от 25 марта и 14 июня 1926 г.

137

Письмо к А. К. Богенгардт от 2 ноября 1923 г. В следующем письме от 11 ноября 1923 г. Цветаева объяснила причину своего непомерного беспокойства пережитой ею страшной смертью Ирины: «…Если бы Вы знали, как я боюсь разлуки! В этом отношении я конечно ненормальный человек: не от природы, а жизнь сделала такой. В Революцию, в 1920 г., *за месяц* до пайка у меня умерла в приюте младшая девочка и я насилу спасла от смерти Алю. <…> С тех пор я стала безумно бояться разлуки, чуть что – и тот старый леденящий ужас: а вдруг? Знаю все Ваши возражения, знаю, что Тшебово для детей, действительно, рай, знаю Вас и Ваше сердце, и пишу Вам все это только для того, чтобы Вы знали *корень* этой ненормальности…»

138

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 306–309.

139

Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Воспоминания. РГАЛИ. Фонд 2226, оп. 1, ед. хр. 34. «Эту, *и только эту,* фразу, – объясняет В. Ф. Булгаков, – я совершенно случайно прочел в одном письме Сергея Яковлевича к Марине Ивановне, подняв это письмо на полу в кладовой чужой квартиры, откуда я должен был, по просьбе Эфронов, тогда уже переехавших в Париж, выслать им из Чехии чемодан с их вещами». Далее ссылки: фамилия автора и номер листа.

Это было время, когда она «безумно» увлекалась вязанием и обвязывала шарфами семью и знакомых.

141

Косвенное подтверждение я вижу в том, что адресат стихотворения назван на «вы» с маленькой буквы. В стихах, обращенных к конкретному лицу, Цветаева обычно писала «Вы» с большой (см. стихи к С. Я. Эфрону, П. Я. Эфрону, О. Э. Мандельштаму, циклы «Подруга» и «Комедьянт»).

142

Звено. 1925. № 129. 20 июля; № 116. 20 апр.

143

Слоним М. Десять лет русской литературы // Воля России. 1927. № 10. С. 75.

144

Звено. 1925. № 124. 15 июня.

145

Последние новости. 1932. № 4159. 11 авг. С. 3.

146

Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Л. 51. Следующие цитаты из этих воспоминаний: л. 48, 56.

147

Эта и следующая цитаты из воспоминаний Г. И. Альтшуллера по: Altschuller Gregory I. M. D. Marina Tsvetayeva: A Physician's Memoir // SUN. Vol. IV. Number 3: Winter 1979/1980. P. 118–120.

148

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 315.

149

Письмо ко мне В. А. Трайл (Гучковой, по первому мужу Сувчинской) от 19 августа 1981 г.

150

Письмо О. Е. Колбасиной-Черновой к Л. Е. Чириковой от конца ноября 1925 г. Цитирую по копии, подаренной мне адресатом.

151

Из письма ко мне В. А. Трайл от 6 декабря 1979 г.: «Легла, было. В воспоминаниях. Увидела мое первое посещение Марины. Она кормила грудью Мура. У него была такая громадная голова (с лицом), что я подумала: „Марина кормит грудью Сувчинского, чрезвычайно уменьшенного“. Сувчинский был очень большого роста с соответственно большим лицом. А по цвету оба (Мур и Сувч.) были одинаковы».

152

Автор памятника Крысолову в Гаммельне, не зная поэмы Цветаевой, по-цветаевски трактует легенду об уводящем детей из города Крысолове: он поставил скульптурную группу над водой, а Крысолова изобразил романтическим Музыкантом, влекущимся за звуками своей музыки.

153

Письмо С. Я. Эфрона В. Ф. Булгакову от 31 декабря 1925 г. – 2 января 1926 г. РГАЛИ. Фонд 2226, оп. 1, ед. хр. 1253. Далее ссылки: фамилия адресата и дата.

154

Письмо ко мне от 15 сентября 1981 г.

155

Последние новости. 1925. № 1704. 12 нояб.; № 1705. 13 нояб.; № 1706. 14 нояб.; № 1710. 19 нояб.; 1926. № 1758. 14 янв.

156

От названия литературно-критического журнала Российской Ассоциации пролетарских писателей «На посту» (Москва, 1923—1925).

157

Письма от 9 февраля и 4 марта 1926 г.

Иоанн (Д. А. Шаховской), архиепископ. Биография юности. Париж: ИМКА-Пресс, 1977. С. 207.

159

Последние новости. 1926. № 1778. 3 февр. С. 3.

160

Эфрон не преувеличивал успеха вечера. Вот как писал о вечере в берлинской газете «Руль» (1926. № 1580. 12 февр.) Модест Гофман, подписавший заметку инициалами М. Г.: «…Еще недавно считавшаяся среди вторых имен, полуимен современной поэзии, Марина Цветаева стала за последнее время не только одним из самых крупных имен, но бесспорно самым крупным именем. Ее вечер является лишним подтверждением ее мгновенно выросшей популярности, ее модности: за четыре года в Париже мне еще не удавалось увидеть такого множества народу, такой толпы, которая пришла бы послушать современного поэта; еще задолго до начала вечера не только большое помещение капеллы и хоры были переполнены, но и в проходах происходила такая давка, что невозможно было продвигаться… Она читала и старые стихи из „Лебединого Стана“ (стихи, написанные в Москве в 1917–1922 гг.) и новые…»

Иоанн (Д. А. Шаховской), архиепископ. Указ. изд. С. 211.

Благонамеренный. Брюссель, 1926. № 1. С. 169.

163

Статья была завершена. 24 марта 1926 г. Цветаева сообщала из Лондона А. А. Тесковой: «Написала здесь большую статью. Писала неделю, дома бы писала 1½ месяца». И в «Ответе на анкету», перечисляя свои прозаические работы, она упоминает: «"Проза поэта (Мой ответ Осипу Мандельштаму)", 1926, имеет появиться в „Современных Записках“». Не появилась – редакции отказались печатать цветаевскую «отповедь» Мандельштаму; возможно, беловая рукопись исчезла где-то в недрах редакции.

Привожу слова А. С. Эфрон дословно, как я тогда же их записала: «Статьи о Мандельштаме нет. Это даже не черновик, а какие-то самые первые отрывочные наброски. Даже я, которая читаю мамины черновики свободно, здесь многое с трудом расшифровываю. Некоторые слова обозначены просто первой буквой. Человек второпях записывал первые впечатления и первые мысли при чтении „Шума времени“. Я это еще не расшифровала. Это не выражает отношения Цветаевой к Мандельштаму вообще. Она недовольна „Шумом“: что-то на тему „продался большевикам“, это ее возмущает. Мандельштам позволил себе усмехнуться по поводу каких-то людей, не друзей даже, а десятистепенных знакомых. И Цветаева возмущается этим. Кажется, речь идет о каком-то ротмистре и его больной сестре, за которой он ухаживает. Цветаева негодует, как Мандельштам может себе позволить даже не насмехаться, а просто подсмеиваться над ними. Они, мол, к тебе так-то и так-то, они для тебя то-то, а ты вот как…»

164

Переписывая «Перекоп» перед отъездом в СССР, Цветаева заметила: «NB! А может быть – хорошо, что мой Перекоп кончается победой: так эта победа – не кончается». В этой связи стоит упомянуть, что Цветаева обратила особое внимание на главку 16 поэмы В. Маяковского «Хорошо!» – момент окончательного поражения, когда Добровольческая армия во главе с генералом Врангелем покидает Россию:

Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.
Глядя
На́ ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
Го́ло.
Лодка
шестивёсельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.
Под пули
в лодку прыгнул…

В «Искусстве при свете Совести» Цветаева назвала эти стихи «бессмертными строками». Говоря о «состоянии творчества», она писала: «…вот Маяковский поэта в себе не превозмог [выделено мною. – *В. Ш.*] и получился революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю…»

165

Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 4. С. 259 и далее.

166

Возрождение. 1926. № 337. 5 мая. С. 2.

167

Возрождение. 1926. № 338. 6 мая. С. 3.

Последние новости. 1926. № 1863. 29 апр. С. 2–3.

169

Там же. 1926. № 1765. 21 янв. С. 3.

170

Цитаты – из статей Георгия Адамовича в еженедельнике «Звено»: 1924. № 88. 6 окт. С. 2; 1925. № 116. 20 апр. С. 2; № 152. 28 дек. С. 2; 1926. № 170. 2 мая. С. 2. Прошли десятилетия. В статье «Несколько слов о Марине Цветаевой» в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1957. 9 июня. С. 8) Адамович повторил свои определения двадцати– и тридцатилетней давности: «истерическое многословие», «кликушечья, клиническая болтовня», «бред, густо приправленный безвкусицей», «вороха словесного мусора»… Адамович упрекает Цветаеву даже в том, что она «кипятила молоко и варила суп с карандашом и блокнотом в руках».

171

Так назвал критик В. Варшавский поколение «эмигрантских сыновей», которые попали в эмиграцию детьми или подростками и здесь начинали литературную жизнь. См.: Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956.

Новый дом. Париж, 1926. № 1. С. 36, 37, 39.

173

В. Н. Среди молодых поэтов // Дни. 1926. № 1156. 11 нояб. С. 1.

174

Хроника литературы и искусства. Цех Поэтов // Звено. 1923. № 43. 26 нояб. С. 3.

175

Звено. 1923. № 5. 5 марта. С. 2.

176

Федра и Ариадна – героини античности, больше других вызывавшие творческий интерес Цветаевой. Отсюда – «Всего Расина» как автора знаменитой трагедии «Федра». Менее очевидно «Всего Шекспира», однако пятая строфа обращает читателя к его «Зимней сказке», героиню которой зовут Утрата. Цветаева отказывается отождествить себя с Ариадной, навсегда оставленной Тезеем на «жертвенном» острове Наксос, и предпочитает быть шекспировской Утратой:

> Не Ариадна я и не … (и – как бы догадываясь и отвечая на вопрос: кто же я? – *В. Ш.*)
> – Утрата! —

возможно потому, что это имя таит надежду: в конце сказки Утрата возвращается в отчий дом. «Разрыв» прямо отсылает нас к сборнику Пастернака «Темы и вариации», под непосредственным ударом которого писались стихи конца февраля-марта 1923 г.: так озаглавлен один из его разделов. К сожалению, мне не удалось найти источник цитаты «Всё плакали, и если кровь болит…/ Всё плакали, и если в розах – змеи…». Возможно, это автоцитата или даже не цитата. Отмечу, что в трагедии «Ариадна», над которой Цветаева начала вскоре работать, слова «кровь» и «розы» употреблены в значениях, близких этим стихам («кровь помнит», «розы станут прахом» и т. п.).

177

Осенью 1982 г. в Москве на Первых Цветаевских чтениях на Таганке профессор Е. Б. Тагер рассказал следующее. В 1930 г. Пастернак в Госиздате читал «Спекторского». После чтения Е. Б. Тагер спросил его: «Мария Ильина – Цветаева?» Пастернак ответил: «Цветаева и Вера Ильина» (Вера Васильевна Ильина, по мужу Буданцева, поэтесса, детская писательница). По возвращении Цветаевой в СССР на экземпляре «Спекторского», принадлежавшем Тагерам, она сделала пометки, свидетельствующие о том, что она знала, что послужила прототипом Марии Ильиной. В частности, рядом с описанием квартиры Марии отметила: «Похоже на мой Борисоглебский».

178

Дискуссия о поэзии была организована Всероссийским союзом пролетарских писателей в процессе подготовки к Первому съезду советских писателей и проходила в Москве 10, 12 и 13 декабря 1931 г. Цветаева могла прочесть о ней в «Литературной газете» за 18 декабря 1931 г. или, что более вероятно, в «Откликах» Сизифа (Г. Адамовича) в парижских «Последних новостях» за 24 декабря того же года. О внутренней эволюции Б. Пастернака и его отношении к революции, современности и советской власти см. кн.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. München: Wilhelm Fink Verlag, 1981; Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem: The Magnes Press; The Hebrew University, 1984.

179

См. кн. Надежды Мандельштам «Воспоминания» и «Вторая книга».

180

Цитирую по предисловию Е. Н. Федотовой к Письмам М. Цветаевой к Г. П. Федотову: Новый журнал. Нью-Йорк, 1961. № 63. С. 164.

181

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 3, 4. С. 437.

182

Письмо от 6 июля 1935 г. Хранится в Русском архиве в Лидсе (Англия). Цитирую с любезного разрешения д-ра Р. Дэвиса.

183

См.: Пастернак Б., Цветаева М., Рильке Р. М. Письма лета 1926 года / Подгот. текстов, сост., предисл., пер., коммент. К. М. Азадовского, Е. Б. Пастернака, Е. В. Пастернак. М.: Книга, 1990.

184

От 21 июля 1926 г. Упоминаемый в письме доктор З. И. Завазал занимался в чехословацком Министерстве иностранных дел вопросами русской эмиграции.

185

По свидетельству С. И. Липкина, присутствовавшего на таком чтении в Москве в квартире В. К. Звягинцевой осенью 1940 г. Это утверждение как будто противоречит словам Цветаевой из письма Пастернаку от 9 февраля 1927 г.: «Стих о тебе и мне – начало „Попытки комнаты“… – по которым можно думать, что поэма началась с мыслей о комнате, где она когда-нибудь встретится с Пастернаком. Но Цветаева продолжает: – оказался стихом о нем и мне, *каждая строка.* Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе». И хотя дальше Цветаева пишет, что она «не собиралась!» к Рильке, подмена одного адресата другим связана с тем, что во время работы над поэмой она думала о встрече с ними обоими, втроем.

186

Маяковский В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 12. С. 358. Вот обращение Цветаевой к Маяковскому, напечатанное в газете «Евразия» 24 ноября 1928 г.

> МАЯКОВСКОМУ
>
> 28 апреля 1922 г. накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.
>
> – Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?
>
> – Что правда – здесь.
>
> 7-го ноября 1928 г., поздним вечером, выходя из Cafe Voltaire, я на вопрос:
>
> – Что же скажете о России после чтения Маяковского? не задумываясь ответила: – Что сила – там.
>
> Марина Цветаева.

Цветаева лишь констатирует, что сила – в Советской России, видя ее воплощение в только что прослушанных стихах Маяковского. Это должно быть очевидно всем, кто был способен трезво оценивать ситуацию, но в эмиграции многие предпочитали обольщать себя надеждами. Они не захотели понять, что Цветаева противопоставляет правду – силе. Маяковский утверждает, что правда – в Советской России, Цветаева возражает, что там – сила. Восхищаясь Маяковским, она не принимает его правды. Как бы опровергая тех, кто неверно истолковал ее обращение к Маяковскому, она в 1932 г. в «Искусстве при свете Совести» сказала: «Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду…»

187

Ходасевич В. О Маяковском // Возрождение. 1930. 24 апр. (В. В. Маяковский застрелился 14 апреля.)

Этого «клял» – проклинал, кажется, никто не заметил. – *В. Ш.*

189

Подготовив книгу «После России», Цветаева писала о ней Пастернаку: «Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти … Лирика (смеюсь, – точно *поэмы* не лирика!)».

190

Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 345.

191

15 июля 1929 г. Цветаева в письме просила Андроникову познакомить ее с племянником близкой царице фрейлины А. А. Вырубовой: «Я сейчас собираю материал для одной большой вещи – мне нужно все знать о Государыне А<лександре> Ф<едоровне> – м. б. он может указать мне иностранные источники, которых я не знаю, м. б. живо что-нибудь из устных рассказов Вырубовой. М. б. я ошибаюсь и он *совсем* далек? Но тогда – общественные настроения тех дней (коронация, Ходынка, японская война) – он ведь уже был взрослым? (Я росла заграницей и японскую войну помню из немецкой школы: не то) … *Кто* еще может знать? (О *молодой* Государыне)».

192

Цветаева имеет в виду «Манифест» Николая II о созыве Законодательной думы и предоставлении демократических свобод гражданам России.

Как косвенное подтверждение этой догадки приведу разговор с Н. Я. Мандельштам. Мы говорили об Осипе Мандельштаме и Н. Я. сказала, что ее утешает и поддерживает мысль о том, что после смерти она встретится с ним и уже никогда не расстанется. Но, добавила Н. Я., когда я однажды сказала об этом Ахматовой, она запротестовала: «Что вы, Наденька! На том свете не будет ни жен, ни мужей…», давая понять, что там с Мандельштамом будет она. Как и с другими поэтами…

194

Возрождение. 1937. № 4078. 15 мая. С. 9. Что сказал бы В. Ходасевич, если бы ему довелось прочесть это стихотворение в советских изданиях Марины Цветаевой: в «Избранных произведениях» (М.; Л., 1965. С. 281–283. Б-ка поэта. Больш. сер.) и семитомном Собрании сочинений (М., 1994. Т. 2. С. 281–283)? Здесь полемика доведена до брани – в ущерб «сказу» о Пушкине. Считаю необходимым обратить внимание на неправомерность и необоснованность изменения текста стихотворения «Бич жандармов, бог студентов…» в этих изданиях по сравнению с прижизненной публикацией в «Современных записках» (1937. № 63. С. 172). Советские составители добавили 25 строк, якобы «не пропущенных редакцией» «Современных записок». Нет никаких оснований утверждать это. Цветаева, внимательно, почти болезненно относившаяся к корректуре, постоянно жаловавшаяся на большие и мелкие «притеснения» редактора В. В. Руднева, ни разу не упомянула о вторжении редакторов в текст «Стихов к Пушкину». Зная ее характер и отношение к своим стихам, можно быть почти уверенным, что она скорее отказалась бы от публикации, чем позволила изъять из стихотворения 8(!) строф. Сравнивая тексты прижизненной и посмертной публикаций, легко убедиться, что «добавления» пошли во вред стихам: они мельчат тему, опускаясь на несвойственный Цветаевой уровень полемики. Можно предположить, что именно поэтому Цветаева отказалась от этих строф (кстати, написанных значительно позже основного текста) при первой публикации цикла. Между тем «новая» редакция стихов «Бич жандармов, бог студентов…» стала печататься как каноническая. На самом деле последней волей автора следует считать единственную прижизненную публикацию в «Современных записках».

195

Ходасевич В. Избранная проза. Нью-Йорк: Руссика, 1982. С. 188.

196

Письмо от 9 ноября 1981 г.

197

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, политик, лидер партии кадетов; в Париже был главным редактором газеты «Последние новости». *Руднев Вадим Викторович* (1879–1940) – врач, член партии социалистов-революционеров, в 1917 г. был городским головой Москвы; в Париже был одним из организаторов и редакторов журнала «Современные записки».

Не снисхожу (*фр.*).

199

Последние новости. 1932. № 4297. 27 дек. С. 4.

200

Этот документ и следующие два письма хранятся в архиве Центра русской культуры Amherst College,USA.

201

178 На книге – пометка Цветаевой: «Хранить. МЦ». В настоящее время хранится в библиотеке Русского отдела Университета Женевы. Публикую с любезного разрешения профессора Жоржа Нива.

202

Цитируемые в настоящей главке работы С. Я. Эфрона можно найти в кн.: Эфрон С. Записки добровольца. [М.]: Возвращение, 1998.

Один из критиков отметил «полную откровенность и правдивость» этого очерка Сергея Эфрона.

204

В письме от 2 января 1926 г. Цветаева пишет: «М. б. в Россию придется вернуться [к этому слову она делает примечание: „В случае переворота, не иначе, конечно!“ – *В. Ш.*] (именно *придется*, – совсем не хочу!)…»

См. его кн.: Войцеховский С. Л. Трест. Воспоминания и документы. Лондон, Канада: Заря, 1974.

Очевидно, торгсин – торговля с иностранцами, магазины, скупавшие у граждан ценности и торговавшие на валюту.

«Я – беглец» (*фр.*).

У меня нет никаких иллюзий (*фр.*).

209

Пусть! (*фр.*)

210

Это письмо А.С.Эфрон, как и письма Маргариты Николаевны и Ирины Лебедевых к Владимиру Ивановичу Лебедеву из Франции в Америку за 1936–1939 гг. подарены мне И. В. Лебедевой (далее цитируются без ссылок).

211

Г. Адамович в газ. «Последние новости» 7 апр., 1938; В. Ходасевич в газ. «Возрождение» 25 марта, 1938.

Здесь и дальше архивные материалы и письма С. Е. Голлидэй цитирую по публикации: Катаева-Лыткина Н. И. Вновь «Повесть о Сонечке» // Театральная жизнь. 1989. № 9. С. 27.

213

Цитирую по имеющимся у меня копиям.

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 280.

215

Эта и следующая цитаты по кн.: Полякова С. [Не]закатные оны дни: Цветаева и Парнок. С. 123.

Iswolsky H. No Time to Grieve: An Autobiographical Journey. Philadelphia: Winchell, 1985. P. 199–200.

217

Из письма Ирины Лебедевой от 8 августа 1937 г. Ежемесячник «Наша родина», издававшийся в Париже Союзом друзей Советской родины, – воинственно пропагандистский просоветский журнал, в самых радужных и восторженных тонах освещавший жизнь «на родине». С. Я. Эфрон был постоянным сотрудником журнала; в частности, в номере первом (август 1937 г.), в котором за подписью «Аля» напечатано упоминаемое в этом письме эссе Ариадны Эфрон, помещена рецензия С. Я. Эфрона на советские фильмы «Юность поэта» и «Депутат Балтики», а в следующем (№ 2, сентябрь 1937 г.) – его некролог памяти погибшего в Испании комиссара Ф. Ф. Лидле (подписаны: «С. Я.»). Программа Союза друзей Советской родины рекламировалась как широкая культурно-просветительная, освещающая жизнь Советского Союза, с приглашением приезжающих в Париж советских деятелей и закрытыми просмотрами новых советских фильмов. Эссе «Али» называется «На родине» и написано от первого лица. Она пишет о своих чувствах: «Вот я иду по Красной площади, которую помню с детских лет, которую столько раз видела в актюалитэ [кинохроника. – *В. Ш.*] парижских кинематографов. Живая я, на живой Красной площади!» Это понятно каждому, кто пережил нечто подобное. Как и ее стремление увидеть как можно больше: «В течение первых дней я кажется только и делала, что бегала по улицам и смотрела, смотрела, смотрела, никак не могла наглядеться, да и не нагляделась и по сей день. Каталась в метро, в троллейбусах и автобусах, в трамваях и такси, глядела из окон, глядела в окна, покупала *сегодняшнюю* «Правду», сегодняшние «Известия», забегала в магазины, прислушивалась к русской речи, приглядывалась к русским лицам…» На ее взгляд новоприехавшей, в Москве всё прекрасно: русские люди, их разговоры, красные платочки на головах женщин, в «нечеловеческий рост» портрет Пушкина на Ленинском музее, «великолепные гастрономические магазины <…> и количество покупателей в них» и многое, многое другое – всё! Аля идет в Вахтанговский театр на спектакль, который они с Цветаевой видели в 1922 г., незадолго до эмиграции – «Принцессу Турандот»: «самую свою старую театральную знакомую». Но сам спектакль ее не интересует, она с восторгом рассказывает о том, что зал был полон метростроевцев («Мы всей бригадой собрались – а вот там – Тонина бригада, а левее – Ванькина», – объясняет ей соседка) и как тонко они понимали и обсуждали между собой

пьесу.

Возможно, всё примерно так и было на молодой, соответственно настроенный и очень поверхностный взгляд Ариадны Эфрон 1937 г.; вглядываться и вдумываться она пока не могла и, может быть, не хотела. Процитирую ту часть текста, на которую Цветаева отреагировала так болезненно: «Вот уже четыре месяца, как я живу и работаю в Москве. Вот уже четыре месяца, как на моих глазах живет и трудится Москва. Эти четыре месяца научили меня большему, чем годы, проведенные мной за границами Советского Союза.

На моих глазах Москва провожала Марию Ильиничну Ульянову, сестру и друга Владимира Ильича. На моих глазах Москва встречала полярников, шла навстречу детям героической Испании, принимала трудовой первомайский и физкультурный молодежный парады. На моих глазах Москва наградила участников строительства канала Москва – Волга.

На моих глазах Москва расправилась с изменой.

Великая Москва, сердце великой страны! Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что все – впереди! В моих руках [в журнале опечатка: в рудах. – В. Ш.] мой сегодняшний день, в моих руках – мое завтра, и еще много-много-много, бесконечно много радостных «завтра»…» Эссе кончалось стихами:

> Я другой такой страны не знаю,
> Где так вольно дышит человек…

Сегодня, когда мы знаем «завтра» и «послезавтра» Ариадны Эфрон, ее эссе звучит особенно трагично.

Лосская В. Марина Цветаева в жизни. М.: Культура и традиция, 1992. С. 194.

219

Генерал Н. В. Скоблин (1894–1937) и его жена известная певица Надежда Плевицкая (1884–1941) принимали участие в похищении генерала Е. К. Миллера 22 сентября 1937 г. На другой день Скоблин исчез. Плевицкая была арестована и приговорена французским судом к 15 годам тюрьмы, где и скончалась через четыре года. *Озуар ла-Феррьер* – дачный поселок под Парижем, где у Скоблиных был дом.

Возрождение. 1937. № 4103. 29 окт. С. 5.

221

Это совсем не произвело на него впечатления (*фр.*).

М. Н. Лебедева, очевидно, имеет в виду заметку в «Последних новостях» (№ 6056. 24 окт. С. 1) за подписью « – евъ» «Где С. Я. Эфрон?»:

«В течение последних дней в Париже распространились слухи, что вслед за таинственным отъездом Н. Н. и Н. А. Клепининых, покинул Париж также и б<ывший> евразиец С. Я. Эфрон, перешедший несколько лет тому назад на советскую платформу и вступивший в „Союз возвращения на родину“. Говорилось, будто Эфрон покинул Францию не один, а с женой, известной писательницей и поэтессой М. И. Цветаевой.

Чтобы проверить все эти слухи, наш сотрудник съездил вчера в Ванв, где последнее время проживали М. И. Цветаева и С. Я. Эфрон. М. И. Цветаева по-прежнему пребывает в Ванв и никуда не уезжала.

– Дней двенадцать тому назад, – сообщила нам М. И. Цветаева, – муж мой, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванв, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел (как известно, «Союз возвращения на родину» отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев), мне также было известно. Занимался ли он еще какой-нибудь политической деятельностью, и какой именно, – не знаю.

22 октября, около семи часов утра, ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели продолжительный обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в сюртэ насиональ, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла».

Первая информация «Политическое убийство в Лозанне», в которой имя Игнатия Рейсса еще отсутствовало, так как личность убитого была опознана по поддельному паспорту, появилась в «Последних новостях» 7 сентября 1937 г. (№ 6009. С. 1, 3). Начиная с 24 сентября того же года (№ 6026) газета из номера в номер печатала материалы, связанные с исчезновением генерала Е. К. Миллера, а затем с событиями в «Союзе возвращенцев». Бо`льшая часть их подписана инициалами Н. П. В. Впервые предположение о связи «возвращенцев» с убийством Рейсса и похищением генерала Миллера появилось в «Последних новостях» 7 октября (№ 6039).

223

Цветаева М. Где мой дом? Стихи к Чехии. Документы, письма, фотографии. М.: Дом-музей Марины Цветаевой. С. 85 (далее письма А. А. Тесковой к М. И. Цветаевой цитируются по этому изданию).

Этот факт, по просьбе А. С. Головиной сообщенный мне Н. В. Резниковой, подтвердила и И. В. Лебедева.

225

Научная публикация рукописного наследия М. И. Цветаевой началась в серии «Неизданное» в 1997 г. Серия рассчитана на восемь томов.

226

Речь идет о скульптурной группе Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», сделанной для Всемирной выставки в Париже.

227

Письмо от 23 июня 1937 г.

228

Цветаева М. Где мой дом? С. 85.

229

Поэзия. Альманах. М., 1981. № 30. С. 138. Оригинал по-французски. По сообщению публикатора Е. Б. Коркиной, эта запись «для следующего раза» сделана Цветаевой в черновой тетради 30 марта 1936 г. и связана с решением расстаться с неоконченной поэмой «Певица».

Выделено мною. – *В. Ш.*

Так его и перевел Василий Комаровский в 1903 году.

Russian Literature. C. 351.

Очевидно, Цветаева имеет в виду палубу, мысленно она переводит с французского, где мост и палуба могут обозначаться одинаково – «pont».

Известия. 1939. № 140. 18 июня.

Последние новости. 1937. № 6052. 20 окт. С. 2.

Последние новости. 1937. № 6056. 24 окт. С. 2.

237

Вестник русского христианского движения. 1979. № 128. С. 179. В более поздних воспоминаниях Д. Сеземан смягчил эти слова.

Львова С. Н. «…Тогда жили страшной жизнью» // Болшево. Альманах. М., 1992. С. 257 (далее без ссылок).

239

РГАЛИ. Фонд 1190, оп. 3, ед. хр. 32. Эта запись из тетради М. И. Цветаевой цитировалась в различных изданиях – с купюрами и значительными разночтениями. Я привожу ее полностью по имеющейся у меня ксерокопии с оригинала.

Не об этом ли свидетельствует факт, что советский паспорт С. Я. Эфрона датирован 16 октября 1937 года и, очевидно, был вручен ему в день приезда, а Цветаева ждала паспорта два месяца?

241

Хенкин К. Охотник вверх ногами. Frankfurt/Main: Посев [1980]. С. 118.

242

Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. В 2 т. Т. 2. С. 516.

243

Материалы дела С. Я. Эфрона и его подельников из архива НКВД-КГБ я цитирую по публикациям: Фейнберг М., Клюкин Ю. Дело Сергея Эфрона // Столица. 1992. № 38. С. 56–62; № 39. С. 56–62; Шенталинский В. Марина, Ариадна, Сергей // Новый мир. 1997. № 4. С. 160–190; Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. М.: Независимая газета, 1995.

Бунаков-Фондаминский в протоколе превратился в двух человек: Бунакова и Фундаминского.

Верное наблюдение. Мой брат – большой любитель и знаток русской поэзии, на девять лет моложе Липкина, мало знал Мандельштама и совсем не знал Цветаеву. Для его сверстников современная поэзия начиналась Маяковским и Пастернаком. Мое поколение, родившееся в начале 30-х годов, уже почти не слышало и о Мандельштаме. О Цветаевой я узнала случайно: в 1955 году поэтесса З. К. Шишова дала нам с подругой «Версты».

Известия. 1939. № 28. 4 февр. С. 4.

247

РГАЛИ. Фонд 2440 (В. Н. Яхонтов и Е. Е. Попова). Попова Е. Владимир Яхонтов. Описание жизни и творчества. Оп. 1, ед. хр. 61, л. 172, 174.

248

Письмо к Н. А. Табидзе от 20 марта 1942 г. (Литературная Грузия. 1966. № 1. С. 88).

249

Правда. 1937. № 175. 27 июня. С. 3.
«Свыше 10 тыс. руб. в месяц получают 14 авторов.
От 6 до 10 тысяч руб. – 11 человек.
От 2 до 3 тысяч руб. – 39 человек.
От 1 до 2 тысяч руб. – 114 человек.
От 500 до 1 тысячи руб. – 137 человек.
До 500 руб. – около 4000 человек».

250

С Татьяной Николаевной Кваниной я встречалась в Москве в 1975–1977 гг. Разговоры о Цветаевой, те несколько писем, которые Татьяна Николаевна позволила мне прочесть и переписать, помогли мне тогда реально ощутить положение Цветаевой в предвоенной Москве. Я пользуюсь записанными мной рассказами Т. Н. Кваниной и цитирую письма по копиям, сделанным тогда с оригиналов. Исключения оговариваются.

251

Новый мир. 1977. № 1. С. 89.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. Париж: ИМКА-Пресс, 1980. С. 373.

253

Обе цитаты: Встречи с прошлым. Вып. 3. М.: Сов. Россия, 1978. С. 415, 397.

Ахматова А. Соч. Т. 2. Мюнхен: Межд. лит. содружество, 1968. С. 330.

255

Мочалова О. Литературные встречи. Воспоминания. 1956. С. 43–44. Эту фразу я цитирую по имеющейся у меня авторской машинописи.

И мой пепел будет жарче, чем их жизнь (*фр*).

257

Обе цитаты: Встречи с прошлым. Вып. 3. С. 415, 402. В беседе с Н. Струве в Париже (1965 г.) Ахматова сказала: «У нас сейчас страшно увлекаются Цветаевой, но я считаю, что это отчасти потому, что у нас совершенно не знают Белого, а у Цветаевой очень много от Белого» (Ахматова А. Соч. Т. 2. С. 342).

Белкина М. Скрещение судеб. М.: Благовест; Рудомино, 1992. С. 223.

259

Цыбулевский А. Русские переводы поэм Важа Пшавела (проблемы, практика, перспектива). Тбилиси: Мецниереба, 1974. С. 6.

РГАЛИ. Фонд 2530, оп. 1, ед. хр. 213. Здесь же хранится письмо В. В. Гольцева по поводу перевода Цветаевой (оп. 1, ед. хр. 1). Приведу его полностью.

«В Гослитиздат, С. В. Евгенову

М. И. Цветаева, будучи настоящим мастером поэтического слова, к сожалению, многого не уловила в поэме Важа Пшавела «Этери». Вещь не пришлась ей по душе и это сказалось на работе. Как человек очень добросовестный она постаралась «исправить» авторский текст и потратила на это много лишнего времени. Но многое она сделала напрасно. Многие ее ремарки (сделанные красным карандашом в подстрочнике) не убедительны. В итоге она намучилась, делая совершенно непроизводительную работу. «Исправления» авторского текста, с которым следовало бы обращаться менее вольно, отвлекали ее в сторону. Есть в переводе много очень хороших мест. *Считаю, что его можно принять и даже оплатить, но предупредить М. И. Цветаеву о необходимости внести целый ряд исправлений*. И в тексте перевода и в подстрочнике я сделал много пометок простым карандашом. Прошу ознакомиться с материалом.

Подстрочник оказался вовсе не так плох. Некоторые поправки Е. Д. Гогоберидзе оказались несущественными, а некоторые даже лишними. Сама поэма несколько путаная, но ее отрицательные стороны, по-моему, преувеличены. В ней много интересного.

II.VI.40

В. Гольцев».

261

Татьяна Николаевна показывала мне это ожерелье: таких крупных черно-оранжевых кораллов «бочонком» я больше никогда не видела. Т. Н. рассказала, что, когда Марина Ивановна ушла, она сняла ожерелье и пересчитала бусины: к ее ужасу их было тринадцать! Она сняла одну и выбросила, а потом огорчалась: ведь могла бы сделать себе кольцо или просто сохранить камень...

Белкина М. Указ. изд. С. 220.

263

Там же. С. 183.

Там же. С. 203.

265

«Отзыв о сборнике стихов Марины Цветаевой» хранится в фонде К. Л. Зелинского в РГАЛИ (Фонд 1604, оп. 1, ед. хр. 151, л. 1а-7). Рецензия датирована: 19 ноября 1940 г.

266

Из рукописи в 2862 строки! В начале рецензии Зелинский подсчитал количество строк.

267

Эфрон Г. Письма. Калининград (Моск. обл.), 1995. С. 209. Дальше ссылки: Эфрон Г. С. Был, как полагается в издательствах, и второй отзыв на Сборник Цветаевой – профессора Л. И. Тимофеева; с его слов мне говорил об этом отзыве В. Д. Дувакин. М. Белкина, со слов самого Л. И. Тимофеева, пишет, что он «только советовал убрать кое-какие стихи, которые тогда были непроходимы, что-то советовал переделать, перекомпоновать»; с поправками, считал он, «книга может быть издана» (Белкина М. Указ. изд. С. 239).

268

Мирлэ М. Безмятежное созерцание. (Рец. на журн. «30 дней» № 3, 1941 г.) // Известия. 1941. № 125. 29 мая. С. 4.

269

Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. Пастернак З. Н. Воспоминания. М.: ГРИТ, 1993. С. 180. Письмо датировано: «10.IX.41 г. утром». Здесь перечислены пианист профессор Московской консерватории Г. Г. Нейгауз, философ профессор В. Ф. Асмус, литературовед и переводчик Н. Н. Вильям-Вильмонт, поэт Н. Н. Асеев.

Malchance (*фр*) – неудача.

З. М. Ширкевич.

Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1966. С. 131–132.

Правда. 1941. № 176. 27 июня. С. 6.

Мур имеет в виду Советский Союз.

Эфрон Г. Указ. изд. С. 96. (далее цитаты из писем и дневников Георгия Эфрона даются по этой книге без ссылок).

276

Болшево. Альманах. С. 275. Очевидно, речь идет об «отлично» и «хорошо»: «пятерки» и «четверки» появились позже.

277

МОПР – Международная организация помощи борцам революции. В нее вовлекали граждан всех возрастов, чтобы собирать с них членские взносы. Существовал знак МОПРа: рабочие руки, пытающиеся раздвинуть тюремную решетку. Членство в МОПР было одной из форм «общественной деятельности» и проявлением солидарности с властью.

Кванина Т. Так было // Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 474–475.

Выпущенные из тюрем (*фр*).

Два письма Г. Эфрона из армии хранятся в частных руках. Я цитирую их без разрешения владельцев.

281

Там же.

Противовоздушная химическая оборона. Такие занятия были обязательны для всех граждан.

283

Чуковская Л. Предсмертие // Воспоминания о Марине Цветаевой. С. 538 (далее по этому изданию).

Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Paris: Fayard, 1978. С. 180.

285

Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак. Пастернак З. Н. Воспоминания. С. 180, 452.

286

Гладков А. Встречи с Пастернаком. Париж: ИМКА-Пресс, 1973. С. 53. Разговор происходил 20 февраля 1942 г.

Литературная Грузия. 1966. № 1. С. 88.